



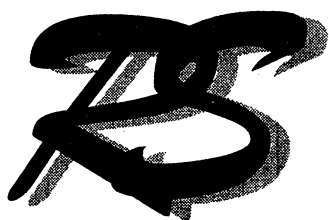
Ежеквартальный журнал русской филологии и культуры

RUSSIAN STUDIES

ETUDES RUSSES

RUSSISCHE FORSCHUNGEN

VOL. III 2



The State Hermitage Museum



RUSSIAN STUDIES
ÉTUDES RUSSES
RUSSISCHE FORSCHUNGEN

Vol. III

2000

№ 2

St. Petersburg

Государственный Эрмитаж



**ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
И КУЛЬТУРЫ**

Том III

2000

№ 2

Санкт-Петербург

ББК 83

Р 11

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Государственного Эрмитажа*

*При поддержке
Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса), Россия*

РЕДАКТОРЫ

Юрий Александрович Клейнер
Валерий Николаевич Сажин
David Macfadyen (Nova Scotia. Canada)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Svetlana Boym (Cambridge, Mass. U.S.A.)
Георгий Вадимович Вилинбахов (С.-Петербург. Россия)
Сергей Александрович Гончаров (С.-Петербург. Россия)
Роман Геннадьевич Григорьев (С.-Петербург. Россия)
Борис Федорович Егоров (С.-Петербург. Россия)
George Hyde (Norwich. U.K.)
Jean-Philippe Jaccard (Geneve. Switzerland)
Edward Kasinec (New York. U.S.A.)
Anatoly Liberman (Minneapolis. U.S.A.)
Юрий Владимирович Манн (Москва. Россия)
Аскольд Борисович Муратов (С.-Петербург. Россия)
Eric Naiman (Berkeley, Calif. U.S.A.)
Nina Perlina (Bloomington, Indiana. U.S.A.)
Юрий Юрьевич Пиотровский (С.-Петербург. Россия)
Мариэтта Андреевна Турьян (С.-Петербург. Россия)
Мариэтта Омаровна Чудакова (Москва. Россия)

ISBN 5-7187-0124-5
ISBN 5-7331-0211-4

© Государственный Эрмитаж, 2000
© Russian Studies, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

- В. Е. Семенов, М. В. Рабжаева* (С.-Петербург)
Г. С. Сковорода: проблемы биографии и творчества 7
- В. Кошмаль* (Регенсбург) Малороссийская идиллия Гоголя 35
- О. В. Евдокимова* (С.-Петербург). Эстетика и формы самосознания
Н. С. Лескова (на материале критического
и эпистолярного творчества писателя) 63
- Л. Ги* (Экс-ан-Прованс). Некоторые предположения о феномене
Набокова и его необычайном перевоплощении 91
- Л. В. Зубова* (С.-Петербург). Как поэты видят згу 114

ОБЗОРЫ

- Ян-Паул Хинрихс* (Гронинген). Русская поэзия о Нидерландах 137

КОММЕНТАРИИ

- А. Н. Шустов* (С.-Петербург). К истории одного знакомства 160
- Ф. Р. Балонов* (С.-Петербург). Литературные параллели
и перекрестки: Михаил Булгаков и Жерар де Нерваль 171

ПУБЛИКАЦИИ

- И. А. Айзикова* (Томск). В. А. Жуковский — переводчик «Избранных
сочинений Ж.-Ж. Руссо» (Жанрово-стилевые искания поэта) .. 186
- В. А. Жуковский*. Избранные сочинения Ж.-Ж. Руссо.
Перевод с французского. Письма к Саре 192
- А. М. Грачева* (С.-Петербург). «Круг счастья» —
лицевой кодекс Алексея Ремизова 199

КУЛЬТУРА РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

- Д. Э. Левин* (С.-Петербург). Памятные книжки губерний
и областей Российской империи в системе культуры.
Опыт исследования 227

<i>Т. С. Царькова</i> (С.-Петербург). Прогулка по кладбищу в 1935 году (к изучению провинциальных некрополей)	302
<i>А. И. Белинский</i> . Могильные надписи на памятниках Симоновского кладбища в г. Старая Русса (1935г.) Подготовка текста и примечания <i>Т. С. Царьковой</i>	309
<i>Н. Л. Дунаева</i> (С.-Петербург). Валентин Пресняков — забытое имя	325
В. И. Пресняков. В о с п о м и н а н и я. Подготовка текста и комментарии <i>Н. Л. Дунаевой</i>	339
<i>Вера Берхман</i> . Отъезд (быль). Предисловие, публикация и примечания <i>Н. К. Телетовой</i>	414
<i>Р. Ш. Ганелин, Б. Ф. Егоров</i> (С.-Петербург). <i>М. А. Стахович</i> и его воспоминания	437
<i>А. Ю. Сорочан, М. В. Строганов</i> (Тверь). Провинциальный текст в русской художественной культуре	447

СУДЬБЫ ФИЛОЛОГОВ

**Дмитрий Евгеньевич Максимов
(1904—1987)**

<i>А. Л. Дмитренко</i> (С.-Петербург). Статья <i>Д. Е. Максимова</i> о <i>К. К. Вагинове</i> : контур неосуществленного замысла	454
<i>А. Пайман</i> (Дарэм). <i>Дмитрий Евгеньевич Максимов</i> по воспоминаниям и письмам	471

СТАТЬИ

*В. Е. Семенков,
М. В. Рабжаева
С.-Петербург*

Г. С. Сковорода: проблемы биографии и творчества

I. О модусе присутствия Сковороды в украинской и русской культуре

Фигура Сковороды воспринимается как фигура, не вызывающая вопросов принципиального характера. Однако даже экспресс-анализ творческого наследия этой фигуры вызывает определенное недоумение. Сложности начинаются с вопроса этнокультурной идентификации Сковороды и продолжаются вплоть до определения характера его влияния на новейшие течения в русской и украинской культурах. Мы не пытаемся дать «окончательный диагноз» по этой теме, а лишь акцентируем внимание на тех вопросах, которые сегодня являются наиболее злободневными и творчески перспективными. Эти вопросы можно выделить в три группы: самосознание, язык и предмет интереса у Сковороды.

1. Модус присутствия по самосознанию. Модус присутствия в культуре может быть определен через анализ рефлексии по поводу своей этнокультурной идентичности. В проблеме идентификации Сковороды в этнокультурном плане существует определенного рода клише. А именно: Сковорода — классическая фигура украинской культуры. Это клише зафиксировано на уровне академической истории украинской литературы и, кажется, не вызывает никаких сомнений. Однако ни исследователи его творчества, ни биографы не приводят никаких свидетельств или ссылок о его социокультурном или этнокультурном самоопределении.

У самого Сковороды мы можем увидеть не много замечаний по интересующей нас проблеме. Практически единственным пря-

мым высказыванием по этой теме является его своеобразное лирическое посвящение в письме к М. Ковалинскому от 26 сентября 1790 года когда он пишет: «Мать моя Малороссия и тетка моя Украина посылают тебе в дар „Икону Алкивиадскую“» (*Сковорода* 1973: 356). Но основываясь на этой фигуре речи не возможно не сделать спекулятивных выводов.

Первый биограф Сковороды, его близкий друг и воспитанник М. Ковалинский в биографическом повествовании «Жизнь Григория Сковороды» не оставил свидетельств интереса Сковороды к вопросу этнокультурной самоидентификации. Лишь в нескольких местах есть упоминания о любви к Малороссии как к родному краю. При этом Малороссия как родной край не выделяется в особую этнокультурную самость.

Так, в рассказе о своей последней встрече со Сковородой, когда тот жил в деревне Хотетово, М. Ковалинский пишет: «проживя у друга своего около трех недель, просил отпустить его в любимую им Украину, где он (Сковорода — *Авт.*) жил до того и желал умереть, что и сбылось...» (*Ковалинский* 1973: 472).

Описывая обстоятельства отказа Сковороды от места преподавателя духовного училища при Троице-Сергиевской Лавре, предложенного настоятелем Лавры о. Кириллом Ляшевецким, М. Ковалинский приводит следующие объяснения. О. Кирилл «...старался уговорить его остаться в лавре для пользы училища, но любовь его (Сковороды — *Авт.*) к отечественному краю отвлекла его в Малороссию» (*Там же*: 443).

Комментируя этот эпизод, М. Ковалинский пишет: «Дух его отдалял его от всяких привязанностей и делая его пришельцем, пресельником, странником, выделял в нем с е р д ц е г р а ж д а н и н а в с е м и р н о г о (*разрядка наша*)» (*Там же*).

Такое объяснение самого близкого и любимого человека в жизни Сковороды, прекрасно знакомого с его взглядами и мироощущением, свидетельствует об отсутствии у Сковороды интереса к проблеме этнокультурного самоопределения.

Рассуждения о том, что проблема этнокультурного самоопределения была не актуальна для XVIII века, что подобного рода проблематика не стояла перед писателями, можно оспорить, имея в виду фигуру Семена Дывовича, современника Сковороды. В поэме С. Дывовича «Разговор Великороссии с Малороссией» ясно и четко определены и высказаны авторские этнокультурные ориентации и предпочтения. Проблематика этнических размежеваний и этнокультурных предпочтений актуализировалась в XIX веке, и в этом смысле поэма С. Дывовича считается «одним из наи-

более ранних утверждений украинской позиции» (*Шпорлюк* 1997: 48). По свидетельству К. В. Харламповича, епископ белгородский Иосаф Миткевич (покровитель и почитатель Сковороды) придерживался ясных проукраинских позиций. В происходившей в XVIII веке унификации законодательства и социальной стратификации украинского общества по российскому образцу он видел «чуть не гибель для родины (Украины — *Авт.*)», «рассуждал про бедное отечества состояние, плакал и вздыхал: Господи помилуй!», сетовал: «беда да горе! Все теперь малороссияне везде в крайнем презрении» (*Харлампович* 1914: 488—489).

М. Возняк, автор классической работы по истории украинской литературы, считает, что обстоятельства «культурно-религиозной и национально-освободительной борьбы формировали из украинцев своего рода всемирных граждан», подобных Сковороде, «который является ярким представителем национального упадка переходного периода от государственной автономии Украины к существованию на правах обычной российской провинции» (*Возняк* 1924: 92)

Таким образом, можно зафиксировать, что проблема этнокультурного самоопределения как проблема мировоззренческого и творческого выбора представлялась для Сковороды не важной.

2. Модус присутствия по языку. Итак, мы зафиксировали, что проблема этнокультурной идентичности не интересовала Сковороду. Однако, индифферентность самого Сковороды к вопросу этнокультурной идентичности не снимает вопроса об этнокультурной маркировке его произведений.

Принадлежность писателя, его творчества к той или иной культуре связана с целым комплексом проблем. И язык не может не служить в этом плане опознавательным критерием для определения этнокультурной принадлежности.

Подавляющее большинство произведений Сковороды написано на русском языке, с многочисленными вкраплениями латыни, древнегреческого, разного рода полонизмов и украинизмов (из 97 произведений, включенных в *Сковорода* 1973, лишь 3 — написаны полностью на латыни, причем, два из них снабжены авторскими переводами).

Если рассмотрим личную переписку Сковороды, то и там не обнаружим четкой языковой ориентации. Большинство писем Сковороды написано на латыни и частично на древнегреческом. Так, из 79 писем, адресованных М. Ковалинскому, 77 — представляют собой смешанные латинско-греческие тексты.

А письма, написанные по-русски, пестрят вкраплениями латыни; при этом, отдельные латинские слова, фразы, цитаты античных авторов, стихи, эпиграммы перемежаются латинскими притчами и пословицами, соседствуют с персонажами античной мифологии. Ю. Барабаш полагает, что «для Сковороды латынь стала, без преувеличения, органической частью не только его творчества, но и всего мироощущения, пожалуй, даже жизни, судьбы» (Барабаш 1989: 52).

Правда, М. Ковалинский в примечаниях, сопровождающих список сочинений Сковороды, пишет: «он ... употреблял иногда малороссийския наречия и правописание, употребляемое в произношении малороссийском: он любил всегда природный язык свой и редко принуждал себя изъясняться на иностранном; эллинский предпочитал всем иностранным» (Ковалинский 1973: 474). То есть, Сковорода не любил применять в *разговорной речи* иностранные языки, тогда как личную переписку с близкими и уважаемыми людьми вел на латыни или на смеси латыни и древнегреческого (письма к М. Ковалинскому, о. Я. Правицкому, о. К. Ляшевецкому и др.). Ряд исследователей, основываясь на фактах толкования Сковородой еврейских слов, утверждают, что он знал древнееврейский язык. Однако исследование В. Иваницкого, проведенное еще в 1920-х гг., убедительно доказывает, что Сковорода «еврейский язык изучал, но хоть сколько-нибудь серьезного знания не приобрел; наоборот, с течением времени много чего забыл; ... еврейской Библии в оригинале не читал, а толкования (переводы) еврейских слов давал, основываясь на всяких подручных средствах» (Иваницкий 1928: 104).

Исследователи творчества Сковороды очень часто подчеркивали сложности восприятия его текстов, объясняя это стилистическими погрешностями. Т. Г. Шевченко даже называл язык Сковороды «винегретной мовой».

В. Зеньковский давал такое объяснение сквородинскому письму: «Слог Сковороды — очень своеобразный и часто затрудняющий читателя, — впрочем, не нужно этого преувеличивать. Сковорода — большой любитель символов, очень склонен к антитезам, но главная трудность его произведений связана была с невыработанностью русской философской терминологии» (Зеньковский 1991: 66).

Тяжеловесность языковых конструкций Сковороды оправданно объясняется старокнижной языковой нормой и присутствием калек с латыни, греческого, польского. И конечно надо учитывать социолингвистический контекст литературной ситуации

на Украине эпохи Сковороды: сосуществование двух литературных языков (церковно-славянского и «простой мовы») при наличии разговорного украинского диалекта.

Б. А. Успенский пишет о том, что «в Юго-Западной Руси сосуществуют два литературных языка: наряду с церковнославянским языком в этой функции выступает здесь так называемая „проста или руска мова“». «„Проста мова“ представляет собой книжный (литературный) язык, возникший на основе делового государственно-канцелярского языка Юго-Западной Руси». (*Успенский* 1994: 65, 69).

В. М. Живов, в разговоре о перестройке лингвистического мышления на Украине под воздействием реформационных и контрреформационных процессов, так же говорит о формировании «простой» или «русской мовы» как литературного языка Юго-Западной Руси, функционировавшего наряду с церковно-славянским (*Живов* 1996: 53).

То есть, с достаточной долей вероятности, можно предположить, что Сковорода использовал книжные литературные языки, обогащая их заимствованиями из других литературных (латынь, древнегреческий) и разговорных языков (современный ему украинский и польский разговорные языки) в условиях еще не выработанного ни украинского, ни русского литературных языков. Этот языковой опыт Сковороды не задал традиции в украинском литературном языке. Ибо украинский литературный язык ведет свою родословную от Котляревского и Шевченко. Язык Сковороды, таким образом, с одной стороны, являлся отражением авторской стилистики, а с другой, — отражал некоторые этнические особенности того социума в рамках которого он жил: Слободской Украины конца XVIII века.

«Сочинения его написаны, хотя своеобразным, но по-своему прекрасным, сильным и сжатым языком, с которым надо лишь несколько освоиться предварительно: не следует забывать, что, по обстоятельствам места и времени, Сковорода был сам творцом своего языка (*Авт.*)» (*Ефименко* 1894: 421). Но говорить о том, что от него начинается какая-то языковая традиция на Украине, пожалуй, не стоит.

Д. Чижевский, называя Сковороду последним великим украинским писателем эпохи барокко, пишет, что «с ним литературное барокко догорело полным пламенем до конца и сразу погасло. Погасло вместе с присущим украинскому барокко литературным языком: на смену пришел народный язык» (*Чижевский* 1994: 244).

Сковорода работал в рамках украинского барокко и на при-
сущем этой эпохе литературном языке. Вместе с уходом Сково-
роды уходит и литературный язык украинского барокко. А учи-
тывая общую прерывистую тенденцию развития украинской ли-
тературы и отсутствие преемственности¹, можно констатировать,
что языковой опыт Сковороды в украинской культуре оказался
не востребован.

Примем во внимание точку зрения Н. С. Трубецкого о том,
что «**та культура, которая со времен Петра живет и развивается в
России, является органическим и непосредственным продолже-
нием не московской, а киевской, украинской культуры**», и что,
«на рубеже XVII—XVIII веков произошла украинизация вели-
корусской духовной культуры. Различие между западнорусской
и московской редакциями русской культуры было упразднено
путем искоренения московской редакции, и русская культура
стала единой» (Трубецкой 1995: 365,367).

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что
Сковорода работал в рамках на тот момент единой русско-укра-
инской культуры, а сложности восприятия его произведений свя-
заны как с отсутствием и невыработанностью философской тер-
минологии, так и с особенностями авторского стиля (обилие ци-
тат, ссылок, разного рода реминисценций, антитез и пр.).

*Таким образом, ни личная переписка Сковороды, ни язык его про-
изведений, ни исследования и свидетельства его биографов не позво-
ляют сделать вывод о том, что язык произведений Г. С. Сковоро-
ды был для самого автора средством этнолингвистической марки-
ровки.*

3. Модус присутствия по предмету. В разговоре о функцио-
нировании Сковороды в украинской культуре необходимо учи-
тывать существование в XVIII веке единого общероссийского
культурного поля. Григорий Грабович, директор Украинского на-
учного института в Гарварде, размышляя об истории украинско-
русских литературных взаимоотношений, пишет: «Для общерос-
сийской имперской литературной культуры было естественно
включать в себя украинскую, а для украинской наоборот, — быть
частью имперской литературной культуры» (Грабович 1997: 215).

Вопрос о формальной принадлежности Сковороды к украин-
ской культуре никто не оспаривает. Но необходимо отметить, что
наличие явного культа Сковороды в украинской художественной
литературе еще не свидетельствует о наличии определенной ус-
тойчивой литературной традиции, заданной им. Отметим, что

классическая фигура определяется через ту парадигму, которую она задает. Поэтому вопрос о Сковороде напрямую связан с определением этой парадигмы.

Представляется, что обращение к фигуре Сковороды в украинской традиции как раз свидетельствует о поисках традиции, о попытках найти опору в фигуре классика. Однако эти попытки малопродуктивны. Выше цитированный Грабович подчеркивает, что: «Новейшая украинская литература, от Котляревского, до Шевченко и Кулиша, в основном ничего не почерпнула — ни языка, ни тем, ни вдохновения — не только от древней, но и от средневековой литературы. Зато Шевченковское цитирование и фрагментарное упоминание Сковороды — более иллюзорный, нежели действительный случай» (Грабович 1997: 15).

На Украине издавна существовала традиция мандров, своего рода отдушина для бродячих интеллектуалов. М. Возняк считал, что образ жизни и творчества украинских «мандрованных» студентов и дьячков сопоставим с образом жизни и творчеством западноевропейских вагантов и странствующих клириков. С той лишь разницей, что украинские «мандрованные» школяры и дьяки писали и исполняли свое произведения на родном языке, в отличие от западноевропейских вагантов, писавших на латыни (Возняк 1924: 28). А это значит, что «мандрованные» исполнители в своей массе были гораздо ближе народной стихии, нежели ваганты.

Стоит отметить, что «в силу существования старых традиций и несходства в социальной организации русского и украинского общества, еще не уничтоженного в то время имперской политикой» (Живов 1997: 43), социальная стратификация на Украине была гораздо менее жесткая, чем в России. И традиция мандров была одним из характерных проявлений социальной динамики украинского общества XVII—XVIII веков. Социальный состав «мандрівників» был весьма пестрым и разнообразным: это были «по горло сытые латынью и розгами „спудеи“, изголодавшиеся бурсаки, „волочащиеся“ монахи, сбросившие рясу и сбежавшие от строгостей монастырского устава, не прижившиеся на своем месте клирики, бездомные учителя — „бакаляры“, „мандрованные“ дьяки» (Барабаш 1988: 87).

Вся эта довольно разношерстная публика бродила по Украине, предлагая свои интеллектуальные услуги — поздравительные вирши, канты, псалмы, разного рода орации, в том числе и собственного сочинения, получая взамен продовольственное вознаграждение. Особенно большие сборы бывали на Рождест-

во и на Пасху; поэтому вирши, исполнявшиеся «мандрованными» студентами и дьяками на эти праздники, получили название рождественских и пасхальных (*Возняк* 1924: 24). Именно так кормились бурсаки в гоголевском «Ви́е» или в повести В. На-режного «Бурсак».

В работах отечественных исследователей творчества Сквороды четко разводятся «мандрованные» дьяки с характерным бурлескно-трагическим стилем их сочинений и карнавализованным образом жизни и сам Скворода с присущим ему аскетизмом и пафосным слогом его философских произведений.

Но кроме указанных различий, есть, на наш взгляд, гораздо более существенное обстоятельство: бурсацко-дьяковские мандры были вынужденными из-за тех или иных жизненных обстоятельств и служили главным образом добыванию средств к существованию. При первой возможности такие вынужденные странники оставляли бродячую жизнь: «уставшие от скитаний и лишений, они наслаждались тихой жизнью в теплой школьной хате, охотно погружаясь в лишенный романтики, застойный, зато относительно сытый быт и не торопились с ним расставаться. Кому везло, оставался в дьячках — „бакалярах“ в одной школе до конца дней, другие вынуждены были „волочиться“ дальше» (*Барабаш* 1988: 91).

В случае со Сквородой мы видим совсем иную картину. Скворода сам уходит от всех предлагавшихся ему возможностей карьеры. Как уже указывалось, Скворода отказался от предложения стать преподавателем в семинарии при Лавре. Так же он отказывается от перспективы духовной карьеры, отказавшись от пострига и протекции епископа Белгородского Иосафа Миткевича.

Он уходит от практически всех отработанных в обществе жизненных стратегий, выстраивая собственную. Он отказывается от возможностей успешной карьеры музыканта или чиновника при дворе в Петербурге (подобно его родственнику и односельчанину камер-фурьеру Игнатию Полтавцеву или подобно бандуристу Г. Любистоку, прожившему при дворе почти двадцать лет и вышедшему на пенсию в чине полковника) (*Барабаш* 1989: 83—84). Он отказывается преподавать в Московской семинарии при Лавре, что открыло бы для него возможность духовной карьеры, подобно его односельчанину, проповеднику Московской академии Федору (в монашестве Феофану) Чарнуцкому. И в дальнейшем он неоднократно отказывается от предложений пострига и протекций со стороны церковного начальства. А ведь он мог сделать

карьеру даже успешнее, чем его бывший однокурсни́к, митрополит Киевский Самуил Миславский, ибо по свидетельству М. Ковалинского, Миславский, «будучи соучеником его (Сковороды — *Авт.*), оставался во всем ниже его, при величайшем соревновании своем» (*Ковалинский* 1973: 440).

Его странническая жизнь становится осознанным выбором, а отнюдь не следствием неудачно сложившихся обстоятельств: «Оказывается, можно было всю жизнь провести в „мандрах“, и не стать „мандрованным“ дьяком» (*Барабан* 1988: 103).

В традицию бурсацко-дьяковских мандров Сковорода привнес ощутимый «привкус» странничества. Странничество Сковороды стоит рассматривать не только в значении „странствовать“, но и „чудить“, вести себя странно. Странничество, как традиция в русской культуре стоит в одном ряду с феноменами подвижничества, юродства, старчества (*Дорофеев* 1997: 208). Его странничество-старчество — это образ жизни, обеспечивающий ему возможность независимого существования и достаточно автономного духовного поиска.

Однако этот творческий поиск, тем не менее, имел достаточно определенные рамки: рамки своего социокультурного круга. Его произведения были адресованы не широкой публике, не гипотетическому читателю, а конкретным лицам: избранному кругу, состоящему из помещиков и деревенского клира — интеллектуалов Слободской Украины. Эта крайняя узость (в социальном плане) того социокультурного мира, где функционировали его произведения, сопоставима с узостью и замкнутостью мира средневековых книжников. С. С. Аверинцев еще в анализе функционирования древней литературы Ближнего Востока указывал на «закрытый» характер общения ближневосточных книжников: «древние литературы Ближнего Востока создавались не просто грамотными людьми для грамотных людей. В целом они создавались писцами и книжниками для писцов и книжников»². Эта оценка находит подтверждение в работе А. С. Демина: «Подавляющее большинство памятников Киевской Руси было обращено к узким, локальным читательским группам» (*Демин* 1985: 271), и с некоторой коррекцией на время вполне применима и для анализа литературной ситуации, связанной с именем Сковороды. Нам представляется возможным определить книжника как человека, занимающегося книжным производством, но не являющегося еще профессиональным литератором. Культуре древнерусской книжности присущ уже упоминавшийся синкретизм и достаточно жесткая дидак-

тика³. Летописи, Жития, разного рода «Моления», «Плачи» содержат многообразные и многословные поучения. И произведения Сковороды близки к таким поучениям; об этом свидетельствует его тяга к басенному жанру (он написал 30 басен) и даже сами названия его произведений: «О призрачном удовольствии», «Начальная дверь ко христианскому добронравию», «Книжечка о чтении Священного Писания, нареченная жена Лотова», «Брань архистратига Михаила со Сатанюю о сем: легко быть благим». Но эта тяга к поучениям, скорее, не морализаторство, как полагал Шпет (*Шпет* 1989: 86). *Возможно, это была своего рода попытка трансляции традиций отечественной гомилетики на тот локальный социум Слобожанщины*⁴, где и находился основной круг почитателей и одновременно читателей Г. С. Сковороды. Но затруднительно сказать, что эта попытка имела очевидное продолжение в украинской или русской литературе. По крайней мере, это можно уверенно сказать об украинской литературе XIX века и об академично ориентированной украинской литературе XX века⁵.

Применительно к анализу творчества Сковороды говорить о литературной ситуации на Украине XVIII века крайне сложно. Ибо, с одной стороны, Украина в бытность свою польской провинцией, без сомнения, была знакома с литературной ситуацией нового времени и имела значительный потенциал светской читательской аудитории. А с другой стороны, на Украине, как и в России, отсутствовал профессиональный статус как самой литературы, так и литератора. Светская культура еще только начинала преодолевать присущий ей синкретизм, дистанцируясь от культуры духовной. Поэтому первым русским профессиональным литераторам приходилось всей своей жизнью утверждать новый социальный статус. Тредиаковскому, Ломоносову, Сумарокову «приходилось не только строить свою карьеру, но и создавать те социальные условия, в которых избранный ими путь имел бы право на существование» (*Живов* 1997: 26).

Такое отсутствие социальных институций литературы, отсутствие самого социального статуса писателя обрекало Сковороду на роль маргинала.

Мы указали, что Сковорода всякий раз осознанно пренебрегал предлагавшимися ему возможностями успешной карьеры, как духовной, так и светской. Так же, очевидно, вполне осознанно, Сковорода демонстрирует явное нежелание тратить свою жизнь на утверждение статуса светского литератора, подобно Ломоносову или Тредиаковскому. И такой отказ, при отсутствии каких-

либо сословных и экономических привилегий, как, к примеру, у Сумарокова, фактически выводил его за рамки социума.

Отказ от духовной карьеры не означал, однако, его оппозиции к Церкви, — это был его круг. Существующие свидетельства говорят о его многолетней дружбе и активной переписке с целым рядом представителей белого и черного духовенства не только на Украине, но и в России: «Связи его с духовенством были весьма прочны: можно сказать это была та общественная группа, к которой у него было наиболее тяготения, с представителями которой он чувствовал себя лучше всего, как будто в собственной семье. Не менее характерны настойчивые просьбы со стороны его друзей-монахов о принятии им монашества; очевидно, его считали вполне подходящим кандидатом на какую либо из церковно-иерархических должностей» (*Багaley* 1895: 279—280). Та социальная группа, которая в силу своих профессиональных интересов, казалось бы, должна была продемонстрировать неприятие взглядов Сковороды, стала в большинстве случаев основой для социальной ниши, где получили распространение его произведения. Но сказать, что Сковорода, имея поддержку деревенского клира, находился в оппозиции к высшей церковной иерархии на Украине, было бы преувеличением. Скорее, это некоторые представители украинского епископата (тот же Самуил Миславский) препятствовали распространению его неортодоксальных воззрений.

Возможно, что искания Сковороды были своеобразной реакцией на состояние украинской Православной Церкви того периода.

Отметим, что на Украине Сковорода был востребован как религиозный философ в ряде религиозных *внецерковных* исканий украинского народа. А о всеобщем недовольстве тамошней Церковью и, вследствие этого, появлении внецерковных поисков и опытов народных масс на Украине свидетельствует исследование М. Грушевского. Народное внецерковное религиозное движение имело массовый характер и размах. Грушевский указывает на движение евангелистов, «штундистов», немецкий баптизм и его протестантские разновидности, на движение духовборцев. Последних М. Грушевский характеризует как «рационалистичную секту с очень критическими взглядами на власть и церковную иерархию», именно в этих неортодоксальных движениях с большим уважением относились к памяти Сковороды, к его произведениям (*Грушевский* 1994: 115).

Заметим, что в украинской культуре окружен ореолом почитания и всяческого уважения сам *образ* Сковороды-странни-

ка: «По свидетельству Костомарова, на всем пространстве, от Острогожска на Воронежчине, до Киева висели во многих домах портреты Сковороды, всякий грамотный украинец знал про него, его имя было известно очень многим из неграмотного народа, его странствующая жизнь была предметом рассказов и анекдотов» (*Возняк* 1924: 83).

Образ странствующего интеллектуала получил развитие в ряде произведений украинской литературы: прежде всего, образ самого Сковороды в «Майор, майор!» И. И. Срезневского, образ Возничего в «Наталке — Полтавке» И. Котляревского, и пр. Но вопрос состоит не в упоминании имени Сковороды или его цитировании, а в том, задал ли он какую-либо творческую традицию? Оказался ли востребован его опыт?

В определенном плане писательский опыт Г. С. Сковороды оказался востребован. «Память народа о нем оказалась прочнее и благодарнее, чем память культурного класса. Каждый украинский кобзарь и лирник поет сквородинские псалмы, духовные стихи, и очевидно, их суровая мораль, полная презрения к жалкой мирской суете, находит глубокий отклик в народной душе» (*Ефименко* 1894: 420—423).

Это религиозно-мировоззренческий опыт маргинального плана, маргинального уже по кругу признания в его время. У В. Ливанова в его книге «Раскольники и острожники» есть целая глава «Украинский философ Г. С. Сковорода и его значение среди молокан и духоборцев» (*Ливанов* 1870: 288—299). Ливанов приводит факты о практически полной скупке молоканами тиража «Сионского Вестника» за 1806 г., который опубликовал «Начальную дверь к христианскому добронравию» Г. Сковороды.

Орест Новицкий, исследователь духоборцев, предполагает, что, поскольку Сковорода пользовался большим уважением у молокан (а это достоверно известно), то «своим воззрением на внутреннюю сторону христианства и своим объяснением св. Писания в фигуральном смысле, он мог возбудить к себе доверие и в духоборцах» (*Новицкий* 1882: 211). Детально анализируя документ, известный под названием «Исповедание учения духоборцев екатеринославских, составленное в 1791 г.», О. Новицкий приходит к выводу, что «по всей вероятности составителем этого духоборческого исповедания был малороссийский философ Сковорода; все указанные нами черты этого изложения, — и солидная ученость и близкое знакомство с св. Писанием, и знание иностранных языков и тонкость суждений, и обработанный наукою язык

и, наконец, малороссийские слова, скорее всего, могут быть отнесены к этой именно личности» (*Там же*).

А. Ефименко предполагает, что Сковорода «играл известную роль, если не в основании, то в развитии в Малороссии духоборческой рационалистической ереси»; и приводит ряд сугубо логических выкладок, дающих право предположить, что тезис о связях Сковороды с духоборами, достаточно правдоподобен (хронологическое и территориальное совпадение района деятельности Сковороды и района возникновения духоборства, совпадение ряда положений в учении духоборцев и в учении Сковороды и другие аргументы) (*Ефименко* 1894: 443).

Учитывая такую степень признания его духовного опыта у сектантов, легко толковать о возможной конфронтации Сковороды с Церковью, как с социальным институтом. Однако, повторяем, нет никаких очевидных свидетельств его сознательной оппозиции к православию вообще и к православному клиру на Украине, в частности. Его откровенное признание: «Коль краты привязала меня к Богу тайна евхаристии?», высказанное в произведении «Пря беса со Варсавою», когда Сковороде было уже за 60, не позволяет делать однозначные умозаключения о его профессиональной ориентации.

Багалея выделял «новое слово» Сковороды в религиозных вопросах, представляя его как «религиозного реформатора» (*Багалея* 1895: 278). Но говорить о «реформаторстве» Сковороды стоит с большими оговорками, ибо, несомненно обладая потенциалом реформатора, Сковорода не стремился ни к оформлению своих взглядов в какое-то законченное учение, ни к изложению их в манифестационно — публичной форме типа тезисов Лютера. Свои взгляды Сковорода высказывал не в форме каких-либо тезисов, а в литературных произведениях. И это, с одной стороны, существенно сужало его потенциальную аудиторию (ибо чтение его произведений предполагало или основательную теологическую подготовку или классическое образование). А с другой стороны (и это самое главное), Сковорода сознательно всякий раз отказывался от всех предлагавшихся ему возможностей большой карьеры, которая позволила бы ему, будь у него такое желание, распространять свои взгляды и воззрения на широкую аудиторию. Выше приведенные примеры отказа от места преподавателя семинарии при Троице-Сергиевской Лавре, от предложения принять постриг и протекцию епископа Белгородского Иоасафа Миткевича свидетельствуют как об отсутствии интереса к вопросам карьеры, так и о явном неже-

лании широкой трансляции своих, во многом неортодоксальных, взглядов.

Если анализировать отношение к собственным произведениям, то Сковорода, как мы уже указывали, скорее книжник, чем писатель Нового времени. Можно рассматривать его и как переходную фигуру от традиционного книжника к современному литератору. В то время поэту, писателю приходилось всей своей жизнью доказывать право на поэтическое звание и обретение самого социального статуса литератора.

* * *

Историки русской мысли в своем интересе к Сковороде также фиксируют его интеллектуальную маргинальность⁶.

Если в русской академичной гуманитарной традиции он упоминается и изучается преимущественно как ф и л о с о ф , то каково место Г. С. Сковороды в русской литературе?

Вопрос присутствия Сковороды в русской литературе напрямую связан с вопросом трансляции его жизненного опыта.

Представляется, что в русской литературе Сковорода присутствует в неявном виде именно как образ писателя-странника. В России конца XIX — начала XX века его имя так или иначе обыгрывалось целым рядом русских писателей — представлявших творческую элиту русской культуры. Достаточно указать на такие фигуры как В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, В. Ф. Эрн, Андрей Белый, Д. Хармс, М. Булгаков, А. Тарковский... Однако стоит отметить один важный момент. Все вышеперечисленные фигуры можно подвести под один общий знаменатель: их собственное сложное отношение к Церкви (упоминание Сковороды у Лескова заслуживает отдельного разговора). Проблема Церкви была их личной проблемой, решавшаяся каждым из них как-то по своему, но чаще всего так, как эту проблему решал для себя Сковорода — внетрадиционно. Сковорода, при всей внешней архаичности, не был традиционной для православия фигурой — поэтому его и воспринимали в России лица с таким же сложным отношением к традиции как и у Сковороды⁷.

Определенные круги российской интеллигенции, заинтересованные внецерковным опытом, — с одной стороны, и, определенные круги украинского народа, так же проделавшие определенные внецерковные опыты, правда, другого толка, сошлись в культовом почитании одной фигуры. И если украинские духовоборческие опыты были заинтересованы в его позиции по поводу Писания и Пре-

дания, если их «Исповедание...» сопоставимо с его произведениями, то указанные круги российской интеллигенции были заинтересованы самой фигурой Сковороды, его образом жизни. Ибо именно образ странствующего, независимого от условностей, не укорененного в быту интеллектуала, образ мастера-творца, жизнь которого соответствует его учению, появляется в русской литературе XIX века. По-видимому, Сковорода — **последняя** фигура, востребованная как в русской, так и в украинской культурах: последующие, независимо от языка, на котором творили, формировались в этнокультурном плане более определенно и однозначно. Поэтому и наименование Сковороды великим **украинским** поэтом или первым **русским** философом — не более, чем фигуры речи. В **русской литературе XIX века** появляется человек без мифа, и **фигура Сковороды** была одним из вариантов этого образа.

II. «Сон» Г. С. Сковороды как экзистенциальная фиксация творческих мотивов (К вопросу о методе интерпретации одного текста)

В наследии Сковороды есть один фрагмент, который так или иначе упоминается всеми исследователями его творчества. Но тем не менее, на сегодняшний день этот текст так и не получил весомой интерпретации. Речь идет о так называемом «Сне». Этот «Сон» как свидетельство личной, интимной жизни Сковороды был введен в научный оборот М. Ковалинским, его первым биографом. Он написал «Жизнь Григория Сковороды» — воспоминания о своем близком друге и наставнике «в древнем вкусе», — именно так сам он охарактеризовал это литературное произведение. В этих воспоминаниях о Сковороде М. Ковалинский приводит указанный сон, предваряя его рассуждениями о том, что «душа человеческая, повергаясь в состояния низших степеней, погружаясь в зверские страсти, предаваясь чувственности, собственной скотам, принимает на себя свойства и качества их...; возвышаясь же подвигом доброй воли выше скотских влечений... восходит на высоту чистоты умов, которых стихия есть свет, разум, мир, гармония, любовь, блаженство...» (Ковалинский 1973:444). Далее М. Ковалинский указывает, что «Сковорода видел опыт сего порядка и силы природы в себе самом и описывает сие в оставшихся по нем записках своих так...» (Там же). Разговор о «Сне» Сковороды целесообразно начать с воспроизведения самого текста, тем более, что малые размеры позволяют привести его полностью.

〈СОН〉

В полночь, ноября 24, 1758 года, в Каврае

Казалось, будто различные охоты жития человеческого по разным местам рассматриваю. В одном месте был, где палаты царские, уборы, танцы, музыканты, где любящиеся то попевали, то в зеркала смотрели, вбежавши из зала в комнату и снявши маску, приложились богатых постелей и проч.

Откуда сила меня повела к тому народу, где такие ж дела, но отличным убором и церемониею творимыя, увидел: ибо они шли улицею с плясками в руках, шумя, веселясь, валяясь, как обыкновенно в простой черни бывает; так же и амурные дела сродным себе образом — как-то в ряд один поставивши женский, а в другой мужской пол; кто хорош, кто на кого похож и кому достоин быть мужем или женою, — со сладостию отправляли.

Отсюда вошел в постоялые дома, где лошади, хомут, сено, расплаты, споры и проч. слышал.

На остаток сила ввела в храм обширный очень и красный, каков у богатых мещан бывает, прихожан, где будто день зеленый святого духа отправляя я с дьяконом литургию и помню точно сие, что говорил: «Яко свят еси», аж до «во веки веков», и в обоих хорах пето «Святой боже» пространно. Сам же я с дьяконом, пред престолом до земли кланяясь, чувствовал внутри сладость, которой изобразить не могу. Однако и там человеческими пороками посквернено. Сребролюбие с корванкою бродит и, самого церя не минуя, почти вырывает складки.

От мясных обедов, которые в союзных почти храму комнатах торжествовались и в которые с алтаря многие вери были, к самой святой трапезе дух шибался во время литургии. Там я претрашное дело следующее видел. Некоторым птичьих и звериных не доставало мяс к явствию, то они одетого в черную свиту до колен человека с голыми голеньями и в убогих сандалиях, будучи уже убитого, в руках держа при огне, колена и голени жарили и, с истекающим жиром мясо отрезая, то отгрызая, жрали.

Такого смрада и скверного свирепства я, не терпя, с ужасом отворачивая очи, отошел. И сие делали, будто служители некоторые.

Сей дивный сон не меньше меня устрошил, как усладил. А пробудившись, не преминул со сладостью в самой вещи пропеть: «Святой боже...» (Сковорода 1973:429).

Первое, что бросается в глаза читателю данного произведения, — это его эмоциональная насыщенность. Перед нами текст, редкий в контексте произведений Сковороды не только стилистически, но и в плане тематического содержания — нигде больше мы не прочтем у Сковороды об усладе от созерцания таких кошмаров. И при всей очевидной нетипичности для творчества Сковороды, это произведение все еще остается не откомментированным.

При первом приближении к проблеме интерпретации текста можно выделить две основных позиции. Сторонники одной трактуют его как самостоятельное публицистическое произведение, предлагая, тем самым, рассматривать его сугубо в контексте литературного наследия Сковороды (См. первую публикацию — *Попов* 1962: 179 — 184). Другие же считают, что это лишь дневниковая запись подлинного сновидения (*Сковорода* 1973: 444). Эту популярность суждений можно снять, учитывая, с одной стороны, ситуацию, в которой Сковорода увидел сон, а с другой, методы психоаналитической традиции толкования снов.

Сковорода увидел этот сон 24 ноября 1758 года в селе Каврай в полночь. Ему 35 лет, он работает домашним учителем в семье знатного и богатого украинского помещика Стефана Томары. Он здоров, образован, имеет работу, уважение, жизненный опыт, и тем не менее, столь разные исследователи, как Ю. Барабаш и В. Зеньковский, называют ситуацию, в которой он находится в этот период, ситуацией **кризиса**. Если Ю. Барабаш, фиксируя наличие внутренних проблем у Сковороды трактует их как «болезненный процесс становления личности, творческого и гражданского созревания» (*Барабаш* 1989: 103), то В. Зеньковский прямо говорит о наличии «какого-то кризиса, в котором окончательно установилась его религиозно-философская позиция» (*Зеньковский* 1991: 67). Однако ни у того, ни у другого причины и содержание этого кризиса не излагаются. Представляется, что 1758 год действительно был переломным годом в формировании личности Сковороды.

Итак, к 35 годам он уже оставил учебу в Киево-Могилянской Академии, имел опыт светской службы и при дворе Елизаветы Петровны, и у генерал-полковника Вишневого за границей (в течении пяти лет), и опыт преподавания поэтики в Переяславском коллегиуме, и наконец, работал домашним учителем-воспитателем в имении Стефана Томары в селе Каврай. То есть, к 35 годам ни определенного социального статуса, ни какого-либо материального положения, ни карьеры, ни семьи Сковорода не имел. Даже Киево-Могилянскую Академию не окончил.

Почему же не получилась карьера и не сложилась личная жизнь Григория Сковороды? От природы он был наделен большими способностями, ибо уже «по седьмому году от рождения был приметен склонностию к богочтению, дарованием к музыке, охотою к наукам, и твердостью духа» (Ковалинский 1973: 440). Кстати, С. Томаре он был рекомендован как один из лучших студентов Киево-Могилянской Академии. Самуил Миславский (в будущем митрополит Киевский), «человек отличной остроты разума и редких способностей к наукам, будучи тогда соучеником его, оставался во всем ниже его, при величайшем соревновании с ним» (Там же). Сковорода был выбран для петербургской службы из-за его музыкальных способностей и хорошего, приятного голоса и дослужился в течении полутора-двух лет до должности придворного уставщика. А это предполагает не только знание устава церковной службы, но и ежедневное практическое руководство придворной хоровой капеллой численностью свыше 200 человек. Но, желая продолжить учебу в Академии, он оставляет службу при дворе и уезжает на Украину. Через несколько лет, будучи в Москве, Сковорода получил от настоятеля Троице-Сергиевской Лавры Кирилла Ляшевецкого предложение стать преподавателем в семинарии при Лавре, так как последний «нашел в нем человека отличных дарований и учености» (Там же).

То есть и способности, и возможности для успешной карьеры у Сковороды были. Кстати говоря, карьеры как светской, так и духовной. Но Сковорода явно не желал делать светскую карьеру ни в России, ни на Украине. Что же касается карьеры духовной, то он неоднократно отказывался от предложений принять монашеский сан и делать карьеру в Церкви (несмотря на обещание протекции, например, со стороны епископа Белгородского Иоасафа Миткевича). То есть Сковорода явно пренебрег всеми открывавшимися ему возможностями. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, что Сковорода был человеком не только больших способностей, получившим хорошее образование, но и человеком очень тонкой душевной организации и чуткой интуиции. Достаточно вспомнить и его мистические прозрения-предвидения⁸, и найденный им способ воздействия на свое самочувствие, возможно сопоставимый с опытом аскетов из восточных культов⁹.

Что же касается обстоятельств личной жизни Г. С. Сковороды, то он никогда не был женат, среди его друзей и многочисленных корреспондентов не было ни одной женщины. Ю. Барабаш пишет об этом так: «Романтический аспект (если не

считать ничем не подтверждаемой бывальщины, рассказанной И. Срезневским) начисто отсутствует в биографии философа» (*Барабаш* 1989: 116).

На основании изложенного мы можем предположить, что к 35 годам, находясь в Каврае, Скворода явно и остро осознал свою инаковость, возможно, впервые отрефлексировав свои склонности, желания и возможности. Представляется, что именно этим острым чувством и было вызвано то кризисное состояние, о котором речь шла выше. Именно к Каврайскому периоду жизни относятся и первые литературные пробы Сквороды. Стоит указать, что до этого нет никаких свидетельств о его стремлении к литературному творчеству (если не считать поэтического опыта приветственных речей¹⁰). Ю. Барабаш соотносит этот сон Сквороды и его «Песнь 19-ю» (из цикла «Сад Божественных Песен»), написанную в том же году, как симптомы определенного душевного неблагополучия. Нам представляется такое соотнесение весьма уместным, ибо с позиции биографического метода анализ личных документов, как и анализ поэтических произведений (как в данном случае), в сопоставлении с конкретными обстоятельствами эпохи и биографическими фактами позволяет выяснить взаимодействие между культурными ценностями и установками личности, механизмы и процесс ее социализации. Учитывая отсутствие этой песни в широко распространенном издании сочинений Сквороды в серии «Философское наследие», выпущенном в 1973 году, приводим ее полностью по Киевскому изданию 1973 года:

Ах ты, тоска проклята! О докучлива печаль!
Грызешь мене измлада, как моль платье, как ржа сталь.
Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!
Где ли пойду, все с тобою везде всякий час.
Ты как рыба с водою, всегда возле нас.
Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!

Зверяку злу заколешь, ест ли возьмеш острый нож,
А скуки не поборишь, хоть мечь будет и хорош.
Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!
Добросердечное слово колет всех зверей,
Оно завсегда готово внутрь твоих мыслей.
Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!

Христе, ты — меч небесный в плоти наша ножа!
Услыши вопль наш слезный, пощади нас в сих зверях!
Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!
Твой нам свыше глас пресладкий, аще возревет,

Как молния, полк всех гадких зверей раженет,
Прочь ты, скука, прочь ты мука с дымом, с чадом!

Приведенная «Песнь 19-я» в оригинале сопровождается послесловием-замечанием: «Сложена 1758 года в степях переяславских, в селе Каврай». Отметим ощущение какой-то изоляции от мира, связанной, с одной стороны, жизнью в «степях переяславских, в селе Каврай», а с другой, — мотивом тоски — печали — скуки, которая преследует Сковороду. Скука, на которую жалуется Сковорода, скорее связана не с современным пониманием скуки, как тягостного чувства от праздности¹¹. Для понимания семантики этого слова стоит обратиться к этимологической реконструкции Макса Фасмера, который приводит следующие значения: «поставить в затруднительное положение», «выть, скулить» (Фасмер 1966: 661).

Юрий Лошиц считает, что «лирика Сковороды — это по преимуществу не автобиографическая лирика...» (Лошиц 1972: 60). А песнь «Ах ты, тоска проклята...» написана «не столько о себе и о своем, сколько о человеке вообще, об универсалиях человеческого бытования» (Там же: 61). Можно с этим согласиться, если рассматривать его творчество, как продолжение риторической традиции. Но какой мотив побудил автора начать разговор именно об этих универсалиях в данном месте и в данном времени?

Мотив тоски может быть объяснен обстоятельствами не сложившейся карьеры и не сложившейся личной жизни, но нам представляется, что дело тут не в полосе невезения, а в серьезной личной проблеме адаптации к социокультурной среде. Вероятно, что в Каврае Сковорода проделал некий опыт переживания на основе какого-то весьма случайного события и с того момента это переживание, будучи определенным образом осмыслено, стало непрерывным. Такую непрерывную случайность принято определять как ситуацию экзистенциального опыта. Таким образом, мы можем предположить экзистенциальную фиксацию творческих мотивов Сковороды. Речь идет о том, что именно после Каврая и начинается Сковорода как писатель, начинается творческий период его жизни.

Если именно это имело место, то мы можем сказать о каврайском периоде, как о переломном периоде в жизни Сковороды. Перелому подверглись, прежде всего, апробированные способы проявления сферы бессознательного. Согласно биографическому методу можно сказать, что в результате такого опыта

возникает приостановка защитных механизмов психики. Тогда человек может заглянуть в собственное «подполье», а на это отваживаются немногие, ибо даром такой опыт не проходит. Такая ситуация предполагает «не просто внесение в психику нового качества, а изменение всей психики, а это — процесс болезненный и требующий от человека особого напряжения и активности, можно сказать, агрессивности его «я»¹². В результате такого опыта у человека возникает иной модус отношения к традиционным нормам и ценностям — и этот модус поведения в наименьшей степени детерминирован социумом. Именно это и произошло со Сковородой в Каврае в 1758 году.

Ему стали одинаково чужды все отработанные в обществе жизненные стратегии. Он был чужой на том празднике жизни и к 35 годам ясно осознал это. Его скука есть острое переживание несовместимости своих личных ценностных предпочтений с ценностными ориентациями его социокультурной среды. Именно на это обстоятельство и указывает М. Ковалинский, рассказывая об этом периоде жизни Г. С. Сковороды: «Суетность светская представлялась ему морем, душевного спокойствия не доставлявшим. В монашестве видел он мрачное гнездо спершихся страстей. Брачное состояние, сколько ни одобрительно природою, но не приятствовало его нраву» (Ковалинский 1973:444). То есть, М. Ковалинский прямо выделил и указал жизненные обстоятельства и коллизии, волновавшие Г. С. Сковороду в тот период: вопросы карьеры (светской или духовной), вопросы брака и секса. ***Именно темы пола и Церкви являются главными сюжетами «Сна» в Каврае.***

«Сон», несмотря на свою миниатюрность, представляет собой литературное произведение, ибо в основе его лежит повествование самого Сковороды уже как-то осмысленное и стилистически оформленное. Поэтому анализ этого текста надо начинать как анализ литературного произведения.

Выделим в нем основные сюжеты. Таких сюжетов два. Первый сюжет в двух картинах изображает сцены свального греха. Второй — сцена публичного каннибальского поедания «чернца» (одетого в черную свиту и убогие сандалии) в Храме. Внешне эти сюжеты связаны переходом от одной сцены к другой через маленькую сцену в постоялом дворе. Сразу отметим, что второй сюжет более эмоционально насыщен. Сон ярок именно благодаря этому эмоциональному настрою. Картины группового секса, зеркала, каннибализм — все это выписано хоть и кратко, но экспрессивно, в динамике и производит впечатление...

Странно лишь то обстоятельство, что автор удовлетворен увиденным. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, чтобы понять, почему «сей дивный сон не меньше устроил, как усладил», необходимо отделить мотивацию и ее интерпретацию. Ведь представляя этот сон как значимое в личностном плане переживание, Сковорода как литератор должен был хотя бы для себя упорядочить картины сна. Мы можем сказать, что в тексте имеет место наложение картин собственно сна и способа его упорядочения. Последний демонстрирует нам Сковороду как литератора.

Эти два уровня сна расположены иерархически по отношению друг к другу как рефлексивный уровень и уровень бессознательный (нерефлексивный). В методологическом плане эти два уровня необходимо развести. Речь идет о психоаналитической посылке, согласно которой сновидение имеет *явное* содержание, то есть, сновидение в том виде как его переживают, рассказывают и помнят; и *скрытое* содержание, которое раскрывается путем интерпретации» (Райкрофт 1995: 181).

На уровне рефлексии удовлетворение, которое испытывает Сковорода от сна, объясняется наличием причинно-следственной связи. То есть, сначала нам, как слушателям и читателям, показана сцена греха, а затем — сцена наказания. Стоит отметить, что человек наказывается через поражение его материально-телесного низа: поражаются обнаженные колени и голени чернеца.

В такой авторской интерпретации последовательность этих сцен обретает логику причинно-следственной связи. Ибо удовлетворение от сна самим Сковородой объясняется удовлетворением от наказания порока.

В принципе это не более чем традиционная позиция литературы XVIII века. Тексты Сковороды, как и вся литература его времени весьма назидательны и отстранены от личной эмоции. Это не значит, что они вообще лишены эмоциональности, но их эмоциональность предписана им самим жанром произведения, а не личной позицией автора.

Следованию той же традиции можно объяснить и *полное* отсутствие женщин в произведениях Сковороды. Такое объяснение было бы удовлетворительным, если не брать в расчет странный текст «Сна». Точнее, женская тема присутствует в его творчестве, но достаточно своеобразно. Так, он называет свои произведения «дочками». Женские имена в его работах употребляются часто, но это или именование самих текстов, или обращение к библейским персонажам или персонажам античной мифологии: жена Лотова, Асхань, дочка Халева, Фамарь, невестка Иуды,

Диана и Артемида, Афродита и прочие — во всех случаях это не персонажи его произведений¹³. Все они являются скорее некими абстракциями, символами, и относятся к различного рода философско-нравоучительным размышлениям, но никак не к проблеме отношения полов. Последняя тема четко обозначена только в «Сне».

Тема сна в его произведениях также присутствует. Достаточно указать на тезис «весь мир спит», высказанный им в трактате «Убуждеша видеша славу его», этот трактат с небольшими изменениями позже вошел в главу 6-ю диалога «Потоп Змиин» под названием «О преображении». Можно сказать, что тема сна присутствует, прослеживается в его творчестве, но эта тема не доминантная для него.

Выпады в адрес монахов в дальнейшем творчестве Сковороды тоже есть, но обращает внимание тот факт, что фигурируют у него в текстах монахи неправославные. В одном случае, называя их «мартышками истинной святости», Сковорода прямо указывает на их неправославную принадлежность: «молятся в костелах», «строят кирки» (*Сковорода* 1973: 72). А в другом случае мы так же понимаем, что речь идет о неправославных монахах: «ходят монахи, играют в мусикийские органы» (*Там же*).

Следует обратить внимание на проблему письменной фиксации сна. Об этом сне сам Сковорода рассказал Ковалинскому в конце своей жизни с указанием места, дня и даже часа. Получается, что, в свое время, Сковорода сделал о нем дневниковую запись или навсегда запомнил и этот сон и обстоятельства, ему сопутствовавшие (*Там же*: 552). Значит, это был реальный сон, и настолько значимый, что он запомнил все, включая свои эмоции.

Мы не случайно указали на необходимость различения собственно содержания сна и его интерпретации. Это различие хорошо отработано в психоаналитической практике толкования сновидений. Для того, чтобы пересказать сновидение, необходимо перевести смысловые картины сна в категории значений. И такой перевод-пересказ сопровождается своеобразным логическим «выстраиванием» материала в сюжетно-последовательную линию. Поэтому простой пересказ сновидений не может сообщить слушателю, или, как в данном случае, читателю, личностный смысл сновидения. «Следовательно, каким бы ни было манифестирующее содержание сновидений, личностный смысл сновидений все равно остается скрытым и для его адекватного понимания необходим дополнительный сложный психологический анализ (психоанализ)» (*Ротенберг* 1994: 150).

В психоаналитической традиции толкования снов можно выделить два подхода: Фрейда и Юнга. Если Юнг рассматривал сон как судьбу культуры, пытаясь увидеть в нем те или иные религиозные смыслы, то Фрейд был предельно приземлен в этом вопросе. Для него сон есть выражение желания и только. Если Юнг, трактуя сон как религиозное измерение смысла, нуждался в тысяче снов, а иначе невозможно прочесть отдельный сон как текст культуры, то Фрейд в каждом конкретном случае довольствовался содержанием именно этого сна. Для Юнга сон достоин романа. Для Фрейда — это не более чем демонстрация простой ситуации, ибо сон для него это *простая эмоция*¹⁴. В полемике между Фрейдом и Юнгом о толковании сновидений авторы данной статьи находятся на стороне первого. По Фрейду во сне нет обобщений, понятий. Сон есть непосредственная аффективная реакция на аффективно нагруженные события, т. е. неполноценная эмоция. Содержание сна является выражением простого желания и в этом сон взрослого человека не отличается от сна ребенка. Разница между ними в том, что у взрослого человека формируется структура супер-Эго, а это дает момент сопротивления этим желаниям, так или иначе шифруя их. Но момент сопротивления не усложняет эмоцию и не порождает сложное переживание типа того, где любовь переходит в ненависть. Во сне никаких новых смыслов не порождается, а лишь скрываются наличные. Сложность толкования сна состоит в том, что во сне возможно многоступенчатое действие и неочевиден ключ к дешифровке. Но место пристального внимания для возможной интерпретации у Фрейда обозначено: это место наибольшей интенсивности действия во сне. Сам Фрейд называет такие места «узловыми пунктами». Трактуя сон как простую мысль-эмоцию и определяя место наибольшей интенсивности мы можем дать следующую интерпретацию сна Сковороды.

Сковорода по пробуждении испытывал удовлетворение не от созерцания нравоучительного финала сна (поражение обнаженного низа чернеца как наказание порока), а от созерцания непосредственно самих картин сна. Фрейд указывал, что последовательность сна имеет логичный характер, но эта последовательность несколько другого ряда чем последовательность дискурса.

В данном случае при рассмотрении этого сна как реального события мы имеем последовательность не причинно-следственного плана, а последовательность, которая выражается в нарастании эмоциональной интенсивности сменяющих друг друга картин сна: от картин секса к картине каннибализма. Сон Сковоро-

ды упорядочен его личной эмоцией. Ему кажется, что он получает удовольствие от логически завершеного нравоучительного финала. А на самом деле он лишь испытывает больший аффект от второй картины, чем от первой.

Учет второго уровня сна — как потока бессознательных, но по-своему последовательно связанных аффектов позволяет нам ответить на вопросы, связанные со вторым сюжетом. Кого мучают во втором сюжете, в сцене каннибализма? Повторим, что этот поток подчиняется правилу сгущения, нарастания интенсивности эмоциональных переживаний. Учитывая, что во сне, кроме преобразования скрытых мыслей по типу сгущения, действует еще и преобразование типа «смещение», мы можем сказать, что в «чернеце» Сковорода видит самого себя. Он себя не узнает, ибо имеет место сдвиг в идентичности. Стоит напомнить, что сам Сковорода никогда не был монахом, но многие его считали таковым, исходя из его внешности, странствующего образа жизни, аскетизма. Так и «чернец» из «Сна» лишь внешними деталями одежды (убогие сандалии, черная свита до колен) похож на монаха, а не является им.

Тут момент мазохизма, казалось бы, заменяется на садистский. Однако Жиль Делёз указывал на то, что пересказ чьего-либо мучения не является атрибутом садистского переживания — такой пересказ свойственен мазохистскому переживанию: «...язык Сада парадоксален, потому что он по сути есть язык жертвы. Лишь жертвы могут описать истязания» (Делёз 1992: 193). В теории психоанализа уже доказано существование единого садо-мазохистского комплекса, как двух сторон одной медали. Но в данном случае сделан акцент на аспекте мазохистских переживаний.

Именно это позволяет нам сказать, что Сковорода видит самого себя. И удовольствие он испытывает от созерцания этих картин, от самого мазохистского аффекта, а не от того, что порок наказан. Таким образом, мы здесь имеем наглядное свидетельство сексуальной конституции Сковороды. И целый ряд фактов его биографии либо прямо, либо косвенно подтверждают это. Речь идет об аскетическом самоограничении Сковороды: вегетарианство, асексуальность, осуждение светских развлечений и все то, что М. Вайскопф в определял как манихейское православие, но уже применяя это к Гоголю (Вайскопф 1993: 493). С другой стороны, этот сон позволяет проинтерпретировать некоторые факты биографии Сковороды. Неоднократное сопоставление фигур Гоголя и Сковороды основывается на возможно одинаковой сек-

суальной конституции того и другого: у Гоголя тоже были сложные отношения с женщинами, что позволяло делать разные спекуляции о его гомосексуальных наклонностях, о подавленном влечении, о вытеснении и т. д.

Сегодня практически всеми исследователями признается, что одной из основных задач сновидения является психологическая защита, механизмы которой способствуют восстановлению эмоционального равновесия и переходу от пассивного переживания к активному поиску решения проблемы. Согласно концепции поисковой активности В. С. Ротенберга и В. В. Аршавского «поисковая активность, направленная на изменение ситуации или изменение отношения к ней в условиях прагматической неопределенности, повышает резистентность организма и способствует адаптации» (Ротенберг 1994: 152). Применительно к данной ситуации можно с определенной долей вероятности предположить, что «Сон» Сковороды способствовал восстановлению поисковой активности и решению проблем в ситуации экзистенциального кризиса, в котором он в тот момент находился.

Учет опыта психоанализа позволяет нам сказать если не о сексуальной конституции самого Сковороды, то по крайней мере даст рационалистичное объяснение столь странного и до сих пор неудовлетворительно осмысленного фрагмента.

Примечания

¹ См.: «Главные этапы украинской литературы (то есть, древний, киевский, средневековый — от конца XV до конца XVIII ст., и новейший — от Котляревского) выявляют очень слабые взаимосвязи, а и вообще их не имеют» (Грабович 1997: 15).

² У С. С. Аверинцева речь идет о противопоставлении античной публичной литературы и замкнутой на узкий круг общения ближневосточной словесности. См.: Аверинцев 1977: 190.

³ В. Живов обращает внимание на то, что в социокультурной традиции древнерусской книжности эстетическая функция текстов вторична, подчинена, а «на первый план выходит дидактическая функция литературных текстов» (Живов 1997: 27).

⁴ Так называлась Слободская Украина (нынешняя Харьковская, часть Сумской, Донецкой, Луганской, Воронежской, Курской областей).

⁵ Вопрос об украинском андеграунде крайне сложен ввиду малодоступности этого материала для Санкт-Петербурга и его полной филологической неразработанности.

⁶ Стоит отметить, что в русской культуре, в противоположность академической традиции украинского литературоведения, он упоминается не как писатель, а как философ. Достаточно взять основные штудии по истории русской философии: В. В. Зеньковского, Г. Флоровского, В. Ф. Эрна, Г. Г. Шпе-

та, наших современников А. А. Галактионова и А. А. Никандрова, чтобы в этом убедиться. Исключение составляет, пожалуй, только Н. О. Лосский — его «История русской философии» начинается уже со славянофилов. Однако мы фиксируем поразительное разнообразие воззрений на Сковороду и его философию. Если В. Зеньковский считает, что Г. С. Сковорода «примечателен как первый философ на Руси в точном смысле слова» (*Зеньковский* 1991: 64), то Г. Г. Шпет называет его «мнимо народным философом» и считает его не столько философом, сколько моралистом (*Шпет* 1989: 82—96.)

⁷ В вышеперечисленном ряду отсутствует фигура Н. В. Гоголя. Вайскопф указывает на «общепиитическую целевую установку сюжетов о странствии, подхваченную в России — вместе с барочным культом слова — Григорием Сковородой, масонами-теософами и их идеологическими преемниками» (*Вайскопф* 1993: 15), «Можно ... сопоставить скитальчество позднего Гоголя и со стилем жизни его соплеменника Сковороды...» (*Там же*: 493).

⁸ Его мистические прозрения связаны не только с предчувствием беды, но и с буквальным ее чувствованием. Так, за две недели до прихода в Киев моровой язвы, Сковорода, находясь на Подоле, почувствовал «сильный запах мертвых трупов» (именно так описывает это М. Ковалинский в «Жизни Григория Сковороды»).

⁹ Речь идет о воздержании и целомудрии, о его самоограничении в мясе и вине, во сне (до 4 часов в сутки), о музыкальных упражнениях (игре на самых разных инструментах), о бодром и веселом расположении духа, о ежедневных длительных пеших прогулках за город, а впоследствии и страннической жизни.

¹⁰ В 1753 году Г. С. Сковорода написал в стихотворной форме приветствие на приезд нового Переяславского епископа Иоанна Козловича. Позже этот панегирик Сковорода включил в «Сад Божественных Песен» под номером 26.

¹¹ См.: А. Е. Барзах. «Тоска» Анненского // *Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры*. 1996. Vol. II. № 2.

¹² Эти положения хорошо прописаны в работе С. В. Лурье (*Лурье* 1994: 63—64).

¹³ В «Благородном Еродии» есть женский персонаж: «обезьяна по древней своей фамилии именуемая Пишик». Но в этом произведении, посвященном проблеме воспитания и образования, проблемы взаимоотношения полов также не рассматриваются.

¹⁴ У самого З. Фрейда эта мысль не получила именно такой формулировки и мы в данном случае воспроизводим не букву, а дух фрейдовской позиции. На этот крайне важный момент во фрейдовском понимании сновидений авторам статьи любезно указал Александр Исаков.

Библиография

- Аверинцев* 1977 — Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
Багaley 1895 — Багaley Д.И. Украинский философ Г.С. Сковорода// Киевская старина. 1895. Т.ХLIX. Июль. С. 272 — 301.
Барабаш 1988 — Барабаш Ю. Григорий Сковорода и традиция «мандров»//Вопросы литературы. 1988.№ 3. С. 86—110.
Барабаш 1989 — Барабаш Ю. «Знаю человека»: Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М., 1989.

- Вайскопф* 1993 — Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993.
- Делез* 1992 — Делез Ж. Представление Захер-Мазоха. //Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. Ж. Делез. Представление Захер-Мазоха. З. Фрейд. Работы о мазохизме/Пер.с нем. и франц. М., 1992. С. 189—313.
- Демин* 1985 — Демин А.С. Писатель и общество в России XVI—XVII вв. М., 1985.
- Дорофеев* 1997 — Дорофеев Д. Феномен странничества в западноевропейской и русской культурах// Мысль: Ежегодник Петербургской ассоциации философов. 1997. № 1. С. 208—227.
- Ефименко* 1894 — Ефименко А. Личность Сквороды как мыслителя//Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 25(5). Ноябрь. С. 420—445.
- Живов* 1996 — Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Живов* 1997 — Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Триаковский, Ломоносов, Сумароков// Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24—83.
- Зеньковский* 1991 — Зеньковский В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1.
- Ковалинский* 1973 — Ковалинский М. Жизнь Григорія Сквороды// Скворода Г. С. Повне зібраня творів: У 2 т. Київ, 1973. Т. 2. С. 439—476.
- Ливанов* 1870 — Ливанов В. Раскольники и острожники: Очерки и рассказы. СПб., 1870. Т. II. С. 288—299.
- Лошиц* 1972 — Лошиц Ю.М. Скворода. М., 1972.
- Лурье* 1994 — Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания: Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического материала. СПб., 1994.
- Новицкий* 1882 — Новицкий О. Духоборцы: Их история и вероисповедание. Киев, 1882.
- Райкрофт* 1995 — Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. СПб., 1995.
- Ротенберг* 1994 — Ротенберг В.С. Сновидение как особое состояние сознания// Бессознательное: Сб. статей. Т. 1. Новочеркасск, 1994.
- Трубецкой* 1995 — Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995.
- Успенский* 1994 — Успенский Б.А. Краткий очерк истории литературного языка: (XI — XIX вв.). М., 1994.
- Фасмер* 1996 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. СПб., 1996. Т.3.
- Харлампович* К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т.1. Казань, 1914.
- Шпет* 1989 — Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 11 — 342.
- Шпорлюк* 1997. — Шпорлюк Р. Украина: от периферии империи к суверенному государству// Украина и Россия: общества и государства. М., 1997. С. 41 — 70.
- Возняк* 1924 — Возняк М. Історія української літератури. Львів, 1924. Т. III. Ч. 2
- Грабович* 1997 — Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. Київ, 1997.
- Грушевский* 1994 — Грушевский М. Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994.
- Іваницький* 1928 — Іваницький В. Жидівська мова у Г.С.Сквороди //Зб. праць жидівської історично-археологічної комісії. Київ, 1928. Кн. 1. С. 98 — 104.
- Попов* 1962 — Попов П.М. Один із попередників соціальної сатири Шевченка: (За неопублікованим автографом «Сну» Г.С.Сквороди)// Вітчизна. 1962. № 1, С.179 — 184.
- Скворода* 1973 — Скворода Г.С. <Сон>// Скворода Г.С. Повне зібраня творів: У 2 т. Київ, 1973. Т.2. С. 429.
- Чижевский* 1994 — Чижевский Д. І. Історія української літератури: (від початків до доби реалізму). Тернопіль, 1994.

Малороссийская идиллия Гоголя

Жанр идиллии порожден ограничением, (само)редукцией. Эта редукция распространяется в равной степени и на изображаемый объективный мир, и на методы и способы его изображения.

Изображаемый мир представляет собой замкнутый «микромир»¹, охватывающий лишь «основные жизненные реалии»: рождение и смерть, любовь и семью, работу и быт, — и все это в различных возрастных категориях. Эти реалии не носят собственно реалистический характер и возникают как аллегории сути жизни. Они тесно соседствуют друг с другом в идиллическом пространстве, что приводит к его экстремальному уплотнению. Это предполагает, в свою очередь, более глубокое изучение общества, человеческих связей в прошлом (предки) и настоящем (семья, возлюбленный/-ая). Очертания внутренних границ (например, между природой и культурой) становятся в противоположность ко внешним расплывчатыми.

Параметр пространства доминирует в идиллии, а параметр времени выступает в деформированном виде. Хронологическое время истории (вместе с его событиями) остается за пределами идиллии. Подобно внутренне-пространственным распадаются и внутренне-временные границы: и в истории жизни одного человека, и в истории нескольких поколений, собранных идиллией под одной крышей. Согласно Бахтину, время является здесь «предвременным», «фольклорным», «мифическим», становясь очевидным благодаря своему ритмичному повторению.

1. Статус границы в гоголевском мире

Понятие идиллии и соотнесение этого жанра с творчеством Гоголя если и появлялось до сих пор в работах исследователей, то только в качестве заметок на полях. Да и где было найти ме-

сто идиллии в этом мире, полном фантазии и гротеска, совсем не идиллических носов и демонов? Или это место затаенное? С. А. Гончаров², считающий Гоголя религиозным дидактиком, называет его мир «пограничным». Это демонический мир разъединения и разъединенности, «мир раза», по словам М. Вайскопфа (*Вайскопф* 1993: 58—60), мир колебания между частью и целым (*Смирнов* 1979).

Выделение ч а с т и основано на принятии границы и разделения. До сих пор в центре картины гоголевского образа стояла часть как фрагмент целого, в комическом ли ее варианте (как, например, ставший самостоятельным нос) или ее «бесовской» версии (например, свитка черта в «Сорочинской ярмарке») и вытекающий отсюда демонизм. Владимир Набоков, который в этом контексте неоднократно цитируется, едва ли применим при рассмотрении вопросов, касающихся другой стороны творчества Гоголя — ц е л о г о, и, соответственно, ранних его произведений. Его пренебрежительное отношение к этой теме известно. Ушел ли он в сторону от этой проблемы? Заглушило ли ее вслед за ним и все научное исследование? Или причиной тому — чувства, которые Гоголь пытался заглушить в самом себе? Заглушение заглушения...?

Распространившееся в последнее время богословско-целостное, мистическое прочтение Гоголя (*Гончаров, Вайскопф*) справедливо уделяет «другому» аспекту авторского творчества — цельности — большее внимание. Гончаров называет гоголевское сознание «религиозно-символическим» (*Гончаров* 1992: 14) и демонстрирует это на примере «Мертвых душ» и других его поздних, явно религиозных произведений. По его мнению, мир Гоголя становится здесь символическим текстом, а все материальное — духовным знаком (*Там же*: 15). В этом отношении пограничный характер мира в «Мертвых душах» связывает границы жизни и смерти.

Но распространяется ли такое понимание гоголевского сознания и на его ранние произведения, не учтенные Гончаровым? Принимаем мы всего Гоголя во внимание, значит мы должны отказаться от того понимания з а г л у ш е н и я проблем и чувств в гоголевских произведениях, которое, подробно останавливаясь на вопросах гротеска и деформации, не отдает должное тому, что собственно заглушено. Это «з а г л у ш е н н о е» связано и у Гоголя и у гоголеведов с целостностью в ее пестроты и многообразии. Часть и целое отличаются друг от друга дифференцированным статусом границы: раздробление на части подтверждает ее

статус — статус разделения, и наоборот, когерентность целого упраздняет его. Таким образом, часть и целое взаимно формируют границу. Цельно-синтетические или синкретические взгляды позднего Гоголя берут свое целостное начало в его ранних идиллических текстах. Это начало связано с детством и юностью писателя, с Украиной, которую Гоголь позднее не случайно исключит из своих произведений, оставив ее только как модель³.

2. Национально-фольклорная целостная модель «Украина»

Граница — центральный элемент гоголевского мира. Она — центр вращения и центр тяжести в произведении, его ось! Понять, откуда берет эта ось свое начало, невозможно ни из критики, ни из произведений позднего Гоголя. В раннем же его творчестве это начало ясно просматривается. Гоголь считает себя с самого начала украинским поэтом. Согласно своей собственной этимологии, он рассматривает Украину как «страну у края», а населяющих ее казаков — как людей у пограничной черты. Биполярность гоголевского произведения зафиксирована уже в самом выборе страны, ее культуры; позднее она будет сублимирована и вытеснена на задний план. Украина подразумевается с самого начала как символическая страна, как символический знак, несмотря на то, что автор размещает ее вполне реально между Европой и Азией. Благодаря такому размещению, на Украине «сталкиваются две противоположные части света» (Гоголь 1900, IX: 226; далее ссылки на это издание с указанием тома и страниц).

В статье «О малороссийских песнях», вышедшей в 1834 году, Гоголь пишет, что в украинских песнях выражается «народная история», «вся жизнь народа» (X: 50). Эти песни являются для него репрезентантами целостности украинской национальной культуры. Между тем, Гоголь различает два типа малороссийских песен: песни о доме, т. е. бытовые песни, и песни, представляющие собой «противоположность» бытовым — казачьи песни. В одних проявляется «одна половина жизни народа», в других — другая (Там же: 52). Вместе они образуют «два противоположных пола» единой целостной жизни. Аналогичным образом соединяют казаки/Украина «два противоположных пола света» в единое биполярное целое.

Эти два основных типа песен, в основе которых лежит репрезентация целостности, напрямую связаны с двумя текстами из цикла «Миргород», которые на фольклорной и интертекстуаль-

ной основе вносят в цикл контрастные компоненты: модель «Старосветских помещиков» приближается к типу бытовых песен, построение рассказа «Тарас Бульба» напоминает казачью песню.

3. Две ступени эволюции идиллии: «Ганц Кюхельgarten» и «Старосветские помещики»

Предварительным этапом на пути поэтической эволюции рассказа «Старосветские помещики» явилась юношеская идиллия «Ганц Кюхельgarten» (Гоголь 1984, 1: 203—237; далее ссылки на это издание с указанием тома и страниц). Эта «идиллия в картинах» с таким типично немецким названием («Hans Kuchelgarten»), якобы являющаяся произведением 18-летнего В. Алого, написавшего ее в 1823 году, имеет в России богатую традицию, берущую свое начало в немецкой литературе. На Гоголя оказала непосредственное влияние и сама немецкая литература, в частности, Иоганн Генрих Восс (1751—1826) и его идиллия «Луиза. Деревенское стихотворение» (Vos 1972).

Разумеется, обнаруживаются в идиллических произведениях обоих авторов — при всем постоянстве признаков этого жанра — существенные различия. Уже само название несет в себе определенную программу: «Кюхельgarten» указывает своими составными частями («Küche» — «кухня» и «Garten» — «сад») на традиционные идиллические реалии. То обстоятельство, что в произведении Восса на столе только «крестьянская еда» (*Там же*: 80), совершенно не помеха для идиллии. Главное здесь — «добрые» люди, которых благодарят за «хорошее угощение» и «деревенскую трапезу» (*Там же*: 91). Добро ассоциируется уже у Восса в определенной степени с едой, а разрушенная идиллия «Старосветских помещиков» отождествляет эти два понятия. Доброта старых супругов трогательна уже тем, что она исходит от еды, от потчевания гостей. Идиллическое отграничивание доведено здесь до гротескного.

Географическое место действия идиллии различно: от леса и озера у Восса до моря и побережья у Гоголя. Конкретный малороссийский ландшафт последнего открывается у горизонта. Идиллия несет в себе пантеистическую, основанную на богословии идею защищенности человека, живущего в единстве с природой (*Там же*: 107):

И вот, они запели оба, и лес стал божьим храмом;
И почувствовали себя все благороднее и человечнее.

Героя идиллии (в частности, Луизу Восса и Луизу Гоголя, в некоторой степени и Ганца Кюхельгартена) отличает «невинная душа» (1: 187); он живет «беспечно», «весело» и «простодушно». Образ жизни обеих Луиз, Ганца Кюхельгартена и Афанасия Ивановича Товстогуба, с одной стороны, сближает их с детьми, а с другой, приравнивает их к святым, что является характерным для восточнославянской литературы. Так, например, о пасторе «Ганца Кюхельгартена» сказано, что он «давным-давно себя похоронил и отрекся от черта» (*Там же*: 205):

Улыбка райская сияет,
Чело святое осеняет.

Улыбка пастора и улыбка Афанасия Ивановича сходны между собой. Как и в сентиментальных рассказах, русский идиллический герой приближается к древнерусскому типу святых. Идиллия приобретает, таким образом, теологически-национальное измерение.

Пространственно оформлена идиллия тоже достаточно специфически: «уютный домик» окружают «заборы», «частоколы» и «плетни» (*Там же*: 203—204). В обоих рассказах Гоголя чистота души находит свое выражение в чистоте реальных объектов: домов, мебели, посуды и т. д. («свод чист» — *Там же*: 205). В то же время подчеркивается солидный возраст этих объектов, их ветхость, — один из важных моментов еще у Восса: «старенький» забор, «старый» дом, «старик»-пастор и «старые» кресла (*Там же*: 203—204) образуют однородное целое, вылитое из отдельных формул. Возрастная слабость, «дряхлость» возраста (2: 8), в которую гармонично вписывается и пастор, и старики Товстогубы, приобретает в «Старосветских помещиках» — при всей схожести мотивов этих рассказов — диссонансные нюансы. Если в «Ганце Кюхельгартене» старость несколько компенсируется за счет появления в рамках временного цикла «младенца» — Луизы и, тем самым, момента молодости, то в «Старосветских помещиках», наоборот, старик Афанасий Иванович ведет себя как ребенок и умирает, останавливая ход событий. Обновление жизни новым поколением прекращается, и идиллия находит свой конец в реальном историческом времени.

Ее конец поэтичен. При двойном прочтении идиллии — как аллегорического текста, с одной стороны, и как реально-конкретного, с другой — теряется качество самой аллегории. Моменты циклового обновления, характерные для классической идиллии и которые еще содержатся в «Ганце Кюхельгартене»,

поэтически редуцированы в «Старосветских помещиках» до псевдотипизаций. Если Афанасий Иванович и встречается «обычно» управляющего, выходя из дома, то мотив этот служит здесь, скорее, разоблачению сюжетного повторения в идиллии и обнаруживает за ее цикловым временем простую голую формулу. Идиллический язык остается у Гоголя, идиллическая реальность растворяется.

В «Старосветских помещиках» идиллия словно реализуется⁴, метафорический слог становится реальностью: классическая «доброта» персонажей идиллии заключается теперь большей частью в откармливании гостей и кошек. Поэтическая редукция выбирает здесь из всех идиллических реалий еду. Трапезный момент несомненно гиперболизирован, повторяясь у Афанасия Ивановича до девяти раз в день. Идиллическая формула «скромности» доведена до абсурда. Речь больше не идет о простом и радостном пиршестве, как это было у Восса, но об опасном, сублимационном отношении к еде, о своеобразном проглатывании мира, никак не связанном с духовными потребностями и чувствами. Еда теперь — только материя; во время еды речь идет только о еде (ср. — Манн 1978: 161). Таким образом, идиллия реализуется и материализуется, лишенная своих духовных и религиозных признаков. Если концентрические круги, защищающие обрамлявшие идиллию в начале, исчезают к концу «Старосветских помещиков» (Лотман 1974: 227—229), то это лишь пространственное выражение уже совершенной эволюции.

Этот революционный переход от семантики идиллии («Ганц Кюхельгартен») к ее языку («Старосветские помещики») — центральный в творчестве раннего Гоголя. Эквивалент находит он и на уровне рассказчика. Идиллическое «я» в «Ганце Кюхельгартене» включено в перспективу действующих лиц. Рассказчик «Старосветских помещиков», напротив, приходит извне, из далекого и чужого города. Только «иногда» он «сходит на короткое время» (2: 7) в идиллию этих людей — направление движения, которое можно по-разному интерпретировать: по меньшей мере, аксиологически (в смысле низкой оценки этого общества и такой жизни) и географически (как движение на юг).

Разумеется, в лирически-идиллическом жанре «Ганца Кюхельгартена» рассказчик отсутствует. Но и здесь отправляется жаждущий знаний Ганц в «дальнюю дорогу» (1: 219), «в страну чужую» (Там же: 223). И его страстный порыв души, так же, как и пребывание в деревне героя-рассказчика «Старосветских помещиков», длится не долго. В одиночку покидает Ганц идил-

лическое общество своих соседей, но, сожалея об этом, возвращается к нему, заново принят в луизин «детский сон невинный» (*Там же*: 217). Идиллия рассказа остается при этом неведимой. Рассказчик из «Старосветских помещиков», напротив, уезжает назад в город, разрушая идиллию. Герой «Ганца Кюхельгартена» удаляется лишь на короткое время в некий романтический мир и возвращается назад; рассказчик «Старосветских помещиков» уже живет в мире, отдаленном от идиллии, и «сходит» в нее лишь иногда, на некоторое время. Не только в этом повороте от «Ганца Кюхельгартена» к «Старосветским помещикам» становится очевидным эволюционное изменение жанра, уводящее в сторону от традиционных правил идиллии, при котором становится возможным ввод чуждой для нее инстанции рассказчика — более высокой и авторитетной поэтологической позиции отстраненного наблюдателя.

4. Фольклорная реализация идиллии.

Реализация идиллии превращает изображаемый объективный мир в конкретную страну — гоголевскую Малороссию. Фольклор угрожающе врывается уже в идиллию «Ганца Кюхельгартена». Ганц удаляется из общества, и «гробовой холод» (1: 217) охватывает Луизу. В сновидениях, в которых боязливая Луиза вдруг идет по болоту и туману (образ солнца теперь исчезает!), приходят к ней «ночные видения» (*Там же*: 224): «дивные феи», «чудные тени», сирена с мертвецами, которые, подобно мертвецам рассказа «Вий», пробуждаются к жизни. «Адское мучение» (*Там же*: 224) выпадает на долю Луизы. Не удивительно, что Ганц возвращается через два года к Луизе, «согнувшись как старик» (*Там же*: 231). Там, во внешнем мире, он оказался «околдованным» (сравни «околдованный круг» — *Там же*: 232). Кратковременное пребывание в историческом времени составило его так же неестественно быстро, как и старосветских помещиков: развал хозяйства после разрушения идиллии происходит вдвое быстрее, чем во время ее существования. Но если идиллия «Старосветских помещиков» со смертью героев приходит к концу, то герой «Ганца Кюхельгартена» способен, как «ребенок слабый» (1: 233), возродиться в идиллическом времени и остаток своей жизни «семьей довольствоваться скромной» (*Там же*: 233). Афанасий Иванович Товстогуб, как «дитя малое», напротив, умирает.

Грозный мир внешнего пространства соотносится на религиозном уровне со смертью и чертом. Фольклорно-демонические картины возникают у Гоголя как картины мира, противоположного миру идиллии.

4.1. Фольклорная традиция идиллии

Западная граница идиллии и фольклорная идиллическая традиция не должны рассматриваться вне связи друг с другом. В середине 40-х годов прошлого столетия в «Учебной книге словесности»⁵ Гоголь определяет идиллию как жанр, предметом которого является не только «пастушеская и деревенская жизнь». Он ставит ее в ряд со сказкой, т. е. фольклорным жанром. По его мнению, «скромный удел сказочной жизни» близок мыслям и чувствам автора идиллии: «Поэтому почти всегда управляла (в ней) какая-нибудь внутренняя мысль, слишком близкая душе поэта» (XII: 19).

В статье «О малороссийских песнях» (X: 50—57) Гоголь прослеживает связь идиллии с фольклором и на примере другого фольклорного жанра — украинских народных песен. Таким образом, идиллия связана у Гоголя, во-первых, с жанром фольклора; а, во-вторых, с Украиной/Малороссией, с «этой цветущей частью России». Песня для него — выражение юности и силы, «юного бытия» этой земли, в них — «веселие народа»⁶.

Малороссийские песни реализуют объединение двух, по сути противоположных миров: идиллического мира в узком смысле этого понятия, «беспечности жизни домовитой», и высшего мира «поэзии битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами» (*Там же*: 51). Последнее тоже присуще идиллии: узы братства в ней сильнее, чем узы любви; союз казаков объединен общим пиршеством.

Внимание Гоголя обращено, прежде всего, к домашнему быту казачьих песен, охватывающему буквально все, начиная от «отцовской могилы», подобно тому, как в идиллию «Ганца Кюхельгартена» цельно вписывается смерть пастора. По мнению автора, песня «все живет воспоминаяем», — то, что выпадает на долю Луизы во время отсутствия Ганца или старику Товстогубу после смерти жены. Так же, как в идиллии, оживляются предметы и в малороссийской песне, обращенной ко всему в природе, в том числе и к «бесчувственным предметам» (*Там же*: 52). Из души идущие речи ее просты, что еще раз сближает народную песню с идиллией.

Сам временный уход Ганца из идиллии, который у Восса не имеет образца, основан, скорее всего, на мотивах народной песни, несмотря на весь его романтический подтекст.

Одну из украинских песен, демонстрирующую особую «глубину чувств» (*Там же*: 53), приводит Гоголь в русском переводе для того, чтобы сделать ее доступной более широкому кругу читателей. В ней мы находим не только мотивы из истории Ганца, но и параллели в выборе словесного материала: аналогично сюжету идиллии, покидает и герой песни — «милый» — свою любимую и отправляется «в дальнюю дорогу». Этот же мотив появится позднее и в «Старосветских помещиках», но здесь он будет комично-идиллически дезавуирован рассказчиком: гости, прибывающие, с позиции идиллической перспективы, «с дальней дороги», живут на самом деле за три-четыре версты.

«Милый» оставляет в песне свою любимую на попечение бога, герой гоголевской идиллии Ганц — на попечение пастора, как божьего слуги. Географическое место действия «Ганца Кюхельгартена» тоже сродни песенному: притягивающий к себе берег моря. Связь «чувства» и «нежности» — двух основных понятий русского сентиментализма, прослеживается здесь вне сомнений («езде — простота и невыразимая нежность чувств» — *Там же*: 54 и далее). Богословское измерение идиллии и гоголевского мира⁷ закреплено фольклором. В песнях народ обращается к богу «как дети к отцу» (*Там же*: 54). Песни отражают и идиллическое представление о семье. Вера народа невинна и так же свободна от пороков, «как непорочная душа младенца». Не случайно Луиза так часто сравнивается с младенцем. Корни этого «чистого младенчества» уходят не только в западно-европейскую идиллическую традицию, они лежат еще в женских и казачьих песнях Украины. Природа служит при этом лишь выразительным средством, языком для показа основных религиозных чувств. «Веселье» идиллического мира (I: 235—236) находит свое выражение в «цветных» массах тем (сравни «цветной мир Луизы»), во внутреннем согласии, заглушающем разногласие мыслей и дум (в частности, мыслей Ганца, который покидает знакомый мир, стремясь посвятить себя науке, но, в конечном счете, возвращается назад). Песня никогда не описывает однократное событие, которое также не приуще и мифически-цикловому времени идиллии: здесь не говорится «был вечер», здесь «бывает вечером» (X: 54).

То, что истоки суеверия, веры в черта и, таким образом, комикки Гоголя уходят своими корнями в народное творчество, вне сомнений. Удивительно то, что фольклорные истоки идиллии ут-

верждают двойную функцию фольклора у Гоголя. Вплоть до языка гоголевская идиллия оказывается основанной на жанре малороссийской песни.

5. Малороссия как национальная идиллия

Существенным аспектом реализации идиллии у Гоголя является ее национальная окраска. Поэтому вопрос идиллической традиции важен именно для раннего творчества писателя, т. к. жанр идиллии связан у Гоголя непосредственно с землей, где он родился и вырос, с Малороссией.

Малороссия соответствует географическому пространству идиллии, прежде всего, постольку поскольку действие переносится здесь в деревню, в далекую от городской жизнь. В «Старосветских помещиках» рассказчик подчеркивает, что старая супружеская пара его идиллии живет в «отдаленной деревне» в Малороссии. Отдаленной в конкретно-географическом и духовном смысле.

Малороссия представлена в рассказе как реальное соответствие модели идиллического пространства. Подчеркнутость и частое упоминание низких потолков и маленьких комнат у стариков Товстогубов соответствуют незначительности, тесноте идиллического пространства, и тем самым Малороссии⁸. Не только комнаты оказываются маленькими и низенькими (2: 10), но даже кучер, который привозит в дом гостей, оказывается «маленьким» в «низенькой теплой комнате» (*Там же*: 17—18). С незначительностью идиллического пространства соседствует у Гоголя детская беззащитность его героев («Афанасий Иванович как дитя маленькое» — *Там же*: 22). Гипертрофированное тепло идиллии («так жарко» — *Там же*: 15) может быть интерпретировано как намек на материнское тепло и служит гротескному преувеличению момента близости и уплотнения в идиллии.

Рассказчик определяет идиллию явно с географической позиции и определенно утверждает Малороссию идиллическим местом еды. Даже воздух Малороссии у него «какого-то особенного свойства», возбуждающий аппетит (*Там же*: 19). Этим противопоставлено «з д е с ь» идиллическое городскому «з д е с ь». Многочисленные уменьшительные формы, перешедшие из «Ганца Кюхельгартена» в «Старосветских помещиков», которые могут считаться одной из особенностей идиллии как литературного жанра, употребляются только по отношению к Малороссии: здесь не

«дом», а «домик», не «угол», а «уголок». И хотя это не лишено определенного комического элемента, роль уменьшения, как грамматической формы, важна для понимания модели гоголевской идиллии, и потому должна рассматриваться с серьезной позиции.

В малороссийской идиллии торжествуют цвета; здесь светит солнце и все вокруг цветет. Альтернативой этому яркому миру Гоголь выдвигает в своих роанних произведениях Великороссию. Достаточно вспомнить только, как выглядит мир, в который уходит Ганц Кюхельгартен: болото, дождь, гром, туман, ночь и сны — типичный Петербург! Идиллическое пространство так же часто освещено солнечным светом, как и сама Малороссия (I: 231), которую автор называет «цветущей частью России» (X: 51).

При этом Гоголь не стилизует Малороссию до идиллии своей индивидуально-географической родины. Стилизация касается всего русского, если не вообще всего славянского пространства. Эту мысль хорошо можно проследить в статье «Взгляд на составление Малороссии», где Гоголь заостряет свое внимание на XIII веке, времени междоусобиц, «битв между родственниками», «между родными братьями». Принцип постоянно обновляющегося родственного сообщества — идиллический принцип. Но тогда, в XIII веке, по словам Гоголя, «история застыла и превратилась в географию», порождая статику «неподвижной жизни». Там, в глубине России, «идиллическое родство рушилось» (IX: 218). Здесь же, в Малороссии, которая не знала подобных браней, идиллия смогла сохраниться и выжить. Малороссия заняла, таким образом, роль отца (вспомним торжественное обращение к «Отцу» в малороссийских песнях). Но тем самым она оказалась и в оппозиции к неидиллической Великороссии. «З д е с ь» в гоголевской статье и «з д е с ь», обозначающее городское пространство, отдаленное от идиллии стариков в «Старосветских помещиках», явно противопоставлены.

Идиллическое общество «соединяли одни степи»; враг-татарин, «этот ужасный кочевой народ» четко отграничен во внешний мир («враг не за горами») и представляет опасность. Причем враг угрожает здесь не только как таковой, как воинственный народ, но и как чуждый народ, живущий другой, кочевой культурой, не имеющий представления о жизни на одном месте, не имеющий столицы, той оберегающей матери, расположенной у малороссов в самом центре их родины — в Киеве, «древней матери городов русских». Выражение «старая мать» встречается и в «Луизе» Восса. Таким образом, говоря о Малороссии, Гоголь вновь обращается к посредническому языку идиллии.

Гоголь ограничивает малоросское от великоросского пространства и исторически и идиллически. Сродни идиллическому пространству «Ганца Кюхельгартена», вся Малороссия представлена как пространство моральной народной чистоты: «земля чистых славянских племен» (IX: 220). Идиллия «сохранилась здесь в прежней цельности». Здесь сохранился тот мифический синтез, из которого вышел Гоголь, из которого вышла (Мало-)Россия, из которого вышли славяне, — простодушный синтез языческой, детской и христианской веры. Языческая вера выражалась испокон веков в детских предрассудках, в песнях и сказках, одним словом, в славянской мифологии.

Если рассматривать момент страстно желаемого возвращения к матери или женщине — с психологически-поэтической точки зрения как выражение сексуальности в гоголевском произведении⁹, то можно предположить, что тяга к возвращению в Малороссию представляет собой более ранний аспект этого же чувства, подавляемого в сознании автора. Одной из его форм может служить стремление к идиллическому правлению в государстве будущего (*Лесогор* 1987: 66), утопия, потерпевшая у Гоголя крах, что доказывает второй том «Мертвых душ» (ср. — *Гончаров* 1992).

6. Демонический принцип части

Принцип деления, «раза» является по существу антиидиллическим. Гоголь использует его, основываясь на том, что в Великороссии уже в XIII веке царил «разлад во всем», имея при этом в виду раздоры между княжескими фамилиями. И. Смирнов видит решающий момент «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в оппозиции части и целого. М. Вайскопф называет гоголевского черта разъединителем. Черт не только стоит на черте, но и способен ее переступить. Поэтому, говоря о дроблении в гоголевских произведениях, М. Вайскопф говорит о демонизме. О гоголевском черте и его фрагментарном качестве написано много. В то же время его «великоросское» измерение осталось за пределами исследований. Это же можно сказать и об обратной стороне гоголевского черта — его роли разъединителя в произведениях писателя.

Когда в «Ганце Кюхельгартене» Ганц покидает мир идиллии, устремляясь в дальнюю дорогу, к науке, и тем самым разрушает мир своей души, мир отношений с Луизой («мир души разрушен» I: 210), роль черта для этого не понадобилась. В «Старосветских

помещиках» гибель идиллического мира выражается в разрушенности забора и других концентрических кругов вокруг дома помещиков, ранее защищавших его («частокол и плетень во дворе были совсем разрушены»). Мир описывается теперь ех negativo («отсутствие», «беспорядок»). Историческое время разрушает мифическое (2: 26). Такой аспект части и целого с ясностью доказывает, что оба цикла гоголевских рассказов не могут рассматриваться вне связи с «Ганцом Кюхельгартеном» и ранними идиллическими произведениями автора.

Цикличность текстов порождает при этом идиллическую целостность. Только отдельные гоголевские рассказы могут рассматриваться с точки зрения их фрагментарности как творения черта.

7. Коллективная идиллия жестокости («Тарас Бульба»)

Такого рода рассказ, как «Тарас Бульба» (2: 28—128), кажется ничем не соответствующим продемонстрированной модели идиллического текста, ибо вместо мира и согласия речь здесь идет о войне и разногласии. Сам Гоголь говорит о «противопоставлении» казачьих песен песням бытового характера. В «Старосветских помещиках» семантическое пространство войны было исключено из идиллии старых супругов. Казаки, наоборот, выступают против домочадского, «бабьего» мира дома. И тем не менее, идиллическая целостность оказывается не чуждой и миру казаков. «Противопоставление» проявляется здесь только на семантическом уровне: между войной и миром, между «добротой» и «жестокостью». Материализация доброты приводит в «Старосветских помещиках» к ее разрушению и гибели. В «Тарасе Бульбе» она превращается в свою противоположность. Литературно-письменный модус этого превращения остается, разумеется, модусом (малороссийской) идиллии. Украинская биполярность реализуется путем эстетического напряжения между значимым и второстепенным.

7.1. Закрытые пространства

Патриархальный мир «Тараса Бульбы», где такие понятия, как отец и отчизна, являются высшим законом, где мужской коллектив противопоставлен женскому индивидууму, проведены четкие границы между обоими полами. И хотя «подруга» здесь еще не

является той оберегающей шинелью, которая позднее появится с образом Акакия Акакиевича, ее защищающий характер, как и оберегающие стены дома, связан в рассказе, без сомнения, с образом женщины. Оба сына Тараса, младший Андрий и старший Остап, женственно-мягкий младший и черствый старший, будучи детьми, «учат науку» в семинарской школе, здании, представляющем собой «отдельный мир» (2: 40). По окончании школы строгий отец, думающий только о воспитании детей у казаков, оставляет их лишь на миг у «слабой», с его точки зрения, матери. Детей держат подальше от «женских обычаев» в доме: за столом они сидят только с отцом, мать остается сидеть на лавочке. Спят они не в кровати, а на земле, во дворе с отцом. Матери приходится слишком рано отпускать детей «из детства». В этом мире, мире домашне-бытовой женской песни, женщине остается только воспоминание об идиллии. «Старую мать» — известный образ идиллии, — вспоминают сыновья все реже и реже: мир казаков требует забвения.

Наряду с закрытым пространством школы и оберегающим домом матери, в рассказе появляется (по крайней мере, для Андрия, который и без того проявляет большое сходство с матерью) еще одно закрытое защищающее пространство — мир любимой женщины, знакомой Андрию еще со школьной поры. Тот факт, что ему сперва приходится перелезть через частокол, окружающий двор дома (*Там же*: 36,42), прежде чем — через камин (!) — попасть в сердце идиллического пространства — в спальню возлюбленной, не удивляет. Татарка выведет потом его из дома. При осаде казаками Дубно та же самая татарка будет вести Андрия обратной дорогой, в осажденный город к дому любимой. Несмотря на, казалось бы, требуемое от него забвение, Андрий тут же узнает ее. Камин заменяет на этот раз длинный туннель, через который оба попадают в город. В обоих случаях путь к дому возлюбленной лежит через необычные трубковидные, мрачно-темные ходы и отверстия, почему здесь возможна ассоциация с возвращением в матку. Не случайно полячка выпрашивает хлеб для голодающей матери, такой же «старухи» как и мать Андрия: схожесть закрытозащищающих пространств подчеркивается еще раз. Как «слабая женщина» (*Там же*: 79), полячка считает себя не в состоянии выразить всю свою благодарность Андрию — атрибут, который сам Тарас приписывает своей жене. В противоположность брату, Андрий удаляется от отца и отчизны, становясь родным миру домашней идиллии. Биполярность украинского внутриголевого

текста проявляется еще раз на уровне героев (Андрий — Остап). Разумеется, за такой п(р)оступок Андрий должен платить. Платить своей жизнью: отец убивает сына. Для личного счастья в идиллии, непосредственное родство которому составляют эротически-любовные отношения между матерью и сыном, между любимым и возлюбленной, нет места в «Тарасе Бульбе».

7.2 Открытые пространства

7.2.1. Эквиваленты закрытого и открытого пространств

Закрытое пространство возникает из доминирующей перспективы «Тараса Бульбы» как чуждое пространство. Национально чужое, представленное в образе полячки, является лишь одним из вариантов этого ч у ж д о г о. Четко проведены границы и к закрытому пространству женского общества. В этом отношении однородно-женское и однородно-мужское пространства противопоставлены друг другу (в среде казаков нет «ни одной женщины» — 2: 49).

Казачество обновляется за счет тех, которые «бежали из родительских домов» (*Там же*), отвернувшись не только от жен и матерей, но и от нерушимой связи поколений. Старший сын Тараса отказывается от оберегающего идиллического пространства дома и женщины до самой смерти: «он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги» (*Там же*: 132). Хладнокровие, которое приобретает у него почти неестественные размеры, отличает смерть Остапа от смерти Андрия, сохранившего до конца привязанность к матери и любовь к женщине. Мягкости Андрия автор противопоставляет грозность и силу настоящего казака, каким является Остап.

В другой жизни казаков, за пределами закрытого идиллического пространства становится востребованным замещение центральных мотивов идиллического мира соответствующими элементами мира казачьего, т. е. таких мотивов, как семинарская школа в Бурзе и дом матери.

Семинарская школа «учит науке», «философии» (*Там же*: 30) по книжкам. Такое образование Тарас принимает с усмешкой. Женщина, по его мнению, вообще не обладает знаниями («баба, она ничего не знает» — *Там же*: 30). И в то же время понятие «наука» часто появляется в тексте рассказа. Настоящую науку и жизненные знания, по мнению Тараса, могут его сыновья приобре-

сти только в среде казаков. «Не академические науки, а казачьи» (*Там же*: 40). Это его высказывание непосредственно перекликается с часто цитируемой «премудростью» былинных героев, богатырей восточнославянских песен. Их «премудрость» подразумевает, прежде всего, «ратную науку» (*Там же*: 35). Семинарской школе в рассказе явно противопоставлена военная школа — «потешная наука» разбойничества (*Там же*: 64). Логика такой перекодировки предполагает, что сыновья, окончившие семинарскую школу, теперь, изучив военную науку, могут сплотиться заново в среде казаков как «тесный круг школьных товарищей» (*Там же*: 48). Связь с этой новой средой заменяет теперь топографически закрытое помещение школы.

Казаки учатся жизни вдали от женского мира и, таким образом, вдали от эротики и сексуальности, что, однако, не тематизируется в рассказе. Женский индивидуум, идет ли речь о матери или о возлюбленной, заменяется мужским коллективом. Любое проявление нежности воспринимается казаками как грех, ибо только «женский мир нежный» (X: 52). Эта тема развита в рассказе самим Тарасом: «Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь». Сабля, этот фаллический предмет, занимает отныне место матери («сабля ваша мать» — 2: 30). Чистое поле, хотя и бессознательно, заменяет материнскую нежность. Так снова проявляется подчеркнуто-патриархальное мужское начало (коллектив, фаллический предмет), полностью исключающее начало женское.

И тем не менее, ж е н с к о е проявляется в «Тарасе Бульбе», но не в изображаемом объективном мире, а в языке его описания. Для этой цели разиндивидуализируется и распersonализируется образ матери; он трансформируется до коллективного и, в конечном счете, редуцируется до эмблемы материнства — материнской груди, которая становится здесь «грудью народной» (*Там же*: 33), от которой исходит «необыкновенное явление русской силы», рождается сила казачья. Образ матери стилизован, наконец, до национальных размеров, до «матери сырой земли» (*Там же*: 135), знакомой из мифических сказаний и фольклора. Поэтому кровь не играет здесь решающей роли, ибо Тарас считает, что родство по крови существует и у зверей, родство же по душе может быть только у людей. Мать, не обладающая отныне категорией пола, мать-степь (*Там же*: 43) принимает всех (казаков) в свои «зеленые объятия». Эротика и сексуальность остаются за пределами пространства казаков, и в то же время сказано, что скачут они по «девственным пустыням» (*Там же*: 43) Ново-

россии. Женское начало, таким образом, не совсем потеряно в идиллии «Тараса Бульбы»; оно возвращается в возвышенно-стилизованном виде на уровне значимого элемента.

7.2.2. Топология казачьего пространства

В статье «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь сам четко определяет топологическое пространство Малороссии и казаков, которому полностью соответствует моделирование этого же пространства в «Тарасе Бульбе». Отделившись от своей северной части, южная Россия осталась «вся открыта» (IX: 222). Ни одна из малороссийских рек не могла на этом «со всех сторон открытом месте» (*Там же*: 223) служить естественной границей. Таким образом, отсутствие границ в казачьем пространстве Малороссии уже топографически предрасположено.

Центр казачьего пространства «Тараса Бульбы» — с е ч ь, где собираются казаки, — описывается именно как такое открытое место: «нигде не видно было забора или тех низеньких домиков» (2: 46), какие мы знаем из идиллической топологии «Старосветских помещиков». Запорожцы не признают и никогда не признавали ни крепостей, ни прочного места осады (*Там же*: 63,66). Свои собрания они проводят не в домах, а на площадях под открытым небом (*Там же*: 55). Топографическая, надежно защищающая граница, присущая идиллии, оказывается для них чуждой.

Отсутствию закрытого пространства соответствует и потеря пространственной статики. Пространство казаков, в противоположность идиллическому, динамично. Не только предметы этого пространства, которые никогда не появляются на одном месте, а перемещаются с одного на другое, но и сам сакральный центр его, сечь, подлежат динамическому изменению («Остров Корсика, где была Сечь, так часто переменявшая свое жилище (...)» — *Там же*: 45).

Особенно характерным для героя-казака является понятие п у т и. Так, например, сказано, что вечно неугомимый Тарас (*Там же*: 34) всегда находится в дороге. Жизнь казака определена не историческим временем, а измерением вечности, постоянным повторением времени. Категория пути передает абстрактность времени через реальность пространства. Страх — тоже «вечный» спутник героя в этом пространстве (IX: 224). Путь, который предстоит пройти казаку («путь лежит великий» — 2: 37) — это

путь войны, который Тарас проходит до конца. Его можно соотнести с парадигмой поездки в «Мертвых душах». Задача обоих — привести в конце дороги к сущности жизни (*Гончаров* 1992: 97).

Мобильность связывает пограничный мир Украины с Азией, откуда ей угрожает воинственный кочевой народ — татары. Впрочем, возможность мобильного передвижения составляет только одну часть жизни малороссов, живущих на «полукочующем углу Европы» (2: 33), «в вечной опасности», в «страшной беспечности» (*Там же*: 45—46). Движение предоставляет казакам еще и возможность воевать, возможность «воли и гульбы» (*Там же*: 48,32).

С топографической точки зрения казаческая жизнь предстает абсолютно не идиллической, ибо наполняют ее война, приключения, не безопасное скитание по дорогам. Но благодаря тому, что историческое время проявляется здесь как циклическое, как время вечного повторения, за счет него компенсируется отсутствие закрытого пространства. Идиллическая замкнутость возникает теперь не на первичной топографически-пространственной плоскости, а на плоскости, абстрагированной от нее. Вместо классических топографических, предметных и персональных моментов выступают их антиподы: берегающе-закрытое пространство становится открытым, мир и гармония сменяются непрекращающейся войной. И все-таки идиллические моменты тем не исчезают из «Тараса Бульбы»; модально они проявляются на языковом уровне рассказа.

7.2.3. Идиллическая модальность казачьего пространства

Мир казаков устроен в строго иерархическом порядке. Замкнутость этого мира создается строгостью и узостью царящих в нем законов, затрагивающих все, и в то же время все исключаящих. Патриархальные «закон» и «обычай» явно тематизированы в рассказе и носят сакральный характер, указывающий на святость казачьего мира. Его высший отец, атаман, которого казаки величают «батькой» (2: 50), заменяет функцию пастора, воспринимавшегося еще в «Луизе» у Восса как религиозный образ. Законы, со своей стороны, тоже подчинены определенной иерархии. «Первым святым законом» является «товарищество» (*Там же*: 97, «нет уз святее товарищества» — *Там же*: 105). Тарас Бульба присягает и таким святыням как христианская вера (*Там же*: 103) и сечь (*Там же*: 103) — сакральный центр казачь-

его пространства. Гомогенизация страны, той христианско-религиозной утопии, приписываемой позднему творчеству Гоголя (в частности, Гончаровым), в полной мере соответствует гомогенной идиллии казаков. Из всех их строгих этических законов на первое место выступают долг и честь (*Там же*: 99). Нравственные правила поведения познаются здесь в закрытой, обязательной системе норм и постулатов.

Такую картину казачьего мира описывает Гоголь в статье «Взгляд на составление Малороссии». Великоросская идиллия была разрушена вечными «бранями» внутри страны (IX: 218); настоящая идиллия, идиллия «чистых славянских племен» (*Там же*: 220, 224) сохранилась только в Малороссии, «настоящей отчизне славян» («но здесь сохранилась (она) в прежней цельности» — *Там же*: 220). Чистоте славянской идиллии соответствует у Гоголя чистота дома: «домика» в «Старосветских помещиках» и материнского дома Андрия. Гомогенность этой законсервированной чистоты, ее идиллической передачи из поколения в поколение равномерно распределяется на все славянство и его христианскую религию («сохранить чистоту религии своей» — *Там же*: 224). Казаки и малороссы объединены, таким образом, на основе духовного братства тесным, типично идиллическим соседством («тесное братство» — *Там же*: 225). Единая христианская культура, которую Гоголь позднее будет пропагандировать в утопии «Выбранных мест» (ср. *Гончаров* 1992: 137), первоначально представлена в идиллии казачьего мира. Поздний Гоголь возвращается к началу своей малороссийской идиллии.

Как же конкретно выглядят законы идиллии в «Тарасе Бульбе»? Начиная с «Ганца Кюхельгартена», представлена идиллическая жизнь как простая и наивная. О самом Тарасе сказано, что «он любил простую жизнь казаков» (2: 34). Его речь, сродни речи идиллического героя, пряма и открыта. И тем не менее, идиллическая миловидность в рассказе утеряна, утеряно мирное настроение идиллии, ибо Тарас выражается «грубой прямотой» (*Там же*: 34). Особая доброта идиллии, гротескно искаженная уже в «Старосветских помещиках», как и особое идиллическое «человечество» (*Там же*: 131) все более и более отрицается «грубым веком» (*Там же*). Принимая во внимание тот факт, что к числу убитых казаками относятся и дети, наивная, детская непосредственность персонажей идиллии присутствует в «Тарасе Бульбе» только как модус. Новое поколение этого идиллического мира порождено не «родством», не сменой поколений, а выходцами из всех народов, т. е. «духовным родством». В том месте рассказа, когда

Андрей ищет пропитание для матери своей возлюбленной, после чего он предательски покидает лагерь казаков, проявляется момент той (чрезмерно поглощаемой) еды, которая, согласно поговорке, дает ему повод сравнить казаков с детьми.

Идиллический культ предков, подвиги которых часто упоминаются в рассказе и которые в мифически-трансформированном виде «вечно» живы в песнях бандуристов, выражен в веками не прекращаемом почитании «предковского закона» (*Там же*: 35), его передаче из поколения в поколение. Образ самого бандуриста отвечает традиционной фигуре «седого старика» идиллии (*Там же*: 104). Старики, «старые чубы» (*Там же*: 47), появляющиеся в сечи, являются действительными патриархальными законодателями. Они — гаранты и самого высшего закона, «товарищества», пришедшего на смену идиллическому родству. Именно это освобождение метафорически-аллегорической связи от связи физической приводит к преувеличению, гиперболизации идиллии, но на этот раз не с комическим оттенком, как это было в «Старосветских помещиках», а в целях усиления момента патриотизма.

Тарас встречает в сечи только «знакомые лица» (*Там же*: 47). На смену реальным родственным отношениям выступает духовная близость и боевое содружество: «сам гуляк, не имеющий ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей» (*Там же*: 48). Из этого круга «родных братьев» (*Там же*: 60) строго исключены приверженцы другой веры, в частности, евреи. Мотив еды, как один из существенных актов совместного действия в идиллии, возвращается здесь снова, развитый до пира и бражничества казаков. Духовное родство порождается сообществом, совместным житием.

Идиллическая близость товарищей фабрикуется «узами» кодов поведения. Так, «рыцарская честь» (*Там же*: 56), с одной стороны, позволяет начать войну, и требует, с другой стороны, драться до смерти. Поэтому для Тараса его сын «обесчещен» (*Там же*: 87), когда он сидит в тюрьме осажденного Дубно, но не тогда, когда он находится в доме любимой полячки. Гомогенность казачьей идиллии, из которой вырывается Андрей, не допускает других законов, кроме своих собственных.

Идеал идиллического общества неоднократно трансформируется в «Тарасе Бульбе». Во-первых, оно представлено антиидиллически, как содружество воинов. Во-вторых, оно гиперболизировано, почему в нем и доминирует патриархально и иерархически устроенный коллектив. Значение же индивидуума, в противоположность идиллии, значительно редуцировано. И,

наконец, что представляется важным для дальнейшего развития Гоголя, идиллический коллектив впервые изображен как чисто мужской, исключающий женщину.

Исключающий характер этого мужского общества идиллии подчеркивается гиперболизацией его целостности и единства, т. е. гиперболизацией тоталитарности малоросского казачьего мира. Причем Гоголь основывается здесь на народном мнении: «уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал» (X: 57). Целостность, «гнездо» (IX: 224) такого гомогенного коллектива распространяется при этом на всю Украину: («вся сеч молилась в одной церкви» — 2: 50). От этого центра, который — в экстремально растущем представлении о примитивности религии казаков — не ведает никаких границ между природой и культурой, между природой и церковью, разливается казачья воля на всю Украину. Это (агрессивно-) тоталитарное притязание идет еще дальше, распространяясь на всю «славянскую породу» (*Там же*: 102).

Таким образом, модальная суть идиллии «Тараса Бульбы», несмотря на все ее отклонения от мотивов традиционной идиллии, не только развита дальше, но и градирована. Эта градация достигается, прежде всего, тем, что здесь, в отличие от «Старосветских помещиков», автор отказывается от всех первичных реалий идиллии. Вместо этого он реализует их как метафоры, как значимые единицы. Отсюда исходит специфическое, символически-аллегорическое прочтение идиллии «Тараса Бульбы».

7.3. Символически-аллегорическая модальность идиллии «Тараса Бульбы»

В символическом толковании текста идиллии заключатся, по всей вероятности, решающая трансформация и особая релевантность этого литературного жанра в позднем творчестве Гоголя. Подобного рода гомогенно-мистическая, почти утопическая идиллия едва ли появлялась в его творчестве до 1847 года, т. е. до «Выбранных мест из переписки с друзьями». Особое значение для эволюции писателя приобретает тот факт, что символически-аллегорическое толкование «Тараса Бульбы» реализуется как специфически малоросская (украинская) концепция, т. е. аллегорическое прочтение Гоголя, приписываемое, прежде всего, его поздним произведениям, заключено для раннего его творчества в украинском фольклоре, в песнях малороссов.

Малороссия и жизнь казаков представляются собственным, как бы материальным объектом изображения в рассказе. Конечно, можно впасть в заблуждение, сравнивая в этом аспекте литературный текст «Тараса Бульбы» и другие работы Гоголя, посвященные украинскому фольклору и жизни казаков. Не только конкретное место действия, но и персонажи и их поступки являются цитатами из первично-фольклорных источников. Тем самым, прямое значение слова, словесный смысл рассказа уходят на задний план; материальное становится духовным знаком. За счет утраты прямого, дословного толкования выдвинут на первый план «смысл духовный» Малороссии и казачьей жизни (Гончаров 1992: 12).

«Религиозно-символическое сознание», утверждаемое С. Гончаровым лишь для позднего творчества Гоголя, делает возможным и аллегорическое толкование текста «Тараса Бульбы», которое для самого Гоголя представлялось истинным толкованием уже этого раннего рассказа, а не сперва комедии «Ревизор». Сродни роману «Мертвые души», и здесь конкретное пространство места действия воспринимается как моральная идея, пропагандируемая дидактически-педагогически нацеленным автором. Творчески она реализуется, как это показал С. Гончаров для романа «Мертвые души», путем всеобщего взаимоотражения «словесного и спиритического значений», «стихии подобия и замещения» (Гончаров 1992: 78).

Насколько не конкретными являются предполагаемо-конкретные пространственные отношения, автор ясно говорит с самого начала: если сыновьям, по мнению отца, «чистое поле да добрый конь» (2: 30) должны впредь заменить нежности матери, то здесь знакомый из фольклора эпитет «чистое поле» призван обозначать не реальную чистоту, а столь любимую отцом природу, т. е. имеет эмоционально-духовное значение. Так же, как и эпитет «добрый конь», обозначающий не быстроту коня, а скорее, верного друга, к которому казаки относятся с особой любовью. Кроме того, оба мотива определяют казаков законными наследниками богатырей из старинных русских былин, географическим пространством которых была именно Малороссия (Киев). Это о них сказано: «скачут в чистом поле на добром коне». И «светлица» в родительском доме описывается рассказчиком не индивидуально-конкретно, а с точки зрения тех типично идеальных, эмоциональных признаков, которые известны из народных дум и песен. Персонажи тоже не получают ярко выраженного физически-индивидуального характера, как если бы они соответствовали прототипам из песен. Так, о воз-

любленной Андрия сказано, что она «черноглазая» и «белая, как снег». Согласно все тем же законам, мать, оплакивающая смерть сына или мужа, бьет себя кулаками «в белые груди» (*Там же*: 132,135). В «Тарасе Бульбе» полячка сжимает свои «белоснежные зубы», напоминающие «ослепительный блеск зубов» песенных героинь (X: 51).

Изображаемый объективный мир и язык его описания не только сходны между собой, но и гомогенны. Так например, Гоголь (или рассказчик) постоянно возвращается в рассказе к теме могучести казаков и их земли («девственная и могучая почва их» — IX: 222). В «Тарасе Бульбе» могуча вся «славянская порода» (2: 102); даже сам старик-бандурист поет о ней свое «могучее слово». Имя существительное вещественное становится языковым символическим знаком.

В особенности из гоголевской статьи «О малороссийских песнях» становится ясным, что под «широкой землей» и «широкой степью» подразумевается не столько широта географическая, сколько свободная жизнь и «широкая воля» (X: 51). Созвучна ей и музыка, тон жизни: «звуки ея становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские» (*Там же*: 56). В таком спиритически-символическом толковании расширяется не первично-топографическое пространство земли, а душа здесь «расширяется до беспредельности».

Движения украинского народного танца гопака, так же, как и его просодически упорядоченный ритм, гармонируют со стуком лошадиных копыт по земле («стопы тяжело ударяют в землю»). Стихотворный размер народной песни похож на быстро ускоряемый темп казачьих лошадей: движутся они «быстрым хорем» и «шибко летящим амфибрахием» (*Там же*: 55). Поскольку музыкальные тона трансформированы до символического знака, то они способны и «говорить» (*Там же*: 56).

Своими комментариями к малороссийским песням, так же, как и самим текстом «Тараса Бульбы», обосновывает Гоголь аллегорическое прочтение рассказа на фольклорной основе. Посредничеством фольклорно-мифического толкования текст ведет от дословного смысла к «смыслу спиритическому».

8. Подавление малороссийской идиллии

Жанр идиллии отображает продолжительность гармоничного первобытного состояния, которое познает каждый человек во время своего развития в утробе матери. В «Ганце Кюхельгартене»

эта идиллия остается невредимой, в «Старосветских помещиках» она миролюбиво-комическим способом прекращает свое существование, в «Тарасе Бульбе» ей беспощадно объявляется война. Доминирующая в рассказе тема войны не является исторически-конкретной, а с учетом духовно-эмоционального развития человека должна восприниматься аллегорически: война объявляется здесь именно домашне-бабьей идиллии, затянувшейся изначальной защищенности человека, даже если противопоставленной ей может быть только мужская идиллия.

Систематически изживает отец из детей материнское в них, женскую «нежбу» (2: 30). Оберегающе отграниченное женское измерение текста воспринимается как чуждое и потому исключено из рассказа. Н. В. Драгомирецкая определяет стиль «Тараса Бульбы» как «стиль самоотрешений» (цит. по — Есаулов 1995: 44; третья глава этой книги посвящена «Тарасу Бульбе» — Там же: 42—54), отбрасывающий все нереализуемые слои жизни. Хотя единственно нереализуемыми предстают в рассказе те моменты, где на сцене появляется женский образ, подставленный под удар мужской агрессивности.

Взамен матери, Тарас предлагает сыновьям с самого начала саблю, фаллический предмет противоположного мужского мира. Сыновья по-разному реагируют на это его предложение. Остап — по следам отца — переходит на сторону целостного мужского мира; Андрий, принадлежащий более к женскому измерению в рассказе, терпит в этой борьбе крах. Он отказывается от служения отцу, в том числе и от служения коллективному отцу, атаману, и предлагает его своей (индивидуальной) «царице» (2: 80), красавице-полячке, которую он пленной находит в осажденном Дубно. Там он открыто отказывается от триединства «отец, товарищи и отчизна» (Там же: 83), отдаляясь, тем самым, от Украины, как от своей родины. В этом триединстве заложена гиперболизация отцовско-патриархального и мужского начал. Отчизна является здесь абстрактным выражением не отца, и без того неконкретного и неиндивидуального, а отцовско-патриархального принципа. Что касается «товарищей», то они соотносены здесь вдвойне с мужским началом в рассказе: во-первых, как лица мужского пола и, во-вторых, как коллектив (согласно Лацану, коллектив носит мужской характер).

От этой гиперболизированной мужественности отца и этой украинской отчизны освобождается Андрий, противящийся реализации этого (мужского) уровня своей жизни. При виде любимой женщины Андрий вспоминает мать: и все ушедшее в прошлое

«разом всплыло на поверхность» (*Там же*: 70). С образом Андрия положен конец заглушению чувств, их подавлению в повести. Вместе с любимой он по-новому определяет понятие «отчизны», центром которой для него становится женская душа («отчизна есть то, чего ищет душа» — *Там же*: 83). Отчизной оказывается отныне — аллегорический, спиритически-эмоциональный образ родины, в котором есть место для женщины. За эту свою веру Андрий гибнет от мужской руки, руки отца, давшего название всему рассказу. Интересно, что не Остап, погибший, мужественно перенеся пытки, ни разу не вспомнив перед лицом смерти свою «слабую» мать, становится для автора истинным героем рассказа, а Андрий. И опять-таки речь идет не об исторически-конкретном воинском геройстве, при котором Андрий отказывается отсечь фаллической саблей «женское» в себе. Рассказчик «Тараса Бульбы», близкий самому автору, восклицает почти также рапсодически, как и рассказчик в конце «Мертвых душ»: «Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявших защищать ее!»

В спиритическом прочтении рассказа Андрий воспринимается как герой, ибо он смог воспротивиться насильственному заглушению чувств, сотворившему позднее из гоголевского героя нос. Гротескно-демоническое отделение, раз(ъ)-..., породившее впоследствии изнеженную фигуру человека в шинели, до такой степени анально зафиксированную на гротескном уродстве, здесь, при изображении фигуры Андрия еще избегается в пользу идиллически-гармонического единства обоих измерений человеческого существования.

Только такой, теснейшим образом с матерью и «матерью-Украиной» связанный герой, по выражению автора, в состоянии на протяжении долгого времени и с успехом служить отчизне. Почему именно такой не-мужской герой?

Причина этого выбора заключена в сходстве образа юного Андрия и образа не менее «юной» страны и народа Малороссии («юное бытие» X: 50), в сходстве индивидуальной биографии героя и индивидуальной истории страны. В статье «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь называет Украину настоящей отчизной (IX: 220) «чистых славянских племен», местом «славянской мифологии» и, таким образом, семантическим пространством доисторического детски коллективного существования. Типично, что эта Малороссия (сам выбор названия страны несет в себе далеко идущие символические импликации (!)) «беззащитная, открытая земля» (IX: 223). Гоголь говорит о «бесприютном положении тогдашней Малороссии» (*Там же*: 56). Жен-

ско-бытовые песни, с одной стороны, и казачьи, с другой, выражают тоску, пробудившуюся в результате потери изначально-го, эмбрионального чувства защищенности (*le desir*). Тоска ищет компенсации тому, от чего отреклись и что заглушили. Индивидуальная человеческая биография и история Малороссии должны поэтому уже в песнях рассматриваться, как сходные между собой: «Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться, жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии?»

Схожими кажутся и беззащитность маленького ребенка и «малой» России. Андрий же, благодаря тому, что он доисторическое время, связанное с женским началом, изначальное время у матери, у женщины не подавляет в своем сознании, а, наоборот, интегрирует в свою жизнь (ценой смерти), способен спасти и саму изначальною мать — Малороссию.

Для мужского общества казаков в их империи сабель женское остается по-прежнему исключенным из изображаемого объективного мира. Затаенно оно появляется на уровне значимого элемента только тогда, когда говорится, что казаки въезжают в «девственную» степь, или когда степь-«красавица» принимает их в свои «объятия».

На этом же значимом уровне общество казаков отодвигает на задний план индивидуальную, в особенности первично-индивидуальную биографию, в пользу коллектива и коллективной биографии. Казаки отказываются от реализации этого индивидуального слоя жизни для того, чтобы сохранить гомогенность своего общества (ср. — *Вайсконф* 1993: 58). В этом и заключается новое, символическое понимание «жестокости» казаков. Поэтому та жестокость, которая допускает убийство ребенка, должна быть интерпретирована как жестокость, которой казаки — символически — разрушают свое собственное изначальное детство.

Ранкур-Лаферрьер справедливо указывает на типичные для творчества Гоголя расперсонализованные фигуры, с одной стороны, и персонализированные предметы, с другой (*Rancour-Laferriere* 1982: 211). Последние нередко ответственны за особую комику и гротеск в произведениях Гоголя. Первыми фигурами, лишенными в творчестве Гоголя всяческой комики, являются казаки из рассказа «Тараса Бульба», список которых возглавляет сам Тарас, сыноубийца. Общество казаков, в котором доминирует исключительно мужское начало, своим строгим регламентом приказаний, являющимся у Гоголя экстремальным литературным выражением изначальной, анальной иерархии рангов, ставит, в кон-

це концов, в центр внимания мир возвышенной, одухотворенной гомосексуальности, мир, терпящий крах уже на этой, ранней стадии своей эволюции. Как чисто мужское, это общество не может быть идиллическим: оно не способно возобновляться, оно убивает своих детей, в конце концов, оно кастрирует само себя.

Андрей отвергает этот мир, хотя он противопоставляет мужскому миру свою привязанность к миру женщины пока еще по-мужски. Он демонстрирует ту храбрость, которой не хватает поздним героям Гоголя: Акакий Акакиевич прячется за шинелью, как за оберегающие и согревающие стены дома (*Rancour-Laferriere* 1982: 148), как за «подругу»; по словам Ермакова, он — уже выражение «мужской слабости». Идиллическое единство силы и мужского начала при одновременном включении в действие женского общества (подруги) остается в произведениях Гоголя утопией. Той утопией первичного идиллического единства и гармонии, которая будет преследовать «женственные» мужские персонажи позднего Гоголя до смерти.

Примечания

¹ Эти замечания базируются на разработках темы «Идиллический хронотоп в романе» в работе — *Bachtin* 1989: 426—427.

² Публикация книги *Гончаров* 1992 — яркое событие в области исследования гоголевского наследия, еще не получившее своей заслуженно-высокой оценки.

³ Такого мнения придерживается Ю. Барабаш, автор великолепной книги об украинских компонентах в творчестве Гоголя. Подобно Гончарову, он называет «гоголевский барок» украинским. См. — *Барабаш* 1995.

⁴ Совершенно другой текстуальный пример реализации идиллии, содержащий в себе многие схожие мотивы (в частности, обеденные оргии, чрезмерно натопленные жилые комнаты, «праздность и скудость ума», критика городской жизни и т. п.) приводит И. Кляйн в своем исследовании романа И. А. Гончарова «Обломов» (*Klein* 1994: 224, 225, 231).

⁵ Одна небольшая, всего в одну страницу, глава в «Учебной книге словесности», опубликованная уже после смерти Гоголя, озаглавлена «Идиллия» — *Гоголь* 1900, XII: 18—19.

⁶ Аналогично описывает А. Слонимский комику ранних произведений Гоголя как «веселость» (см. — *Слонимский* 1923: 26—27).

⁷ Идиллический и богословский аспекты объединяет Н. В. Лесогор в статье «Идиллия в творческом самосознании и художественной практике Н. В. Гоголя» (*Лесогор* 1987: 67).

⁸ Рассказчик «Старосветских помещиков» называет неидиллических малороссов, покидающих родную идиллию и «навондяющих Петербург» (2: 9) «низкими малороссиянами» (!). Переправляя «малоросское» *о* в окончаниях своих фамилий на «великоросское» *в*, петербургские малороссы предают свою идиллию.

⁹ О психологически-поэтическом аспекте в произведениях Гоголя см. — Ермаков (1924); Young 1979: 82—83; Rancour-Laferriere 1982.

Библиография

Барабаш 1995 — Барабаш Ю. Я. Почва и судьба: Гоголь и украинская литература. У истоков. М., 1995.

Вайскопф 1993 — Вайскопф М. Сюжет Гоголя: морфология, идеология, контекст. М., 1993.

Гоголь 1900 — Гоголь Н. В. Собр. соч. / Под ред. Н. С. Тихонравова: В 12 т. Изд. 15-е. СПб., 1900.

Гоголь 1984 — Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984.

Гончаров 1992 — Гончаров С. А. Творчество Н. В. Гоголя и традиции учительской культуры. СПб., 1992.

Ермаков (1924) — Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. М.; Пг., (1924).

Есаулов 1995 — Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения: Миргород Н. В. Гоголя. М., 1995.

Лесогор 1987 — Лесогор Н. В. Идиллия в творческом самосознании и художественной практике Н. В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики в анализе литературного произведения. Кемерово, 1987. С. 61—67.

Манн 1978 — Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1978.

Слонимский 1923 — Слонимский А. Техника комического у Гоголя. Пг., 1923.

Смирнов 1979 — Смирнов И. П. Формирование и трансформация смысла в ранних текстах Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Russian Literature. VII. 1979. P. 585—600.

Bachtin 1909 — M. Bachtin. Formen der Zeit und des Chronotops im Roman: Untersuchungen zur historischen Poetik (9-я глава) // Bachtin M. Untersuchungen zur Poetik und Theorie des Romans. Berlin; Weimar, 1989.

Klein 1994 — Klein J. Gontscharovs «Obломov», Idyllik im realistischen Roman // I. A. Gontscharov. Leben, Werk und Wirkung / Hrg. Peter Thiergen. Keln; Weimar; Wien, 1994. S. 217—245.

Lotman 1974 — J. M. Lotman. Das Problem des künstlerischen Raums in Gogol's Prosa // Lotman J. M. Aufsätze zur Theorie und Methodologie der Literatur und Kultur. Kronberg, 1974. S. 272—320.

Rancour-Laferriere 1982 — Rancour-Laferriere D. Out from Gogol's Overcoat: A Psychoanalytic study. Ann-Arbor, 1982.

Young 1979 — Young D. Ermakov and Psychoanalytic Criticism in Russia // Slavic and East European Journal. 1979. № 23(1). P. 72—86.

Vos 1972 — Vos J. H. Werke in einem Band. Berlin; Weimar, 1972.

О. В. Евдокимова
С.-Петербург

Эстетика и формы самосознания Н. С. Лескова (на материале критического и эпистолярного творчества писателя)

Никогда не исключавший себя из числа писателей «реального направления», Н. С. Лесков, как известно, был постоянным противником любого «направленства». Его критические работы содержат немало горячих протестов против классификации писателей по рубрикам «реалистов» или «идеалистов». Так, в частности, он страстно спорит с Н. Н. Страховым, который, уже прочитав «Войну и мир» Л. Н. Толстого, все-таки продолжал говорить об авторе романа как о реалисте: «Другой, тоже философствующий рецензент, классифицируя творческие силы автора и стараясь проникнуть во святая души его, нашел истинно замечательный способ записать графа Толстого в особую категорию *реалистов*¹, категорию, которая, впрочем, не имеет ничего общего с так называемыми на языке наших философских критиков „грубыми реалистами“. Замечательный вывод, одновременно свидетельствующий и о верности собственных представлений критика, угнетаемой потребностью классификации, и о всяком отсутствии в нем столь необходимой для критического писателя чуткости!» (Лесков 1956 — 1958, V: 143—144).

Сам Лесков считает, что если невозможно противиться необходимости зачислить Толстого по какому-либо «отделу истов», то правильнее всего было бы назвать его «спиритуалистом»: «Мы говорим о *спиритуалистах*, сильных и ясных во всех своих разумениях дел жизни не одною мощию разума, но и постижением всего «раскинутого врозь по мирозданию» владычным духом, который «в связи со всей вселенной, восходит выше к божеству»...» (X: 145).

Лесков закономерно выбирает здесь слово «спиритуалист», имеющее отношение не только к писательству, а характеризующее личность в целостности ее духовно-мистической сущности.

Эстетические установки и поэтика Лескова на протяжении всего его творческого пути зависели от длящегося пребывания писателя в состоянии активного самосознания.

Самосознание как творческая цель связано у Лескова с его пониманием «жизни», совпадающим во многом с тем, которое, складываясь в русской литературе на протяжении всего XIX века, наиболее полно оформилось в творчестве Л. Н. Толстого. В области философских созерцаний достаточно близким Лескову оказалось представление о «жизни», возникшее на рубеже XIX–XX столетий в так называемой «философии жизни», виднейшим представителем которой стал А. Бергсон, мыслитель, аккумулировавший многие из антирационалистических тенденций предшествовавших культурных эпох. Своеобразный, хотя и не обозначенный прямо, отклик мышление Лескова получило и в русской религиозной философии конца XIX — начала XX веков, более всего в системах Вл. С. Соловьева и С. Л. Франка. Самосознание в этих традициях — познание себя, обретение своего места «в составе вечного всеобъемлющего единства бытия» (Франк 1995: 561). С точки зрения Франка, религиозность и самосознание по сути одно и то же. Вл. Соловьев полагает, что именно самосознание выделяет человека среди природного мира как «высшее внутреннее потенцирование света и жизни» (Соловьев 1990: 389).

В критических работах и письмах Лескова постоянна мысль о невозможности полноты самосознания. Но существует она при абсолютной убежденности писателя в необходимости самосознания как пути и состояния. «Я тоже так думаю, — писал Лесков А. К. Чертковой уже в конце жизни, — что определительного познания о Боге мы получить не можем при здешних условиях жизни, да и вдалеке еще это не скоро откроется, и на это нечего досадовать, так как в этом, конечно, есть воля Бога» (XI: 577). Самого себя переделать тоже почти невозможно, — такова еще одна из опытных истин, постигаемых Лесковым на жизненном пути. Однако и она ничего не меняет в самой настоятельности самосознания. Вдохновленный опытом Л. Н. Толстого, Лесков писал А. С. Суворину: «... несомненно, что намерения производят решимость, а от решимости усилия, а от усилия привычка, и так образуется то, что называется „поведением“. Припомните-ка, каков был Л. Н-ч., и сравните каков он ныне!.. Все это сделано усилиями над собою и не без промахов и „возвратов на своя блевотины“» (XI: 452). Лескову также нужно было делать «над собою» исключительные усилия. Он обладал неукротимым темпераментом, был болезненно мнителен, мучил себя и других злыми реакци-

ми, при знании и ощущении в себе идеала в решении земных дел он, тем не менее, зачастую исходил только из личных желаний и страстей, при глубочайшем понимании своих пороков не имел порой достаточной самокритичности.

Процесс бесконечного и мучительного самосознания очевиднее и определительнее всего фиксируется в критическом и эпистолярном творчестве Лескова. Взаимосвязи между эстетикой Лескова и, с другой стороны, формами его самосознания, — литератор, писатель, практик, мистик, рассказчик-мемуарист, «мнемонист», — обнаруживают противоречия между его натурой и, с другой стороны, религиозными и художественными идеалами писателя. Вместе с тем они проливают свет на особый характер его поэтики — мнемонической поэтики.

1

Лесковская критика не принадлежит ни к одному из известных направлений русской критической мысли второй половины XIX века. Менее всего ее можно расположить в пределах «эстетической критики», но нельзя отнести и к «реальной» и даже «органической» критике во многом близкого писателю А. А. Григорьева. Нет у Лескова и критических статей в том каноническом их понимании, какое свойственно русской культуре XIX века. Он писал об очень многих: об Л. Толстом, Достоевском, Тургеневе, Гончарове, Писемском... легко назвать целые ряды других авторов, «меньших дарованиями», которые попали в поле зрения писателя. Но нельзя сказать, что предметом рассуждений в этих статьях становится по преимуществу творчество того или иного художника. Если Лесков говорит о Т. Г. Шевченко, то в центре оказывается последняя встреча с ним или, в другом очерке, вопрос: «Забыта ли Тарасова могила?»; если о Тургеневе, то — отказ последнего от творчества, его обида на русскую публику; если об Л. Толстом, то — событие выхода в свет пятого тома его романа «Война и мир» или причины противоречивого восприятия в обществе толстовской философии «непротивления»...

Более того, Лесков упорно настаивал, что он никогда не хотел писать и не писал собственно критических разборов. Статья о Чернышевском имеет подзаголовок «Письмо к издателю». Автор специально предупреждает читателя, что, намеренно не ознакомившись ни с одной критикой о романе «Что делать?», спешит высказать «собственное мнение». Подробно, детально раз-

рабочая рецензия на роман Толстого «Война и мир» не более, чем «отчет», с точки зрения пишущего. Чаще всего Лесков любит поговорить «по поводу», как, в частности, в очерке «Геральдический туман. (Заметки о родовых прозвищах)», посвященном книге Е. П. Карновича «Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими».

Объяснения, которые дает писатель, отказываясь заниматься критикой и характеризуя современное ему состояние ее, многообразны. Во-первых, прошло или еще не настало время для настоящих критик. Во-вторых, он помещает свои опусы в газетах, а критику надо писать для журналов. Но последние все «разобраны» по каким-либо направлениям и, следовательно, в журналах можно помещать только «направленную» критику.

«Что ни писали гг. критики об упадке русской литературы в последнее тридцатилетие, верно вполне — только в упадке сама критика. В ней исчезли не только многообъемлемость знаний и таланты, но даже нет простой деловитости, нет самого простого качества, присущего человеку, одаренному здравым смыслом. Отсюда и бестолковость, и ложь, и кривлянье» (Лесков 1984: 135—136) — так в 1886 году Лесков резюмирует свои мнения о состоянии критической мысли его времени.

Отрицание здесь столь активно в силу того, что для писателя были живы и актуальны не только «образцы» критических дарований, которым необходимо следовать, в частности, В. Г. Белинский или Т. Карлейль, но и критический идеал. Высокий идеал и сложная натура препятствовали Лескову находить в периодической журналистике содержание, полезное для него самого и для литературы в целом.

Дельная, основательная, детальная статья требует от критика, по Лескову, трудолюбия, бесконечных розысков, «систематичности и памяти» (XI: 113). Главное же для критика — критический талант, заключающий в себе умение «соперничать с самим автором» (XI: 113) в тех дарованиях, которые составляют суть последнего. Соперничать в дарованиях — значит, прежде всего, понимать их. Идеальная критика, по Лескову, и должна осуществлять функцию чистого или абсолютного понимания, иными словами, критика — и есть понимание.

Лесковская жажда идеальной критики, то есть понимающего другого, несомненно, имеет субъективные истоки. Ждущий настоящей «литературной оценки» и ловящий всякое критическое суждение о себе, Лесков не получил и того минимума откликов, который был у каждого большого писателя в русской литературе

второй половины XIX века. Между тем, он изнемогал без критики. Еще в 1871 году Лесков умолял П. К. Щебальского: «Я ведь, работая восемь лет, еще ни одного слова критики не слышал... Каково это? Писемский (спасибо ему) сетует об этом. Я бы, кажется, воззрился в себя и окреп бы скорее, если бы мне кто-нибудь помог советом и указанием рода моих сил и преимуществ и недостатков моей манеры и приема. Ради бога и любви моей и моей веры в Вас: не читайте моих сочинений без пользы для меня, а напишите в назидание мне критическую статью обо мне» (XI: 313).

Пройдя путь, Лесков обретет особое отношение Л. Н. Толстого, но нужной критической статьи о себе так и не прочтет. Дело не только в том, что никто не смог понять писателя или некому было и понимать. Лесков хотел непосильного от «земного» критика: разъяснения себя. Не только своей манеры, «пошиба» (кстати, это отчасти делалось), но он хотел разъяснения того, в чем он творец по преимуществу, анализа своей сущности. Отрицательные отзывы не воспринимались им как разъяснения, натура реагировала, прежде всего, на «брань», в результате чего рождалось чувство несправедливой обиды. Писатель же добивался от критики помощи на пути самосознания, то есть понимания лучшего в нем. Но ведь даже с помогавшим ему Толстым это получалось в результате редкого «совпадения» и, естественно, только в относительной мере.

2

«Литературный мир» — центральный топос лесковской критики. Населен он большими или меньшими «литературными дарованиями», переполнен «литературными явлениями». Развитие «литературного мира» подчинено «литературным периодам». «Сама жизненная среда литераторов» (X: 55) под влиянием «литературных нравов» изобилует «литературными процессами» или «большими бранями», которые увлекают публику своими «полемическими приемами».

Порождаются «литературным миром» и свои типы. Наиболее «нахальный» из них — тип «литератора-красавца». Привычный ко всему Лесков, говоря о писателе В. П. Авенариусе, то есть характеризуя тип «литератора-красавца», не удерживается и восклицает: «С литературой нашей в последнее время поступали часто весьма странно: с ней обращались как с орудием партий, как с

лавочкой, в которой выгодно торгуется тем или другим товаром, но с ней еще никто никогда не обращался как с средством рекламировать перед публикою стройность своего стана, эластичность своих мышц, блеск голубых очей, свое остроумие, великое обаяние своих талантов, свою храбрость с мужчинами и свою непобедимость у женщин» (X: 41).

«Литературный спор» в этом мире имеет устойчивую структуру: заговорят о деле, перейдут к личностям, закончат сплетней. Нет здесь такого литератора, с точки зрения топографа этого мира, который не был бы изруган и оскорблен, а многие почитаются за что-нибудь доносчиками или, что совсем не так плохо, учитывая оценки такой среды, просто подлецами. Лесков числит себя, конечно, среди обруганных и опозоренных, более того, с клеймом доносчика; даже среди почти совсем исключенных из «литературной семьи» в связи со скандалом вокруг его романа «Некуда». Только жертвенное служение литературе может удержать здравомыслящего человека от того, чтобы не убежать с тернистого пути. Однако исполняющих такое служение немало. Вне же этого мира, по Лескову, стоит только один писатель — Л. Н. Толстой.

Лесков, как уже ясно из сказанного, рисует картину «литературного мира», неизменно пользуясь созданными им устойчивыми выражениями (Столярова 1984: 29), почти формулами, типа: «литературный спор», «литературные нравы», «литературный характер»... Каждая критическая статья писателя, естественно, появилась в свое время по своему определенному поводу, со своей конкретной задачей. И тем не менее, лесковская критика, взятая как целое, представляет неколебимую в своей законченности и неизменности, застывшую, несмотря на ход времени, картину «литературного мира», существующего в своих основаниях вне всякой эволюции.

Субъективная причина такого взгляда в том, что Лесков крайне остро осознавал себя литератором, можно сказать, обладал «комплексом» литератора. Ни Л. Толстой, ни Чехов не видели в себе прежде всего литераторов. Лесков же глубоко погружен в «жизненную среду литераторов», и воспринимает литературу как совершенно суверенную область культуры и жизни в силу того, что он, может быть, единственный в русской литературе второй половины XIX века писатель границы. Как литератор, Лесков всецело принадлежит настоящему, даже «злобе дня», но смотрит на нее с точки зрения «вечности». И с этой точки зрения писатель, по Лескову, — мудрец и мученик.

В своих размышлениях о высоком предназначении писателя он опирается на умозаключения как романтика Т. Карлейля, так и позитивиста И. Тэна: «И вот почему, — не в силу моды, а в силу факта — лучшие мыслители нашего времени — недавно умерший Карлейль и еще наслаждающийся всеми благами просвещенной жизни Тэн — отводят литературе и литераторам самое видное место среди деятелей известной эпохи. Литература — это как бы дыхание, носящееся поверх хаоса, который она отражает, но сама не пачкается в его тине» (Лесков 1984: 36).

Если же свести воедино по-лесковски «земную» картину «литературного мира» и высказанное, как в процитированной рецензии на «Словарь писателей древнего периода русской литературы», так и в других статьях, представление о писательстве как о «чистом духе», то такого рода мировоззренческие сочетания едва ли составят целостность. Она была в романтических созерцаниях Карлейля (Карлейль 1994: 6—199), но ее уже не могло быть в критическом творчестве писателя «реального направления» — Лескова. Даже на уровне темы в его критических статьях отдельно существуют «житейские мелочи» и вечная мудрость. При постоянном стремлении к синтезу Лесков все-таки почти всегда писал о литературном явлении или в связи с «мимолетным случаем жизни» или с точки зрения идеала.

Литератор-писатель, — эта форма самосознания в реальности творческой практики Лескова оказывалась источником неразрешимых противоречий. При такой двойственной ориентации затруднялось осознание себя, и понимание другим — критиком — становилось, действительно, жизненно необходимым.

3

Метафорика рассыпанных по критическим работам и письмам Лескова оценок, возникающих по поводу произведений других авторов и собственного творчества, содержит и точки зрения, существенные для глубинных форм самосознания писателя.

Самые устойчивые и положительные из метафорических оценок Лескова таковы: «художественно», «жизненно», «правдиво». Склонность к метафорике объяснима: критика Лескова — писательская критика. Содержательную сторону оценок легко пояснить принадлежностью лесковских критических работ к культуре второй половины XIX века: редкий труд того времени обходился без какого-либо из подобных слов и характеристик.

Всеобъемлющая оценка представлена в письмах и критике писателя выражениями с главным словом «жизнь» и его производными: «живая связь», «живые сцены», «живые лица», «живой случай», «живое чувство», «живое (...) не целиком выдуманное», «жизненное значение», «сила жизни», «живой дух веры», «дух жизни»...

Как писатель «реального направления», Лесков просто в силу исторической необходимости должен был разделять и разделял внимание эпохи к действительности. Более того, Лесков, лично для себя, исходя только, как он настаивал, из собственного впечатления и мнения, находил, например, в программно реалистическом романе Чернышевского «Что делать?» глубокую пользу для жизни. Герои романа поняты им как люди добрые, так как критик полагал «...очень практичным делать в настоящее время то, что они делают в романе г. Чернышевского» (X: 21). Показательно также, что в главном эта статья Лескова посвящена вовсе не роману «Что делать?» и его героям, а тому, как и каким «открыл себя» в нем автор — Николай Гаврилович Чернышевский. Открывшаяся здесь «субъективность» его близка Лескову. Чернышевский вызывает сочувствие Лескова, во-первых, как творец культуры реализма (см.: *Паперно* 1996), особенно форм бытового поведения, но в определенной степени и этико-философских взглядов. Не будучи, как Чернышевский, центральной фигурой русского реализма, Лесков во многом был все же плоть от плоти ее. Он не только страстно любил находиться в «волнах житейского моря» (X: 92), но понятие «жизни» в его сознании занимало такое же определяющее место, как и у создателя формулы «прекрасное есть жизнь».

Одна из задач критического очерка Лескова о Чернышевском утверждение в сознании читателя моделей поведения, которые автор «Что делать?» стремился внедрить в жизнь. При этом критик пользуется теми же приемами, что и романист. Основной — снятие всяких границ между жизнью — реальностью, с одной стороны, и искусством, с другой. Правда, Лескову понадобилась существенная оговорка, чтобы потом свободно пользоваться этим приемом. В статье Лескова Чернышевскому совершенно отказано в какой-либо степени художественности, в умении живописать. Природа его творчества, — а таковая за автором «Что делать?», безусловно, признается, — связана не с беллетристикой, не с писательством, то есть не со словом. Чернышевский, с точки зрения критика, деятель, знающий, что сейчас надо делать: как работать, чтобы получать выгоду, как устроить быт, как остаться свободным в любви, то есть как быть практичным.

Здравый смысл, деятельность, практичность — конструктивные качества личности самого Лескова. Его переписка, к примеру, — это по преимуществу письма делового человека, привыкшего ценить свое и чужое время, быть точным и исправным в работе, делать ее неотложно в срок, предназначать «вещь» для определенного журнала и очень огорчаться, если она туда по каким-либо причинам не попадала. Претензий к себе в делах писатель не выносил, так как имел внутреннюю уверенность в своей практичности и деловитости. Если же кто-либо находил изъяны в этих его свойствах, он обрушивал на того гнев праведного. Пример — письмо С. Н. Шубинскому 1883 года, то есть середины пути: «То я Вас „поставил в затруднение“ объемом статьи; то „Синодальные персоны“ многим „не нравятся“ (и между прочим тупице Майкову, который столь же понимает в литературе, как свинья в апельсинах), то я не так деньги получил... Тьфу! Да что за черт такой! Я всегда точен, всегда аккуратен и на меня в делах жалобы не терплю. Я ее не заслуживаю» (XI: 273).

Агрессивное, в известной степени, утверждение своих достоинств возникает у Лескова, во-первых, оттого, что их не замечают и не ценят; в истоке здесь, таким образом, лежит обида на несправедливость. Во-вторых, Лесков действительно ощущает себя практичным, так как это ощущение писателя совпадает с внутренне присущим ему знанием идеала практичности.

Лесков-критик приписывает Чернышевскому, вернее, просматривает через героя критического очерка свои свойства деятеля-практика. Но у Лескова эти свойства, действительно, лежат в основании его личности. В случае же с Чернышевским не избежать вопросов, например, о том, практик он или деятель-теоретик, и насколько то, что он проповедует, имеет отношение к его сущности. Лесков их не ставит, так как для него важнее, что «субъективность» Чернышевского, понятая в определенном ключе, позволяет узнать себя и утвердиться в ценности известных свойств.

Практичность, знание опытов жизни, здравомысленность — одни из главных среди творческих свойств критика и писателя Лескова. Он «работает» с жизненным материалом и со словом как мастеровой. Процесс этот зафиксирован в главных своих моментах в «Авторском признании» («Открытое письмо к П. К. Щербальскому»), опубликованном в 1884 году. Здесь собраны воедино рассыпанные прежде по многочисленным статьям, письмам, репликам наблюдения Лескова над своей творческой манерой: «В

статьях Вашей газеты сказано, что я большею частью *списывал* живые лица и передавал действительные истории. Кто бы ни был автор этих статей, — *он совершенно прав*. У меня есть наблюдательность, и, может быть, есть некоторая способность анализировать чувства и побуждения, но у меня *мало фантазии*. Я выдумываю тяжело и трудно, и потому я всегда нуждался в живых лицах, которые могли меня заинтересовать своим духовным содержанием. Они мною овладевали, и я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительные события» (XI: 229). В сжатом виде лесковская характеристика предстает такой: «списывал» «действительные события» и «живые лица», которые им «овладевали», так как способен в «наблюдательности» и в анализе «чувств и побуждений». Этой самохарактеристике трудно не поверить: во многих случаях на протяжении творческого пути Лесков доказывает правдивость изображенного им тем, что не выдумал, а только «выписал» или «списал». За отработку или переделку материала он часто просто не берется, если в нем не содержится ярких характеров: «Рукопись о переяславском бое получил и прочел. Не думаю, чтобы из нее можно было сделать что-нибудь хорошее — лиц не видно, — писал он, отклоняя просьбу одного из издателей. — (...) Хорошо иллюминировать те истории, где можно живописать характеры, а тут просто „протокол“» (цит. по Данилов 1908: 165). Судя по самохарактеристике, именно материал — *жизнь* — побуждает Лескова к творчеству, выпишется же что-то или нет, это зависит от жизненной канвы; без необходимых качеств в «материале» мастер не возьмется за его обработку.

К художественным приемам Лесков относился тоже подобно мастерскому. Остерегался ошибиться «в приеме», постоянно обогащал, черпая из традиции, набор средств, которыми можно «взять» ту или иную тему. Можно сказать, что с мировой литературой писатель обходился крайне трезво, расчетливо, по-деловому, то есть практически. Поэтому независимо оттого, о ком говорит Лесков-критик, оценивая «техническую» сторону творчества, он всегда имеет в виду одно и то же. И для Л. Толстого, и для себя, и для П. Боборыкина набор профессиональных умений неизменен. Оцениваются: замысел, форма или «постройка», развитие характеров, «рисовка» или «живопись», «отделка» вещи, ее «жизненное значение», «субъективность» автора, выражающая в произведении или нет.

Век позитивизма обнаружил в «свойствах творчества» (X: 102) Лескова органическую практичность земного здравомыслящего

человека, понимаемую им как свойство, присущее самой жизни. Эту сторону своего дара писатель всегда осознавал как сильную, и критический взгляд другого здесь нужен был ему в аспекте признания, а не «разъяснения».

Понимания и «разъяснения» требовал не практик. Завершающий жизненный путь писатель, обращаясь к своему родственнику и начинающему литератору Б. М. Бубнову, формулировал творческие установки для него уже только в духе мистического реализма: «Мне кажется, что ты все думаешь, что более всего важна прелесть стиха, а не сила и ясность животворящей мысли... Это ведь ошибка. Зови к жизни тех, кои уже столь давно умерли, что даже „смердят“. Иначе на что все искусства и в числе их поэзия! Скука только от всего этого

Н. Л.

Мне лучше быть с тобой в бордели, в кабаке
И промышленьями заветными делиться,
Чем без тебя, мой Бог, идти в мечеть молиться» (XI: 501).

Понятия «жизни», «творчества» и «веры» образуют в этом высказывании писателя единство позиции. В подобных критических рефлексиях Лескова отражается свойственная как ему, так и многим в русской культуре второй половины XIX века, тяга к «положительной эстетике» (Вл. Соловьев). Путь поисков в этом направлении пролегал тоже через эстетику Чернышевского, но более — через творчество Достоевского и Толстого — к русской религиозной философии. Вл. Соловьев именно с точки зрения «положительной эстетики» принял «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского: «Отвергнуть фантастическое отчуждение красоты и искусства от общего движения мировой жизни, признать, что художественная деятельность не имеет в себе самой какого-то особого высшего предмета, а лишь *по-своему* (курсив автора — О. Е.), своими средствами служит общей жизненной цели человечества, — вот первый шаг к истинной, положительной эстетике» (Соловьев 1990: 553).

Духовно-мистическое содержание творчества Лескова закрывалось для читателя и его практичностью и его писательской искусностью. Мистика в нем видели лишь немногие, а сам он говорил об этой стороне своего дара как о тайне и в редкие моменты. «Еду однажды с ним ночью, — сообщает Чехов брату Александру. — Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: „Знаешь, кто я такой?“ — „Знаю“. — „Нет, не знаешь... Я мистик...“ — „И это знаю“» (Чехов 1994: 88).

Целостность творческой «субъективности» Лескова размыта, и синтезу на пути осознания истины бытия как жизни (Франк 1995: 37—416) препятствуют автономные установки практика и мистика.

4

В критике Лескова есть только одна статья, в которой во многом сняты противоречия самосознания писателя. «Практик» и «мистик» смотрят в ней с одной точки зрения на роман Л. Толстого «Война и мир».

Рецензия «Герои Отечественной войны по гр. Л. Толстому. «Война и мир». Соч. гр. Л. Н. Толстого. Т. V. 1869 г.» появилась в критическом творчестве Лескова достаточно рано, почти в начале пути. Осознанные «совпадения» с Толстым зрелых лет жизни писателей еще были впереди. Однако и здесь «совпадения» для Лескова оказались если не абсолютными, то близкими к таковым.

Отказавшись от создания традиционной критической статьи, во вступлении к своему сочинению Лесков предложил читателю художественно-философское критическое исследование, которое расположилось в пределах его собственного представления об идеальной критике.

В первой главе рецензии названы ее задачи. Одна из них: «...познакомить своих читателей с интереснейшими деталями исторических дней двенадцатого года» (X: 97). Задача для критика художественного произведения необычная и требует пояснений. Если даже допустить, что роман «Война и мир» — точнейшее историческое исследование, то все равно трудно найти основания, по которым можно полагать «детали исторических дней двенадцатого года», изображенные здесь, в полной мере «историческими». Но Лесков уверен, что история в хронике «Война и мир» подлинная, то есть такова, какой была в 1812 году. При этом он совсем не смотрит на роман Толстого как на историческое исследование и не пишет «критический разбор», а лишь «отчет». Пределы взгляда критика ограничиваются позицией прочитавшего роман «рассуждающего смертного». Так — «Рассуждающий смертный» — называется первая глава рецензии.

Может показаться, что позиция, избранная Лесковым, сужает горизонты его взгляда до личного впечатления. «Детали исторических дней двенадцатого года» при этом, действительно, будут «историческими», но лишь в восприятии самого критика.

Однако суть позиции Лескова в том, что его взгляду, который остается предельно личным, сообщается трансцендентальный подтекст. Рецензия написана с точки зрения человека, полного игры жизни, но ни на минуту не забывающего о смерти. Отсюда главная тема ее первой главы: переживание описания смерти князя Андрея. Изображенное Толстым явилось бесконечно утешительным для читающего Лескова. Утешением же он делится со своим читателем: «Это не шекспировское „умереть — уснуть“, ни диккенсовское „быть восхищенным“, ни материалистическое „перейти в небытие“, — это тихое и спокойное „пробуждение от сна жизни“. Глядя таким взглядом на смерть, — умирать не страшно. Человек уходит отсюда, и это хорошо» (X: 101).

Одновременно: с точки зрения откровенно личной и вечной (жизнь — смерть) Лесков и видит изображенное Толстым «историческим».

По форме критика Лескова — не что иное, как комментированный пересказ романа «Война и мир». Выписки из текста Толстого в иные моменты заслоняют слово критика. Но в том и цель: слить свои рассуждения и художественные картины в своеобразное единство, в котором нет границ между автором романа и критиком как историческими свидетелями.

Особое внимание в связи с этим обращают на себя в лесковской рецензии названия глав: «II. Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. III. Граф Растопчин. IV. Наполеон. V. Москвичи и опять вождь их. VI. Московские зажигатели. VII. Выскочки и хороняки. VIII. Богатырь нерассуждающий. IX. Вражья сила. X. Вредители и интриганы. XI. Два анекдота о Ермолове и Растопчине. XII. О некоторых критиках, написанных по поводу „Войны и мира“». Эти заголовки подчеркивают, что в рецензии говорится с литературных героев как исторических лиц. По мнению критика, лишь так, двойственно, можно судить о толстовских персонажах. Потому что герои романа, Ермолов, Кутузов, Растопчин, многие другие только после воплощения их в прозрениях Толстого получили свое истинное содержание и форму, то есть стали историческими образами. Для читателя Лесков поясняет это как исторический свидетель текущей жизни. «Ермолов, в частности, — пишет критик, — обрисованный в главных чертах своего характера графом Толстым, так оставался верным этому абрису во всю остальную свою жизнь» (X: 138). Этот «абрис», фактически удостоверяет Лесков, сохраняется относительно кавказского периода славы Ермолова, неизменен он в годы забвения героя и приближения к смерти.

Не художническая гениальность Толстого, однако, основное условие истинности, то есть историчности образов и полотна в целом. Толстой, по Лескову, верен «духу правды, дышащему на нас через художника» (X: 103), иначе, духу жизни в постижении сути лица или народа.

Закономерно, что лесковская рецензия завершается проникновением, говоря его словами, в «субъективные чувства и отношения к людям и природе» (X: 145), свойственные автору «Войны и мира».

Для обозначения толстовской «субъективности» выбирается слово, повторим, из области духовно-мистического постижения жизни: «спиритуалист». В критике Лескова в целом оно то противопоставляется характеристике «мистик», то совпадает с ней. Очевидно, что не находится понятия и слова, способного выразить глубинные прозрения Лескова о жизни и творчестве. Судя по тому, как Лесков разворачивает характеристику «спиритуалистов», рассуждая о Толстом, под спиритуальностью он понимает синкретическое, целостное состояние: «Мы говорим *о спиритуалистах*, сильных и ясных во всех своих разумениях дел жизни не одною мощью разума, но и постижением всего „раскинутого врозь по мирозданию“ владычным духом, который, „в связи со всей вселенной, восходит выше к божеству“...» (X: 145). В постижении всех глубин жизни участвует весь состав личности — «владычный дух», направленный на «всю вселенную» и «божество»; выражается постигнутое в поэтических формулах. Художник, «мистик», «частный человек» слиты здесь в одно целое, так как представляют разные стороны одного состояния, — чувства единства жизни. То же характерно и для всей лесковской рецензии. Автор, Лесков, и герой критического сочинения — Толстой совпадают в своем прямом, непосредственном отношении к жизни, иначе — они состоят в органических слияниях с жизнью: драматически остро ощущают себя живущими и живыми сейчас, в настоящее мгновение бытия. И тем самым они как бы заключают в себе целостность жизни. Другой, как живущий и живой, необходим Лескову на пути приближения к «духу жизни». Дело не только в том, что Толстой обладает «субъективностью», стремящейся вместить жизнь. Он, как понятый и близкий другой, поддерживает в Лескове ощущение текучести и бесконечности жизни, то есть подключает его к чувству истинности бытия.

Из круга близких философских осмыслений сущности жизни Лескову, как мы уже отметили, наиболее близки воззрения Анри Бергсона.

Влияние Бергсона на культуру конца XIX — середины XX веков было универсальным. Его не избежали ни философы (Э. Гуссерль), ни психоаналитики (К. Г. Юнг), ни писатели (М. Пруст). Русская религиозная философия или совпадала с идеями Бергсона (Вл. Соловьев) или, развивая, следовала им (С. Франк).

Философия интуиции, созданная Бергсоном, включает в себе понимание жизни как творческого порыва, относя его к физиологическому, психологическому и, в конце концов, к онтологическому порядку. «На наш взгляд, — пишет философ в своем исследовании «Два источника морали и религии», — высшая степень мистицизма — это тесное соприкосновение и, следовательно, частичное совпадение с творческим усилием, проявление которого есть жизнь» (Бергсон 1994: 237). В жизни как «длительности» или «изменчивости» нет непроходимых границ между духом и материей, бесконечностью и конкретностью. «Вселенная существует в длительности. Чем больше углубляемся мы в природу времени, тем лучше мы понимаем, что длительность означает изобретение, творчество форм, непрерывное изготовление абсолютно нового» (Бергсон 1913: 15) — поясняет Бергсон смысл творческой эволюции.

Лесков в статье о Толстом задолго до Бергсона по-своему сформулировал понимание жизни как «длительности» или текучести. В заключении рецензии критик говорит, что многие из затронутых Толстым «роковых» русских вопросов не новы и повторяются в своей неразрешимости еще не раз. Кутузовы, Верещагины, Болконские, Растопчины были и в другом облике будут вновь: «Все это (...) старые кости наших русских счет, на которых нам приходится без хитрых счислителей смекать наши капиталы и силы. Кости этих счет, может быть, и поизменились, — та подувляла, а та выщвела, но значение их на общей скале все то же — все они снова покорно ложатся на данный прут по десятку.. (...)».

Книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы углубляясь в нее, *по бывшему разумевать бываемая* и даже видеть в зеркале гадания *грядущее*» (X: 150).

Знание о «длительности» воплощается и в форме лесковской рецензии. Истинность картин, изображенных в «Войне и мире», постоянно подтверждается за счет погружения их критиком в текучесть преданий и «старых памятей». Толстовский взгляд на время правдив потому, что он поднял на поверхность культуры смыслы, которыми богаты «семейные предания» и «интимные рассказы» о двенадцатом годе. Устные источники хра-

нят события лично, поэтому вернее отражают «дух жизни», считает Лесков. Ту же слитность жизни-«длительности», памяти и «субъективности» мы находим в интуитивных откровениях Бергсона: «Пусть тогда непосредственное наблюдение показывает нам, что самой основой нашего сознательного существования является память, то есть продолжение прошлого в настоящем, то есть активная и необратимая длительность» (*Бергсон* 1913: 20).

Уже после рецензии «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому» в другой статье — «Русские общественные заметки» — Лесков, вновь отталкиваясь от ложной для него характеристики толстовской хроники как реалистической, вернется к размышлениям о «длительности». Он опишет изменчивость жизни совсем в бергсоновской диалектике взаимодействия духа и материи: «Конечно, ничто подобное верованию в бесконечность духовной жизни до сих пор естественными науками не доказано; но ведь естественные науки, надеемся, далеко еще не сказали своего последнего слова... (...)». Да и, наконец, естественные науки еще только одна сторона знания, а между тем Христос нам говорит, что «несть бог мертвых, но бог живых»; (...) и открытый критиком Страховым реалист Лев Николаевич Толстой видит в смерти «пробуждение от сна жизни...» (X: 88—89).

В поздних письмах для выражения сущности жизни как текучести, бесконечности Лесков создает поэтическую формулу: «живой Бог, „живущий в движении естества“» (XI: 515).

Чтение романа Толстого «Война и мир» стимулировало процесс восприятия Лесковым его собственной идеальной «субъективности» как стремящейся к совпадению с текучестью, бесконечностью, говоря по-бергсоновски, с «длительностью», то есть с жизнью.

5

Явленная в соприкосновении с Толстым идеальная «субъективность» Лескова не вполне проявляется в других его критических произведениях, да и в художественных сочинениях. Зачастую Лесков односторонен. Отсюда проистекают, казалось бы, странные, но полные существенного смысла, исходящие от разных лиц и повторяющиеся в разные эпохи сожаления об «излишке таланта» в его произведениях. Говорят и пишут о чрезмерной искусности и мастеровитости Лескова, о его письме «эссенция-

ми», о «вычурности» и «верченности», его называли «чрезмерным писателем» (Б. М. Эйхенбаум). По сути эти суждения констатируют проблему, касающуюся того, кто же Лесков — мастер слова, художник, или он более всего и всегда стремился обрести целостность собственной личности, творя себя на путях самосознания.

Углубимся в противоречия самосознания Лескова и в природу его творческого своеобразия, описывая способы выражения авторского «я» в критике писателя.

Каждый, кто прикасается к миру критического творчества Лескова, ощущает субъективность его взглядов и оценок. В научной литературе о писателе это качество не раз получало свою интерпретацию. «Наиболее примечательные высказывания Лескова о чужих произведениях — всегда в определенной степени авторецензия: на портреты „героев“ его критической прозы неизменно накладываются контуры его собственной авторской личности» (*Пульхритудова* 1981: 109) — этот вывод сделан Е. М. Пульхритудовой при первом приближении к проблеме. В статье «О писательской критике. (Литературно-критические суждения Н. С. Лескова в художественной системе писателя)» О. В. Анкудинова, обобщая наблюдения над его критической мыслью, говорит по существу о том же. Исследовательница считает, что в критике писателя существует «особая иерархия материала», так как он признавал главенствующими «достоверность и живописность событийно-психологического момента...» (*Анкудинова* 1982: 65). В 1995 году В. Б. Катаев попытался охарактеризовать главное в лесковской критике и вынужден был обратиться к прозвучавшим уже в 1895 году в некрологической заметке о Лескове высказываниям Вл. С. Соловьева (см. — *Катаев* 1995: 22). Последний же говорил о лесковской субъективности, о «страстности» натуры писателя, «постоянном кипении душевной жизни», о «страстном, беспокойном отношении к изображаемым предметам».

Можно сказать, что в статьях, очерках и воспоминаниях Лескова нет по существу никаких «изображаемых предметов», кроме его собственного личного переживания. Точнее, некоего импульса, нервного толчка или вспышки. Любая статья сохраняет в себе исходное нервное раздражение, тот нервный ток, который вызвал ее появление. «Маленький фельетон» «Вечная память на короткий срок» посвящен, на первый взгляд, уточнению места захоронения Т. Г. Шевченко. Но по существу фельетон возник из «раздражения» Лескова по поводу короткой памяти почитателей

украинского поэта. Один из них не только не знал, где находится могила Шевченко, но и «посмел» напечатать опровержение на верные свидетельства о ее местонахождении и состоянии. Лесков не делает поправки, которая могла бы занять две-три строки у другого автора, не дает просто уточнения, он пишет целый текст — фельетон. Начинает его с обобщения и установления диагноза общественной болезни конкретного рода: «От скуки и томительного однообразия жизни говорят, будто „люди пухнут“; а опухая, теряют память и забывают то, что знали и что всем известно» (XI: 27). В середине статьи писатель еще раз уличит и уколлет забывших, с горечью сказав, что случившееся подтверждает закон, гласящий: «„ничто не вечно под луною“» (XI: 28). Наконец, в заключение посоветует редакции газеты, где сообщены неверные факты, сделать нужную поправку, дабы позаботиться о душевном состоянии публики, которая может начать искать могилу Шевченко там, где ее нет: «Иначе кто-нибудь, пожалуй, придет сюда искать этот монумент и, не найдя его, рассердится» (XI: 29). В конце статьи сказилось у Лескова слово — «рассердится» — и выразилось то состояние, в силу которого и появился фельетон. Этот импульс или нервный ток и организует текст, длящийся до изживания «сердитости» или «раздражения».

Авторское состояние в этом фельетоне окружено многочисленными литературными «условностями». Строго выдержана определенная точка зрения: справедливого голоса из общества; точно найден жанр, тип и тон речи. Но все это, тем не менее, остается «одеянием», «условностью», а не плотью и духом написанного. Лесков так мастеровит здесь в искусстве сказать, что словесное мастерство довлеет себе. Литературное искусство не преобразует, не «окультурирует» тот нервный ток, который пронзил Лескова и вызвал необходимость разрядки.

Критические произведения писателя постоянно фиксируют вспышки «злобления», жалости, умиления, раздражения — непосредственные реакции, совсем не преобразованные искусством слова. Так, например, заметка «На смерть М. Н. Каткова» просто обжигает страстным желанием писателя не допустить вечной памяти о так долго угнетавшем его редакторе.

В письмах, где Лесков нередко говорит о свойствах своей натуры, названо качество, которое, вмещая в себя другие, является причиной непосредственных реакций, — это впечатлительность. Осознает писатель это качество принадлежащим телесной, физиологической стороне своей личности и собственно творческому в себе. В пору создания романа «На ножах» и разногласий с

редакцией «Русского вестника» он болезненно-раздражительно жаловался в письме П. К. Шебальскому (1871 год): «... трудно не жаловаться, ибо сами же Вы видите, что приходится лепить, да и перелепливать тоже да к тому же, и ото всего этого не выходит ничего иного, кроме досады, охлаждения энергии, раздражения, упадка сил творчества и, наконец, фактических нелепостей и несообразностей, вроде тех, которые Вами усмотрены. Одним словом, я дописываю роман с досадою, с злостью и с раздражением, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу. Может быть, я излишне впечатлителен, но тем не менее я ни гроша бы не стоил с меньшею впечатлительностью. Надо же было, кажется, пожалеть и эту впечатлительность, а не раздражать ее bestолковейшими хамскими приемами...» (X: 307).

Это — характерный для лесковских писем «вскрик», сохраняющий всю живую силу и жгучесть пережитого состояния. Во впечатлительности, по Лескову, — исток творческого порыва, в ней же, однако, и физиологическая помеха ему. Ведь впечатлительность мучила, способствовала накоплению отрицательных реакций в себе. Писательское искусство, в той мере, в какой оно являлось культурой, оказывалось бессильным перед эгоцентрической силой природы, требующей освобождения на путях уже религиозного творчества.

Сколько свидетельствуют об этом письма, критические и публицистические статьи, Лескову было свойственно замечать, не пропускать без отметины в себе каждое живое проявление другой человеческой природы. Впечатлительность жадно, настойчиво, помимо его воли вовлекала в его душу жизненные импульсы, посланные извне. К концу пути писатель изнемог от силы своей впечатлительности. Сначала он отказывался от посещения знакомых домов, если предполагал там услышать нежелательные для себя речи и увидеть неугодных людей. Потом не мог переносить даже открытости дружеского участия: «Как Вы не знаете несчастного состояния нервных больных, на которых все действует, — взгляд, а не только слова! — пишет он А. Н. Пешковой-Толиверовой. — Пренебрегите, пожалуйста, тем, какой у меня „вид“! Пусть его смотрит полиция. Иначе я буду от вас прятаться, как прячусь от многих других, не умеющих снисходить к тяжким моим терзаниям, о которых со мною или при мне вспоминать не следует» (XI: 503—504).

По письмам видно, насколько определяла состояние Лескова зависимость от эмпирики жизни. Напишется или нет, как задумано, роман, это тоже связано с нервным, телесным моментом

и с погруженностью в повседневность. Мало совпадает этот факт с романтическим представлением о творческом процессе, хотя лесковская впечатлительность напоминает «первоначальную эмоцию» (А. Бергсон), зарождающуюся в душе поэта и развивающуюся в художественное произведение. Собственно творческое захватывает у Лескова области тела (непосредственная реакция, нерв) и духа (выход из своей телесности). Художество здесь — лишь посредник. Лесков в идеале стремился творить в себе «душу живу», а не произведение из себя. Это стремление нельзя рассматривать как теоретическую установку или утопическую задачу — ему просто иначе не жилось, невозможно было ощутить себя живущим.

В русской религиозной философии процесс и цель такого творчества описаны С. Л. Франком в его книге «*Душа человека. Опыт введения в философскую психологию*»: «Душевная жизнь или ее субъект есть — как было указано — точка, в которой относительная реальность эмпирического содержания нашей жизни укреплена и укоренена в самом абсолютном бытии, другими словами — точка, в которой самобытие становится бытием внутренним, бытием в себе и для себя, самопроникнутым бытием. В качестве таковой, она разделяет безграничность самого бытия» (Франк 1995: 507). Франк говорит о совершенном состоянии, но и о возможном для каждого человека пути самосознания. Лесков — именно один из всех, но, в отличие от любого, активно творящий на этом пути, просто не способный не сознать себя. Высшая форма самосознания Лескова — неустанное пребывание в состоянии самосознания.

Религиозные воззрения, отраженные в письмах писателя, и предстают воззрениями человека «обыкновенного», но отягощенного даром самосознания. О здешней жизни он судит в понятиях, могущих возникнуть в голове каждого, кто ощутит ее невзгоды. Земля — почти «ад» (X: 439), жизнь на ней — «воспитательная школа для духа» (X: 431). Необходимость обрести Бога и себя — жизненная необходимость, так как не хватает сил выносить бесконечные «терзательства» и «мотаться над пропастью изо дня в день ряды лет — этого снести невозможно...» (X: 430). Глубинные же представления о жизни, о своей душе, о пути к Богу принадлежат, как видно по лесковскому эпистолярному творчеству, уже к области единичных прозрений. Они не по плечу человеку повседневности и плохо укладываются в традиционалистский и, с другой стороны, утопический девятнадцатый век в целом. Вот одно из них: «Живем в такой век, что никаких надежд ни на что лучшее нет. Блаженны умершие. Самый искренний со-

вет, какой можно дать живым, „ожидающим счастья“, это совет хохла, который видел, как выбивался пан, попавший в прорубь и старавшийся выскочить. Хохол ему закричал: „Не тратьте, пан, сил, спускайтесь на дно!“ Это самое и нам пришло... (...) А я Вам, бывало, говорю и пишу: надо приучать себя обходиться *без счастья*, жизнь дана совсем *не для счастья*, так ведь Вы назвали меня мистиком, а на самом-то деле я прав, хотя и имею всегдашнее стремление подчинять себя учению, которое вводил Галилейский пророк, распятый на кресте.

Жизнь не то, что она есть, *а как она является в нашем представлении*. Ваше представление ужасно и мучительно, а жизнь *не для счастья, не для счастья, не для счастья*» (цит. по — Ахматова 1983: 331). Это письмо адресовано Е. Н. Ахматовой, писательнице, известной издательнице, переводчице, то есть не «человеку повседневности», к тому же искренне верующей. Смысл слов Лескова, о чем свидетельствуют ее комментарии, не только не понят, но категорически отвергнут даже в непонимании. Отказаться от счастья земной жизни, по Ахматовой, нельзя, это было бы страшно, так как не согласуется с человеческими желаниями, да и Бог этого не требует.

Противоречит пафосу девятнадцатого века и то обстоятельство внутренней жизни Лескова, что он никогда не искал веры, потому что не терял ее. Лесков спорил о конфессиях, искал форму веры, но никогда не терял Бога, не было в нем той метафизической борьбы между добром и злом, которой живет, например, герой Достоевского. Есть в его письмах объяснение, почему для писателя оказалась невозможной потеря веры: «Принимаю бессмертие не стихийное, а субъективное, и не смущаюсь тем, что не могу понять его; не смущаюсь не по страху рассуждения, а потому что это дело не мое и вообще не человеческое: понять это — значит понять Бога, а его дано только чувствовать, но не комментировать, ни с какой, ни с лютеранской, ни с поповской точки зрения» (X: 431—432).

Адресат — П. К. Щербальский, письмо 1875 года, то есть середины пути. Позже, в письмах к Л. Толстому, будут другие слова: «Духа стараюсь не угашать и считаю это всего выше и священнее» (XI: 494). Это написано уже в 1890 году, но смысл остается прежним. Лесков стремится обрести себя, при знании о добре и зле и при ощущении себя проживающим земную жизнь грешным, несовершенным человеком, но не пророком, не художником-гением, одним словом, не избранным, посягающим на разрешение вопросов веры-неверия. На этом пути ему необходим был лишь

практический результат, хотя и в мистическом смысле, то есть факт преображения себя. Лесков ставил перед собой в качестве первенствующей задачу, не связанную непосредственно с искусством — задачу нравственно-религиозную в своей глубине. При этом чем настоятельнее он стремился стать другим и развивался к мистическому преображению, тем недостижимее оно становилось и тем большими противоречиями наполнялось его творчество. Ему надо было так «расширить» себя, чтобы быть художником-творцом, обрести себя в вере и слиться с жизнью-«длительностью». Собственная «субъективность» побуждала к такому творчеству, но и препятствовала ему. Такова трагическая коллизия самосознания Лескова.

Из отмеченной коллизии вытекает такая особенность критической поэтики Лескова, которую можно назвать нарушением иерархии в структуре авторского «я». Автор-творец, автор-повествователь, автор-рассказчик — эти проявления авторского образа подчинены в критике писателя автору биографическому, эмпирико-сознающей «субъективности» Лескова. Все его усилия и сознательно направлены к осуществлению прямого, обходящегося без посредников, живого диалога между «субъективностями» автора и читателя.

На свою единственную театральную пьесу — «Расточитель» — Лескову пришлось писать рецензию самому. «Театральная хроника. Русский драматический театр», — эта публикация, появившаяся в ноябре 1867 года в журнале «Литературная библиотека», возникла из желания писателя оправдаться, отвести несправедливый суд, установить справедливость.

Как суд над собой он воспринял отзывы петербургских журналов на постановку его пьесы в театре.

Лесков пишет рецензию, надевая маску театрального обозревателя, ратующего за объективную истину. Но маска бессильна скрыть личную обиду. Живо в тексте даже ощущение праведности этого чувства. Оно и логически объяснимо: пьесу не критиковали как литературное произведение или театральную постановку, а, обрадовавшись недостаткам, ругали ее как результат свойств личности автора. Свойства же эти определены были мифом, созданным «литературным миром» после истории вокруг романа Лескова «Некуда». Согласно мифу, автор «Расточителя» — консерватор, циник, очернитель народа, выдумщик и плохой стилист. Пьеса, явившаяся на сцене Александринского театра, — повод дополнить уже сложившийся миф. Лесков борется за разрушение мифа и подлинность своего облика. Но только одним спо-

собом он может достичь цели: быть правдивым. Критерий правдивости в данном случае заключен в личном чувстве несправедливо обиженного и тем самым допущении чувства высшей справедливости. На этих основаниях и устанавливается не условный, а непосредственный контакт с читателем.

Критическое наследие писателя в целом изобилует разного рода оправдательными записками, письмами в редакции, объяснениями по различнейшим поводам («Письмо в редакцию (об отчислении Н. С. Лескова „без прощения“ от службы в ученом комитете министерства народного просвещения)», «Письмо в редакцию. Об обеде Н. С. Лескову», «О русском левше. (Литературное объяснение)» и мн. др.), выявлениями чужих ошибок, покаяниями в своих. Настолько неотступно сражается Лесков за правду, что подобные творческие мотивы вызывали у читателей представление о нем как о надоедливом, даже нудном правдолюбце-моралисте. Но есть в этом и другая сторона: вся эта правдоискательская корреспонденция Лескова да и рецензия на собственную драму подчеркивает особую актуализированность понятий о справедливости в сознании писателя. В читателе он рассчитывает вызывать то же чувство.

Неуспех же «Расточителя» на сцене в статье объяснен вполне объективно и профессионально. Пьеса не совсем пригодна для постановки на сцене. Изобилие «мелодраматических эффектов», с точки зрения критика, допустимо в жизни, но чрезмерность их мешает сценичности драмы. Искусство и жизнь характерно противопоставлены здесь. «Искусство» должно быть сделано по определенным условным законам. Но не в мастерстве, по Лескову, суть творчества. Роль Князева, главного персонажа драмы, например, кажется ему очень удачно выписанной относительно жизни, но не вполне выдержанной относительно сценического искусства. Сыграть такую роль может только гениальный актер. От его игры требуется не актерское мастерство, а «такое нравственное возбуждение, которое способно было бы потрясти зрителя неотразимо. Роль Князева (...) требует большой силы, большого возбуждения» (Лесков 1984: 182) «Силу» и «возбуждение» надо иметь в себе, а не сыграть, актер должен «натурально» «воспроизвести ужасы действительной жизни» (Там же: 181) Дело в данном случае осложнялось тем, что роль Князева — роль отрицательного героя, с «демоническим закалом». Играть только мастерски, значит, по Лескову, просто обесмыслить эту роль: «Исполнение г. Зубова было нельзя сказать — холодно, а слабо; он нигде не возвысился до того урагана страсти, который бушует в душе Князе-

ва, ломает все встречное и должен преклонить и досужего зрителя; г. Зубов зрителя не преклонил» (*Там же*: 182) «Преклонить» зрителя — суметь дать ему почувствовать силу Князева и гибельность ее. Зритель должен быть вовлечен в действие физически: понять суть героя из себя и для себя, отрицая тем самым ее содержание, то есть смотрящий должен быть включен в текучесть, неразрывность жизни как целого.

Искусство для Лескова только тогда — творчество или «художество», когда оно удерживает в себе состояние жизни как «длительности» и осознание творцом себя в бесконечности «жизненного порыва», иначе говоря, в неустанном приближении к Богу. Все это свойственно, как считает писатель, Л. Толстому. Самому же ему нужно постоянно доращивать себя до самосознания, а свои произведения до художества, особым образом понимаемого. Во многих статьях эмоция писателя так и остается эмоцией, часто отрицательного свойства. Поэтому читатель может только делать заключения о «свойствах личности» Лескова, а не «преклоняться», только удивляться, как он разводит «большие брани», какой он «зломнительный». Поднимать эмоцию до творчества Лескову чаще удавалось в художественных произведениях, где он детально разрабатывал мнемоническую поэтику, находящуюся в соответствии с природой его творчества как самосознания.

Писать «мемуаром» (X: 451) Лесков любил, считал воспоминания «самой неумолимой литературной формой» (XI: 114). Более того, письмо «мемуаром» он увязывал с характером своей «субъективности». Размышляя, в ответ на просьбу Ф. И. Буслаева, о свойствах литературных жанров, он говорит о «мемуарной форме вымышленного художественного произведения» (X: 452) как о наиболее близкой для себя: «По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живет, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами. Но, мне кажется, не только общего правила, но и преимущества одной манеры перед другою указать невозможно, так как тут многое зависит от субъективности автора» (X: 452).

Лесковская критика, впрочем, тоже заключает в себе россыпь «памятей», старых, давних, извлеченных из источников и создаваемых писателем. Так, очерк «Путимец. Из апокрифических рассказов о Гоголе» — «воспоминание об одном устном рассказе» (XI: 45); «Нескладица о Гоголе и Костомарове» имеет подзаголовок «Историческая поправка»; «Народники и расколоведы на службе» — «Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельни-

кове»; «Откуда пошла глаголемая „ерунда“, или „хирунда“» — «Из литературных воспоминаний»...

Зачастую встречаются в критических текстах ссылки на чужую память, подтверждающую собственные воспоминания. В «Письме в редакцию. О Ефиме Ботвиновском» писатель даже счел нужным напомнить читателю, что его воспоминания об «отце Ефиме» были поправлены и удостоверены свидетелем его киевской жизни Ф. Г. Лебединцевым. Лесков так дорожил этими поправками, что уже не хотел и не мог перепечатывать фрагмент текста без чужих поправок, которые существовали при первом появлении его сказаний о Ботвиновском в составе завершеного произведения «Печерские антики». Трудно поверить, что писатель хлопотал только об усилении впечатления достоверности рассказа. Большую цену, конечно, имело наличие живого личного взгляда поправляющего.

Подтвердим это, рассматривая написанные в 1869 году парные биографические очерки «Граф Михаил Андреевич Милорадович» и «Алексей Петрович Ермолов». Во вступлении к первому очерку Лесков предупреждает читателя, что задуман он как пара к другому, и оба будут рисовать «нравственную и интеллектуальную физиономию» (X: 151) популярных русских людей. С точки зрения культурной памяти, источник лесковских биографических очерков очевиден — это Плутарх и его «Сравнительные жизнеописания».

Каждый из очерков имеет еще свой конкретный биографический источник. Канву рассказа о Милорадовиче составляют биографические материалы М. Семевского «Граф Михаил Андреевич Милорадович», опубликованные в «Военном сборнике» (1869. № 9). На первый взгляд, произведение Лескова является ничем иным, как компиляцией материалов М. Семевского. Писатель нигде не отступает от фактов, найденных и собранных первым биографом. Сцена смерти вообще передана словами Семевского, то есть процитирована. Тем не менее, так использованный текст, можно сказать, по существу остается Лесковым едва замеченным. Материалы взяты как безличная, «механическая» память о Милорадовиче. Внутренний взор Лескова обращен к тому «духу правды», который сумел уловить Л. Толстой, создавая образ «русского рыцаря» в хронике «Война и мир». Личное восприятие Милорадовича Лесковым совпадает с образом, живущим в толстовском романе, поэтому и является объективной истиной, скрепляющей факты биографического источника. Кроме того, писатель действует в этой статье в соответствии с общими установка-

ми своей мнемонической поэтики. Сформулированы они, в частности, в письме о воспоминаниях, посвященных П. И. Якушкину: «А напротив, — не лучше ли сделать так, как издал Михневич книжку о Якушкине, то есть собрать воспоминания многих и не резюмировать их. Это гораздо живее и интереснее и ходче идет в продаже. Пусть всякий вносит свой взгляд и свою субъективность, а читатель сам резюмирует» (цит по — Данилов 1908: 171) Воздействовать на «субъективность» читателя предполагается «субъективностью» автора. В очерке о Милорадовиче ее очень трудно зафиксировать в материальных формах. От них есть только обозначение авторства, констатация источника и отбор фактов. И тем не менее Лесков выстраивает воздействие своей «субъективности». Именно свобода от авторского формального «материального присутствия» дает возможность читателю вести диалог с авторской «субъективностью» в сфере памяти, то есть узнавать тот облик Милорадовича, который хранит восприятие и воспоминание Лескова.

Память помогает расширить «поле» авторской «субъективности», увеличить сферу жизни, вовлеченную в единичную «субъективность», которая получает другой масштаб. «Субъективность» стремится стать мерой не единичного, а универсального. Чем сложнее, многосоставнее удастся Лескову явить себя в статье, очерке, даже в художественном произведении, тем он оказывается свободнее от своего эмпирического «я» в его телесно-физиологической сущности. Мнемоническая поэтика необходимое условие высвобождения творческого «я» писателя.

Характерны под обозначенным углом зрения его воспоминания о П. Якушкине. В них нет, как это ни странно, объекта, наличествует только субъект — Лесков в его восприятии Якушкина.

Разделы очерка фиксируют, прежде всего, этапы жизни самого вспоминающего:

— «Мы с Павлом Ивановичем Якушкиным были земляки...» (XI: 71) начало первого раздела.

— «В тот же самый день вечером я встретил Павла Ивановича в Демидовом саду...» (XI: 78), — начало девятого.

— «Увезли Павла Ивановича из Петербурга в ссылку в Орел, а потом в Астрахань без меня» (XI: 81), — продолжается повествование в двенадцатом.

Рассказывая о Якушкине, Лесков сообщает читателям о том, как он сам был «обруган» в «Современнике»; о своих желтых ботинках, купленных в Вене; о своей горничной-немке; о том, что в

споре «постепеновцев» и «нетерпеливцев» он выбрал сторону первых, за что нещадно был преследуем последними; где он ужинал после «редакционных соображений» в «Библиотеке для чтения»...

Вспоминающий настойчиво вписывает себя в жизнь конкретного человека, которому дает типологическую характеристику. Якушкин назван человеком «талантливым и очень добрым» (XI: 82), чудачком, праведником. В такие типовые формулы сложилось «личное мнение» писателя об оригинальном «народолюбце». «Постройка» же в целом возводится к сверхтипу, общему и для Лескова и для Якушкина: «Якушкин несомненно не был вреден, но столь же несомненно не были вредны Сократ и Антисфен, с которыми ставить на одну ногу нашего „божьего человечка“ даже неловко. Но не позабудем, что даже „Сократ нашего воображения очень непохож на Сократа современных ему Афин. Нам он кажется трансцендентальным гением, а для Афин своего времени он был праздношатающийся — с странною и даже отвратительною сатиropодобною наружностью...“» (XI: 88).

Лесков-мнемонист понимает себя через другого, а другого — через третьего и — до бесконечности. Такое понимание по-своему заменяло ему отсутствие понимающей критики. «Вписывая» себя в другого, писатель разрушает представление о времени как о линейной перспективе. Якушкин, Лесков и Сократ в пространстве не пересекаются, но типологически они могут быть сведены в одну временную точку. Следуя представлению о жизни как «длительности», Лесков смотрит на героев своего очерка — Якушкина, себя, Сократа — как на разные формы одной сущности — человека. Вспомнив Якушкина, подключив его к культурному сверхтипу — Сократу, Лесков растит в себе жизнь бесконечную, осуществляя свое творческое предназначение.

Критическое и эпистолярное творчество Лескова показывает, где находятся истоки мнемонической поэтики писателя. Повторим, память является органической формой реализации его творческого своеобразия, но также «спасает» от однозначности прямого самосознания. Иначе говоря, дает возможность оставаться светским писателем, сохраняющим, однако, религиозно-мистическую сущность.

Примечания

¹ Здесь и далее курсивы в цитатах принадлежат Н. С. Лескову.

² В дальнейшем произведения Н. С. Лескова, за исключением особо оговоренных случаев, цитируются с указанием тома и страниц текста.

Библиография

Анкудинова 1982 — Анкудинова О. В. О писательской критике: (Литературно-критические суждения Н. С. Лескова в художественной системе писателя) // Проблемы истории и методологии литературоведения и литературной критики. Душанбе, 1982. С. 64—65.

Ахматова 1983 — Ахматова Е. Н. Мое знакомство с Н. С. Лесковым и его письма ко мне // В мире Лескова: Сб. статей. М., 1983. С. 322 — 336.

Бергсон (1913) — А. Бергсон. Творческая эволюция // Бергсон А. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1913. Т. 1.

Бергсон 1994 — Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.

Данилов 1908 — Данилов В. В. К биографии Н. С. Лескова // Исторический вестник. 1908. Октябрь. С. 162—172.

Карлейль 1994 — Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории // Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. С. 6—199.

Катаев 1995 — Катаев В. Б. Лесков в литературных полемиках // Русская словесность. 1995. № 6. С. 22—25.

Лесков 1956 — 1958 — Лесков Н. С. Собр. соч.: В XI т. М., 1956—1958.

Лесков 1984 — Лесков Н. С. О литературе и искусстве. Л., 1984.

Паперно 1996 — Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996.

Пульхритудова 1981 — Пульхритудова Е. М. Н. С. Лесков — литературный критик // Известия Академии наук СССР: Серия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 2. С. 109—119.

Соловьев 1990 — Соловьев Вл. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2.

Столярова 1984 — Столярова И. В. Н. С. Лесков о литературе и искусстве // Лесков Н. С. О литературе и искусстве. Л., 1984. С. 3—30.

Франк 1995 — Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. СПб., 1995.

Чехов 1974 — Чехов А. П. Письма: В 12 т. М., 1974. Т. 1.

Л. Ги
Экс-ан-Прованс

Некоторые предположения о феномене Набокова и его необычайном перевоплощении

А случилось еще ты пописывал
не без блеска на вовсе чужом языке
(Набоков 1991а: 273).

...then, in a language newly learned...
(Набоков 1990: 616—617).

Почему русский писатель Сирин в середине карьеры отрекся от родного языка и превратился в англоязычного писателя Набокова? Возможно, найдется человек, который захочет возразить, что это решение касается только того, кто его принял.

Подобные сомнения в правомерности нашего вопроса противоречат замыслу самого Набокова, обыгрывавшего в своих произведениях тематику билингвизма и отречения от родного языка, и тем самым подталкивавшего читателей к поискам ответа на вопрос: что же вынудило писателя поменять язык своего творчества? Так альтер эго Набокова Вадим (герой романа «Взгляни на арлекинов!») в 1974 году говорит о своем отходе от русского языка как об отступничестве, употребляя английское слово *apostasy* (вероотступничество, измена, снятие с себя духовного сана) и заявляет, что чуть не погиб, совершая этот переход. До него Сирин в 1939 писал:

Навсегда готов я затаиться
и без имени жить я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться
отказаться от всяческих снов
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять не любое наречье
все, что есть у меня, — мой язык.
(Набоков 1991а: 269).

Если, как полагал Вадим, «описание (таких) литературных затруднений», — как лингвистическая ампутация, — «будет опущено обычным читателем», то читателя необычного (толкователя Набокова?) они точно заинтересуют. Такая тема выдвигает на первый план фигуру автора, поэтому задаваться вопросом о скрытых причинах, приведших Набокова к этой редкой в истории мировой литературы метаморфозе, значит исследовать психологию творчества писателя.

Конечно можно было бы упростить исследование, объяснив переход на английский язык сугубо прагматическими мотивами. Печать эмиграции всегда сетовала на недостаточное внимание к писателям-эмигрантам со стороны русской диаспоры, а их шансы найти читателей за пределами этого круга были минимальными. Сам Набоков в одном из интервью вспоминал, что в эмигрантской среде тираж в две тысячи экземпляров уже был бестселлером. Не для того ли Сирин предпринял свой головокружительный прыжок, чтобы избежать такой неизбежно бледной будущности? Жена писателя Вера Набокова вспоминала потом, что, несмотря на попытки мужа занять место во французском литературном мире Парижа, «для него не было возможности сделать там карьеру». Иосиф Бродский, анализируя возможные причины смены писателями языка в творчестве, охарактеризовал случай Набокова как следствие «жгучей амбиции».

Тем не менее, вопросы карьеры (финансовые мотивы, возможность публиковаться) не могут в полной мере объяснить, почему один из крупнейших писателей эмиграции решил оставить в руках читателей написанные к тому времени произведения, как змея во время линьки оставляет свою кожу (тот русский «выползень», который появляется в английском тексте об англоязычном писателе русского происхождения Себастьяне Найте).

Следует также отметить, что произведения Сирина не замыкались на узкий круг читателей-эмигрантов. Еще в 1928 году романы «Машенька» и «Король, дама, валет» были переведены на немецкий язык. «Защита Лужина» и «Камера обскура» были переведены на французский в 1934, на следующий год «Камера обскура» выходит на чешском, а еще через год на шведском и английском. Таким образом, медленное угасание культурной жизни эмиграции может только отчасти фигурировать среди возможных причин перехода писателя на английский язык (Иванов 1994: 535—539).

Выбор Набокова может быть в какой-то мере противопоставлен выбору Бориса Поплавского, который, предпочтя неуверен-

ный родной язык (Набоков обвинил его в поверхностном знании русского языка), выбрал судьбу проклятого поэта, обреченного на неизвестность. Тому, что некоторые называли «отсутствием языка» у Поплавского, проигрышному выбору самовольного заочения в русской среде, Набоков противопоставил «надбавку» языков (билингвизм, полиглотизм) и кощунственное отречение от чар пленительной ностальгии, которым отдавалось целое потерянное (или, по словам Варшавского, «незамеченное» — *Варшавский* 1956) поколение.

Перевоплощение Сирина необычайно и уникально, и сам писатель неоднократно подчеркивал неправомерность попыток сравнить его с Джозефом Конрадом, который, начав писать по-английски, не оставил за собой ни одной вещи, написанной по-польски.

А. Долинин в предисловии к переводу романа «Истинная жизнь Себастьяна Найта» выдвигает интересную, но, к сожалению, недостаточно аргументированную гипотезу. По его мнению, отход Набокова от русского языка был вызван «внутренним творческим кризисом». Перебрав все доступные темы, все формы и жанры, Набоков достиг в «Даре» апогея: «дальнейшее развитие требовало каких-то существенных перемен, требовало обновления. (...) Набоков находился тогда если не в тупике, то на распутье, и отчаянно смелый акт перевоплощения, на который он в конце концов отважился, возможно, был для него наилучшим способом продолжить движение» (Долинин 1991: 7).

Заслуга этой гипотезы в том, что она связывает вопрос об отречении от родного языка с внутренней эволюцией творчества Набокова, однако она не раскрывает, какие именно противоречия привели писателя к этому решению.

В нашей статье мы попытаемся показать, что объяснение этого отречения следует искать в автобиографическом прочтении произведений Набокова. Тематика билингвизма, потери русского языка и «двуглавия» автора подключилась к новому автобиографическому проекту, к которому Набоков пришел в «Даре» и который он потом целенаправленно осуществлял на протяжении всего своего американского периода.

Выбор отречения, намечавшийся уже в «Машеньке» и «Подвиге», повторяет в лингвистическом плане общее отношение Набокова как человека и художника к страданиям изгнания и опасностям ностальгии. Еще в 1929 году по случаю публикации «Избранных стихов» Бунина Набоков, отдавая дань гармоничной связи искусства и счастья, писал: »(...) тоска больших поэтов —

счастливая тоска. Ветром счастья веет от стихов Бунина» (*Набоков* 1929). Покидая родной язык, Набоков следовал общей направленности своего искусства и характера — стремлению к счастью, ибо «именно так все происходит, когда являешься человеком счастья, и тайно таковым и хочешь быть» (*Lekonté* 1985).

В то время как в Набокове созревала идея отступничества, Сирин пишет стихотворение «К России» (1939), в котором он обращается к своей родине с просьбой освободить его от ностальгических оков: «Отвяжись я тебя умоляю». (*Набоков* 1991a: 269). Также в двух «романах эмиграции» «Машенька» и «Подвиг» — закладывается отношение писателя к изгнанию и к родине, которое впоследствии автор перенесет и на язык. В «Машеньке» речь идет об освобождении Ганина от уз прошлого, когда перед ним вдруг встает в течение нескольких дней ожидания с необычайной остротой экзистенциальный выбор, общий для всей эмиграции — отречение от прошлого. Он, как и Мартын тремя романами позже, отваживается на счастливое изгнание, с любопытством готов идти в будущее и жить настоящим. Похожий выбор делает сам Набоков, написавший: «Я так энергично вытолкнул себя из России, с такой силой возмущения, что я с тех пор не прекращал лететь и вращаться»¹.

Не только в романе «Подвиг», но и в рассказе «Василий Шишков» (1939) можно проследить тему бегства, как освобождения изгнанника, обретающего счастье. Герой рассказа, русский поэт в изгнании, обремененный проблемами эмигрантской жизни и не выносящий более пошлость обыденной жизни, решается доверить свои рукописи рассказчику и исчезнуть, испариться... Как бы репетируя свое собственное исчезновение и упражняясь в создании своих двойников, Набоков «по своему хотению» надует и сдувает поэта Шишкова: сперва придумав его как псевдоним, чтобы мистифицировать критика Адамовича, затем заставив воплотиться в героя короткого «биографического» рассказа, он в конечном счете от него бесцеремонно избавляется.

Набоков несомненно испытывает слабость к сценариям, в которых герой волшебным образом освобождается от случайностей повседневной эмигрантской жизни и среды. Тема таинственных исчезновений, перехода в другое измерение пронизывает под разными формами многие его русские произведения: «Приглашение на казнь», «Посещение музея», стихотворение «Формула» и др. В американской повести «A forgotten poet» (1945) речь идет о русском поэте, утонувшем без следа в реке Оредеж (протекавшей недалеко от имения Набоковых) в год ро-

ждения Набокова и неожиданно появившемся на церемонии открытия памятника... ему самому. Так же в «Speak, memory» Набоков воздвигает памятник самому себе, упоминая о некоем забытом писателе Сирине, который пронесся по небосклону эмиграции как метеор и бесследно исчез.

Выбирая отступничество, ловкий фокусник Набоков «по своему хотению» стер с эмигрантской сцены Сирина, подтверждал всемогущее волшебство литературы и подчинялся своему стремлению к освобождению, проходящему через все его творчество. Тем самым он выбирал розовое изгнание, о котором неоднократно заявлял («my gory exile» — *Nabokov* 1973: 49).

Помимо внутреннего желания частного человека освободиться от тягости горькой судьбы, выбор английского языка отражает, прежде всего, стремление к освобождению русского писателя, с самого начала творческой карьеры ощущавшего требовательность русской читательской публики, упрекавшей его в нарушении сложившихся канонов русской литературы. Предлагаемая Набоковым литература как бы последовательно опровергает все ожидания русской аудитории и, в частности, уже упомянутого Адамовича, «первого критика эмиграции» (*Струве* 1984) и непримиримого оппонента, послужившего одним из прототипов карикатурного критика Мортуса в романе «Дар».

Если, как утверждает Набоков в предисловии к «Дару», героиня романа это русская литература, то Сирин, определяющий себя по отношению к ней через своего героя Годунова-Чердынцева, сам находит свое отражение в романе. Такое самоотражение автора было, кстати, заранее предсказано Ходасевичем, считавшим, что наступит момент, когда молодой русский писатель будет достаточно владеть своим мастерством, чтобы создать полноценный образ автора и описать его творческие проблемы.

В некотором отношении стиль и сложная композиция романа являются одной из форм его рефлексивности, которая достигает таких вершин, что проза «Дара» похожа на своеобразную ретроспективу успехов Набокова, как будто автор приглашает нас на выставку своих достижений. Мозаичная композиция романа (включающая отрывки стихотворений, фрагменты литературной критики, биографические очерки), самостоятельный характер частей, посвященных Пушкину и Чернышевскому, ориентирует логику романа на систему моральных, литературных и эстетических ценностей имплицитного автора. Ту же систему

ценностей мы позже найдем в лекциях Набокова по литературе, в которых аксиологическая ответственность полностью ляжет на лектора, использовавшего кафедру как трибуну для провозглашения своих убеждений.

Сирин конечно не первый раз и не только в «Даре» излагал свои литературные пристрастия, прибегая к пародийным аллюзиям, значение которых выходит далеко за рамки чисто декоративного приема (так, например, если извлечь пародийный пласт из «Отчаяния», роман распадется).

Тем не менее, в Даре диалог с русской литературой и с русской эмиграцией приобретает большую значимость, переставая лежать просто в основе романа как подтекст, а становится объявленным предметом рассмотрения. Дальше этот диалог коренным образом изменит свою ориентацию. Это легко выявить, сравнив роман «Взгляни на арлекинов!», вершину американского периода творчества писателя, с «Даром», занимающим такое же место в русском периоде. Американский роман опирается не столько на диалог с мировой литературой, сколько на предыдущие романы самого автора. Эта разница существенна: нужно знать русскую литературу и культурную атмосферу эмиграции, чтобы проникнуть в суть романа «Дар», тогда как достаточно хорошего знания произведений самого Набокова, чтобы оценить соль романа «Взгляни на арлекинов!»

Л. Трубецкая (*Troubetzkoy* 1993: 74) показала, что вариант «Камеры обскура», написанный писателем по-английски, характеризуется повышением власти автора, превосходством повествования (*telling*) над сюжетом (*story*), а также опущением некоторых аллюзий и пародийных моментов, широко представленных в русской версии романа (например, целый пласт русского текста пародировал влияние, оказанное Прустом на молодых русских литераторов того времени)².

Такой анализ подтверждает, что англоязычный автор стремится стать сильнее и автономнее, нуждается все меньше и меньше в опоре на другие тексты (в диалоге с другими авторами). «Взгляни на арлекинов!» всего лишь кульминация этой эволюции, «...произведение человека глубоко одинокого, богатство и успех которого мало сделали для того, чтобы сгладить его одиночество; это также сочинение человека, самый плодотворный сюжет которого — он сам (...)» (*Hyde* 1977: 217—218)³. Этот роман в некотором смысле напоминает восхваление, адресованное автором самому себе. Так, Д. Рамптон считает, что «в конечном счете, система намеков на романы Набокова и на обра-

зы из его прошлого создает самоцитирующую эстетику исключения и становится упражнением в лести самому себе»⁴.

После романа «Дар» автор-отступник опустошил свои произведения от всего, что не является Набоковым. О романе «Взгляни на арлекинов!» уже нельзя будет сказать, что это «сочинение литературного критика», в том смысле, в котором С. Карлинский употребил это выражение в статье о «Даре»: «Ни одно крупное произведение со времен „Евгения Онегина“ не содержало такое обилие литературных дискуссий, намеков и авторских характеристик»⁵. Критическую рефлексивность литературного текста Сирина в «Даре» от рефлексивности текста Набокова в «Взгляни на арлекинов!» отделяет тридцать лет упражнений, правила которых были определены во время воображаемого диалога Годунова-Чердынцева (Сирина) с Кончеевым (Ходасевичем).

Как известно, Набоков высоко ценил критический ум Ходасевича, что позволяет обратить особое внимание на предостережения Кончеева против излишне полемического характера четвертой части, содержащей слишком много намеков на современников автора, чтобы выдержать испытание временем: «(...) вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть ваших современников, а ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки, — не говоря уже о том, что малейший поворот моды может изъять их из употребления: подумайте, сколько повыкопано заостренных предметов, точного назначения которых не знает ни один археолог. Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, — который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени» (Набоков 1990: 345).

Это замечание, на наш взгляд, незаслуженно обойденное вниманием набоковедов, дает ключ к пониманию психологии творчества Набокова или, по крайней мере, раскрывает одну из внутренних причин отречения от русского языка.

Полемическая жилка в Сирина была настолько сильна, что она касалась даже его поэзии (хотя, по замечанию Бахтина, по природе своей поэзия менее диалогична, чем проза). Зрелый Набоков писал: «(...) в течение десятка лет я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной «парижской школы эмигрантской поэзии»); и наконец в конце 30-х годов и в течение последующих десятилетий внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в

уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля» (Набоков 1991a: 15).

Подобное движение к самостоятельности не могло обойти и прозу: после Дара метароман замкнется на фигуре автора, единственном судье и идеальном зрителе своего собственного искусства, не нуждающемся в полемике и избегающем ее.

Конечно избежать полемики, оставаясь в замкнутом мире эмиграции, Набокову было не просто. После обмена статьями (Набоков об Ирине Одоевцевой, жене Георгия Иванова, Иванов мстительно о Набокове) отношения двух писателей так испортились, что при встрече они не подавали друг другу руки. По меткому выражению Осоргина литературная критика в эмигрантском кругу превратилась в нечто вроде «семейного дела» (Hagglund 1973: 517). Первый биограф Набокова А. Филд писал о постоянных ссорах, раздиравших эмиграцию и кончавшихся подчас вызовом на дуэль⁶. Таким образом, Сиринов в гораздо меньшей мере был «известным писателем невидимой нации»⁷, нежели пленником узкого и очень осязаемого круга.

Полностью исчерпав ресурсы полемики с русской литературой и своим русским окружением, Сиринов пойдет навстречу новой, незнакомой, «отсутствующей» публике. В своих лекциях по литературе Набоков напишет, что идеальная публика в его представлении это зал, битком набитый маленькими Набоковыми. Впоследствии он еще не раз вернется к этому вопросу: «Не думаю, что художника должна заботить его публика. Его лучшая аудитория это человек, которого он каждое утро видит в зеркале во время бритья. Я думаю, что публика, которую художник себе представляет, когда он представляет себе что-либо подобное, это зал, наполненный людьми, носящими его собственную маску» (Nabokov 1973: 18).

Мечта о публике, состоящей из двойников писателя, это мечта о чистом, оторванном от своей эпохи и, в более широком плане, от любого внешнего влияния искусстве. Это набоковская утопия писателя-создателя, всемогущего творца придуманного им мира. Если верить словам Набокова, единственным человеком, оказавшим влияние на его творчество, был голландский художник ... Ван Бок, существовавший только в идеальной анаграмме имени автора. «Единственная публика, которую драматург должен представлять себе, это идеальная публика, то есть он сам» (Nabokov 1987: 316). Таким образом, «хороший, замечательный читатель отождествляет себя не с героем или героиней книги, а с задумавшим и написавшим эту книгу умом» (Nabokov 1985: 58).

Поэтому Набоков утверждал в Николае Гоголе, что талант создавать своего читателя — это привилегия великих писателей: «из всех персонажей, создаваемых великим писателем, лучшие — это его читатели» (*Там же*: 38)

Хрустальный шар, который мы находим в Лолите и некоторых стихотворениях («В моем магическом хрустале» и др.) (*Набоков* 1991: 351; *Набоков* 1991a: 46) это символ того чистого, замкнутого на самом себе искусства, которое он мечтает создать, защитив его от каких бы то ни было внешних влияний: от ожиданий исторически определенных читателей, от истории, от идеологии, от нескромных взглядов психоаналитиков и анализа критиков, и даже от мифов (став «мифонепроницаемым»)⁸.

Также как совершенство для Поля Валери это защита, которую нужно «поставить (...) между собой и другим», виртуозность у Набокова защитная тактика писателя-заложника своей способности предугадывать чужое мнение и любую попытку оказать на него влияние.

Между автором и его автопортретом никакой посторонний глаз, никакое чужое отражение не должны даже слабо запечатлеться в лабиринтных играх мастера трюмпля. Пекка Тамми детально проанализировал эту проблему в главе «О скрытых полемиках» (*Tammi* 1985: 249). Здесь необходимо обратиться к понятию «внутренней полемической речи», которое ввел М. Бахтин (*Bachktine* 1987). «Речь набоковских рассказчиков всегда остро осознает, можно даже сказать с патологической остротой, возможность антагонической речи»⁹. То же можно сказать об инстанции, которая за поэтом Годуновым-Чердынцевым в конечном итоге отвечает за повествовательную систему (имплицитный автор) и демонстрирует в «Даре» именно такое острое осознание оппонентной речи: весь роман создается как литературная речь в поисках самой себя в сопоставлении с предшествующими ей речами. Уходя от русского языка Набоков избегает обращенных на него взглядов затаившихся в зале русских читателей и перестанет искать свой собственный голос среди отголосков других.

Все пародийные намеки, подражания и стилизации сирийского литературного музея не что иное как попытка продемонстрировать триумфальный контроль за своим литературным пространством, ибо, как говорит Набоков в предисловии к русскому изданию «Лолиты», его тяжелая задача как художника «преодолеть по-своему наследие отцов», чьи голоса эхом отзываются в «Даре».

Русский писатель Сирин доказывал, что его не покидало сознание того, что «язык не является нейтральной средой», что «он не легко и не свободно становится собственностью говорящего», но напротив «населен и перенаселен чужими намерениями». Как заметил Бахтин преодолевать чужие намерения, подчиняя их своим — поистине сложная задача. Покидая русский язык, Набоков покидает его «перенаселенное пространство», вступая в девственное пространство чужого языка¹⁰.

Освобожденный от тех жгучих взглядов, которые так мучительно ощущал Смуров, герой «Соглядатая», со стороны «чужих ему ближних» писатель-нарцисс будет отныне созерцать свое отражение в прозрачной воде зеркально чистого искусства, и Набоков рекомендовать своим студентам «смотреть на шедевр — а не на раму — и не на лица тех, кто смотрит на раму» (*Nabokov* 1985: 39).

В новой, уже «набоковской», автобиографии, английский язык будет к тому же играть немаловажную роль очередной ширмы: он навсегда останется языком чужим, не совпадающим с живой реминисценцией прошлого, не близким человеку ностальгическому. Сам Набоков неоднократно это подчеркивал. О своей первой англоязычной автобиографии он говорил: «Книга *Conclusive evidence* писалась долго (1946—1950), с особенно-мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский — а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный» (*Набоков* 1989: 18—19).

Расстояние между английским языком и прошлым человека, насквозь им пропитанного (однажды в лифте своему биографу Набоков театральнo заявил «прошлое есть мой двойник, Андрей») устанавливало в сердце автобиографии нечто похожее на коэффициент снижения искренности исповеди. Набоков позволял себе быть откровенным, только установив предварительно защитный экран. Например, в своих лекциях о Чехове, благодаря дистанции, отделяющей его собственную эстетику от эстетики русского классика, Набоков позволил себе предстать в необычном свете, неожиданно восхищаясь ... простотой и отсутствием кокетства в искусстве (*Набоков* 1989a).

Две тенденции творчества Набокова, отражавшие двойственность его характера (автобиографичность, соответствующая лиричности характера и прямо противоположная ей карикатурность и пародийность его романов, отражающая склонность пи-

сателя к ироничности), каждая по-своему, связывали писателя с его русским окружением. Первая тенденция вела к написанию ностальгических романов, вторая же приводила к скрытой полемике с Достоевским и к борьбе с обвинениями в недостаточной русскости его творчества, висевшими над ним как Домклов меч. Освободившись от этих пут, писатель из обеих тенденций синтезирует нечто новое: ироническую автобиографию, в которой перемешаются лирический драматизм и упражнения в самоотстранении.

Хорошо видно, что Набоков начинает задумываться о двояком статусе своей автобиографии начиная с «Истинной жизни Себастьяна Найта» — первого романа, написанного по-английски, в котором появляются первые элементы того, что станет новым течением набоковского творчества, а именно:

1) переориентировка, до того контрабандного автобиографического направления, на официальную театрализованную фабрику своего образа;

2) упрощение отношений с русским культурным контекстом. Отныне поиск своего образа будет, по мере возможности, вестись вне какой-либо полемики с эмиграцией, за исключением юмористического обыгрывания проблемы национальной принадлежности авторских разношерстных представителей. Но об этом особый разговор¹¹.

В подтверждение того, что переход на английский язык сопровождается осознанием проблематичности статуса автобиографии, служит тот факт, что роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» объявляет тщетной любую попытку биографов добраться до человека, скрытого за автором, докопаться до его «истинной жизни».

Набоков явно принадлежал к категории писателей, способных, как Итало Калвино, осознавать, что «прелиминарное условие всякого литературного произведения следующее: человек, который пишет, должен придумать первого персонажа, который и будет автором произведения» («прелиминарный автор») (Calvino 1984: 92)¹². Совершая переход на другой язык, писатель еще острее осознает это предварительное условие. Первый биограф Набокова нашел в архиве письмо, в котором писатель объяснял, что «он чувствовал так, словно создал человека, который в свою очередь создал „Истинную жизнь Себастьяна Найта“ ⟨...⟩, но что все это было лишь игрой или спортом»¹³. Навязав этому персонажу двойное «гражданство» (русское, а затем англо-американское), Набоков доказывает его гибкость и податливость.

Переходя на английский язык, писатель напоминает, что автор выдумывает самого себя, создает Набокова таким, каким хочет его видеть, выбирая коэффициент откровенности, близости и расхождения по собственному усмотрению. Будет ли он придавать ему «заботу» о русскости, которая присутствует в разных героях русского периода или, наоборот, равнодушие к обвинениям в космополитизме? Одно бесспорно: Набоков ставил для Найта этот вопрос в центре романа, что рикошетом намекает на его собственную авторскую проблему и увековечивает ее на этом уровне повествования. Сентиментальный и лирический импульс, двигавший им в «Машеньке» и «Подвиге» а также в «Даре» и заставлявший использовать искусство для преодоления горечи изгнания, будет совершенно сознательно использован Набоковым англо-американского периода как драгоценный материал, которым он будет смазывать механизм своей новой литературной машины.

Джейн Грейсон, отмечая эту постоянную перекачку Набоковым автобиографических материалов из ранее написанных русских произведений в его английские книги писала, что нельзя все же обвинить его в том, что он просто переиздал ранее написанное на другом языке¹⁴.

Новый прелиминарный Автор, англо-саксонец, одновременно дальше от Набокова-человека, нежели Сирин, и ближе, так как освободился от символики первого своего псевдонима, отдававшего чарами псевдо-византийской образности¹⁵ и вписывавшегося в некую русскую перспективу. Являясь одновременно более чем когда-либо самим собой, творя под своим именем, но став для самого себя иностранцем, выбрав для творчества чужой язык, Владимир Владимирович выдумывает Набокова.

Новый билингвизм этого писателя одновременно и отличительная черта, которой Набоков сможет гордиться (заявляя как Шад в своем стихотворении: «до меня, никто этого не сделал»)¹⁶, и напоминание о двухсторонней природе фигуры автора: бумажное существо, «публичный» автор станет новым героем мировой литературы, знаменитым «русским отступником полиглотского толка». Благодаря этому отсечению Набоков демонстрирует ироническую и бутафорскую сущность автора, иллюстрируя свое давнее убеждение, выраженное в статье о Пушкине, что читатель может представить себе только правдоподобный образ писателя, личность же автора останется неуловимой. «Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы он сыграл его роль» (Набоков 1993: 232).

Конечно такой автобиографии не до искренности: Она явно будет опираться на принцип искусственности и фабрикации образа. Для того, чтобы создать всемирно известного автора, она возьмет на прокат разные сведения о частном лице, частично даже «обкрадывая» его, по словам самого Набокова: «я сказал, что дал взаймы, но, возможно, правильнее будет сказать: «мой герой у меня их отнял» («Mademoiselle O»). Здесь появляется второй пункт осознаваемого пересмотра, который решается в «Даре». Речь идет о парадоксе писательской деятельности: о потере живой связи с прошлым и о конфликте между человеком и паразитирующим на нем писателем. Герой набоковской пьесы «Событие» художник Трошейкин говорил об этом явлении так: «Как же иначе, конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него» (Набоков 1990а: 152).

Вместе с английским языком автор вводит принцип отстранения самого себя. В начале «Дара» Годунов-Чердынцев говорит: «Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозрительно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад, — странное происходит с памятью (...) воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск (...)». «Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп», — рассуждает поэт, приводя как метафору поэзии в ее функции сохранения прошлого стереоскопический аппарат, который лишь повод для того, чтобы ввести нас в приемную некоего американского дантиста, который, в свою очередь, даст зашифрованный ключ к автобиографическому парадоксу.

Визит к зубному врачу описан в стихотворении, одна из строчек которого «Как тумбу эту в шапке ватной глазами провожать опять», вызывает неудовлетворение поэта, комментирующего: «имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенные цепью где-то поблизости памятника Петра I. Где-то! Боже мой, я уже с трудом собираю части прошлого, уже забываю соотношения и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание. Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что

так впечатление былое
во льду гармонии живет...»
(Набоков 1990: 51).

Весь этот отрывок «Дара», на первый взгляд несвязный, раскрывает взаимоотношения памяти человека и творческого процесса: фигура автора даже в глазах самого автора — будет не бо-

лее чем восковой фигурой, так как поэт забывает связи, вызвавшие создание его поэтических образов. «Где-то», но где же? Годунов-Чердынцев внезапно понимает, что чуть не забыл образ, скрывающийся за этим зубом, завернутым в вату, и о потере которого он сожалел, последний раз провожая его взглядом, физически еще ощущая его присутствие. Образ зуба, принадлежащего человеку и удаляемого дантистом (писателем) пробуждает в его памяти, через ассоциацию идей, воспоминание о Медном всаднике (столбы ограды которого были, как зуб ватой, покрыты снегом). Связи эти так же обречены на забвение как и полемика с современниками, в пику которым были написаны многие пародийные страницы биографии Чернышевского. Не входит ли зуб в коллекцию «заостренных предметиков», которые так легко теряются? Этот отрывок, за «двусмыслицей» которого скрывается юмористический символизм, можно прочесть как своеобразный ребус, разгадка которого («нужно удалить прошлое») дается нам Набоковым, как ни странно... по-английски:

«Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что that one will have to come out»...

Странная боязнь Набокова стать певцом ностальгии целого поколения (о которой свидетельствует «Король, дама, валет» как отталкивание ностальгической направленности «Машеньки») имеет психологическую основу и объясняется отказом делиться с другими своими личными воспоминаниями о России. Эту черту Набоков передал молодому герою «Подвига», Мартыну, который «часто (...) дивился, почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зилановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, безкорыстно любящими родину русскими людьми» (Набоков 1974: 165).

Благодаря переходу на английский, Набоков становится единственным хранителем драгоценногоклада, как король Зэмбли в «Бледном огне», укрывавший от постороннего взгляда знаменитые сокровища короны, похищенные у всех и заботливо спрятанные в недоступном месте. Во время интервью на вопрос Альфреда Аппеля, где же спрятаны эти сокровища, Набоков отвечает: «Недалеко от Кобальтана. Но не говорите об этом русским».

Это нежелание делиться с кем бы то ни было тем, что для него ценно, весьма характерно для Набокова. В вышеупомянутой статье «Пушкин, или правда и правдоподобие» он так выразил эту

черту своего характера: «(...) лучший читатель — это эгоист, который наслаждается своими находками, укрывшись от соседей» (Набоков 1993: 234).

Если желание быть единоличным хранителем сокровищ и смаковать свою тоску может объяснить, что подтолкнуло Набокова бросить свой замечательный и послушный русский язык и порвать с ностальгией, объединявшей большую группу людей, оно не может объяснить, почему он выбрал именно несовершенный и в общем-то чужой ему английский, а не, к примеру, французский, с которого переводил еще в юности и который знал в совершенстве (о чем свидетельствует рассказ «Мадемуазель О»).

Речь идет о сознательном выборе, как замечала Э. Божур в своем исследовании о билингвизме: если «билингвы часто переходят с одного языка на другой, не отдавая себе в этом отчета, то писатели-билингвы должны сделать сознательный выбор языка, который они используют в конкретной ситуации»¹⁷.

Обвиняемый в нерусскости, в отходе от традиционно решаемых русской литературой вопросов, высокомерный Сирин («the loniest and most arrogant one») ускользает и от ответственности, и от угрозы стать певцом своего поколения, в пируэте уходя от вопроса в новый язык, который он сам выбрал.

Есть что-то от высокомерной самодемонстрации в переходе писателя на английский язык, который можно понять только исходя из особенностей характера и автобиографии Набокова. Воспитанный в аристократической семье с сильно выраженной англomanией, пройдя курс в Кембридже, Набоков отличался от своих соотечественников в эмиграции несколько утрированным английским лоском: как Себастиан Найт, он одевался на подчеркнуто английский манер, и как истинный англичанин, избегал разговоров по душам.

Трудно устоять перед мыслью, что английский темперамент, соединяющий в себе холодность и отсутствие непосредственности (описанные самим Сириным в статье «Кэмбридж» — Набоков 1921), повлиял на решение сделать именно английский языком своего творчества. К тому же английские писатели, подчиняясь черте национального характера, а именно британской сдержанности, доходящей иногда до полного отчуждения, демонстрируют ироническое отношение к своим персонажам, которое русские читатели так часто ставили в вину Набокову. Выбирая английский язык, Набоков, таким образом, раскрепощал одну из наименее русских черт своего характера — эгоцентри-

ческое безразличие к ближнему, — будучи начисто лишен потребности общаться с другими.

В «Bend sinister» главный герой говорил что «единственное движение, которое его интересует — это поставить короля под защиту: «я рокируюсь». Выбор английского языка для Набокова был удачной лингвистической рокировкой, выразившей одновременно несколько пластов его личности. Английский не был нейтральным заменителем русского языка, не был просто следствием проанглийского воспитания маленького Набокова, он отражал бунт писателя, предпочитавшего чисто русскому задушевному разговору отчужденный индивидуализм англо-саксонского самоконтроля.

Билингвизм Набокова был, таким образом, закономерен на всех трех уровнях: личном, семейном и общественном, и как бабочки, подходил в качестве знамени. Перефразируя замечание французского лингвиста Клод Хагежа о том, что «упражнения в языке это не явно выраженное упражнение в превосходстве»¹⁸, можно сказать, что упражнения в билингвизме это упражнение в двойном превосходстве. Набоков, становясь отъявленным полиглотом, демонстрирует свое превосходство над соотечественниками, не принявшими его космополитизма и его право на «неприсоединение».

Повторявшееся от одного предисловия к другому сожаление Набокова по поводу превосходства своего русского языка над английским есть не что иное как литературное кокетство (*Milbauer* 1985: 58), состоявшее в том, что выдающийся прозаик одновременно здесь и там, англичанином для русских и русским для англоговорящих, в обоих случаях демонстрируя превосходство исключительной личности над группой.

Как замечал А. Филд, пока Набоков был в Англии, он выказывал к ней пренебрежение, однако в Берлине, среди своих соотечественников, демонстрировал то, что в глазах русских было сдержанными английскими манерами¹⁹.

Это стремление к непохожести, выразившееся в отступничестве, можно отнести к своеобразному дендизму, который исследователи определяют следующим образом: «Денди здесь и далеко. Он сделал из собственного я театр, и этот театр стал местом, в котором сталкиваются его „размножившиеся я“»²⁰. Творчество Набокова не нарушает ни одно из «трех правил дендизма»: выставление индивидуума напоказ, нарушение правил без разрыва с установленными ценностями и постоянное стремление к невозмутимости²¹.

Несмотря на свое высокомерие и демонстративное отступничество от русского языка, Набоков не был бунтарем, ограничиваясь игрой в нарушение правил, никогда окончательно не порывая с ценностями, установленными русской читающей публикой. Достаточно обратиться к лекциям Набокова по литературе, чтобы убедиться, что на самом деле он был непримиримым моралистом, что эстет в нем никогда не отказывался от примата этики (и что хотя бы в этом он не переставал быть русским писателем).

К тому же американский Набоков производил впечатление человека, который, как романтический денди Лафорг, носит «траур по замечательнейшему себе»²². Тема одинокого и преследуемого короля, лежащая в основе романа «Бледный огонь», перекликается с драмой незаурядного и редкого индивидуума, которому угрожает вульгарность и толпа.

Из-за лингвистического, литературного отступничества, одиночество человека перерастает в одиночество писателя, который, переехав в Америку, не будет общаться с местными собратьями по перу: «С американскими писателями у меня практически не было контактов»²³.

Подобно Бодлеру, который по замечанию д'Оревилли «как все денди предпочитал удивлять, нежели нравиться»²⁴, Набоков по своему демонстрировал «высокомерие касты, провоцирующей даже в своей холодности»²⁵.

Пошлость и группа — вот главные враги как денди и романтиков, так и Набокова, мечтающих об абсолютно бесполезном героизме, эгоистичном как в «Подвиге», непонятном для вульгарности рационализма. Набоковская автобиография несомненно разделяет с дендизмом характерное стремление «разрушить реальность и жить в пространстве своего мифа»²⁶, «создать театр своего внутреннего я, заявляя что заслуга человека в тех правилах, которые он сам для себя установил»²⁷.

Э. Божур, справедливо отмечая тесную связь между эго и языком, приходит в своем анализе к мысли о том, что некоторые психические расстройства могут быть последствием билингвизма, так как писатели-билингвы под влиянием стресса, вызванного переходом с одного языка на другой, «ощущают себя не только „чужовищем“ или двуликими Янусами, но расколотыми или даже шизофрениками»²⁸.

Такой подход к билингвизму, похоже, подтверждают многочисленные примеры аномалий и психических расстройств в произведениях Набокова, которые могут служить идеальной иллю-

страцией к следующему замечанию Божур: «писатели-билингвы могут выразить свое лингвистическое состояние через тематику бигамии, адюльтера или кровосмешения»²⁹. Возможно именно осознание собственной чудовищности заставило Набокова принять свое состояние вне общества и утвердиться в нем путем чудовищного перевоплощения своего артистического я.

Тем не менее, ясно, что с этой тематикой аномальности ведется игра и что «клинический» случай Набокова далеко не так драматичен и безнадежен как может показаться после «психоаналитического» исследования Э. Божур. Писатель только приближается к пропасти, играет на ее краю, но предоставляет заглядывать и падать туда другим (своим героям). Набоков скорее играет с созданными им поверхностными образами автора, нежели с глубинами психики собственного эго. На вопрос журналиста, «какие проблемы ставит перед вами существование эго?» он ответил шуткой: «лингвистическую проблему», замечая, что путем миметической эволюции английское эго (я) становится в русском языке местоимением 3-го лица «его»³⁰.

Таким образом, «чудовищная метаморфоза» представляет из себя очередную манипуляцию писателя и не ставит всерьез под сомнение ни его душевное здоровье, ни национальную принадлежность. С этой точки зрения следующее высказывание Э. Божур может показаться несколько преувеличенным: «покидая свой язык, Набоков чувствует, что рискует своим физическим и интеллектуальным здоровьем и целостностью. Он делает это сознательно, полностью отдавая себе отчет в последствиях»³¹.

Упуская из виду игровой элемент, такое прочтение, похоже, опасно приближается к наивному автобиографическому чтению, которое предполагает, что творчество писателя выражает его как личность. «Художник дает решение не в плане своей личной жизни, но в том, что для него является его истинной жизнью — общее решение, литературное»³², — как известно, возражал Пруст Сент Беву.

«Лучшая часть биографии писателя это не отчет о его приключениях, а история его стиля»³³, — говорил Набоков. Отречение от русского языка позволило ему перейти от описания частной истории изгнанника и его злоключений к изложению истории стиля Автора. В одной французской телепередаче Набоков также заявил, что его жизнь больше похожа на библиографию, чем на биографию.

Отречение — это и смелая выходка, и прием, обращающий наше внимание на фигуру автора, перехватывающего инициа-

тиву у русской публики. Переходя на другой язык, Набоков ловко подменяет вопрос, который ему навязывался: «Является ли он русским писателем?» на вопрос, который он сам выбирает: «является ли он все еще русским писателем?»

Раздвоение фигуры автора приводит нас к новому типу чтения, которое можно было бы назвать, пользуясь выражением набоковского персонажа, «голографическим» (или, как намекал процитированный выше отрывок «Дара», «стереоскопическим»). На переднем плане голографии мы видим триумф американского писателя, космополита, виртуоза и полиглота, на заднем плане вырисовывается нечеткий образ русского писателя, «самого одинокого и самого высокомерного», тоскующего по заброшенному родному языку. Непреодолимое расстояние, разделяющее оба плана голографии, определяет пространство набоковской автобиографии, ее игривую ироничность и просвечивающий драматизм.

Как писал Джон Бейли, «иллюзионист, поражая нас виртуозностью и ловкостью рук, намекает одновременно, что секрет его успеха все же скрыт от нас, что за этим есть больше, чем видит глаз»³⁴.

Покидая русский язык, Набоков делает из него тайник своей ностальгии, сокровенное пульсирующее ядро своего скрытого я. Он создает уникальную ситуацию, при которой поэт будет тосковать по своей лингвистической родине. Все его англоязычное творчество можно было бы назвать, используя выражение Жорж Штейнера о романе «Бледный огонь», «плачем о потерянном языке» (*Steiner* 1971).

«Лингвистически, если не эмоционально, переход оказался выносимым» (*Nabokov* 1973: 190): все творчество мастера слова будет тайно посвящено этой интимной эмоциональной трагедии русского писателя. Ю. Айхенвальд, который остерегался критических обобщений, тем не менее считал, что можно рассматривать русскую литературу как выражение двух противоположных тенденций, центростремительной и центробежной сил: «тоска по родине и тоска по чужбине» (*Айхенвальд* 1994: 30).

Когда ж начну я вольный бег?
 Пора покинуть скучный брег
 Мне неприязненной стихии,
 И средь полуденных зыбей,
 Под небом Африки моей,
 Вздыхать о сумрачной России.

В этих известных стихах из «Евгения Онегина» «синтетическое море Пушкина», как всегда, вобрало в себя оба течения. Набоков, совершив свою лингвистическую рокировку, достиг того же — вздохнуть, с берегов английской прозы, о родном, о покинутом, о русском языке.

Примечания

¹ «I propelled myself out of Russia so vigorously, with such indignant force, that I have been rolling on and on ever since» (*Nabokov* 1973: 27).

² «Сейчас новые беллетристы пишут большей частью «под Пруста»» (*Адамович* 1933: 153).

³ «It is the work of a deeply isolated man, whose wealth and success have done little to temper his isolation: it is also the work of a man whose richest subject matter is himself, yet who feels estranged from his life's work as if it were the work of someone else» (*Hyde* 1977: 217—218).

⁴ «In the end, the network of allusions to Nabokov's novels and to figures from his past creates a self-referential aesthetic of exclusion and becomes an exercise in self-flattery» (*Rampton* 1984).

⁵ «Not since «Eugene Onegin» has a major Russian novel contained such a profusion of literary discussions, allusions and writer's characterisations» (*Karlinsky* 1963: 286).

⁶ «...the quarrelousness and almost domesticated danger that lingered at the edge of emigree life» (*Field* 1986)

⁷ «He was the famous writer through an invisible nation» (*Там же*).

⁸ Предисловие к «The Eye»: «As is well known (to employ a famous Russian phrase), my books are not only blessed by a total luck of social significance, but are also mythproof: Freudian Flutter around them avidly approach with itching oviduts, stop, sniff, and recall» (*Nabokov* 1967: 9).

⁹ «Nabokovian N-agents are kept acutely, almost pathologically, aware of the hostile responses that their discourse may ignite in the receivers (cf Herman Carlovitch, Humbert, Kinbote...)» (*Tammi* 1985).

¹⁰ «Le langage n'est pas un milieu neutre»; «il ne devient pas aisément, librement la propriété du locuteur»; «peuple et surpeuple d'intentions étrangères»; «les dominer, les soumettre à ses intentions et accent, c'est un processus ardu et complexe!» (*Bachktine*: 115).

¹¹ Вопрос подробно рассмотрен в нашей диссертации: «Nabokov, romancier russe». Paris, Sorbonne, 1994.

¹² Итало Калвино вводит термин «прелиминарный автор» взамен известного понятия «имплицитный автор».

¹³ «He felt as though he had created a person who had in turn created «The real life of Sebastian Khnight» and the «New Yorker poems», but it was all a game or sport» (*Field* 1986: 242).

¹⁴ «While there is, therefore, evidence to suggest that Nabokov used his Russian production as a source of material in the writing of his English autobiography, it cannot be imputed that he abused that source and simply reissued earlier work in a different language» (*Grayson* 1977: 231).

¹⁵ «In 1920, when casting for pseudonym and setting for that fabulous fowl, I steel had not shaken off the false glamour of byzantine imagery that attracted young Russian poets of the blokian era (...)» (*Nabokov* 1973: 161).

¹⁶ «Бледный огонь», песнь 4, стихи 835—838: «Now I shall do what none has done»

¹⁷ «And while it is true that bilinguals frequently shift languages without making a conscious decision to do so, polyglot and bilingual writers must deliberately decide which language to use in a given instance» (*Beaujour* 1989: 38).

¹⁸ «l'exercice de la langue est celui, non explicitement declare d'une suprematie» (*Hagere* 1985).

¹⁹ «Though Nabokov was disdainfull of England while he was there, it should be noted that in this period he adopted what fellow emigre intellectuals in Berlin for years afterward saw as his reserved English manner» (*Field* 1986: 67).

²⁰ «Le dandy est là et ailleurs. Il a fait de son moi un théâtre et ce théâtre est devenu le lieu où s'affrontent ses «moi démultipliés» (*Favardin, Borrexiere* 1988: 92).

²¹ «trois règles du dandysme»: «La mise en représentation de l'individu, la transgression sans rupture avec les valeurs établies et la quête permanente de l'impassibilité» (*Там же*: 132).

²² «en deuil d'un moi-le-magnifique».

²³ «La plupart des écrivains que j'ai rencontré étaient des émigrés Russes dans les années vingt et trente. Avec les écrivains américains je n'ai eu virtuellement aucun contact» (*Nabokov* 1973: 139).

²⁴ «Comme tous les dandys, il aimait encore mieux étonner que plaire» (*Favardin, Borrexiere* 1988: 226).

²⁵ «attitude hautaine de caste, provocante même dans sa froideur» (*Там же*: 233).

²⁶ «détruire le réel et vivre dans l'espace de son mythe» (*Там же*: 13).

²⁷ «le mythe de la profondeur en bâtissant le théâtre de son moi intérieur et en affirmant que le mérite de l'etrus est dans les règles qu'il a lui-même édictées» (*Там же*: 88).

²⁸ «During periods of psychic stress caused by changing their languages, bilingual writers feel themselves to be not merely «monstrous» or Janus-faced, but split or even schizophrenic» (*Beaujour* 1989: 44).

²⁹ «(...) bilingual writers may express their linguistic situation in terms of bigamy, adultery or incest» (*Там же*: 41).

³⁰ «What problems are posed for you by the existence of ego? A linguistic problem: the singular act of mimetic evolution to wich we owe the fact that in Russian the word «ego» means «his», «him» (*Nabokov* 1973: 182).

³¹ «By abandoning his language, Nabokov feels that he risks his physical and spiritual wholeness and integrity. He does this consciously and in full knowledge of the consequences» (*Beaujour* 1989: 41).

³² «l'artiste donne une solution non pas dans le plan de sa vie individuelle, mais de ce qui est pour lui sa vraie vie, une solution générale, littéraire» (*Proust* 1982: 161).

³³ «The best part of a writer's biography is not the record of his adventure but the story of his style» (*Nabokov* 1973: 155).

³⁴ «The showman who dazzles us with his virtuosity and sleight-of-hand is also, and as a part of his skill, implying that the secret of his success is still hidden from us, that there is more behind this than meet the eye» (*Bayley* 1974: 47).

Библиография

- Адамович* 1933 — Адамович Г. Комментарии // Числа. 1933. № 7/8. С. 153—165.
- Айхенвальд* 1994 — Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 30.
- Варшавский* 1956 — Варшавский В. Незамеченное поколение. New York, 1956.
- Долинин* 1991 — Долинин А. После Сирина // Набоков В. Романы. М., 1991. С. 5—14.
- Иванов* 1994 — Г. Иванов. Без читателя // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т.3. С. 535—539.
- Набоков* 1921 — Набоков В. Кэмбридж // Руль. 1921. № 288. 28 (15) окт.
- Набоков* 1929 — Набоков В. Ив. Бунин. Избранные стихи // Руль. 1929. 22 мая.
- Набоков* 1974 — Набоков В. Подвиг. Анн Арбор, 1974.
- Набоков* 1989 — Набоков В. Другие берега. М., 1989.
- Набоков* 1989a — Набоков В. Стихи. Анн Арбор, 1989.
- Набоков* 1990 — Набоков В. Избранное. М., 1990.
- Набоков* 1990a — Набоков В. Пьесы. М., 1990.
- Набоков* 1991 — Набоков В. Лолита. М., 1991.
- Набоков* 1991a — Набоков В. Стихотворения и поэмы. М., 1991.
- Набоков* 1993 — В. Набоков. Пушкин, или правда и правдоподобие // Набоков В. Романы. Рассказы. Эссе. СПб., 1993. С. 227—238.
- Струве* 1984 — Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, 1984.
- Bachktine* 1987 — Bachktine M. Esthetique et theorie du roman. Paris, 1987.
- Bayley* — Bayley J. Under the cover of Decadence: Nabokov as Evangelist and guide to the Russian Classics // Nabokov: a tribute.
- Beaujour* 1989 — Beaujour E. K. Alien Tongues. Cornell Univ. Press. Itaca and London, 1989.
- Calvino* 1984 — Calvino I. La machine litteraire. Paris, 1984.
- Favardin, Borrexiere* 1988 — Favardin P., Borrexiere L. Le Dandysme. Paris, 1988.
- Field* 1986 — Field A. The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York: Crown, 1986.
- Grayson* 1977 — Grayson J. Nabokov translated: a Comparison of Nabokov's russian and English prose. Oxford University Press, 1977.
- Hagere* 1985 — Hagere C. L'homme de paroles. Paris, 1985.
- Hagglund* 1973 — Hagglund R. The Russian Emigre Debate of 1928 on criticism // Slavic Review. 1973. Sept. P. 517.
- Hyde* 1977 — Hyde G. M. Vladimir Nabokov: America's russian novelist. London: Marion Boyars, 1977.
- Karlinsky* 1963 — Karlinsky K. Vladimir Nabokov's Novel «Dar» as a Work of Literary Criticism // SEEJ. Vol. 7. № 3. 1963. P. 284—290.
- Lekonte* 1985 — Leconte M. L'homme du bonheur // L'arc. 1985. № 99. P.76—79.
- Milbauer* 1985 — Milbauer A. Z. Transcending Exile: Conrad, Nabokov, I. B. Singer. University presses of Florida, Miami, 1985.
- Nabokov* 1967 — Nabokov V. The Eye (Pref.). New York, 1967.
- Nabokov* 1973 — Nabokov V. Strong Opinions. New York, 1973.

Nabokov 1985 — Nabokov V. Litteratures II. Paris, 1985.

Nabokov 1987 — V. Nabokov. La tragedie de la tragedie // Nabokov V. Litteratures III. Paris, 1987.

Proust 1982 — Proust M. A l'ombre des jeunes filles en fleurs. M.: Progress, 1982.

Rampton 1984 — Rampton D. Vladimir Nabokov: A Critical Study of the Novels. Cambridge: CUP. 1984.

Steiner 1971 — Steiner G. Lament for a language lost // The Reporter. XXVI. P. 40—45.

Tammi 1985 — Tammi P. Problems of Nabokov's poetics. Helsinki, 1985.

Troubetzkoy 1993 — Troubetzkoy L. Vers un autre rivage: de Chambre obscure a Rire dans la nuit // V. Nabokov et l'emigration. Paris, 1993. P. 67—76 (Cahiers de l'emigration russe. № 2).

Л. В. Зубова
С.-Петербург

Как поэты видят згу

Некоторые слова сохранились в русском языке только в составе идиом. Они утратили все формы словоизменения, этимологические связи, собственное значение. Таково, например, выражение *ни зги не видно*. В других славянских языках существительное из этого сращения отсутствует (Черных 1994: 321; Варбот 1983: 119). Оно так и остается загадочным, несмотря на попытки объяснить его как видоизмененное *стыга* — «дорога» (ср. *стежки-дорожки, стезя*) — Ф. Миклошич, Н. В. Горяев, А. А. Потебня, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов и др. (см.: Преображенский 1959: 246; Фасмер 1986: 89), как производное со значением «искра» от *пазгать* — «гореть, драть» (Зеленин 1903: 5) или как восходящее к предполагаемому (не зафиксированному в письменных текстах или диалектах) слову *съга*, производному от *съгну-ути*, — «кольцо у дуги, через которое продевают повод при запрягании коня» (Варбот 1983: 118—119; 1984: 140)¹. Б. Татар полагает возможным сосуществование двух вариантов фразеологизма, отразивших и значение «дорога», и значение «кольцо» (Татар 1983: 95—96).

Словарь В. И. Даля зафиксировал слово *зга* в таких употреблениях, которые противоречат всем трем гипотезам: *на дворе зга згою; Божьей зги не видать; ни зги хлеба нет; зги нет в закромах*. Даль считает возможными значения «темь», «потемки», «темнота»; «кроха», «капля», «искра», «малость чего» и указывает — со знаками вопроса — предполагаемые связи со словами *сгаснуть, сгинуть*. Указание на связи с этими глаголами скорее всего восходит к народной этимологии информантов, что объективно отражает переосмысление слова и его включение в образно-понятийный ряд с общим значением «уничтожение, смерть». Фиксирует Даль и слова *згинка* (ряз.) — «ночка», *згра* (дон.) — «искра» (Даль 1978: 675).

Почти все исследователи, составители этимологических словарей, авторы учебников и популярных книг о языке отдают предпочтение гипотезе о первичности *стыга* — «дорога, тропа»².

Однако стоит обратить внимание на мнение Д. К. Зеленина, с которым не соглашается М. Фасмер (*Фасмер* 1986: 88—89). Исследование Зеленина привлекает, может быть, не столько гипотезой о связи слов *зга* и *пазгать*, сколько аргументами против значения «дорога». Зеленин считает, что «не видно дороги» — для фразеологизма слишком невыразительно, не гиперболично, не дает неожиданных сопоставлений и поэтому сомнительно³. Предлагая значение «искра, проблеск», Зеленин пишет о том, что у слепых обычно бывает мелькание светящихся точек перед глазами, отсутствие которых — как гипербола — и могло послужить образом абсолютной невидимости (*Зеленин* 1903: 6). Это, кстати, единственное из объяснений, которое согласуется с пресуппозицией множественности в выражении *ни зги*. Кроме того, самые ранние известные нам тексты с выражением *ни зги* рассказывают о слепцах (*Словарь XI—XVII вв.*: 359). Может быть, нелишне вспомнить, что слепцы и были распространителями народной словесной культуры, и вербализация актуального для них образа вполне могла привести к появлению фразеологизма.

Несомненно одно: давняя и полная дестимологизация слова. Наиболее вероятно, что во всех примерах Даля представлены его поздние, вторичные значения — результат свободного и естественного диалектного развития слова. Если это так, то именно набор поздних значений и оказывается интересным для осмысления дальнейшего развития слова *зга* в современной поэзии.

Материал, предоставляемый поэзией XX века с ее поисками первоэлементов языка и тенденцией к дефразеологизации слова, может показать, как формируется значение непонятого слова, какой смысл приписывается ему в различных контекстах, какие элементы значения устойчивы и какие подвижны, с каким из этимологических значений может соотноситься художественная метафора.

Лексикологи говорят о том, что слова из выражений типа *ни зги*, *ни бельмеса*, *с панталыку* «отсвечивают для нас отраженным значением формы слова (*Шмелев* 1970: 26) и представляют собой лишь «тени» или «призраки» слов, будучи лишенными того, что является главным для слова, а именно отдельного лексического значения (*Ахманова* 1958: 7). То есть, если употребить постмодернистский термин, история языка из живого слова создала идеальный симулякр⁴ и донесла его до нашего времени. Мы

имеем не сочиненную, а естественно развившуюся «глокую куздру», возбуждающую лингвистическое воображение.

Поэтов больше интересует не происхождение слова, а его семантические потенции. Слово настолько семантически опустошено, что готово принять любое содержание — каждая из его потенциальных сем может мыслиться как главная и формировать новое значение. Поскольку новые (окказиональные) значения в результате получаются разными у разных авторов, слово предстает перед нами с набором семантических дифференциальных признаков, которые, видимо, и являются смысловым наполнением слова в современном языковом сознании.

Несколько примеров трансформации фразеологизма, указывающих на контекстуальное вторичное значение слова *зга* у писателей и поэтов XX в., приводит Е. Н. Дубинский: *не знаю, решена ль / Загадка зги загробной* (Пастернак)⁵, *В хаосе распахнутой снежной зги* (Сурков), *Не вспомнят ни зги* (Маяковский), *Не разобравши в ней ни зги* (Бедный) (Дубинский 1973: 19).

В поэзии обэриутов слово *зга* не вычленяется из фразеологизма, но выражением *не видно (не вижу) ни зги* описываются не подходящие для него ситуации, и оно включается в такие контексты, в которых выявляется алогизм словесного оборота.

У Д. Хармса в пьесе «Окнов и Козлов» слов (*Не вижу ни зги / в твоих речах* показывают, что *ни зги* означает 'никакого смысла', а замена *не вижу* на *не слышу* демонстрирует отсутствие смысла абсурдным сочетанием слов:

О к н о в

Всегда, всегда в глубине политик
наука умеет много гитик.

К о з л о в

Не прав ты, дорогой товарищ.
Довольно мы с тобой кувыркались
и Федьку за ноги таскали.

О к н о в

Погибнешь ты,
печаль, тоска ли
заполоснет тебе мозги.

К о з л о в

Не вижу ни зги
в твоих речах (Хармс 1994: 301).

Обратим внимание на то, что бессмысленностью сочетания *ни зги* дублируется абсурд мнемонического текста *наука умеет много гитик* — ключа к карточному фокусу — в речах собеседника.

А. Введенский помещает сочетание *ни зги* в эротический контекст:

Н а т а ш а
 (снимая рубашку)
 Смотри-ка, вот я обнажилась до конца
 и вот что получилось,
 сплошное продолжение лица,
 я вся как будто в бане.
 Вот по бокам видны как свечи
 мои коричневые плечи,
 пониже сытных две груди,
 соски на них сияют впереди,
 под ними живот пустынный,
 и вход в меня пушистый и недлинный,
 и две значительных ноги,
 меж них **не видно нам ни зги**.
 Быть может темный от длины
 ты хочешь посмотреть пейзаж спины
 (Введенский 1994: 183).

В этом фрагменте абсурдность фразеологизма усиливается не только намеком на *згу*, которую герои ожидали бы увидеть в этой ситуации, но и местоимением *нам*, в описываемой сцене абсолютно нелепым. В тексте Введенского тоже далее появляются тьма и смерть. Обратим внимание на то, что героиня направляет взгляд партнера сверху вниз, а появлению сочетания *ни зги* предшествуют образы света со словами *свечи, сияют*: *Вот по бокам видны как свечи / мои коричневые плечи, / пониже сытных две груди, / соски на них сияют впереди*. В таком случае сочетание *ни зги*, включенное в эротический контекст, оказывается связанным с образом преисподней.

В стихотворении Н. Заболоцкого «На лестницах» выражение *ни зги* наиболее отчетливо соотносится с гипотезой Д. К. Зеленина, связывающей *згу* с мельканием в глазах:

Кот поднимается, трепещет,
 сомненья нету — замкнут мир,
 и лишь одни помои плещут
 туда, где мудрости кумир.
 И кот встает на две ноги,
 идет вперед, подъявля лапы,
 пропала лестница. **Ни зги
 в глазах**. Шарахаются бабы,
 но поздно! Кот, на шею сев,
 как дьявол бьется, озверев,
 рвет тело, жилы отворяет,
 когтями кости вырывает...

О, Боже, Боже, как нелеп!
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха
и любопытным виден был
семейный сад — котова плаха,
где месяц медленный всходил.

⟨...⟩

висел кота саженный труп (Заболоцкий 1994: 351).

При этом предложение *Ни зги / в глазах* можно понимать по-разному: ‘темно в глазах у наблюдателя’, ‘темно в глазах у кота’ ‘глаза кота стали черными’. Если *Ни зги / в глазах* у кота, то последняя строка фрагмента *Сбесился он или ослеп?* тоже обращает наше внимание на объяснение, предлагаемое Зелениным. Но и сама совокупность разных возможностей интерпретации дает дополнительный стимул к восприятию темноты как абсолютной. Далее в стихотворении появляются и ночь и смерть.

В. Хлебников, М. Цветаева, Б. Пастернак выделяют из фразеологизма слово *зга*, превращая его в обозначение самостоятельной субстанции.

В стихотворении Хлебникова «Море» оно оказывается связанным с непогодой:

Эти пади, эти кручи
И зеленая крутель.
Темный волн кумоворот,
В тучах облако и мра
Белым баловнем плывут.
Моря катится охава,
А на небе виснет зга —
Эта дзыга синей хляби,
Кубари веселых волн,
Море вертится юлой,
Море грезит и моргует
И могилами торгует.
Наше оханное судно
Полететь по морю будно (Хлебников 1986: 129).

Ближайший контекст *А на небе виснет зга*, показывает, что *зга* здесь подобна либо туче, либо молнии. Можно предположить, что для Хлебникова существенно созвучие слов *зга* и *зигзаг*. Далее в этом стихотворении появляется и *молния* (черная): *Море плачет, море вакает, / Черным молния варакает*, а с небом связаны следующие явления: *Дырой диль сияет в небе ⟨...⟩ В небе черном серый кукиш, / Небо тучам кажет шиш*. У Хлебникова слово *зга* уточняется как *эта дзыга синей хляби*. В южнорусских говорах *дзыга* —

«волчок, юла» (см., напр.: *Словарь русских донских говоров* 1975: 130), а также комментарий В. П. Григорьева и А. Е. Парниса: (*Хлебников* 1976: 670)⁶. В таком случае, текст Хлебникова показывает згу как нечто динамическое. Кроме того, у Хлебникова обнаруживается непосредственная связь зги и смерти: *Почернел суровый юг, / Занялась ночная темень. / Это нам пришел каюк, Это нам приходит неман.*

У М. Цветаевой слово *зга* встречается в поэме «Молодец» (трижды) и в стихотворении из цикла «Скифские». В поэме это слово сначала появляется при описании пляски, когда Молодец впервые видит Марусю:

То ль не зга,
То ль не жгонь,
То ль не мболодец-огонь!

То ль не зарь,
То ль не взлом,
То ль не жар-костер — да в дом! (*Цветаева* 1994, III: 281).

Слово *зга* может относиться и к изображению Молодца (*молодец-огонь, жгонь*), и к изображению Маруси (ее образ постоянно сопряжен в поэме с образом огня), и к изображению огневой пляски. Скорее всего, этим словом обозначена огненная стихия вспыхнувшей любви. Здесь можно видеть то значение «искра», которое ближе всего к гипотезе Зеленина.

Второй контекст слова в поэме таков:

А последний тебе сказ мой:
Ни одной чтоб нитки красной,
Ни клочка, **ни зги!**

Дерево сожги ... (*Цветаева* 1994, III: 312).

Здесь тоже слово *зга* отчетливо соотносено с огнем как метафорой героини — красной девицы (о значении красного цвета как главного сюжетного и языкового символа поэмы см.: *Герасимова* 1995: 161—163; *Зубова* 1996: 212—213).

Третий раз слово употреблено в сцене, изображающей исчезновение гостей-бесов с рассветом:

Ан:
Зга!
Петушиный клич!
Чудь, дичь,
Нежить — в берега!
Ай —
да! (*Цветаева* 1994, III: 327).

Этот фрагмент любопытен тем, что слово *зга*, которое можно вполне определенно истолковать как «рассвет», оказывается не совмещенным со значением «тьма», как во многих текстах других авторов, а резко ему противопоставленным. И, вместе с тем, оно четко соотносится с исчезновением.

В цикле «Скифские» Цветаевой *зга* предстает резким движением — в метафорическом подобии взмаху крыла и стреле. Этот образ сопоставим с хлебниковским значением «молния»:

Из недр и на ветвь — рысями!
Из недр и на ветр — свистами!

Гусиным пером писаны?
Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
Последняя *зга* — Скифия (Цветаева 1994, II: 164).

В стихотворении Б. Пастернака «Давай ронять слова...» слово *зги* помещено в контекст, предельно концентрированно выражающий значения смерти и загадочности — как самой смерти, так и слова:

Не знаю, решена ль
Загадка *зги* заgrabной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя — подробна (Пастернак 1965: 151).

Обратим внимание на то, что слово *зги* в этом контексте можно понимать в комплексе разных смыслов. Помимо обозначения тьмы, возможно и значение «дорога, путь», соответствующее этимологии «стыга, стезя» (метафора *смерть* — *слепота* и *смерть* — *путь* архетипичны в языке, ритуале, фольклоре; из обобщающих работ см., напр.: Чистяков 1982; Седакова 1983: 206; Невская 1984; Еремина 1991: 25, 36).

Интерпретациям слова *зга* в абсурдистской поэтике обзриутов, в аналитической поэтике Хлебникова, Цветаевой и в метафорической поэтике Пастернака предшествовало появление слова в шуточной пьесе В. П. Буренина «Венок и швабра, или сюрприз драматургу», впервые опубликованной еще в 1892 г. Она представляет собой пародию на рассказ А. П. Чехова «Калхас» о старом пьяном актере, которому являются видения⁷. Одно из действий пьесы Буренина открывается ремаркой: *Сцена представляет петербургскую погоду. При открытии занавеса не видно ни зги, только хлещет дождь, смешанный со снегом; сперва хлещет справа налево, потом — слева направо, потом — прямо снизу вверх, по-*

том — прямо сверху вниз, наконец, ожесточенно принимается хлестать разом и так, и сяк, и эдак. Со всех сторон слетаются и кружатся по сцене Зги (Буренин 1976: 516). Далее Зги танцуют и хором поют:

Мы, петербургские Зги,
Всюду летаем
и заползаем
Жителям здешним в мозги

(мгновенно исчезают) (Буренин 1976: 516).

Комизм эпизода заключается прежде всего в том, что принципиально невидимое и нематериальное персонифицировано, но слово *зги* в этом тексте связано не столько с тьмой, сколько с непогодой, его денотат не статичен, а, напротив, гиперболично динамичен. Подчеркнута множественность того, что обозначено словом из идиомы. Глаголы *летаем* и *заползаем* представляют денотат как нечто подобное птицам (ср. выражение *что за птица?* — о ком-л. неизвестном, непонятном) и змеям (не исключена фонетическая ассоциация по начальному звуку [з]), но совмещение таких предикатов возможно тогда, когда речь идет о насекомых (ср. выделяемое Далем значение «малость чего-л»). Обратим внимание также на то, что эти *зги* исчезают *мгновенно*. Подзаголовок пьесы указывает на связь *зги* и гибели: *Мело-трагедия с недоразумениями в четырех картинах, с фантастическим прологом, небывалым эпилогом, хором и танцами петербургской Зги*⁸ и *разрушением театра*. Впрочем, в мифологической традиции и в искусстве ненастье обычно и предвещает гибель.

Слов *за* или *зги* в рассказе Чехова нет, но есть контекст, порождающий эти образы пародийной пьесы (в цитате подчеркнуты фрагменты, сближающие *зги* Буренина с этимологической гипотезой Зеленина о мелькании светящихся точек перед глазами): *Сцена была темна и пуста. Из глубины ее, с боков и зрительной залы дул легкий, но ощутимый ветер. Ветерки, как духи, свободно гуляли по сцене, толкались друг с другом, кружились и играли с пламенем свечки. Огонь трепетал, изгибался во все стороны и бросал слабый свет то на ряд дверей, ведущих в уборные, то на красную кулису, около которой стояло ведро, то на большую раму, валявшуюся среди сцены. (...) — Петрушка! — крикнул он. — Где вы, черти? Господи, что ж это я нечистого поминаю? (...) Вот где самое настоящее место духов вызывать! (...) Гуляющие ветерки и мелькание световых пятен возбуждали и подзадоривали воображение до крайней степени (...) Не дотянувшись до*

свечи, вдруг он вскочил и уставил неподвижный взгляд на потемки (Чехов 1961: 425—426).

В стихах наших современников продолжается поиск собственного значения слова *зга*. При этом обнаруживаются следующие закономерности.

Для всех окказиональных употреблений главная сема, по видимому, — это неясность, неопределенность. Неопределенность присутствует, по крайней мере, на трех уровнях: общего значения идиомы — «ничего не видно», на уровне отсутствия у существительного каких-либо системных связей и, наконец, на уровне смысловой противоречивости слова, каким оно предстает в идиоме. Поскольку все парадигматические связи слова вытеснены синтагматическими, синтагматика и определяет направление смыслового сдвига. Слово *зга* в нашем сознании настолько крепко соединено с *ни* и с *не видно*, что уже само по себе вполне способно нести смысл всего сочетания (о фразеологическом эллипсисе см., напр.: *Архангельский* 1969). Именно максимальная связанность приводит к тому, что связи уже не нуждаются в словесном обозначении, они сначала уходят в подтекст, а затем и вообще утрачиваются. В таком случае открывается простор переосмыслению. Слово *зга* оказывается энантиосемичным: оно вобрало в себя значение фразеологизма «очень темно», но само по себе должно означать то, что можно было бы увидеть, если бы так темно не было. Энантиосемично и совмещение сем «предметная неопределенность» и «интенсивность проявления признака».

При анализе употребления этого слова в современной поэзии трудно и не всегда возможно определить оттенки его значения (вспомним, что неопределенность как проявление противоречивости — одна из важнейших категорий постмодернистского сознания), но все же — в некотором приближении — можно попытаться назвать некоторые производные значения слова *зга*.

Приведем ряд примеров.

Во многих текстах значение слова формируется в соответствии с механизмом фразеологического эллипсиса. Но при этом *зга* предстает не тьмой, а сумерками. В таких случаях ослабляется сема «интенсивность» и актуализируется сема «неопределенность»:

Не того ли же солнца припек,
и не те ли же зги вечерами?
А, как вышло-то вовсе не так, поперек:
что Страну, — мы себя потеряли (*Бобышев* 1992: 32);

(...) штрихами — акварель по мокрому,
 В расплывчатой и вялой гамме
 осенней зги с усталым профилем (Несмеянова 1997).

У М. Несмеяновой *зга* в значении «сумерки» персонифицируется и предстает именно зрительным образом, как бы отрицая исходный компонент *не видно*, который, однако, имплицирован строкой *В расплывчатой и вялой гамме*.

В других контекстах употребление слова *зга* в значении «тьма», сохраняет сему «интенсивность», но оно соотносится с переносными значениями слов *тьма*, *темный*, что предполагает укорененность в языке значения *зга* «тьма». Обратим внимание на синэстезию — совмещение зрительного образа со слуховым, что демонстрирует расширение значения у слова *зга* (ср. синэстезию выражения *темные речи*):

Ты в своем затаенном мозгу
 назначаешь себя истуканом
 и себе отдаешь, как врагу,
 на правож, высветляющий згу
 в голошенье твоём бесталанном (Жданов 1991: 83).

Т. Кибиров, говоря о *зге* в стихотворении из цикла «Памяти Державина», употребляет глагол с широким значением восприятия: *не разобрать* означает «не увидеть, не услышать, не понять, не узнать, не вспомнить»:

Я силюсь вспомнить. Так же вот когда-то
 грядущее я силился узнать.
 И так же, Боже мой, безрезультатно.
 Я все забыл. **Ни зги** не разобрать (Кибиров 1997: 24).

Многие авторы исходят не из вторичного эллиптического значения *зга* «тьма», а из гипотетически первичного: *зга* — «то, что можно увидеть во тьме».

Ю. Скородумова хочет понимать слово *зга* так, как требует логика: если в темноте *зги* не видно, значит при благоприятном условии это нечто видимое:

Поезд тянет, хрустя позвонками, гусиную шею.
 Мир меняет состав, консистенцию **видимой зги**.
 Три стопарика, щедро внимая печатным свершениям,
 льют горячие слезы на жадные наши мозги (Скородумова 1993: 27).

Принципиально двузначный контекст с полисемией слова *состав* порождает и различную интерпретацию *видимой зги*: «изгиб поезда», «дым», «очертания», «форма», может быть, более широко — «то, что явлено». В данном случае это может быть и «тьма,

нарушенная появлением поезда — светящегося движущегося объекта».

У Б. Манхетина *зга* — тоже что-то, что можно увидеть, но что соотносится со словом *просвет* (*просвета не видно*), однако, если имеется в виду светящаяся реклама, тогда это что-то может пониматься как тьма:

Ах, не даст рекламодатель
Сквозь просвет увидеть *зги* (*Манхетин* 1996: 21).

У Л. Лосева речь идет о жизненном пути, и переносное употребление слова *зга* оказывается близким слову *стезя*. Затем слово *зга* появляется в тексте еще раз — и уже в бесспорном, совершенно отчетливом значении «конец, смерть»:

И понял аз грешный, что право живет
лишь тот, кто за други положит живот.
<...>
А жизнь это, братие, узкая *зга*,
и се ты глядишь на улыбку врага,
меж тем, как уж кровью червонишь снега,
В снега оседая, в снега.

Внимайте же князю, сый рекл: это — *зга*.
И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
Алеет морозными розами шаль.
И-эх, ничего-то не жаль (*Лосев* 1985: 87).

Создается впечатление, что у Лосева в первом употреблении слово *зга* — из этимологических словарей или из учебной литературы, а во втором — из строки Пастернака *Загадка зги загробной*. Отметим, что слово *зга* анаграмматически задано сочетанием *аз грешный*.

У В. Некрасова слово *зга* проверяется на смысловую связь со словом *заря*:

ага

ага

заря
заря
зга

правда

зга
в глаза
заглянула (*Некрасов* 1989: 74).

Здесь обнаруживается контекстуальная фонетическая производность слова *зга*: оно складывается из конца слова *ага* и начала слова *заря* — с перестановкой частей. Получаются одновременно и анаграмма, и метатеза. Слово *зга* анаграмматически входит и в слова *глаза*, *заглянула*. То есть имеется несомненная сильная аллитерация. Можно ли сказать, что в данном случае звуковое сходство приводит к смысловому? Да, если *зга* — «свет». Обратим внимание на то, что значение «свет» не только возможно для слова *зга*, но и вполне реально существует. Это подтверждается как примером Даля *Божьей зги не видать*, так и употреблением в художественных текстах XIX в. — у И. А. Гончарова: *зги божьей не видно, да и одна штора совсем опущена* (*Фразеологический словарь*: 208); у М. Е. Салтыкова-Щедрина: *Скоро такое столпотворение пойдет, что зги божьей за тучей проектов не видно будет* (*Михельсон* 1994: 692). Очевидно, что это фразеологический вариант выражения — *света божьего не видно*. Но если в стихотворении В. Некрасова *зга* — это «тьма», тогда *зга в глаза заглянула* — оксюморон, актуализирующий противоречивость слова *зга* (между прочим, и слово *заря* энантиосемично: оно обозначает — и «рассвет» и «закат»). Противоречие снимается, если привлечь фразеологические ассоциации. О чем можно было бы, не нарушая языковых стереотипов, сказать *в глаза заглянула*? О смерти. Такова языковая метафора. *Тьма* — тоже метафора смерти. Может ли возникать смысл: «так темно, что смерти не видно»? Вероятно, может — как указание на невидимую опасность.

Связь света, тьмы и смерти прочитывается и в стихотворении Д. Голышко-Вольфсона (*семен* здесь — семя⁹, архетипический символ умирания и возрождения):

Не катаньем, так мытьем семен
в двухмерную пахоту ушел,
и в землице прослышал — бела ртуть
в столбиках расстояний поет.

В полушарьях малинника до зги
седой мальчишник его поминал.
Глобусы снеди шли по рукам,
в параллелях кружек сбитень шипел
(*Голышко-Вольфсон* 1994: 32).

Что значит *до зги поминал*? Вряд ли «до наступления темноты» — это было бы соблюдением правильного режима дня в экстремальной ситуации — рисуется явная картина тризны. Скорее

уж «до рассвета». Когда говорят *до зари*, имея в виду «долго», речь идет, конечно, о рассвете. Или *до зги* — «до бесчувствия»?

В стихотворении А. Иконникова-Галицкого читаем:

Ой, Семен, куда ж ты, дура, завез -
зги не [sic!] зги, а в бездну по борозде,
растрясло мой-то косточки влать,
да уж красные ши в бороде (Иконников-Галицкий 1995: 44).

Выражение *ни зги* (*зги не зги* обнаруживает здесь связь с мотивом путешествия на лошадях (*куда ж ты, дура, завез; растрясло мой-то косточки влать*). Он побуждает вспомнить гипотезу о значении «деталь упряжи», но видеть такое значение в самом тексте невозможно. Как и во всех других текстах со словом *зга*, здесь присутствует тема смерти: *в бездну; красные ши в бороде* — «кровь». К тому же конструкция *зги не зги* моделирует двойственность плана выражения: *зги (не видно)* и *ни зги (не видно)* употребляются в языке как синонимы. Стоит обратить внимание на фонетику сочетания *зги не зги*: в его первой части звучит [зг'ин'и].

У Н. Искренко слово *зга* обозначает элемент наркотической галлюцинации. Оно включено в текст-глоссологию и помещено среди слов *стря, фряшечка, члястая, блйстая, футы-литарная*. При этом имеется образ тьмы (*Ночь моя ночь моя*) и света (*блйстая*), а также потенциальное значение смерти (*криминогенная, передозировка не допускается, чешется бритвою*):

Ночь моя ночь моя
криминогенная
стричь моя брить моя
сделать приятное
ватное бледное
лунное рвотное
передозировка не допускается
кается мается
чешется бритвою
в рот наберет
и работает вдумчиво
стульчик подставит
и смотрит придиричиво стульчик подставит и смотрит и
смотрит
стря моя зга моя
фряшечка лепая
члястая блйстая
футы-литарная
парная гарная (Искренко 1996: 23).

Связь со смертью присутствует и в текстах В. Сосноры:

В небе **ни зги нет**. Деревя
 тени
 порастеряли, или и их —
 в тюрьмы?
 В нашей тюрьме только зегзиц
 числа,
 «стой, кто идет?» — выстрел и вопль! —
 ты ли? (*Соснора* 1994: 22).

Мой Красный сад! Где листья — гуси гуси
 ходили по песку на красных лапах
 <...>
 Как он стоял! Когда **ни зги в забвенье**,
 когда морозы — шли, когда от страха
 все — старость, или смерть... и веки Вя
 не повышались (ужас — умирал!)
 когда живое, раскрывая рот,
 не шевелило красными губами (*Соснора* 1987: 204).

Обратим внимание на то, что в первом из контекстов Сосно-
 ры *ни зги* созвучно архаизму *зегзиц* и входит в комплекс *зги нет*,
 звучащий как глагол *сгинет*, а во втором включено в аллитера-
 ционный ряд со звуком [з]: *зги — забвение — морозы*. Во втором
 из этих примеров отчетлива связь выражения *ни зги* с красным
 цветом.

В поэме Ю. Кузнецова «Дом» строка *Горели три большие зги* —
 описывает поминальные свечи. Отметим предметность, исчисли-
 мость денотата и его предикат *горели*:

Семья сходилась за столом,
 И жечь отец велел
 Свечу на месте дорогом,
 Где старший сын сидел.
 <...>
 А в пустоту шагнул другой
 И сгинул навсегда.
 Еще свечу! На две версты
 Сильнее свет пошел.
 Как от звезды и до звезды,
 Между свечами стол.
 <...>
 И этой муки не могла
 Родная превозмочь.
 О, далеко она ушла!
 И наступила ночь.
 О чем, о чем он говорит
 Один в ночном дому?
 Еще — одна свеча горит.
 О, как светло ему!

Горели три большие зги,
 И мудрость в том была,
 Казалось, новую зажги —
 И дом сгорит дотла...
 Старик умел считать до трех,
 И мудрость в том была.
 Не дай и вам до четырех,
 Четыре — это мгла (Кузнецов 1990: 282—283).

В. Кривулин в стиховорении «Концерт памяти Сергея Курехина» соотносит згу с абсолютом, с невидимостью. В тексте можно увидеть и отголосок этимологической гипотезы о лошадиной упряжи¹⁰ (*он как привязчивый блуждает за бренчаньем невидимой, но абсолютной зги*). Впрочем, *бренчанье зги* в тексте скорее связано с музыкой театральных представлений, шелестом фольги и с выстрелами:

в осколках музыки и в зарослях фанеры
 в лесу из безнаказаной фольги
 девицы пляшут как милиционеры¹¹
 и чертят красные восьмерки и круги

театр живет закрытый за долги
 подобьем жизни внутренней без веры
 что там за стенами и крики и шаги
 и даже выстрелы и офицеры, офицеры...

театру все равно друзья или враги
 он как привязчивый блуждает за бренчаньем
невидимой, но абсолютной зги

он что-то спрашивает — мы не отвечаем
 он за плечи трясет но в пар его руки
 не слишком верится — так за вечерним чаем

включая новости сознание отключаем
 и в точку, в точку, в пол, под сапоги (Кривулин 1998: 33).

Соотнесение словарного значения «ничего не видно» со смертью через созвучие слов *сгинет* — *ни зги* можно видеть и в следующем примере:

Я не стану пастырем, ты — врачом;
 Ярославна **сгинет**, дернув плечом,

нет — крылом, да так, что пойдут круги
 по воде, над которой не видно **ни зги**... (Поляков 1993: 27).

В тексте А. Крестинского довольно странными оказываются отношения между производным значением всего сочетания *ни зги* — «ничего, нисколько» (вспомним, что у Даля зафиксировано *хлеба ни зги*) и темой смерти:

Навалилась милая орда,
 Хлещет горлом алая беда,
 А глаза пусты, как у покойника,
 Жалости в глазах — **ни зги**.
 Выжрут жизнь беспомощно-покорную,
 И оставят горсть лузги (*Крестинский* 1993: 86).

Казалось бы, в этом случае связь выражения *ни зги* с темой смерти должна быть самой простой и понятной: речь идет о покойнике. Но если присмотреться к тексту с попыткой применить логику, то обнаружится: если бы в глазах была жалость и они были бы живыми, то в них была бы *зга*. В этом случае ближе всего переносные значения слов «искра», «капля», «самая малость», предлагаемые Далем. Но даже и это значение не годится для следующего текста, в котором, может быть, актуализирована только сема «ничего»:

... Корруппированные круги
 домогались твоей Ноги.
 Да не вышло у них **ни зги**... (*Вишневецкий* 1992: 196).

В таком употреблении единственной функцией сочетания *ни зги* остается экспрессивное усиление высказывания. В той же функции употребляются выражения типа *ни черта*, *ни шиша*, *ни фи́га* и др. — с разной степенью приличности. Е. Н. Дубинский, обратив внимание на синонимию выражений *ни зги* и *ни черта*, *ни шиша*, говорит о том, что в таких сочетаниях не могут быть определены собственные значения слов *черт* и *шиши* (*Дубинский* 1973: 19). Но кажется весьма существенным, что подобные выражения актуализируют те компоненты значения, которые делают слово эмоциональным интенсификатором, восходящим к номинации нечистой силы. Эта способность к высвобождению экспрессивности замечена В. Строчковым:

— Я Апсара! Въезжаю в Сансару. **Ни зги!**
 Ты, в натуре, опять мне шприцуешь мозги,
 ты козёл по фактуре своей!
 Медитируя здесь, по ту сторону зла
 и добра, я тебя просекаю, козла,
 и в сенсоре ты — фукс, муравей! (*Строчков* 1994: 364).

Здесь *ни зги* внесено в стихию жаргона с цитатами из культурного интертекстуального пространства (собственно, выражение *ни зги* в его нормативной сочетаемости и принадлежит книжному стилю). Таким образом, автор включает фразеологизм в текст, наиболее полно проявляющий свойство слова быть интенсификатором.

В контексте Строчкова *ни зги* может, вместе с тем, читаться и как «никого, ни души». Значение «ни души» присутствует здесь имплицитно, поскольку оно подсказывается языковой синонимией выражений *никого* и *ни души*. В песне М. Щербакова «Буря на море» аналогичная имплицитная связь порождает контекстуальное сближение слов *ни зги вокруг* и *души наши*:

Какой маяк? Какие шлюпки?
С ума сошли вы иль ослепли!
Ни зги вокруг, мы в центре бездны,
и души наши очень скоро
взовьются к небу, как голубки, —
хотя скорей им место в пекле...
Короче, будьте так любезны
молчать и гибнуть без позора! (Щербаков 1997: 177).

В этом тексте — с четко представленной темой смерти и преисподней — можно видеть сходство образов с образами стихотворения В. Хлебникова «Море» и почти цитату *Сбесился он или ослеп?* — из стихотворения Н. Заболоцкого «На лестницах».

Потенциальная синонимия выражений *ни души* и *ни зги* становится явленной у С. Стратановского:

А что у вас?
Конечно, квас
Грибки соленые, калина,
В углу икона — Спас

А что у нас? Разор и боль
Домашний сор и алкоголь
И ни души, ни зги
И если скажешь «Помоги»
В ответ: «Не помогу» (Стратановский 1997).

Однако в этом стихотворении на языковую неопределенность *зги* накладывается и смысловая двойственность слова *душа*: здесь оно имеет не только значение «кто-нибудь», полученное в сочетании *ни души*, но и прямое значение, поскольку в предшествующей строфе говорится об иконе, Спасе. Тогда в отношениях между словами *ни души* и *ни зги* обнаруживается и потенциальная антонимия: общий смысл строки — и «ничего хорошего», и «ни хорошего, ни плохого». Впрочем, не исключено, что *ни зги* здесь носитель вполне материального значения — антитеза к ряду *квас, грибки, калина*: «у вас» есть эти признаки благополучия, уюта, душевного гостеприимства, а «у нас» нет (вспомним примеры Даля *ни зги в закромах, ни зги хлеба*). В любом случае, с чем бы ни была сопоставлена *зга* в тексте Стратановского, с душой или гриб-

ками, образ ее отсутствия — это интенсификатор безжизненности, и, может быть, как раз принципиально важно, что безжизненности и в духовном, и в материальном проявлении. Такой текст показывает на универсальность слова *зга*, в котором нейтрализуется оппозиция между абстрактным и конкретным, сакральным и профанным. И тогда то общеязыковое значение выражения *ни зги* — «очень темно», которое, конечно же, в этом тексте есть, может пониматься и как вполне бытовое отсутствие света, и как христианский символ.

Это стихотворение примечательно еще и тем, что, при сохранении сочетанием *ни зги* лексической и грамматической нормативности, оно помещается в такую синтаксическую позицию, в которой предстает сомнительной его семантическая устойчивость: рядом с выражением *ни зги* появляются однородные члены предложения, предлагающие понимать *згу* как предмет или нечто вполне конкретное, хотя и непонятно, что именно. В современной поэзии встречаются и другие тексты, в которых слова *ни зги* становятся элементами неожиданных перечислительных рядов:

Ты смотришь назад — а там пелена дождя.
Утеранный образ сечет сетчатки твоей узор.
Уже не видать **ни зги, ни статуй вождя.**
Уже не собрать костей, не имать сраму позор
(Левчин 1996: 17);

В комнате с салатовым торшером
двое занимались адюльтером
<...>
И смотрел в окно на них прохожий,
шуря глаз свой все мрачней и строже,
и указывал на это детям,
добавляя мелких междометий.
<...>
Но они, обиженные чем-то,
затушили огонек торшера,
и не стало с этого момента
ни детей, **ни зги, ни адюльтера** (Воркунов 1995: 30).

Очевидно, что когда погасла лампа, стало темно. Но выражение *ни зги* все же находится вне стандартной сочетаемости, следовательно, оно дефразеологизировано: употребление слов *не стало* предполагает утверждение, что *зга* была. И она предстает как нечто вполне материальное, входя в один ряд со словами *ни детей* <...> *ни адюльтера*. Вероятно, главная сема здесь, как и во многих других случаях — прекращение бытия. Не исключено, впрочем, и такое понимание сочетания *ни зги*, которое побужда-

ет вспомнить пример из пьесы Введенского «Куприянов и Наташа». Архетипически сексуальное поведение сопряжено и с выключенностью из жизни, и с максимальным проявлением жизни, и со смертью и с рождением. Может быть, поэтому здесь и оказываются рядом выражения *ни детей, ни зги, ни адюльтера*.

В стихотворении Ю. Мориц находим форму множественного числа в строке, обнаруживающей анаграмматический повтор-отзвук с хиазматической (зеркальной) перестановкой элементов — *за эти мозги элитарные, тарные зги живоглотских династий*. Как и в ряде предыдущих текстов, здесь можно увидеть приближение слова *зги* к брани, во всяком случае, оно сопровождается бранью:

Дитя, торопись, а не то умереть опоздаешь за их процветанье, —
уже не хватает гробов, чтобы все улеглись, пострелявшись за их интересы,
за их клептоманию, блям, графоманию, премии, мумии, феню, конгрессы,
за эти **мозги элитарные, тарные зги** живоглотских династий, за яйца —
блям, Фаберже, за бутик, за антик, за раскрутку, блям, фракций
и фрикций,
мальчик, пись-пись, торопись превратиться в обрубок, в огарок,
в придурка!.. (Мориц 1996: 11).

Контекстуальная производность сочетания *тарные зги*, представляющего собой обрывок выражения *мозги элитарные*, является своеобразным дублированием другого (исходного) эллипсиса *ни зги не видно — ни зги*. Существительное *зги* и окказионализм *тарные* оказываются связанными со смертью и гробами. Возможно, в тексте, тема которого — цинизм в военной политике и в практике армейского призыва, *гробы* и предстают *тарой*. В таком случае слово *зги* — обозначение всасывающей бездны, прорвы — в том значении, в котором слово *прорва* выступает в фильме И. Дыховичного «Прорва» — с добавлением «циничной» метафоры. Кроме того, трансформация *мозги элитарные (тарные зги*, если читать эту последовательность не как перечисление, а как уточнение, может выражать смысл «утрата мозгов (интеллекта, разума)». Возможна и совсем другая интерпретация сочетания *тарные зги*. Пример из Введенского, экспрессивно-бранное употребление слов *ни зги* разными авторами, помещение Юнной Мориц слова *зги* между словами *мозги* и *яйца* и, главное, мотив деторождения, проходящий через все ее стихотворение, позволяют понимать *тарные зги живоглотских династий* — как место, откуда эти династии рождаются.

Значения и тьмы, и смерти в следующем контексте актуализируются определением *кромешной*, а в качестве существительно-

го выступает весь фразеологизм, потенциально подверженный (и в данном случае подвергшийся) лексикализации:

... веселость встреч,
нацеленных автора уберечь
от факта: той, о которой речь,
как, впрочем, и всем другим,
привыкших на рифах **кроmeshной**
ни-зги
зевоту рукой бороться,
я нужен — как рифма
стихам Айги,
как евреям — крайняя плоть (Гликин 1995: 14).

Подведем итоги. В художественных текстах XX в. наблюдается активная дефразеологизация и семантизация слова. Многие тексты актуализируют динамические потенции энантиосемии, вызванной противоречием общего значения фразеологизма и частного, утраченного языком, значения существительного. Его переосмысление основано на общем значении фразеологизма 'ничего (не видно)' и проявляет тенденцию к расширению значения — 'ничего'. Чаще всего слово *зга* наполняется значением «смерть» с признаками и мрака, и света¹², что соответствует как общекультурным символам, так и рассказам людей после реанимации. Значение «смерть» активно поддерживается фонетическим созвучием с глаголом *сгинуть*.

Языковая энтропия, выразившаяся в фонетической редукции, деэтимологизации и десемантизации слова, воспринимается поэтами как модель и метафора энтропии в широком смысле. Поэтому развитие у слова *зга* значения 'смерть' обусловлено не только архетипическими представлениями о связи тьмы, слепоты, смерти, но и самим ходом процессов в истории слова. Из тех значений, которые иллюстрируются примерами Даля, наиболее архаическим и наиболее устойчивым представляется «искра». Оно не противоречит самому общему из новых значений — «смерть», так как возможное *ни искры* достаточно логично соотносится со зрительным проявлением сущности в момент ее исчезновения.

Примечания

¹ Основанием для такой этимологии стала цитата, приведенная Словарем русских народных говоров и, вслед за ним, Псковским областным словарем: *Продень повод через згу и привяжи к гужу* — «кольцо у дуги, через которое продевают повод обрати» (*Словарь русских народных говоров* 1976: 226; *Псковский словарь* 1996: 297).

² См.: *Бирх, Мокиенко, Степанова* 1994: 122.

³ Д. К. Зеленин привел пример более экспрессивного фразеологизма со значением плохой видимости: *свету божьего не видно*. На полях отдельного оттиска с дарственной надписью Ф. Коршу (Российская Национальная библиотека в Санкт-Петербурге) имеется приписка (вероятно, Корша): *хоть глаз выколи*. Она показывает, что Корш соглашался с критикой устойчивого уже к тому времени мнения.

⁴ Термин, восходящий к учению Платона о замещении оригинала копией. В философии постмодернизма — одно из ключевых понятий, разработанное Ж. Бодрийаром, Ж. Делезом и Ж. Деррида для обозначения фикции как концепта (см.: *Современный философский словарь* 1996: 456—459).

⁵ Анализ этого контекста см. ниже.

⁶ Далее в стихотворении есть строка *Буря носится волчком*. В словаре Даля сл(ва *дзыга* нет, но с ним созвучны слова *дзык* — южн. «мошкара» и *дзынга* — сиб., сев. «вид полуутки» (*Даль* 1976: 436). Первое из них вполне может быть соотнесено со *згой*, если *зга* — нечто мелкое и мелькающее.

⁷ По существу, это пародия на пародию: рассказ Чехова пародирует персонификацию символов в драматургии символизма.

⁸ В подзаголовке слово *Зги* стоит в единственном числе, что противоречит содержанию эпизода и объясняется, возможно, крайней затрудненностью употребления этого слова в родительном падеже множественного числа.

⁹ Слово *семя*, преставленное в его древнейшей праславянской огласовке с носовым согласным, омонимически совмещено с именем собственным *Семен*. В устном исполнении текста автором звучит *Семен*.

¹⁰ В беседе с автором статьи В. Кривулин сказал, что в его представлении *зга* — это «колокольчик на дуге».

¹¹ *Милицанер* — слово, которым прославился Д. А. Пригов.

¹² Ср. в песне М. Шербакова: *В конце концов явился мне спасительный от-вет — / и, сам не свой от радости, я вновь полез в блокнот, / нашарил там строку, где «все мы движемся на свет», — / и перед словом «свет» с размаху вставил «тот»!* (*Шербаков* 1977: 213).

Источники

Бобышев 1992 — Бобышев Д. Русские терцины и другие стихотворения. СПб., 1992.

Буренин 1976 — Буренин В. П. Венок и швабра, или сюрприз драматургу. Мело-трагедия с недоразумениями в четырех картинах, с фантастическим прологом, небывалым эпилогом, хором и танцами петербургской Зги и разрушением театра // Русская театральная пародия XX века. М., 1976. С.

Введенский 1994 — Введенский А. Куприянов и Наташа // Поэты группы «Обэриу». СПб., 1994. С. 180—186.

Вишневский 1992 — Вишневский В. Спасибо мне, что есть я у тебя. М., 1992.

Воркунов 1995 — Воркунов А. Троянский кот. М., 1995.

Гликин 1995 — Гликин М. Я — метролль. М., 1995.

Голышко-Вольфсон 1994 — Голышко-Вольфсон Д. Homo scribens. СПб., 1994.

Жданов 1991 — Жданов И. Место земли. М., 1991.

- Заболоцкий* 1994 — Заболоцкий Н. На лестницах // Поэты группы «Обэриу». СПб., 1994. С. 350—352.
- Иконников-Галицкий* 1995 — Иконников-Галицкий А. Aggelos. СПб., 1995.
- Искренко* 1996 — Искренко Н. Интерпретация момента. М., 1996.
- Кибиров* 1997 — Кибиров Т. Парафразис. СПб., 1997.
- Крестинский* 1993 — Крестинский А. Тихий рокер. СПб., 1993.
- Кривулин* 1997 — Кривулин В. Купание в Иордани. СПб., 1998.
- Кузнецов* 1990 — Кузнецов Ю. Стихи и поэмы. М., 1990.
- Левчин* 1996 — Левчин Р. Вода-огонь /СПб./, 1996
- Лосев* 1985 — Лосев Л. Чудесный десант. Телэфу, 1985.
- Манхетин* 1996 — Манхетин Б. Серебряная мышь: Альманах. Нью-Йорк, 1996.
- Мориц* 1996 — Мориц Ю. Античное блям // Октябрь. 1996, № 5. С. 11.
- Некрасов* 1989 — Некрасов В. Стихи из журнала. М., 1989.
- Несмеянова* 1997 — Несмеянова М. Проекция на плоскость. Рукопись, 1997.
- Пастернак* 1965 — Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965.
- Поляков* 1995 — Поляков А. Epistulae ex Ponto. Стихи. Симферополь, 1995.
- Скородумова* 1993 — Скородумова Ю. Чтиво для пальцев. М., 1993.
- Соснора* 1987 — Соснора В. Избранное. Ann Arbor, 1987.
- Соснора* 1994 — Соснора В. Книга стихов. СПб., 1994.
- Стратановский* 1997 — Стратановский С. А что у вас? Рукопись, 1997.
- Строчков* 1994 — Строчков В. Глаголы несовершенного времени: Избранные стихотворения 1981—1992 годов. М., 1994.
- Хармс* 1994 — Хармс Д. Окнов и Козлов // Поэты группы «Обэриу». СПб., 1994. С. 301—303.
- Хлебников* 1986 — Хлебников В. Творения. М., 1986.
- Цветаева* 1994 — Цветаева М. Собр. соч. В 7 т. М. 1994. Т. 2, 3, 4.
- Чехов* 1961 — Чехов А. П. Калхас // Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1961. Т. 4.
- Щербаков* 1997 — Щербаков М. Другая жизнь. М., 1997.

Библиография

- Архангельский* 1969 — Архангельский В. Л. Сокращение устойчивых фраз, основанное на лексической детерминации по двум и более элементам // Вопросы теории и истории русского языка: Вып. 2. Калуга, 1969. С. 3—19.
- Ахманова* 1958 — Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1958.
- Бирих, Мокиенко, Степанова* 1994 — Бирих А., Мокиенко В., Степанова Л. История и этимология русских фразеологизмов: (Библиографический указатель. 1825—1994). München. 1994.
- Варбот* 1983 — Варбот Ж. Ни зги // Наука и жизнь. 1983. № 5. С. 118—119.
- Варбот* 1984 — Варбот Ж. Ни зги не видно // Наука и жизнь. 1984. № 5. С. 140.

- Герасимова* 1995 — Герасимова Н. М. Энергетика цвета в цветаевском «Молодце» // Имя. Сюжет. Миф. СПб., 1995. С. 159—176.
- Даль* 1978 — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978—1980. Т. 1.
- Дубинский* 1973 — Дубинский Е. Н. Уточнение фразеологического компонента как стилистический прием // Вопросы стилистики: Вып. 6. Саратов, 1973. С. 3—22.
- Еремина* 1991 — Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.
- Зеленин* 1903 — Зеленин Д. К. Этимологические заметки // Филологические записки. Воронеж, 1903. № 2. С. 1—32.
- Зубова* 1996 — Зубова Л. «По следу слуха народного»: (Синкретизм и компрессия слова в поэме «Молодец» // Марина Цветаева. Песнь жизни. Actes du colloque international de l'université Paris IV. 19—25 octobre 1992. Париж, 1996. С. 207—218.
- Михельсон* 1994 — Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. М., 1994. Т. 1.
- Невская* 1984 — Невская Л. Г. Лит. *margas* (семантические связи постоянного эпитета) // Славянское и балканское языкознание: Язык в этнолингвистическом аспекте. М., 1984. С. 130—136.
- Попов* 1976 — Попов Р. Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. М., 1976.
- Преображенский* 1959 — Преображенский А. Этимологический словарь русского языка: В 2 т. М., 1959. Т. 1.
- Псковский словарь* 1996 — Псковский областной словарь с историческими данными. Т. 12. СПб., 1996.
- Седакова* 1983 — Седакова О. А. Метафорическая лексика погребального обряда. Материалы к словарю // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М.: Наука, 1983. С. 204—220.
- Словарь русских донских говоров* 1975 — Словарь русских донских говоров: В 3 т. Ростов, 1975. Т. 1.
- Словарь русских народных говоров* 1976 — Словарь русских народных говоров. Т. 11. Л., 1976.
- Словарь XI — XVII вв.* 1978 — Словарь русского языка XI — XVII вв. Вып. 5. М., 1978.
- Современный философский словарь* 1996 — Современный философский словарь. М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996.
- Татар* 1986 — Татар Б. К вопросу о происхождении фразеологической единицы «ни зги не видно» (in memorium E. Balecky) // Russica. Budapest. 1983. С. 91—98.
- Фасмер* 1986 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Пер. с нем. М., 1986—1987. Т. 2.
- Фразеологический словарь* 1991 — Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII—XX в.: В 2 т. Новосибирск, 1991. Т. 1.
- Черных* 1994 — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1994. Т. 2.
- Чистяков* 1982 — Чистяков В. А. Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 114—126.
- Шмелев* 1969 — Шмелев Д. Н. О понятии «фразеологическая связанность» // Иностранные языки в школе. 1970. № 1. С. 20—27.

ОБЗОРЫ

*Ян-Паул Хинрихс
Гронинген*

Русская поэзия о Нидерландах

Отношения между Нидерландами и Россией послужили в последние несколько лет предметом целого ряда конференций, выставок, монографий и сборников статей, обсуждающих такие разнообразные вопросы, как торговые связи, дипломатия, картография и шпионаж. Однако до сих пор еще не исследовался вопрос о том образе Нидерландов, который сложился в русской литературе. Вопрос же этот представляет несомненный интерес, поскольку материала по нему имеется очень много. Уже только об образе Рембрандта в русской литературе можно было бы написать солидную монографию. Более того, одним лишь стихотворением Манделъштама о Рембрандте занималось столько русских литературоведов, что из их статей можно было бы составить целый сборник.

Все те произведения русской литературы, посвященные Нидерландам, которые мне довелось прочитать, можно разделить по следующим жанрам: проза, поэзия, драматургия, письма, описания путешествий. Из перечисленных жанров поэзия опережает все прочие по числу авторов. Мне известно около пятидесяти русских поэтов, писавших стихи о Нидерландах¹. Проведенное исследование показало, что тема Нидерландов занимает в русской поэзии пусть довольно скромное, но все же достаточно важное место.

К тому моменту, когда в России возникает литература в полном смысле слова, славное время пионеров-голландцев, исследовавших Россию, уже миновало, а Петр I, дважды посещавший Нидерланды, уже умер. Как раз к этому самому раннему этапу развития русской литературы и относится первое и до сих пор самое продолжительное пребывание в Голландии более или менее известного русского писателя. Я имею в виду Василия Тредиаковского, которого традиционно принято считать поэтом деревен-

ской темы и про которого Николаас ван Вейк написал грустные слова: «Только вот нашим поэтам вроде Фейтама сладкозвучные стихи удавались лучше, чем ТрEDIAКОВСКОМУ» (*van Wijk* 1926: 87).

ТрEDIAКОВСКИЙ гостил в Гааге у русского посла, графа Александра Головкина, в 1726—1727 гг. До сих пор так и остается невыясненным, зачем ТрEDIAКОВСКИЙ ездил в Голландию. Нам почти ничего не известно о его жизни в Голландии, кроме того, что в Гааге он, по его собственным словам, учил французский язык. Знание французского ему, несомненно, весьма пригодилось в Париже, куда он отправился пешком в 1727 г. с целью продолжить учебу. Поэт двадцатого века Вадим Шефнер посвятил жизни ТрEDIAКОВСКОГО в Гааге одно стихотворение из цикла «Василию ТрEDIAКОВСКОМУ». Он изображает ТрEDIAКОВСКОГО бедным и голодным; для создания голландского колорита Шефнер прибегает к стандартному образу мельницы: «Ты беден. Ни хлеба, ни крова,/ Ни рыбки тебе от улова.../ А мельницы — серые совы — / На крыльях неслышных летят» (*Шефнер* 1986: 120).

В Гааге ТрEDIAКОВСКИЙ вдохновляется на написание первого в русской поэзии стихотворения о Нидерландах: «Описание грозы, бывшая в Гаге» (*ТрEDIAКОВСКИЙ* 1963: 95—96). Это стихотворение, представляющее собой, по утверждению Карела ван хэт Reve, ни больше ни меньше, как «первое русское лирическое стихотворение» (*van het Reve* 1985: 38), связано с голландской темой лишь названием: описываемую в нем грозу и волнение в природе прекрасно можно было наблюдать и в другой стране.

Гаагское стихотворение ТрEDIAКОВСКОГО — единичный случай в поэзии XVIII века: других стихов этого времени на голландскую тему мне неизвестно, хотя Александр Сумароков, современник ТрEDIAКОВСКОГО, и упоминает Вондела в стихотворении «Две эпистолы», где перечисляются стихотворцы и писатели всего мира (*Сумароков* 1957: 112—129). Русские писатели начали совершать «литературные путешествия» за границу лишь в конце XVIII в.: среди первых были Денис Фонвизин и Николай Карамзин, путешествовавшие по Европе (но не захватившие в Голландию).

Тем не менее, в XVIII в., кроме ТрEDIAКОВСКОГО, в нашей стране побывало еще несколько прославленных русских. А именно Михаил Ломоносов, отец русской литературы и науки, который в 1740 г. по дороге из Германии заезжал к графу Головкину в Гаагу для улаживания какой-то формальности. «Просвещенная» княгиня Екатерина Дашкова написала несколько изяшных строк об ужине у штатгальтера Вильгельма V в 1779 г. Во время этого ужина штатгальтер, против своего обыкновения, не дремал. Дашко-

ва описывает также свой несколько странный визит к знаменитому лейденскому медику Х. Д. Гаубиусу. В Лейдене она останавливалась у своего «родственника, князя Шаховского» (Дашкова 1985: 104). Вероятно, это был Алексей Шаховской, который в 1779 г., когда ему было девятнадцать лет, поступил на юридический факультет Лейденского университета. Как указывается в одной почему-то крайне редко цитируемой исследователями голландско-русских отношений статье, в Лейденском университете училось тогда около ста двадцати русских, включая родившихся в России иностранцев (Nicholas 1957). Однако, насколько мне известно, никто из этих студентов не написал стихов о Голландии.

В XIX веке голландские мотивы встречаются в русской литературе намного чаще, чем в XVIII в. Из прозы следует назвать единственное описание поездки русского человека в Голландию, имеющее литературную ценность: «Записки о Голландии 1815 года» (1821), принадлежащие перу морского офицера Николая Бестужева. Особенно ярко Бестужев пишет о голландской скупости и ограниченности: если отец, живущий с сыном отдельно, зайдет в дом сына во время обеда, то дело свое он изложит, стоя в дверях, а сесть со всеми за стол его не пригласят. Бестужев находит очень забавным, что голландцы пьют чай не с пиленым, а с толченым сахаром, чтобы удобнее было отмерять ложечкой, сколько следует положить в чашку (Bestoezjev 1989: 19—20).

По-видимому, этот рассказ о поездке в Голландию в какой-то мере поддал мысль брату Николая Бестужева, писателю Александру Бестужеву-Марлинскому, написать роман из морской жизни, который в 1831 был напечатан в одном из русских журналов. Роман «Лейтенант Белозор» начинается с событий конца наполеоновских войн, когда англичане и русские осуществляли морскую блокаду голландского побережья, так что французский флот оказался запертым во Флиссингене (Бестужев-Марлинский 1958: 343).

Состоявшееся в 1816 г. в Петербурге бракосочетание русской великой княгини Анны Павловны, сестры Александра I, с будущим королем Нидерландов Вильгельмом II стало поводом для написания одного очень известного стихотворения. Оно принадлежит перу самого знаменитого русского поэта, Александра Пушкина, которому позднее, в 1937 г., суждено было стать главным действующим лицом и жертвой скандальнейшего эпизода из истории русско-голландских отношений, ибо он был тогда смертельно ранен на дуэли с приемным сыном голландского посла. На самом деле царица Мария Федоровна заказала на-

писать стихотворение по случаю отъезда молодоженов в Голландию не Пушкину, а сейчас почти забытому поэту Юрию Нелединскому-Мелецкому. Однако этот поэт никак не мог себя заставить выполнить заказ и поехал в Царское Село, в Лицей, и передал заказ Пушкину, который, похоже, тут же написал требующееся стихотворение («Принцу Оранскому» — *Пушкин I: 182—183*) всего часа за два. Юный поэт, которого царица впоследствии наградит за его работу золотыми часами на цепочке (*Вересаев 1932: 54*), воспекает в нескольких строфах — вероятно, по наущению Нелединского-Мелецкого — героизм Вильгельма, проявленный им в битве у Ватерлоо.

Хвала, о юноша герой!
С героем дивным Альбиона (т. е. с Велингтоном — *Я.-П. Х.*)
Он верных вел в последний бой
И мстил за лилии Бурбона.

Пред ним (принцем Оранским — *Я.-П. Х.*) мятежных гром гремел,
Текли во след шиты кровавы;
Грозой он в бранной мгле летел
И разливал блистанье славы.

Его текла молодая кровь,
На нем сияет язва чести:
Венчай, венчай его, любовь! (Анна Павловна — *Я.-П. Х.*)
Достойный был он воин мести.

Существует очень трогательный голландский перевод этого стихотворения, выполненный анонимом (может быть, Карелом ван хэт Реве?) (*Driessen 1989: 133*).

С династическими интересами было связано также посещение Голландии Василием Жуковским, приехавшим сюда в 1839 г. в качестве сопровождающего лица при великом князе Александре, будущем царе Александре II. Они побывали, в частности, в домике Петра в Заандаме, по поводу чего Жуковский написал небольшое стихотворение «Над бедной хижинкою сей...» (цит. в: *Калязин 1991: 206*), переведенное на голландский Якобом ван Леннепом (*Driessen 1989: 136*), с которым Жуковский, по-видимому, познакомился в Голландии лично.

Над бедной хижинкою сей
Летают ангелы святые
Великий князь, благоговей,
Здесь родилась великая Россия.

Пребывание Петра в Заандаме станет поводом для написания еще многих русских стихов о Голландии. Из поэтов XIX в. следу-

ет назвать П. Вяземского, современника Пушкина, воспевшего «скромный домик, / Где некогда наш Петр, наш труженик-герой, / Сам выработывал пророческой рукой / Грядущие судьбы своей державы» (*Вяземский* 1896: 374). Видел ли Вяземский этот домик когда-нибудь своими глазами, я не знаю.

Уже в самом начале XIX в. в русской литературе возникает тема, которая также будет постоянно звучать и в дальнейшем: это тема голландской живописи. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин описывает расселину в горах Кавказа и сравнивает ее с изображением природы на одной из картин Рембрандта в Дрезденской галерее: «Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но кажется чувствуешь тесноту. Ключок неба, как лента, синее над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембранда» (*Пушкин VIII*: 451). Несколько лет назад по поводу этого отрывка развернулась целая научная дискуссия. Обсуждался вопрос о том, содержит ли пушкинская ссылка на Рембрандта элемент пародии или нет (*Brown* 1986: 199). Современник Пушкина Вильгельм Кюхельбекер, видевший в 1820 г. картины Рембрандта в Дрездене своими глазами, отзывался о художнике скорее отрицательно, вероятно потому, что стиль Рембрандта не согласовывался с тем романтическим отношением к искусству, которое было присуще Кюхельбекеру: «...мрачные его краски, его неверная рисовка, его мутное воображение оставляют по себе одно туманное воспоминание» (*Кюхельбекер* 1979: 20).

Подобные упоминания о Рембрандте и других голландских художниках, сделанные мимоходом, встречаются в русской прозе достаточно часто. Открыв алфавитный указатель к 30-томному собранию сочинений Александра Герцена, мы обнаружим двадцать восемь отсылок к страницам, на которых упоминается Рембрандт (*Герцен* 1966: 227). Однако в данной статье мы рассматриваем, в первую очередь, русскую поэзию. Самое раннее известное мне стихотворение о голландской живописи принадлежит перу Михаила Лермонтова. Оно называется «На картину Рембрандта» и написано в 1830 г. Необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные попытки, никому так и не удалось установить, какой именно портрет Рембрандта имеет в виду Лермонтов. В искусстве Рембрандта Лермонтов узнает свои собственные сомнения и меланхолию, что и позволяет ему провести в этом стихотворении параллель между старым голландским художником и современником поэта Байроном:

Ты понимал, о мрачный гений,
Тот грустный безотчетный сон,
Порыв страстей и вдохновений,
Все то, чем удивил Байрон.
Я вижу лик полуоткрытый
Означен резкою чертой;
То не беглец ли знаменитый
В одежде инока святой?
Быть может, тайным преступленьем
Высокий ум его убит;
Все темно вокруг: тоской, сомненьем
Надменный взгляд его горит.
Быть может, ты писал с природы
И этот лик не идеал!
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?
Но никогда великой тайны
Холодный не проникнет взор,
И этот труд необычайный
Бездушным будет злой укор. (*Лермонтов* 1979: 255).

Мне практически совсем не удалось обнаружить русских стихов XIX в., которые были бы написаны на основе непосредственных впечатлений от пребывания в Голландии. «Классические» русские писатели не ездили в нашу страну: для русских Голландия не была в XIX в. таким местом, где все стремились бы побывать. С Бельгией дело обстояло иначе: через Бельгию проходили пути, ведущие из России во Францию и в Англию, а общественные бани в Остэнде пользовались у русских большой популярностью. Кроме того, Бельгия, как страна, в которой была принята либеральная конституция, вызывала огромное уважение у прогрессивных русских. Бельгия казалась во многих отношениях образцовой страной: русские специалисты приезжали сюда для изучения опыта строительства железных дорог, системы образования, сельского хозяйства и даже для знакомства с системой тюрем. В девятнадцатом веке «русские студенты» являлись неотъемлемой частью облика бельгийских университетских городов (*Hinrichs* 1992a: 83). В Голландии же русских почти не было.

В самом конце прошлого века, в 1899 г., Константин Бальмонт публикует свое стихотворение «Воспоминание о вечере в Амстердаме». Это стихотворение основано на впечатлении от пребывания в столице нашей страны, куда он заезжал, видимо, во время свадебного путешествия в 1896—97 гг. В стихотворении воспеваются перезвон колоколов, каналы, сонные воды, сумрачные мосты и тишина:

О тихий Амстердам,
 С певучим перезвоном
 Старинных колоколен!
 Зачем я здесь — не там,
 Зачем уйти не волен,
 О тихий Амстердам,
 К твоим церковным звонам
 К твоим, как бы усталым,
 К твоим как бы затонам,
 Загрезившим каналам,
 С безжизненным их лоном,
 С закатом запоздалым,
 И ласковым, и алым,
 Горящим здесь и там,
 По этим сонным водам,
 По сумрачным мостам,
 По окнам и по сводам
 Домов и колоколен,
 Где, преданный мечтам,
 Какой-то призрак болен,
 Упрек сдержать не волен,
 Тоскует с долгим стоном,
 И вечным перезвоном
 Поет и здесь и там...
 О тихий Амстердам!
 О тихий Амстердам! (*Бальмонт* 1969: 185).

Пародии на это стихотворение, якобы написанной Виктором Бурениным, мне отыскать не удалось (*Markov* 1988: 121). Однако нам известна блестящая пародия Иннокентия Анненского, называемая «Из Бальмонта» и опубликованная лишь в 1959 г. Анненский заменяет бальмонтковский Амстердам на Валаам (православный монастырь недалеко от границы с Финляндией) — это иронический намек на увлечение русских декадентов, к которым принадлежал и Бальмонт, северной темой. Заключительный аккорд бальмонтковского стихотворения «О тихий Амстердам! / О тихий Амстердам!» у Анненского превращается в восклицание «О, бедный Роденбах, / О, бедный Роденбах, / Один ты на бобах...» (*Анненский* 1959: 223—224). Анненский имеет в виду модный в то время роман бельгийского символиста Жоржа Роденбаха «Bruges-la-morte» («Мертвый Брюгге», 1892), из которого Бальмонт, вероятно, и заимствовал тему сонной городской тишины, звучащую в его стихотворении об Амстердаме.

Кроме перечисленных стихов Пушкина, Лермонтова, Жуковского и Бальмонта, других стихов о Голландии, написанных в XIX в., мне неизвестно. Следует назвать еще только опубликованные в антологии голландской поэзии 1844 г. подражания гол-

ландским поэтам, написанные Петром Александровичем Корсаковым (1790—1844), пионером в области перевода голландской литературы на русский язык, определенно заслуживающим того, чтобы о нем на его родине написали диссертацию (см. — *Eekman* 1994: 55—58; *Fraanje* 1994: 20—24).

В XX веке появляется намного больше русских стихов о Голландии. К сожалению, ни одно из них не принадлежит перу Александра Блока, едва ли не самого выдающегося поэта из всех русских, побывавших в Голландии. Он случайно заехал в нашу страну в сентябре 1911 г. по дороге из Бельгии. Он ехал из Брюгге через Брескенс во Флиссинген, а оттуда в Дордрехт, где «наконец умылся в ванне», как он сообщает в письме матери. Он находит, что Дордрехт — «очень красивый город», а в тамошнем музее он обнаруживает «культ слащавого Ари Шеффера». «Везде, как известно, каналы, большие пароходы, польдеры и мельницы. В Голландии не так уж весело, в конце концов — мило, опрятно и водянисто, не оскорбительно». Весьма нелестно он отзываясь о Гааге: «от отвращения не мог пробыть там более двух часов» (*Блок* 1963: 372—374). Об Амстердаме, последнем городе, где он побывал во время своего трехдневного путешествия по Голландии, он ничего не может сказать кроме того, что из Амстердама он вскоре уехал, теперь уже в Берлин.

Первым русским поэтом, посвятившим Голландии несколько стихотворений, был, насколько мне известно, символист Валерий Брюсов. Он побывал в Голландии в 1913 г., и как автор пяти стихотворений на голландскую тему, занимает первое место — по крайней мере, в количественном отношении — среди русских литераторов, писавших о нашей стране. В Нордвейкеан-Зее и в Схевенингене он написал четыре стихотворения о море и одно стихотворение о Лейдене. В стихотворении «К Северному морю» он делает упор на то, что описываемый им пейзаж, по его мнению, веками остается неизменным: «Те же дали видели отсюда / Гальс, Ян Стен, Гоббема и Фермер» (*Брюсов* 1973: 114).

Брюсов, который, благодаря своей поездке в Голландию, получил от Игоря Северянина стихотворение «Открытка Валерию Брюсову» (*Северянин* 1975: 227), смотрел на нашу страну, судя по его стихам, сентиментальным взором. Он проецировал на действительность избитые общепринятые образы, заимствованные им, вероятно, из живописи. В стихотворении о Лейдене, которое называется «В Голландии» (*Брюсов* 1973: 113), голландский колорит особенно отчетлив. Он изображает фантастический, не существ-

вующий город Лейден, больше всего напоминающий некую мелкобуржуазную Аркадию:

В Голландии

Эти милые, красно-зеленые домики,
 Эти садики, в розах и желтых и алых,
 Эти смуглые дети, как малые гномики,
 Отраженные в тихо-застывших каналах,
 Эти старые лавки, где полки уставлены
 Рядом банок пузатых, давно закоптелых,
 Этот шум кабаков, заглушенный, подавленный.
 Эти рослые женщины в чепчиках белых,
 Это все так знакомо, и кажется: в сказке я,
 И готов наважденью воскликнуть я: vade!
 Я с тобой повстречался, Рембрандтова Саския?
 Я в твой век возвращен, Адриан ван Остаде?²

В самые первые годы нынешнего века нашу страну, по-видимому, посетил Федор Сологуб. Однако биограф поэта Нина Денисова не называет Голландию, когда перечисляет страны, где Сологуб побывал в 1909 г. во время своего первого заграничного путешествия. Впрочем, ее утверждение, что в Европе его больше всего поразили стулья и религиозная тишина в церквях (*Denisoff* 1981: 48), находит подтверждение в стихотворении об Утрехтском соборе, написанном Сологубом несколько лет спустя (*Сологуб* 1975: 394).

Из-за совершенного коммунистами в 1917 г. государственно-го переворота на несколько лет прерываются практически все контакты между Нидерландами и Россией. Но в период НЭПа голландские торговцы все же сумели найти еще не совсем забытую дорогу в Россию, о чем свидетельствует стихотворение, написанное Маяковским в 1923 г. в качестве рекламы голландского масла в ГУМе (*Маяковский* 1957: 275). Это один из двенадцати рекламных стишков, использовавшихся ГУМом на всевозможных плакатах, в объявлениях, на рекламных щитах, прикрепленных к трамваям, и на специальных рекламных велосипедах. В другом рекламном стишке, например, расхваливается английский табак. Слависты из Лейденского университета перевели стихотворение о масле следующим образом:

Oost is Oost en West is West,
 Hollandse boter —
 beter dan best.
 Voor sauzen, salades en ander eten
 zou ik geen
 betere boter weten. (van het Reve
 e. a. 1988: 67).

Не уговариваем, но
 предупреждаем вас:
 голландское масло —
 лучшее из масл.
 Для салатов, соусов и прочих ед
 лучшего масла
 не было
 и нет.

Важнейшим элементом в формировании образа Голландии в русском сознании на протяжении XX века остается голландская живопись. По моим наблюдениям, из всех художников самой большой популярностью пользуется Рембрандт. Образ обедневшего Рембрандта неожиданно является нам в стихотворной драме Дмитрия Кедрин (*Кедрин* 1978: 211—299) — поэта, погибшего в 1945 г. при загадочных обстоятельствах. Рембрандт изображен как художник, который, несмотря на бедность, остается в своем творчестве честным и не идет на уступки, как бы его ни уговаривали богатые заказчики. Позднее образ Рембрандта-бедняка мы встречаем у поэтессы Новеллы Матвеевой, известной среди славистов в первую очередь в качестве исполнительницы собственных песен. В стихотворении «Рембрандт» она изображает мнимую бедность Рембрандта в следующих словах:

Бессмертную кисть,
Точно жезл королевский, держал он
Над царством мечты негасимой
Той самой рукою,
Что старческой дрожью дрожала,
Когда подаянья просил он. (*Матвеева* 1991: 117).

Предметом целого ряда литературоведческих статей (*Павлов* 1991: 20—30; *Полякова* 1992: 31—35; *Лангерак* 1993: 289—298) послужило стихотворение Осипа Мандельштама (*Мандельштам* 1990: 238), написанное, вероятно, под впечатлением от картины Якоба Виллемса де Вета. Мандельштам познакомился с этой картиной в Воронежском музее; в то время она ошибочно приписывалась Рембрандту. Стихотворение датировано 8 февраля 1937 г.; в нем поэт сначала сравнивает себя с Рембрандтом, а затем обращается к нему с речью.

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат
И мастер и отец черно-зеленой теми,
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смушают не к добру, смушают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.³

Говоря о «немеющем времени», Мандельштам подразумевает и изолированное, как ему представлялось, положение Рембранд-

та, и собственное изолированное положение. «Сторожа» на картине не охраняют поэта. То же относится и к «воину», под которым; согласно одной из интерпретаций этого стихотворения, Мандельштам подразумевает человека из НКВД: в то время, когда Мандельштам писал это стихотворение, ему со дня на день угрожал арест. Слова «Соколиное перо» и «полночь в гареме» явно указывают на изображение на картине. «Мехами сумрака взволнованное племя» это, очевидно, русский народ периода сталинских репрессий.

Имя Винсента ван Гога тоже встречается в русской поэзии достаточно часто. В шестидесятые годы в России существовал настоящий культ Ван Гога; разные поэты придавали образу этого художника самые разные черты, свойственные, в первую очередь, им самим. Иван Чуранов, современный нижегородский поэт, в своих переполненных насилием и алкоголем стихах отождествляет себя с Ван Гогом, испытавшим такую же нищету, какую переживает сам автор. Он пишет, что его «преследует Ван Гог» (Чуранов 1991: 81). Михаил Юпп, описывая одного своего друга-художника, утверждает, что он — это сочетание царя Соломона и Ван Гога (Юпп 1983: 167—168). Ирина Бушман размышляет над Ван-Гоговскими подсолнухами (Бушман 1961: 61—62), в то время как Семен Липкин приводит в пример ирисы Ван Гога, чтобы подтвердить свою мысль о вечности живописи в отличие от изменчивости времен года: «Вновь будет зимняя дорога, / Но в снежной тишине / Все ж будут ирисы Ван-Гога / Цвети на полотне» (Липкин 1988: 119).

Перу Евтушенко принадлежит «Монолог из драмы „Ван Гог“», заканчивающийся призывом художника создать нечто вроде интернационала обнищавших гениев:

Вставайте, братья —
в путь пора.
Какие с вами мы богатые,
безденежные мастера! (Евтушенко 1972: 178).

О том, что Ван Гог вызывает интерес и как писатель, мы узнаем из дневника Юрия Олеши. Олеша замечает, что Ван Гог — «это не только великий художник, но и яркий писатель: прочитайте, как он описывает свою картину «Ночное кафе»» (Олеша 1965: 250). С этой же картиной связано одно из самых знаменитых стихотворений русской поэзии XX в., а именно «Баллада» Владислава Ходасевича. Ходасевич описывает шаг за шагом, как поэт создает стихотворение, как вдохновение преображает худож-

ника и превращает его из обитателя жалкой комнатки в существо, равное Орфею. Имя Ван Гога Ходасевич не называет ни разу. Однако комментирует это стихотворение так: «Все время помнил, когда писал, Ван-Гог: Биллиардную и Прогулку арестантов», особ(енно)-Билл(иардную) (*Ходасевич* 1989: 394—395). Картину Ван Гога «Биллиардная» часто называют также «Интерьер кафе ночью». От картины «Ночное кафе» в стихотворение попали «штукатурное небо / на солнце в шестнадцать свечей» (*Там же*: 152) — т. е. лампа, висящая над бильярдным столом.

В русской поэзии Рембрандт и Ван Гог предстают как самые известные голландские художники. А вот голландские писатели играют в русской литературе более скромную роль. Можно назвать разве что Спинозу, о котором идет речь в стихотворении Георгия Шенгели, написанном в начале нашего века. Шенгели говорит о «тихом» и «доброжелательном» в отношении евреев городе Амстердаме; этой «благожелательности» противопоставляется еврейская община, которую поэт считает косной и нетерпимой. «Нежный» Спиноза, в свою очередь, отвернулся от еврейской общины:

Спиноза

Они рассеяны. И тихий Амстердам
Доброжелательно отвел им два квартала,
И желтая вода отточного канала
В себе удвоила их небогатый храм.

Растя презрение к неверным племенам
И в сердце беря невынутое жало,
Их боль извечная им руки спеленала
И быть едиными им повелела там.

А нежный их мудрец не почитает Тору,
С эпикурейцами он предастся спору
И в час, когда горят светильники суббот,

Он, наклонясь к столу, шлифует чечевицы
Иль мыслит о судьбе и далее ведет
Трактата грешного безумные страницы⁴.

Из других известных голландцев, которым русские поэты посвящали стихи, следует назвать Антуана Левенгука (*Заболоцкий* 1965: 18), Гуго Гроция (*Радыгин* 1986: 232) и Анну Франк (*Липкин* 1984: 49—51). С Анной Франк отождествляет себя также герой поэмы Евтушенко «Бабий Яр». Когда Евтушенко писал эту поэму, на месте Бабьего Яра, оврага вблизи Киева, где во время Второй мировой войны нацисты уничтожали евреев, — не стояло никакого памятника. Поэма была опубликована в 1961 году; если

знать, какова тогда была ситуация в СССР, то станет понятным, почему «Бабий Яр» вызвал такую сенсацию: Евтушенко обличал советский антисемитизм и призывал поставить на месте Бабьего Яра памятник. Текст поэмы был использован Шостаковичем в Тринадцатой симфонии, которая так и называется «Бабий Яр». Премьера этой замечательной симфонии состоялась в 1962 г. Дирижировал ею Кирилл Кондрашин, который позднее, в 1978 г., эмигрировал из Советского Союза в Голландию. Его можно считать самым выдающимся русским эмигрантом в Голландии. С художественной точки зрения «Бабий яр» — достаточно слабая поэма, однако благодаря музыке Шостаковича слова Евтушенко об Анне Франк не скоро канут в Лету:

Мне кажется —
 я — это Анна Франк,
 прозрачная,
 как веточка в апреле.
 И я люблю.
 И мне не надо фраз.
 Мне надо,
 чтоб друг в друга мы смотрели.
 Как мало можно видеть,
 обонять!
 Нельзя нам листьев
 и нельзя нам неба.
 Но можно очень много —
 это нежно
 друг друга в темной комнате обнять.
 Сюда идут?
 Не бойся — это гулы
 самой весны —
 она сюда идет.
 Иди ко мне.
 Дай мне скорее губы.
 Ломают дверь? (*Евтушенко* 1990: 310)

Еще один голландский автор, совсем недавно отвоевавший для себя несколько строк в русской поэзии, — это Йохан Хейзинга, чьи книги в России нынче в большом почете. В стихотворении Александра Зорина «Так и умру, всех книг не прочитав» упоминается русский перевод «Осени средневековья», причем по фамилии назван и переводчик этой книги, Сильвестров (*Зорин* 1993: 14). «Осень средневековья», не прочитанная, стоит в шкафу у поэта среди других книг.

После захвата власти большевиками в 1917 г., на протяжении многих лет, насколько мне известно, в России совсем не писалось стихов, основанных на впечатлениях от путешествия в Голландию.

К тому же в Голландии осело очень мало русских эмигрантов, в то время как Бельгия была одним из важных центров эмиграции. Во всяком случае, в Голландии не поселился ни один из значительных русских писателей, уехавших из Советского Союза. В нашу страну заезжало также крайне мало корифеев русской эмиграции, которые порой совершали поездки в разные страны, чтобы выступить перед русской публикой с чтением своих произведений. Это одна из причин, почему и из русских поэтов-эмигрантов так мало кто писал стихи по поводу поездки в нашу страну.

В 1952 г. в эмигрантском журнале «Грани» был опубликован цикл стихов о Голландии, написанный Олегом Илинским, девятнадцатилетним или двадцатилетним поэтом-эмигрантом, жившим тогда в Германии. Илинский приезжал в Голландию для участия в международном конгрессе христианской молодежи в г. Ларене. Голландию он описывает как страну воды, ветра, верфей и мельниц. Конечно, не обошлось и без стихотворения о Петре и о Зандаме (*Илинский* 1952: 43—45).

О Голландии сочиняла стихи также русская поэтесса-эмигрантка Алла Головина, сестра поэта Анатолия Штейгера. Ее стихотворение, начинающееся строкой «Вдоль мостиков перед нами...», датировано 16 апреля 1961 г. (*Головина* 1990: 184—186). Оно посвящено «Жене и Шарлю Тиммеру», с которым они, вероятно, встречались. Это стихотворение — гимн Амстердаму, городу Рембрандта и Анны Франк.

В 50-е и начале 60-х годов все официальные литературные контакты между Советской Россией и Нидерландами протекали, вероятно, под руководством коммунистических партий двух стран. Именно в ту пору Москва объявила, что Тен де Фрис — это правофланговый голландский писатель. Впрочем, следует упомянуть о переписке, которую в те же годы вел Борис Пастернак с одной своей гаагской поклонницей. Обнаружены три адресованные ей письма Пастернака на немецком языке. Сейчас они хранятся в библиотеке Лейденского университета⁵.

В последнюю четверть XX века мы стали свидетелями все более частых визитов русских писателей в Голландию, причем не только бывших «диссидентов», таких как Амальрик и Буковский. Официальные советские авторы тоже стали ездить в нашу страну. В первую очередь, хочется назвать рассказ любившего попутешествовать Юрия Нагибина, который был опубликован в 1977 г. под названием «Голландия Боба ден Ойла». Хотя Нагибин в целом настроен благожелательно, он не может обойтись без нескольких нападок на ненавистные ему западные нравы. Так, он

констатирует, что в Голландии писатели не могут прожить своим писательским трудом, за исключением людей типа Хьюго Клауса, великолепно зарабатывающего созданием порнографической литературы и женатого на кинозвезде Сильвии Кристел, знаменитой по сексфильмам (цит. по — *Wezel* 1983: 84).

Важную роль в литературных связях между Голландией и Россией на протяжении уже нескольких десятков лет играет роттердамский фестиваль «Poetry International», на который приглашались как уехавшие на Запад «диссиденты», так и официальные советские поэты. В 1973 г., через год после своего вынужденного отъезда из Ленинграда, на этот фестиваль впервые приехал Иосиф Бродский. В Роттердаме он написал свой «Роттердамский дневник» (*Бродский* 1987а: 174—176). В стихотворении Бродского, сочиненном, по всей видимости, в высоком многоквартирном доме, говорится о Роттердаме и немецкой бомбардировке в мае 1940 г. Но речь идет о чем-то намного большем, а именно о безликости и безразличной механичности в развитии техники, которые ведут к тому, что, к изумлению поэта, современные архитекторы уже мало чем отличаются от пилотов Люфтваффе:

Вокруг — громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменной облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.

Как время ни целебно, но культя,
не видя средств отличия от цели,
саднит. И тем сильней — от панацеи.
Ночь. Три десятилетия спустя
мы пьем вино при крупных летних звездах
в квартире на двадцатом этаже —
на уровне, достигнутом уже
взлетевшими здесь некогда на воздух⁶.

Перу Иосифа Бродского, который 13-го декабря 1991 г. выступил в Лейденской Церкви Св. Петра на Хейзинговских чтениях с докладом «Профиль Клио», принадлежит поэма, называемая «На выставке Карла Вейлинка» (*Бродский* 1987а: 174—176). Это интерпретация пейзажа, созданного голландским художником-сюрреалистом. Бродский является также автором стихотворения «Сретенье» (*Бродский* 1987б: 20—22), которое в голландском переводе озаглавлено «Simeons lofzang» («Гимн Симеона»). Вероятно, оно написано под впечатлением от одноименной картины Рембрандта. В этой поэме — точно так же, как в «Балладе» Ходасеви-

ча, написанной под впечатлением от картины Ван-Гога, — имя художника ни разу не называется (см. — *Verheul* 1989: 243—244).

В мае 1994 г. Бродский опубликовал в журнале «Новый мир» стихотворение, в котором несомненно говорится о нашей стране, но которое выходит далеко за рамки этой локальной темы. Мне кажется, что это стихотворение Бродского — самое достойное в русской поэзии, посвященной Голландии. Оно еще ждет своего переводчика.

Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с другом по-голландски,
убеждены, что их свобода — смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней — оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв — тем более. Воспоминанья —
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки (*Бродский* 1994: 100).

О том, что Бродский сыграл значительную роль в оживлении голландской темы в русской поэзии, говорят стихи Юрия Иваска (*Иваск* 1988: 18—80) и Ирины Гривниной (*Гривнина* 1990: 160), в которых речь идет о Бродском в Голландии. Кроме того, мы знаем стихи о Голландии поэтов из прежнего окружения Бродского в России; не исключено, что они написаны под его влиянием. Среди этих поэтов Александр Кушнер и Евгений Рейн (поначалу «учитель» Бродского); оба они были гостями фестиваля *Poetry International* в 1989 г.

Кушнер писал стихи о Дельфте и о Вермеере еще задолго до своего приезда в Голландию (*Кушнер* 1986: 141—142). Побывав в нашей стране, он написал стихотворение «Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне...». По-видимому, в Дельфте он чувствовал себя удивительно легко и приятно:

От себя я здесь чудесно отодвинул жизнь свою,
Власть Советов, бурю съездов, жаркий спор в родном краю.

Ездить на велосипеде, да посиживать в кафе,
Да посматривать в газете, что там пишут о Москве?
Почему одна дается жизнь на свете, а не две? (*Кушнер* 1991: 102).

Рейн написал весьма примечательное стихотворение о «Ночном дозоре» Рембрандта, своего однофамильца. Здесь и речи нет об «отодвигании от себя» советского прошлого, как то описывает Кушнер, напротив, в стихотворении Рейна это прошлое вновь оживает. Он пишет, что «У „Ночного дозора“ я стоял три минуты, / и сигнал загудел, изгоняя туристов...». Далее он сравнивает тот страх, который охватил его при звуках этого сигнала в сочетании с видом фигур из сталинских спецслужб на рембрандтовском полотне:

... и мой ордер подписан,
и рука трибунала виска мне касалась,
и мой труп увозили в пакгаузы к крысам.
Этот вот капитан, это — Генрих Ягода.
Я безумен? О, нет. Даже не одержимый,
я задержанный только с тридцать пятого года (Рейн 1991: 116).

Здесь уместно вспомнить рембрандтовское стихотворение Мандельштама, который также использовал образы Рембрандта, чтобы выразить свое чувство страха.

На тот же фестиваль Poetry International 1989 г. в Голландию приезжал гражданин Бразилии Валерий Перелешин (1913—1992), однажды побывавший здесь уже раньше, в 1986 г., по приглашению Лейденского университета. Его архив, хранящийся частично в Библиотеке Лейденского университета, представляет собой единственное важное собрание рукописей русского писателя, доступное для всех желающих и находящееся в Голландии (Hinrichs 1986). Связь Перелешина с Голландией была столь важна для него, что в стихотворении «Четвертая родина?» этот поэт, гражданин России, Китая и Бразилии, чья биография — одна из самых причудливых во всей истории русской литературы, задает сам себе вопрос: «Трем родинам я честно послужил, — / Не станет ли Голландия четвертой?» (Перелешин 1989: 35—36).

Темой русских стихов о Голландии то и дело оказываются амстердамские каналы. Как и Бальмонт в своем стихотворении 1900 г., поэт-эмигрант Василий Бетаки подчеркивает в сонете «И акварельно тихий Амстердам...» именно тишину Амстердама, города, который «пахнет смолой и канатом». Однако он смотрит на город достаточно внимательно, чтобы заметить «витрины», в которых сидят «архаичные шлюхи» (Бетаки 1991: 58—59). В другом стихотворении, называемом «Амстердам», Бетаки ассоциирует низенькую решеточку канала Сингел с высокой решеткой Летнего сада и сообщает, что «Никак не найти в Амстердаме / Мойку и Марсово поле...» (Бетаки 1987: 58—59). Этим сравнением он

подчеркивает, что Амстердам обладает для русских какой-то особой привлекательной силой.

К жанру путевых заметок относится недавно увидевшее свет эссе Анастасии Цветаевой, сестры Марины Цветаевой, «Моя Голландия». Незадолго до своего девяностовосьмилетия, в июле 1992 г., Анастасия Цветаева впервые побывала в нашей стране. Первое предложение ее заметок звучит так: «Голландия — сказочная страна». Гуляя по улицам Амстердама, она обращает внимание на цвет домов: «...Тогда я вспомнила детские книжки с домами из пряников, окнами из леденцов» (*Цветаева* 1993: 76).

Амстердам как сказка. Этот идеальный образ вполне близок к тому представлению, которое складывается у многих русских о нашей столице и о стране в целом. В стихотворении «Бог» Михаил Крепс рисует нашу страну и вовсе как «Эльдорадо» роз и тюльпанов, где садовника по утрам будит золотой будильник (*Крепс* 1987: 127). Читая восторженные слова Анастасии Цветаевой о Голландии, не следует забывать то обстоятельство, что ее перелет в Амстердам на самолете компании KLM был вообще вторым авиаполетом в ее жизни. Первый полет она, по ее собственным словам, совершила несколькими десятилетиями раньше, направляясь в Сибирь в ссылку. Большой контраст едва ли можно вообразить.

По ассоциации с детской сказкой, которую вспомнила Цветаева в Амстердаме, остановимся на детской литературе, которая, по моему, оказала большое влияние на восприятие русскими нашей страны. В первую очередь, назовем «Серебряные коньки» американской писательницы Мери Мейпс Додж. На этой книге, вышедшей в 1865 г. под названием «Hans Brinker, or, The silver skates» и переведенной на русский в 1876 г., выросло много поколений русских детей. Именно из этой книги, действие которой происходит в Голландии в середине прошлого века, и черпают многие русские свои знания о Нидерландах. Поэтому они знают многие легенды о Голландии, сложившиеся на протяжении веков. Очень может быть, что именно эта книга, до сих пор пользующаяся в России большой известностью, внушила многим русским симпатию к Голландии (*Wezel*: 83). Впрочем, ни в одном из прочитанных мною произведений русской литературы эта книга не упоминается.

Трудно сказать, имеем ли мы право связать миф о Летучем голландце (образ, часто встречающийся в русской поэзии) с Голландией как страной на географической карте⁷. Однако мы несомненно можем это сделать с мифом о том, как Петр учился в Заандаме строить корабли. И этот образ также сформировался в русском сознании в огромной мере под влиянием детской лите-

ратуры, а именно книги «Саардамский плотник» Петра Романовича Фурмана (1816—1856) (*Lexicon* 1979: 628), которая впервые увидела свет в 1849 г. и позднее много раз переиздавалась вплоть до начала нашего века.

Миф о Петре служил источником вдохновения для русских поэтов «революционных» лет. В частности, Владимир Набоков написал в 1919 г. стихотворение «Петр в Голландии» (*Набоков* 1990: 37), в котором изобразил пребывание русского царя в нашей стране весьма романтично. Здесь необходимо упомянуть также написанный в 1923—24 гг. роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», действие которого разворачивается во время гражданской войны. В доме Турбиных печка украшена изразцами с изображениями Петра в Голландии; кроме того, члены семьи часто читают книгу Фурмана: «...бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий» (*Булгаков* 1978: 14).

Пока что мне не удалось обнаружить ни одного случая литературного влияния голландских авторов на их русских собратьев. Впрочем, существует мнение, что Иосиф Бродский написал свое стихотворение «Осенний крик ястреба» под впечатлением от «Песни неразумных пчел» Нейхоффа (*Верхейл* 1997: 188). Однако уверенности в этом нет. Никто из крупных русских поэтов не занимался переводом голландских стихов.

Если мы хотим ответить на вопрос, как же отражена тема Голландии в русской поэзии, то материала набирается достаточно и материал этот легко поддается классификации. Если удастся найти еще сколько-нибудь русских стихов о Голландии, то стихи эти едва ли смогут существенно изменить обрисованную в данной статье картину.

В целом мы можем констатировать, что в том, как русские поэты видят Голландию, нет ничего неожиданного: это страна мельниц и тюльпанов, страна домика Петра в Заандаме, страна Амстердама, напоминающего Петербург, и, что самое главное, это страна художников⁸. В голландской живописи, особенно в картинах Рембрандта и Ван Гога, а также в судьбе самих этих художников заключена та притягательная сила, которую ощущают русские поэты, — как, наверно, и поэты других стран, — причем собрание голландских мастеров в российских музеях, особенно в Эрмитаже, нередко служит толчком для создания стихотворения. Наш материал подтверждает то, что мы, собственно говоря, и так знали и что до такой степени само собой разумеется, что об этом часто забываешь: Голландия — это страна Рембрандта.

Примечания

¹ Библиографию русской поэзии о Нидерландах см. в кн.: *Hinrichs* 1994: 37—43. Несомненно, от моего внимания могли ускользнуть многие стихотворения на эту тему. Буду рад, если читатели сообщат мне о тех дополнениях, которые они могут внести в мой список. Данная статья закончена 21 ноября 1994. После этой даты я нашел еще ряд русских стихов о Голландии, которые, однако, уже не мог включить в текст. Из них хочу назвать только цикл «Домик в Саардаме» Алексея Пурина (*Пурин* 1998: 142—145); этот цикл из шести стихотворений принадлежит к числу наиболее обширных публикаций русской поэзии о Голландии.

² Голландский перевод см. — *Brusov* 1992: 171.

³ Голландский перевод см. — *Mandelstam* 1982: 73.

⁴ Цит. по — *Hinrichs* 1992б: 64. Спиноза часто упоминается в русской литературе нашего века. Вспомним известное высказывание Василия Розанова в его *Solitaria*: «Ибо моя жизнь есть мой день, мой день, а не Сократа или Спинозы».

⁵ См. — *Hinrichs* 1988: 11—14. Третье письмо было приобретено Библиотекой Лейденского университета на аукционе в Лондоне.

⁶ Голландский перевод см. — *Brodsky* 1993: 80—81.

⁷ Библиографию см. — *Hinrichs* 1994: 35—36.

⁸ Ни одно из найденных мною русских стихотворений не включено в считающуюся классической монографию — *Kranz* 1981—1987.

Библиография

Анненский 1959 — И. Анненский. Из Бальмонта // Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1959. С. 223—224.

Бальмонт 1969 — К. Д. Бальмонт. Воспоминание о вечере в Амстердаме // Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969. С. 185.

Бестужев-Марлинский 1958 — А. А. Бестужев-Марлинский. Лейтенант Белозор // Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1958. Т. 1.

Бетаки 1987 — Бетаки В. Амстердам // Стрелец 4.1987. № 2. С. 58—59.

Бетаки 1991 — В. Бетаки. «И акварельно тихий Амстердам...» (Европейские сонеты. 4) // Бетаки В. В граде Китеже: Стихи и поэмы, написанные в эмиграции 1973—1989. Л., 1991. С. 58—59.

Блок 1963 — Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. 1963. Т. 8.

Бродский 1987а — И. Бродский. Роттердамский дневник (1973) // Бродский И. Урания. Анн Арбор: Ардис, 1987. С. 174—176.

Бродский 1987б — И. Бродский. Сретенье // Бродский И. Часть речи: Стихотворения 1972—1976. Анн Арбор: Ардис, 1987. С. 20—22.

Бродский 1994 — Бродский И. Голландия есть плоская страна... // Новый мир. 1994. № 5. С. 100.

Брюсов 1973 — Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 114.

Булгаков 1978 — Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Л., 1978.

Бушман 1961 — Бушман И. Ван Гог // Мосты. 1961. № 7. С. 61—62.

Вересаев 1932 — Вересаев В. Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. Т.1. М.; Л., 1932.

Верхейл 1997 — Верхейл К. Иосиф Бродский и Мартинус Нейхоф // Звезда. 1997. № 1. С. 188.

Вяземский 1896 — П. А. Вяземский. На память о посещении Великим Князем Государем Цесаревичем домика Петра Великого в Сардаме // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. : В 12 т. СПб., 1878—1896. Т. 12. С. 374.

Герцен 1966 — Герцен А. И. Собр. соч. : В 30 т. М., 1966 (Справочный том. Общие указатели).

Головина 1990 — А. Головина. Вдоль мостиков перед нами... // Головина А. Ночные птицы. Bruxelles, s. p. 1990. С. 184—186.

Гривнина 1990 — Гривнина И. Чуть касаясь... // De Tweede ronde 11 (1990). № 4. P.160.

Дашкова 1985 — Дашкова Е. Записки 1743—1810. Л., 1985.

Евтушенко 1990 — Е. Евтушенко. «Монолог из драмы «Ван-Гог»» (1957) // Евтушенко Е. Стихотворения и поэмы. Т. I. М., 1990. С. 178.

Заболоцкий 1965 — Н. А. Заболоцкий. Сквозь волшебный прибор Левенгука // Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы. М., 1965. С. 18.

Зорин 1993 — Зорин А. Так и умру, всех книг не прочитав // Огонек. 1993. № 44—46. С. 14.

Иваск 1988 — Иваск Ю. Играющий человек: Поэма. Париж; Нью-Йорк: Третья волна. 1988. С. 18—80.

Илинский 1952 — Илинский О. Из цикла «Голландия» // Грани. 1952. № 7. С. 43—45.

Калязин 1991 — Калязин Н. «Над бедной хижинкою сей...». Дом-музей Петра I в Заандаме // Нева. 1991. № 5.

Кедрин 1978 — Д. Кедрин. Рембрандт: (Драма в стихах) // Кедрин Д. Избранные произведения. М., 1978. С. 211—299.

Крепс 1987 — М. Крепс. Бог // Крепс М. Интервью с птицей феникс. Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1987. С. 127.

Кушнер 1986 — А. Кушнер. Неужели увижу сегодня, не может быть... // Кушнер А. Стихотворения. Л., 1986. С. 141—142.

Кушнер 1991 — А. Кушнер. Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне... // Кушнер А. Ночная музыка: Книга стихов. Л., 1991. С. 102.

Кюхельбекер 1979 — Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.

Лангерак 1993 — Лангерак Т. Анализ одного стихотворения Мандельштама: («Как светотени мученик Рембрандт...») // Russian Literature. 33 (1993). P.289—298.

Лермонтов 1979 — М. Ю. Лермонтов. На картину Рембрандта // Лермонтов М. Ю. Собр. соч. : В 4 т. Л., 1979. Т. 1. С. 255.

Липкин 1984 — С. Липкин. После посещения дома Рембрандта // Липкин С. Кочевой огонь. Анн Арбор: Ардис, 1984. P.49—51.

Липкин 1988 — Липкин С. Ирисы // Октябрь. 1988. № 8. С. 119.

Мандельштам 1990 — О. Мандельштам. «Как светотени мученик Рембрандт...» // Мандельштам О. Стихотворения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 238.

Матвеева 1991 — Н. Матвеева. Рембрандт // Матвеева Н. Нерасторжимый круг: Книга стихов. М., 1991. С. 117.

Маяковский 1957 — В. Маяковский. Не уговариваем, но предупреждаем вас... // Маяковский В. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 5. С. 275.

Набоков 1990 — В. Набоков. Петр в Голландии // Набоков В. Круг. Л., 1990. С. 37.

- Олеша* 1965 — Олеша Ю. Ни дня без строчки: Из записных книжек. М., 1965.
- Павлов* 1991 — Павлов М. С. О. Мандельштам. «Как светотени мученик Рембрандт»: (Анализ одного стихотворения) // Филологические науки. 1991. № 6. С. 20—30.
- Перелешин* 1989 — Перелешин В. Третья родина? // Новый журнал. 1989. № 176. С. 35—36.
- Полякова* 1992 — Полякова С. В. Осип Мандельштам: Наблюдения, интерпретации, неопубликованное и забытое. Анн Арбор: Ардис. 1992. P.31—35.
- Пурин* 1998 — А. Пурин. Домик в Саардаме // *Urbi*: Литературный альманах. Вып. 15. СПб., 1998. С. 142—145.
- Пушкин I, VIII* — Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В XVII т. М.; Л., 1937 — 1959.
- Радугин* 1986 — А. Радугин. На глади флотских карт, у корешков... // Антология новейшей русской поэзии у голубой лагуны. 5а. 1986. С. 232.
- Рейн* 1991 — Е. Рейн. Ночной дозор (1990) // Рейн Е. Против часовой стрелки: Избранные стихи. Терафлу: Эрмитаж, 1991. С. 116.
- Северянин* 1975 — И. Северянин. Открытка Валерию Брюсову // Северянин И. Стихотворения. Л., 1975. С. 227.
- Сологуб* 1975 — Ф. Сологуб. Под сводами Утрехтского собора... // Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 394.
- Сумароков* 1957 — А. П. Сумароков. Две эпистолы // Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 112—129.
- Третьяковский* 1963 — В. К. Третьяковский В. К. Описание грозы, бывшая в Гаге // Третьяковский В. К. Избранные произведения. М., 1963. С. 95—96.
- Ходасевич* 1989 — Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989.
- Цветаева* 1993 — Цветаева А. Моя Голландия // Юность. 1993. № 9. С. 76.
- Чуранов* 1991 — Чуранов И. Меня преследует Ван Гог... // Юность. 1991. № 12. С. 81.
- Шефнер* 1986 — Шефнер В. Василию Третьяковскому посвящается // Шефнер В. Годы и миги: Книга стихов. М., 1986.
- Юпп* 1983 — Юпп М. Рассвет // Антология новейшей русской поэзии у голубой лагуны. 4а. Newtonville: Oriental Research Partners, 1983. P.167—168.
- Bestoezjev* 1989 — Bestoezjev N. Over Holland in 1815 года / Vertaald door J. van het Reve -Israel). Leiden: De Slavische Stichting te Leiden. 1989.
- Brodsky* 1993 — Brodsky J. Rotterdams Dagboek / Vertaling Peter Zeeman / De Revisor 20 (1993). N. 2. P.80—81.
- Brown* 1986 — Brown W. E. A History of Russian Literature of the Romantic Period, 3. Ann Arbor: Ardis, 1986.
- Brusov* 1992 — De Tweede Ronde 13 (1992). № 2. P. 171.
- Denisoff* 1981 — Denisoff N. Fedor Sologob: 1863—1927. Paris: La pensee universelle. 1981.
- Driessen* 1989 — Russen en Nederlanders: Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600—1917 / Red. J. J. Dressen. 's Gravenhage: SDU, 1989.
- Eekman* 1994 — Eekman T. Vader Cats in Rusland // Tijdschrift voor Slavische literatuur. 1994. № 17 (juli). P. 55—58;
- Fraanje* 1994 — Fraanje M. P. A. Korsakov, Nederlandse diochters in vroege Russische vertalingen // Kolokol'cik. 1994. № 5 (september). P. 20—24.

Hinrichs 1986 — Hinrichs J.-P. Dichter met drie vaderlanden: Valerij Perelesjin, brieven en documenten. Leiden: Universiteitsbibliotheek, 1986.

Hinrichs 1988 — Hinrichs J.-P. Twee ongepubliceerde brieven van Boris Pasternak // *Het Oog in het Zeil*. 5 (1988). N. 6. P. 11—14.

Hinrichs 1992a — Hinrichs J.-P. De Belg wordtr met een baksteen in zjn maag geboren // *Vrij Nederland* 53. № 22. 30 mei 1992. P. 83 (Recensie van: *Het land van blauwe vogel, Russen in België, Antwerpen* / Red. E. Waegemans. Dedalus, 1992).

Hinrichs 1992b — Hinrichs J.-P. Spinoza en Georgi Sjengeli // *Het Oog in het Zeil*. 9 (1992). N. 2.

Hinrichs 1994 — Hinrichs J.-P. Van Nachtwacht tot Huizinga: Russische dichters over Nederland. Leiden: De Slavische Stichting te Leiden. 1994. Pp.37—43.

Kranz 1981—1987 — Kranz G. *Das Bildgedicht: Theorie, Lexicon, Bibliographie*. Koln: Bohlau, 3 dln., 1981—1987.

Lexicon 1979 — *Lexicon der Kinder-und Jugendliteratur*. 3. Weinheim: Beltz Verlag. 1979.

Mandelstam 1982 — Mandelstam O. *Wie een hoefijzer vindt* / Vertaling Kees Verheul. Amsterdam: G. A. van Oorschot, 1982. P.73.

Markov 1988 — Markov V. *Kommentar zu den Dichtungen von K. D. Bal'mont: 1890—1909*. Koln: Bohlau, 1988.

Nicholas 1957 — Nicholas H. *Russian Students at Leyden in the 18th Century* // *The Slavonic and East European Review*. 35 (1957). P.551—562.

van het Reve 1985 — van het Reve K. *Geschiedenis van de Russische literatuur: Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov*. Amsterdam: G. A. van Oorschot. 1985.

van het Reve 1988 — van het Reve K. e. a. (vertaling). *De meisjes van Zanzibar*. Maastricht: Gerards & Schreurs. 1988.

Verheul 1989 — K. Verheul. *Nawoord* // Brodsky J. *De Herfstkreet van de havik: Een keuze uit de gedichten 1961—1986*. Amsterdam: De Bezige Bij, 1989. P. 243—244.

Wezel 1983 — Wezel P. *De Noordnederlandse literatuur in Rusland* // *Ons erfdeel* 26 (1983) N. 1.

van Wijk 1926 — van Wijk N. *Geïllustreerde geschiedenis der Nederlandse letterkunde*. Amsterdam: J. M. Meulenhoff. 1926.

КОММЕНТАРИИ

А. Н. Шустов
С.-Петербург

К истории одного знакомства

Имя поэта Николая Алексеевича Арбузова (1829—1864) сегодня основательно и незаслуженно забыто¹. Сохранившиеся источники, связанные с изучением его биографии и творчества, — весьма малочисленны и погребены в старых изданиях и архивных фондах... В Российском государственном историческом архиве удалось обнаружить донныне неизвестные письма Арбузова к Н. Я. и Я. И. Ростовцевым.

Имя Н. Я. Ростовцева достаточно хорошо известно историкам русского освободительного движения, как и имя его отца Я. И. Ростовцева (1803—1860), о котором следует вкратце напомнить.

В свое время воспитанник Пажеского корпуса (выпуск 1822 г.) подпоручик Я. И. Ростовцев посещал собрания членов тайного общества (будущих декабристов), а затем 12 декабря 1825 г. сообщил о них великому князю Николаю Павловичу, правда, не назвав при этом фамилий заговорщиков. А через два дня, 14 декабря, Ростовцев был избит солдатами на Сенатской площади. Хорошо знавший его в то время будущий цензор А. В. Никитенко записал в дневнике (5 января 1826 г.): имя Ростовцева «сделалось предметом жарких споров в столице» (*Никитенко* 1955: 5).

Обладая тонким умом и честолюбием, Ростовцев успешно продвигался по службе. При этом он нередко оказывался «вблизи» значительных общественно-политических событий и имен. Так, по смерти баснописца И. А. Крылова он стал его душеприказчиком. Показательно, что именно он (тогда уже флигель-адъютант) привез 22 декабря 1849 г. на Семеновский плац в Петербурге «помилование» Николая I — отмену смертной казни петрашевцам (в их числе — Ф. М. Достоевскому)².

Позже Я. И. Ростовцев активно сотрудничал в комитетах Александра II по подготовке проекта реформы об отмене крепо-

стного права в России³. Сам он до этого события не дожил, скончавшись за год до исторического Манифеста. «Ростовцев умер, — писал Огарев, — отстояв за народом право на землю и поставив вопрос освобождения так, что его вспять уже не поворотишь. Пусть же имя, записанное в истории русской свободы по черному и по белому, — добром помянется в великодушной памяти народной» (*Голоса из России* 1976, VIII: VIII).

После освобождения крестьян на могилу Ростовцева была возложена золотая медаль, а его вдова с потомством в 1861 г. возведены в графское достоинство. В. П. Семенов-Тян-Шанский спустя столетие так охарактеризовал Ростовцева: «Светлая личность призванного Александром II к делу освобождения крестьян Я. И. Ростовцева явилась одною из главных причин успеха борьбы идеалистического меньшинства против большинства. Удачное использование сил этого меньшинства было результатом личных душевных качеств Я. И. Ростовцева» (*Семенов-Тян-Шанский* 1961: 51).

Я. И. Ростовцев был женат на Вере Николаевне, урожденной Эминой (1807—1888) — дочери и внучке знаменитых писателей-просветителей XVIII века Н. Ф. и Ф. А. Эминых. У Ростовцевых были дети: Николай (1831—1897), Михаил (1832—1870), Александра (1836—1855).

Оба сына пошли по стопам отца, стали военными: после окончания Пажеского корпуса они начинали свою службу корнетами в Кирасирском полку. Позже Н. Я. Ростовцев служил в Генеральном штабе. Он обладал «весьма тонким вкусом» (И. С. Тургенев), был известен любовью к словесности, знал многих русских писателей. Взыскательный И. С. Тургенев писал в январе 1858 г. из Рима Л. Н. Толстому: «Я здесь познакомился с Ростовцевым, Ник(олаем) Яковлевичем; он Вас помнит и любит — и сам он прекраснейший человек» (*Тургенев* 1986: 127)⁴ и П. В. Анненкову: «Трудно выразить, что это за милый, симпатичный, честный и откровенный человек» (*Анненков* 1960: 419).

Л. Н. Толстой познакомился с Н. Я. Ростовцевым в 1854 г. под Севастополем, где они вместе служили в артиллерии. Значительно позже (в 1890г.) Толстой вспоминал: «Это был один из самых блестящих офицеров русской армии. Мы были тогда очень дружны с ним. С ним же мы задумали и хлопотали об издании журнала для солдат («Солдатский вестник». — *А. Ш.*). Ростовцев выработал программу и представил ее на разрешение, но, понятно, журнал не разрешили, и остались одни только добрые намерения» (*Толстой* 1992, 59: 286)⁵. В «пробном ли-

стке» этого журнала Толстой и Ростовцев поместили свои «не совсем православные» статьи.

Братья Ростовцевы (в конце 1850-х годов полковники) придерживались либеральных взглядов; больше того, — их как-то интересовали и идеи революционных демократов: в августе 1860 г. они побывали в Англии у А. И. Герцена. Там они встретились с П. В. Анненковым, А. К. Толстым, В. П. Боткиным и другими. Одной из причин этой поездки, как нам представляется, было стремление братьев реабилитировать отца.

Дело в том, что 1 сентября 1858 г. герценовский «Колокол» опубликовал «письмо к издателю», в котором анонимный автор с возмущением писал: «Передать дело об освобождении крестьян в руки, которые первые свили веревку для пяти мучеников русской свободы, 14 Декабря 1825 года, есть уже намерение неблагоприятное, замысел, скрывающий за собою отступление от первоначальной мысли, событие роковое и зловещее» (*Колокол* 1962, I: 181). 15 октября 1858 г. там же увидела свет сатира поэта-«Искровца» П. И. Вейнберга (публикация анонимная), в которой Я. И. Ростовцев за свой старый «проступок» ставился в один ряд с Иудой. Автор предрекал:

Придет пора — и летопись науки
 Предаст тебя проклятью, Герострат,
 И от тебя твои родные внуки
 Откажутся не трижды, но стократ! (*Там же*: 216)⁶.

Страшное «предсказание», увы, не оправдалось; время, как видим, рассудило иначе.

Декабристские симпатии Герцена понятны, одако, публикуя эти памфлеты, он проявил непоследовательность в оценке Ростовцева. Некоторые историки считают, что именно братья Ростовцевы и привезли «политическое завещание» своего отца для публикации в лондонской «Вольной русской типографии». За контакты с Герценом Н. Я. и М. Я. Ростовцевы высочайшим приказом от 5 мая 1862 г. были уволены от военной службы. Летом того же года Михаил Ростовцев был арестован (спустя несколько лет он «восстановился» на службе в армейской кавалерии, умер в Ташкенте).

Н. А. Тучкова-Огарева видела Н. Ростовцева в Лондоне у Герцена: «Он был брюнет, высокого роста, очень симпатичной наружности» (*Тучкова-Огарева* 1959: 188).

Среди многих петербургских знакомых Н. Я. Ростовцева был и сын генерала А. Ф. Арбузова, поэт Н. А. Арбузов, с которым они

вместе воспитывались в Пажеском корпусе и были выпущены в службу одновременно.

Н. Арбузов окончил Пажеский корпус в 1848 г., но военная карьера его не прельщала. С учетом состояния здоровья он вышел в штатскую службу и поступил во II Отделение собственной его императорского величества канцелярии. Однако эта деятельность не удовлетворяла молодого человека, не без оснований считавшего себя способным на большее. Пытаясь перейти на новое место, Арбузов в сентябре 1855 г. обратился за рекомендацией к Я. И. Ростовцеву, «под начальством которого» он «имел счастье (быть) с самого детского возраста»; «с самого моего детства, прежде чем я был способен чувствовать глубокое к Вам почтение, я уже любил Вас, как все наше семейство Вас любит» (*Арбузов 1855: 1*)⁷.

Арбузов писал далее: «Я давно, согласно с желанием моих родителей, стараюсь переменить род службы и найти такое место, которое приучило бы меня к практическим административным занятиям и могло бы сделать из меня слугу, полезного моему отечеству» (*Там же: 10б.*). В результате хлопот высочайшим приказом по гражданскому ведомству 31 декабря 1855 г. Арбузов был «перемещен» в Министерство Внутренних Дел на должность помощника редактора «Журнала МВД». Но уже в октябре 1856 г. поэт по рекомендации медиков просит отпуск для поездки за границу для пользования минеральными водами и морскими купаниями (*Там же: 17—17об.*)⁸.

В ноябре Арбузов получил отпуск и выехал из Петербурга. Пробыв короткое время в Париже, он перебрался в Италию, где подолгу жил в Риме и Венеции. Арбузов свободно владел итальянским языком, хорошо знал литературу и искусство Италии, что позже обеспечило ему участие в качестве автора нескольких статей в Энциклопедическом словаре, выходявшем при активном содействии П. Л. Лаврова. В Российском архиве литературы и искусства (Москва) сохранилась рукопись Арбузова — его перевод статьи Ш. Дидье о Беатриче Ченчи (итальянская трагедия XVI в.), очевидно, той, которую Дидье в свое время показывал Ж. Санд.

То ли действительно итальянский климат не способствовал выздоровлению, то ли Италия сама по себе «не отпускала» его, но Арбузов не спешил в Россию. Он высылает справки итальянских врачей и неоднократно продлевает свой отпуск (на что, напомним, требовалось высочайшее согласие!). Терпение министра (С. С. Ланского) наконец лопнуло и он потребовал: «Вы или должны немедленно явиться к месту своего служения, или,

если состояние вашего здоровья требует для лечения дальнейшего пребывания за границею, то должны вовсе оставить службу» (*Там же*: 46).

Арбузов предпочел отставку, и 20 декабря 1858 г. он был уволен «по болезни».

Итак, семейства генералов А. Ф. Арбузова и Я. И. Ростовцева были близко знакомы. Сам же Н. Арбузов давно и хорошо знал своего тезку Н. Ростовцева. Будучи почти ровесниками и однокашниками по Пажескому корпусу, они отличались характерами и образом жизни: блестящий, материально обеспеченный офицер и больной поэт с большими планами, чье существование целиком зависело от нелюбимой им службы.

Весной 1857 г., живя в Риме, Арбузов встретился там с Н. Ростовцевым. Какое-то время друзья проводили вместе (видимо, нередко спорили!), а когда расстались, Ростовцев прислал Арбузову в Рим ... череп. Был ли этот странный «подарок» навеян произведениями поэтов-предшественников Арбузова или какими-то иными причинами, не известно. Ростовцев был достаточно молод и энергичен — отсюда и его экстравагантный розыгрыш-мистификация.

Арбузов на эту оригинальную выходку приятеля откликнулся стихотворным письмом из Рима (14 апреля 1857 г.):

Н. Я. Ростовцеву
по получении от него черепа

Ты помнишь: оживлен и жарок
Был наш прощальный разговор;
Расстались мы; но из-за гор
Прислав мне грустный свой подарок,
Решить не хочешь ли ты спор?

Но новый вызов твой печален;
Не помирят меня с тобой.
Посредник наш — подарок твой:
Из человеческих развалин
Обломок самый роковой.

Твои ль святые убежденья
Мне оправдают череп сей,
Презренный даже для червей,
С загробной вестью разрушенья
В устах без жизни и речей?

Ужели правды роковые
Не уничтожили мечты,
Когда смотрел в раздумье ты

На эти впадины глазные —
Жилище тусклой пустоты?

Где гордой мысли отпечаток?
Души таинственный чертог
Что в общем тлении сберег?
Один нетронутый остаток,
И тот — ничтожества залог!

Скажи ж мне: веришь ли, как прежде,
Ты в совершенство, в торжество?
Взяв череп, глядя на него,
Ты оставался ли в надежде,
Что в этом храме божество? (Арбузов 1857).

Действительно, если рассматривать череп в качестве символа к примирению, к сглаживанию разногласий, то выбор Ростовцева следует признать неудачным. Чаще всего череп («мертвая голова») являлся символом бренности и тщетности земной жизни человека, он входил в число символов группы Vanitas (Memento mori). Правда, у него было и другое значение: «вместилище мысли, мудрости», в связи с чем череп нередко использовался для целей трансмутации — варвары изготавливали из него ритуальные чаши.

Тема черепа в русской поэзии первой половины XIX в. была неплохо освоена авторами. Широкой известностью пользовалось подражание П. А. Вяземского Байрону (1820): «Стихи, вырезанные на мертвой голове, обращенной в чашу» (*Вяземский* 1880: 206—207). Существовал и ряд оригинальных стихотворений: Е. Баратынского («Череп», 1824); А. Пушкина («Послание к Дельвигу», 1827), пославшего своему адресату натуральный череп якобы его предка; А. Бестужева-Марлинского («Череп», 1828)⁹; Ф. Кафтаева («Мои мечты», 1832)¹⁰. В этих произведениях можно найти и отголоски высокого романтизма, и чисто «кладбищенские» мотивы, и легкую иронию (у Пушкина). Но общим для всех авторов является то, что череп — это символ бренности, жизненного конца. Это же, как видим, подчеркивает и Арбузов в своем письме: пустой череп — плохой (роковой) посредник в восстановлении разлада в человеческих отношениях, это — всего лишь «ничтожества (несуществования, тления) залог». И Арбузов высказывает справедливое сомнение: а верит ли сам его корреспондент в то, что «в этом храме божество». Впервые публикуемое нами стихотворение Арбузова безусловно заслуживает более внимательного рассмотрения и осмысления именно в ряду других произведений на сходную тему.

Исходной точкой рассмотренной выше литературно-краниологической традиции следует считать трагедию Шекспира «Гамлет». Напомним, что герой ее, датский принц, вернувшись на родину, встречается на кладбище с «гробкопатателями», готовящими новую могилу. Вместе с землей они выбрасывают из ямы кости ранее погребенных, в том числе — два черепа, один из которых оказался черепом королевского шута, которого Гамлет хорошо знал в детстве. Держа череп Йорика в руке, принц размышляет о бренности жизни (см. действие 5, сцена I).

В послании Дельвигу Пушкин советует приятелю, «как Гамлет-Баратынский» задумчиво мечтать над черепом предка. Здесь у поэта двойной намек-аллюзия:

С одной стороны — Баратынский. Его стихотворение «Череп», написанное в конце декабря 1824 г., было опубликовано в 1825 г. в альманахе «Северные цветы» (сост. А. Дельвиг), в который вошло и несколько стихотворений Пушкина¹¹. В своем «Послании» Пушкин явно подражал Баратынскому: он также опубликовал его в «Северных цветах» (на 1828 г.) и так же озаглавил — «Череп». Именно под этим названием стихотворение упоминается и в мемуарах племянника поэта Дельвига, который осенью 1827 г. присутствовал при вручении Пушкиным черепа с чтением своего «Послания» (Дельвиг 1912: 71)¹².

С другой стороны — Шекспир. Драма Шекспира «Гамлет» была известна в России еще с середины XVIII в. по переделке А. П. Сумарокова, хотя сам драматург писал, что она «на Шекспирову трагедию едва, едва походит». Первое «настоящее» издание «Гамлета» на русском языке (подражание Шекспиру С. И. Висковатова) вышло в Петербурге в 1811 г. (сценическая постановка осуществлена на год раньше). В этой публикации сцена на кладбище была опущена, на что обратил внимание студент М. Ю. Лермонтов (Лермонтов 1959: 538, 684). Следующее издание трагедии, уже с учетом встречи Гамлета с могильщиками (пер. М. П. Вронченко), вышло в Петербурге в 1828 г. Это был по тем временам лучший перевод, выполненный по оригиналу, а не с французского текста-посредника. Но он появился уже после стихотворений Баратынского и Пушкина. Остается предположить, что Пушкин был знаком с полным «Гамлетом» по какому-либо зарубежному изданию: в его библиотеке имелось французское (1821 г.) и английское (1824 г.) издания трагедии (Модзалевский 1910: 337, 338)¹³.

Кладбищенская сцена повлияла, кстати, и на самого Дельвига: под ее впечатлением он начал писать пьесу «Ночь на 24 ию-

ня». На связь фрагмента этой пьесы с Шекспиром указывает эпиграф, взятый Дельвигом из «Гамлета» по изданию 1828 г. (акт I, сцена. 5), а также авторская ремарка к I-й сцене: деревенское кладбище, разрытая могила и т. п. (*Дельвиг* 1959: 252—255)¹⁴.

Впечатляющую шекспировскую сцену на кладбище позже вспомнил Ф. И. Тютчев. В письме к дочери (13/25 мая 1868 г.) он шутивно сравнил свой облик с останками Йорика: «Я вижу, моя милая дочь, что мое бедное изображение навеяло на тебя грусть и меланхолию, и я невольно подумал о впечатлении, произведенным на Гамлета видом некоего черепа, когда-то хорошо знакомого ему и любимого им... Alas, poor Yorick!» (*Тютчев* 1957: 467—468)¹⁵.

Особое общественное звучание «Гамлет» получил благодаря статье В. Г. Белинского «„Гамлет“, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838). Нас, однако, интересует не русский «гамлетизм» 1840—60-х годов в целом, а лишь конкретная сцена встречи принца с могильщиками, т. е. тема «черепа».

Еще в начале 1857 г. Тургенев задумал статью «Гамлет и Дон Кихот». Но работу над ней он начал только в январе 1858 г., о чем сам сообщил И. И. Панаеву из Рима. Окончена она была в декабре 1859 г. и в январе 1860 г. опубликована в «Современнике» (*Тургенев* 1960—1968, VIII: 169—192, 552—567). Именно в январе 1858 г. Тургенев познакомился и сблизился с Н. Я. Ростовцевым. Встречаясь, они наверняка обсуждали и тему «гамлетизма». Не исключено, что мысль Тургенева о перерождении образа Гамлета в тип «лишнего человека», одинокого мыслителя и т. п. вылилась у Ростовцева в крайность: Гамлет «умер» и «уподобился» Йорику; в конечном итоге и от королей и от шутов остаются лишь пустые черепа...

Тургенев знал «Послание» Пушкина Дельвигу, в своей статье он процитировал его строку, восстановив цепочку: Шекспир — Баратынский — Пушкин. Вместе с тем приходится констатировать, что тургеневский Гамлет не мог повлиять на посылку Ростовцевым черепа — временная связь здесь обратная: письмо-ответ Арбузова датировано апрелем 1857 г., а знакомство Тургенева с Ростовцевым произошло 9 месяцев спустя.

Зиму 1857—58 гг. Тургенев провел в Риме вместе с В. П. Боткиным, где он познакомился со вновь оказавшимся там Н. Я. Ростовцевым (см. выше строки из его писем Л. Толстому и П. Анненкову). Встречался он и с «другими соотечественниками», устраивая «сходки» для обсуждения вестей с родины о возможной отмене крепостного права. Через отца Н. Ростовцев

наверняка обладал наиболее достоверными сведениями. Учитывая, что русская колония в Риме была тогда малочисленной, вполне вероятны встречи Тургенева, Боткина и Ростовцева не только с художниками (которых Тургенев недолюбливал), но и с Арбузовым. Надо полагать, что возникшие ранее недоразумения между Ростовцевым и Арбузовым к этому времени уже были улажены.

Примечания

¹ Наиболее полную публикацию о нем см.: *Шустов* 1994.

² См. — *Волгин* 1998: 86—87, 104.

³ Подробнее об этом см. — *Голоса из России* 1974—1975, X (указатель). Доклад (политическое завещание) Ростовцева «Проект действительного освобождения крестьян» составил целиком VIII книжку «Голосов» (1860).

⁴ Имя Н. Я. Ростовцева неоднократно встречается у Л. Н. Толстого (см.: *Толстой* 1992, 91).

⁵ Через Толстого имя Ростовцева стало известно редакции «Современника» (Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву). Тяга к журналистике сохранилась у Ростовцева и позже: во время встречи с И. С. Тургеневым в Риме зимой 1858 г. они намеревались издавать совместный журнал «Хозяйственный указатель». Программу его с комментариями см. — *Тургенев* 1960 — 1968, XV: 235—244, 423—425.

⁶ Автор поздней статьи о П. Вейнберге оценил это стихотворение как «образчик резкой и беспощадной политической поэзии, заслужившей одобрения Герцена. (...) Вся деятельность антипатичного поэту сановника представлена здесь в самом отрицательном свете» (*Веселовский* 1911: 295).

О Я. И. Ростовцеве газета Герцена писала многократно; см. — *Колокол*, XI: 137 (указатель). На все обвинения и оскорбления, опубликованные в «Колоколе», Я. И. Ростовцев дал достойные опровержения, опубликованные посмертно: «Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 годов» и письмо Е. П. Оболенскому от 18 ноября 1858 г. (*Ростовцев* 1873: 459—509).

⁷ Вызывает удивление тот факт, что это частное письмо открывает собою подборку официальных документов в личном деле Арбузова.

⁸ В справке врача Ковальского сказано, что Арбузов «телосложения от природы посредственного»; у него — перемежающаяся лихорадка, завал селезенки, нарушение пищеварения, головные боли, астма и др. симптомы.

⁹ По словам самого автора, это стихотворение есть «метафизика, мистическая шарада, которой я и сам не могу разгадать»; «этот род размышлений требует и в самом чтении особое расположение к глубокомыслию и особенное просвещение, ибо отвлеченные предметы ловятся не ушами, а душой» (*Бестужев-Маринский* 1961: 280).

Оценку «Черепа» Баратынского Бестужев дал в письме Пушкину от 9 марта 1825 г.; он писал, что не видит «целого — одна мысль, хорошо выраженная, и только. Конец — мишура. Байрон не захотел после Гамлета пробовать этого сюжета и написал забавную надпись» (цит. по: *Бестужев-Маринский* 1961: 31).

Миниатюра Бестужева была связана с увлечением автора френологией — «черепословную систему доктора Галля» он штудировал ранее весьма усерд-

но, о чем свидетельствует авторское предисловие к «повести» «Андрей, князь Переяславский». Кстати, в I главе этой «повести» у автора впервые возникает тема черепа (мертвой головы) (*Бестужев-Марлинский* 1961: 89—90).

¹⁰ Подробнее на эту тему см.: *Виноградов* 1934. Напомним, что позже Баратынский, в соответствии с законом жанра, поместил этот мрачный символ в жилище героя своей повести «Перстень» (1832) помещика-отшельника: «...по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корни, (<...> в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе» (*Баратынский* 1982: 8). До этого была единственная публикация в журнале «Европеец». 1832. Ч. 1. № 2.

¹¹ Стихотворение «Череп» заинтересовало тогда не только Пушкина. В одной из записных книжек П. А. Вяземского сохранился автограф Баратынского — переписанное им стихотворение (с вариантами); см. — *Вяземский* 1963: 365, 410).

¹² Подробнее о публикациях стихотворений Баратынского и Пушкина см. — *Вацуро* 1976.

¹³ Французский том Пушкиным разрезан и прочитан.

¹⁴ Источник эпиграфа не указан.

¹⁵ К этому времени уже появились новые переводы «Гамлета»; например, Н. Полевого (М., 1837) и др.

Библиография

- Анненков* 1960 — Анненков П. В. Литературные воспоминания, М., 1960.
Арбузов 1855 — Арбузов Н. А. Письмо Я. И. Ростовцеву // РГИА. Ф. 1284. Оп. 75. Ед. хр. 79.
Арбузов 1857 — Арбузов Н. А. Н. Я. Ростовцеву по получении от него черепа // РГИА. Ф. 1042. Оп. 1. Ед. хр. 72.
Баратынский 1982 — Баратынский Е. А. Перстень // Проза русских поэтов XIX века. М., 1982. С. 7—18.
Бестужев-Марлинский 1961 — Бестужев-Марлинский А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1961.
Вацуро 1976 — Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига-Пушкина. М., 1976.
Веселовский 1911 — Веселовский Ю. П. И. Вейнберг // История русской литературы XIX в. Т. 5. М., 1911. С. 287—297.
Виноградов 1934 — Виноградов В. В. О стиле Пушкина // Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934. С. 138—143.
Волгин 1998 — Волгин И. Пропавший заговор // Октябрь. 1998. № 3.
Вяземский 1880 — Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1880. Т. 3.
Вяземский 1963 — Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963.
Голоса из России 1974—1975 — Голоса из России: Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева: Кн. I — IX. Лондон, 1856—1860: Факсимильное изд.: В 4 вып. М., 1974—1975.
Дельвиг 1912 — Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. М., 1912.
Дельвиг 1959 — Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. (Библиотека поэта; большая серия).
Колокол 1962 — Колокол: Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Лондон; Женева, 1857—1867: Факсимильное изд.: В XI вып. М., 1962.

- Лермонтов* 1959 — Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 4.
Модзалевский 1910 — Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, СПб., 1910.
Никитенко 1955 — Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т.1.
Ростовцев 1873 — Ростовцев Я. И. «Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 годов»; письмо Е. П. Оболенскому // Русский архив. 1873. Кн. 1. С. 459—509.
Семенов-Тянь-Шанский 1961 — Семенов-Тянь-Шанский В. П. Манифест 19 февраля 1861 г. // Возрождение (Париж). 1961. № 111. С. 48—66.
Толстой 1992 — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 91 т. М., 1992. Т. 91 (указатели).
Тургенев 1960—1968 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960 — 1968 (Соч.: В 15 т.).
Тургенев 1986 — Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. М., 1986. Т. 2.
Тучкова-Огарева 1959 — Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания, М., 1959.
Тютчев 1957 — Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957.
Шустов 1994 — Шустов А. Н. А. Арбузов: его жизнь и сочинения // Russian Literature (Amsterdam). 1994. № 36—2. P.131—241.

Ф. Р. Балонов
С.-Петербург

Литературные параллели и перекрестки: Михаил Булгаков и Жерар де Нерваль

В исследованиях, посвященных творчеству Булгакова, то и дело вспыхивают, затем угасают и снова вспыхивают споры об источниках заимствований и влияний.

Вопрос же о допустимости литературных заимствований не нов. Еще в прошлом веке он был предметом обсуждения Гете и Байрона. К слову, полемика эта была определенно известна Булгакову по неоднократно издававшимся в русских переводах «Разговорам с Гете» И.-П. Эккермана. Поводом к разговорам о заимствовании стал упрек, сделанный Байроном: дескать, идея пролога к «Фаусту» была взята Гете из ветхозаветной Книги Иова. На это Гете резонно отвечал, что за это его следовало бы не ругать, а хвалить и добавлял: « (...) что мной написано, то мое, а взял ли я это из книг или из жизни — все равно; мое дело было употребить это кстати»¹. И, отмечая, что в «Преображенном уроде» («Deformed Transformed») байроновский «черт вышел из моего Мефистофеля...», Гете, тем не менее, продолжал: «...но он не подражание: он вполне оригинален и нов, и все в нем сжато, умно и остроумно. В нем нет слабого места, нет такого кусочка, куда можно бы воткнуть иголку; все полно изобретательности и ума»². Да и сам Байрон в разговоре с Медвином признавался: « (...) не считаю грехом воспользоваться мыслью, которая мне кажется удачной, не заботясь о ее происхождении. Можете ли вы сказать, насколько Шекспир заимствовал из потерянных сочинений своих современников?»³ (теперь же известны и другие источники заимствований Шекспира, начиная с Плавта).

Предвижу еще такое возражение: если тот или иной источник или имя его автора не встречаются в виде непосредственной номинации ни в художественных произведениях изучаемого на-

ми писателя, ни в его черновых материалах, дневниках, письмах, то оперировать ими недопустимо.

Но разве все, вышедшее из-под пера того или иного писателя, дошло до нас? Разве все, из того, что дошло, мы сумели сохранить, не успев даже заглянуть в эти материалы (вот исчезла бесследно из Отдела рукописей РГБ часть черновых материалов к «Мастеру и Маргарите»)? Наконец, разве все, говоря словами Пушкина, волновавшее нежный ум, обязательно фиксировалось в дневниках или иным образом? Хорошо известно, что Булгаков с 1925 года (после изъятия его дневников чекистами) больше никогда никаких дневников не вел.

* * *

Это вступление понадобилось для того, чтобы привлечь внимание сразу не к одному, дотоле не привлекавшемуся при исследовании творчества Булгакова источнику, а к целому их ряду. И все они — произведения Жерара де Нерваля (Gérard de Nerval, 1808 — 1855), яркого представителя французского романтизма.

Европейская, а вслед за ней и русская литературная критика XIX — начала XX веков часто рассматривала творчество Ж. де Нерваля вкупе с творчеством немца Э. Т. А. Гофмана, англичанина Томаса де Куинси и американца Э. А. По. Их называли душевнобольными (или сумасшедшими), а их произведения — в совокупности — патологической литературой⁴. Внешним поводом для этого послужили алкоголизм Гофмана, Нерваля и По и наркомания Куинси.

Произведения Нерваля стали известны в России довольно рано: в 40-е годы прошлого века, то есть при жизни писателя. В год его смерти в русских журналах стали появляться и статьи о творчестве Нерваля и биографические заметки. Русские переводы его произведений в 1846 г. появились в «Отечественных записках»⁵, на следующий год — в «Библиотеке для чтения»⁶ (заметим мимоходом, что с естественным опозданием эти журналы появятся в круге чтения Булгакова в киевский период его жизни). В 1912 г. в Москве был издан том сочинений Нерваля под редакцией П. Муратова (и в его переводе)⁷, в 1913 г. появились переводы В. Брюсова⁸. Переводы Нерваля помещались даже в газетах, например, в «Санкт-Петербургских ведомостях» (ноябрь 1850 г.): «Гете и Гердер» — впечатления от поездки в Германию по гетевским местам в 1849 году «французского переводчика «Фауста», как сообщала газета⁹.

В самом деле, не кто иной, как Нерваль, еще в 1826 г. перевел «Фауста» Гете (переводчику было 18 лет) столь совершенно, что он удостоился похвалы самого Гете. Автор «Фауста» уверял, что желая отдохнуть душой, он обращался не к своему оригиналу, а к переводу Нерваля. Как переводчик «Фауста» Нерваль упоминается и первым русским переводчиком этой трагедии — Э. Губером — в предисловии к его переводу (1838 г.). С этим отзывом Булгаков должен был быть знаком (есть основания утверждать, что он основательно проштудировал все, связанное с «Фаустом»), но русская «фаустиана» в творчестве Булгакова — отдельная тема¹⁰.

В 1846 г. в русском переводе было издано коллективное сочинение 29 французских писателей (и среди них — Нерваль) под названием «Бес в Париже»¹¹. Его название в оригинале — «Le Diable à Paris». Здесь Сатана со свитой отправляется в Париж, дабы посмотреть, говоря словами булгаковского Воланда, сильно ли изменилось парижское народонаселение за время, прошедшее со дня его последнего визита сюда.

Обратим внимание хотя бы на такой эпизод: «Взошед на середину эстрады, Сатана на мгновение обнажил голову и с большой легкостью, как водится, раскланялся, после чего, севши и покрывшись, вынул из кармана бумажку и, прижав руку к сердцу, мужественно сбирался ее прочесть...»¹².

Сравним с этим фрагмент «Мастера и Маргариты» о московских эстрадных выступлениях Воланда и его свиты (гл. 12: «Черная магия и ее разоблачение»):

«Выход мага (...) очень понравился публике.

— Кресло мне, — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг»¹³.

Пребывая в Париже, Сатана успел подискутировать с неким философом о том, «что такое жизнь и смерть, чем мы были прежде и чем будем после»¹⁴. В этом разговоре помянуты древние и новые философы, в том числе и Кант. (В первой главе «Мастера и Маргариты» во время разговора Воланда с Берлиозом и Бездомным о жизни и смерти, о бытии Божиим были упомянуты философы Шиллер, Штраус и Кант). С жаром собеседник Сатаны просвещает его, например, по части устройства ада в представлениях скандинавских народов: у них «ад слывет местом совершенно темным, управляемым богинею Гелою...»¹⁵. В романе Булгакова в гл. 18 («Неудачливые визитеры») появится Гелла, также входящая в свиту Воланда.

Приведенные фрагменты книги «Бес в Париже» принадлежат, правда, перу не Нерваля, а одного из его соавторов — П. Ж. Сталя. Тем не менее, не будем забывать, что в целом эта книга — коллективный труд. Собственно Нервалем написан входящий в книгу как самостоятельная глава фельетон «Правдивая история „утки“», где читаем: «История всех народов начинается „утками“ (...) Первой и самой лучшей „уткой“ в 1814 году была женщина с *мертвой головой* (выделено мной — Ф. Б.). Мотив же «мертвой головы» в романе Булгакова весьма настойчив и значителен, а заговорившая женская «мертвая» голова, как бы обладающая профетическими способностями, фигурировала еще в раннем рассказе Булгакова «Египетская мумия» (1924 г.). Приводит Нерваль и другие примеры, среди которых «утка» о пиратах, поднявшихся из Средиземного моря вверх по Роне, что навело ужас на весь Париж¹⁶.

В связи с «утками» нельзя не вспомнить персонажа «Мастера и Маргариты» Бобу Кандаупского — журналиста, разносившего всяческие недостоверные «новости» (ср. франц. canard — «утка»), «известного в Москве своим поразительным всеведением» (гл. 26 «Последние похождения Коровьева и Бегемота»). Нельзя не отметить и того, что уподобляя директора «грибоедовского» ресторана Арчибальда Арчибальдовича пирату, Булгаков играет на двусмысленности, тут же давая понять, что пиратство это — чистейшая «утка»: «Но нет, нет! Врут оболъстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волной пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было!» (гл. 5 «Было дело в Грибоедове»). И как продолжение этого лукавого высказывания звучит нервалевское: «Но без всякого гения можно сказать, что человек ничего не выдумает такого, что не случилось бы в известное время» («Правдивая история „утки“»).

Неизбежен и закономерен вопрос: а была ли известна книга «Бес в Париже» Михаилу Булгакову? Она упомянута в журнале «Весы» М. Волошиным, а с ним, как известно, Булгаков был близко знаком, гостил у него в Коктебеле в 1925 г. Вряд ли можно сомневаться в том, что в разговорах Волошина с автором «Дьяволиады» упоминалась и эта книга и вообще творчество великого «мистика-оболъстителя» Нерваля, высоко ценимого Максимилианом Александровичем, передавшим свое увлечение этим французским романтиком и А. Ахматовой и О. Мандельштаму. Еще в 1904 г. в статье о художнике Оделоне Рэдоне на страницах «Весов»¹⁷ М. Волошин, отмечая присущее художнику мистическое видение мира,

для характеристики его использовал образ нервалевского «черного солнца отчаянья»¹⁸. А говоря об излюбленной Рэдоном фиолетовой гамме, Волошин замечал: «Фиолетовый цвет всегда был цветом мистики и веры (...) В нем успокоенные мерцания Тайны». Вспомним, какое место и смысл отводит этому цвету Булгаков (например, фиолетовый рыцарь, в которого превращается Коровьев-Фагот в конце романа «Мастер и Маргарита»). Дьявол Рэдона, по словам Волошина, это «Дьявол чувства, так не похожий на обычного Дьявола разума. На высотах познания одиноко и холодно... В этих пределах оледенелого времени нет звука. Это царство вечного Молчания» (ср. пребывание на холодных вершинах булгаковского Пилата, в полном одиночестве, если не считать его верной собаки; ср. также слова Маргариты, обращенные в финале романа к мастеру: «(...) слушай беззвучие (...)»).

И все же знакомство Булгакова с «Бесом в Париже», хотя и очень вероятно, не безусловно.

Но вот на книжных полках Михаила Афанасьевича появляется практически полный комплект «Исторического вестника»¹⁹. А в 1884 г. на его страницах была опубликована в переводе В. Буренина пьеса «Калигула» (№№ 5 — 7), еще в 1837 г. поставленная на сцене «Комеди Франсэз». Автором пьесы здесь обозначен А. Дюма. Но из биографических сведений известно, что анонимным соавтором Дюма был Жерар де Нерваль²⁰. Им же были написаны рецензии на постановку «Калигулы».

Среди действующих лиц трагедии — Калигула и Мессалина. Именно эта пара появляется перед королевой весеннего бала полнолуния Маргаритой в романе Булгакова. Исторически они не связаны и принадлежали, хотя и близким по времени, но все же разным отрезкам римской истории: Валерия Мессалина была третьей женой Клавдия, ставшего императором (в 41 г.) после свержения Калигулы.

Рядом с Калигулой и Мессалиной в пьесе действует консул Афраний, исполняющий функции начальника тайной службы кесаря.

Одной из линий развития действия в пьесе является история увлечения Калигулы Стеллой, дочерью его кормилицы, то есть по существу — своей молочной сестрой. По приказу кесаря ее должны доставить к нему в покои. Жених Стеллы галл Аквилла ищет пропавшую девушку. Это обеспокоило кесаря и он дает Афранию *carte blanche* на расправу с мешающим воплощению замысла галлом. Примечателен такой разговор Калигулы с Афранием (действие I, сцена V):

«КАЛИГУЛА (*быстро выходя на авансцену*):
 Мы, наконец, одни. Ну, слушай:
 Чтоб завтра же — ты понимаешь — завтра
 Она моей была во что бы то ни стало!
 АФРАНИЙ: Она и будет завтра же твоей.
 А этот галл?
 КАЛИГУЛА:
 Что хочешь делай с ним»²¹.

Приведенный диалог, как ни один другой (из привлекавшихся до сих пор исследователями творческой истории «Мастера и Маргариты») источник, близок диалогу Пилата и Афрания, в результате которого оказалась предрешена судьба Иуды, в романе Булгакова.

Тема Пилата и Иуды-предателя представлена и в пятичастном сонете Нерваля «*Le Christ aux oliviers*» (в русских переводах по-разному: «Христос в Гефсиманском саду», «Христос на Масличной горе», «Христос под оливами»), входившем в цикл «Химеры» (1844 г.)²². Здесь судьба Иуды обозначена одним, но многозначительным и важным для нас штрихом. Это как бы зародыш будущего развернутого повествования в «ершалаимской» части «Мастера и Маргариты». В сонете Нерваля распятый Христос свой последний зов обращает к Иуде. Поскольку даже самый совершенный стихотворный перевод неизбежно отходит от оригинала *в точности передачи смысла*, приведем прозаический перевод последних двух строф IV части сонета:

«Но Иуда уходил, недовольный и задумчивый, получив ничтожную плату, полный угрызений совести, столь сильных, что на всех стенах ему виделись начертанные на них слова о его гнусностях.

Наконец, Пилат, единственный, кто пекся о кесаре, испытывая некоторую жалость, вдруг обернулся: „Сыщите-ка этого безумца!“ — сказал он своей свите» (Прозаический перевод Т. Н. Кушнер и Ф. Р. Балонова).

Отсюда — всего шаг до решения участи Иуды по инициативе Пилата, знакомой нам по роману Булгакова. Если же учесть приведенный выше диалог Калигулы и Афрания, то впечатление усиливается, решение темы убийства Иуды в «Мастере и Маргарите» представляется художественным синтезом приведенных отрывков из «Калигулы» и «Христа под оливами».

И совсем иная судьба, иная жизнь представлена в почти неизвестном нынешним читателям романе Нерваля («*Le Prince des Sots*») «Князь шутов» — судьба творческой личности в ее столкновении с властью. Главный герой этого романа — мэтр Гонэн

(Gonin), глава труппы бродячих актеров (жонглеров, франц. *jeungleurs*), дающей представления во времена Карла VI (1368 — 1422).

Прежде чем отметить параллели с этим произведением Нерваля, напомним одно обстоятельство, связанное с постановкой «Мольера» («Кабалы святош») Булгакова в Московском Художественном театре. В интервью, данном перед премьерой, драматург говорил: «В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность. Я допустил целый ряд сдвигов, служащих к драматургическому усилению и художественному украшению пьесы. Например, Мольер фактически умер не на сцене, а почувствовав себя на сцене дурно, успел добраться домой...»²³. В самом деле, в повести «Жизнь господина де Мольера» Булгаков решает судьбу своего героя иначе, в соответствии с исторической правдой. Значит, идея смерти Мольера на сцене либо придумана для пьесы самим Булгаковым, либо позаимствована им у кого-то из предшественников, создателей художественного образа великого комедиографа. Некоторых своих предшественников автор «Жизни господина де Мольера» назвал в прологе повести: Карло Гольдони, Жорж Санд и Владимира Рафаиловича Зотова, Но в пьесах каждого из них Мольер умирает, как и было на самом деле, дома.

Только у Нерваля, правда, вскользь, мимоходом — такая же кончина Мольера, как впоследствии в пьесе Булгакова. В эпилоге романа Нерваля «Князь шутов», говоря о судьбе своего главного героя, автор сообщает: «Что же касается короля шутов, то будучи предтечей Мольера в комедии, он и кончил точно так же, как впоследствии Мольер: Гонен умер на сцене, играя свою любимую роль (...)»²⁴. Только любимой ролью героя Нерваля была роль Сатаны в тех «Passions» («Страстях Христовых») и других постановках, которые его труппа представляла, бродя по городам и весям Франции. Для представлений такого рода были вполне естественны, уместны и даже необходимы, помимо Христа, фигуры Пилата, Иуды, Ирода. Темы Страстей Господних, обращенных во времена начала христианства, перемежаются в романе Нерваля со сценами времен Карла VI, прозванного Безумным.

Для этого времени характерны и естественны такие фигуры как гаер и юноша-паж, такие обращения как «рыцарь» и «мессир». В «Мастере и Маргарите» Булгакова жонглером, гаером, рыцарем именуют Коровьева-Фагота; Бегемот в финале романа превращается в юношу-пажа. Что же касается «мессира», то заметим: до сих пор никто не задался вопросом, почему Воюнда — «по-

жалуй, что немца», по его собственным словам, — его свита, а затем Маргарита и мастер величают мессиром, то есть используют старофранцузское обозначение. Если же признать здесь влияние на Булгакова романа Нерваля, то и это словоупотребление станет понятно.

Не будем подробно останавливаться на том, что и в «Князе шутов», композиционно представляющем собой «текст в тексте», читатель находит и пожар в столице, и дворец Ирода Великого, и Маргариту, и полет на метле на шабаш, и мнимое отравление вином с последующим «воскрешением», производимое «нечистой силой», и другие детали, столь знакомые по «Мастеру и Маргарите».

Но, конечно, «Мастер и Маргарита» — роман совершенно самостоятельный и оригинальный. Вспомним Гете: то, что мною написано, то мое. Речь может идти только о сильном влиянии французского романтика²⁵ на русского писателя, пожалуй, более других влюбленного во французскую культуру. Случайно ли в финале булгаковского романа Воланд называет главного героя не иначе как «трижды романтическим мастером»?!

Роман Ж. де Нерваля увидел свет лишь через 33 года после смерти автора. Год спустя — в 1889 г. — он был переведен на русский язык на страницах «Исторического вестника», издания, стоявшего, напомним, на книжной полке Михаила Булгакова.

С этим романом тесно связано своей темой еще одно произведение Нерваля — стихотворение «Les Rêves de Charles VI» (1847 г.), в русском переводе — «Мечты Карла VI» (хотя французское «rêves» означает не только мечты, но и сны, сновидения, дремотные состояния, дремотные видения, грезы). Здесь поэт не развивает легенду о безумии Карла VI, созданную им в «Князе шутов» (из истории известно, что этот король был слабоумен с детских лет, а не сошел с ума впоследствии), но акцентирует тему головной боли, безумия, жажды ухода от света в обитель покоя — все то, что было близко Булгакову и звучит лейтмотивом многих его произведений, от ранних до «закатного романа».

Герой стихотворения Нерваля сетует:

«Сколько огорчений Божья десница собирает на моем челе и создает тем самым опору венцу! Почему Он возложил это тяжкое бремя на мою беспомощную голову, полную грустных мыслей, страдающую и оттого клонящуюся под собственной тяжестью? Я полюбил бы, если б смог обрести, лишь спокойную, безвестную жизнь, без желаний, в маленьком домике, затерянном в лесу среди мхов, цветущего жасмина и вьющегося винограда, среди выра-

шиваемых [мною] цветов; неподалеку — лодка рыбака, Ночью на воде вдыхать свежесть, обращаться к Богу среди гор, мчаться вслед за своими мечтами над тенистыми лесами, над бескрайними лугами, спускаться вечером по склону холма, с лицом, озаренным отблесками заходящего солнца, слушать шепот душистого ветра, который напоминает слабые отголоски старинной народной песни. О! Эти буйные закаты, алые, причудливые, ведущие, как величественный путь к небесам! Кажется, сам Бог говорит моей страдающей душе: „Покинь нечистый мир, равнодушную толпу, следуй уверенным шагом по этому сияющему пути. Приди ко мне, сын мой, и не жди Ночи!!!“» (Прозаический перевод Т. Н. Кушнер и Ф. Р. Балонина).

Идеал покоя, представленный здесь (затерянный в лесной чаще, близ ручья, домик, мох, река, цветущие растения, вьющийся виноград, природный простор, закаты, сияющая, светлая дорога, ведущая к небесам), — характерен для поэтики романтизма и восходит к Гете и Гейне. Сильнейшее влияние именно этих немецких поэтов испытал на себе Нерваль. Можно было бы говорить и о влиянии на Булгакова поэтики не собственно Нерваля, а в целом западноевропейской литературы эпохи романтизма (что в целом бесспорно), если бы не почти точное совпадение в самом порядке перечисления этих характерных черт идеального покоя у Нерваля и в заключительных главах романа «Мастер и Маргарита»²⁶.

Не менее, если не более, эти образы идеального покоя, буквально соответствующие нервалевским, чувствуются и в пьесе Булгакова «Александр Пушкин» («Последние дни»), создававшейся параллельно с работой над «Мастером и Маргаритой». Второе действие пьесы начинается характерным диалогом Николая I и Пушкиной:

Н и к о л а й I. Какая печаль терзает меня, когда я слышу плеск фонтана и шуршание пернатых в этой чаще!

П у ш к и н а. Но отчего же?

Н и к о л а й I. Сия искусственная природа напоминает мне подлинную, и тихое журчание ключей, и тень дубрав... Если бы можно было сбросить с себя этот тяжкий наряд и уйти в уединение лесов, в мирные долины! Лишь там, наедине с землею может отдохнуть измученное сердце...

П у ш к и н а. Вы утомлены.

Н и к о л а й I. Никто не знает и никогда не поймет, *какое тяжкое бремя я обречен нести...*» (выделено мной — Ф. Б.).

Как для Булгакова «закатным романом» оказался «Мастер и Маргарита», так для Нерваля — «Аврелия» (в некоторых русских

переводах — «Орелия»; в оригинале — «Aurélia»). Вместе с другими сочинениями («Сильвия», «Октавия», «Изида») «Аврелия» была издана в России впервые в 1912 г.²⁷ Этот неоконченный роман в письмах (листки с текстом его были найдены в кармане мертвого Нерваля, когда его обнаружили повешенным зимой 1855 г. на глухой парижской улочке) имел и второе название — «... или Сон и Жизнь» (в оригинале — «Aurélia ou La Rêve et la Vie»).

В этом романе Нерваль описал свои впечатления о навязчивых видениях, обусловленных его психическим расстройством, вследствие которого он дважды побывал в лечебнице (первый раз еще в 1841 г., второй — непосредственно перед трагической смертью). Сам Нерваль в письме отцу по поводу «Аврелии» замечал: «Я пытаюсь описать все те впечатления, которые дала мне болезнь». (Нечто подобное послужило основанием Булгакову в создании рассказа «Морфий»).

В большой степени именно этот роман и позволил критикам, о чем упоминалось выше, называть его самого «душевнобольным писателем», а его литературу — «патологической». Но друг Нерваля Теофиль Готье говорил об этом произведении, что это «сам Разум, под чью диктовку Безумие пишет свои мемуары»²⁸.

Можно полагать, что знакомство Булгакова с этим романом состоялось еще в киевский период его жизни, в молодые годы. Позднее впечатления от творчества Нерваля (и в значительной степени от «Аврелии») сказались, полагаю, на творчестве Булгакова столь сильно, что «б о л е з н ь — с о н — в о о б р а ж а е м а я с и т у а ц и я (...) — эти фабульные звенья, опробованные в „Записках на манжетах“, станут основными способами претворения жизненного материала»²⁹.

Необходимо только внести уточнения к этим словам:

1) не просто болезнь, а именно болезнь головы (головная боль, психическое расстройство многих героев булгаковских произведений, пародированное воплощение в действительность метафоры «потерять голову»: временно — как Жорж Бенгальский — или совсем, как Берлиоз);

2) сон, сопровождаемый кошмаром, — это не столько фабульные звенья, сколько устойчивая семантика, реализованная Булгаковым как разновидность жанра: ср. подзаголовок пьесы «Бег» — «Восемь снов. Пьеса в четырех [вариант — в пяти] действиях»; подзаголовок пьесы «Блаженство» — «(Сон инженера Рейна). В четырех действиях».

Роман Нерваля начинается фразой: «Сон — это вторая жизнь». Далее автор продолжает: «Первые минуты сна — это об-

раз смерти». А в предисловии к изданию 1912 г. П. Муратов напоминал читателям, что еще в ноябре 1841 г. Нерваль говорил: «Какая жалость, что современное общество не допускает нас вечно пребывать среди снов и видений»³⁰. После смерти Женни Колон, возлюбленной Нерваля, которую он выводит в романе под именем Аврелии, складывается положение, когда «шум жизни не отнимал ее больше у него, и теперь только ему одному принадлежало посещавшее его сны ее видение»³¹. (Сравним эту ситуацию с ночными видениями Иванушки Бездомного, которому являлся образ Маргариты). Последние же листы неоконченного романа Нерваля еще более проявляют близость к ним финала «Мастера и Маргариты». Именно здесь звучит тема *прощения* («Прощение Христа было произнесено также ведь и для тебя!»).

«Последние слова, написанные им (Нервалем — Ф. Б.), были — «сошествие в ад»³². Сопоставим это с последней главой романа Булгакова (гл. 32 «Прощение и вечный приют»): прощение, полученное Пилатом, вслед за которым «черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита».

В произведениях Булгакова несомненно отразились идейные и эстетические искания ранних и поздних романтиков. Можно проследить влияние на него Виктора Гюго, Альфреда де Виньи, Альфонса де Ламартина. Творчеству этих и других французских романтиков посвящен капитальный труд профессора Киевского университета св. Владимира Ф. Де Ла-Барта («Разыскания в области романтической поэзии и стиля»)³³, который Булгаков мог прочитать еще в Киеве. На эту работу Ф. Де Ла-Барта есть указание и в упомянутой выше статье Ю. Данилина о Ж. де Нервале. Альфреда де Виньи Булгаков упоминает в «Жизни господина де Мольера». Вероятно, ему было известно и такое сочинение де Виньи как «Стелло, или Голубые бесы», изданное в русском переводе в 1835 г.³⁴ Аллюзии с Гюго имеются в «Белой гвардии», но они многочисленнее названных Булгаковым явно. Среди таких имплицитных — идея Города как адекватата Града Божия Августина, воплощенная во многих сочинениях Гюго, Сент-Бева, Ламартина, де Виньи. Только у них, конечно же, Город — Париж, а не Киев, как у Булгакова. Из аллюзий с Гюго наиболее значима идея «страшного года», приходящегося на *второй год* революции (ср. начало «Белой гвардии» Булгакова: «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй»). Сама традиция исчисления лет «от начала революции» восходит

к истории первой французской революции. На *втором году* Парижской коммуны (в 1872 г.) вышла в свет книга стихов В. Гюго «Страшный год» («L'année terrible»). В этих стихах помимо описаний смуты, воцарившейся в результате происшедшей революции, повсеместно встречаются поэтические образы химер, химеричности происходящего (вспомним и уже упоминавшийся цикл стихов Нерваля «Химеры»), столь созвучные настроениям Булгакова в годы революции и гражданской войны, что подтверждается не только текстами его художественных произведений, но и воспоминаниями его второй жены, Л. Е. Белозерской.

Но в разысканиях последнего времени (того, к какому из литературных течений, направлений ближе всего стоит Булгаков, на чью бы «жилплощадь» его прописать) не мешало бы, наверное, учесть и благотворное влияние романтических традиций, а среди них, не в последнюю очередь, — Жерара де Нерваля. Несмотря на то, что в творческом наследии Нерваля стихи по объему сильно уступают его прозе, театральной хронике, драматургии и т. д., во французской культуре он прежде всего ценится и почитается как поэт. Вряд ли с учетом этого можно не обратить внимание на то, что в ранних редакциях романа, впоследствии названного Булгаковым «Мастер и Маргарита», его главный герой обозначался автором безымянно (как впоследствии и мастер) п о э т о м.

Настоящая статья — расширенный и дополненный текст доклада, сделанного на V Булгаковских чтениях — Киев, май 1991 г.

Примечания

¹ *Разговоры с Гете, собранные Эккерманном* / Перев. с нем. Д. В. Аверинцева. Изд. 2-е. Спб., 1905. Ч. 1. С. 147.

² *Там же*. С. 234 — 235.

³ *Там же*. С. 147 — 148, прим. 1.

⁴ *«Без подписи»*. Патологическая литература и больные писатели // Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки. 1897. Т. II. № 5. С. 143—150 (об Э. Т. А. Гофмане); № 6. С. 315—324 (о Т. де Куинси); 1898. Т. I. № 2. С. 190—200 (об Э. А. По); № 3. С. 296 — 304 (о Ж. де Нервале); *«Без подписи»*. Душевнобольные писатели // Вестник иностранной литературы..., 1898. Декабрь. С. 282 — 288; *Красносельская А.* В борьбе с прозой жизни: К психологии неопределенных стремлений // Русское богатство. 1900. № 11. Отд. II. С. 27—55; № 12. Отд. II. С. 20—45 (о Ж. де Нервале: № 12. С. 33—45).

⁵ *Каирские женщины*. — Сцены из египетской общественной жизни (Статья Жерара де-Нерваля) — Т. 47. № 7—8. С. 1—2. С. 1—22.

⁶ Марониты. Ливанские сцены — Т. 83. Июль — август. С. 116 — 133; Друзы. Их вера. История калифа Хакэма — Т. 84. Сентябрь — октябрь. С. 182 — 218.

⁷ *Нерваль, Жерар де*. Сильвия. Октавия. Изиды. Аврелия. Пер. с франц. и вступ. ст. П. Муратова. М.: изд. К. Ф. Некрасов. 1912. — 269 с.

⁸ *Брюсов В.* Полное собрание сочинений. Т. 21. Спб.: Сирена. 1913. С. 49 - 50 («Фантазия», «Эпитафия самому себе»). — Нерваль упоминается в этом томе также на С. VIII, XIII, 221, 222. На С. 248 — 249 дана краткая биография Ж. де Нерваля.

⁹ *Нерваль, Жерар де*. Гете и Гердер // Санкт-Петербургские ведомости. № 255. 10 ноября 1850 г. С. 1023 — 1025; № 256. 11 ноября 1850 г. С. 1027 — 1028; Ср.: *Он же*. Веймарские празднества // Библиотека для чтения. 1850. Т. 104. № 11. Отд. VII. С. 135 — 150.

¹⁰ *Балонов Ф. Р.* Мнимый «Фауст»: (Фаустиана в романе Булгакова «Мастер и Маргарита») (в печати); Балонов Ф. Р. Категории «мнимость» и «многомерность» в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»: (Мнимый «Фауст») // Доклад на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Булгакова; Информацию о докладе см.: Русская литература. 1991. № 3. С. 204.

¹¹ *Бес в Париже*. Париж и парижане. Нравы и обычаи, характеры и портреты парижских жителей, полная картина их жизни домашней, публичной, политической, артистической, литературной, промышленной и проч. и проч. / Пер. с франц. Ч. 1 — 2 [Ч. 1: IV, 312 с.; Ч. 2: IV, 312 с.] Спб.: П. И. Мартынов. 1846.

¹² *Там же*. С. 5.

¹³ *Булгаков М. А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1989 — 1991. Т. 5. С. 14. (Далее произведения Булгакова упоминаются по этому изданию).

¹⁴ *Бес в Париже...*, С. 14.

¹⁵ *Там же*. С. 17. — Позднее, в последнем произведении Нерваля также появится Гела («Аврелия», письмо XV): «Будь же благославлен даже ты, о, Тор, гигант, самый могущественный из сыновей Одина! Будь благославлен в Геле, твоей матери, потому что погребальный пир часто сладок, будь благославлен в твоем брате Локи и в твоей собаке Гарнуре (...) Да сохранит же Бог обожествленного Бальдера, сына Одина и прекрасной Фрей!» — Цит. по: *Нерваль, Жерар де*. Сильвия. Октавия. Изиды. Аврелия / Пер. с франц., ред. и вступит. статья П. Муратова. М., 1912. С. 262 — 263.

¹⁶ *Бес в Париже...* С. 216 — 223.

¹⁷ *Весы*. 1904. Апрель. С. 1 — 4.

¹⁸ Источник этого образа — гравюра А. Дюрера, упоминаемая Нервалем трижды: в примечании к стихотворению «El Desdichado», в «Путешествии на Восток» и в «Аврелии».

¹⁹ *Чудакова М. О.* Библиотека Булгакова и круг его чтения // Встречи с книгой. М., 1979. С. 244.

²⁰ См., напр.: *Нерваль, Жерар де*. Избранное: Стихи. О театре и литературе. Театральная хроника / Пер. с франц., вступит. статья и коммент. М. Кудинова. М., 1984. С. 388.

²¹ *Дюма-отец, А.* Калигула: Трагедия в 5-ти действиях / Пер. с франц. В. П. Буренина // Исторический вестник. 1884. Т. XVI. Июнь. С. 542 — 543. — Дополнительное наблюдение: в т. XVII (июль 1884 г.), где публиковалось окончание трагедии (С. 42 — 97), на С. 76 помещена иллюстрация к пьесе с изображением типов римской обуви. Среди них — изображение *калиги* — римского «сапога». Напомним, что в ранних редакциях романа Булгакова

Пилат обут в *сапоги*. Позднее Булгаков «переобувает» его в *калиги*. Это обстоятельство может помочь в датировке знакомства писателя с рассматриваемой пьесой.

²² Впервые опубликован 31 марта 1844 г. Включался в собрания сочинений и сборники Нерваля, краткая библиография которых приведена в статье Ю. Данилина (Литературная энциклопедия. 1934. Т. 8. Стлб. 23 — 24), знаковой Булгакову. Там же указан еще один источник библиографии Нерваля — словарь Уго Тьема, во втором томе которого (Р. 401) приведены псевдонимы, использовавшиеся Нервалем. Два из них небезразличны для нашей темы: Aloyzius и De Beuglant. Первый дает в русской транслитерации «Алоизий», второй в переводе означает «из кабака», «кабачный», тем самым оказываясь в одном семантическом поле со значением русского «ма/огарыч». И французское и русское слова ассоциируются с выпивкой. Это, разумеется, не влечет автоматически функционального родства Алоизия Могарыча из «Мастера и Маргариты» с Жераром де Нервалем. Функциональным прототипом Алоизия Могарыча явился для Булгакова баварский немец Алоизий Пихлер (немецкому Pichler — от глагола picheln — соответствует русское «выпивоха», «пьянчужка»), доктор богословия, книжный вор и шпион, дело которого произвело много шума в Санкт-Петербурге в 1871 г. См.: *Балоннов Ф.* Могарыч в Публичной библиотеке // *Вечерний Петербург*. 1992. 10 марта. С. 3.

²³ Цит. по: *Смелянский А.* Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986. С. 258.

²⁴ В единственном русском переводе роман Нерваля озаглавлен «Король шутов», что не совсем правильно. В оригинале «Le Prince des Sots», чему в русском более соответствует «Князь шутов». Это название, перекликаясь с эвфемистическим обозначением Сатаны как Князя Тьмы, более соответствует inferнальному смыслу, которым пропитан весь роман.

²⁵ Это никоим образом не означает отрицания других влияний, уже выявленных разными исследователями, Формула «трижды романтический мастер» оправдывает поступающее во всей тональности романа Булгакова дыхание трех всплесков романтизма: конца XVIII в., 1820-х — 1830-х гг. и 1870-х гг. Характерные для романтизма настроенности (мистицизм, уход творца-одиночки от общества, его пассивный протест, приверженность идее «чистого искусства» и проч.) легко ощутимы и в мастере Булгакова. (Ср. характеристику романтизма, например, в статье «Романтизм» — *Краткая литературная энциклопедия*, М., 1971. Стлб. 369 — 388).

²⁶ Неслучайно, очевидно, за образец потустороннего покоя для своего мастера Булгаков выбрал облик Гете (особенно явные признаки этого видны в ранней редакции романа: «В пудренной косе, в стареньком привычном кафтане, стуча тростью (...)») и его дома, романтически и красочно описанного Нервалем в его веймарских впечатлениях (см. упоминавшуюся публикацию в «Санкт-Петербургских ведомостях»), а также привычек и вкусов (квартеты Шуберта и т. п.), не раз упомянутых на страницах «Разговоров с Гете» Эккермана.

²⁷ См. примеч. 7. Отклики на «Аврелию» Нерваля на 60 лет опередили ее издание на русском языке («Библиотека для чтения». 1855. Т. 132. №№ 7 — 8. С. 190 — 191), появившись всего через полгода после того, как они стали известны на его родине в связи со смертью Нерваля.

²⁸ *Кудинов М.* Жерар де Нерваль // *Нерваль, Жерар де. Избранное*. М., 1984. С. 15. — Следует напомнить, что Нерваль, все произведения которого

несут отпечаток влияния Гете, Гейне, Гофмана, автор произведений, в которых фигурирует Пилат, пришел в психиатрическую клинику сам, так же, как булгаковский мастер, написавший «роман о Пилате». Особый интерес представляет отзыв Нерваля о лечебнице в письме Иде Дюма, процитированный в русском журнале XIX века и приобретший неожиданную актуализацию в пору работы Булгакова над своим романом: «(...) здесь врачи и комиссары, обязанные наблюдать за тем, чтобы никто не расширил пределов поэзии на счет общественной собственности (...)» (*Патологическая литература и больные писатели...* С. 303). Вообще в биографии Нерваля обнаруживается масса параллелей биографии Булгакова (он, например, также получил высшее медицинское образование, знал несколько языков) и чертам его героев. Отметим еще одну: другом Нерваля и соратником по кружку «Малый Сенакль» (*Le Petit Sénacle*) был композитор Г. Берлиоз, к «Осуждению Фауста» которого Нерваль написал либретто.

²⁹ Чудакова М. Комментарий (к рассказам) // *Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 595 — 596, 609.*

³⁰ Муратов П. Указ. соч. С. 16.

³¹ Там же. С. 17.

³² Там же. С. 33.

³³ *Университетские известия* (Киев). 1908. №№ 1 — 8, 10 и 11.

³⁴ Виньи, Альфред де. Стелло, или Голубые бесы: Повести, рассказанные больному Черным доктором / С франц. 2 ч. Спб. 1835.

ПУБЛИКАЦИИ

*И. А. Айзикова
Томск*

В. А. Жуковский — переводчик «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо» (Жанрово-стилевые искания поэта)

К 1805 — началу 1806 гг. относится работа Жуковского над переводом «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо». Ей предшествовало глубокое фронтальное изучение творчества выдающегося деятеля французского Просвещения. Библиотека поэта хранит следы этого труда: женеvское Полное собрание сочинений Руссо содержит множество его помет и маргиналий. Наибольшее внимание Жуковского привлекли трактаты «О происхождении неравенства», «О науках», романы «Новая Элоиза», «Эмиль, или О воспитании», «Исповедь», «Письмо к д'Аламберу», некоторые другие произведения¹.

Жуковского интересует Руссо-философ, педагог, талантливый прозаик, образцовый стилист. Об этом свидетельствует и целый ряд переводов. От первых опытов — переводов небольших фрагментов из «Эмиля» и «Прогулок одинокого мечтателя», выполненных для хрестоматии «Примеры слога»², Жуковский приходит к крупному замыслу издания «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо» в собственном переводе. Оно задумывалось поэтом в нескольких томах. Для т. I намечалось перевести:

Рассуждение о неравенстве людей и состояний

Письмо к д'Аламберу

О театральном подражании

Рассуждение о влиянии наук и искусств на нравы

Левит Ефраимский

Письма к Саре

Королева-причудница

Письма

Разные мысли (т. I)³.

Прежде всего, обращает на себя внимание сам принцип построения тома. По типу и структуре он представляет собой своего рода «Смесь» — характернейшее для русской литературы начала XIX в. и русской прозы, в частности, эстетическое явление⁴. Жуковский предполагает ввести в первый том философские и эстетические трактаты

французского просветителя, привлекая его особый интерес при фронтальном изучении Руссо, а также его художественную прозу и письма. С одной стороны, это объясняется стремлением Жуковского представить творчество Руссо во всем многообразии тем и жанровых форм. С другой стороны, такая композиция является прямым следствием синкретизма мышления писателя. Находясь, по сути, у истоков русской прозы, он понимает ее пределы очень широко, соединяя документальное и художественное, этическое и эстетическое. Этому принципу следовал в значительной мере и Пушкин-прозаик⁵.

Открывать первый том «Избранных сочинений Ж.-Ж. Руссо» в переводе Жуковского должен был широко известный в России трактат «О науках» (либо, согласно другому варианту плана, не менее популярное «Рассуждение о неравенстве»). Оба сочинения были внимательно изучены русским поэтом. Не принимая радикально-демократических воззрений автора, он сосредоточивается на нравственно-этическом, антропологическом, гносеологическом аспектах его учения. Жуковский осваивает идеи выдающегося философа в связи с осмыслением коренных вопросов своего мировоззрения. Прежде всего, это вопрос о природе человеческой личности, о соотношении в ней материального и духовного, общего и индивидуального, общественного и природного начал. Как отмечает исследователь, Жуковский в целом разделяет руссоистскую концепцию человека, «существа не только материального, но и духовного, не только детерминированного, но наделенного свободой выбора, саморегуляции» (Канунова 1984: 271). Наибольшее значение для поэта имеет мысль Руссо об активности нравственного выбора человека и вытекающий отсюда комплекс идей самоценности, сложности и противоречивости личности, ее способности к самоанализу и нравственному самоусовершенствованию, ее нравственной ответственности за свою жизнедеятельность перед собой и обществом.

Проблематику и пафос трактатов «О науках» и «О неравенстве» продолжают эстетические рассуждения Руссо, выбранные Жуковским для перевода, — «Письмо к д'Аламберу» и «О театральном подражании». Повышенный интерес к ним был вызван прежде всего постановкой вопроса о нравственном влиянии театра, драмы, одного из наиболее демократичных видов искусства, о пользе зрелищ и развлечений вообще.

Острота нравственно-этической проблематики, сложность характеров, внутреннего психологического конфликта определили внимание Жуковского-переводчика и к художественной прозе Руссо, к таким его произведениям, как «Письма к Саре», «Левит Ефраимский» и «Королева-причудница». Этот выбор во многом обусловливался и близостью Жуковского принципам преромантизма, и его повышенным интересом к наиболее популярному в русской литературе начала XIX в. жанру повести, к ее различным жанровым модификациям. Поэт предполагает обратиться к переводу лирической эпистолярной, лиро-эпической повести, философской повести-сказки.

Глубоким раскрытием личности (личности самого автора), психологизмом особого рода (автопсихологизмом) отличается и переписка Руссо, так что внимание к ней Жуковского также неслучайно⁶. Проблема поведения человека, его отношений с природой, окружающими его людьми, Богом — все эти вопросы, постоянно волнующие Жуковского, составляют содержание переведенных им писем французского писателя. Они привлекают его и своим стилем. Наконец, следует указать и на тягу поэта к жанру письма вообще, и особенно письма дружеского⁷.

Из достаточно обширных планов переводов избранных произведений Руссо было переведено и сохранилось далеко не все. Мы располагаем переводом небольшого отрывка из «Рассуждения о науках», двумя полностью переведенными произведениями — «Письма к Саре» и «Левит Ефраимский», а также переводами четырех писем к Дидро и Верну. Сохранились первые строки перевода «Королевы-причудницы». На всех переводах в значительной степени сказалась отразившаяся в читательских пометах поэта сложность его восприятия Руссо.

О «Письмах к Саре» Жуковский не упоминает ни в письмах, ни в дневниках, отметив их при чтении лишь в оглавлении т. VII Собрания сочинений Руссо, где они печатались. Однако выбор был сделан неслучайно. Он объясняется творческими и отчасти биографическими мотивами. «Письма» переводились в начале августа 1805 г. (рукопись датирована самим Жуковским 4 августа). Это время расцвета первой любви поэта. Переключка чувств и положения героя «Писем» и их переводчика очевидна. Так, например, поэта мучает мысль о разнице в возрасте с М. Протасовой. «Можно ли быть влюбленным в ребенка», — записывает он в дневнике 9 июля 1805 г. (Жуковский 1903: 13) Лирический герой Руссо, намного старше любимой им Сары, восклицает: «И я мог сравниться с ветренным мальчишкой! Мог целые два часа стоять на коленях перед ребенком» (перевод Жуковского). В июльских 1805 г. дневниковых записях поэта звучит сомнение в возможности достичь семейного счастья с Машей. В его душе чувство любви соседствует с неуверенностью в том, имеет ли он право «на любовь сию», может ли это чувство быть взаимным.

«Письма к Саре» — произведение о неразделенной любви, классическое воплощение преромантического художественного мира и соответственно типа повествования, что и привлекает Жуковского, по-видимому, в первую очередь. Помимо культурно-философского задания — построение преромантической системы ценностей, преромантической этики, повесть Руссо имеет «задание» литературное — создание новой повествовательной структуры. Жуковский-переводчик и в том, и в другом плане оказывается чрезвычайно близким автору.

Прежде всего Жуковский подчеркивает, выделяет в своем переводе как главную — тему любви к Саре. Это любовь-фантазия, необыкновенно динамичное сложное чувство, включающее в себя сиюминутные переживания, воспоминания о них, их предчувствия, тончайший нравст-

венно-психологический анализ. Жуковскому в полной мере удается передать и художественные особенности повествования подлинника. Как и у Руссо «Письма к Саре» в переводе русского романтика полемически заострены против рационалистической упорядоченности, логизированной фабулы. Повесть распадается на 4 письма и короткое предисловие «От сочинителя», которые фабульно почти не связаны. События лишь обозначены, потому что главное событие, изображенное Руссо (а Жуковский делает то же самое в переводе), — любовь. Каждое из писем представляет собой как бы фрагмент, то есть жанр, который строит мир без причин и следствий, как некую абсолютную универсальную данность. Жуковский совершенно точно следует выбранной автором свободной форме повествования, весьма подвижной, открытой для бесконечных вариаций, совсем не каноничной.

Вместе с тем «Письма» объединены неким «духовным средоточием», которым в повести является мир чувств лирического героя, благодаря чему произведение становится не только поэтическим, но также нравственно-психологическим. Любовь для героя Руссо одна из самых совершенных форм таинственного чувства, которое одушевляет его, пробуждает в нем творческие силы. Он готов боготворить Сару, и это не метафора, потому что Сара для него — носительница добродетели, «неизъяснимого наслаждения». Ее слова и чувства «достойны Неба». Ее «окружает блистание», она — «ангел, слетевший с Неба указать истинный путь заблуденному». Примечательно, что Жуковский укрупняет, выдвигает на первый план именно этот мотив любви как своего рода богослужения, как некой религиозной жизни.

В связи с этим переводчик вносит в повесть некоторые собственные этические и эстетические мотивы. Прежде всего, смягчается мотив обвинения героем Сары в своем несчастье. Жуковский возвышает героиню, сосредоточивает внимание читателей на чистоте ее души, не поддающейся силе тщеславия, коварства, обмана и других пороков (она просто не любит автора писем). Неслучайно «тщеславие Сары» переведено «гордость Сары», «коварная девушка» — поэтичным «коварная очаровательница». Обращения типа «варвар», «бесчувственная» опущены.

Нравственно возвышая героев, поэтизируя их чувства, Жуковский отчасти затушевывает внешнюю сторону противоречия. Он подчеркивает мотив «высшей симпатии» как истинный элемент развития отношений героев, для которых любовь — высшая в мире ценность, позволяющая человеку в земной жизни ощутить небесное, бесконечное, божественное. Жуковскому-романтику важна идея саморазвития чувства, его внутренних импульсов. Это, в свою очередь, повлияло на характер конфликта в переводе. Извне он переходит вовнутрь и осмысливается как абсолютно неразрешимый.

Вместе с тем переводчик тщательно проводит через всю повесть мотив любви как великого синтеза Духа и плоти, Неба и Земли. Неслучайно герой «Писем к Саре» мечтает о вполне земном счастье, страдает от неразделенности своей любви. В гневе он обвиняет возлюбленную в

неискренности и даже в намеренном желании обольстить его. В его душе борются два противоположных начала — сосредоточенность на личном счастье и столь же искреннее желание счастья Сары. Это еще больше усложняет конфликт повести, хотя Жуковский делает здесь свои акценты. Может быть даже сильнее, чем в подлиннике, заостря моменты самоуглубленности героя, переводчик, между тем, осмысливает их, прежде всего, как моменты сложного процесса его нравственного развития, самосовершенствования, возвышения к идеалу, которое совершается во многом во имя Сары.

Словом, Жуковский проявляет определенную степень свободы по отношению к оригиналу. Он разрабатывает, в первую очередь, внутренний конфликт повести, углубляет психологизм. С особой силой переводчик подчеркивает антииндивидуализм героев, приближая их к своему поэтическому идеалу. Эта особенность формирующейся романтической эстетики Жуковского будет развиваться в его оригинальных и переводных произведениях и «определит во многом судьбы русского романтизма» (Янушкевич 1985: 57).

Перевод «Писем к Сары» интересен и как опыт Жуковского-стилиста. Здесь продолжают начатые в «Примерах слога» поиски форм выражения «жизни души». Черновая рукопись перевода наглядно демонстрирует всю сложность этого процесса. В соответствии с общей установкой поэтизации чувств героев, переводчик активно использует образную лексику, поэтический синтаксис, последовательно отказываясь от нарушающих стиль любовного послания слов и конструкций, от неясных в смысловом отношении фраз, от неточных (морально и психологически) характеристик. Жуковский добивается эмоциональной выразительности, психологической емкости, поэтичности и в то же время непринужденности повествования, его интимного, лирического звучания.

Таким образом, являясь ярким отражением творческих поисков Жуковского, тесно связанных с общим литературным процессом начала XIX века, перевод «Писем к Сары» способствовал выработке принципов психологического анализа, исповедального психологического повествования, рождению стилистических средств самовыражения лирического героя. Все это было необходимо Жуковскому, будущему автору психологической лирики. Уже в стихотворении 1806 г., «исповедальных по своей сути монологах» (Янушкевич) о любви, сказался опыт Жуковского — переводчика Руссо. Обратившись к вечной теме любви, поэт наполняет ее новым живым содержанием. Личные чувства лирических героев «Послания Элоизы к Абельяру», «Песен» («Когда я был любим», «Мой друг, хранитель-ангел мой»), «Сафиной оды» и других приобретают характер личного переживания. Внутренний драматизм, психологизация повествования, создание характера лирического героя, эмоциональный, психологически многозначный язык — это то новое, что было внесено Жуковским в поэзию и что, безусловно, опиралось и на его творческие эксперименты в области прозаического перевода, в частно-

сти, переводов из Руссо. Что касается прозы Жуковского, то найденное в ходе работы над «Избранными сочинениями Ж.-Ж. Руссо», получит развитие в переводной прозе «Вестника Европы».

В целом следует отметить, что «Избранные сочинения Ж.-Ж. Руссо» являлись закономерным и во многом новым, по сравнению, например, с переводами для хрестоматии, этапом переводческого творчества Жуковского-прозаика. Они в значительно большей степени, чем «Примеры» являются собственно переводами, а не «стилистическими упражнениями». В них, пожалуй, впервые наблюдается столь заметное стремление Жуковского отразить в прозаическом переводе свою поэтическую индивидуальность. Именно в переводах из Руссо начинает формироваться один из основных — психологический принцип прозаического повествования. Здесь нашло свое художественное выражение новое понимание писателем соотношения внешнего мира и внутренней жизни человека (постоянная изменчивость, развитие того и другого, их тесное и сложное взаимодействие). Идея активности человека, стоящей вне узко личных потребностей, проникнутой высокими общечеловеческими идеалами, входит и в прозу Жуковского, определяя ее нравственный пафос. Именно с этим связаны отклонения переводчика от подлинника. Именно это будет развито и самим Жуковским в его лирике, в оригинальной и переводной прозе, и в дальнейшем унаследует русская проза. Уже писатели-декабристы и романтики, следующие за ними, поддержали Жуковского в его стремлении внести в прозу «душу и сердце», пафос высокой нравственности, выраженный поэтическим языком глубокого эмоционально-психологического переживания.

Перевод Жуковского публикуется по рукописи: РНБ. Ф. 286. Оп. I. Ед. хр. 17. Лл. 1—24 (из них — Лл. Юб., 2об., 8,9 с оборотами чистые, бумага с водяным знаком 1804—1806 гг. Текст написан чернилами, достаточно четким почерком, хотя имеется множество зачеркиваний, которые, в связи с их большим объемом, в публикации опускаются.

Примечания

¹ См. подробное исследование: *Канунова* 1984: 229—336 и *Канунова* 1988: 59—137; а также: *Канунова* 1990: 72—158.

² Работа Жуковского над хрестоматией «Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей» приходится на 1805—1806 гг. (см.: *Жуковский. Примеры...*).

³ В архиве находим три варианта плана первого тома. Их сравнение показывает, как от варианта к варианту круг произведений уточнялся и значительно расширялся.

⁴ Жуковский и предполагал дать тому подзаголовок «Смесь».

⁵ См. об этом: *Лежнев* 1966: 23—24.

⁶ Руссо привлекал молодого Жуковского как незаурядная личность, что, в частности, подтверждается его намерением перевести биографию этого писателя. См.: *Жуковский. Перечень...*: 8.

⁷ См. об этом: *Иезутова* 1983: 158—159; *Тодд* 1994: 37—40, 45—48 и др.

Библиография

Жуковский 1903 — Жуковский В. А. Дневники. СПб., 1903. ¹

Жуковский. Перечень... — Жуковский В. А. Перечень задуманных произведений, прочитанных и подлежащих прочтению книг и др. // РНБ. Ф. 286. Оп. I. Ед. хр. 79.

Жуковский. Примеры... — Жуковский В. А. Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей // РНБ. Ф. 286. Оп. I. Ед. хр. 16. Л. 1—42.

Иезуитова 1983 — Иезуитова Р. В. Жанр литературного письма в творчестве В. А. Жуковского // Проблемы литературных жанров. Томск, 1983. С. 158—159.

Канунова 1984 — Канунова Ф. З. Творчество Ж.-Ж. Руссо в восприятии Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В III ч. Томск, 1984. Ч. II. С. 229—336.

Канунова 1988 — Канунова Ф. З. Творчество Ж.-Ж. Руссо в восприятии Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В III ч. Томск, 1988. Ч. III. С. 59—137.

Канунова 1990 — Ф. З. Канунова. В. А. Жуковский и Ж.-Ж. Руссо // Канунова Ф. З. Вопросы мировоззрения и эстетики В. А. Жуковского. Томск, 1990. С. 72—158.

Лежнев 1966 — Лежнев А. З. Проза Пушкина: Опыт стилистического исследования. Изд. 2-е. М., 1966.

Тодд 1994 — Тодд У. М. III. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994.

Янушкевич 1985 — Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985.

В. А. Жуковский

Избранные сочинения Ж.-Ж. Руссо

Перевод с французского

Письма к Саре

От сочинителя

Следующие четыре письма сочинены по вызову. Хотели знать, может ли быть смешным любовник, проживши полвека. Мне казалось, что человек, во всякое время жизни, подвержен искушению, что всякий седой обожатель, не опасаясь потерять уважение честных людей, может написать четыре любовных письма, не больше. На что говорить о причинах, которые заставили меня так думать. Их угадают, читая сии письма, и будут судить об них по прочтении.

Письмо первое

Ты читаешь в моем сердце, милая Сара, тайны его тебе открыты. Я это вижу, чувствую. Ты беспрестанно за мною следуешь любопытными взорами. Хочешь видеть, как сильно действуют твои прелести. Жестокая, сии презрительные ласки, сей довольный вид, сие очаровательное обхождение со мною уверяют меня, что ты веселишься втайне моим страданиям. С улыбкою в насмешку ты торжествуешь над несчастным, отчаянным, для которого любовь есть поношение. Ошибаешься, милая Сара, я не смешон, а только несчастлив. Достоин жалости, не презрения, потому что не льщу своему самолюбию, не говорю, что я молод, хорош, могу нравиться, любя страстно. Гибельное очарование, ослепившее мое сердце, украсившее тебя всеми прелестями в глазах моих, не совсем лишило меня рассудка: смотря на Сару с восторгом, я могу смотреть на себя с хладнокровием. Во всем кроме самого себя могу обмануться; всему кроме любви твоей поверить.

Обманчивые ласки твои прибавляют к моему унижению; люблю с ужасной достоверностью, что ты не можешь любить меня.

Будь же довольна, Сара. Вот мое признание: люблю тебя до безумия, пылаю к тебе страстью самую сильную, неизлечимую; но если смеешь, покусись приковать меня к своей колеснице, как воздыхателя с седыми волосами, как старого прелестника, не потерявшего еще (1 нрзб.) быть приятным, мечтающего, в сумасбродстве своем, о правах на сердце молодой девушки. Нет, Сара, не обманывайся, ты не получишь такой победы, я не брошусь к ногам твоим, не буду смешить тебя любовным вздором и мучать своими вздохами. Я могу плакать, не от любви, от бешенства. Смейся, если хочешь, над моею слабостью; но я клянусь, что никогда не будешь смеяться над моим легковерием.

Я не мог равнодушно говорить о своей страсти: презрение тягостно, унижение нестерпимо: но страсть моя, слепая и безумная, спокойна, жива и тиха, как ты, моя Сара. Лишившись надежды, я погиб для своего счастья и живу только твоею жизнью. В твоих удовольствиях нахожу свои. Одни твои наслаждения имеют для меня прелесть; для одних желаний твоих открыто мое сердце. Я буду любить моего соперника, если он понравится моей Саре; буду желать, чтобы он ей понравился, чтобы имел мое сердце, для ее счастья, для нежной и постоянной страсти. Вот желание, дозволенное тому, кто любит, не будучи любезным! О Сара, люби и будь любима. Видя, что спокойна и довольна, я умру без горести.

Письмо второе

Я писал к тебе, Сара, пишу опять. Мой первый проступок влечет другой за собою, но я, не сомневайся в этом, могу остановиться. Твое обхождение со мною, ослепленным, будет мерою чувств моих, когда исчезнет очарование. Напрасно хочешь показывать, что не читала письма моего: притворство! Я знаю, что ты его читала. Непринужденный, спокойный вид твой меня не обманет; ты теперь такова точно, как прежде, как всегда; верный знак, что никогда не была искренна. Не примечая моего безумства, ты надеешься его увеличить; не довольствуешься моими письмами, хочешь видеть меня у ног своих; хочешь сделать меня совершенно смешным, глупым, забавляться надо мною, может быть, забавляешь и других; считаешь неполною свою победу, если я не лишен чести, не совершенно унижен.

Ясно видно, коварная очаровательница, из притворной скромности, которою надеешься обмануть меня; из этой притворной непринужденности, которою, по-видимому, хочешь загладить воспоминание моего проступка, показывая, что ничего об нем не знаешь: повторяю, ты читала мое письмо. Я в этом уверен; я это видел: ты держала в руках ту книгу, в которую оно положено было и бросила ее с торопливостью, когда я вошел в горницу, покраснела, замешалась. Смущение жестокое, очаровательное, и может быть, такое притворное! Ни один пронзительный взгляд твой не действовал на меня так сильно и непобедимо как оно подействовало! Что сделалось со мною при этом виде, который и теперь еще волнует всю мою душу. Сто раз в минуту я был готов упасть к ногам надменной! Какое жестокое, опасное сражение с самим собой; но я победил; победил и трепетал от радости, что не унизился. Одной этой минутою отмщаю за все твои оскорбления. Сара, не гордись: я могу торжествовать над тобою; страсть моя не совсем еще непобедима. Несчастный, бедный человек! Мечты моего самолюбия приписывать твоей гордости. Ах, если бы я имел счастливое право думать, что ты мною занимаешься. Да, Сара, занимаешься хотя бы для того, чтобы только мучить обветшалого любовника, не слишком много для него чести. Нет, ты не имеешь другого искусства, кроме равнодушия; невнимание — вот все твое кокетство; ты терзаешь меня, забывая, что я есть на свете. Я так несчастлив, что самым своим дурачеством не могу занять тебя на минуту. Твое презрение не хочет удостоить меня даже насмешки. Ты прочла мое письмо и забыла о нем; ты не сказала ни слова об моем страдании, потому что перестала об нем

думать. Как, неужели я совсем ничто для Сары! Неужели мое бешенство, мои мучения ее не трогают и даже его не замечены? Ах! Где же это милое добродушие, блестящее в глазах ее? Где же это нежное чувство, которым они оживляются?.. Жестокая... К чему же ты чувствительна? Лицо твое обещает душу. Оно жлет! Ты имешь одно только зверство... Ах! Сара! Я ожидал от твоего сердца по крайней мере утешения.

Письмо третье

Наконец ты довольна, Сара! Я пристыжен! Я совершенно унижен! Моя досада, мои жестокие сражения с самим собою, мое постоянство и твердость были напрасны: вот к чему они привели меня! Я был бы не столь низок, если бы меньше противился! Как! И мог сравниться с ветреным мальчиком: мог целые два часа стоять на коленях перед ребенком; обливаться слезами ее руки; мог ей позволить утешать меня, жалеть обо мне, отирать мои слезы, помраченные летами! Я мог принимать ее советы, одобрения! К чему же послужила мне долговременная опытность; какую пользу извлек я из горестных моих размышлений. Как часто в двадцать лет краснел я от того, что делаю в пятьдесят! Ах! Я жил только для посрамления! По крайней мере хотя бы прямое раскаяние могло возвысить мои чувства: но нет, я люблю свое иступление, люблю свою низость. Воображая себя на коленях перед тобою, видя свои седины, я бешусь и мучаюсь: но сердце мое забывается, исчезает в неизъяснимом восторге, вспалившем его в ту минуту. Ах! В эту единственную минуту я не мог себя видеть, не мог ничего видеть, кроме тебя, несравненная! Твои прелести, твои слова, твои чувства живили, составляли все бытие мое, твоя молодость, ум, добродетель были тогда моими! Ты показывала ко мне почтение — мог ли я презирать себя! Ты называла меня своим другом — мог ли я себя ненавидеть! Увы, эта отеческая нежность, которой ты от меня требовала, милым трогательным голосом, это имя дочери, которым хотела называться, возвратили мне память. Твои разговоры, твои очаровательные ласки и восхищали меня и мучали; слезы стремились ручьями из глаз моих. Я чувствовал, что бедность моя была моим счастьем: с большими правами на любовь Сары я бы не получил ее милостей.

Но я мог тронуть твое сердце. Сожаление затворяет его для любви, знаю, но твое сожаление имеет для меня прелесть неизъ-

яснимую. Как! Я видел слезы на томных глазах твоих, слезы, мне посвященные! Чувствовал пламень одной, упавшей на мою щеку? О эта слеза! Какое пожирающее воспаление она причинила! И я не счастливейший человек на свете! Ах! Я счастлив, выше меры, выше ожидания, самого смелого, самого дерзкого.

Так пускай беспрестанно возобновляются сии минуты неизъяснимого наслаждения! Пускай наполняется ими или бессмертным их воспоминанием весь остаток моей жизни! Что имеет она в себе достойного сравнения с тем чувством, которое одушевляло меня у ног твоих! Я был унижен, безумен, смешон, но я был счастлив, я наслаждался так, как никогда в течении жизни моей не наслаждался. О Сара, милая, пленительная Сара, я потерял все чувство раскаяния, весь стыд, я могу только думать о тебе, только чувствовать пламя, снедающее мою душу: пускай смеются над моим иступлением; в оковах твоих презираю ругательства целого мира! Мне ли думать о том, что найдут во мне люди. Я имею для тебя сердце юноши — довольно.

Письмо четвертое

Как, Сара? Тебя ли я боялся, тебя ли стыдился любить с такою силою! О Сара! Несравненная, душа единственная, милая! Как могу не почитать себя, когда имею сердце способное знать твою цену. Так, стыжусь любви своей — она была слишком несовершенной, слишком бессильна, слишком недостойна своего предмета. Шесть месяцев ты восхищаешь мои глаза и сердце; шесть месяцев душа моя наполнена, оживлена тобою: но только вчера научился я любить тебя в совершенстве. Когда ты говорила, когда и слова, и чувства, достойные неба, выражались твоими устами, восхищенным взорам моим казалось, что все твое лицо, твой стан, твой образ, твои черты переменились! Не знаю, какой очаровательный пламень стремился из глаз твоих; какое блистание тебя окружало! Ах, Сара, если ты существо несмертное, ангел, слетевший с неба указать истинный путь заблужденному, открой мне сию тайну; может быть еще время. Да умрут желания моего сердца, невольные, но для тебя оскорбительные. Увы, если я обманут моею страстью, моим иступлением, моими дерзкими надеждами, уничтожь это прелестное заблуждение, скажи, как должно тебя обожать.

Ты овладела мною, Сара, овладела совершенно. Ты научила меня любить мое безумство, но слишком жестоко даешь его чув-

ствовать. Когда я сравниваю свои поступки с твоими, то нахожу мудреца в молодой девушке и в старике ребенка. Твоя кротость величественная, соединенная с таким умом, с таким благородством, гораздо выразительнее самого жестокого (1 нрзб.): она больше всяких упреков устыдит меня перед самим собою. Вчера тон разговоров твоих, необыкновенно важный, дал мне сильно почувствовать, что я не должен принуждать тебя к их повторению. Понимаю тебя, Сара; ты увидишь, что я достоин тебе нравиться, если не своею любовью, то чувствами, с нею соединенными. Заблуждение мое будет так же не продолжительно, как было сильно; ты мне его показала — довольно; я выйду из заблуждения, будь в этом уверена: никогда, со всем своим безумством, не сделал бы я первого шага, если бы мог видеть, сколь оно велико. Я стоил упреков, ты подавала мне советы; я был преступник, ты видела во мне только слабого человека. Но я умею сказать себе то, что не сказала мне Сара: умею дать моим поступкам то имя, которого не хотела она дать им; она узнает, что сердце мое благородно, хотя, по незнанию, могло быть низким. Сара, не мои, но больше твои лета сделали меня виновным. Совершенно презирая себя, я не мог видеть ясно, сколь недостоин мой поступок. Тридцать лет разницы между нами давали мне чувствовать один только стыд мой и скрывали от меня твою опасность. И какую опасность! Я слишком мало ценил себя, чтобы почитать ее возможною; слишком был уверен в своей неспособности уловить твою невинность, и если бы ты была не столь добродетельна, то я без мысли мог сделаться обольстителем.

О Сара, добродетель твоя подвержена опаснейшим искушениям; лучший выбор предоставлен твоим прелестям. Но долг мой зависит ли от твоих прелестей и добродетели? Нет, голос его внятн моему сердцу, я хочу ему повиноваться. Для чего мои заблуждения не могут навеки изгладиться из твоей памяти! Для чего я сам не могу забыть их совершенно! Ах, я чувствую, что рана сия никогда не закроется! Хочу залечить ее и только что растравлю: мой удел пылать до гроба неисцелимою страстью; всякий день сильнее, всякий день безнадежнее. Могу ли сказать умри моему сердцу; но, Сара, я могу молчать, обещаю и сдержу свое слово — никогда не говорить тебе о страсти безумной и несчастной, которая могла умереть при своем рождении, но теперь, усилясь, умрет только со мною. Все во мне умолкнет; глаза мои не будут выражать сокровенного в моем сердце: но запрети (1 нрзб.) вырывать из него бедственную тайну. Все-му готов противиться кроме твоих взглядов. Ах, Сара, знаешь,

как легко тебе сделать меня клятвопреступником. Сие торжество для тебя верное, для меня посрамительное, может ли прельщать твою прекрасную душу. Нет, моя Сара, не оскверняй того храма, в котором тебе поклоняются; оставь какую-нибудь добродетель сердцу, всего лишенному тобою.

Не могу и не хочу возвратить несчастной тайны, которая сама обнаружилась; поздно, пускай она останется твоею; она так ничтожна, что скоро была бы забыта тобою, когда бы воспоминание об ней не возобновлялось беспрестанно. Ах, как я бы был жалок в своей бедности, когда бы не знал, что ты сожалеешь о ней, тем более сожалеешь, что никогда не можешь меня утешить. Ты будешь видеть меня всегда таким, каким я должен быть: никогда слова мои не будут выражением пылающего сердца; позволь мне к тебе писать: больше ничего не требую. Буду приближаться к тебе как к Божеству, пред которым страсти умолкают (1 нрзб.). Твоя добродетель уничтожит все очарование твоих прелестей; пред тобою сердце мое будет чисто; говоря тебе только то, что тебе прилично, что непротивно самой невинности, я потеряю возможность сделаться обольстителем; перестану почитать себя смешным, когда не буду смешон в глазах твоих; не пожелаю быть виновным, ибо не могу быть виновен в твоём присутствии.

Писать к тебе? Нет, Сара, никогда на это не соглашайся! Такое желание не должно иметь места в моём сердце. Я бы не столько почитал тебя, если бы думал, что способна к сему снисхождению.

Сара, вот оружие, которым ты можешь от меня защититься. Не будь моим поверенным, будь только хранителем моей тайны: ты знаешь ее; довольно, всякое новое повторение бесполезно. Итак, замолчу: и что еще могу сказать тебе?! Моя Сара. Презри меня. Лиши своего присутствия, если когда-нибудь увидишь страстного любовника в друге, тобою избранном. Говорю тебе, прости навек, не имея сил разлучиться с тобою — последняя моя жертва, единственно достойная моего сердца и твоих добродетелей.

*А. М. Грачева
С.-Петербург*

«Круг счастья» — лицевой кодекс Алексея Ремизова

Алексей Ремизов признан не только одним из наиболее ярких русских писателей XX в., но и оригинальным мастером графики и каллиграфии. За последнее двадцатилетие состоялись две персональные выставки его работ, появились статьи о Ремизове-художнике. Но многомерное раскрытие эстетического феномена его творчества, как синтеза искусств — дело будущего, в создании которого должны быть объединены усилия искусствоведов и филологов. Это исследование будет опираться на конкретную источниковедческую базу и рассматривать творчество Ремизова (писателя и, одновременно, художника), исходя из критерия историзма — осознания внутренне последовательной смены эстетических задач, стилевой манеры и используемых «технических средств». От эссеизма и эмпиризма к конкретно-историческому анализу — такой путь ведет к объективному описанию места, занимаемого Ремизовым в русской культуре XX в. И в этом плане особое значение приобретает изучение конкретных произведений Ремизова, в которых объединены два способа отражения реальности и сверхреальности — словесный и графический. Речь идет об исследовании его рукописных иллюстрированных альбомов. Но прежде, чем обратиться к анализу конкретного произведения — альбома «Круг счастья», очень условно наметим пока лишь некоторые этапы художественной эволюции Ремизова в аспекте появления и развития в его творчестве жанра иллюстрированного альбома.

Общеизвестна легенда самого Ремизова о начале его рисовального пути. Ее текст, написанный в конце 20-х годов для немецкого художественного журнала «Gebrauchsgraphic», позднее в переработанном виде вошел в книги «Подстриженными глазами» и «Учитель музыки». Приведем первоначальный вариант русско-

го текста этого рассказа, сохраненный в виде белого автографа с правкой в альбоме С. П. Ремизовой-Довгелло:

«Рисовальные признания для Gebrauchsgraphic

Рисовать я нигде не учился. А рисовать мне, что горерыбаку рыбу удить, рисовать [это] моя страсть. В детстве первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони шлепком на спину проходим: у прохожего сзади вскакивал от меня белый рогатый чертик. С этого и пошло. Еще заборы: я не пропускал [ни одного] случая, чтобы мелом или углем ни вывести рожу и такую [такой величины], насколько хватал размах. В училище в перемену, когда другие слонялись или повторяли уроки, я стоял у доски и крушил мел, зарисовывая до кончика доску. С мелом у меня так крепко связалось рисование, [что] одно время я ел мел, как едят конфеты. По рождению [С детства] я близорук, но об этом никто не догадывался. Только в 14 лет я надел очки, а произошло это от моей неудачной пробы учиться рисовать: я пошел в Строгановское училище в воскресенье: воскресные уроки для проходящих бесплатно. Задано было нарисовать геометрическую фигуру. Сам того не понимая, что я плохо вижу, я что-то нарисовал и подал [свой] рисунок и мне учитель сказал, чтобы я больше не приходил.

Я очень был огорчен, вот тут-то и хватились, что дело не в рисовании, а в близорукости. Но в очках мне было уже неловко идти к тому учителю. В детстве я книг не читал, я только рассматривал картинки. Над картинками я мог просидеть целый день. Но я никогда не срисовывал картинок. Я ни на чем не навикал: поэтому я не мог и не могу повторить ни своего, ни чужого. Еще я не мог переносить линейки и квадратиков: всякое ограничение меня отпугивало. И все рисунки мои [были] всегда кривые, всегда летели. С серого забора я подобрался к сучкам, ясным на белом тесе: я видел в них «рожи» — духов; от сучков перешел вообще к пятнам: расплывшиеся чернила, краски, размытый дождем или половодьем берег. Все это такие сочетания, каких не бывает в натуре.* (* Припоминая «натуру», над которой я наблюдал и которой старался следовать, я забыл упомянуть небо — облака: грозных чудовищ и знойных зайчиков и барашков с рыбьими хвостами и плавниками [всех этих духов, о ко(тор)ых складывались рассказы Die Erzählungen der (3 нрзб.) — подстрочное примечание Ремизова — А. Г.) И еще я заметил, коснувшись обой, что самый материал может из себя дать рисунок, стоит только помуслить палец и начать водить. И когда я увидел картины Брейгеля, Босха и Калло, с каким восторгом я смотрел на них: я увидел в них весь

этот путь от заборных сучков и облаков до обоев, когда из пятен выступает [вырисовывается] волшебный рисунок ненатуральных сочетаний. Именно как раз то, что меня занимало, у этих художников было изображено. От предметов я перешел к чистой мысли: я наловчился, зажмурившись, в особенности перед сном, видеть еле возможные ненатуральные образы, которые переходили у меня в сон и там действовали, как живые. Но нарисовать я их не мог. Потом уж, кое-как наловчившись ограничивать себя (а в этом, наверное, весь секрет мастерства во всех областях искусства) некоторые свои сказки я стал рисовать, а потом уж писать. Так соединилось мое рисование с писанием (литературой). Но есть у меня уголок, где я отвожу мою невоплотившуюся рисовальную душу: это т(ак) н(азываемые) «обезьяньи знаки»: в круге я рисую [Бог знает что] — как поведет рука, как размажется уголь. Таких знаков я нарисовал много сотен, а рисую я их обыкновенно с повышенной температурой, с градусником под мышкой: самый расплыв карандаша по своим чисто художественным законам вырисовывает передо мной волшебные фигуры. Самый же прием рисования у меня определяется способом моего письма: я держу карандаш, как ручку, завиваю и расчеркиваюсь, как-будто пишу. Если еще начать думать, пожалуй, и не такое еще нагородишь о себе, но я думаю с меня довольно: я ведь не воплотившийся! и вся моя рисовальная страсть только горит во мне, никого не поджигая: понимаете, голыми руками огня не возьмешь! Paris 4.3.28 Алексей Ремизов».

Экстраполируя из этой авторской легенды объективные данные, можно говорить о природной одаренности, желании рисовать и, в то же время, об отсутствии традиционной художественной школы. Единственной такого рода «школой» были для Ремизова уроки чистописания, развившие талант копирования разного вида почерков. Способность изображения предметного и «испредметного» мира осталась у Ремизова на уровне свободы мышления ребенка, еще не испорченного стандартизацией — неотъемлемой чертой нормативной методики «обучения рисованию». Значимым фактором (сохранившим свое воздействие на каждом из этапов художественного творчества писателя), была его сильная близорукость, обуславливающая фантастические формы реальных предметов.

В настоящее время не известны образцы детского рисовального творчества Ремизова. Самое раннее из сохранившегося — это относящиеся к 1901—1904 годам образцы его каллиграфии на экземплярах произведений, представляемых в редакции или в

Откило поглядел на кузнеца:

«Куда-а! - царь Соломон?»

«Матушка-государыня, читаю в старых книгах, пишут: не рожден - не сын, не окучлен - не холод, а вспоя, вскорня, борода не видать»

«Слушай, Откило, жизнь или смерть?»

Поклонился Откило и пошел - есва в дверь попал: обзглазшал!



Встретил царевич:

«Что ты плачешь, сбережатель мой дядька?»

«Как мне не плакать, царевич, я и сказать не смею»

«Говори, не бойся!»

«Ах, царевич, грозил мне матушка твоя царя Вирсавия горькою смертью. Видишь, говорит, дядька Откило, жизнь или смерть?»

«Велит свести тебя на теплое море, - заколи, вынь сердце, и снеси царю и принеси ей, а тело - в море!»

«Воля матушки, - сказал царь Соломон, - что хочет, то и делает. Не тужи, дядька, будешь жить!»

X

Решать нечего, взял Откило старый свой нож, на ледведе когде-то с Давидом царем ходил. И пошел. Вперед адрезал, за царевичем Откило. Старик и шапку надеть забыл. Не смеет он царской воли послушаться и царевича больно жаль.

И увязалась канни собака Ритка - Ритка слизал сметану, хватились, он вырвался да бежать. На воле весело: игрался Ритка.

Дошли до моря.

Пустынный берег.

И говорит царевич Откило:

«Не удивай меня, сбережатель мой дядька, ты возьми вместо меня Ритку, заколи, вынь сердце, снеси своей матери, а я пойду, ~~и принеси~~ Вернись или не вернись - судьба!»

Старик и рад и боится: что он царю скажет?

«Принесешь царю Риткино сердце: заколи, скажешь, сына твоего царя Соломона, а тело - в море»

Попращался царевич и пошел, куда глаза глядят.



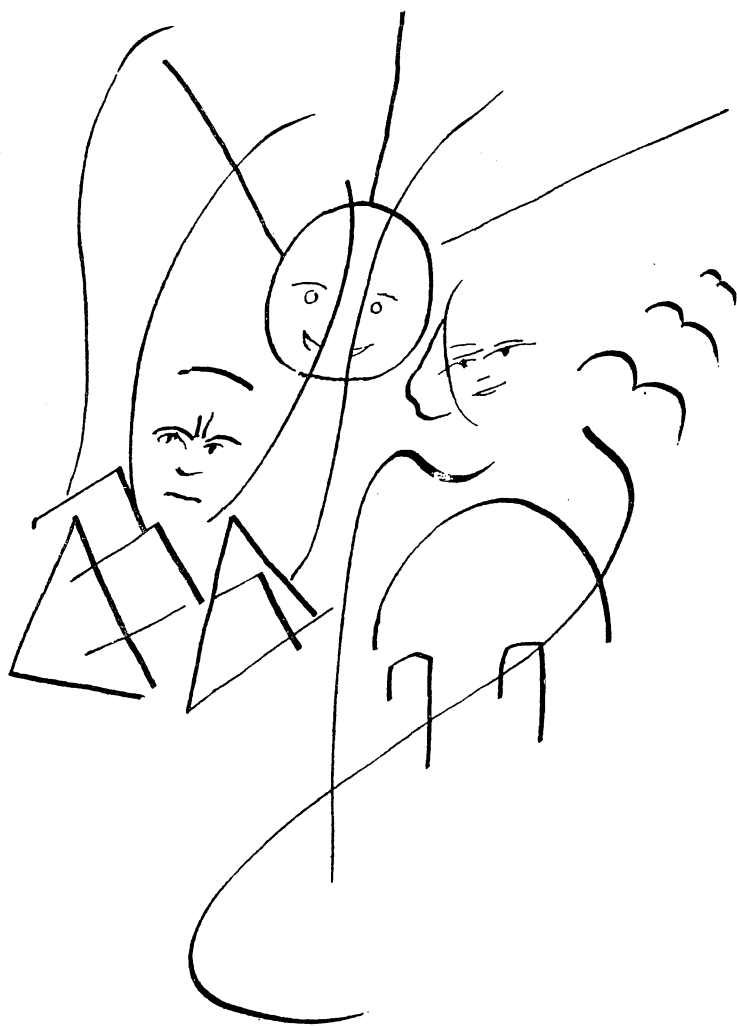
цензуру. Это — тексты, написанные «стандартным» каллиграфическим почерком начала XX в. с некоторым «модернистским уклоном» в начертании букв, навеянным, вероятнее всего, графическими клише тогдашних декадентских изданий.

1906—1907 годы — начало серьезного изучения Ремизовым древнерусской культуры, особенно книжности и иконописи. В словесном творчестве его интерес проявился в обработке апокрифических сказаний («Лимонарь», 1907), патериковых рассказов и мистерий («Бесовское действо», 1907). Однако каллиграфическое искусство Ремизова оставалось еще некоторое время в прежних стилевых границах. Новый этап в развитии этого вида его творчества наступил со времени обучения С. П. Ремизовой-Довгелло в Императорском Археологическом институте (1911—1912), когда Ремизов учился вместе с ней прикладным источниковедческим дисциплинам и, в частности, русской палеографии. Надо помнить, что отсутствие законченного высшего образования было одним из психологических комплексов Ремизова, сохранявшихся на протяжении всей его жизни. Освоение программных дисциплин Археологического института было не только сублимацией этого комплекса, но совпало с также нереализованной жадью получить художественное образование — «школу». Она была обретена Ремизовым в учебниках и альбомах образцов древнерусского письма и орнамента, которые он стал, сначала точно копируя, использовать в своей эпистолярной. То, что Ремизов продолжал рисовать и его графика уже тогда была оценена, подтверждается его участием в организованной Н. Кульбиным выставке «Треугольник» (1910). Среди ее участников были Д. Бурлюк, Е. Гуро, М. Матюшин, Н. Евреинов, А. Экстер, а также писатели С. Городецкий, В. Каменский и др. Еще с этих лет у Ремизова установились дружеские отношения с художниками Д. Бурлюком, Н. Гончаровой, М. Ларионовым. В декларациях художников-авангардистов Ремизов нашел обоснование не только возможности, но и эстетической правомерности своего графического творчества⁶.

1917—1921 и 1921—1923 — годы революции и так называемый Берлинский период — время максимального проявления в изобразительном творчестве Ремизова влияния кубизма. Начавшиеся в годы революции проблемы с издательским делом послужили причиной создания рукописных книг писателя. Первый прецедент такого рода — сделанный для Н. Рябушинского список «Гонимой повести» — не сохранился и о его характере можно лишь гадать. Рукописные же книги Ремизова революционных лет⁷

являются по типу почерка и строения рукописи прямыми подражаниями древнерусским рукописям XVII в., написанным скорописью. Лишь в оформлении шмуцтитула и инициалов прослеживается воздействие эстетических принципов футуристических изданий. Известные ныне ремизовские альбомы портретов и автоиллюстраций этих лет также выполнены под влиянием кубистических принципов строения графического изображения⁸. Берлин — время интенсивных личных контактов Ремизова с художниками, период дружбы с В. Кандинским, Н. Пуни, Б. Анисфельдом, Н. Зарецким и др., его участия в профессиональных художественных выставках. В графике Ремизова это период максимального доминирования угла и прямой, разложения пластических объемов на комплексы геометрических многогранников.

Во 2-й половине 20-х годов графика Ремизова трансформируется и сближается с графикой сюрреалистов. Еще предстоит выяснить, насколько подобное тяготение является сходством близких по типу автономных эстетических явлений или результатом нового влияния, испытанного Ремизовым. Прямая и угол сменяются плавно перетекающими одна в другую, стремящимися к овалу и кругу линиями. На характере изображения Ремизовым человеческого образа сказалось не только изучение принципов иконописи, но и чтение эзотерической и теософской литературы. Нимб над ликом, появившийся еще в графике конца 10-х годов, становится теперь постоянным атрибутом любого изображаемого персонажа. С начала 30-х Ремизов стал вести графический дневник своих снов, переводя на язык изобразительного искусства то, что ранее существовало лишь в словесном отражении. В беседе 50-х годов с Н. Кодрянской он отметил причину этого «перевода» снов с одного художественного языка на другой: «Сны я записываю, как научился писать. Сны я помню: но вижу во сне отчетливее, чем мои записи. Трудно передать несообразность, а также несоответствие, и невольно сон исправляется числом и мерой. Рисунок точнее передает сон. Я пробовал — рисую, и то не ахти как! Моя натура — что-то выходит не очень натуральная, передача исковерканной и без того реальности сна. Чтоб изловчиться в рисунке, я решил изображать всякий день мой сон: сновидение в середине страницы, а вокруг и с боков — дневное: встречи и происшествия»⁹. Сохранившиеся тетради графических записей снов (с 1933 по 1937)¹⁰ показывают, что Ремизов использовал многие художественные принципы и приемы иконописи (обратную композицию, нимбы, клейма, вертикальные поясняющие надписи и др.). Это является творческим усвоением старых эстетиче-



А. Ремизов. Круг счастья. Л. 19 об.

ских канонов, но не стилизацией под них. В то же время подвижность изображаемых форм, графическое преобразование одной в другую — результат также прочтения глазом художника, а не адепта, мистических откровений Я. Беме и Р. Штейнера. Нельзя не учитывать и того, что так поражавшая современников «мелкопись» графического и каллиграфического искусства Ремизова этих лет объясняется характером увеличивающего оптического эффекта, вызванного коррекцией очками сильнейшей прогрессирующей близорукости.

К сожалению, не сохранились серии его рисунков, представленных в 1932 году на выставке «Рисунки французских и русских писателей» в Париже, организованной журналом «Числа», и на выставке 1933 года в Праге, а затем в Моравской Тшебове, где экспонировалось около 1000 рисунков Ремизова. По свидетельствам, на выставке 1933 года были представлены автоиллюстрации к книге «Взвихренная Русь». С начала 30-х годов изготовление иллюстрированных альбомов превратилось для Ремизова из любительского занятия в средство добывания денег. До этого времени альбомы, как правило, представляли собой серии автоиллюстраций, создававшихся или параллельно, или после написания текста, над которым шла писательская работа. Теперь же альбомы, сделанные на продажу, отличались значительной графической и каллиграфической отточенностью исполнения, но были гораздо менее интересны с точки зрения отражения в них текущего творческого процесса. Как правило, это — альбомы текстов старых произведений Ремизова (чаще всего — отдельных сказок из «Посолони») или альбомы, посвященные русским писателям (Тургеневу, Лескову, Гоголю и др.). Тем не менее, имеются данные, позволяющие говорить о том, что и в эти годы художественное мышление Ремизова развивалось в словесно-графических формах. Проведенное автором данной статьи обследование сохранившихся в России, Франции и США частей единого творческого архива писателя позволяет сдвинуть время создания книг «Учитель музыки» и «Подстриженными глазами», как целостных художественных структур, с 40-х на 30-е годы. В эти же годы в иностранной прессе (главным образом, во французских и американских журналах) публикуются отдельные графические листы, иллюстрирующие эти произведения. Это подтверждает существование графических «вариантов» этих книг, точнее, серий автоиллюстраций к ним.

Вторая мировая война была для Ремизова временем глубоких потрясений, среди которых главным была смерть его жены. В

И вот, как развернувшись, лучи
или враще раскрылись, звездуное
небо, музыка - ясный клук

«Есть камень у птицы, - про-
вещал Китоврас, - чудесный но-
готь, зовут шашир; в глубине пус-
тыни на скале гнездо птицы.»

И Китоврас поднялся.

Под шурлык, с горящими светил
Куропалат Вифоний, синкеллы,
лестеры придворные лакеи, му-
зыканты, певчие, актеры - повели
Китовраса из карского дворца во
дворец Куропалата.



День за дней - прибыв куропалат
к своему пустынный гостю и пере-
ал ~~и~~ стенчатся.

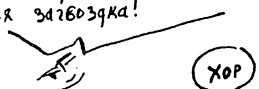
Китоврас ладный, ничего не тре-
бует, пить пьет, а едой не прель-
стишь, и хоть бы раз какую ра-
кушку пожевал и хлеба не просит.
Китоврас смирный, поожмет нога
да так и окаменеет, и хоть
ори ему на ухо, ровно глухой,
только странно как смотрит.

Музыканты совсем осмелели и,
если дощ нужда, вышаркается,
а первое-то время ногами деи отво-
вали и в шурлке не катати шашир-
зам лишиаз; нота попадала, ну, тогда
не да нота было. И певчие тоже осво-
цись и раз даже хором плясочку
хватили - а уж как их стра щали!

За-линей терли, как собствен-
ные свои салоги.

И не от Китовраса Вифоний
с ног сбился, - дело шуррено:
от царя куропалату наказ
итти в пустыню и там по-
карачь птажку и принесешь
чудесный камень „шашир“.

По указанию Китовраса
строитель Хирам отлил такое
белое стекло и этиа стеклом
должен Вифоний, как вылетит
птичка, заделать гнездо, чтоб
потом птажке - это нахо-
дится в гнезде, она видит,
а в гнезде не понасть. Вот
какая затворка!



ХОР

Китоврасу открыта тайны земля,
Знает и птичка чудесный камень.
Но не та ли шурба, это и мне, зельбек?

Зельбек открыта тайна воспоминаний.
Но та же беззачетность и наглая поважка.
Кто это ~~зельбек~~, откуда зельбек, и где шурба
представь?

Мне. Китоврасу. И Птице.



Достигнув скалы в пустыне, заде-
тали гнездо птицы. И когда вылете-
ла из гнезда птичка, отрядил Вифоний
из своей свиты самых цепких.

И когда безобразил смельчак на
скалу на скалы верхушки, видят, что
гнездо с птенцами, сбросили брыз по-
саную лесинку, вкаркались к ним Вифони

творчестве Ремизова-художника появились «цветные конструкции» — коллажи из цветной бумаги на картонной основе с прорисовкой черной тушью размером примерно 30х40 см. Их создание первоначально было вызвано прозаическими причинами (вылетевшими при бомбардировке оконными стеклами), но затем стало новым способом изображения «испредметного». Об этом Ремизов писал Н. Кодрянской 21 марта 1948 г.: «Делаю цветные конструкции: на картон наклейка, потом будет геометрия, а из треугольников лучи»¹¹.

1948 год стал для Ремизова рубежом. Именно в этом году он закончил начатую годом ранее разборку своего архива. Большую его часть он передал собирателю документов, бывшему студенту Археологического института К. Солнцеву, оставив у себя только личные документы, письма жены, иллюстрированные альбомы и рукописи неизданных произведений. Этот год стал последним в череде лет, когда, начиная с 1931 года, книги Ремизова не выходили отдельными изданиями. Лишь в 1949 г. появилась книга «Пляшущий демон». В 1948 году, 3—8 сентября Ремизов создал рукописный иллюстрированный альбом «Круг счастья. Книга о царе Соломоне», ныне хранящийся в составе фонда А. М. Ремизова в Рукописном Отделе Пушкинского Дома (Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 32. 24 лл. — далее в тексте цитируется с указанием листов).

«Круг счастья. Книга о царе Соломоне» — это не просто «альбом», а, по сути, рукописная книга с иллюстрациями, составленная из сказаний и легенд о царе Соломоне. Отдельные входящие в нее произведения были созданы Ремизовым в период с 1910-х до 1930-х годов и ранее уже были опубликованы отдельно друг от друга.

Состав рукописной книги таков: «Царь Соломон» (Л. 4—5 об.); «Премудрый царь Соломон и красный царь Пор» (Л. 6—12 об.); «Тябень» (Л. 13—16); «Соломон и Китоврас» (Л. 16—21 об.). Название книги восходит к популярному в к. XIX—нач. XX в. народному изданию «Полный новый оракул-предсказатель, удачно предсказывающий будущее по предложенным вопросам, с присовокуплением легчайшего способа гадать и отгадывать на кофе и бобах, и гадательный круг царя Соломона». И, действительно, совокупность сказок и легенд, из которых сформирована книга Ремизова, представляет собой «круг жизни» Соломона от его рождения и воцарения до свершения главного дела — строительства Храма и финального ухода из славы в безвестность. Это — история коловращения его «счастья» —

«Брат Соломон, - говорит Китоврас, - бласть дается по силам. Если хочешь видеть силу мою, сними с меня железную цепь, дай мне перстень с твоей руки, и ты увидишь»

Тогда по знаку царя сафарина Зерко: снял цепь с Китовраса - Китоврас поднялся, олуценные крылья его прожали.

И царь - и это все видели - царь снял перстень со своего пальца и подает Китоврасу.

И наступило - это как серебряная молонья в грозное клубящееся затишье бурь: Китоврас на глазах у всех взял перстень, пошел к гулам и проглотил.

А распахнувшись ^{в одно мгновение} крыльями ударил царя Соломона и закинул его на коней, облетавшей земли.

«Я, рожденный от непорочной звезды, воздуха, огня и воды, я - царь Соломон!» - воскликнул Китоврас.

И бел-пурпурно-лиловый-красный свет завесой окутал его.

И все видят: на троне царь Соломон и царица подает ему золотое яблоко.

«Как вы меня любите?» - обратился Китоврас к пирюющим.

И все светились одними головами седыми.

Говорили:

- «Без-гранично, безповоротно»
- «И легко царете за нас».

«Тут все: без-заветно, те, наш царь Соломон!»

И захлопал Китоврас.

Так не хохотал он и над прорцателем, то щипал доверчивым класи и не видел у себя под ногами класи.

А в распахнутые окна по хохот Китовраса врывалась беззащитно - это те, страные, непохожие, цыганцы с дерзкими лицами, ходили по улицам:

Это будет последний и самый решительный бой...

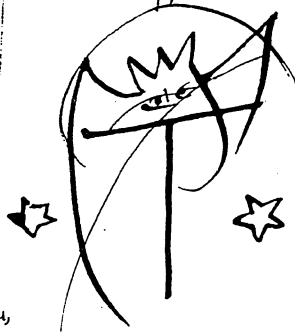
~~И бить~~ И бить ~~царя~~ царя в порежь судьбы поджале на сердце. И рава. И он увидел, как под царя Олестри Китовраса вздрогали!ские крепкие камни.



Ночью над Черчукалами разразилась гроза - в грозе слышались стук и лязг расклевывающих каменных глыбок; молния-птицы, вилы и хвосты, клевали землю; решенные хлестом взвивались и падал дождь.

А там, у моря, закинутый концы земли, на пустынной берегу, под тихо-плывущим звездем отлежал царь Соломон крутой орон:

Аз
еклезиаист
бих царь над Израелем
в Мерусалиме



судьбы, где личная воля человека причудливо сочетается с предначертаниями Рока.

Перед тем, как обратиться к книге Ремизова, надо еще раз вспомнить о блестящем знании им древнерусской книжной культуры. В послевоенные годы писательский интерес к ней не только не ослабел, но даже усилился. Он постоянно читал издания древнерусских памятников, рукописи, находился в постоянном научном и дружеском контакте с такими видными медиевистами как П. Паскаль и Б. Унбегаун. В этом контексте работу над рукописной иллюстрированной книгой «Круг счастья» можно рассматривать как творческий эксперимент по созданию лицевого кодекса. Особое значение имеют сознательные отступления автора от принципов построения древнерусской рукописной книги такого типа. Они — результат творческого переосмысления старого, а не ошибки стилизатора середины XX в.

Рукопись Ремизова — это альбом из сложенных пополам листов плотной белой бумаги (кватернионов) с обложкой из плотной бумаги зеленого цвета. Текст и рисунки выполнены черной тушью. На титульном листе каллиграфическим, но без стилизации, почерком написано заглавие «Круг счастья. Книга о царе Соломоне» и имя автора «Алексей Ремизов». На шмуцтитуле посвящение: «Верному сыну Израиля и моему искреннему другу доктору Исааку Вениаминовичу Кодрянскому что бережет и лилеет самое мое любимое и самое дорогое в мире русскую сказку, сказывает Наталья Кодрянская // Алексей Ремизов // 8 сентября 1948 Paris» (Л. 2). Адресат посвящения — один из ремизовских меценатов, муж литературной ученицы писателя. На следующем листе вновь повторено название книги. Тексты на лл. 2—3 написаны каллиграфическим почерком того же типа, что и на л. 1. Но на л. 2 в правом верхнем углу, на границе листа Ремизов посадил кляксу и сразу же превратил ее в заднюю половину тела крылатого фантастического существа, передняя половина которого выполнена на основе чернильного пятна, перетекшего на л. 2 об. Существо листает книгу, его лицу придано портретное сходство с Ремизовым.

Текст кодекса написан в два столбца. Середина листа, правое и левое поля очерчены вертикальными линиями. Это задает четкое композиционное членение плоскости листа. Почерк, которым написаны тексты, не является стилизацией или воспроизведением какого-либо типа древнерусского почерка. Это — печатные буквы автора XX в., своеобразный ремизовский «полуустав». Заголовки и инициалы отличаются лишь большим размером букв,

выделение их графикой или цветом отсутствует. В архиве Ремизова имеется «наборная рукопись» книги «Круг счастья» (Собрание Резниковых, Париж), составленная из вырезок и оттисков ранних публикаций текстов, составивших новую художественную структуру. Вероятно, именно с нее Ремизов переписывал текст своего лицевого кодекса. Но этот процесс носил творческий характер. Иногда «на ходу», начав писать какое-то слово, Ремизов менял словесный образ. Отвергнутые буква, часть слова, фраза превращались из словесно-знакового в художественный элемент текста, преобразуясь в цветок, фигуру чудища и т. п. А после создания всего кодекса Ремизов подверг его редакторской правке, которая также имела последствием не просто исправление текста, но трансформацию исправленных или вычеркнутых слов и фраз в графические образы.

Ремизовские миниатюры, включенные в единую художественную структуру кодекса, во-первых, являются заставками и членят текст на законченные сюжетные мотивы. Но, как правило, ни одна из основных четырех повествовательных структур, составивших книгу, не открывается заставкой. Они разделяют эпизоды внутри каждой из этих древнерусских легенд.

Первое сюжетное звено книги — сказка «Царь Соломон» (Л. 4—5 об.)¹² — история о детстве героя, его подмене сыном кузнеца и чудесном возвращении в царскую семью. Первая миниатюра кодекса, включенная в текст столбца, следует за описанием брата царя Давида — слепца Аскленея. Это портрет персонажа, которому приданы черты Ремизова. Их введение превращает чисто иллюстрированное изображение в своеобразную авторскую реплику, актуализирующую древнюю легенду. Эпизод разоблачения любовника аскленеевой жены заканчивается фразой: «А друг тем временем слез с дерева и улепетнул жив, цел и невредим» (Л. 4). После этого следует миниатюра-концовка: изображение человека, находящегося в энергичном движении («улепетывающего»). Как видно из описания самых первых миниатюр кодекса, Ремизов усвоил и развил основной принцип построения средневековой лицевой рукописи — принцип органичной связи миниатюры с графикой и семантикой текста.

Эпизод детства Соломона у его приемного отца-кузнеца имеет в составе текста миниатюру, пояснявшую совет Соломона, как кузнецу отгадать загадку царя Давида: «А ты надень на себя невод, а на ноги лыжи и иди пятками к сеничному порогу, а носками к избному» (Л. 5). Миниатюра состоит из изображения двух фантастических существ, как бы материализации подсказанной

разгадки. Сюжетный эпизод с решением загадок кончается иллюстрацией к последней задаче (о том, как отелиться быку). Она представляет собой зооморфное лежащее существо — изображение одновременно и «рожающего» кузнеца, и «телящегося» быка. Миниатюры этой первой истории — лишенной драматизма сказки о детстве Соломона — характеризуются идиллической замкнутостью изображаемого в них мира. Он находится в иной, сверхреальной плоскости и в то же время соприкасается с реальностью. Это видно на примере заставки к эпизоду «судов» маленького царя Соломона. Она изображает пейзаж — очерченный край земли, над которой светит солнце и где играют двое зверюшек (мышей?), а за ними наблюдает человек, имеющий портретное сходство с Ремизовым. Внутри описания судов имеется миниатюра: изображение одной из «истиц» Соломона — старухи, жалуемой на ветер. Сказка кончается счастливым финалом и примирением всех героев: «Давид (так! — А. Г.) царь простил царицу; царскому кузнецу царскую кузню в вековечный дар отдал, а на царя Соломона свой царский венец надел: «Пусть царь Соломон судит и рядит все царство — все народы — всю русскую землю»» (Л. 5 об.). С умиротворяющей гармонией конца сказки семантически корреспондирует завершающая текст миниатюра. Ее пространство при помощи волнистой линии замкнуто в круг. Внутри него трава и в ней фигуры сидящих спиной друг к другу ребенка и зверька, читающего книгу. И композиция, и образность миниатюры подчинены идее гармонии, разлитой в воображаемом мире сказки.

Вторая составляющая текст книги легенда «Премудрый царь Соломон и красный царь Пор»¹³. Это история любовных приключений царя, повествование, состоящее из замкнутых сюжетных звеньев — цепи авантур, являющееся прообразом романа странствий. Она начинается с нового рассказа о детстве героя. Текст сопровождается иллюстративным изображением царя Соломона-младенца (Л. 6). Но далее в существующем параллельно словесному графическом рассказе Ремизова появляется новый тип миниатюры — маргинальной, являющейся, как и в древнерусских рукописях, своеобразной схолией, примечанием к тексту. Дядька Очкило предупреждает своего воспитанника Соломона: «Ты, царевич, на ночь о медведях не думай, они тебе и не будут сниться» (Л. 6 об.). Маргинальная иллюстрация изображает образ, относящийся не к «реальности» легендарного мира, а к его сверхреальности, — образ «снящегося медведя», заключенного в восходящие закругляющиеся вверх линии. Сюжет разворачивается

в драматическую историю о подмене юного царя Соломона, осуществленной Мурашем — любовником царицы-матери. «И велела ему царица обойти тайно Иерусалим — «и отыщи ей отрока, похожего на царя Соломона»» (Л. 6 об.). Текст сопровождается изображением быстро шагающего Мураша. Далее царица приказывает дядьке Очкиле убить ничего не подозревающего царевича. Словесное выражение текста оставляет психологический драматизм ситуации недоговоренным, но Ремизов «договаривает» его с помощью маргинальной миниатюры. Она состоит из голов двух человек, изображенных в разных пространственных плоскостях. Одна из них — голова Соломона — показана в фас. Другая — дядьки Очкило изображена в резком ракурсе, так что виден лишь затылок и клонящая голову шея. Обе головы разделены резко взметнувшимися слева направо линиями, образующими ось диагональной композиции. В этой миниатюре Ремизов совмещает прямую и обратную перспективу, чем достигает значительного драматического эффекта. Он как бы «материализует» страшные подробности готовящегося убийства, делая «читателя» очевидцем сказочных событий. Так он сопровождает описание предназначенного для убийства ножа его наглядным изображением. Соломон просит дядьку убить вместо него собачку Ритку. «Попрошлся царевич и пошел, куда глаза глядят» (Л. 7). Конец этого сюжетного эпизода — маргинальная миниатюра, являющаяся материализацией языковой метафоры. Иллюстрация представляет собой изображение двух потоков зрения, вытекающих из глаз, и человека, идущего по заданному ими направлению (Л. 7). Завершается рассказ об уходе Соломона из родного дома убийством собачки Ритки: «И готово — отлетела звериная невиноватая <было: без вины виноватая — А. Г.>, душа» (Л. 7 об.). Словесное сообщение наглядно «продублировано» иллюстрацией: обрисованной ломаной линией берег моря и фигурка сидящей собачки, подчеркнутая, а затем энергично перечеркнутая линией, преобразующейся затем в треугольник острым углом вниз. Эпилогом этого сюжетного эпизода является рассказ о царе Давиде, узнавшем после возвращения с охоты о превращении сына из умницы в полудиота. Он обрамлен двумя иллюстрациями — сценами охоты. Примечательна последняя из них — графическая концовка рассказа: изображение зайца, убегающего от устремленного за ним царя Давида и наблюдающих за погоней трех мышек. Наиболее интересно и значимо в этой иллюстрации — введение «очевидцев происходящего» в образе трех мышек. Они еще не раз встретятся в миниатюрах лицевого кодекса Ремизова. Эти мыши — не фан-

тастические зверьки из сказочного мира, а, как показывают документальные свидетельства, вполне «реальные» мыши, поселившиеся в 1948 г. в квартире на улице Буало. В письме к Кодрянской от 15 марта 1948 г. Ремизов сообщал: «А мышек больше нету. Все ушли. Одна — к Мириолу, кофейная — к Е. Унбегаун, а орешек — д(олжно) б(ыть) к Никитину¹⁴. Таким образом, исчезнувшие в марте мыши в сентябре вспоминаются Ремизову, как приходившие к нему гости из волшебного мира, возможно, не ушедшие потом к его соседям по дому, а вернувшиеся в пространство сказки. Тем самым, введением этих трех «очевидцев» легендарных событий, с которыми встречался и он сам, Ремизов вновь актуализирует древнее сказание.

Сюжетное звено легенды, повествующее о жизни Соломона в Египте, начинается с рассказа о разрешении им спора трех братьев и принятии в их семью. Иллюстрация показывает героя в короне с книгой в руке, окруженного как бы сиянием: это — изображение сущности его образа «мудрого царя». Таким образом при помощи графического рисунка Ремизов переводит мышление читателя с уровня поверхностного слежения за ходом сюжета на уровень концептуальный, заставляя его делать обобщения и выводы из сказанного словесно. Решение Соломона остаться пасти стада сопровождается изображением силуэтов двух движущихся быков. Известия о мудром отроке распространяются повсюду: «шла молва из Египта, докатилась до теплого моря до Божьего града Иерусалима» (Л. 8 об.). Под этими словами — маргинальная иллюстрация: фантастическое существо, как бы перекатывающееся по круглым облачным очертаниям — катящаяся молва. Ремизов вновь «материализует», делает понятным и представимым недосказанное словесно. Финал этого сюжетного эпизода — сообщение о разоблачении ложного царевича Соломона и самоубийстве злодея Мураша — заканчивается изображением фантастического существа с расставленными ногами. Его нельзя прямо соотнести ни с одним из героев повествования, но динамичное движение этой фигуры подчеркивает быстроту развертывающихся событий.

Рассказ о поисках отцом скрывающегося царя Соломона, судящего мудрые суды, сопровождается чисто иллюстративной миниатюрой. В центре ее между стенами «сплетень-города» находится фигура царя Соломона в световом круге (своеобразной мандорле), а под ним расположены лежащие фигуры «подсудимых» — быка и коровы. По характеру композиции и эмблематической символике изображений эта миниатюра — одна из наи-

более прямо следующих древнерусским традициям. Финал суда над животными («и пошли назад в поле быки и с ними Буй и Касатка» (Л. 9 об.)) сопровождается иллюстрация: три бычьи головы в профиль, движение передано энергичными, исходящими от углов горизонтальными прямыми линиями. Согласно развитию авантюрного сюжета, Соломон не возвращается домой, а отправляется в Индию к красному царю Пору. Последнее упоминание имени царя Соломона в тексте этого эпизода сопровождается введением внутрь текстовой строки схематичной фигурки движущегося человека (Л. 9 об.).

Эпизод приключений царя Соломона в Индии предварен заставкой, как бы предсказывающей таинственность последующих событий. Она изображает склон горы, над которой светит луна с человеческим лицом, слева от нее силуэт летучей мыши в профиль.

После индийских приключений и любовной интриги с женой царя Пора Соломон возвращается в Иерусалим под видом таинственного гостя из дальней страны: «Гость-заморянин из чудесной Индии с дорогими товарами» (Л. 9 об.). Миниатюра-схолия «поясняет» представление жителей Иерусалима о неведомом госте — это «портрет» фантастического крылатого существа с поднятыми руками. Концовка сюжетного эпизода об опознании царя Соломона делится на финал и эпилог. Ремизов отделяет один от другого орнаментальной фантастической веточкой. А счастливый эпилог этого этапа сюжета заканчивается изображением все тех же «абсолютно достоверных» очевидцев происходящего — трех мышек. То, что они нарисованы со спины, подчеркивает сосредоточенность их внимания на происходящем внутри пространства легенды. Раздел повествования о женитьбе Соломона на царевне Милене и ее последующем похищении не открывается какой-либо заставкой. Но после сообщения: «И стали они жить-и-быть в любви и мире» следует маргинальная миниатюра, иллюстрирующая состояние счастливого соединения мужчины и женщины: два коронованных змееподобных существа с головами, повернутыми в противоположные стороны, а контурами тел соединенные в круг, подобно китайскому символу инь и янь. На л. 10 Ремизов вновь посадил кляксу, которая была превращена в фантастическое существо с острым носом. История о похищении Милены с помощью жемчужных перчаток сопровождается иллюстративным изображением заманчивого предмета, прельстившего царицу. Далее рассказчик поясняет, почему в момент обольщения жены самого Соломона не было в Иерусалиме: «задумал царь строить Ве-

ликую Божию церковь — храм Соломонов и жил царь на Тивериадском море у мудрецов: учился небесным и подземным наукам» (Л. 10 об.). Эта текстовая фраза, повествующая о поиске сакральных знаний, включает в себя особые знаки, введенные перед словами «Тивериадском» и «небесным и подземным наукам»: в первом случае — кружок с семью лучами, во втором — схематичная фигурка человека с раскинутыми руками и ногами (аналогичная фигурка в тексте на л. 9 об.). Их присутствие показывает использование Ремизовым древнерусского принципа введения такого рода знаков. О их семантике Е. Ф. Карский писал: «Никакого отношения к строчным и надстрочным значкам не имеют особые значки-рисунки, употреблявшиеся в рукописях в конце периодов и статей, а иногда и в начале их, а также при указании особенно важных мест: (...) напр(имер), цветки, листки, звездочки, ручки. Все этого рода значки представляют зачаточный вид орнамента»¹⁵. Знание и употребление подобных знаков сочетается в кодексе Ремизова со стремлением максимально расширить при помощи графики повествовательное пространство. Рассказ об увозе царицы Милены слугой царя Пора кончается словами: «Гусюк дал ей забыдущего зелья» (Л. 11). Маргинальная иллюстрация к этим словам представляет собой переплетение абстрактных форм, передающих процесс перехода сознания царицы Милены в область бессознательного.

Оплакивание Соломоном будто бы умершей жены перемежается рефреном: «что рождено — помрет». Последнее повторение этих слов сливается с их графическим отображением в виде двух фантастических существ, обращенных в профиль друг к другу. Нос одного из них расчленяет фразу на две части, проводя грань между жизнью и смертью. Скорбь царя Соломона словесно выражена метафорой: «и, сорвав с головы царский венец, смял его, как ком глины» (Л. 11). Маргинальная миниатюра, следующая за этими словами, является графической материализацией метафоры: изображение головы антропоморфного существа, тело которого как бы размывается в диагонально направленную прямую. Завершается этот эпизод нейтральной орнаментальной концовкой в виде ветки с цветком.

Следующий сюжетно законченный эпизод легенды — история возвращения Соломоном своей жены. Схвативший Соломона царь Пор предоставляет герою выбор, каким способом умереть. «Сказал царь Соломон: „Дай мне красную смерть“» (Л. 12). Маргинальная иллюстрация истолковывает понятие «красной смерти» в виде следующего изображения: условно обозначенное

дерево и устремленное к нему фантастическое существо в профиль с двумя лапами, обращенными к дереву. Одна из лап подобна древесной ветке. Финал эпизода также разделен Ремизовым на развязку (избавление Соломона от смерти) и эпилог. Между собой они разграничены изображением разомкнутого, лежащего на диагонали треугольника, выходящего из разомкнутой же окружности. В самом конце текста легенды помещено орнаментальное изображение ветки.

Третья легенда, вошедшая в состав книги — «Тябень»¹⁶. История о полете царя Соломона на небо с помощью «тябня» — крылатого верблюда — предваряется несколькими интермедиями о проделках демонов, помогавших строить Соломонов храм. Над текстом легенды посажена клякса, превращенная в паучка (Л. 12 об.), а ее «отражение» на обороте листа преобразовано в фантастическую рожицу. Комическое описание демонских трудов не только по строительству, но и по приготовлению пищи сопровождается ропотом горожан: «Едим чертятину!» (Л. 13). После последнего слова в текст введен значок: точка с семью исходящими от нее лучами — графическое выделение значимости произносимого. Эпизод с китом, съевшим весь обед Соломона, иллюстрирован изображением жующего кита. Наверху л. 13 об. посажена клякса. Она превращена в фантастическое шагающее существо. Между его ногами вписан текст, повествующий о чертячьей потасовке, при этом ритмика фраз сочетается с динамикой рисунка шагающих ног.

Тексты бесовских интермедий сопровождаются чисто иллюстративными изображениями озера, в котором хотели топить чертей (Л. 14 об.), демона Костоглода (Л. 14 об.) и, наконец, убегающего бесенка Саккара (Л. 15). Вслед за интермедиями следует основной сюжетный эпизод — полет Соломона на тябне. Ремизов трактует его как попытку реализовать великую человеческую мечту, поэтому две иллюстрации сосредоточивают внимание читателя не на фактологии эпизода, а на его основной идее. Заставка и концовка эпизода тождественны — это изображение окрыленной головы царя Соломона. Между ними помещено лишь изображение крылатого верблюда (Л. 15 об.). Завершает текст орнамент в виде двух перекрещенных пальмовых ветвей.

Легенда «Соломон и Китоврас»¹⁷ завершает лицевой кодекс Ремизова. История о союзе человека и демона, перевоплощении демона в человека и утрате царем Соломоном былого величия привлекала внимание Ремизова еще с 1910-х годов¹⁸. В составе кодекса это — единственный текст с миниатюрами, зани-

мающими плоскость всего листа. Их введение свидетельствует о его особой значимости в составе книги. Основные персонажи миниатюр — три героя легенды: царь Соломон, строитель Храма Хирам и демон — кентавр Китоврас. Наибольший интерес у Ремизова-художника вызывает графическое решение образа таинственного Китовраса. Его первое изображение — маргинальная миниатюра, «поясняющая» сообщение об отправке слуг Соломона на поиски Китовраса, знающего, как найти волшебный камень Шамир для постройки Храма. Это изображение (Л. 16) можно назвать абстрактно-информационным. По сути, оно является лишь абрисом, силуэтом некоего существа с раскрытыми крыльями. На л. 18 все пространство занимает миниатюра, являющаяся как бы постскриптумом к предыдущей легенде. Это изображение соприкасающихся голов Соломона и тябня. Под рисунком подпись: «Тябень» и глаголический значок-анagramма Ремизова. Включение этой миниатюры в словесно-графическое пространство последующей легенды подчеркивает основную художественную идею книги, которая от легенды к легенде приобретает все более глубокий философский смысл — идею о безграничности человеческой жажды познания, осуществляя которую, человек переступает даже через свою жизнь. Эпизод ловли Китовраса построен на устройстве ловушки, при помощи которой, напившись вина, демон лишается сознания. Именно этот момент перехода в бессознательное является темой маргинальной миниатюры, сопровождающей текст. «Не Китоврас, маленькая птичка, цепкие лапки, и наперекор всякой самоочевидности он, Китоврас, в ней — с нею стремится к „невозможному“. Но китоврасьи крылья окаменевают, с копыт отвалились птичьи лапки, и в глаза ему сонный сыплот песок. И он камнем канул в такую деберь, ничего не поймешь, да и незачем» (Л. 17). Маргинальная миниатюра изображает Китовраса, лежащего с закрытыми глазами, и напротив него маленькую птичку. Тело Китовраса при помощи графических линий перетекает в обращенное к нему в профиль тело птички. Между ними нарисован силуэт камня, от которого исходят лучи.

Следующий эпизод легенды — путь пленного Китовраса по иерусалимскому базару — череда его встреч со вдовой, покупателем сапог, предсказателем, молодоженами и гулякой. Каждое соприкосновение демона с новым персонажем графически выделено орнаментальной цветочной гирляндой. Таким образом, и тематически, и визуально текст членится на отрезки, как бы воспроизводящие ритм движения Китовраса. Графическая за-

ставка предваряет эпизод пребывания Китовраса во дворце. Семантическое ядро этого сюжетного звена — тщетные усилия людей понять странные повадки демона. Заставка представляет собой изображение трех горожан, обсуждающих, собравшись в кружок, поведение Китовраса. Финал эпизода: «С полуопущенными крыльями, подогнув ноги, окаменев загадочно смотрел Китоврас» (Л. 18). Далее маргинальная иллюстрация снова «пытается» объяснить читателю кодекс, что же такое Китоврас — вновь дается его изображение с подогнутыми ногами и крыльями, более детализированное, чем первое.

Рассказ об участии демонов в строительстве Соломонова храма иллюстрирован головами демонов, вплетенными в закругляющиеся соприкасающиеся линии, которые формируются в фантастические контуры завихряющихся тел (Л. 18). Повествование о пребывании Китовраса среди людей сопровождается вновь появившейся фигуркой сидящей спиной к читателю мышки — одной из тех же «очевидец» фантастических событий.

Один из центральных эпизодов легенды — свидание Соломона и Китовраса — сопровождается изображением древнееврейской буквы «тау», заключенной в круг. Эта буква, согласно кабалистическому толкованию ее значения, давала человеку власть над демонской силой. После этого весь л. 19 занимает миниатюра — третье изображение Китовраса, сидящего с опущенными глазами и подогнутыми ногами. Под рисунком подпись: «Китоврас» и авторская глаголическая анаграмма. По мере того, как образ Китовраса приближается к читателю по ходу повествования, он проясняется и в своем графическом воплощении, трансформируясь от схематичного начального силуэта до «портрета», занимающего целый лист рукописи. Следующий лист отведен другой миниатюре, представляющей двух других главных героев — царя Соломона и Хирама. Слева — поясное изображение Хирама с яйцевидной головой и телом, составленным из треугольников. Справа царь Соломон, с улыбающимся лицом и туловищем, в которое вплетена полуокружность и два незавершенных внизу, вытянутых по вертикали, прямоугольника. Две эти фигуры разделены солнцем с лучами и человеческими чертами «лица», расчлененного посередине на две не соприкасающиеся половины. За спиной царя Соломона три улетающие птицы, нарисованные как детские «птички». В этой миниатюре наиболее сконцентрировано представлена эмблематическая символика легенды, ее генетическая связь с мистическими масонскими толкованиями строительства Соломонова храма и образа его создателя Хирама. В ее

графическом решении продуманная абстрактная символика форм сочетается с нарочитой авангардистской «детскостью» рисунка.

Художественной особенностью повествования в «Соломоне и Китоврасе» является введение голоса Хора, комментирующего действие и, в то же время, проясняющего его сокровенный смысл. В кодексе Ремизова речи Хора выделены графически. Перед словами Хора введена заставка, являющаяся его «портретом». Это — изображение лица некоего существа, голова которого очерчена ломаной линией, одновременно создающей впечатление поднятых рук. Речь Хора о роли Рока в судьбах героев заканчивается словами: «Кто это скажет, откуда явился, и куда суждено предстать? Мне. Китоврасу. И Птичке» (Л. 20). Под текстом маргинальная иллюстрация: соединенные в круг птица, Китоврас и человек.

Трагикомический эпизод ловли птицы, знающей как добыть камень Шамир, завершается иллюстративным изображением раздетого слуги Соломона, наиболее пострадавшего при ловле (Л. 20 об.).

Далее основная концептуальная идея легенды о безграничности и неутолимости жажды познания снова возникает в речи Хора. Последняя предваряется его «портретом» в виде фантастического существа в извивах линий. В процессе переписки речи Хора из печатного источника Ремизов подверг ее значительной авторской переработке. Именно в момент создания кодекса произошло формирование основного текста легенды. Приведем полностью речь Хора, указав в квадратных скобках первоначальный вариант:

Я вышел на твердую землю
 [И захлопнулась дверь.]
 За [мною] спиной захлопнулась дверь.
 [И куда ведут дороги — —]
 Стена — куда б не повела дорога, —
 И снова замкнутая дверь.
 Стою на твердой земле —
 Моя воля! моя мечта!
 [На свой страх свободно творю.]
 Свободно на свой страх творю
 Я, Хирам, Соломон (Л. 21).

В Хоре соединяются голоса двух героев — деятеля и экспериментатора Соломона и рефлектирующего созерцателя Хирама. Маргинальная миниатюра, расположенная в тексте после речи Хора, вновь, через графические образы, раскрывает главную

идею легенды. По своей архитектонике ее композиция наиболее близка древнерусским образцам. Посередине находится запертая дверь, слева и справа от нее в традиционных для иконописи полусклоненных позах стоят два одинаковых человека в коронах. Подобное композиционное решение является вольной ремизовской вариацией на тему принципов построения русского иконостаса, в центре которого расположены царские врата. Уподобление двери к познанию «царским вратам» храма придаст миниатюре скрытый полемический смысл. В своей жажде постичь тайны мироздания герои, и прежде всего царь Соломон, в своей гордыне уподобляют себя Вседержителю. А подобная «гордыня» является в художественной системе легенды (и это воспринято Ремизовым из древнерусской литературы) предвестием ожидающего героя краха. Китоврас хитростью превращается в царя Соломона и занимает его престол. Таким образом, человеку не удается разгадать всех тайн демона, что подтверждается последним «портретом» Китовраса, изображенного в профиль (Л. 21 об.). Эпилог легенды — пробуждение царя Соломона «на краю земли» и осознание им тщеты человеческих усилий стать выше божественной и демонской воли. Философский смысл финала легенды усилен аналитической концовкой — маргинальной миниатюрой. Ее композиционным стержнем является буква «тау», над которой расположена увенчанная короной голова Китовраса в образе царя Соломона, но с демонскими крыльями. Над его головой — раскрытый книзу полукруг. Вся композиция заключена в пространство между двух звезд. Это — графическая материализация владеющей мирозданьем демонической силы, поддающейся магическим заклинаниям, но так и не побежденной ими.

Под текстом заключающей книгу легенды стоит дата: «3.IX.1948» и глаголический знак-анаграмма Ремизова. Далее следуют авторские примечания — «Объяснения» (Л. 22) и заключающая их последняя миниатюра: изображение Китовраса с раскрытыми крыльями, а под ней тот же глаголический знак и дата: «4.IX.1948». В центре л. 22 об. расположена написанная скорописью XVII в. писцовая приписка: «Возрадовался заец, выбився из тенёта, воли своей; тако ся возрадовал книгописец Алексей, написав эту книгу о царе Соломоне». Это — ремизовский парфраз известной, неоднократно цитируемой в книгах по палеографии приписки из Пролога XVI в.: «Рад бысть заецъ изринувшиися отъ тенета, а рыба отъ сети, а птица отъ клепча, а должникъ отъ резоимца, а холоп отъ государя, такъ радъ бысть писецъ достиг-

ши в книзѣ — остаточного слова прелога сего и послѣднии строки видечи якъ святого воскресения»¹⁹. Ремизовская приписка — единственная часть кодекса, написанная точно воспроизведенным древнерусским почерком. Только в этом месте Ремизов надевает на себя маску «книгописца Алексея». Последний 23 лист содержит оглавление книги. У его правого края посажена клякса, превращенная в фигуру человека, держащего над головой зажженную свечу. Часть этой кляксы, просочившаяся на л. 23 об., обрисована как волосы того же человека, «загнувшиеся» за край листа. И последняя клякса в верхнем правом углу того же листа трансформирована в солнце с исходящими от него лучами.

Итак, описание и анализ лицевого кодекса Ремизова «Круг счастья. Книга о царе Соломоне» показали, что эта рукопись является органичным продолжением древнерусской эстетической концепции книжного строения. «Иллюстрировал ли древнерусский художник кодекс изображениями на полях или на отдельных листах, — отмечала В. Д. Лихачева, — он всегда представлял свою рукопись как единое произведение. Все художественные средства: миниатюры, заставки, инициалы, расположение текста на листе, наконец, само письмо — были подчинены одной цели. (...) Надо было сделать текст не только близким и понятным читателю, но и донести до него значительность содержания. (...) Стилистические особенности миниатюр, заставок, инициалов, почерка менялись с течением веков. Неизменным оставалось представление о кодексе как едином целом»²⁰.

Создание единой художественной структуры книги «Круг счастья» происходит, и это характерно для творческого метода Ремизова, путем синтеза художественных структур произведений, часть из которых (а в данном случае все) имели автономную творческую историю, включающую и публикации. Тем не менее, из отдельных текстов писатель создает новый единый текст, состоящий из сцепления сюжетных мотивов (каковыми выступают ранее разъединенные сюжетно-композиционные единства) и имеющий новую идейную концепцию. При этом создание единой книги осуществляется методом комбинирования словесного и графического творчества. В книге 1949 г. «Пляшущий демон» Ремизов так обосновал свое понимание взаимодополняемости двух видов искусства: «Слово вдохновит музыканта, но читать под музыку не выйдет. То же с живописью. Картина вызовет слово, но живописать слово — пустое дело. Графика — но потому что мысли и выражающие их слова линейны, одной природы»²¹. Миниатюры и орнаментальные концов-

ки членят текст на законченные сюжетные мотивы как внутри основного сюжета книги, так внутри микросюжетов, на которые распадаются составляющие книгу произведения. Художественные функции, выполняемые графическими элементами текста, разнообразны. Во-первых, миниатюры являются предметными или портретными иллюстрациями. Например, изображение ножа, перчаток, слепого Аскленея и т. п. Во-вторых, в кодексе Ремизова значительное место занимают разного рода маргинальные миниатюры. Миниатюры-схолии «материализуют» употребленные словесные метафоры («пошел, куда глаза глядят» и т. п.). Они же графически развертывают недосказанное или невыразимое словом. Это относится, прежде всего, к раскрытию абстрактных или неясных читателю понятий («красная смерть», «забыдущее зелье» и т. п.). Смена эстетического языка повествования служит цели перехода на другой уровень истолкования текста: от примитивно-событийного к притчевому, аллегорическому.

По мере развертывания единого сюжета происходит возрастание роли миниатюры в художественном пространстве книги: от небольшого графического включения в рукописную страницу до заполнения собой целого листа. Этот процесс происходит параллельно с усилением идейно-философской наполненности текста, развивающегося от простодушной однозначности сказки «Царь Соломон» до мистических иносказаний легенды «Соломон и Китоврас». Чем больше возрастает идейная многомерность текста, тем более она выражается не словесно, а «сверхсловесно», посредством графических образов, также трансформирующихся от бытового жизнеподобия к абстракции геометрических фигур и линий. В этом движении слова к «сверхсловесному» смыслу есть ремизовское следование воспринятой еще в начале XX в. излюбленной символистами платоновской мысли о слове, как отблеске идеи.

Для актуализации значимых, словесно выраженных понятий Ремизов вводит, дополнительно с миниатюрами, особые значки-рисунки. Это заимствование из практики средневековых писцов усиливает эзотерическую наполненность текста. Но Ремизов не был бы Ремизовым, если бы не включал в словесную и в графическую ипостаси текста элементы модернистской игры. Претворение в рисунки описок, ошибок, результатов правки текста и, наконец, клякс есть проявление и авторской игры с заведомо внеэстетическим материалом, и следование традиции функционального эстетизма древнерусского иллюстратора рукописи, превращавшего инициалы в художественный образ или целую сценку.

Наконец, именно посредством графики Ремизов вводит в текст подлинных «очевидцев» легендарных событий, придавая второстепенным персонажам сходство с самим собой или используя «образный рефрен» в виде заинтересованных происходящим мышат с улицы Буало. Подобным способом он актуализирует текст, претворяя сказку или легенду в вечно повторяющийся миф. Гносеологические и онтологические проблемы, затрагиваемые в «Круге счастья», крайне важны для последнего периода ремизовского творчества. Не случайно, именно эту рукопись он избрал для издания к своему 80-летию (см.: А. Ремизов. Круг счастья. Paris: Оплешник, 1957). Она же стала последней, изданной при жизни, книгой Ремизова.

Таким образом, лицевой кодекс 1948 г. является характерным образцом синтетического словесно-графического творчества Ремизова конца 40-х — 50-х годов. В эти годы происходит изменение художественных приемов писателя, перешедшего от употребления тонкого пера к старому, подобному кисти, «стило». Также совершается переход от параллельного создания слова и рисунка к первоначальному созданию пластических образов, лишь потом трансформирующихся в героев словесного повествования. Причины совершающихся перемен заключены не только в постепенной утрате зрения, но и в эволюции эстетических воззрений Ремизова. Их познание станет возможным после анализа максимального количества иллюстрированных альбомов этих лет, что должно стать предметом дальнейших научных исследований.

Примечания

¹ Images of Aleksei Remizov: Essay and catalogue of the exhibition by Greta N. Slobin. Amherst. 1985; Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки / Отв. ред. и авт. вступ. ст. А. М. Грачева. СПб., 1992.

² См., например: Маркадэ И. Ремизовские письма // Aleksei Remizov. Approaches to a Protean Writer / Ed. by Greta N. Slobin. Columbus, 1987. P. 121—134; Завалишин Вяч. Орнаментализм в литературе и искусстве и орнаментальные мотивы в живописи и графике Алексея Ремизова // Там же. P. 135—139; Гурьянова Н. Ремизов и «будетляне» // Алексей Ремизов: Исследования и материалы / Отв. ред. А. М. Грачева. СПб., 1994. С. 142—150; Молок Ю. По ту сторону умения и неумения: (о графических текстах Алексея Ремизова) // Там же. С. 151—156.

³ В квадратных скобках приводится первоначальный вариант.

⁴ Ремизов А. Записи в альбом С. П. Ремизовой-Довгелло. (1920-е гг.) (Собрание Резниковых. Париж).

⁵ Например: Ремизов А. Стихотворный цикл «Полунощное солнце» (РГБ. Ф. 386. 100. 16. Л. 16—29).

⁶ См.: Альбом рисунков и автоиллюстраций А. Ремизова «Война». 1914—1916 (ГЛМ. № 5935 А. 5593/1).

⁷ Ремизов А. Квас глоткотык: Сказка. 1920 (РО ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 13—24); Ремизов А. Ложечка-солозобочка: Сказка. 1920 (РО ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 22. 10 лл.).

⁸ Например: Ремизов А. «Берлин 1921—22—23». Тетрадь рисунков. Портреты А. А. Ахматовой, Н. Н. Зарецкого и др. Автоиллюстрации к кн. «Сказки русского народа», «Снежок» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 20).

⁹ Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, (1959). С. 111.

¹⁰ Ремизов А. Именинный графический полупряник Тырло. 550 снов. 22.XII.1933 — 8.IX.1937. 26 альбомов рисунков в общей обложке (РО ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 46).

¹¹ Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 208.

¹² Первая публ.: альм. «Велес». Пг.: Велес, 1912—1913.

¹³ Первая публ.: «Трава-мурава». Берлин: изд. С. Ефрон, (1922).

¹⁴ Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 205.

¹⁵ Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. С. 233.

¹⁶ Первая публ.: «Воля России» (Прага). 1927. № 8/9.

¹⁷ Первая публ.: «Последние новости» (Париж). 1931. № 3679. 19 апр.

¹⁸ См.: Грачева А. М. К истории невоплощенного драматургического замысла А. Ремизова и А. Блока («Соломон и Китоврас») // Александр Блок. Материалы и исследования: Вып. 3. СПб., 1998. С. 138—178.

¹⁹ Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. С. 280.

²⁰ Лихачева В. Д. Особенности оформления древнерусских рукописей // Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971. С. 42.

²¹ Ремизов А. Пляшущий демон // Ремизов А. Огонь вещей / Сост. В. А. Чалмаев. М., 1989. С. 233.

КУЛЬТУРА РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

*Д. Э. Левин
С.-Петербург*

Памятные книжки губерний и областей Российской империи в системе культуры. Опыт исследования

Предлагаемая публикация посвящена проблематике сборников справочных сведений и научных статей о губерниях и областях Российской империи, издававшихся в 1840-х гг. — начале XX в. органами местного управления Российской империи и известных современникам под собирательным названием «губернские памятные книжки».

Словосочетание «памятная книжка» в прошлом столетии употреблялось в двух значениях. Применительно к рукописи оно означало книгу для записей делового характера (часто — в форме дневника), применительно к печатной книге — справочник, содержащий систематически организованную информацию¹. Наибольшей известностью из подобных произведений печати во время становления традиции изданий губернских памятных книжек (далее — ПК) пользовалась «Памятная книжка на... год», ежегодно издававшаяся в типографии военного министерства и постоянно рекламировавшаяся в повременной печати обеих столиц и провинции.

ПК издавались многими ведомствами, общественными организациями, а также частными лицами, однако предметной областью настоящей публикации являются исключительно издания местных органов управления, входивших в структуру МВД. Инициатива подобных изданий исходила от первых лиц губернской (областной) администрации, исполнителями же обычно были секретари губернских и областных статистических комитетов (далее — ГСК)², либо редакторы «Губернских ведомостей» (далее — ГВ).

В отличие от ГВ, носивших однотипные названия по всей Российской империи, заглавия ПК допускали варианты, из которых наиболее типичны: «Памятная книжка... губернии на... год»³, Календарь и памятная книжка... губернии на... год»,

«Памятная книжка и адрес-календарь на... год», «Справочная книжка [или книга]... губернии на... год». Вариативность заглавий связана с отсутствием в период становления типа издания (1840-е — 50-е гг.) общегосударственных норм, регламентирующих содержание ПК. Согласно рекомендациям в «Положении о преобразовании ГСК» и связанным с ним документам 1859—61 гг., обобщившим предыдущий опыт издательской деятельности местных органов управления⁴, ПК включала адрес-календарь (то есть список служащих), справочный раздел (обычно озаглавленный «справочные сведения»), статистические сведения (включая таблицы) и статьи по истории, статистике, этнографии, фольклористике, географии и другим наукам, содержащие информацию о губернии. Типичная структура ПК придает этим изданиям характер источника, крайне интересного и перспективного для исторической критики. Вместе с тем содержание конкретных изданий ПК, даже в пределах одной губернии, отличалось от министерских рекомендаций ввиду отсутствия некоторых из перечисленных компонентов⁵.

Облик ПК определялся не столько общегосударственным законодательством (как это имело место при издании ГВ), сколько сложным сочетанием объективных и субъективных факторов как местного, так и общегосударственного значения.

Объективные предпосылки возникновения типа издания возникли в царствование Николая I. В 1830-е гг. по всей России появилась издательская база органов местного управления в виде подконтрольных местным администрациям губернских типографий, в которых напечатано большинство известных ПК. В это же время возникли учреждения, кумулировавшие типичную для ПК информацию: ГСК (1835) и редакции ГВ (1838).

При оценке роли субъективных факторов в издании ПК мы исходим из того обстоятельства, что большинство известных составителей и редакторов ПК были секретарями ГСК и редакторами ГВ, то есть должностными лицами, назначаемыми и смещаемыми губернатором. Российское законодательство не ограничивало свободу выбора губернатором составителя ПК, таким образом, особенности личности начальника губернии, в конечном счете, определяли как облик, так и сам факт издания (или неиздания) ПК.

Говоря о материальных предпосылках этого издания, следует иметь в виду, что ПК издавались не с целью извлечения коммерческой прибыли, а прежде всего для удовлетворения информационных потребностей местной администрации (иногда также с благотворительными целями). Закон давал право печатать ПК в

губернских типографиях на льготных условиях. В тех случаях, когда администрация была заинтересована в превращении ПК в ежегодник, для обеспечения рентабельности издания часть тиража пускалась в свободную продажу.

В целях обеспечения устойчивости спроса на ПК (как внутри губернии, так и, в отдельных случаях, за ее пределами) и гарантии достоверности содержащейся в них информации администрация была заинтересована в сотрудничестве с отдельными представителями интеллигенции, по преимуществу из местных жителей. Среди известных деятелей науки и культуры, сотрудничавших в разное время в ПК, отметим историка права проф. П. В. Кукольника (Виленская губерния), классика польской и белорусской литературы Л. А. Кондратовича (Сырокомлю, Виленская губерния), русского и украинского писателя Д. Л. Мордовцева (Саратовская губерния), астронома М. М. Гусева (Виленская губерния), педагога и историка Е. В. Барсова (Олонецкая губерния), педагога Н. Ф. Бунакова (Вологодская губерния), археолога А. А. Спицына (Вятская губерния) и др. Большинство известных авторов ПК были членами ГСК по выбору⁶. В отдельных случаях к участию в изданиях ПК привлекались политические ссыльные: Н. И. Костомаров (Саратовская губерния), П. П. Рыбников (Олонецкая губерния), П. С. Ефименко (Архангельская губерния), Э. К. Пекарский (Якутская область) и другие. В губернских ПК приходилось печататься и столичным ученым: сотруднику Московского архива МИД И. Ф. Токмакову (Новгородская, Смоленская, Вятская губернии), петербуржцам — этнографу Д. К. Зеленину (Вятская, Воронежская, Архангельская губерния), филологу Э. А. Вольтеру (Ковенская губерния). В этой связи отметим, что российское законодательство не предусматривало авторского гонорара за сотрудничество в ПК. Размеры единовременных выплат, эпизодически назначавшихся издателем отдельным сотрудникам ПК, были связаны не столько с объемом и качеством выполненной ими работы, сколько с их материальным положением⁷.

Изучение истории издания губернских ПК затрудняется плохой сохранностью, географической рассредоточенностью и малой известностью документов. Из неопубликованных источников отметим переписку местной администрации с руководством МВД (РГИА) и Управления Публичной библиотеки с издателями ПК (архив РНБ). Особую ценность представляют публикации об издании ПК в местной печати. (прежде всего в ГВ), из которых наиболее информативны рекламные объявления⁸, протоколы заседаний и отчеты ГСК, некрологи сотрудников ПК. Объективное

представление о месте ПК в издательской деятельности Российской империи дает достаточно солидный корпус рецензий на эти издания в столичной печати⁹. Имена авторов ряда публикаций в ПК нам удалось установить по библиографическим и историческим трудам наших предшественников, опубликованным в середине XIX—XX вв.

На основании известных нам источников мы пришли к заключению, что история издания губернских ПК делится на два периода:

1) период генезиса (1840-е — 1850-е гг.);

2) период функционирования сложившегося типа издания (1860-е—1917/18 гг.).

Хронологический рубеж между периодами мы связываем как с публикацией первых общероссийских нормативных актов, регламентирующих (в форме рекомендации) модель ПК (1859—61), так и с реформой ГСК, которым в начале 1860-х гг. местной администрацией многих губерний поручалось составление ПК как сборников справочных сведений и трудов ГСК. Конец второго периода связан с повсеместным прекращением издания ПК, которое находит объяснение в ликвидации местных органов управления Российской империи, прекращении издания ГВ, реорганизации ГСК и общем ужесточении издательской политики Советского государства.

Наиболее распространенным вариантом губернских ПК 1840-х гг. были адрес-календари, которые в отдельных случаях носили издательское название «Список чинам... губернии на 184... год»¹⁰. О целевом назначении этого наиболее раннего варианта ПК дает представление первая часть устойчивого термина: это адресная книга для деловой переписки, содержащая информацию, необходимую и достаточную для корректного обращения к адресату по нормам, принятым в прошлом веке (фамилия, имя, отчество, точное название должности, классный чин, сведения о сословии дворян, не имеющих чина, о наградах и т. д.)¹¹. Адрес-календари были организованы по ведомственному принципу и отражали иерархию губернских, уездных и городских учреждений (гражданских, военных и духовных). Помимо чиновников, в адрес-календари включались также сведения о священно- и церковнослужителях, лицах, занимающих должности по выбору¹², а также о служащих, чье положение не давало права на классный чин (редакторах неофициальной части ГВ, губернских механиках и других). Типологическое сходство адрес-календарей, изданных в разных губерниях мы объясняем демонстрационным эффектом

образца для подражания — ежегодника «Адрес-календарь Российской империи», однако заметим, что сведения в этом общероссийском ежегоднике значительно уступают губернским адрес-календарям по полноте, точности и оперативности, что и обусловило возникновение его губернских аналогов.

Адрес-календари включали информацию, полученную из присутственных мест в ответ на официальные запросы губернской администрации¹³, то есть первоисточником были формулярные списки. Известны случаи рассылки составителем предыдущих изданий адрес-календарей с целью сбора дополнений и исправлений для нового издания¹⁴. Оптимальная периодичность этого издания как ежегодника зафиксирована во второй части словосочетания «Адрес-календарь». Вместе с тем, в ряде губернских адрес-календарей издавались с иной ритмичностью (через год-два), что позволяло отразить современный состав дворянских депутатов и городских выборных, переизбиравшихся раз в трехлетие. Более оперативную (хотя и менее полную) информацию о кадровых изменениях можно было получить в разделе «Движение по службе», печатавшемся, по закону, в ГВ всех губерний и областей Российской империи.

Судя по лакунам ряда изданий адрес-календарей в документации Публичной библиотеки и библиотеки МВД прошлого века¹⁵, некоторые начальники губернии считали эти книги, публикуемые как источник информации в целях администрации, не подлежащими закону об обязательном экземпляре в связи с отсутствием к ним интереса за пределами губернии¹⁶.

Продажная цена на адрес-календари чаще всего не обозначалась. Судя по рекламным объявлениям, она колебалась от 30 коп. до рубля серебром, что значительно дешевле варианта ПК, узаконенного гр. С. С. Ланским. Сообщения о тиражах дореформенных изданий адрес-календарей нам в печати не встречались, однако, судя по объявлениям, эти издания предназначались исключительно для читателей ГВ. Тиражи провинциальных официальных газет составляли тогда несколько сот экземпляров, что приблизительно соответствует тиражу «Справочной книжки Архангельской губернии на 1850 год» (300 экз.), включавшей также адрес-календарь¹⁷.

Способы распространения адрес-календарей законом не регламентировались и зависели от усмотрения администрации. Они продавались в губернских присутственных местах, в губернских типографиях, редакциях губернских ведомостей, в ГСК, иногда — в немногочисленных тогда в губернских городах книжных мага-

зинах. В тех местах, где не было специализированной книжной торговли, адрес-календари передавались на комиссию купцам, торгующим широким ассортиментом товаров. Специфическим для адрес-календарей (а впоследствии — для полных вариантов ПК) способом распространения была торговля в городских и уездных полицейских управлениях. Этот способ вписывался в систему распространения ведомственных изданий в русской провинции («Новороссийский календарь», издававшийся Ришельевским лицеем, распространялся через гимназии и уездные училища¹⁸, «Почтовый дорожник»¹⁹ — в почтовых конторах и на станциях, издания военного ведомства — через инвалидные команды²⁰ и т. д. Эффективность книжной торговли ПК через полицию видна на примере Ковенской губернии, где при немногочисленности читателей, свободно владевших русским языком, ПК издавались почти ежегодно с 1845 г. до немецкой оккупации 1915 г.

Пользуемся случаем продемонстрировать уважение к личности анонимного составителя ковенских ПК 1840-х — 1850-х гг., историка и этнографа, редактора ГВ А. Ф. Михневича посредством перепечатки объявления «Об издании Адрес-календаря на 1846 год» (Ковенские ГВ. 1845. № 48. 4 дек. С. 150—151). «Редакция Ковенских губернских ведомостей объявляет, что по воле высшего начальства, предположена к изданию на 1846-й год Памятная книжка (Адрес-календарь) чинам Ковенской губернии, которая уже и поступила в печать с 1-го числа месяца ноября, и издание коей окончено будет всенепременно к 1-му января будущего года. — Книжка эта заключает в себе 4 отделения, а именно: Отд. 1-е. Список чинам гражданского ведомства. 2-е. Список лиц духовного ведомства. 3-е. Список чинам военного ведомства. — Статистические и другие сведения. Цена изданию на лучшей белой бумаге 1 р. 50 коп. с пересылкой. Присутственные места и должностные лица обязываются благоверменно распорядиться уплатою денег за эту книжку, с присылкою требований своих. — Частная же на сие издание подписка желающих принимается в редакции Ковенских губернских ведомостей и у всех земских исправников и городничих». Необычное для ГВ упоминание об обязанностях должностных лиц мы связываем с неопытностью редактора, так как в объявлении об издании Адрес-календаря на 1847 г. (Там же. 1846. Ч. неофиц. № 113. 26 окт. С. 126; № 45. 9 нояб. С. 129—130; № 46. 16 нояб. С. 134) формулировка была изменена: «благоволят распорядиться своевременной уплатой денег за эту книгу с присылкою требований своих в губернское правление по 1-му столу». К

числу распространителей этого издания прибавились полицеймейстеры.

Помимо ПК, чины полиции занимались также распространением ГВ (см. например, объявления: «Об издании Курских губернских ведомостей». 1854 г. // Курские ГВ. 1853. № 53. 24 окт. С. 423.; «Об издании Минских губернских ведомостей в 1852 г. // Минские ГВ. 1852. Ч. неофиц. № 45. 9 нояб. С. 322—323). Подписка через полицию не гарантировала обязательности доставки (См.: От редакции // Оренбургские ГВ. 1848. Ч. неофиц. № 15. 10 апр. С. 93).

Примерно так же распространялся и «Список чинам всех ведомств Олонецкой губернии. 1-го янв. 1872 г.»: он продавался в губернском городе — у секретаря губернского правления, а в уездах — у исправников и станowych приставов (Олонецкие ГВ. 1872. № 13. 16 февр. Ч. офиц. С. 149). Вместе с тем его аналоги («Адрес-календарь Тульской губернии на 1848 год», «Списки чиновников Черниговской губернии на 1853 год»), судя по объявлениям в газетах (Тульские ГВ. 1848. Ч. неофиц. № 14. 3 апр. С. 47, 15/16, 10 апр. С. 53; Черниговские ГВ. 1853. Ч. неофиц. № 22. 30 мая. С. 197; № 23. 5 июня. С. 205; № 24. 12 июня. С. 275), продавались только в редакциях этих газет (соответственно, по 50 и 75 коп.), без какого-либо участия полиции.

В царствование Николая I, ввиду отсутствия понятия адрес-календарей в юридических нормах, торговля ими через полицию находилась на грани законности и не получила широкого распространения, однако в связи с легитимизацией этого типа издания и включением в состав ГСК руководителей полицейских учреждений на уровне города и уезда, реализация ПК через полицейские учреждения была узаконена и получила широкое (хотя и не повсеместное) распространение²¹.

Начиная с 1850-х гг., когда появились четырехкомпонентные ПК (узаконенные на рубеже 1850-х—60-х гг.), адрес-календари, в зависимости от усмотрения местной администрации, издавались как в виде отдельных книг, так и в составе ПК, став их важнейшей составной частью²².

За пределами издающей губернии адрес-календари, как правило, не продавались. В качестве исключения отметим продажу в Петербурге «Адрес-календаря (...) Ярославской губернии на 1858 год»²³. Книготорговец А. Смирдин (младший) мог, в этом случае, рассчитывать на коммерческий успех, так как помимо обычных сведений, в книге были указаны должностные оклады (единообразные во всех внутренних губерниях), от которых за-

висел размер оплаты не предусмотренных законом действий чиновников, вполне обычных для дореформенного коррумпированного государственного аппарата. Эта особенность издания, так же, как продажная цена (50 коп., с пересылкой — 75) и адрес магазина (Невский пр., дом Гамбса) отражены в издававшемся фирмой «Русском библиографическом листке» (1838. № 10. 30 мая. С. 1).

Мы не располагаем информацией о мере популярности подобных изданий 1840-х—1850-х гг., так как издатели того времени не были обязаны публичной отчетностью. Судя по отчетности ГСК 1860-х гг. и последующих десятилетий, они явно не входили в число бестселлеров: «Адрес-календарь С.-Петербургской губернии на 1863 г.», изданный как первая часть губернской ПК тиражом в 400 экземпляров и продававшийся отдельно от второй (статистической) части как в Санкт-Петербургском столичном и губернском статистическом комитете (СГСК), так и у комиссионеров-книготорговцев (без участия полиции) в течение пяти лет был распродан только наполовину. По-видимому, этот справочник не был настольной книгой десятков тысяч столичных читателей. Примерно такая же ситуация сложилась и в провинции, где распространение книг осложнялась массовой неграмотностью населения. Гораздо больший интерес для читателей представляли издаваемые ГСК книги научного содержания, подобные сборнику былин, собранных составителем ПК Олонецкой губернии П. Н. Рыбниковым²⁴, или исследованию его псковского коллеги 1860-х—70-х годов И. И. Василева «Лен и Псковская губерния», а также выпускавшиеся некоторыми ГСК книги для народного чтения («Черниговский календарь», брошюра о Ломоносове, выпущенная Архангельским ГСК к юбилею 1865 г.²⁵, и т. д.)

Об определяющей роли администрации в деле издания адрес-календарей свидетельствует следующий эпизод истории СГСК. В 1865 г. ввиду ограниченности средств на издательскую деятельность было сорвано издание «Списка земельных владений Санкт-Петербургской губернии», задуманного как вторая часть ПК губернии на 1865 г. (часть первая вышла только в составе адрес-календаря) и объявленного в ГВ (1865. № 48. Ч. неофиц. 28 нояб. С. [1]). Эту книгу предлагалось представить на рассмотрение первого в истории губернии земского собрания в качестве научно обоснованного справочного пособия для справедливой раскладки земских сборов, однако, ввиду финансовых затруднений, дело растянулось на ряд лет и не было завершено^{25a}. Срыв этого издания не был событием только местного значения: вся печатная

продукция СГСК предлагалась в обмен провинциальным ГСК и служила образцом для подражания, а земская реформа проходила одновременно во многих губерниях внутренней России. Поэтому СГСК обратился к руководству губернии с предложением о передаче издания адрес-календаря — как справочника, представляющего интерес исключительно для администрации, — губернскому правлению с тем, чтобы на освободившиеся средства СГСК мог печатать научные труды, имеющие практическое значение²⁶. Вопрос был решен не в пользу науки и населения губернии, а в пользу администрации, что и привело, в условиях высокой стоимости полиграфических работ в Петербурге, к деградации научно-издательской деятельности СГСК.

В отличие от четырехкомпонентных ПК, узаконенных на рубеже 1850-х—1860-х гг., адрес-календари далеко не всегда рекламировались в местной печати, что позволяет предположить, что часть этих изданий, по усмотрению местного руководства, была предназначена исключительно для губернской и уездной администрации²⁷.

По языку публикации адрес-календари не отличались от других вариантов ПК, совпадавшим с рабочим языком управления на местном уровне, которым в подавляющем большинстве губерний и областей Российской империи был русский, а в остзейских губерниях до последней четверти XIX в. — немецкий.

Известные локальные варианты адрес-календарей по своему происхождению связаны не столько с местными издательскими традициями, сколько с региональными особенностями имперской политики. В качестве примера приведем адрес-календарную часть ПК северо-западных губерний середины 1860-х—начала XX в., расположенных на территории Литвы и Белоруссии, где местная элита католического исповедания была лишена доступа к государственной службе в местных учреждениях, а уроженцы внутренних губерний православного исповедания пользовались привилегиями, что и обусловило публикацию более подробных сведений о служащих в адрес-календарях Северо-Запада по сравнению с аналогами во внутренних губерниях. Дополнительная информация включала такие позиции, как вероисповедание, служебный стаж (общий и в занимаемой должности), образование (включая название учебного заведения), дата последнего награждения. В качестве унифицирующего фактора для адрес-календарей северо-западного типа назовем «Адрес-календарь Виленского генерал-губернаторства на 1868 г.», составленный по распоряжению начальника края секретарем Витебского ГСК

А. М. Сементовским на основании сведений из ГСК шести губерний и отпечатанный в Петербурге²⁸. Адрес-календарная информация по всем губерниям была однотипной, однако у составителя была возможность ее проверки только по Витебской губернии, по пяти другим она оказалась устаревшей (по Ковенской — на два года)²⁹. Это продемонстрировало нецелесообразность издания региональных адрес-календарей в системе МВД в территориальных рамках, превышающих пределы губернии, однако демонстрационный эффект этого широко известного справочника повлиял на объем адрес-календарной информации в позднейших изданиях ПК Северо-Западного края.

Адрес-календари рецензировались, как правило, не в виде отдельных изданий, мало интересовавших прессу, а в составе четырехкомпонентных ПК. Отсутствие именных указателей, характерное для адрес-календарей, изданных в первые десятилетия, не вызывало нареканий у рецензентов, так как эти справочники предназначались не для разыскания адресных сведений о чиновниках (они были в известных с начала XIX в. адрес-календарях городов России, зачастую составленных руководителями полиции), а для переписки между присутственными местами³⁰. По мере возникновения несубсидируемой печати в русской провинции, адрес-календари критиковались исключительно за имевшую место по отдельным ведомствам задержку информации, то есть, по существу, качество адрес-календарей ставилось в прямую зависимость от меры ответственности руководителей отдельных ведомств за предоставление издателям оперативной информации о личном составе своих учреждений.

Вторым по времени возникновения вариантом губернских ПК были «Памятные книжки по отчету», издававшиеся в конце царствования Николая I, не получившие широкого распространения, однако оказавшие серьезное влияние на становление четырехкомпонентной ПК. Их место в истории издательской деятельности российской провинции определяется тем обстоятельством, что они были статистическими ежегодниками, то есть первыми ПК, чье научное значение как источников статистической информации было признано сообществом ученых.

Почти все ПК, принадлежавшие к этому варианту, опубликованы в Тверской губернии в 1844—53 гг., что по времени совпадает с губернаторством товарища Пушкина по лицу (дававшему лучшее в России статистическое образование) А. П. Бакунина. Согласно публикации в официальной части «Тверских ГВ» (1845. № 15. 14 апр. С. 94—95), эти памятные книжки издавались

как дополнение к всеподданнейшему отчету, который губернатор представлял ежегодно (чем и объясняется ритмичность выхода ПК). Инициатива издания принадлежала администрации губернии и получила правительственную санкцию³¹. Целью издания было информационное обеспечение администрации в интересах развития производительных сил губернии. Способность тверского губернатора организовать ежегодное издание статистических сборников определялась не только высоким служебным положением и уровнем образования, предполагавшим знакомство с зарубежными аналогами, но и системой неформальных (соседских, деловых, родственных) связей, вытекавших из его статуса тверского дворянина и помещика и позволявших проверить информацию, поступающую по официальным каналам. Этим его положение отличалось от положения начальников других губерний, как правило, не записанных в дворянские родословные книги управляемых ими губерний.

История Тверской ПК не изучена, однако, по свидетельствам печати того времени, губернатор лично проверял информацию экономического характера, полученную через полицию, посредством опроса предпринимателей Тверской губернии, что позволяет, несмотря на анонимность «Памятной книги по отчету за 1844 год. По Тверской губернии», утверждать, что первая в России научно значимая губернская ПК вышла под редакцией хорошо образованного столичного интеллигента А. П. Бакунина³². Впоследствии работа по сбору промышленной статистики была им поручена окончившему курс Петербургского практического технологического института с золотой медалью, не имевшему чина губернскому механику С. Калмыкову, который параллельно публиковал материалы по статистике Тверской губернии в «Журнале мануфактур и торговли» и ГВ (без ссылок на ПК Тверской губернии)³³. В этой связи заметим, что материалы государственной региональной статистики обычно публиковались в повременных изданиях системы МВД: губернских ведомостях, Журнал Министерства внутренних дел (ЖМВД), а после его прекращения — в газетах «Северная почта», «Правительственный вестник» (включая приложение «Русское государство»), зачастую — без указания первоисточников, которыми во многих случаях были статистические данные в губернских ПК.

«Памятная книга по отчету...» Тверской губернии ритмично поступала в библиотеку РГО (общество находилось в то время в ведении МВД), что мы считаем вполне закономерным явлением в связи как с научной ценностью этого издания, так и с тем об-

стоятельством, что руководитель государственной статистики проф. К. И. Арсеньев был членом-основателем РГО. Вместе с тем, судя по отсутствию рекламных объявлений в тверской и столичной прессе того времени³⁴, а также лакунам в книготорговых каталогах, «Памятной книги по отчету...» Тверской губернии в свободной продаже не было, и объясняем это избыточностью информации, выходящей за пределы допустимого николаевско-тимашевской цензурой. Помимо обычных сведений из области экономической статистики³⁵ и демографии, в тверской ПК того времени печатались также списки поднадзорных, подробные сведения о дислокации войск и расселении старообрядцев.

Статистические публикации в Тверской ПК, не предназначенной для широкого распространения, были преданы гласности исследователями, имевшими к нему доступ в силу своего служебного положения: проф. Арсеньевым, использовавшим сведения по лесопромышленности в книге «Статистические очерки России (СПб., 1848) и губернским секретарем Тверской палаты государственных имуществ. В. А. Преображенским — автором конкурсной работы «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении» (1850, опубликована в Петербурге в 1854 г.)³⁶. Первое исследование было удостоено Жуковской премии РГО, присуждавшейся ежегодно за лучшие исследования по отечественной статистике³⁷, второе было признано Ученым комитетом Министерства государственных имуществ образцовой работой по сельскохозяйственной статистике и удостоено золотой медали^{37а}. О решениях этих научных организаций было известно широким кругам российских читателей по публикациям в журналах и газетах обеих столиц и провинции, причем отмечалось использование ранее неизвестного науке источника статистической информации, каким были губернские памятные книжки.

Констатируя несомненный факт влияния научных организаций, признавших значение опыта издательской деятельности Тверского ГСК, на трансформацию типа губернской ПК во все-российском масштабе в 1850-х гг., отметим, что и в дальнейшем исследователи неоднократно использовали опубликованные в подобных изданиях материалы государственной статистики³⁸. К числу лучших образцов таких исследований мы бы отнесли труд В. Ильина (В. И. Ульянова) «Развитие капитализма в России (к вопросу о рынках)». Автор этого исследования, прекрасно разбиравшийся в современных ему статистических источниках, хорошо понимал значение открытых статистических публикаций

для свободного научного творчества (что и явилось позднее, в период становления советского тоталитарного режима, одним из субъективных факторов, повлекшим за собой прекращение издания губернских памятных книжек³⁹).

Вариант памятной книжки по отчету, будучи обусловлен особенностями личности его составителя, не получил широкого распространения. Единственный аналог — «Памятная книга по отчету за 1853 год по Могилевской губернии» — содержал, помимо статистической части (единственной в Тверской ПК), также адрес-календарь, что свидетельствует об эволюции типа издания в сторону усложнения его структуры. Впоследствии (с 1870-х гг.) роль подобных статистических ежегодников стали выполнять издававшиеся местными органами управления «Обзоры... губернии за... год».

Мы вынуждены констатировать, что общий уровень статистических материалов в ПК далеко не соответствовал достижениям науки, представленным в нашем отечестве именами К. И. Арсеньева, К. С. Веселовского, А. И. Артемьева, Е. И. Ламанского, Ю. Э. Янсона, А. А. Чупрова, основоположника демографии Д. П. Журавского⁴⁰ и другими. Мы это объясняем отнюдь не некомпетентностью составителей, а более общими причинами: достоверность статистической информации во многом зависит от способов ее сбора, которые в силу архаизма системы местного управления в Российской империи значительно уступали принятым в странах с более прогрессивным общественным строем. В соответствии с законодательством Российской империи сбор статистической информации об экономике и о составе населения по сословиям был возложен на чинов полиции, а о конфессиональном составе и естественном движении населения — на духовенство. Поручение сбора статистических сведений должностным лицам, контролирующим выполнение государственных повинностей и религиозных обязанностей создавало предпосылки как для уклонения населения от статистического учета, так и для злоупотреблений со стороны чиновников. Таким образом, дезинформация относительно состава населения, его материального положения и экономического потенциала появлялась на страницах ПК независимо от личности составителя (в пореформенных ГСК по закону имевшего высшее образование)⁴¹.

Если говорить об оценке уровня государственной статистики, то следует признать, что в царствование Николая I эта тема была закрыта для публичной дискуссии. В субсидируемых орга-

нах печати в 1850-х гг. печатались статьи Ф. В. Булгарина⁴², А. Сахарова⁴³, В. И. Аскоченского⁴⁴, авторы которых утверждали, что все статистические материалы, публикуемые в губернских ПК, полностью соответствуют действительности, так как являются разработкой государственных учреждений, а вопиющие противоречия между отдельными позициями объясняли незавершенностью обработки данных последних ревизий.

Принципиальную позицию по этому вопросу занимало РГО, многие члены которого совмещали научную и государственную деятельность и были объективно заинтересованы в совершенствовании механизма обратной связи (в данном случае—государственной статистики), без которого немыслима эффективная работа государственного аппарата. Губернские ПК первой половины 1850-х гг. были предметом рассмотрения ежегодно учреждаемых комиссий по присуждению Жуковской премии этого общества, в состав которых входили выдающиеся представители науки. Из постановлений этой комиссии, печатавшихся в виде критических обзоров литературы по региональной статистике России⁴⁵, очевидно, что ни одно издание провинциальной администрации не соответствовало современным требованиям. Вместе с тем, сам факт рассмотрения этим ученым обществом губернских ПК свидетельствует о признании значения ПК в качестве научных изданий. Попутно отметим, что хотя критике комиссии по положению подлежали только статистические публикации, в отдельных случаях в ее постановлениях встречаются положительные оценки исторических трудов (в частности, статей А. К. Киркора, П. В. Кукольника и Л. А. Кондратовича в ПК Виленской губернии на 1854 г.).

Сходно с мнением Жуковской комиссии РГО оценивал состояние региональной статистики помощник редактора ЖМВД А. И. Артемьев, поместивший в этом журнале рецензии на подавляющее большинство изданий ПК 1857—1861 гг. (что, кстати, дает основание для признания его заслуг в качестве одного из первых библиографов ПК⁴⁶). Роль А. И. Артемьева как официального критика ПК в деле развития этого типа изданий требует специального исследования, здесь же отметим как высокий научный уровень его критических работ, так и конструктивную позицию, занятую автором по отношению к политике реформ царствования Александра II. Это очевидно по рецензии Артемьева на псковскую «Памятную книжку на 1858 год», где автор на основании анализа статистики прямо связал низкий уровень развития производительных сил и бедственное положение населения

с крепостной зависимостью крестьянства (ЖМВД. 1858. Ч. 32. Отд. 4. Кн. 10. Окт. С. 33—34).

Преобразование ГСК, подготовленные научной критикой ПК 1850-х гг., не дало ожидаемых результатов, а потому критика региональной статистики ГСК продолжалась и в пореформенное время⁴⁷. Приведем типичные конструктивные предложения, опубликованные в несубсидируемых изданиях.

1. Заменить в составе ГСК непрременных членов (руководителей контрольных и казенных палат, палат государственных имуществ, директоров народных училищ и других представителей тогдашней номенклатуры) их уполномоченными — подготовленными специалистами, которые бы занимались по должности только статистикой. Это предложение не было воспринято правительством по вполне понятной причине: вывод первых лиц губернии из состава ГСК в условиях иерархически организованной имперской власти неминуемо привел бы к падению авторитета этих учреждений в среде администрации и, соответственно, увеличению меры дезинформации в региональной статистике — то есть результату, прямо противоположному ожидаемому.

2. Передать функции ГСК земским учреждениям. В этом предложении был резон: земская статистика пользовалась заслуженным авторитетом, так как сбором информации в органах местного самоуправления занимались не чины полиции⁴⁸, а агрономы, ветеринары, врачи и педагоги; обработку статистики осуществляли профессионалы. При этом вся работа земских учреждений (не исключая статистических) была направлена на удовлетворение реальных потребностей населения России, о которых в земских кругах было более адекватное представление, нежели в бюрократических сферах⁴⁹. Для реализации этого предложения в конкретных исторических условиях предварительно следовало решить две задачи:

а) распространить действие законодательства о земских учреждениях на всю империю. В большинстве губерний это было невозможно ввиду немногочисленности представителей первенствующего сословия — русского дворянства, — и распространение самоуправления на неземские губернии привело бы к потере имперского контроля над обширными территориями.

б) передать земству государственную прерогативу учета народонаселения. По действующему законодательству, у земства не было таких полномочий, а их структура не позволяла вести подобные работы. Подобный факт вступил бы в полное противоречие с самодержавным образом правления в империи: веде-

нию выборных учреждений, которыми были земства, подлежали только вопросы местного значения (в пределах, установленных законом), а учет населения был делом государственной важности. Передача функций государства выборным органам объективно означала бы внедрение республиканских начал в самодержавную систему, что было явно неприемлемо для правительства.

Выразив согласие с оценкой общего уровня региональной статистики, опубликованной в губернских ПК, данной современниками — учеными и журналистами несубсидируемой прессы, — отметим, что при благоприятном стечении обстоятельств появлялись публикации, превышающие средний уровень. К их числу мы бы в первую очередь отнесли результаты переписей населения Петербурга 1860-х гг.⁵⁰, проведенных СГСК. Если в дореформенной России учет населения был только поименным (через полицию), то в Петербурге анкетные сведения собирались анонимно через домовладельцев⁵¹, что впервые дало относительно адекватное представление о структуре населения Петербурга. По ходу работы секретарем СГСК П. П. Нейдгартом⁵² был составлен «Список домам С.-Петербурга по полицейским частям и участкам» (СПб., 1869), до сих пор сохраняющий значение первоклассного источника по исторической топографии Петербурга. Детали методики были опубликованы в виде отдельных изданий и в отчетах СГСК, которые, как и вся печатная продукция этой организации, были направлены в обмен провинциальным ГСК. Это оказало положительное влияние на статистическую работу в провинции⁵³, и, соответственно, на облик ПК. Результаты переписей публиковались в памятных книжках С.-Петербургской губернии, в газетах, а в наиболее полном виде, вследствие финансовых затруднений СГСК, — в издании ЦСК⁵⁴. Полностью же опыт проведения переписей в Петербурге не мог быть реализован по всей империи (в частности, во всероссийской переписи 1897 г.), так как анонимность учета населения требовала уровня его грамотности, сопоставимого со столичным⁵⁵.

Учитывая меру влияния СГСК на работу провинциальных ГСК 1860-х гг., приходится сожалеть об отсутствии в литературных источниках связной биографии его секретаря, практически организовавшего всю издательскую деятельность комитета. Наши сведения основаны, по преимуществу, на деле «О причислении к МВД коллежского советника Нейдгардта» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 76. 1862 г. Д. 16), включающем также формулярный спи-

сок с последней записью от 16 февр. 1871 г., когда секретарь СГСК в 50-летнем возрасте был уволен на пенсию по болезни.

Петр Петрович Нейдгардт происходил из древнего ульмского бюргерского рода, получившего в XVI в. имперское дворянство и с царствования Алексея Михайловича служившего Московскому государству. В 1832—40 гг. он учился в Павловском кадетском корпусе. В 1841 г. определен учителем арифметики и геометрии в Порховское уездное училище, а в 1845 — в Псковское уездное училище. В 1846 перешел на службу в канцелярию Псковского гражданского губернатора, где составил (1848) описание Пскова, факт публикации и местонахождение которого нам неизвестны. С 1849 г. служил в контрольном отделении Псковской казенной палаты, а в 1851 перешел на службу в Петербург в качестве бухгалтера Петербургской строительной и дорожной комиссии. 7 марта 1862 г. в чине коллежского советника (1861) назначен и. д. секретаря СГСК, в мае-августе того же года был «командирован в города и села Санкт-Петербургской губернии для исправления на месте списков населенных местностей», в 1863 г. получил чин статского советника. Во время проведения крестьянской реформы, по совместительству, был и. д. секретаря Петербургского губернского по крестьянским делам присутствия (1863—1865 гг.). Накануне ухода в отставку получил чин действительного статского советника (1871 г.), в должности по СГСК получил 750 р. по штату, 250 — за занятия по столице, 300 р. на разъезды. По просьбе П. П. Семенова-[Тянь-Шанского], поддержанной министром внутренних дел и согласованной в Министерстве финансов, высочайшим повелением от 8 июля 1871 г., П. П. Нейдгардту была назначена усиленная пенсия в 800 р. вместо положенной по закону суммы в 571 р. 80 коп. (РГИА. Ф. 1290. Оп. 3. Д. 123. Л. 4—12), что объективно свидетельствовало о признании заслуг СГСК.

К сожалению, мы не можем говорить о сопоставимом резонансе работы московских статистиков. Это — не результат действия объективных причин, так как по научному потенциалу в прошлом столетии обе столицы были примерно равны. Отсутствие сколько-нибудь известных публикаций по московской статистике 1860-х гг. мы связываем с созданием по предложению московского губернатора в управляемом им регионе двух статистических комитетов: городского и губернского, что привело к распылению средств и лишило московских статистиков возможности публиковать результаты их работ хотя бы в том объеме, в каком это удавалось их коллегам из северной столицы.

Для иллюстрации этого положения приведем точку зрения сотрудника газеты «Москва», издаваемой И. С. Аксаковым, который при сопоставлении деятельности статистических комитетов обеих столиц, высказался следующим образом: «(...) комитет нашей белокаменной столицы не заявил еще себя обнаружением каких-либо собранных им сведений: где он, что он, выбился ли он из той рутины, в которой застряла наша статистика, — мы ничего не знаем и не видим признаков его деятельности (...)» (Москва. 1867. № 150. 11 окт. С. [2]). И далее: «(...)„Сборник материалов [для изучения Москвы и Московской губернии. Изд. Моск. губ. СК 1864]“ есть не что иное как перепечатка статей, написанных без всякого содействия комитета и даже не по его заказу. „Сборник“ этот представляет собой, во-первых, обзор сельского хозяйства в Московской губернии, но без статистических сведений, обзор сельских промыслов, но тоже без статистических сведений; статистические сведения о нищенстве в Москве — из материалов канцелярии генерал-губернатора; статью о народных названиях местностей Московской губ.; очерк Гжели; речь г. Безсонова о „специальности его ученых занятий“, то есть „о народном словесном творчестве, преимущественно устном“, — да наконец описание города Волоколамска. Г. „составитель и редактор сборника“ [Н. Бочаров], как величает себя г. секретарь комитета, обещал, еще в 1864 г., продолжать это издание, как дополнение к памятной книжке Московской губернии, которую, по его словам, предполагается издавать каждый год, но до сих пор ни одного выпуска сборника, ни того, чему он должен служить дополнением, мы не видали». (Статистическая деятельность Москвы // Там же. № 172. 5 нояб. С. [4])⁵⁶. В этой связи следует оговориться, что речь идет только о собственных отдельных изданиях, так как и московские, и петербургские и провинциальные материалы систематически публиковались и в составе сводных статистических трудов ЦСК и в губернских ведомостях.

Выше обычного уровня находились статистические публикации ПК Псковской губернии, что мы объясняем как личными качествами членов ГСК, так и хорошо налаженным взаимодействием этой организации с органами городского и земского самоуправления. Одним из результатов такого взаимодействия был удачный опыт переписи населения городов Псковской губернии, результаты которой в извлечениях и в виде статистической монографии по губернскому городу были опубликованы и. д. секретаря ГСК И. И. Василевым⁵⁷ в ПК Псковской губернии⁵⁸. Полностью опубликовать эту весьма интересную разра-

ботку не удалось ввиду финансовых трудностей, часть материалов вошла в состав историко-географических словарей Псковской губернии, составленных тем же автором. Попутно отметим весьма редкую как по теме, так и по времени публикации статистическую работу И. И. Василева «Статистические сведения о служащих в Псковской губернии в 1874 году», опубликованную в виде приложения к адрес-календарю в памятной книжке Псковской губернии на 1876 г.

Сотрудничество с земством, результатом которого стало появление в ПК Псковской губернии относительно достоверной статистической информации из области народного просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства, началось, как это ни парадоксально, еще до возникновения земства, так как, во исполнение решения ГСК, секретарем С. М. Бочковым была подготовлена работа о раскладке земских сборов, опубликованная в журналах ГСК от 7 июня и 10 декабря 1863 г. (Псковские ГВ. 1863. Ч. неофиц. № 23. 12 июня. С. 405; № 50. 13 дек. Прил. С. 2)⁵⁹. Со времени возникновения земства связи между двумя организациями осуществлялись через одного из наиболее авторитетных представителей псковской интеллигенции — отставного подпоручика, действительного члена ГСК и земского гласного первого состава М. А. Назимова⁶⁰. Впоследствии (в к. 1870-х — нач. 80-х) координация государственной и земской статистики на Псковщине осуществлялась через александровского лицеиста Н. А. Строкина, назначенного по рекомендации руководителя ЦСК П. П. Семенова-Тян-Шанского секретарем ГСК⁶¹ и выполнившего ряд статистических работ как для ГСК, так и для земства (по просьбе земского собрания).

Необходимость взаимодействия с земством осознавалась и в других государственных статистических организациях, о чем свидетельствует решение собрания Симбирского ГСК 9 июля 1868 г. включить в состав комитета председателей земских управ — в качестве непременных членов, а гласных — избрать действительными членами⁶².

Мы считаем положительной особенностью всего репертуара статистической части губернских ПК их формальное единообразие, находящее объяснение в единообразии «обязательных действий» всех ГСК империи: они были обязаны ежегодной отчетностью перед ЦСК по стереотипным формам⁶³, менявшимся в соответствии с требованиями времени, что и находило отражение как в губернских ПК, так и в других изданиях. Сопоставимость информации придает вышеуказанным материалам значение пер-

воисточников не только регионального, но и всероссийского масштаба (поскольку речь идет о социально-экономических, демографических и культурных явлениях, сбор статистической информации о которых находился в сфере компетенции ГСК).

Вместе с тем следует отметить систематическую задержку статистической информации, публикуемой в ПК, на два года по отношению к их титульной дате, по причине общей для всей империи: отсутствия в статистических комитетах должностей помощников секретарей и счетчиков. Задержки статистических публикаций (в том числе по таким изменчивым позициям, как урожайность хлебов, смертность в результате эпидемий) были негативным явлением с точки зрения администрации и, в отдельных случаях, служили одним из оснований замены ПК продолжающимися изданиями типа «трудов», подобными «Нижегородскому сборнику»⁶⁴.

В губернских ПК появлялись и статистические публикации по темам, выходящим за круг обязательных действий статистических комитетов⁶⁵, однако представляющим интерес для их членов либо обусловленным служебным положением их авторов (не в системе МВД, а в иных ведомствах). В качестве первого примера приведем публикацию анонимного фрагмента исследования о. В. Д. Смиречанского «Историко-статистический сборник сведений о Псковской епархии» (Псков-Остров, 1875—1893), озаглавленного «Список приходам Псковской епархии...», в ПК Псковской губ. на 1876 г. (Отд. 2. С. 9—29), основанного на материалах консистории, дополненных личными наблюдениями автора; в качестве второго — публикацию в нескольких ПК в 1860 г. фрагментов описаний губерний, выполненных, по поручению Военного министерства, окончившими курс Николаевской академии офицерами Генштаба (как правило — в чине капитана).

Последний пример тем более интересен, что позволяет проследить единство установившегося в 1850-х гг. варианта (его генезис мы опишем впоследствии) в многообразии. Интеллектуальные предпосылки для публикации в губернских ПК по всей стране были одинаковыми, так как военно-статистические работы, которым придавалось значение государственной важности, велись по всей России. Юридические предпосылки определялись не на местном уровне: в 1859 г. был разослан губернаторам циркуляр гр. Ланского, предусматривавший модель ПК, в которую, как показал опыт, вполне вписывались разработки офицеров Генштаба. Годом раньше достигнуто соглашение между Ланским и его коллегой из военного министерства о предоставлении всей

информации, находившейся в распоряжении ГСК, офицерам Генштаба, которым поручена эта работа. Поэтому к 1860 г. сложились условия для повсеместного появления в губернских ПК фрагментов работ военных статистиков. Однако это произошло не везде: они публиковались в Виленской, Гродненской, Смоленской ПК на 1860 г., а во многих других (например, Архангельской) их не было. Мы объясняем этот разнотем обстоятельством, что военно-статистические описания губерний, будучи единообразны по модели, отличались друг от друга по научному уровню, что отмечалось и современниками. Мы имеем в виду, в частности, рецензию известного ученого, секретаря Архангельского ГСК П. П. Чубинского на описание Архангельской губернии Н. И. Козлова, (Архангельские ГВ. 1866. № 3. 15 янв. С. 27—34; перепечатано в сокращении в «Известиях РГО»: 1866. № 1. 16 февр. С. 29—30), в которой отмечалась фальсификация автором рецензируемой работы статистических сведений, ранее опубликованных в ПК Архангельской губернии⁶⁶, что и объясняет отсутствие его фамилии в изданиях Архангельского ГСК. В ином положении оказался его коллега, автор сходной как по теме, так и по научному уровню работы А. К. Корево, поместивший ее фрагмент «Евреи» в доверенной его составлению ПК Виленской губернии на 1860 г. Эта статья, основанная на произвольной группировке сведений, собранных виленскими статистиками, вызвала серьезные возражения критиков в газете «Виленский вестник», выходившей тогда под редакцией А. К. Киркора, в одесской газете «Рассвет» и других.⁶⁷ Мы не согласны с объяснением отклонений от действительности, недопустимых в научной работе, имеющей военно-стратегическое значение, «предубеждением против евреев», высказанном рецензентом «С.-Петербургских ведомостей» (1860. № 33. 11 февр. С. 150), а считаем их проявлением невежества⁶⁸ и недобросовестности, которые в глазах военного ведомства были компенсированы публичным, через газету «Московские ведомости», отречением от веры своих предков (литовских шляхтичей) и участием в войне против своего народа в составе оккупационной армии Муравьева, за что А. К. Корево получил генеральский чин и руководящую должность в Московском военном округе⁶⁹.

К положительным примерам сотрудничества офицеров Генштаба в изданиях местных органов управления мы относим публикации историко-статистических работ о Гродненщине в ПК Гродненской губернии на 1860 и 1861 гг., написанные будущим начальником Военно-юридической академии и историком-петер-

бурговедом (в то время — капитаном) П. О. Бобровским⁷⁰, и статья «Статистические исследования о народонаселении Смоленской губернии» в ПК Смоленской губернии на 1860 г. (С. 109—162 2-й паг.), выполненную капитаном М. М. Цебриковым. Последний труд свидетельствует об эрудиции автора, критическом отношении к источникам и отличается способом группировки позиций, весьма удобным для исследователей аграрной истории. Говоря о значении работы Цебрикова как источника по аграрной истории, мы пришли к заключению, что при сопоставлении этого текста с работами, выполненными в иных ведомствах (книгой чиновника Министерства государственных имуществ Я. А. Соловьева по сельскохозяйственной статистике Смоленщины, статистическими публикациями Смоленского о-ва сельских хозяев, производителя работ ЦСК А. Г. Тройницкого и публикациями в ПК Смоленской губернии за 1856—60 гг.) становится очевидным, что депопуляция смоленской деревни 1830-х—50-х гг. находится в прямой зависимости от крепостного состояния большинства ее населения⁷¹. Мы считаем это обстоятельство информацией к размышлению для тех историков, которые считают этноцид белорусов последствием национальной политики Речи Посполитой, в то время как на Смоленщине прошлого века белорусские крестьяне, составлявшие половину населения этой губернии, вымирали под властью не польских панов, а помещиков православного исповедания, как местного происхождения, так и пришлых.

Таким образом, с середины 1840-х гг. статистические публикации местных органов управления, будучи заметным явлением отечественной научной литературы, вошли в состав губернских памятных книжек: первоначально — ПК по отчету, а впоследствии — ПК нового поколения.

Под ПК нового поколения автор имеет в виду третий по времени возникновения, наиболее распространенный (с учетом обстоятельств места и времени издания) и наиболее устойчивый вариант губернских ПК, который в наиболее общей форме удобнее определить через структуру: их составляющими (в разной последовательности и с разной степенью полноты) были адрес-календари, справочные сведения, статистические сведения и статьи, посвященные региональной проблематике. Трудности более точного терминологического определения связаны с тем обстоятельством, что после легитимизации на рубеже 1850-х—60-х гг. этот вариант воспринимался как единственный, так как ПК по отчету после 1853 г. не издавались, а адрес-календари, начиная с 1860-х, считались неполными ПК⁷². Поскольку в 1850-х гг. три ва-

рианта (в зависимости от местных условий) издавались одновременно, а точное обозначение новейшего из них не успело войти в русскую лексику 1850-х гг., автор предложил его обозначить (применительно к этому времени) как синтетическую ПК⁷³. Предлагая термин, мы исходили из факта соединения в новом варианте содержания предшествующих, дополненных материалами, обычными для ГВ того времени.

Наиболее известной ПК нового поколения начала 1850-х гг. была ПК Виленской губернии, издававшаяся в 1850—54 гг. под редакцией производителя работ ГСК, литератора и исследователя Западного края А. К. Киркора⁷⁴. Причиной усложнения структуры губернской ПК, судя по официальным документам⁷⁵, было желание местной администрации приобщить население Виленщины к чтению литературы на русском языке, а также предоставить материалы статистики для обсуждения специалистами. Издание Виленского ГСК вызвало широкий резонанс, на него откликнулись ученые и журналисты обеих столиц, Одессы и Варшавы. Не вдаваясь в оценку качества опубликованных материалов⁷⁶, отметим единодушие рецензентов в оценке типа издания: они считали, что опыт работы Виленского ГСК заслуживает повсеместного распространения и объясняли это необходимостью привлечения местных сил для изучения Российской империи. С середины 1850-х гг. появились аналоги во внутренних губерниях, из которых наибольшую известность получили: ПК Воронежской губернии 1856 г., составленная Н. И. Второвым⁷⁷ и задуманная как ежегодник; ПК Олонецкой (сост. — редактор ГВ А. И. Иванов), Смоленской и Киевской губерний (сост. Н. А. Чернышев)⁷⁸. Опыт издания перечисленных и других изданий ПК нового поколения и послужил материалом для обобщения в правовых актах МВД рубежа 1850-х—1860-х гг.

Новый вариант губернских ПК был весьма сходен с издававшимися с 1830-х гг. и хорошо известными по рецензиям в столичной печати Новороссийским и Кавказским календарями, однако упомянутые аналоги издавались в особых условиях (первый — издание Ришельевского лицея, второй — Кавказского наместничества), и опыт их составителей мог найти повсеместное применение только в структурах органов местного управления, узаконенных по всей империи. В этой связи заметим, что, несмотря на явную тенденцию расширения издательской географии губернских ПК, имевшую место в середине XIX в. и обусловленную информационными потребностями как местной администрации, так и, с 1850-х гг., широких кругов читателей,

интересовавшихся краеведческой литературой, в Новороссии и на Кавказе они издавались сравнительно редко. Новороссийский и Кавказский календари по уровню издания и объему информации вполне заменяли губернские ПК⁷⁹.

Порядок издания губернских ПК третьего варианта до реформы статистических комитетов, резко отличаясь от пореформенного как по форме, так и по кругу источников, доступных исследованию, обеспечивал государственные интересы (в трактовке бюрократии), интересы местной элиты и официальной идеологии. В дореформенное время решение об издании каждой синтетической ПК в отдельности принималось на уровне правительства, после реформы — на уровне органов местного управления. Проводя параллели с другими изданиями местной администрации, заметим, что содержание официальной части ГВ как до, так и после реформы было определено законом; неофициальной, в рамках общей программы, определялось на местном уровне. Решения об издании адрес-календарей принимались на местном уровне, а для публикации ПК по отчету требовалось согласование местной администрации с правительством. Порядок издания синтетических ПК, насколько это прослеживается по фондам МВД в РГИА и по публикациям соответствующих правовых норм в ЖМВД⁸⁰, выглядел следующим образом: программа каждого издания ПК представлялась начальником губернии в Министерство внутренних дел, согласовывалась в правительстве с другими заинтересованными ведомствами, и в случае положительного решения ПК могла быть опубликована, однако (по смыслу высочайшего повеления 1855 г.) без каких-либо дополнений сверх утвержденной программы⁸¹. Подобный порядок согласования, по-видимому, объясняет особенности издательской географии синтетических ПК: большинство их издано в регионах, ближайших к столице.

По положению о преобразовании ГСК 1860 г. вопросы издания ПК решались на месте. Собрание ГСК было полномочно принять как программу ПК, так и решение о ее публикации, причем, судя по отмеченным совпадениям дат решения собрания и цензурного разрешения, цензура текста ПК, осуществляемая на местах, носила чисто формальный характер.

В состав ГСК входили: председатель (губернатор), помощник председателя, избранный ГСК по предложению председателя и нередко выполнявший его функции; неперменные члены — руководители отдельных ведомств, номенклатура которых была исчерпывающе определена законом (в их число входил также пред-

ставитель консистории)⁸²; действительные члены⁸³, избираемые на собрании ГСК из числа лиц, способных оказать содействие его деятельности (отдельные представители интеллигенции, купечества, помещиков и т. д.), в число которых входили также, по рекомендации ЦСК, уездные предводители дворянства; а также почетные члены, избранные чаще всего из известных ученых — исследователей края⁸⁴. Из этого перечня, с учетом реального объема полномочий председателя в качестве начальника губернии, следует, что состав ГСК полностью соответствовал видам местной администрации, а представительство руководства отдельных ведомств позволяло предотвратить нежелательную утечку информации в изданиях ГСК. Это объясняет отсутствие конфликтных ситуаций в бюрократических сферах по поводу губернских ПК (весьма насыщенных информацией) и, соответственно, долговечность данного типа изданий.

Единственной штатной единицей в ГСК был секретарь (он же, как правило, и составитель ПК), назначаемый и смещаемый губернатором из числа лиц с высшим образованием (желательно — с ученой степенью), причем закон не требовал согласования кандидатуры секретаря с вышестоящими инстанциями или с собранием ГСК. В отдельных случаях (по результатам работы) секретарь избирался членом-секретарем.

Оклад годового жалованья секретаря не зависел от объема издательской деятельности ГСК и исчислялся суммой в 750 р. сер. в год⁸⁵, что не соответствовало обычным размерам оплаты интеллектуального труда (старший учитель классической мужской гимназии в начале 1860-х гг. получал около 1000 р. в год, статистический агент Херсонского губернского земства 1870-х гг. — 1500, директор классической гимназии в Западном крае 1880-х — около 4000 р. Сравнительно низкий уровень оплаты секретаря, вынужденного тратить часть времени на дополнительные заработки, и отсутствие других штатных единиц негативно сказывались на уровне издательской деятельности ГСК.

Российское законодательство не предусматривало специальных ассигнований на издания ГСК: они финансировались из общей суммы отчислений из остатков земских сборов, определенной в размерах от 1500 до 2000 р., причем конкретный размер финансирования ГСК определялся в земских губерниях решением губернского земского собрания, в остальных — местной администрации. В тех случаях, когда решение о финансировании ГСК принимало земство, заметна тенденция к снижению уровня финансирования в пределах, установленных законом, что

объясняется, на наш взгляд, несоответствием государственной статистики (в пределах полномочий ГСК) нуждам местного самоуправления, неудовлетворительным качеством статистических публикаций в ПК и закономерным появлением собственных земских статистических бюро.

Среди других источников финансирования, разрешенных (или не запрещенных) законом назовем два:

1. Частные пожертвования, предусмотренные законом, были сравнительно редким явлением, что вызвано, с одной стороны, традиционной ориентацией российского купечества на нужды социальной помощи и церковного строительства, а с другой — плохой репутацией государственной статистики среди специалистов, проникшей к началу 1860-х гг. через печать на уровень массового сознания. Вместе с тем адресные обращения председателей ГСК к местным купцам давали положительные результаты: нужные суммы предоставлялись, что, по-видимому, объясняется реальным объемом власти председателей ГСК по их основной должности⁸⁶.

2. Помещение платных объявлений в губернских ПК, позволявшее частично компенсировать расходы на издание.

Поскольку губернские ПК никогда не издавались с коммерческими целями, их продажная цена определялась расходами на издание и колебалась в пореформенный период, в зависимости от местных условий, в пределах от 1 р. до 2 р. 50 коп. сер. за том. Известные тиражи варьируют в пределах от 400 до 2000 экз. и обнаруживают явную тенденцию к увеличению, что, на наш взгляд, связано не столько с повышением среднего уровня этих изданий (по содержанию и исполнению), сколько с прогрессом в области образования, расширившим круг покупателей.

Для издания ПК нового поколения, включающей материалы по всему спектру знаний, решающее значение (наряду с административным и материальным) имел интеллектуальный фактор, который мы разделили бы на две составляющих: а) уровень образования провинциальной интеллигенции и б) круг доступных ей источников.

Уровень образования провинциальной интеллигенции был вполне сопоставим со столичным, так как целый ряд должностей в губернских городах (учителя губернских гимназий, медики врачебной управы, юристы судебного ведомства и т. д.) предполагал по закону университетское (или сопоставимое с ним) образование. Круг источников, на которых были основаны публикации в ПК, отличался своеобразием, обусловленным поло-

жением большинства их авторов как провинциальных государственных служащих: им были доступны, в силу служебного положения, ведомственные источники информации (как архивы, так и ответы с мест на официальные запросы), а также материалы личных наблюдений (отчасти — связанные с исполнением служебных обязанностей)⁸⁷. Если говорить о негативных особенностях служебного положения авторов ПК, следует отметить следующие обстоятельства: во-первых, их основные служебные обязанности ограничивали возможность поездок в крупнейшие информационные центры для ознакомления с новинками научной литературы (информационный потенциал провинции, судя по каталогам библиотек, уступал столичному); во-вторых, у них не было возможности проводить за счет средств местных учреждений научные исследования в соседних губерниях с целью выявления аналогов и, соответственно, специфики изучаемой ими территории⁸⁸.

В целом интеллектуальный потенциал губернских городов обеспечивал издание губернских ПК на уровне, представлявшем интерес для науки, однако специфика информационного обеспечения авторов и составителей придавала этим изданиям оттенок провинциализма. Информационный потенциал университетских городов был значительно выше среднего, но в них издателям ПК мешала конкуренция научных и иных изданий, менее зависимых от администрации, что стимулировало отток от ГСК интеллектуальных сил. Из исключений назовем сотрудничество харьковских ученых (в частности, Д. И. Багалея) в «Харьковском сборнике», издававшемся ГСК как приложение к «Харьковскому календарю».

Последним значимым объективным фактором был организационный. Поскольку большинство пореформенных ПК, изданных ГСК⁸⁹, составлено и отредактировано их секретарями, следует признать положительной особенностью ПК ответственность их составителей, в силу служебного положения, за выполнение обязательных работ по ГСК (что позволяло обеспечить должный уровень редактирования с точки зрения фактографии) и отрицательной — объективно обусловленную необходимость совмещения их составителями должности секретаря ГСК с другими служебными обязанностями. О масштабах этого явления говорят наблюдения корреспондента авторитетной столичной газеты деловых кругов⁹⁰ над персональным составом съезда секретарей статистического съезда в Петербурге (май—июнь 1870 г.). По его сведениям, из 45 депутатов — секретарей ГСК Евро-

пейской России 11 делегатов съезда совмещали должность секретаря со службой в других учреждениях МВД (3 правителя канцелярии, 2 чиновника губ. правления в должности советника и ассесора, 5 чиновников особых поручений, 1 секретарь попечительного о тюрьмах комитета). К этому же ведомству условно можно отнести и 8 редакторов газет (из которых 2 держали над ними цензуру), поскольку, кроме ГВ, в тогдашней провинции газеты почти не издавались. Среди вариантов совмещения для 10 секретарей ГСК относится служба по МНП: 1 попечитель учебного округа, 3 инспектора гимназий и институтов и 6 учителей. Двое служили по министерству юстиции (губернский землемер и член судебной палаты), четверо — по выборам (3 члена съезда мировых судей, 1 гласный земского собрания). Судя по составу съезда, менее распространены варианты совмещения со службой по МГИ (1), по морскому (1) и духовному (1) ведомству.

Подобное совмещение служебных занятий составителей негативно сказывалось на уровне издания губернских ПК; это, по видимому, объясняет, почему в целом ряде губерний и областей ПК издавались в неполном объеме или на протяжении десятилетий не издавались вообще.

К этому следует добавить, что описываемый нами тип издания не вызывал восторга не только в либеральной печати⁹¹. Он не удовлетворял и составителей, и в этом смысле очень показательны результаты обсуждения пункта 10 (об изданиях ГСК) повестки дня съезда секретарей статистических комитетов, состоявшегося на восьмой год реформ, 6 июня 1870 г.⁹² Согласно единодушному мнению участников съезда, проходившего с участием сотрудников ЦСК под председательством П. П. Семенова-Тян-Шанского, с ГСК следовало снять обязанность печатать адрес-календари, поскольку они не являются статистической литературой. Вместе с тем, было принято к сведению предложение депутатов северо-западных губерний относительно целесообразности публикации списков чиновников с дополнительной информацией, допускающей статистическую обработку, и решение съезда по поводу адрес-календарей предусматривало исключение относительно изданий ГСК Западного края. Относительно других аспектов содержания изданий ГСК выявились разногласия: часть делегатов считала целесообразным ограничиться исключительно статистическими публикациями, что вытекало из назначения ГСК, в то время как другая часть считала допустимым печатать и материалы регионального содержания, выходящие за рамки ста-

тики. Последняя точка зрения мотивировалась монопольным положением ГСК как научных организаций в большинстве губерний и ограниченностью спроса на чисто статистическую литературу. В этих условиях исключение научных статей нестатистического характера поставило бы под вопрос саму возможность издательской деятельности ГСК⁹³. В результате обсуждения был достигнут компромисс: делегаты решили печатать преимущественно статистические материалы, а там, где издатель сочтет целесообразным — включать научные тексты не статистического содержания (в виде приложений), однако не за счет ГСК.

Поскольку предложения съезда не были узаконены правительством, за местной администрацией оставалась свобода действий в издании ПК.

Переходя к описанию новых структурных компонентов в ПК третьего варианта, следует отметить, что в лексике того времени зачастую выражалось их различное положение в структуре ПК: если раздел «Справочные сведения» включался без каких-либо уточнений, то сборник статей краеведческого характера определялся как «Приложение» либо «Прибавление» к ПК. Этот терминологический нюанс мы объясняем исконным значением понятия ПК как синонима справочника, в то время как в сборниках краеведческих работ печатались и фольклорные записи, и актовые материалы, и другие публикации, не вписывавшиеся в структуру справочного издания.

Раздел «Справочные сведения», при всем его разнообразии в зависимости от времени и места издания, отражал традиции ежегодников календарного типа и содержал информацию, представлявшую интерес как для администрации, так и для широких кругов читателей из числа жителей губернии, и включал как перепечатки, так и сведения, специально собранные для ПК.

Сведения о фазах Луны явно восходят к традиции Брюсова календаря, а их публикация связана с суеверным отношением значительной части читателей к небесным явлениям. Публикация календарей разных конфессий, представленных на территории губернии, получившая широкое распространение после отмены академической монополии, была практически полезна как в связи с обычаем являться с визитами в день ангела, так и потому, что календари давали представление о нерабочих днях. Сведения о ярмарках (время и место проведения, в отдельных случаях — обороты) печатались в ГВ со времени их возникновения, а с начала 1850-х гг. — также в ПК. С того же времени в ПК начали печататься не характерные для ГВ списки врачей,

повивальных бабок, владельцев промышленных заведений, купцов и других лиц, которым выданы торговые свидетельства. В этой связи заметим, что в первых публикациях такого рода далеко не всегда указан ассортимент товаров торговых заведений, и в этом (как и в отсутствии именного указателя к адрес-календарям) мы усматриваем отнюдь не недоработку составителя, а прямое указание на первоочередное читательское назначение губернских ПК: они выпускались прежде всего для администрации⁹⁴.

С начала 1850-х гг. в разделе «Справочные сведения» печатались таблицы метеорологических наблюдений, как годовые, так и за более продолжительный промежуток времени, представлявшие собой не переиздания, а материалы, специально предоставленные ГСК. Отметив приоритет Виленского ГСК начала 1850-х гг., публиковавшего в ПК сводки наблюдений директора Виленской обсерватории Е. Фуса⁹⁵, следует признать, что в большинстве случаев наблюдателями были педагоги учебных заведений МНП⁹⁶. Государство было заинтересовано в сборе и систематизации метеорологических сведений, так как они служили основанием для прогноза урожайности хлебов и, соответственно, хлебных цен.

Типичными для справочного отдела были сведения о путях сообщения — как перепечатки, так и собранные издателями. (Для 1850-х гг. были весьма характерны перепечатки из «Почтового дорожника Российской империи» и дополнений к нему). К числу оригинальных и достаточно эффективных способов сбора подобной информации мы бы отнесли помещенное в петербургских газетах 1863 г. обращение СГСК к пароходным компаниям с просьбой прислать сведения о расписании на предстоящую навигацию (Северная почта. 1863. № 63. 27 марта. С. 270). Из ответов, полученных как из столицы, так и из провинции, была составлена таблица, опубликованная в ПК С.-Петербургской губернии на 1863 г. Более типичным (и менее удобным для пассажиров и грузоотправителей) был способ, примененный составителем ПК Нижегородской губернии на 1865 г. А. П. Смирновым⁹⁷, обратившимся за информацией к начальнику 3-й дистанции инженер-капитану Н. П. Лукину и опубликовавшим ее в виде таблицы, в которую, в силу специфики источника, вошли сведения только о нижегородских пароходствах. Однако сбор сведений через газеты не всегда приводил к ожидаемым результатам: в 1863 г. СГСК не удалась попытка таким способом собрать сведения о личном составе ученых об-

ществ столицы и губернии⁹⁸, о чем можно судить по неполноте таблицы, помещенной в ПК С.-Петербургской губернии на 1864 г.

В зависимости от времени и места издания в губернских ПК печатались адреса частных лиц, однако не всегда в разделе «Справочные сведения»: на Виленщине в последней четверти прошлого века сложилась традиция помещать сведения о домашних адресах в составе алфавитного указателя к адрес-календарю. В разных губерниях в составе ПК эпизодически включались списки домовладельцев, представлявшие интерес как для полиции, так и для демографических работ ГСК, однако модель их издания не всегда должным образом учитывала интересы частных лиц, в том числе коммерсантов. В 1891 г. вслед за частным издателем И. А. Бомштейном, впервые опубликовавшим адреса домовладельцев губернского города в составленной им «Справочной книге и спутнике по Минской губернии» (Минск, 1889)⁹⁹, Минский ГСК напечатал в составе ПК на 1892 г. «Алфавитный список домовладельцев г. Минска, составленный по окладным книгам Минской городской управы в октябре 1891 года», вызвавший возмущенную реакцию либеральной газеты «Минский листок», так как, вопреки законам русской антропоники, отчества всех лиц, за исключением принадлежащих к привилегированным кругам, были даны в сокращенной форме¹⁰⁰. Мы, со своей стороны, отметим деградацию модели списка домовладельцев Минского ГСК по сравнению со «Списком домам С.-Петербурга по полицейским частям и участкам» (СПб., 1869) составленным секретарем СГСК П. П. Нейдгардтом, где указывался материал строений, что было немаловажно для страховых компаний.

Обычной практикой составителей ПК третьего варианта было включение библиографии местного края. Первой публикацией такого рода была «Виленская библиография» в ПК Виленской губернии на 1852 г., представлявшая собой список книг, изданных в губернском городе за истекший год, на всех языках¹⁰¹. Среди лучших образцов краевой библиографии рубежа XIX—XX в. назовем «Опыт библиографии Дагестанской области», составленный секретарем Дагестанского ГСК О. И. Козубским и опубликованный в ПК Дагестанской области на 1895 г. (С. I—IV 3-й паг., 1—268 4-й паг.). Для нашей же темы представляет интерес тот факт, что в губернских ПК, наряду с указателями местной периодики, публиковались указатели содержания самих губернских ПК, в отдельных случаях имеющие значение первоисточника¹⁰². В качестве примера приведем анонимный указатель содержания

ПК Олонецкой губернии 1850-х—60-х гг., опубликованный в ПК на 1902 г., полностью идентичный напечатанному в ГВ (1870. № 53. 15 июля. Ч. неофиц. С. 581—583), за который тогдашний секретарь ГСК А. И. Иванов отчитался как за свою работу¹⁰³. Указатель имеет значение первоисточника, так как часть расписанных в нем выпусков ПК¹⁰⁴ составлена их библиографом (за составление анонимной ПК на 1867 г. А. И. Иванов получил премию в 100 р.)¹⁰⁵. Из особенностей указателя отметим следующие: а) раскрыта часть анонимных публикаций составителей, однако обозначить авторство Е. В. Барсова ряда статей на необычные для науки того времени сюжеты по церковной и гражданской истории Иванов не пожелал. Мы допускаем, что сокрытие авторства в данном случае могло быть связано с неадекватным отношением к подобным публикациям администрации Олонецкой духовной семинарии, где в это время преподавал Е. Барсов. По указателю заметно отличие понятия авторства от принятого в настоящее время: в росписи содержания подборки «Замечательные местности» в ПК на 1858 г. указан составитель (он же — автор большинства текстов) А. И. Иванов, но не указан автор фрагмента «Водопад Кивач» (с. 160—166. Подп: Л.), который был написан кандидатом С.-Петербургской духовной академии, педагогом, производителем работ ГСК и редактором ГВ А. А. Ласточкиным и ранее опубликован в Олонецких ГВ (1853. № 17. 7 мая. С. [2—4]; № 19. 21 мая. С. [2—4]). Мы объясняем эту фигуру умолчания стилистической правкой и дополнениями, внесенными составителем ПК в текст статьи Ласточкина¹⁰⁶.

Попутно заметим, что охарактеризованная нами библиографическая работа, опубликованная примерно в то же время, что и анонимный указатель содержания ПК Симбирской губернии, составленный секретарем ГСК В. Н. Ауновским (Симбирский сборник. Т. 2. 1870), была вторым по времени издания указателем содержания ПК в России. Приоритет в этом отношении принадлежит А. К. Киркору¹⁰⁷, включившему перечень публикаций Виленской ПК (так же, как и неопубликованных материалов ГСК) в текст статьи «Краткое обозрение ученой деятельности по части статистики в Литовском крае (преимущественно в Виленской губернии)» (Сборник историко-статистических материалов по Виленской губернии. Ч. 1. Вильно, 1863). Примечательно, что, указав авторство своих коллег по ГСК, собственное авторство (даже подписанных работ) составитель не обозначил.

Типичным явлением для «Справочных сведений» была публикация таблиц повременных изданий, выписанных в губернии.

Насколько можно судить по структурным особенностям, их первоисточником была информация, исходившая из губернских и уездных почтовых контор. Рассматривая их в совокупности, можно судить о динамике читательских интересов в русской провинции по отношению к отдельным повременным изданиям. По этим таблицам заметно, что ГВ не были любимой газетой русских провинциалов: напротив, судя по статистике, они разделяли точку зрения на этот счет старейшего сотрудника Вятских и Владимирских ГВ А. И. Герцена, высказанную им в «Былом и думах» (Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 305—306), и предпочитали столичную прессу.

Говоря об особенностях справочного отдела в зависимости от времени и места издания, отметим оригинальность списков книжных магазинов и редакций, помещенных в ПК С.-Петербургской губернии на 1863 г. Подобные публикации не могли появиться в провинциальных ПК того времени ввиду неразвитости книжной торговли и сложности получения разрешения на частные издания.

Переходя к характеристике сборников статей, помещавшихся в составе третьего варианта губернских ПК, упомянем точку зрения некоторых из наших предшественников, согласно которой они состояли из перепечаток материалов провинциальных повременных изданий (преимущественно ГВ)¹⁰⁸. Это мнение нам представляется слишком категоричным: в губернских ПК публиковались как перепечатки из ГВ¹⁰⁹, так и оригинальные материалы. Причина заблуждения в подобных случаях коренится в недоступности для исследователя полных комплектов повременных изданий. Автор настоящей работы находится в ином положении. Он, в частности, имел возможность ознакомиться с номерами Псковских ГВ 1860-х—нач. 70-х гг., в которых сообщалось о работе комиссии, образованной местным ГСК для рассмотрения вопроса о публикации поступивших в комитет материалов. Судя по этим газетным публикациям, одни статьи направлялись в ПК, другие — в ГВ, третьи помещались параллельно как в ПК, так и в ГВ. Поскольку в других губернских городах аналоги этой комиссии пока не выявлены¹¹⁰, отметим, что в ее состав, помимо других членов, входили ранее упомянутые губернатор М. С. Каханов, И. И. Василев, М. А. Назимов, а также кандидат Петербургского университета, в начале 1860-х гг. — инспектор училища военного ведомства М. В. Фурсов¹¹¹. (О выдающейся статье Фурсова по археологии Приднепровья, опубликованной в ПК Могилевской губернии на 1893 г., мы расскажем ниже).

Поскольку с середины 1850-х годов перепечатки из ГВ в ПК были широко распространенным явлением, отметим, что это обстоятельство не может служить свидетельством научной несостоятельности губернских ПК. В большинстве губернских центров на протяжении десятилетий ГВ были единственным повременным изданием, а потому, наряду с другими функциями, они выполняли роль органов научной печати. Там, где складывались благоприятные условия, редакция неофициальной части ГВ, в полном соответствии со своей программой, систематически публиковала научные корреспонденции, исходившие первоначально от ГСК, а впоследствии, по мере развития науки в русской провинции — также из обществ сельских хозяев¹¹², врачей, ученых архивных комиссий и т. д.

Выше мы говорили о параллельных текстах статистического раздела ПК и ГВ, содержащих оперативную информацию. В сборниках статей в составе ПК перепечатывались не только новейшие публикации, но и работы предшественников, сохранившие научную ценность. В качестве далеко не единичного примера приведем анонимный текст «Вотяки и черемисы» упомянутого нами старейшего сотрудника Вятских ГВ (более известного в своем отечестве 1860-х гг. под литературным псевдонимом Искандер) в ПК Вятской губ. на 1860 г.¹¹³ Известны и случаи перепечаток статей из ПК в ГВ (впервые — в Киевской и Смоленской губерниях второй половины 1850-х гг.)¹¹⁴, отчасти продиктованные соображениями книготорговой рекламы.

Характерной особенностью российской провинции были также перепечатки из ПК в виде отдельных изданий. Первым из них была работа доктора медицины К. И. Гелинга «Наставление простому народу, как предохранить себя от болезней и как лечить их простыми средствами в отсутствие врача», опубликованная как в составе ПК Виленской губернии на 1854 г.¹¹⁵, так и в виде брошюры. Степень проработки источников, относящихся к подобным параллельным публикациям, пока не позволяет прямо ответить на вопрос о причинах широкого распространения подобного явления. Исходя из исторических особенностей русской провинциальной печати, а также из назначения ГСК, мы предполагаем, что отдельные издания являлись своеобразным суррогатом авторского гонорара за публикации в ПК или демонстрационной моделью для потенциальных корреспондентов издателя; иногда их выпуск объяснялся повышенным читательским интересом. В последнем случае, в качестве характерного примера приведем наиболее известную из публикаций в ПК 1870-х гг.

(судя по рецензиям) статью секретаря Архангельского ГСК Г. О. Минейко «Статистическое описание сельского населения и его промышленности в Архангельской губернии», опубликованную и в форме приложения к «Справочной и памятной книге Архангельской губернии на 1875 год...», и в виде отдельного издания¹¹⁶. Попутно заметим, что автор этой статьи в 1850-х гг. учился в Виленской губернской гимназии, и опыт издательской деятельности Виленского ГСК того времени ему был известен не меньше, чем всей читающей России¹¹⁷.

Издательские возможности ГСК были ограничены недостатком средств, и потому для переиздания наиболее интересных статей из ПК привлекались частные средства: статья действительного члена Псковского ГСК К. Г. Евлентьева «Опыт археологической записки о Поганкиных», опубликованная в ПК Псковской губернии за 1869 г. (Вып. 4. С. 117—133), была переиздана (по-видимому, на казенный счет) в виде книги, получившей премию Московского университета, а приложение к ней — «Книга псковитянина, посадского торгового человека Сергея Ивановича Поганкина» (1870) — на деньги пожелавшего остаться неизвестным благотворителя (судя по совпадению инициалов — М. А. Назимова¹¹⁸).

Сравнительно редкими были перепечатки статей из ПК в виде сборников. Примером может служить изданный Виленским ГСК в 1853 г. двухтомник «Исторически-статистические сведения о Виленской губернии», повторявший содержание вторых частей губернских ПК на 1852 и 1853 г. Причина появления подобных сборников понятна из большинства рецензий на ПК, отрицавших какой-либо интерес иногородних читателей к адрес-календарной и справочной частям (занимавшим около половины объема среднестатистической четырехкомпонентной ПК), в то время как интересы издателя и науки требовали распространения трудов ГСК во всей империи. Сравнительную редкость такого рода сборников мы объясняем практической целесообразностью оперативной публикации трудов сотрудников ГСК и ГВ с последующей кумуляцией в ПК и в составе сборников, подобных нижегородскому, эстляндскому, олонецкому и т. д., отличавшихся от ПК отсутствием адрес-календарной и справочной частей, отпугивавших читателей.

С начала 1850-х гг. возникла практика издания вторых частей ПК нового поколения без указания на принадлежность к ПК. Причину появления подобных сборников мы видим в несоответствии их содержания исторически сложившимся на протя-

жении 1840-х гг. представлениям о губернской ПК как справочном издании. Для иллюстрации приведем содержание сборника второй части ПК Виленской губернии на 1854 г. «Черты из истории и жизни литовского народа». Оно включало статьи составителя А. К. Киркора «Литовские древности», биографию Витовта того же автора, биографию Барбары Радзивилл, написанную Л. А. Кондратовичем (Сырокомлей) и подборку по литовской этнографии и фольклористике, составленную П. В. Кукольником. Все эти материалы были необычными для ПК того времени, выходили за рамки справочного издания, и определить сборник как часть ПК в привычном смысле этого слова значило бы ввести читателей в заблуждение. Впоследствии подобные случаи встречались и в практике других ГСК: вторая часть ПК Архангельской губернии на 1865 г. вышла под заглавием «Труды Архангельского статистического комитета. Том 1», а аналогичное издание Псковского ГСК на 1871 г. — под заглавием «Псковский статистический сборник».

По тематике статьи в губернских ПК весьма разнообразны и охватывают весь спектр региональных исследований, однако в составе сборников статей в ПК есть материалы, характерные именно для этого вида изданий и встречающиеся в изданиях разных губерний на протяжении десятилетий. К ним относятся, в частности, хронологические таблицы, помещение которых в ПК отражает первоначальное назначение ПК как справочных изданий. Наиболее распространенный вариант таких таблиц — хронологический перечень начальников губернии и их предшественников (воевод), а также духовных иерархов. Первые списки такого рода зафиксированы в Виленской ПК на 1852 г., где хронологический перечень православных иерархов составлен магистром С.-Петербургской духовной академии А. А. Кандидовым (впоследствии — директором народных училищ Минской губернии), а католических — доктором теологии, прелатом о. Мамертом Гербутом¹¹⁹. Среди наиболее известных ученых-составителей подобных списков назовем Е. В. Барсова (Олонецкая губерния). Широко распространенным явлением было и издание таблиц достопамятных событий в губернии. В качестве примера назовем публикацию в ПК Нижегородской губернии на 1865 г., где события сгруппированы как в традиционной для ПК форме (в прямой хронологии), так и в необычной: в виде месяцеслова (по календарным датам).

Вполне обычными для третьего варианта ПК были и общие описания губерний (статистические, исторические и т. д.), зачас-

тую (как и другие материалы в сборниках) — без подписи авторов. В тех случаях, когда история издания конкретной ПК в достаточной мере отражена в источниках, анонимность материалов находит объяснение. В этом смысле показательна статья «Статистический очерк Вологодской губернии» в ПК на 1864 без подписи автора — секретаря ГСК (кандидата Московского университета и будущего члена-основателя Костромской ученой архивной комиссии) В. Г. Пирогова. Инициатива включения этого текста в состав ПК принадлежала председателю комитета (губернатору) ген.-майору С. Ф. Хоминскому. Будучи уроженцем Западного края, он не знал местных особенностей и для управления губернией, часть которой была охвачена катастрофическим голодом, нуждался в ее описании, составление которого ГСК и поручил своему секретарю¹²⁰. Написанная в срок, явно недостаточный для обеспечения научного уровня, характерного для кандидатов Московского университета, статья представляла собой компиляцию, что автор и показал в сноске к заглавию первой части описания «Очерк истории края»: «Составлен по записке действ. чл. В. Попова, помещенной в пам. кн. Вол. губ. 1861 г. и статье профессора Победоносцева — «Местное население России. Рус. Вестн. 1862 г. № 7»¹²¹. Ставить свою подпись под такой работой у В. Г. Пирогова не было никаких оснований¹²².

В других исторических условиях написана статья переводчика Саратовского губернского правления Н. И. Костомарова «Очерк истории Саратовского края от присоединения его к русской державе до вступления на престол императора Николая I», опубликованная в изданной тем же правлением ПК Саратовской губернии на 1858 г. (Отд. 3. С. 1—59). Судя по свидетельству опального историка, зафиксированному в его «Автобиографии», у него сложились вполне корректные отношения с администрацией губернии, где автору приходилось отбывать ссылку. Очевидно, это и обусловило возможность публикации в официальном издании научной работы, написанной (с учетом цензурных обстоятельств) на уровне природных дарований Костомарова. Потому, в отличие от статьи его младшего вологодского коллеги, этот текст заканчивается обозначением фамилии автора (Н. Костомаров) и указанием на его должность по совместительству: «(Составлено в Саратов. губерн. статистическ. комитете)»¹²³. Статья освещала необычную для историографии предыдущих царствований тематику восстаний Разина и Пугачева¹²⁴. У саратовской ПК на 1858 г. были хорошие шансы на распространение в Петербурге, где в это время продавались ана-

логичные издания Киевской, Смоленской и Олонецкой губерний, однако приобрести ее можно было только в губернском центре¹²⁵, что мы объясняем как нежеланием издателя платить комиссионный сбор столичным книготорговцам, так и разумной осторожностью по отношению к текстам Н. И. Костомарова, поскольку у саратовской администрации был прецедент неприятных объяснений с петербургскими властями из-за публикации в саратовских ГВ народных песен «непристойного содержания», записанных этим автором.

Отвлекаясь от частных причин, общую причину анонимности целого ряда статей в губернских ПК мы видим в официальном характере этих изданий, ограничивавшем возможности самовыражения авторов, что приводило к негативным последствиям. Процедура публикаций, зафиксированная в протоколах пореформенных ГСК, при внешнем демократизме позволяла привести содержание статей в ПК в полное соответствие с интересами элиты и установками официальной идеологии. Мы проиллюстрируем это на примере текстов авторов, хорошо известных русскому читателю прошлого столетия.

В 1864 году великолуцкий помещик, действительный член Псковского ГСК М. И. Семевский (впоследствии — издатель «Русской старины») предложил комитету для публикации работу «О грамотности между крестьянами Псковской губернии». Автор объяснял почти поголовную неграмотность крестьянства бездействием чинов МНП и дилетантизмом отдельных представителей дворянства и духовенства, занимавшихся народным просвещением на любительском уровне. В заседании 19 марта 1864 г. Псковский ГСК, усмотрев в статье личные выпады¹²⁶, принял решение о невозможности ее публикации без комментариев (Псковские ГВ. 1864. № 16. С. 173). В результате о содержании исследования мы можем судить только по столичным изданиям: на Псковщине оно не опубликовано. После этого М. И. Семевский свои труды для издания Псковскому ГСК больше не предлагал.

В 1865 г. находившийся в ссылке П. С. Ефименко представил для публикации в Архангельский ГСК статью «Заклинания жителей Архангельской губернии». Текст был передан на экспертизу действительному члену, инспектору духовной семинарии архимандриту о. Донату, который, высказав положительную оценку, указал на неуместность в ПК прямых параллелей между языческими заблуждениями (в том виде, как они фигурируют в русском фольклоре) и истиной, заключенной в текстах Священного Писания. В результате статья была опубликована в форме, искажающей точ-

ку зрения автора на сложнейшую проблему религиозного синкретизма в системе бытового православия (текст рецензии см.: *Архангельские ГВ*. 1865. № 46. 13 нояб. С. 499—504) в приложении к ПК (*Труды Архангельского статистического комитета*. 1865 г.). В этой же связи упомянем и об отказе в публикации статей Ефименко «Опыт изъяснения народных праздников, Егорьев день и Николин день» и «Челобитье вотчины святейшего патриарха мирского посылщика Саввы Варсина и при том выписка и список с грамоты», причем первая из них была отвергнута, поскольку «речь в ней идет о поверьях общих, касающихся всей России и даже многих народных индо-кавказского времени», а вторая «не представляла никакого особенного интереса для издания статистического комитета» из-за неактуальности — как содержащая «только административные и хозяйственные распоряжения по бывшей патриаршей вотчине в Архангельской губернии»¹²⁷. По окончании ссылки П. С. Ефименко сотрудничал в научных изданиях, более лояльно относившихся к его взглядам, нежели Архангельский ГСК, которому своих работ для печати не предлагал¹²⁸.

Подобные условия публикации объясняют, почему даже в лучших статьях в ПК чувствуется некоторая недоговоренность, отмеченная и современниками. Анонимному рецензенту статьи Г. О. Минейко «Статистическое описание сельского населения и его промышленности в Архангельской губернии», помещенной в ПК Архангельской губернии на 1875 г.¹²⁹, пришлось констатировать, что из опубликованных материалов очевидна экономическая стагнация, однако секретарь ГСК воздержался от попыток дать ей какое-либо объяснение.

Переходя к проблеме динамики научного уровня статей в губернских ПК, оговоримся, что рассматривать их как явление отечественной науки (за редчайшим исключением) можно только в интервале 1850-х гг.—первого десятилетия XX в. В последнее десятилетие издательские традиции статьи в ПК явно деградировали, и столичная пресса (включая официальный «Правительственный вестник») их не замечала. Деграцию статей в ПК мы рассматриваем как составную часть кризиса издательской деятельности ГСК вследствие революционных потрясений 1905 г., приведших к либерализации законодательства о печати и создавших предпосылки для возникновения относительно независимых от администрации общественных организаций (в том числе краеведческих обществ): это привело к вполне закономерному оттоку интеллектуальных сил из бюрократизированных научно-информационных структур органов местного управления.

При всем разнообразии научного уровня статей, опубликованных в губернских ПК разных лет издания, до возникновения кризиса начала XX в. явно преобладала тенденция к его повышению, что связано с прогрессом науки. Это хорошо видно по работам кандидата Петербургского университета А. А. Спицына, вошедшего в историю северной столицы как профессор своей alma mater, а в историю родного края — как автор работ о его прошлом (от каменного века до эпохи реформ), опубликованных в «Календаре Вятской губернии» на 1882—1893 гг. По текстам работ Спицына, основанных на критике культурного слоя и письменных источников (прежде всего — актовых материалов) совершенно очевидны рост кругозора и совершенствование методики исследования автора, чьи достижения определяли облик науки и, соответственно, изданий, где он печатался¹³⁰. В данном случае это было возможно, так как изданием «Календаря Вятской губернии» тогда занимался один из лучших секретарей ГСК — коллега автора по МНП Н. А. Спасский¹³¹. Поскольку действительный член Вятского ГСК Спицын печатался в «Календаре...» и во время преподавательской работы в губернской женской гимназии, и находясь на службе в столице (в Археологической комиссии), напомним, что его столичные публикации, из содержания которых вырисовываются контуры древних народов Восточной Европы, основаны в значительной мере на документах ГСК о курганных могильниках, присланных в ответ на запросы ЦСК, а также на публикациях в ПК разных губерний.

Динамика научного уровня статей, опубликованных в ПК, может быть показана и на примере публикаций разных авторов, посвященных одной тематике, но разнесенных во времени и пространстве. Продемонстрируем его путем сопоставления статей А. К. Киркора «Литовские древности» в «Памятной книжке Виленской губернии на 1854 год» и М. В. Фурсова и С. Ю. Чоловского «Дневник курганных раскопок, произведенных по поручению г. начальника Могилевской губернии Александра Станиславовича Дембовецкого, в течение 1892 г. в уездах Рогачевском, Быховском, Климовичском, Чериковском и Мстиславском д. ст. сов. Фурсовым и старшим чиновником особых поручений при губернаторе Сем. Юл. Чоловским (Памятная книжка Могилевской губернии на 1893 год. Могилев, 1892. С. 35—83 2-й паг.).

А. К. Киркор был известным историком древностей родного края и входил в число создателей новых археологических методик¹³². Упомянутая статья относится к тому времени, когда приемы публикации археологических материалов еще не сложились,

и автору (он же — составитель ПК) пришлось экспериментировать. Текст представляет собой комментарий к виньетке, изображающей археологические предметы, найденные автором во время исследований Литвы и Белоруссии, и архитектурные сооружения. Как текст, так и изображение можно определить как реконструкцию: текст — как историко-этнографическую, где автор пытался вписать древние предметы в систему культуры, а виньетку — как графическую. Виньетка была выполнена в парижской хромофотографии Лемерсье мастером средневекового архитектурного пейзажа, постоянным участником салонов И. Муленом по рисунку исторического и жанрового живописца В. Дмоховского (Дмахаускаса), получившего художественное образование в бытность студентом Виленского университета¹³³. Статья вызвала противоречивые суждения современников (в той части, которая касается интерпретации отдельных предметов), и сама возможность подобных публикаций (комментированной виньетки) в научном издании была поставлена под сомнение, однако оптимальной модели археологического текста никто из рецензентов не предложил. В этой связи выскажем два замечания: а) в позднейших изданиях ГСК подобная форма публикаций нам не встречалась и б) техника дагерротипии прошлого века не позволяла достаточно информативно воспроизводить археологические предметы.

Статья М. В. Фурсова и С. Ю. Чоловского в «Памятной книжке Могилевской губернии на 1893 год» появилась в иных исторических условиях и представляет собой результат археологических исследований в рамках программы предстоящего археологического съезда. Кандидат Петербургского университета М. В. Фурсов, занимавший в то время должность редактора ГВ, сотрудничал в печати с 1860-х годов и был автором не одной сотни публикаций, среди которых для темы нашей статьи представляют интерес: изданные при его участии (как члена комиссии Псковского ГСК) ПК Псковской губернии начала 1860-х гг.; адрес-календарные и статистические сведения о Шавельской гимназии (где в 1865—72 гг. он состоял директором), опубликованные в ПК Ковенской губернии, где М. В. Фурсов состоял действительным членом ГСК; аналогичные сведения о Слуцкой гимназии (которой Фурсов руководил в 1872—76 гг.) в ПК Минской губернии; составленный им каталог библиотеки Могилевского ГСК (опубликованный в 1889 г. под псевдонимом М.Ф.), где учтены как местные ПК, так и полученные по обмену; статья об издании книг на русском языке в XIX в. в Могилеве, где речь идет и о ПК. Мы привели эти сведения, так как историк, журналист и педагог Фурсов не по заслугам мало из-

вестен. Что же касается его соавтора, то это — его ученик по Могилевской гимназии (где М. В. Фурсов совмещал директорскую должность с преподаванием истории, географии и других учебных предметов) выпуска 1881 г., а ко времени археологического сезона 1892 г. — кандидат Московского университета.

Раскопки велись в рамках программы организованного Московским археологическим обществом IX (Виленского) археологического съезда, по поручению почетного члена съезда, кандидата Университета св. Владимира и могилевского губернатора А. С. Дембовецкого¹³⁴, а их результаты опубликованы в виде системы текстов, включающей вышеуказанную статью, анонимный реферат М. В. Фурсова в ГВ 1892 г. и полный вариант доклада (Труды IX археологического съезда. Т. I. М., 1895).

Раскопки велись по передовой в то время методике Д. Я. Самоквасова, и в результате исследования 60 курганов центральных уездов Могилевщины М. В. Фурсову удалось выделить четыре варианта погребального обряда древних жителей Поднепровья, один из которых, по летописным свидетельствам, он интерпретировал как принадлежащий радимичам, а другой — дисперсной группе мигрантов-северян. Результаты работ, как в виде публикаций, так и, возможно, в рукописной форме, были присланы А. С. Дембовецким в Московское археологическое общество, поручившее своему члену, ученому секретарю Исторического музея В. И. Сизову произвести экспертизу. Ее результаты были публично оглашены в виде доклада 8 апреля 1893 г. На основании оценки меры добросовестности и научного значения работы, данной в докладе Сизова, 20 мая того же года Фурсов был единогласно избран членом-корреспондентом общества.

В «Дневнике археологических раскопок» сочетались черты, вызванные характером первоисточника, особенностями статьи в ПК как типе издания, а также особенностями личности автора как либерального интеллигента-педагога с почти полувековым стажем, имевшего редкий для провинции генеральский чин действительного статского советника и, соответственно, большую свободу самовыражения, чем другие авторы официального издания. В соответствии с требованиями археологии того времени был описан каждый могильник, указаны даты раскопок, местоположение, зафиксированы особенности погребений и инвентаря. В пределах, допускаемых методикой, велись стратиграфические наблюдения.

Дневник был иллюстрирован картой археологических местонахождений и хорошо читаемыми прорисовками находок. Эти

особенности работы Фурсова и Чоловского дали повод проф. В. З. Завитневичу выразить сожаление, что далеко не всегда результаты археологических исследований публикуются подобным способом¹³⁵. Наблюдения над памятниками «Живой старины» выходили за рамки общепринятых: если обычно записывались народные предания об археологических объектах, то в данном случае велись наблюдения над особенностями погребальной обрядности белорусских крестьян, в которой были выявлены следы культа огня, до некоторой степени уподоблявшие современные погребения древним могильникам¹³⁶. Здесь мы усматриваем проявление не только широты кругозора автора, но и междисциплинарного характера ПК. В этой же связи отметим суждение автора, высказанное при описании могильника у деревни Лесная, которое не вмещается в предметную область археологии, однако характерно для личности Фурсова, который полагал, что память участников известной битвы следует увековечить не в виде помпезного памятника (как это решило военное министерство), а посредством основания ремесленной школы для крестьянских детей.

Оценивая публикацию результатов могилевского сезона 1892 г. по существу, следует признать, что в интерпретации одного из вариантов погребального обряда Фурсов, по-видимому, повторил ошибку переписчика летописи, перепутавшего детали обрядности северян и кривичей, которая и была исправлена младшими современниками автора: А. А. Спицыным — по височным кольцам, а ссыльным московским историком (тогда — сотрудником Рязанской УАК) П. Н. Милюковым — по ареалу распространения обряда. Что же касается представления об исследованном районе как земле радимичей, то до сих пор его никто не поставил под сомнение.

Попутно отметим, что появление рассмотренной статьи в ПК Могилевской губернии на 1893 г. отнюдь не было случайным: это был ответ на предложение МАО ГСК Западного края принять участие в подготовке Виленского статистического съезда. Подобные по тематике публикации появились синхронно в ПК и ГВ нескольких губерний¹³⁷.

Те же прогрессивные явления, которые мы заметили для статей по археологии в составе ПК, видны и по публикациям из области «живой старины». В этом можно убедиться при сопоставлении текстов П. В. Кукольника в «Памятной книжке Виленской губернии на 1854 год» (Ч. 2. Черты из истории и жизни литовского народа. Вильна, 1854), которым принадлежит приоритет в репертуаре этнографических и фольклорных материалов губер-

ских ПК, с позднейшими аналогами П. Н. Рыбникова и Д. К. Зеленина. Как и при сопоставлении археологических текстов, мы абстрагируемся от существенных особенностей, а определим формальные, связанные с общим состоянием науки.

В этом отношении показательна реакция ученого мира Петербурга на две особенности публикации литовских фольклорных текстов, на которых основана работа П. В. Кукольника:

а) они были опубликованы только в русском переводе, а не в виде билингвы;

б) в публикации не были указаны место и дата записи, так же, как и имена исполнителей, авторов записи и переводчиков.

Реакция была различной: по поводу отсутствия текста на языке оригинала рецензент И. И. Срезневский («Известия Имп. АН по ОРЯС». 1854. Т.3, Треть 1. С. 44—45) выразил пожелание печатать иноязычный фольклор на двух языках (как это принято в Германии)¹³⁸, а анонимный критик «Отечественных записок» выразил сомнение в знании публикатором литовского языка¹³⁹. Вместе с тем, претензий по поводу отсутствия реквизитов, без которых фольклорную публикацию в наше время нельзя считать научной, никто из авторов известных нам десяти рецензий на эту ПК не предъявил: тогда были иные критерии¹⁴⁰.

Переходя к публикациям кандидата Московского университета, секретаря Олонецкого ГСК П. Н. Рыбникова, автор отдает себе отчет в том обстоятельстве, что у него нет никакой необходимости в соотнесении его работ с тогдашним состоянием науки: это сделала Петербургская Академия наук, присудившая за четырехтомник «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым (1861—1867)» Демидовскую премию. Мы же отметим, что публикациям этого автора в ПК Олонецкой губернии («Народные поверья и суеверья в Олонецкой губернии» (Памятная книжка Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1864. С. 191—207); «Из IV тома сборника былин, побывальщин и песен П. Н. Рыбникова» (Памятная книжка Олонецкой губернии на 1866 год. Петрозаводск, 1866. С. 69—104 2-й паг.) свойственны те же черты, что и процитированной работе: указание места записи и имени исполнителя.

В том же издании напечатан и текст, характеризующий особенности языка исполнителя: «Об особенностях олонцкого наречия» (Памятная книжка Олонецкой губернии на 1865 год Петрозаводск, 1865. С. 105—133). Попутно заметим, что одна из характеризующих научный уровень Олонецких ПК 1860-х гг. статей о «живой старине» «Этнографические заметки о заонежанах» (Па-

мятная книжка Олонецкой губернии на 1866 год. Петрозаводск, 1866. С. 3—37 2-й паг.) традиционно приписывается П. Н. Рыбникову¹⁴¹, однако на самом деле он был ее редактором и рецензентом, но отнюдь не автором, поскольку, согласно опубликованному протоколу ГСК, текст был предоставлен г-ном Прозоровским¹⁴².

Личность выдающегося этнографа и фольклориста 1-й половины XIX в. Д. К. Зеленина применительно к теме нашей работе можно рассматривать как связующее звено между столицей и региональными научными центрами. Основанием для такого суждения служит факт постоянного сотрудничества Зеленина как в столичных, так и в провинциальных научных изданиях (в том числе ПК), причем современники (так же, как и автор этих строк) не замечали никакой разницы в их научном уровне. В качестве примера сошлемся на мнение варшавского профессора Е. Ф. Карского, высказанное в редактируемом им журнале «Русский филологический вестник» (1905. № 2. С. 337—338), что все присланные на рецензирование работы Зеленина (как петербургские издания, так и отдельные оттиски из вятских ПК) «находятся в связи между собою» и «везде видное место уделяется обильной библиографии».

Поскольку в наиболее известной библиографической работе Д. К. Зеленина его публикации отражены далеко не полностью, мы включили в текст список его публикаций в губернских ПК, однако предваряем его общим замечанием: Зеленин как этнограф и фольклорист пользовался сравнительно-историческим методом, а потому (в отличие от публикаций П. Н. Рыбникова) сумма информации, заключенная в рамках его статей в губернских ПК, выходит за рамки одной губернии, и эта формальная особенность является показателем научного прогресса.

1. Песни деревенской молодежи, записанные в Вятской губернии Д. К. Зелениным // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1903 год. Вятка, 1902. Отд. 2. С. 19—103. Отд. изд.: Вятка, 1903.

Публикация студента Юрьевского университета¹⁴³ была замечена в столицах (Ив. Порошин // Рус. школа. 1903. Кн. 9. Критика и библиография. С. 9—12; В. И. Харузина // Этногр. обозрение. 1903. Кн. 57. № 2. С. 159. Подпись: В. Х-на) Оба рецензента отметили, что автор, в отличие от предшественников, рассматривает частушку не как проявление деградации фольклора, а как показатель развития личностного начала в народно-поэтическом творчестве и выразили согласие с этой позицией,

причем И. А. Порошин, у которого был опыт фольклорной работы на Новгородчине, отметил сложности публикации частушечных текстов, связанные с цензурным законодательством¹⁴⁴.

2. Свадебные приговоры Вятской губернии. Записаны Д. К. Зелениным // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1904 год. Вятка, 1903. Отд. 2. С. 173—208. Отд. изд.: Вятка, 1904¹⁴⁵.

3. Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии: (Этногр. и ист.-лит. очерк) // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 год. Вятка, 1904. Отд. 2. С. 1—52. Отд. изд.: Вятка, 1904. 54 с.¹⁴⁶

В статье приведены аналоги по Новгородской и Уфимской губерниям.

4. Троецыплатница: (Этногр. исслед.) // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1906 г. Вятка, 1906. Отд. 2. С. 1—51, 237—238 (доп.) Отд. изд.: Вятка, 1906. 54 с.

Написанная на вятских материалах статья содержит сопоставления, касающиеся пережитков религиозного отношения к курице у индоевропейских, финно-угорских и тюркских народов Западной и Восточной Европы.

5. К вопросу о ходе древнейшей русской колонизации в Вятский край // Там же. Отд. 2. С. 52—65, 240 (доп.). Отд. изд.: Вятка, 1906.

Статья демонстрирует возможности сравнительно-исторического метода: проблема рассмотрена путем сопоставления деталей престольных праздников, зафиксированных источниками на обширной русской этнической территории.

6. Воронежская былина о богатыре Мишуте Даниловиче: (Посв. памяти покойного академика Александра Николаевича Веселовского 10-го октября 1906 г.) // Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 г. Воронеж, 1907. Отд. 3. С. 64—71. Отд. изд.: Воронеж. 1907. 8 с.

Перепечатка и комментарии публикации Воронежских ГВ (1861. № 30). Приведены параллели по Орловщине по рукописи ОРЯС АН.

7. Талагаи (щекины) и цуканы // Там же. Отд. 3. С. 1—28. Отд. изд.: Воронеж, 1906.

О прозвищах воронежских однодворцев в сопоставлении с лексикой Тамбовской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Курской губерний. Отмечены тюркские параллели.

8. Архангельская губерния в начале XIX в. (Статистические описания губернии по современной рукописи) // Памятная

книжка Архангельской губернии на 1907 год. Архангельск. 1907. Отд. 1. С. 1—9 2-й паг. Отд. изд.: Юрьев (Дерпт), 1907.

Источниковедческое исследование рукописи 1802 г., хранившейся в собрании Юрьевского университета.

9. Александр Андреевич Спицын // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1907 год. Вятка, 1906. Отд. 2. С. 158—161.

Обзор научной деятельности. Перепечатка из журнала «Живая старина» (1906. Вып. 2).

10. Русская соха, ее история и виды. Очерк из истории русской земледельческой культуры // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год. Вятка, 1908. С. 1—136 отд. паг.

11. Географическое распространение различных видов сохи // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1909. Вятка, 1908. С. 137—189, III, [4] отд. паг.

Обе публикации являются монографией¹⁴⁷, основанной на материалах всей Восточной Европы. Среди источников — публикации в ПК различных губерний. Отд. изд.: Вятка, 1908.

12. Материалы для описания Воронежской губернии, хранящиеся в архиве императорского Русского географического общества. // Памятная книжка Воронежской губернии на 1913 г. Воронеж, 1913. Отд. 3. С. 1—56.

13. Материалы для описания Вятской губернии, хранящиеся в архиве императорского Русского Географического Общества. // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1913 год. Вятка, 1913. Лит. отд. С. 1—51. Отд. изд.: Вятка, 1913. 51 с.

Две последних статьи являются фрагментами готовившейся к печати работы Зеленина, впоследствии изданной под заглавием «Описание рукописей ученого архива императорского Русского Географического Общества» (Вып. 1—3. Пг., 1914—1916)¹⁴⁸.

Зеленин оказывал влияние на научный уровень губернских ПК не только фактом своего сотрудничества в этих изданиях, но и как их постоянный рецензент в журнале РГО «Живая старина»¹⁴⁹, причем к элементам новизны в текстах ПК автор относился не менее внимательно, чем его критики — к его аналогичным публикациям. Мы покажем это на двух примерах.

В конце первого десятилетия XX в. Вятский ГСК опубликовал работу Н. М. Васнецова «Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора» (Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1907 год. Вятка, 1906. Отд. 2. С. 1—72, Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год. Вятка, 1908. Отд. 2. С. 147—187; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1909 год. Вятка, 1908. Отд. 3. С.

1—35), вышедшую также и отдельным изданием (Вятка, 1909. 357 с.). В рецензии на эту работу (Живая старина. 1910. Вып. 3. Отд. 3. С. 260—262) Зеленин отметил адекватность определения языкового ареала (не совпадавшего с границами губернии), значение словаря как первоисточника, так как «всю лексику сам словарник слышал из народных уст», и большое количество примеров словоупотребления. Попутно рецензент выразил сожаление об отсутствии в словаре лексики, относящейся к областям народных промыслов (за исключением зодчества) и детских игр. Завершается текст биографической справкой о лексикографе — вятском учителе Николае Михайловиче Васнецове (1845—1893), который, в отличие от брата — художника Виктора Михайловича, — был неизвестен за пределами губернии.

В рецензии на статью А. М. Путинцева «Талагайская свадьба» (Памятная книжка Воронежской губернии. Воронеж, 1913. С. 94—134) об обычаях однодворцев Ново-Хворостинской волости Коротоякского уезда и опубликованной в том же журнале (1913. № 1/2. С. 213—214), Зеленин обратил внимание на известный ему как по собственным полевым исследованиям, так и по литературным источникам факт вытеснения из свадебного репертуара старинных обрядовых песен. «Поют также и новейшие „страдания“, или „ихахошки“, которых в рассматриваемой статье А. М. Путинцева приведено 125 номеров. Это — едва ли не самое большое в нашей литературе собрание южно-великорусских страданий, которых вообще напечатано пока весьма мало»^{149а}.

Научный прогресс оказывал положительное влияние на уровень публикаций в ПК, однако официальный характер этих изданий зачастую приводил к противоположным тенденциям. От сотрудничества с ПК уклонялись ученые, оппозиционно относившиеся к сложившейся в России системе управления (А. П. Шапов, П. И. Якушкин, И. Г. Прыжов, Н. М. Ядринцев, В. Н. Тан-Богораз, В. И. Иохельсон и другие), эта «ниша» заполнялась любителями. В результате разнообразие уровня публикаций в ПК значительно превышало допустимое в изданиях РГО, МАО и других научных обществ. Особенно ярко это проявлялось во время идеологических кампаний, что мы попытаемся показать по выборке текстов, относящихся к празднованию 300-летия дома Романовых, полученной путем сплошного просмотра губернских ПК на 1913 и 1914 гг.

1. Голубцов Н. А., Попов А. Н. Архангельский край в Смутное время (1598—1613 гг.) // Памятная книжка Архангельской губернии на 1913 год. Архангельск, 1913. С. 1—71.

Компиляция по опубликованным источникам выполнена секретарем ГСК Н. А. Голубцовым и студентом психоневрологического института А. Н. Поповым. Большая часть прилагаемых актов ранее опубликована. Указано место хранения неопубликованных актов в подборке «Документы о денежных сборах на ратных людей» (С. 46—47).

2. Литвинов В. В. Празднование 300-летия дома Романовых в г. Воронеже и Воронежской губернии // ПК Воронежской губернии на 1914 г. Воронеж, 1914. Отд. 4. С. 121—157.

Автор — делопроизводитель отдела народного образования уездной земской управы, действительный член ГСК.

Составлено по делу ГСК № 8 за 1913 г. с использованием материалов газет «Воронежские ГВ», «Воронежский телеграф», «Дон». Содержит информацию о роли правительства, местной администрации и земства в праздновании юбилея. «Юбилейная литература» (С. 155—157). 16 записей. Местные издания.

3. Маяков Ф. В. К вопросу об избрании на царство Михаила Федоровича Романова // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1913 год. Вятка, 1913. С. 37—44 1-й паг.

Автор — учитель истории и географии мужской гимназии. Статья составлена по опубликованным источникам. Специфика Вятского края не отражена.

4. Щелкунов С. [3]. Сношения донских казаков с Москвою в царствование Михаила Федоровича // Памятная книжка Области Войска Донского на 1913 г. Новочеркасск, 1913. С. 1—27 отд. паг. Прил.: список проезжих станиц, посланный казаками в Москву в 1613—1645 гг. (С. 20—24), список посольств, отправленных из Москвы к казакам на Дон за 1613—1645 гг. (С. 24—27).

Текст и приложения составлены по книгам Донских дел из Главного архива МИД.

5. Торжественное празднование в г. Иркутске и Иркутской губ. 300-летия царствования дома Романовых // Памятная книжка Иркутской губернии [на 1914 г.]. Иркутск, 1914. С. 28—40 2-й паг.

Хроника. Авторы и источники не указаны.

6. Унковский С. Я. Посещение г. Калуги Великим князем Михаилом Николаевичем в 1856 году: (Записки современника — С. Я. Унковского) // Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. Калуга, 1912. Доп. к лит. отделу ПК Калуж. губ. на 1913 г. С. 1—3.

Автор — губернский предводитель дворянства, информация протокольного характера. В комментариях публикатора (В. Н. Халаева) — сведения о мемориальной доске в память визита.

7. Похвала царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу Романову, Костроме-городу и монастырю Ипатскому // Справочная книжка Костромской губернии и календарь на 1913 год. Кострома, 1913. С. [29] 1-й паг.

Стихотворение, найденное членом ГУАК Н. Н. Виноградовым на копии царской грамоты Б. Сабину на 30 нояб. 1619 г. Место хранения не указано.

8. Виноградов Н. Н. Род бояр Романовых и их отношение к Костромской земле // Там же. С. 31—45 1-й паг.

Использованы документы Московского архива Министерства юстиции и Костромской городской управы. Уточнены сведения о локализации владений рода Романовых.

9. Сказание о спасении от поляков Михаила Федоровича Романова и о подвиге крестьянина Ивана Сусанина: (Записано в 1912 г. Н. Н. Виноградовым, членом совета Костромской ученой архивной комиссии) // Там же. С. 49—53 1-й паг.

Отмечена уникальность исполнения. Имя сказителя (ямщика) не названо. Заметна литературная обработка.

10. Виноградов Н. Н. Хождения царя и великого князя Михаила Федоровича и матери его великой инокини Марфы Ивановны на поклонение мощам новопрославленного чудотворца Макария в Макариев-Унженский монастырь, в 1619 году // Там же. С. 54—56.

По опубликованным источникам и документам из собрания автора.

11. К трехсотлетию дома Романовых (1613—1913 гг.) // Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1913 год. Минск, 1912. С. 44—46 1-й паг.

Краткий очерк истории династии. Автор не указан.

12. К трехсотлетию царствования дома Романовых // Памятная книжка Могилевской губернии на 1913 год. Могилев, 1913. С. 13—XXXI. Подп.: Н. Л. Прил.: [Портреты царствовавших особ из дома Романовых, с указанием важнейших событий, происходивших в каждое их царствование].

Предыстория воцарения рода Романовых. В тексте — глухие ссылки на литературные источники.

13. Узник-мученик из рода Романовых. (К 300-летию царствования в России дома Романовых) // Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1913 год. Пермь, 1912. Отд. «Памятная книжка». С. 3—21. Подпись В. В. принадлежит уральскому краеведу и журналисту В. А. Весновскому.

О ссылке в с. Ныроба сокольничего Михаила Никитича Романова. Воспроизведены эпиграфические источники.

14. Яблонский Н. С. Памятка о светлом дне 31-го августа 1912 года // Памятная книжка Смоленской губернии на 1913 год. Смоленск, 1912. Прил. 4. С. 1—48.

О посещении царской семьей Смоленска в связи с предстоящим юбилеем. Историческая часть о связях Романовых со Смоленщиной написана по трудам историков, основная часть — хроника. Автор — старший помощник правителя канцелярии губернатора, секретарь ГСК.

15. Празднование 300-летия царствования дома Романовых в гор. Сувалках 21 февраля 1913 г. // Памятная книжка Сувалкской губернии на 1913 год. Сувалки, 1913. С. 317—328.

Хроника. Автор не указан.

16. Празднование 300-летия царствования дома Романовых в Тобольской губернии в феврале месяце 1913 года // Памятная книжка Тобольской губернии на 1914 год. Тобольск, 1914. Прил. С. 1—6.

Хроника.

Система юбилейных текстов в губернских памятных книжках, представленная в этом списке в виде, близком к исчерпывающей полноте, производит удручающее впечатление и свидетельствует о глубоком кризисе, в котором находились ГСК как научные центры в последние годы своего существования. Если говорить о системе в целом, то она явно выпадала из области науки в сферу агиографии: в текстах нет объективности, свойственной научной биографии. Вместе с тем они интересны для современных историков как официальной идеологии начала века, так и советской печати, так как традиции потока юбилейной литературы в нашем Отечестве восходят к царствованию Романовых.

Если говорить о деталях, то новое историческое знание, относящееся к XVII столетию, содержатся в трех из 16 текстов, а именно в статьях С. Щелкунова (№ 4), включившего в научный оборот документы по истории донского казачества, Н. Н. Виноградова (№ 8), уточнившего представления об исторической географии Костромской земли; и подписанной псевдонимом «В. В.» статье в Пермской ПК, поскольку в ней опубликованы эпиграфические тексты. Научный характер двух других публикаций Н. Н. Виноградова (№ 7 и 9) внушает большие сомнения, так как первый текст воспроизведен по недатированной рукописи, а во втором случае не названо имя сказителя, что представляет отход

от рыбниковской традиции (тем более удивительный, что, по свидетельству автора записи, тема спасения Михаила Романова Иваном Сусаниным находится за пределами костромского фольклора). Из других публикаций наиболее интересна статья В. В. Литвинова (№ 2), дающая представление об организационной подоплеке романовских торжеств, и другие материалы (№ 5, 15, 16). Компилятивная статья Ф. В. Маякова (№ 3) является показателем деградации издательской деятельности Вятского ГСК, о которой мы говорили в связи с публикациями статей Герцена, Спицына и Зеленина.

На основании анализа перечисленных и подобных им текстов мы пришли к заключению, что реорганизация ГСК и прекращение их традиционных изданий в форме ПК в результате событий 1917 г. была предрешена их кризисным состоянием в предреволюционные годы.

Официальным характером губернских ПК мы склонны объяснять их сравнительно редкую для XIX — начала XX в. кодикологическую особенность: множественность пагинации, придающую им черты формального сходства с конволютами типа мазаринад и вынуждающую описывать ПК подобно редкой книге XVII—XVIII столетий. Если обычно в российской издательской практике количество пагинаций равнялось двум-трем (отдельно — для вступления, основной части, приложения, в периодике — часть официальная и неофициальная), то в губернских ПК оно доходило до 10—15. На наш взгляд, множественность пагинаций объясняется тем обстоятельством, что, в отличие от частных изданий, вопрос о составе ПК решался не составителями (секретарями ГСК, редакторами ГВ), а издателем: местной администрацией, которая, в конечном счете, и определяла, из каких компонентов будет состоять сборник справочных сведений и научных текстов, каким являлась губернская ПК.

Таким образом удавалось повысить оперативность подготовки издания и экономить время на редакторскую работу.

Способы распространения губернской ПК нового поколения отчасти были унаследованы от традиции предыдущих вариантов (адрес-календаря и ПК по отчету), отчасти дополнены новыми. Подобно адрес-календарям, они рассылались по присутственным местам¹⁵⁰, продавались частным лицам как через органы местного управления (в том числе полицию), так и через частную торговлю¹⁵¹. Так же, как и ПК по отчету, они направлялись в столичные библиотеки (РГО, MAO и др.) в качестве даров. В отличие от адрес-календарей, они, как правило, поступали (по закону об

обязательном экземпляре) в Публичную библиотеку. Губернские ПК нового поколения отправлялись издателями на рецензирование в редакции ведущих столичных изданий¹⁵², причем в откликах прессы, наряду с характеристикой материалов, представлявших интерес для читателей вне зависимости от места жительства, как правило, указывался издатель, а в отдельных случаях — и продажная цена. Эта информация (так же, как и рекламные объявления провинциальных издателей в столичной прессе) предоставляла возможность читателям столичной периодики приобрести ПК по месту издания.

Начиная с 1860-х гг. ПК были предметом обмена между издателями, обусловленного необходимостью унификации статистических исследований. К предыстории подобного способа распространения следует отнести обмен Смоленского ГСК ПК 1850-х гг. на столичные издания. Приоритет Смоленского ГСК в этом отношении связан как с благотворительной целью изданий¹⁵³, нуждавшихся в рекламе, так и с ранней, по сравнению с другими губерниями, датой основания библиотеки ГСК¹⁵⁴, нуждавшейся в пополнении фондов. Идея обмена изданиями ГСК впервые была высказана в Курской губернии в 1861 г. (имелись в виду только отчеты и протоколы)¹⁵⁵. В практической реализации этой идеи заметную роль сыграл СГСК, получавший в 1860-х годах в обмен на свои издания почти все ПК провинции (см.: От СПб. столичного и губернского статистического комитета // Северная почта. 1865. № 266. 5 дек. С. 1062—1063). Об эффективности обмена этими изданиями между ГСК дает представление корреспонденция из Вологды от 4 июля 1868 г. (С.-Петербургские ведомости. 1868. № 204. 24 июля. С. 1. Подп.: М. Д.). Ее автор пытался защитить крестьян Пудожского и Каргопольского уездов, бежавших от голода, от обвинений в «лени и праздности» (Северная почта. 1868. № 132. 30 июня. С. 526.) посредством ссылки на сведения о деградации почвы, состоянии промыслов и хлебных ценах в ПК Олонецкой губернии на 1867 г. (поступившей в Вологодский ГСК по обмену).

В 1850-х — 60-х гг. губернские ПК нового поколения входили в ассортимент товаров столичного книжного рынка. Об этом можно судить как по сообщениям о местах продажи в Петербурге и ценах, которые мы неоднократно встречали в газетных рецензиях (Северная пчела, Русский инвалид¹⁵⁶, Санкт-Петербургские ведомости¹⁵⁷ и др.), так и по специальной библиографической периодике. «Русский библиографический листок, журнал литературных новостей, книжной торговли, типографского

искусства», издаваемый придворным книгопродавцем А. Смирдина (сыном) и комп., гарантировавший возможности приобретения всех поименованных книг в магазине Смирдина (Невский пр., дом Гамбса), помещал рецензии, в числе прочих товаров, на новейшие издания ПК Киевской (1858. № 11. С. 3) и Олонецкой (1858. № 12. С. 2—3) губерний. С 1860 по 1867 г. ПК постоянно аннотировались и рецензировались в журнале «Книжный вестник» по причинам, изложенным в объявлении: «Губернским статистическим комитетам. Редакция согласна взять на себя комиссию по 10 экз. Памятных книжек и стараться в распространении их, только просит непременно сообщать цены книг»¹⁵⁸. Состав книготорговых заведений, издававших журнал, менялся, однако мы приведем список магазинов, гарантировавших продажу всех проаннотированных в журнале изданий, помещенный на той же странице журнала (в номере, разрешенном цензурой 25 октября 1861 г.): «В С.-Петербурге — Сеньковского и Ко (в Большой Морской); в № 20, на Невском просп.: Ю. А. Юнгмейстера, товариществом «Общественная польза», д. № 4 А. И. Давыдова, придворного книгопрод. А. Смирдина, в Гостином дворе — Я. А. Исакова, И. Г. Овсянникова, М. О. Вольфа, Битепажа и Калугина, Лермантова и Ко (в Караванной ул.); в Москве — Черенина (на Никольской), Ф. О. Свешникова (на Страст. бульваре), А. И. Глазунова (на Кузнецком мосту). Редактор-издатель И. Сеньковский». Список не является исчерпывающе полным: здесь не указан петербургский магазин Печаткина и Кельчевского, где продавалась ПК Новгородской губернии на 1864 г. (Северная почта. 1864. № 90. 23 апр. С. 301.). ПК Санкт-Петербургской губернии на тот же год продавалась, помимо СГСК, также в магазинах Анисимова и Глазунова, со скидкой книготорговцам 15% при номинале 1 р. (Там же. 1864. № 116. 24 мая. С. 446).

О содержании большинства губернских ПК 1860-х гг. давали представление рецензии и аннотации, авторами которых в разное время в журнале «Книжный вестник» были В. И. Межов, журналист Я. О. Ивановский, литературовед и библиограф П. А. Ефремов, заведующий Русским отделением Публичной библиотеки А. А. Стойкович¹⁵⁹.

На рубеже 1860-х—70-х гг., судя по умолчаниям в источниках, торговля губернскими ПК в столичных книжных магазинах прекратилась, что, на наш взгляд, связано с двумя обстоятельствами: а) высокой мерой риска в частной торговле товаром ограниченного спроса¹⁶⁰, б) сложным финансовым положением из-

дателей, не имевших возможности оплачивать комиссионный сбор и рекламные объявления.

Завершая тему способов распространения ПК нового поколения, отметим, что мы не встретили их описаний ни в каталогах библиотек учебных заведений, ни в списках литературы, рекомендуемой МНП. Эта лакуна вполне закономерна, поскольку губернские ПК, будучи изданиями органов местного управления, не несли функции научно-популярной литературы. В этой же связи отметим, что в известных нам источниках (документах ГСК, придворной хронике) нам не приходилось сталкиваться со свидетельствами использования губернских ПК в качестве памятного подарка членам императорской семьи и другим высокопоставленным особам¹⁶¹, хотя другие книги местной печати использовались и в качестве даров. Из свидетельств провинциальной печати процитируем корреспонденцию о визите американского консула в Москве Юджина (Евгения Георгиевича) Скайлера во Владимир 21—22 февраля 1868 г. По сообщению газеты «Владимирские губернские ведомости» (1868. Ч. неофиц. № 9. 2 марта. С. 1—2.; перепечатано: Северная почта. 1868. № 93. 10 марта. С. 2), американский консул «посетил редактора неофициальной части губернских ведомостей [К. Н. Тихонравова] (...) и получил от него разные описания старины Владимирской, помещенных им в изданиях статистического комитета. (...)». Названий подаренных книг в источнике нет, однако единственное отдельное издание текста К. Н. Тихонравова, посвященное владимирским древностям, в заглавие которого входит слово «описание» — это «Успенский Княгининский девичий монастырь во Владимире Кляземском» (Описание сост. К Тихонравовым. Владимир, 1861), которое, судя по надписи на титульном листе, представляет собой «извлечение из Памятной книжки Владимирской губернии на 1862 год»¹⁶².

Мы считаем факт подарка фрагмента губернской ПК официальному представителю зарубежного государства исключительно редким явлением и связываем его с общеизвестным интересом американского консула к русской культуре, выразившимся в выполненных им первых английских переводах шедевров русской прозы: И. С. Тургенева («Fathers and Sons». N. Y., 1867) и Л. Н. Толстого («The Cossacks». N. Y., 1878). Ю. Скайлер так же, как и даритель, серьезно занимался и русской историей, о чем свидетельствует его двухтомник «Peter the Great» (1884)¹⁶³.

Нам встречались и другие свидетельства известности ПК за рубежом, к которым относятся как упоминания в отчетах ГСК о реализации части их тиража за границей¹⁶⁴, так и перепечатки и рецензии на ПК в иностранной прессе¹⁶⁵, однако на современной стадии исследования ПК как типа издания мы не считаем проблематику распространения губернских ПК за пределами Российской империи приоритетной. К числу первоочередных проблем мы бы отнесли следующие:

1. Изучение истории издания каждой ПК в отдельности, которое позволило бы решить две задачи: а) уточнить меру адекватности действительности входящих в них текстов и, соответственно, способы их источниковедческой критики и б) определить причины прекращения их издания (в отдельных губерниях — задолго до 1917 г.). На современной стадии исследования наиболее общей причиной прекращения издания ПК нам представляется несовпадение идеальной ритмичности составляющих компонентов: если адрес-календарь, справочный и статистический разделы было целесообразно издавать как ежегодник, то сборники статей краеведческого содержания, по мере накопления материала — как продолжающееся издание, подобное Нижегородскому, Олонецкому или Вологодскому сборникам. Другими причинами нам представляется недостаточная оперативность статистической информации (обусловленная скудным уровнем финансирования статистических комитетов), низкий уровень спроса населения провинции, не привыкшего пользоваться справочными изданиями, а в иномациональных районах — незнакомство значительной части населения с языком местного управления, на котором издавались ПК.

2. Определение меры провинциализма этих изданий, что предполагает исследование биографий их составителей и авторов, а также определение первоисточников текстов и анализ откликов в столичной прессе.

3. Изучение факторов, влиявших на региональные особенности губернских ПК как на уровне личности их издателей, составителей и авторов, так и с учетом особенностей внутренней политики империи в разных регионах.

4. Исследование ведомственной специфики губернских ПК путем сопоставления со сходными изданиями иных ведомств и частных лиц.

5. Историографические исследования, начиная с первых текстов такого рода (годовых отчетов статистических комитетов, историй ГСК, составленных по запросам ЦСК) и кончая работами современных авторов.

6. Как предварительное условие решения перечисленных проблем — создание указателя литературы по истории издания и распространения губернских ПК.

В заключение автор этих строк выражает надежду, что в обозримом будущем опыт издателей двух с половиной тысяч губернских ПК будет использован администрацией субъектов Российской Федерации для создания нового варианта ПК, приспособленного к современным условиям управления и представляющего интерес для широкого круга читателей.

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Памятные книжки губерний и областей Российской империи», осуществляемого Российской национальной библиотекой при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 97—01—00263). Автор признателен руководителю работы по проекту Н. М. Балицкой и сотруднику РГИА Б. М. Виттенбергу за замечания и консультации.

Примечания

¹ Словари и энциклопедии памятными книжками никогда не назывались.

² До реформы ГСК нач. 1860-х гг. эта должность называлась «Производитель работ».

³ Годовая дата в заглавии, в отдельных случаях, создает иллюзорное представление о повсеместном ежегодном издании губернских ПК. (см., напр., статью «Губернские и областные статистические комитеты» // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия. Т. 1. М., 1994. С. 652.

⁴ Составлены производителем работ ЦСК Е. К. Огородниковым, подписаны министром внутренних дел гр. С. С. Ланским.

⁵ См., напр.: Литвинов В. В. Первая памятная книжка Воронежской губернии (1856—1906). Ее содержание и сотрудники. // Памятная книжка Воронежской губернии на 1906 г. Отд. III. С. 72—107. Он же: Памятные книжки Воронежской губернии (1856—1906 г. г.), их содержание и сотрудники: (историко-биографический очерк) // То же, на 1908 г. Отд. III. С. 30—98; ...на 1909 г. Отд. 3. С. 1—112.

⁶ По официальной дореформенной терминологии — члены-корреспонденты, после реформы — действительные члены.

⁷ В качестве примера приведем выплату П. С. Ефименко 50 р. сер., представившего для публикации статьи по этнографии поморов, с целью «дать ему тем возможность продолжать свои литературные занятия». В Архангельском ГСК оплата печатного листа варьировалась от 10 до 20 р. (Постановления Архангельского губернского статистического комитета. 12 октября 1863 года // Архангельские ГВ. 1863. Ч. неофиц. № 46. 16 нояб. С. 400). Симбирский ГСК через два года нашел возможность из штатной суммы в 2 000 р.

«отделить сумму в 300 руб. только за плату корреспондентам за статистические материалы» (Из Симбирска // Сев. почта. 1865. № 50. 6 марта. С. 198).

⁸ Губернские памятные книжки рекламировались, как правило, по месту издания, однако бывали и исключения: подписчикам Ярославских ГВ 1850-х сообщалось о местах продажи ПК соседних губерний. Согласно газетным объявлениям, желающим приобрести «Справочную книжку для Вологодской губернии на 1855 год» (цена от 50 до 65 коп., в зависимости от качества переплета) предлагалось обращаться в Вологодскую губернскую типографию либо в городнические правления уездных городов Вологодской губернии (Ярославские ГВ. 1855. Ч. неофиц. № 20. 14 мая. С. 151); ПК Нижегородской губернии на тот же год (ц. 1 р.), изданная в пользу детских приютов, продавалась в Нижегородской губернской типографии (Ярославские ГВ. 1855. Ч. неофиц. № 29. 16 июля. С. 228.); Адрес-календарь (...) Ярославской губернии на 1855 год продавался в ГСК за 50 коп. (там же. № 2. 26 февр. С. 61 № 10. 12 марта. С. 82).

⁹ Нам удалось выявить значительное количество откликов прессы на ПК, отсутствующих в работе Межова «Труды Центрального и губернских статистических комитетов» СПб. 1875.; однако полного представления о репертуаре рецензий у нас нет.

¹⁰ Для понимания семантики словосочетания «Памятная книжка» 1840-х годов показательно рекламное объявление об издании «Памятной книжки Ковенской губернии на 1845 г.» в Ковенских ГВ, написанное, вероятно, редактором газеты и составителем книжки А. Ф. Михневичем, где понятия «ПК», «АК» и «Списки чинов ... губернии» фигурируют как синонимы. Объявление тем более интересно, что в известных книгохранилищах ковенские ПК 1840-х годов отсутствуют, а имя одного из первых составителей подобных изданий в империи мы установили по анонимной рецензии А. И. Артемьева на ПК Ковенской губ. 1860 г., помещенной в ЖМВД.

¹¹ Первое издание такого рода в системе МВД опубликовано во Пскове в 1841 г. О читательском назначении этой книги дает представление рекламное объявление: «Редакция Псковских губернских ведомостей извещает г. г. читателей Псковской губернии, что «Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии вышел из печати и продается по 75 коп. сер. за экземпляр с пересылкой. Желающие купить могут обращаться в губернскую типографию с требованиями своими заблаговременно, в особенности уездные присутственные места, потому что список напечатан в небольшом числе экземпляров» (Псковские ГВ. 1841. Прибавл. № 14/15. 3 апр. С. 30; № 16. 16 апр. С. 89; № 17. 23 апр. С. 96.). Среди аналогов и предшественников в других ведомствах отметим «Адрес-календарь Оренбургского края», изд. в 1835 г. в тип. штаба Оренбургского корпуса, и, по нашему предположению, являющийся типологически сходным с А—К губерний и областей региональным справочником военного ведомства.

¹² По результатам последних выборов зачастую издавались дополнительные листы, подлежащие рассылке покупателям ПК. См., например, рекламное объявление о ПК Смоленской губернии на 1856 год. (Смоленские ГВ. 1856. Ч. неофиц. № 24. 16 июня. С. 158—159; № 25. 25 июня. С. 167; № 26. 30 июня. С. 174—175).

¹³ Санкт-Петербургский столичный и губернский статистический комитет (далее — ГСК) при составлении ПК на 1863 г. собирал информацию о личном составе присутственных мест, так же, как и о богоугодных и благотворительных заведениях, местах-посредниках между спросом и предло-

жением, комиссионерских конторах и акционерных компаниях посредством обращения к соответствующим организациям в печати. (См., напр., «Северная почта. 1862. № 278. 21 дек. С. 1126).

¹⁴ Так поступал секретарь Псковского ГСК нач. 1880-х Н. А. Строкин.

¹⁵ Описание 6-ки МВД, составленное в 1850-х производителем работ ЦСК А. И. Артемьевым, хранится в его личном архивном фонде РНБ.

¹⁶ Часть этих изданий, озаглавленная как «Списки чинам»..., описана в аннотированном указателе: Раздорский А. И.: Общие печатные списки должностных лиц губерний и областей Российской империи (1841—1908): Библиогр. указ. СПб., 1999. (в печати); другая часть (озаглавленная «Адрес-календарь») — в книге: Балацкая Н. М., Раздорский А. И. «Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836—1917): Предварительный список. СПб., 1994. (Учтено 2255 изданий ПК). При разграничении составители руководствовались мнением издателей о принадлежности А—К к кругу ПК.

¹⁷ Тираж установлен по рекламному объявлению (Архангельские ГВ. 1850. Ч. неофиц. № 14. [8 апр.]. С. 103—104. Помимо обычной информации о цене (75 коп.) и месте продажи (губернское правление), текст содержит уникальные для печати того времени сведения о порядке издания (программа представлена гражданским губернатором В. Ф. Фрибесом «на благоусмотрение» министра внутренних дел, который, «по предварительном сношении с г. министром народного просвещения изволил разрешить издание этой книжки за счет типографии губернского правления {...}»). Далее следовало разъяснение издателя: «Продолжение издания ее, на будущее время, зависит от благосклонного внимания к ней жителей губернии, так как типографская сумма может употребляться только заимообразно, и должна быть пополнена выручкой от продажи напечатанных экземпляров».

Тираж архангельской ПК на 1850 г. сопоставим с количеством подписчиков «Саратовских ГВ» 1859 г. (221) засвидетельствованным редактором Д. Л. Мордовцевым (Д. М. Местные заметки // Саратовские ГВ. 1860. Ч. неофиц. № 37. 10 сент. С. 324.

¹⁸ Согласно объявлению редакции Новороссийского календаря на 1857 год, книга продавалась у директоров гимназий и штатных смотрителей уездных училищ за рубль серебром (Одесский вестник. 1856. № 142. 20 дек. С. 211)

¹⁹ Маршрутная книжка Российской империи, изд. почтовым департаментом, испр. по 1 марта 1860 г., в соответствии с предписанием департамента № 6516, продавались в почтовых конторах (Саратовские ГВ. 1860. Ч. неофиц. № 26. 25 июня. С. 229).

²⁰ Так распространялся «Адрес-календарь Оренбургского края на 1852 г.» по цене от 1 р. до 1 р. 50, в зависимости от качества бумаги. (Оренбургские ГВ. 1851. Ч. офиц. № 51. Отд. 2. 22 дек. С. 225—226).

²¹ Полиция занималась книжной торговлей еще до возникновения этого типа издания. В качестве примера приведем циркулярное предписание Вятского гражданского губернатора от 3 июня 1838 г., адресованное городничим и земским исправникам, относительно распространения, по предложению министра внутренних дел, составленного с благотворительной целью по официальным источникам И. И. Пушкиревым «Указателя С.-Петербургга и уездных городов С.-Петербургской губернии». (Вятские ГВ. 1838. Ч. офиц. № 27. 2 июля. С. 244—252).

²² Единственное из пореформенных изданий ПК (Уфимский календарь на 1876 г.), отличавшееся от аналогов отсутствием А—К, было выпущено с благотворительной целью.

²³ Полное библиографическое описание упоминаемых ПК см. в изд.: Ба-лацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836—1917): Предварительный список. СПб., 1994, подг. при участии, в числе других сотрудников РНБ, автора этих строк.

²⁴ Судя по денежному отчету за 1865 г., составленному П. Н. Рыбнико-вым как секретарем Олонецкого ГСК, за продажу сборника олонецкого фольклора статистический комитет выручил 206 рублей (Олонецкие ГВ 1866. № 11. Ч. неофиц. 19 марта. С. 200—201). По отчету за 1866 г. его преемника (А. И. Иванова), выручка от продажи этого сборника (254 р. 10 коп., из которых, по соглашению, составителью причиталось 157 р. 26 коп.), была выше, чем от продажи ПК на тот же год (206 р.).

²⁵ Брошюра «Воспоминания о Ломоносове» была роздана бесплатно 5 апреля 1865 г. его землякам в количестве 100 экз. (Празднование столетней памяти Ломоносова на месте его рождения, в дер. Денисовка. // Сев. почта. 1865. № 103. 15 мая. С. 411).

^{25a} П. П. Нейдгардом были составлены «Списки земельных владений» уездов: С.-Петербургского (1865), Петергофского (1865), Новолодожского (1866); его помощником Н. П. Дорогиным — Ябургского уезда (1867).

²⁶ Должность секретаря СГСК занимал член РГО П. П. Нейдгардт, полномочия губернатора были им делегированы избранному по его предложению помощнику председателя — статистику и историку Е. П. Карновичу, действительными членами СГСК состояли К. С. Веселовский, А. И. Артемьев и др. ученые. Журнал заседания СПб. СГСК за № 2 от 22 нояб. опубликован отд. приложением к неофиц. части СПб. ГВ. 1865. № 51. 18 дек.

²⁷ Согласно рекламному объявлению, часть тиража «Списка о штатных чиновниках Костромской губернии», исправленного по состоянию на 20 июня 1849 г., предназначенного для свободной продажи в губернской типографии по цене 70 коп., называлась «запасными книжками» (Костромские ГВ. 1849. 1849. Ч. неофиц. № 29. 30 июля. С. 277—278). Сведениями о свободной продаже костромских аналогов 1848 и 1850 мы не располагаем.

²⁸ Редакция наиболее распространенной в генерал-губернаторстве местной газеты сообщила о местах продажи в Вильно: Губернский статистический комитет, книжные магазины Завадского и Сыркина. (Виленский вестник. 1866. № 134. 28 нояб. С. 535). Книга продавалась по 2 р. 50 коп. с пересылкой. Для сравнения укажем цены на справочные издания в киевском магазине Должикова по состоянию на 1856 г.: «Месяцеслов. Календарь на 1856 г.» (изд. АН). — 1 р.; Адрес-календарь. Общая роспись (...) 1856. Т. 1—2. — 6 р.; Календарь или месяцеслов на 1856 г. Житомир. тип. Волын. губ. правл. 1855. — 25 коп.; ПК Киевской губернии на 1856 г. (включавшая также адрес-календарь) — 1 р. 50 коп.

²⁹ По свидетельству рецензента этого издания П. А. Гильдебрандта, в соответствии с предписанием начальника края присутственные места были обязаны предоставить издателю всю необходимую информацию к декабрю предстоящего года, однако это было сделано со значительным опозданием (в особенности — по Ковенской и Гродненской губерниям), с пропусками и ошибками (Виленский вестник. 1869. № 32. 22 марта. С. 129).

³⁰ В конце XIX в. отсутствие именного указателя к А—К уже считалось недоработкой. См. рецензию на ПК Минской губернии на 1881 г.: Виленский вестник. 1881. № 41. 25 февр. С. 1.

³¹ Руководителем статистической службы МВД на правах директора департамента был проф. К. С. Арсеньев. Проф. Арсеньев проявлял интерес к проблеме влияния современного транспорта на развитие прилегающих территорий, чем, возможно, и объясняется правительственная санкция на издание статистического ежегодника в губернии на трассе строившейся Николаевской железной дороги.

³² Циркулярное предписание г. начальника губернии (А. П. Бакунина) городничим и земским полициям относительно составления годового отчета // Тверские ГВ. 1845. Ч. офиц. № 15. 14 апр. С. 94—95. По этому источнику установлено и авторство А. П. Бакунина первой публикации на основе сведений, собранных по ходу составления ПК: Краткий взгляд на состояние мануфактурной промышленности Тверской губернии в 1844 году // Тверские ГВ. 1845. Ч. неофиц. № 17. 28 апр. С. 56—61; № 17. 28 апр. С. 56—61; № 18. 5 мая. С. 63—68. 5 подп.

³³ Укажем первые публикации: Б. п. Состояние мануфактурной промышленности Тверской губернии в 1845 году // Тверские ГВ. 1846. Ч. неофиц. № 36. 14 сент. С. 176—180; № 37. 21 сент. С. 182—183; № 48. 28 сент. С. 185—190 (в тексте указана должность автора); (Калмыков С.) О состоянии мануфактурной промышленности в Тверской губернии в 1845 г. // Журн. мануфактур и торговли. 1846. Ч. 3. № 9. Сент. Отд. IX. С. 312—434. (Авт. указан в подзаголовке: «Сост. Тверской губ. механик Калмыков»).

³⁴ В неофициальной части Тверских ГВ (№ 40. 6 окт. С. 141), упоминалось приложенное к номеру объявление об издании «Памятной книжки на 1846 год», однако, по всей вероятности, здесь имелось в виду издание типографии военного министерства.

³⁵ Экономическая статистика в русской лексике прошлого века чаще называлась промышленной, что предполагало включение в это понятие также реалей, относящихся к торговле, ремеслам, сельскому хозяйству и транспорту.

³⁶ Автору, в силу обстоятельств, не удалось получить законченного среднего образования, но это не повлияло на решение комитета, так как конкурс был анонимным. Впоследствии В. А. Преображенский был избран действ. членом реформированного Тверского ГСК, печатался в тверских ПК и ГВ и служил судебным следователем 2-го участка Тверского уезда.

³⁷ Учреждена решением собрания РГО 9 апр. 1847 г., опубликованном во многих изданиях (см.: Русский инвалид. 1847. № 82. 15 апр. С. 328). Названа по имени жертвователя — петербургского табачного фабриканта и городского головы В. Г. Жукова. Размер — 500 р. сер. — превышал выплаты по Константиновской медали. О награждении К. И. Арсеньева см.: Небольсин Г. П., Милютин Д. А., Веселовский К. С. Второе присуждение статистической премии, учрежденной коммерции советником Жуковым // Записки ИРГО. Кн. 5. 1851. С. 230—267.

^{37a} Работа премирована 15 ноября 1850 г. (см.: ЖМГИ. 1851. Ч. XXXVIII. С. 69—80). Наиболее известные члены комитета: П. П. Кеппен и В. Ф. Одоевский).

³⁸ Благодаря этому обстоятельству, в отдельных случаях мы можем судить о содержании отсутствующих в известных книгохранилищах изданий губернских памятных книжек. В качестве примера приведем статью инспектора Тверской врачебной управы К. В. Пупарева «Взгляд на Вятскую флору, или флору Вятско-Камских берегов», в которой приведены сведения об использовании земель Вятской губернии со ссылкой на ПК Вятской губернии

на 1854 год (С. 65). «(...) всего 12 288 123 десятины, из которых обработанной (пашенной) земли только 3 626 842, лугов (под сенокосами) 1 330 440, а 5 517 145 заняты лесами» (Вятские ГВ. 1855. Ч. неофиц. № 4. 22 янв. С. 27—28). Книга описана в изданном под ред. П. А. Зайончковского указателе «Справочники по истории дореволюционной России»: 2-е изд. М. 1978, под № 3853 и под заглавием «Памятная книжка о состоящих на государственной и общественной службе по Вятской губернии на 1854 год». Вятка. 1853. 92 с., однако не была выявлена в библиотеках при составлении предварительного списка «Памятные книжки губерний и областей Российской империи: (1836—1917) СПб. 1994. Попутно заметим, что до публикации «Предварительного списка» работа П. А. Зайончковского была наиболее полной с точки зрения описания вышедших изданий губернских ПК.

³⁹ Интерес к этой области знания был семейной традицией названного автора, о чем свидетельствуют работы И. Н. Ульянова по статистике народного просвещения, опубликованные в ПК Симбирской губернии 1860-х г. г., которые в это время редактировались инспектором губернской гимназии, окончившим курс Главного педагогического института, натуралистом В. Н. Ауновским.

⁴⁰ Единственная научно несостоятельная публикация Д. П. Журавского о народонаселении Украины опубликована в ПК Киевской губернии на 1858 г., что объясняется произволом и невежеством ред. Киевских ГВ Н. А. Чернышева, который, исполняя поручение губернатора по составлению ПК, внес в авторский текст безграмотные изменения, что вызвало возмущение анонимного рецензента — пом. ред. ЖМВД А. И. Артемьева. (ЖМВД. 1858. Ч. 31. Кн. 8. Авг. Отд. 4. Библиогр. С. 5—7).

⁴¹ Известны отступления от закона, в отдельных случаях вызванные деловыми соображениями: секретарь Олонецкого ГСК А. И. Иванов, назначенный на эту должность в связи с отъездом на новое место службы окончившего курс Московского университета П. Н. Рыбникова, не имел высшего образования, однако у него был 12-летний опыт редактирования ПК и ГВ.

⁴² Рец. на ПК Виленской губ.: (Б. п. Пчелка: Журнальная всякая всячина // Сев. пчела. 1852. № 104. 10 мая. С. 413—415. (Б. п. Под тем же загл. // Там же. 1853. № 58. 14 марта. С. 231.

⁴³ Рец. на ПК Виленской губ. на 1853 г.: А. Сахаров. Фельетон: Библиография // Рус. инвалид. 1853. № 67. 25 марта. С. 275—277.

⁴⁴ Рец. на ПК Киевской губернии: Б. п. Библиографическая летопись // Киев. ГВ. 1856. № 34. 25 авг. С. 170—171. Б. п., Киевская литература // Там же. 1857. 20 июля. № 29. С. 122—213.

⁴⁵ Арапетов И. (П.), Веселовский К. (С.), Милютин В. (А.). Обзор русских статистических сочинений, вышедших с 1 марта 1850 по 1 марта 1851 г.: Донесение комиссии, избранной отделением статистики Императорского русского географического общества для присуждения Жуковской премии // Вестник ИРГО. 1852. Ч. 4. Кн. 2. Отд. 4. С. 77—87; Веселовский К. (С.), Ламанский Е. (И.), Милютин В. (А.). Донесение комиссии, назначенной Отделением статистики имп. РГО для присуждения в 1854 году Жуковской премии // Вестник ИРГО. 1854. Ч. 10. Кн. 1. Отд. 1. С. 5—24; Гаевский В. (П.), Ламанский Е. (И.), Озерский А. (Д.). Отчет комиссии для присуждения в 1856 году Жуковской премии, представленной Отделению статистики Императорского русского географического общества // Вестник ИРГО. 1856. Ч. 17. Кн. 3. С. 1—22 1-й паг.; Безобразов В. П., Вернадский И. В., Красовский А. К. Отчет комиссии для присуждения Жуковской премии по конкурсу 1857 г.,

за статистические сочинения, вышедшие в 1856 г. // Вестник ИРГО. 1898. Ч. 22. Кн. 2. С. 125—148 1-й паг.

⁴⁶ Магистр историко-филологического ф-та Казанского университета А. И. Артемьев сотрудничал в статистической службе МВД с 1852 г., в пореформенное время — на руководящих постах. В число его многочисленных работ входят и библиографические работы: описания библиотек университета, давшего ему образование, и МВД. Первый обзор губернских памятных книжек, включавший рецензии на ПК Киевской, Смоленской и Олонекской губерний на 1857 г., а также список других известных А. И. Артемьеву ПК того же времени опубликован в ЖМВД. 1857. Ч. 26. Окт. Ч. 4. С. 1—30. 4-й паг. (Ценз. разрешение — 24 окт.).

⁴⁷ В рамках статьи ограничимся выборкой источников, касающихся этой проблематики: Статистические труды в провинции // Современный листок политических, общественных и литературных известий. 1883. № 26. 30 июня. С. 285; Иванов М. Взгляд на работы губернских статистических комитетов // Народное богатство. 1863. № 241. 6 нояб. С. 1051—1052; № 244. 9 нояб. С. 1063—1064; Заметки о наших статистических комитетах // Одесский вестник. 1865. № 109. 22 мая. С. 360—361. Подп.: Х; Судьба провинциальной статистики // Русский курьер. 1880. № 117. 2 мая. С. 3—4; № 118. 3 мая. С. 3—4 и др.; 〈Деятельность статистических комитетов〉 // Кавказ. 1867. № 19. 5 марта. С. 108—109, № 20. 9 марта. С. 113—114; Петербург. 19-го ноября // СПб. ведомости. 1872. № 318. 19 нояб. С. 1; Санкт-Петербург. 24-го октября 1873 г. // Голос. 1873. № 247. 27 окт. С. 1—2.

⁴⁸ По наблюдениям, основанным на составленной нами картотеке биографий, опубликованных в псковской печати, далеко не у всех начальников полиции на уровне города и уезда было законченное среднее образование.

⁴⁹ Рецензентам ПК губерний Центральной России приходилось иронизировать, комментируя опубликованные в них таблицы о положении скотоводства, составленные по форме, присланной из ЦСК, из которых следовало, что ни верблюдов, ни ослов в этих губерниях нет.

⁵⁰ Наша оценка совпадает с мнением РГО, известным современникам как по изданиям этого общества, так и по газетным публикациям. См., напр.: «Извлечение из отчета Императорского русского географического общества за 1863 год // Северная почта. 1864. № 51. 4 марта. С. 205; № 52. 5 марта. С. 208.

⁵¹ Эта методика была предложена в нач. 1860-х гг. магистром Казанского ун-та, секр. Виленского ГСК М. М. Гусевым и одобрена ред. ЦСК Е. К. Огородниковым (см. его статью «О средствах местной разработки статистических сведений» // Северная почта. 1862. № 168. 2 авг. С. 671—672; № 169. 3 авг. С. 675—676), однако впервые применена в Петербурге. Петербургские домовладельцы, так же как и все остальные читатели вышеуказанной газеты, могли ознакомиться с этим новшеством, зафиксированным в решении общего собрания СГСК 15 окт. 1863 г. по статье «Предстоящая перепись жителей Петербурга» (Северная почта. 1863. № 232. 24 окт. С. 947), а о предстоящей публикации результатов переписи в губернской ПК — по официальному сообщению СГСК в той же газете (1863. № 257. 23 нояб. С. 1049).

⁵² Из других публикаций члена РГО П. П. Нейдгардта назовем путеводитель по Волге (СПб. Тип. Безобразова и Ко. 1862), который, согласно мнению С. П. Крашенинникова (Морской сборник. 1863. № 5), превосходил зарубежные аналоги обилием статистической информации. В качестве секретаря СПб СГСК внес в годичном заседании 23 февр. 1868 г. предложение

издавать петербургский статистический ежегодник (СПб. Ведомости. 1868. № 59. 1 марта. С. 2), оказавшееся нереальным в силу ограниченности финансовых возможностей СГСК и реализованное проф. Ю. Э. Янсоном в 1880-х годах на средства Петербургской городской думы. Жизнь и деятельность П. П. Нейдгардта рассматривалась нами в докладе «Справочные издания СПб СГСК 1860-х годов», прочитанном 29 февраля 1996 г. на краеведческом семинаре в РНБ.

⁵³ Об использовании петербургского опыта учета населения в Архангельской губернии см.: Протокол Архангельского губернского статистического комитета 20 сент. 1865 г. // Архангельские ГВ. 1865. № 49. 11 дек. С. 539.

⁵⁴ Предложение о публикации исходило от руководителя ЦСК П. П. Семёнова-Тян-Шанского, которому приходилось помогать и другим статистическим комитетам.

⁵⁵ По данным СПб СГСК, в 1860-х гг. уровень грамотности населения составлял около 50%, что, судя по работе действ. члена Псковского ГСК М. И. Семевского «Грамотность в деревнях временно-обязанных крестьян Псковской губернии (СПб. 1864), значительно превышало уровень образования Псковских волостных старшин.

⁵⁶ «Письмо к редактору» той же газеты секр. Московского гор. СК Ив. Савинова, объясняющее отсутствие изданий (за исключением книги «Указатель города Москвы. М. 1866) ограниченностью финансовых возможностей, напечатано: Там же. 1867. № 171. 4 нояб. С. (2). Автор письма, в силу недостаточности жалования (750 р.), занимался преподаванием физики в Московской коммерческой Академии.

⁵⁷ И. И. Василев получил хорошее историческое образование в Московской духовной академии. Управлял Псковской контрольной палатой. Член Московского археологического общества.

⁵⁸ Василев И. И. Результаты однодневной статистической переписи, произведенной по распоряжению псковского губернского статистического комитета 12 декабря 1870 года в городах и посадах Псковской губернии. Часть 1-я. Губернский город Псков // (ПК Псковской губернии на 1870 г. Ч. 2.). Псковский статистический сборник на 1871 г. С. 1—203 2-й паг. Прилож.: С. 1—31 3-й паг.

⁵⁹ Председатель Псков. ГСК губернатор М. С. Каханов впоследствии получил известность как руководитель «Кахановской комиссии» Гос. совета, готовившей реформу местных учреждений. Действ. студент СПб ун-та С. М. Бочков — автор статьи о льняном промысле на Псковщине в ПК Пск. губ. на 1863 г. и ряда публикаций по экономике Псковщины в Пск. ГВ. Прекращение научной работы по времени связано с переходом в М-во юстиции. С сер. 1860-х служил в реформированных судах на Ярославщине. Некролог учителя Васильева опубли. М. И. Семевским за подписью М. С. в газ.: Голос. 1866. № 231. 22 авг. С. 2.

⁶⁰ Об уровне образования М. А. Назимова можно судить по его формулярному списку, опубликованному в книге: Назимов М. А. Письма, статьи. Иркутск, 1985. Показателем его авторитетности является то обстоятельство, что правительство, во избежание конфликта с общественным мнением, по результатам выбора первого состава Псковского съезда мировых судей, было вынуждено снять с него судимость 1826 г. за недонесение на Северное общество.

⁶¹ Мы особо отметим это обстоятельство, так как закон не требовал от губернатора при подобном назначении консультации с другими должностными лицами.

⁶² Областной отдел // Москва. 1868. № 103. 8 авг. С. 2.

⁶³ В качестве примера документа, предусматривавшего унификацию сбора статистической информации, назовем циркуляр МВД от 30 дек. 1853 г. за № 190 // ЖМВД. 1855. Ч. 15. Дек. С. 165 1-й паг.

⁶⁴ Гацкий А. С. Обзор деятельности Нижегородского статистического комитета в десятилетний период времени (1865—1875) // Сборник в память первого русского статистического съезда 1870 года: Вып. II. Н. Новгород, 1875. С. 476—479. Среди других причин назывался ограниченный спрос на ПК Нижегородской губернии на 1865 г., объясняемый отсутствием у нижегородцев привычки пользоваться справочными изданиями.

⁶⁵ Уточним, что издательская деятельность ГСК, по положению 1860 г., относилась к «необязательным действиям», однако она была предметом отчетности, что и определяет возможность изучения истории издания губернских ПК.

⁶⁶ Критическая статья П. П. Чубинского была написана по поручению РГО и награждена 11 янв. 1867 г. серебряной медалью Общества, о чем сообщалось во многих газетах. См., напр.: Москва. 1867. № 24. 29 янв. С. (2).

⁶⁷ Об этой полемике автор этих строк говорил в докладе, озаглавленном «Дискуссионная статья А. Корево „Евреи“ в ПК Виленской губернии на 1860 год» (3-я конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура» 2 июня 1995 г.).

⁶⁸ Эту особенность автора отмечал впоследствии историк русской этнографии А. Н. Пыпин. См.: История русской этнографии. Т. 4. Белоруссия и Сибирь. СПб., 1892. С. 80—81.

⁶⁹ Об Антоне Ксаверьевиче (вар.: Нуримановиче) Корево см.: Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской Академии Генерального штаба. СПб. 1882. С. 79 2-й паг.; Некролог: Иллюстрированная газета. 1876. № 23. 13 июня. С. 184.

⁷⁰ Законы движения народонаселения Гродненской губернии в 15-летний период. Рождаемость, браки, смертность // ПК Гродненской губернии на 1860 год. С. 1—67 2-й паг.; Историко-статистический очерк города Гродна // Там же. С. 69—126 2-й паг.; Исторические сведения о городах Гродненской губернии // То же, на 1861 г. С. 1—82 2-й паг. Статьи вошли в состав монографии, награжденной малой золотой медалью РГО. Мы думаем, что на творческое развитие П. О. Бобровского оказали влияние рецензии на вышеуказанную первую публикацию в газ. «Виленский вестник» и в ЖМВД.

⁷¹ Смоленщине принадлежал печальный рекорд: там был наибольший процент крепостных по всей России. Сокращение этого показателя с 75% в 1830-х гг. до 72% в 1850-х, при постоянном притоке из других губерний, мы объясняем вымиранием белорусских и русских крестьян в условиях крепостного гнета.

⁷² Это очевидно по аннотациям ПК в ежегодниках бр. Ламбиных и журнале «Книжный вестник» 1860-х гг., где о неполных ПК писали, что, за исключением А—К, в этих изданиях ничего нет.

⁷³ Д. Э. Левин. Способы распространения дореформенных изданий губернских ПК: (1840-х—1850-х гг.) // Доклад на X Павленковских чтениях. 1997.

⁷⁴ Направление научных интересов А. К. Киркора удобнее определить на его родном языке: «старажытнік». Составитель происходил из белорусской шляхты татарского корня. Писать предпочитал на польском языке. Мэру известности составленных им ПК мы определили по количеству рецензий на них.

⁷⁵ Отношение начальника Виленской губернии от 18 мая 1853 г. // РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 187. Л. 135—135 об.

⁷⁶ Ряд аспектов издания ПК и их распространения рассмотрен нами: «Первые столичные рецензии на ПК Вилен. губернии: (1852—1854 гг.) // Белорусский сборник: Вып. 1. СПб., 1998. С. 41—62.

В этой связи упомянем нашего предшественника: первого известного нам историка издательской деятельности ГСК А. К. Киркора.

⁷⁷ В 1857—1861 гг. ПК Воронежской губернии не издавались, и о намерении ГСК выпускать их как ежегодник известно по рекламным объявлениям (Воронежские ГВ. Ч. неофиц. 1856. № 2. 14 янв. С. 17; № 6. 11 февр. С. 35; № 7. 18 февр. С. 43; № 8. 25 февр. С. 48. Книга продавалась в канцелярии ГСК (при губернском правлении) и в местном книжном магазине Н. Ф. Семеновой, без участия полиции и по высокой цене (1 р. 50 коп., с пересылкой — 1 р. 75 коп.), что, по нашему мнению, воспрепятствовало обеспечению плановой ритмичности издания.

В той же газете опубликован один из первых биографических текстов об авторе ПК — некролог редактора неофициальной части ГВ (1830—56) И. И. Малышева, составившего по документам архива губернского правления статью «О судоходстве по р. Дону до Петра Великого». (Н. [И] Второв. Местная хроника // Там же. 1856. Ч. неофиц. № 3. 4 февр. С. 24.)

⁷⁸ В последнем случае мы имеем в виду только меру известности, так как научный уровень издания был значительно ниже как перечисленных аналогов, так и возможности университетского города, на что справедливо указывали рецензенты: А. И. Артемьев в ЖМВД и будущий известный украинист (тогда — студент СПб ун-та) А. Лазаревский. (Б. п. Украинская литературная летопись. За 1857 год // Черниг. ГВ. 1857. № 48. Ч. неофиц. 2 дек. С. 403—404.

⁷⁹ Постоянным автором статей экономического и исторического содержания в Новороссийском календаре был проф. А. А. Скальковский, в Кавказском календаре 1850-х гг. большой интерес представляют анонимные статьи по грузинской этнографии поэта Я. П. Полонского.

⁸⁰ Публиковались с 1855 г., хотя, судя по подборке документов, опубликованных к 50-летию Архангельского ГСК в Архангельских ГВ, для отправки первого издания ПК в губ. типографию (1850) требовалась министерская виза (Из прошлого Архангельского статистического комитета // Архангельские ГВ. 1886. Ч. неофиц. № 3. 8 янв. С. 2—3.

⁸¹ Текст высочайшего повеления был первой официальной публикацией, касавшейся порядка издания ПК (Об издании памятных книжек в губерниях // ЖМВД. 1855. Ч. 15. Дек. С. 129—130 1-й паг. Ценз. разр. 19 дек.). Поводом для высочайшего повеления было решение о порядке разрешения изданий, подобно представленной на его рассмотрение ПК Олонецкой губернии. Комитет считал целесообразным предоставить решение подобных вопросов на усмотрение министра внутренних дел по согласованию с министром народного просвещения.

⁸² До реформы члены по должности назывались действительными членами.

⁸³ Дореформенное название членов по выбору — члены-корреспонденты.

⁸⁴ Накануне реформы в состав ГСК были включены также представители военного ведомства из числа офицеров Генштаба, занимавшиеся составлением военно-статистических описаний губерний.

⁸⁵ Известны исключения: об окладе секретаря СПб СГСК, чья деятельность распространялась как на столицу, так и на губернию, мы говорили выше. Жалование членов-редакторов Закавказских ГСК, которым полагалось также 350 р. квартирных, составляло 1200 р.

⁸⁶ Протокол Вологодского губернского статистического комитета. Собрание 11 сент. 1861 года. // Вологодские ГВ. 1861. Ч. неофиц. № 39. 30 сент. С. 261—262.

⁸⁷ В качестве характерного примера назовем статью И. Н. Ульянова «О состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии за 1869 год» (Симбирский сборник, Т. 2. Симбирск: 1870. Отд. II. С. 45—57).

⁸⁸ В этом отношении вполне типична статья чиновника для особых поручений при губернаторе В. А. Неверовича «О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени, населяющих Смоленскую губернию», опубли. в памятной книжке Смоленской губернии на 1859 год (Смоленск, 1859. С. 124—203 2-й паг.), в которой зафиксирована обрядность местных белорусов без определения элементов, свойственных именно изучаемой территории.

⁸⁹ Реформа ГСК сопровождалась передачей решением местной администрации издания ПК (там, где до этого они издавались ред. ГВ или другими организациями) в ведение статистических комитетов. Так было, в частности, в Олонечкой и Вологодской губ.

⁹⁰ Дневник // Биржевые ведомости. 1870. № 253. 16 июня. С. 1.

⁹¹ В этом отношении характерна рецензия М. М. Стасюлевича «Новые статистические труды в России. Самарская и Лифляндская губернии // Вестник Европы. 1872. Т. 3. Кн. 8 Июнь. С. 797 (Подп.: М.).

⁹² Протоколы заседаний не публиковались. Мы пользовались свидетельствами участников съезда: ⟨Гацкий А. С.⟩. Хроника // СПб. ведомости. 1870. № 159. 13 июня. С. 1—2; ⟨Ауновский В. А.⟩. Заметка о I-м Русском статистическом съезде, бывшем в С.-Петербурге в 1870 году // Симбирский сборник: Т. 2. Симбирск, 1870. Отд. II. С. 227.

⁹³ Еще до съезда связь содержания ПК с читательским спросом рассматривалась в ведущей столичной газете (С.-Петербург: 23 сентября // СПб. ведомости. 1868. № 261. 24 сент. С. 1). Автор предлагал ограничить круг исторических публикаций новым временем, события которого, по его мнению, представляли наибольший общественный интерес.

⁹⁴ В аналогах губернских ПК, издаваемых в кон. XIX — нач. XX вв. частными лицами, номенклатура товаров в подобных случаях указывалась.

⁹⁵ Е. Н. Фус приобрел известность как в России, так и за ее пределами, благодаря исследованиям природных особенностей Восточной Азии и бассейнов Каспийского и Черного морей.

⁹⁶ Современники ценили их труд по достоинству. «Правительство не даром нашло нужным (...) труд наблюдений возложить на преподавателей учебных заведений, зная, что они хорошо понимают всю их важность и действительно — наблюдения эти делаются со всевозможным тщанием» (Метеорологические наблюдения за 1855 год. // Вятские ГВ. 1856. Ч. неофиц. № 8. 25 февр. С. 55). В данном случае речь идет о ст. учителя математики и физики Вятской гимназии В. П. Хватунове.

⁹⁷ В памятной книжке Нижегородской губернии на 1865 г. (Н. Новгород, 1864), как и в большинстве аналогичных изданий, имя составителя не указано. Авторство окончившего восточное отделение Казан. ун-та члена-секретаря ГСК установлено по работе его преемника, в то время — действ. чле-

на ГСК и редактора неофициальной части ГВ А. С. Гациского «Обзор деятельности Нижегородского статистического комитета в десятилетний период времени (1865—1875) // Сборник в память первого русского статистического съезда 1870 года: Вып. II. Н. Новгород, 1875. С. 676.

В указанной ПК составителем подписаны статьи «Краткое статистическое обозрение Нижегородской губернии» и «Промышленность и торговля губернии».

⁹⁸ Мы имеем в виду обращение Петербургского СГСК к ученым обществам: «Северная почта». 1864. № 16. 19 янв. С. 63; № 53. 6 марта. С. 213.

⁹⁹ Поскольку сопоставление официальных губернских изданий с неофициальными аналогами выпадает из круга интересов современных исследователей, упомянем текст минского журналиста Яковлева, в котором содержатся параллели между книгой И. А. Бомштейна и изданиями Минского ГСК: Яковлев. И то и се // Минский листок. 1889. № 21. 17 марта. С. 2—3. В период кризиса издательской деятельности ГСК, о причинах и проявлениях которого мы скажем ниже, преимущества частных изданий был вынужден признать официальный рецензент «Ежегодника Вологодской губернии» (Вологда, 1911) (Правительственный вестник. 1911. № 18. 23 янв. С. 4.).

¹⁰⁰ Г. Полу-имя // Минский листок. 1892. № 81. 9 окт. С. 1.

¹⁰¹ Составитель не указан, однако среди известных авторов Виленских ПК нач. 1850-х гг. был член ГСК (по должности — цензор) П. В. Кукольник.

¹⁰² По российскому законодательству, издания с ритмичностью не чаще раза в год не считались повременными. Этой же точки зрения придерживалось большинство библиографов, однако отметим особое мнение Л. К. Ильинского, который, судя по его рецензии на указатель Н. М. Лисовского «Русская периодическая печать: 1703—1900 (ЖМНП. 1916. Ч. 66. № 12. С. 266—267) и дополнениям, вошедшим в книгу: Поляков А. С. Список указателей к русским повременным изданиям / Под ред. и с доп. Л. К. Ильинского. Л., Колос. 1925. (не опубликована, известна нам по фотокопии с корректурного листа, хранящейся в РНБ), считал ПК повременными изданиями.

¹⁰³ Отчет Олонецкого губернского статистического комитета за 1870 г. // Олонецкие ГВ. 1872. Ч. неофиц. № 4. 15 янв. С. 43—46.

¹⁰⁴ Учтены только статьи: особенностей А—К, справочного отдела и разд. «Статистические сведения» наши предшественники не отражали.

¹⁰⁵ Журнал Олонецкого губернского статистического комитета. Заседание 4 мая 1867 года // Олонецкие ГВ. 1867. № 20. Ч. неофиц. 20 мая. С. 336—337.

¹⁰⁶ Ввиду малой известности этого автора, получившего образование и скончавшегося в Петербурге, сошлемся на некролог, написанный редактором Олонецких губернских ведомостей К. М. Петровым: Александр Анисимович Ласточкин [1802—1872] // Олонецкие ГВ. 1872. № 63. 16 авг. С. 728—729.

¹⁰⁷ Пом. председателя первого состава реформированного Виленского ГСК.

¹⁰⁸ См., например: Степановский И. К. Вологодская старина. Вологда, 1890. С. 554.

¹⁰⁹ Соотношение текстов ПК и ГВ, в числе других проблем, рассматривалось в 1995 г. в нашем докладе: «Повременные издания МВД как источник по истории губернских памятных книжек» на IX Павленковских чтениях.

¹¹⁰ Согласно сообщению в официальной газете «Северная почта» (1862. № 166. 31 июля. С. 166), для составления ПК Московской губернии на 1863 г. была избрана комиссия в составе профессора политэкономии и статистики И. И. Бабста, занимавшегося описанием Московской губернии штабс-капитана Генштаба И. И. Ордынского, директора народных училищ Московской губернии ст. советника Г. К. Виноградова и секретаря губернского статистического комитета П. П. Бочарова, однако книга не была издана.

¹¹¹ Об этом деятеле и участнике изданий четырех ГСК Российской империи автор этих строк прочел доклад на 5-й конференции «Санкт-Петербург и белорусская культура» (1997); полный текст в переводе на белорусский яз.: «Некролог могилевского историка, журналиста и педагога М. В. Фурсова как исторический источник: факты и фигуры умолчания» — в печати в 1-й тетради 5-го тома издающегося в Минске журн. «Беларускі гістарычны агляд».

¹¹² По решению Смоленского общества сельского хозяйства от 21 дек. 1859 г. (Смоленские ГВ. 1860. Ч. неофиц. 2 янв. С. 1—7), в губернские ведомости были переданы для публикации работы действ. члена В. М. Кузенева по хозяйству Ельнинского уезда и метеорологии. Сходным образом был решен и вопрос о публикации труда члена-корреспондента Ярославского общества сельского хозяйства Н. Ф. Земского «О промышленности (огородничестве) Ростовского уезда. (Решение общества см.: Ярославские ГВ. 1894. № 43. 23 окт. С. 352; статья: Там же. 1854. № 47. 20 нояб. С. 386—390; № 48. 27 нояб. С. 393—396.

¹¹³ В редакционном примечании к 1-й публикации (Прибавление к Вятским губернским ведомостям. Ч. неофиц. № 1. (1 янв.). С. 1—2; № 3. (15-января). С. 11—15; № 5. (2 янв.). С. 23; № 10 (5 марта) есть указание на авторство: «из первой тетради статистической монографии Вятской губернии, состав. А. Герценом». (1838. № 1. С. 1). На авторство фрагмента «Вотяцкие молитвы» указывает ссылка в № 5 от 29 янв. того же года на предыдущую публикацию (С. 23). Судя по фигуре умолчания в тех биографиях, с которыми нам приходилось знакомиться, можно допустить, что это переиздание статьи из Вятских ГВ автору было неизвестно.

¹¹⁴ Первая публикация некролога «Дмитрий Петрович Журавский» (Киевские ГВ. 1857. Ч. неофиц. № 4. 12 окт. С. 297—301) сопровождалась редакционным примечанием: «из приготавливаемой памятной книжки Киевской губернии на 1858 год». В Смоленских ГВ были перепечатаны статьи: Савинов В. [И.]. Крестный: Эпизод из жизни Н. И. Хмельницкого // Смоленские ГВ. 1858. Ч. неофиц. № 48. 29 нояб. С. 261—266; № 49. 6 дек. С. 268—270. (из ПК на 1858 г. О смоленском губернаторе.); Шестаков П. [Д.]. Первое пятидесятилетие Смоленской гимназии // Там же. 1854. Ч. неофиц. № 3. 17 янв. С. 12—16; № 4. 24 янв. С. 18—21; № 5. 31 янв. С. 24—26; № 6. 7 февр. С. 30—33 (из ПК на 1858 г. Автор — воспитанник Московского университета, известный филологическими трудами, впоследствии — попечитель Казанского учебного округа).

¹¹⁵ О реакции столичных рецензентов на эту статью см.: Левин Д. Э. «Первые столичные рецензии на „Памятные книжки Виленской губернии“ (1852—1854) // Белорусский сборник: Вып. 1. СПб., 1998. С. 58, 61—62.

¹¹⁶ Мере известности мы определяем по количеству рецензий, которых, в данном случае, было не менее восьми.

¹¹⁷ Мы насчитали около 30 рецензий на издания Виленского ГСК нач. 1850-х гг., опубл. в СПб., Москве, Одессе и Варшаве, и думаем, что это не предел.

¹¹⁸ Наиболее ранние статьи члена Московского Археологического общества К. Г. Евлентьева в Оренбургских ГВ 1850-х гг. подписаны в иной форме: Ивлентьев. По времени публикация в Псковской ПК совпадает с попыткой ГСК получить принадлежавшие военному ведомству Поганкины палаты для использования в качестве музейного помещения.

¹¹⁹ Основная историческая работа этого ученого — многотомная «Хроника Виленского капитула» — передана автором Виленскому ГСК, но осталась неопубликованной.

¹²⁰ Протокол Вологодского статистического комитета. Собрание 11 февраля 1863 года // Вологодские ГВ. 1863. Ч. неофиц. № 9. 2 марта. С. 27—29; То же. Собрание 27 мая 1863 года // Там же. 1863. № 24. 15 июня. С. 80—81. То же. Собрание 15 марта 1865 года // Там же. 1865. № 15. 10 апр. С. 121—123. Часть текста написана действительным членом, педагогом Н. Ф. Бунаковым, общее руководство осуществлял губернатор.

Некролог С. Ф. Хоминского см.: Виленский вестник. 1886. № 131. 23 июня. С. 2. Для документов ГСК, отражающих распределение обязанностей, характерна разница в формулировках: членов комитета просили выполнить работу, в то время, как секретарю она поручалась, что отражало зависимое положение секретаря как наемного работника.

¹²¹ Указ. изд. С. 4.

¹²² О возможностях этого автора как ученого можно судить по его статье «Очерк состояния земледельческой промышленности в Костромской губернии», опубликованной в составленном А. С. Гациским изд. «Сборник в память первого русского статистического съезда 1870 года: Вып. II. Н. Новгород, 1875. С. 487—513.

¹²³ В том же издании (С. 57—150) помещена статья «Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губернии», подписанная редактором ГВ, впоследствии известным русским писателем Д. Л. Мордовцевым (он же — украинский писатель Данило Мордовец).

¹²⁴ В числе сюжетов этой статьи, впоследствии закрытых сталинистским руководством, отметим немецкую колонизацию Поволжья.

¹²⁵ Продавалась в губернской типографии по цене 60 коп. сер., с пересылкой в другие города — по 70 коп. (Саратовские ГВ. 1858. Ч. неофиц. № 16. 19 апр. С. 77—78; № 17. 26 апр. С. 83—84; № 18. 13 мая. С. 91—92). По поводу этой книги автор рецензии, помещенной в разделе «Книги, не поступившие в продажу в С.-Петербургских книжных магазинах», выразил пожелание, чтобы в будущем подобные ПК были напечатаны в большем количестве экземпляров не для одних только саратовцев» (Русский библиографический листок. № 14. 30 июля. С. 3.

¹²⁶ Оценка необъективна: педагогическую деятельность тогдашнего секретаря ГСК С. М. Бочкова в женском училище М. И. Семева оценил по достоинству: см. его книгу, подписанную псевдонимом Володша Строилович. Поездка по Псковской губернии (1862 года). СПб., 1862. С. 27.

¹²⁷ Постановления Архангельского губернского статистического комитета. 4 декабря 1863 года // Архангельские ГВ. 1864. № 1. 4 янв. С. 2. Судя по документу, текст других статей (опубликованных в ПК Архангельской губернии на 1869 г.) отличался от авторского замысла.

¹²⁸ Место жительства автора не было связано с возможностью публикации в ПК: преподаватель Харьковского университета Д. И. Багалея печатался в ПК Курской губернии, и это далеко не единственный пример сотрудничества в ПК иногородних ученых.

¹²⁹ Наша статистика и новый прием Г. Минейко // Дело. 1875. № 2. С. 67—95 3-й паг. Рецензия, очевидно, отражает точку зрения редактора (Г. Е. Благосветлова). Из других рецензий назовем положительный отзыв в официозе «Правительственный вестник». 1875. № 46. 28 февр. С. 2. Стб. 3—4, а также тексты в изд.: СПб ведомости. 1875. № 42. 11 февр. С. 3; Виленский вестник. 1875. № 47. 3 марта. С. 192; Голос. 1875. № 77. 16 марта. С. 3.; А. Е. [Ерошенко А. Г.] // Биржевые ведомости. 1875. № 122. 5 мая. С. 2.; Неделя. 1875. № 24. 15 июня. С. 790—791.

¹³⁰ О разнообразии круга научных интересов А. А. Спицына можно судить по заглавиям его публикаций в изд. Вятского ГСК: Каталог древностей Вятского края (археологических местонахождений, памятников архитектуры, мемориальных знаков, церковных древностей, рукописей, коллекций, со ссылками на публикации) // Календарь Вятской губернии на 1882 г. Вятка, [1881]; Свод летописных известий о Вятском крае (1174—1727: По публикациям и неопубликованным текстам) // Там же на 1884 год. Вятка, [1883]. С. 145—186; Вятская старина. I. Татары в истории Вятского края). II. Обиженные князья. (об арских князьях XV—XVII вв.). III. Первые поселения русских между реками Воей и Чуной (по актам XVII в.). IV. Живучая старина. (Комментарий к донесению еп. Киприана от 21 мая 1749 г. о народных суевериях) // Там же, на 1885 год. С. 149—179; Дополнения к каталогу древностей Вятского края. — Приложения к каталогу древностей. (а) Камень Чимбулат. (Жертвенник Яранских марийцев).— (б) Часовня Марии убиенной. (Запись народных преданий, связанных с культом) // Там же, на 1884 год. Вятка, [1883.] С. 181—191; Вотчина Успенского Трифонова монастыря (XVI—XVIII в. в.) // Там же на 1886 год. Вятка, 1885. С. 171—191; Земля и люди на Вятке в XVII ст.— Общее обозрение — Земли тяглые — Земли оброчные — Земли монастырские. — Частное владение землею. Беломестцы. Помещики. — Земли ясашные. — Земли киринских татар. — Земли других наименований. — Безземельные крестьяне (акты.). Приложения: 1. Вотчины Вятского архиерейского дома. 2. Владенная на оброчную землю 1665 г. 3. Выписки из дозорных книг 1615 г. вятским монастырям и монастырским вотчинным землям. 4. К истории церковных земель. // Там же, на 1887 год. Вятка, 1886. С. 151—202 и отд. изд.; Подати, сборы и повинности на Вятке в XVII ст. // Там же, на 1888 год. Вятка, 1887. С. 199—231; Местное и областное управление на Вятке до XVIII в. (Вкл. список Хлыновских воевод XVII в.) // Там же, на 1889 год. Вятка, 1888. С. 167—206; К истории вятских инородцев (Летописной чуди, удмуртов, марийцев, татар) // Там же. С. 207—232; Вещественные памятники древнейших обитателей Вятского края. I. Находки каменных орудий. II. Бронзовый век и костеносные городища. III. Чудские древности. IV. Болгарские древности и камские елабужские городища. V. Вотские древности // Там же, на 1890 год. Вятка, 1889. С. 85—122 и отд. изд.; Древнейшая судьба Вятской области. (О русской колонизации XIV—XV в. в.) // Там же, на 1890 год. Вятка, 1889. С. 123—140; Систематический указатель статей местного отдела неофициальной части Вятских губернских ведомостей (1838—1890) (1522 зап.). // Там же, на 1891 год. Вятка, 1890. С. 75—151; 1-й паг. и отд. изд. История Вятского главного народного училища. (1788—1811 гг.) // Там же. С. 1—73 2-й паг. и отд. изд.; Систематический указатель статей местного отдела неофициальной части Вятских губернских ведомостей (1838—1890). Окончание (1250 зап. и «алфавит авторов») // Там же, на 1892 год. С. 85—156 и отд. изд.; Постройка старинных вятских деревянных церквей (XVII—XVIII в. в.) // Там же. С. 302—308; Преподаватели

русского языка и словесности Вятской гимназии в 1811—1865 г. // Там же, на 1892 год. Вятка, 1891. С. 302—339 и отд. изд.; Костеносные городища на северо-востоке России. (Реферат, представленный на Московский международный конгресс доисторической антропологии 1892 года.) (Параллели с Ананьинским могильником) // Там же, на 1893 год. Вятка, 1892. С. 375—382; Старинные колокола вятских церквей (XVII—XVIII в. в.) // Там же. С. 382—386; Директора, инспектора и преподаватели Вятской гимназии (1811—1865) // Там же, на 1905 год. Вятка, 1904. С. 93—130. 2-й паг. и отд. изд.

¹³¹ Кандидат филол. ф-та Казанского университета Н. А. Спасский составлял и редактировал календари и ПК Вятской губернии более тридцати лет (с 1880 по 1912 г.), что было очень редким явлением. В силу ограниченности объема статьи мы не можем привести список его статей в ПК, весьма разнообразных по тематике.

¹³² Его система раскопок курганных могильников траншеями, пересекающимися под прямым углом, была более информативна, чем последующие «колодцы» гр. Уварова.

¹³³ В. Дмоховский был не только живописцем, но и творцом истории родного края: в чине надпоручика он воевал против армии Дибича.

¹³⁴ В трехтомнике «Опыт описания Могилевской губернии...» (Могилев. 1882—1884), составленном губернатором в качестве председателя ГСК, М. В. Фурсов опубликовал две статьи: по истории Могилевщины с древнейших времен до 1831 г. и по истории народного просвещения в губернии с момента присоединения к России (1722) до современности.

¹³⁵ Этногр. обозрение. 1893. № 2. кн. XVII. С. 200—202.

¹³⁶ Судя по заметке в газ. «Московские ведомости» (1893. № 100. 13 апр. С. 2) на это обратил внимание В. И. Сизов. О пережитках культа огня М. В. Фурсов говорил в прочитанном 13 авг. 1893 г. на 9-м археологическом съезде докладе «Праздник „Свечи“ у белорусов» (полностью не опубликован).

¹³⁷ В этой связи закономерно появление в печати статьи секретаря Минского ГСК А. П. Смородского «Девятый археологический съезд в Вильне // Памятная книжка Минской губернии на 1894 год. Минск, 1893. С. 1—85 5-й паг. О публикациях в ПК Западного края в связи с подготовкой 9-го археологического съезда см.: Деятельность губернских статистических комитетов Северо-Западного края в области археологии // Виленский вестник. 1889. № 126. 15 июня. С. 1—2 и не озаглавленную статью о подготовке съезда: Там же. 1891. № 238. 3 нояб. С. 2.

¹³⁸ Двужычные публикации фольклорных текстов впоследствии вошли в издательскую практику ГСК.

¹³⁹ Согласно позднему свидетельству виленского литератора, жандармского генерала В. А. фон Роткирха перевод выполнен с польского (Народное творчество. Этнографический очерк Теобальда // Виленский вестник. 1888. № 246. 18 нояб. С. 2—3).

¹⁴⁰ Об этом см. нашу статью: «Первые столичные рецензии на памятную книжку Виленской губернии (1852—1854 гг.) // Белорусский сборник: Вып. 1. СПб., 1998. С. 56—57, 61—62.

¹⁴¹ См., напр., статью о нем в РБС. Т. (17). Романова.—Рясковский. Пг., 1918. С. 655.

¹⁴² Журнал заседаний Олонецкого губернского статистического комитета. 15 сентября 1865 г. // Олонецкие ГВ. 1865. № 38. 2 окт. С. 677—679. Мы пытались идентифицировать автора с известным исследователем Русского Севера (в то время — чиновником МГИ, впоследствии — профессором ис-

торико-филологического института) Д. И. Прозоровским, однако в просмотренных источниках не нашли ни доказательств, ни опровержений.

¹⁴³ Окончил в 1904 г. кандидатом. В последующих суворинских изданиях «Весь Петербург» по роду занятий Д. К. Зеленин именуется литератором. Защитил магистерскую диссертацию в Петербургском университете.

¹⁴⁴ Советская цензура также не была благосклонна к Д. К. Зеленину: в 1930-е годы на него был навешен позорный ярлык черносотенца и шовиниста исключительно на основании признания этим автором исторической общности восточнославянских народов. Между тем, уже первым публикациям Зеленина в губернских ПК свойственна особенность, не присущая шовинистам того времени: место отправки корреспонденции зафиксировано как в современной (Юрьев), так и в исторической (Дерпт) формах.

¹⁴⁵ Мнение Е. Ф. Карского об этой работе мы привели выше.

¹⁴⁶ См. предыдущее примечание. Материалы статьи вошли в состав работы «Великорусские народные присловья как материал для этнографии», опубликованной в 1905 г. как в издаваемом РГО журнале «Живая старина», так и в виде отдельной брошюры.

¹⁴⁷ Работа вошла в историю науки. См.: Токарев С. А. История русской этнографии: (Дооктябрьский период). М., 1966. С. 366.

¹⁴⁸ Год издания последнего выпуска совпадает с датой назначения составителя профессором Харьковского университета.

¹⁴⁹ Рецензирование ПК в изданиях РГО началось в 1850-х гг.; в журнале «Живая старина» — со времени его основания, причем приоритет принадлежит выдающемуся воспитаннику Московского университета, в 1890-е — профессору Петербургского университета А. И. Соболевскому.

^{149a} Александр Михайлович Путинцев — коллега рецензента по Юрьевскому ун-ту. В 1913 г. преподавал русский яз. и словесность в 1-м Казанском реальном уч-ще. С 1921 до ареста в 1930 по «делу краеведов» — проф. Воронежского ун-та. Скончался в 1937 г.

¹⁵⁰ Судя по протоколу заседания Минского ГСК 12 октября 1874 г. (памятная книжка Минской губернии. Минск, 1875. Ч. 2. С. 7), составленному зав. делами (по основной должности — пом. инспектора врачебной управы) лекарем И. П. Головачевым, в Минской губернии бытовала оригинальная практика рассылки экземпляров ПК «известным лицам и (присутственным) местам» без предварительной оплаты. В результате, как сообщил автор протокола, «нам следуют долги за прошлый год 44 и настоящий 108 руб.». По тому же источнику, в отчетном 1873 г. на издание ПК было изорасходовано 195 р. 78 коп., за продажу изданий выручено 188 р. 25 коп. (Там же. С. 22—23).

¹⁵¹ О каналах реализации ПК Воронежской губ. на 1856 г. мы говорили выше. ПК Вятской губ. на 1857 г. продавалась в губернской типографии по цене 75 коп. и 1 руб., в зависимости от качества бумаги (Вятские ГВ. 1857. № 44. 2 нояб. С. 289); ПК Киевской губернии на 1856 г. — в казенной квартире составителя Н. А. Чернышева — дом губернского правления, где помещалась редакция ГВ, Липки) и у книготорговца П. П. Должикова по цене 1 р. 50 коп. со скидкой оптовым покупателям (Киевские ГВ. 1855. Ч. неофиц. № 48. 26 нояб. С. 299); впоследствии П. П. Должиков снизил цену до 1 р. — Там же. 1856. № 9. 3 марта. С. 40). То же издание на 1857 г. по цене 1 р. 50 коп. продавалось по тем же адресам и у книготорговца И. И. Литова на Крешатке (Там же. 1857. Ч. неофиц. № 21. 25 мая. С. 142—143. По тем же адресам и по той же цене предполагалась реализация Киевской ПК и на 1858 г. (Там же. 1857. Ч. неофиц. № 44. 2 нояб. С. 322—323.), однако реально она прода-

валась только в губернской типографии (Там же. 1858. Ч. неоф. № 26. 28 июня. С. 179—180.). ПК Архангельской губернии на 1863 г. продавалась в губернской типографии по цене 1 р., о чем читатели Империи извещались посредством объявления в газ. «Северная Почта. 1863. № 43. 24 февр. С. 172. ПК Новгородской губ. на тот же год продавалась за 1 р. 30 коп. в новгородском ГСК и у петербургских книготорговцев Печаткина и Овсянникова (Там же. 1863. № 75. 7 апр. С. 289.). ПК Нижегородской губернии на 1855 г. выручка от продажи которой по цене 1 р. предназначалась для детских приютов, продавалась в губернской типографии (Нижегородские ГВ. 1855. Ч. неофиц. № 27. 2 июля. С. 107—108.), справочная книга Пензенской губернии на 1854 год — в магазинах пензенских купцов Очкина, Кирьякова, Финогенова, Замятина и Павлова (1 р.), торговавших товарами широкого ассортимента (Пензенские ГВ. 1854. Ч. неоф. № 14. 7 апр. С. 82); ПК Рязанской губернии на 1860 г., по ц. 1 р. 50 коп. — в губернской типографии и Рязанской публичной библиотеке. (Рязанские ГВ. 1860. Ч. неофиц. № 34. 20 авг. С. 218).

¹⁵² Помимо изданий ведомства МВД и РГО, ПК рецензировались в ЖМНП, «Отечественных записках», «Северной почте», «Русском инвалиде», «Историческом вестнике», «Этнографическом обозрении», «Санкт-Петербургских ведомостях» и др.

¹⁵³ Первое сообщение о благотворительной цели издания появилось в рекламном сообщении, относящемся к смоленской ПК на 1855 г. (Смоленские ГВ. 1855. Ч. неофиц. № 8. 19 февр. С. 38—39; № 9. 26 февр. С. 47—48.). Книга продавалась по цене 1 р. 50 коп. сер. у производителя работ ГСК Ф. Л. Никифорова.

¹⁵⁴ Согласно отчету библиотеки, в 1858 г. было получено от издателей бесплатно и на обмен Памятных книжек Смоленской губернии 53 издания в 237 томах (Состояние Смоленской публичной библиотеки // Смоленские ГВ. 1859. № 12. 21 марта. С. 72). Библиотека была основана на частные пожертвования при содействии губернатора. Специальных ассигнований на библиотеку ГСК за все время их существования государственный бюджет не предусматривал, и в этой связи заметим, что библиотека Московского губернского СК, организованная в 1863 г. его секретарем, известным библиофилом Н. П. Бочаровым и включавшая губернские ПК, комплектовалась без затраты средств ГСК. (Записки москвича // Московские ведомости. 1868. № 157. 19 июля. С. 3). Б. подп.

¹⁵⁵ Согласно мнению Курского ГСК, зафиксированному в решении от 1 дек. 1861 г., обмен другими изданиями затруднялся вариативностью цен в разных губерниях. Об этом см. статью пом. председателя И. Н. Голицына «По поводу заметки об одном решении Курского губернского статистического комитета» (Северная почта. 1862. № 24. 6 нояб. С. 974). Цена 1-го выпуска Трудов Курского статистического комитета. Курск, 1863 — 2 р. — превосходила средний уровень. (см.: Там же. 1863. № 209. 21 сент. С. 356; № 211. 26 сент. С. 361; № 212. 28 сент. С. 368. Книга продавалась только в Курском ГСК.

¹⁵⁶ Эти газеты впервые зафиксировали факт продажи издания Виленского ГСК в магазине Крашенинникова, находившемся у дома Энгельгардта (Северная пчела. 1853. 14 марта. № 58. С. 231; Русский инвалид. 1853. 25 марта. № 67. С. 275—277).

¹⁵⁷ Ведущая петербургская газета обычно рецензировала книги, продававшиеся в магазине Д. Е. Кожанчикова, находившемся там же, где и редакция (Невский пр. д. Демидова, против Публичной библиотеки). См. ре-

цензию на ПК Киевской губ. на 1858 г. (СПб. ведомости. 1858. № 62. 26 июля. С. 943).

¹⁵⁸ Книжный вестник. 1861. № 19. С. 301.

¹⁵⁹ Авторы установлены в диссертации сотрудницы ГПБ Б. Н. Винер «Библиографический журнал „Книжный вестник“». Л., 1950. Книга издана под ред. главного библиотекаря ГПБ М. С. Альтмана, который неоднократно использовал губернские ПК для реконструкции истории текстов русской прозы XIX в. Начало творческой биографии редактора освещено в публикации автора этих строк: «Работы филолога М. С. Альтмана в советской печати 1930-х гг.: (Наука и схоластика в эпоху сталинизма) // Поиски исторической психологии: Вып. 1. СПб., 1997. С. 101—104.

¹⁶⁰ Это видно по сумме комиссионных отчислений (15 коп. с рубля) в частной торговле ПК Петербургской губернии 1860-х гг.

¹⁶¹ В качестве исключения отметим подаренные Симбирским ГСК наследнику Александру Александровичу (20 июля 1869 г.) «Печатные труды свои за последние два года» (то есть очевидно и ПК на 1868 г. См: Ауновский В. Статистический отчет за 1868 год, с очерком деятельности Симбирского губернского статистического комитета за 1869 год // Симбирский сборник: Т. II. Симбирск, 1870. С. 44 2-й паг.

¹⁶² Опул. в виде двух частей: «Княгинин Успенский девичий монастырь (во Владимире Кляземском» // ПК Владимирской губернии на 1862 год. Отд. 2. С. 1—38 4-й паг; Опись Владимирского Успенского Княгининского Девичьего монастыря, 1665 года // Там же. С. 39—105 той же паг.

¹⁶³ См.: Schuyler, Eugene (1840—1890) // Dictionary of american biography V. XVI. L. 1935. P. 471—472.

¹⁶⁴ Протокол годового заседания Минского губернского статистического комитета. 12 октября 1874 года. // ПК Минской губернии 1875 года. 1875. Ч. 2. С. 6.

¹⁶⁵ Известны переводы материалов по хронологии и этнографии из ПК Ковенской губ. на 1861 г. в тильзитской газете *Auszra*. 1885. № 10/11. S. 304—312; 1886. № 2. S. 76—81, рецензия Э. А. Вольтера на статью Н. А. Янчука «Несколько слов по поводу археологической и этнографической экскурсии в Седлецкой губ. в 1891 г. (ПК Седлецкой губ. на 1892 г. С. 223—255) и работу К. И. Явниса «О жмудском говоре» (ПК Ковенской губ. на 1892. С. 91—222) в издаваемых в Гейдельберге «Mitteilungen Litauschen Lit. t. Gesellschaft. Bd. III. P. 546—547. В прессе встречаются и упоминания о международном обмене: в 1870 г. СПб. СГСК обменял 18 названий своих изданий на труды Пражского статистического бюро (Виленский вестник. 1870. № 121. 29 окт. С. 458). Это соответствует количеству изданий в списке, представленном дирекции Публичной библиотеки (Арх. РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1869. Д. 65. Л. 3), включавшем также ПК.

Т. С. Царькова
С.-Петербург

Прогулка по кладбищу в 1935 году (к изучению провинциальных некрополей)

Исторический интерес к кладбищам в русской культуре имел свои вершины и опускался на нулевые отметки. В церковной и светской печати XIX века публиковались очерки, посвященные истории отдельных, преимущественно столичных, кладбищ¹, освещались открытия памятников на могилах известных лиц и описывались монументы, сохранившиеся от прежних времен².

Самыми заметными событиями в этой области исторической науки стали выпуски трехтомного Московского некрополя (1907—1908гг.) и четырехтомного Петербургского некрополя (1912—1913гг.) справочников, не отмененных временем, которым и сегодня, в век информатики, не грозит утрата научной ценности. Тогда же, в начале XX века, зарождается идея создания общероссийского некрополя. 30 октября 1908 года Великий князь Николай Михайлович, под чьим покровительством готовилось и осуществлялось издание столичных некрополей, обратился к Святейшему Правительствующему Синоду с письмом, содержащим предложение о содействии в сборе «сведений о лицах, погребенных в местных храмах и на кладбищах, в интересах исторической науки и генеалогии...». По этому письму Синодом 29 ноября 1908 года был принят и разослан во все епархии циркулярный указ, согласно которому началось переписывание сведений с крестов и памятников «с точным обозначением надгробных надписей, сохранившихся на могилах духовных лиц, дворян и наиболее крупных местных государственных деятелей купеческого и других сословий...» (Синод 1908).

Результатом этой работы стал выход первого тома «Русского провинциального некрополя», охватывающего северные губернии России (Шереметевский 1914). Дальнейшую работу над изданием остановила первая мировая война и революция 1917 года.

Но даже в первые послереволюционные годы краеведы продолжали собирательскую работу, хотя многие из них уже осознавали ее бесперспективность в эдиционном отношении. Так, близкий Б. Л. Модзалевскому — филологу-пушкинисту, одному из составителей «Москов-

ского некрополя» — принимавший участие в подготовке «Петербургского некрополя» Николай Карлович фон-Эссен, оказавшийся в Рыбинске в голодном 1919 году, писал своему другу: «Посылаю Вам „Рыбинский некрополь“ (...). Он появился как результат моего свободного времени, когда я был готов повеситься от тоски и скуки. Посмотрите посылаемые Вам билетки и если они не заслуживают лучшей участи, киньте их в печку. (...) Провизии никакой купить нельзя и мне приходится довольно туго». И спустя три недели: «У меня еще накопилось за это время билетиков триста, если Вам их нужно, то вышло. (...) Все очень дорого, денег не хватает и приходится иногда голодать» (фон-Эссен 1919)³.

От времени гражданской войны почти не дошло зафиксированных современниками документально-эпиграфических свидетельств. Исключение — очерк Н. И. Платонова «Поэзия псковских кладбищ» (Платонов 1929), в котором наряду с обыденными приводится героическая эпитафия Красным морякам Балтики, а с ней соседствуют эпитафии офицеру Белой армии и случайным жертвам братоубийственной войны:

Но в тебя стрелял коварно
Он по племю свой...

«Золотое десятилетие» советского краеведения не успело подхватить и развить тему описания кладбищ и создания Всероссийского некрополя. Ни у кого, кто бы мог встать во главе этого дела, не было ни того авторитета, ни тех организационных возможностей, какими обладал Великий князь Николай Михайлович, не было в том и заинтересованности государственной власти, намечавшей иные ценностные ориентиры, устремленные в будущее, отнюдь не мемориальные. Работа, как и в XIX веке, велась подспудно, одиночками, теперь уже не церковниками (им было тогда что спасать помимо кладбищ), а учеными и краеведами.

От того времени в нескольких архивохранилищах Санкт-Петербурга сохранилась объемистая машинопись А. И. Никольского «Некрополь бывшего Воскресенского Новодевичьего монастыря в Ленинграде», в Рукописном отделе Пушкинского Дома — рукописный «Русский некрополь» И. М. Картавцова, записи Б. Л. Модзалевского по обследованию петербургских кладбищ и окрестностей, вероятно, подготовительные для возможного в неопределенном будущем переиздания «Петербургского некрополя», в Российском Государственном архиве литературы и искусства — «Некрополь Оптиной пустыни. Опись кладбищ Козельской Оптиной пустыни и скита» Н. Г. Чулковой. В личном архивном фонде пушкиниста и краеведа Петра Митрофановича Устимовича отложилась даже статья-инструкция, согласно которой следовало фиксировать и описывать надгробия, — «Кладбище как объект исследования для краеведов» (октябрь 1929г.). Вероятно, она предназначалась для опубликования в журнале «Краеведение», но отмечена запретительной традиционно красной цензурной резолюцией: «Не помещать. Ю. В. ». Собственно к 1930г. «золотое десятилетие» краеведения и завершилось. Слишком

неуместно, слишком диссонансно-ностальгически звучали к тому времени пристальные обращения к прошлому, слишком невыгодные сравнения они сулили настоящему. Тема некрополей заглухнет в науке на многие десятилетия. Публикуемая работа, возможно, самая последняя фиксация надгробных надписей, приходящаяся на большой промежуток времени — 1930—1960-е гг., что понятно. До того ли было, когда с середины 1930-х шла необъявленная, но всеми ощущаемая подготовка ко второй Мировой войне, стершей сотни старых кладбищ, оставившей безмерные и безымянные братские могилы и огромные поля и по сей день незахороненных останков? На фоне трагической гибели миллионов жизней не могло не измениться в общественном сознании восприятие смерти индивидуума, ухода ничем не примечательного человека.

С конца 1960-х гг. научные интересы вновь обращаются к эпиграфике, но только в области изучения русского средневекового надгробия, т. е. далекой отечественной истории (см., например, — *Гиришберг* 1960; *Рыбаков* 1964 и др.). Параллельно этому, мало кому заметному, кроме специалистов, процессу идет посильное сооружение памятников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (см., например, — *Перерва* 1984; *Валовой*, *Лапшина* 1984; *Петров* 1984; *Голиков* 1984; *Бабичева и др.* 1985 и др.). Рядовая же обывала со всем традиционным культурным комплексом похоронного обряда и посещения кладбищ отойдет в сферу личных отношений, будет принадлежать частной или семейной жизни, останется не затронутой общественным вниманием.

Новая волна интереса к кладбищам, характеризующая конец 1980—1990-е гг., давшая немало публикаций новых материалов, републикаций, многоаспектных исследований⁴, несколько исправляет этот крен, допуская порой в сферу рассмотрения не только исторически и художественно ценные надгробия, но и задаваясь задачей выявления типологических черт надгробия массового, обычного для эпохи. Однако и в этих обобщающих работах редкий ученый переходит границу дореволюционного и советского периодов, так как именно за этой временной границей становится слишком ощутимой недостаточность фактических сведений, сейчас уже практически невозполнимых.

Вот почему сохранившаяся в фольклорном архиве Пушкинского Дома рукопись старорусского краеведа А. И. Белинского, датированная августом 1935г., уникальна. Она фиксирует, пусть на локальном и скудном материале, упущенный нашей эпиграфической наукой временной срез. Жанр публикуемого сочинения можно было бы определить как статью в духе известных историкам и искусствоведам работ на ту же тему С. Н. Шубинского, Н. Н. Врангеля и П. А. Россиева (*Шубинский* 1870; *Врангель* 1907; *Россиев* 1906) и более близкой по времени написания упомянутой выше статьи Н. И. Платонова. Это прогулка по кладбищу с чтением лирических и назидательных эпитафий и размышления о жизни живых и города мертвых, опирающиеся на исторические параллели и литературные цитаты. Повествовательные приемы вызывают в памяти также дореволюционную книгу А. Т. Саладина «Прогулки по кладбищам

Москвы», хотя знать ее Белинский не мог — книга оставалась в рукописи и издана лишь в наши дни (*Саладин* 1996).

О личности автора — А. И. Белинского нам ничего не известно. Можно предположить, что это был интеллигент из провинции — учитель, студент или просто самоучка, краевед-любитель, возможно, писавший для местных изданий. Если его статья заинтересует старорусцев, не исключено, что они скажут о Белинском больше, укажут его публикации. Стиль сочинения поражает порой наивной претензией на философичность суждений, начитанность, при этом автор не избег элементарных ошибок и неточностей в отсылках к классической поэзии и историческим фактам (см. примечания к публикации). Неловкость письма проявилась и в выборе определений. Трудно без улыбки сейчас читать на первой же странице рукописи: «Робко об этом (о памяти в потомстве. — *Т. Ц.*) говорит А. А. Блок (...), с большой самоуверенностью (...) А. С. Пушкин» и т. п. Изумляет удивительная смелость привлекаемого широчайшего сопоставительного фона: один и тот же текст комментируют ссылки на «идеи Платона» и на слова Германна из оперы «Пиковая дама», в других случаях упоминаются «Плач Ярославны», монолог Гамлета. Эпитафия двадцатилетней девице, умершей в 1933г., вызывает у автора ассоциацию с классической эпитафией спартанцам, вероятно, только потому, что обе написаны от первого лица. Из этой небольшой работы, вставившейся в тонкую школьную тетрадь, вырисовывается образ человека, захлестнутого путаными переплетениями противоречивых тенденций своего времени. С одной стороны, несомненен его интерес к культуре прошлого, что сказалось и в выборе темы, и в подборе цитат, с другой — его фразеология, категоричность характеристик отмечены чертами того вульгарного социологизма, который был свойственен эпохе предвоенного построения социализма. Если речь заходит о пирамидах, то «созданных трудом эксплуатируемого населения», если об эпитафии, написанной матерью сыну, то «мать показывает на другого пессимиста, сына Витю», в конце сочинения упоминается даже «международная пророчица, женщина-мистик».

Но спишем издержки стиля изложения на время. Заданность подобных интонаций очевидна: вероятно, Белинский по возрасту принадлежал к поколению, которое учили именно так писать.

К чести автора надо отметить, что он в начале своего сочинения затронул проблему, над которой только сейчас задумались и теоретики литературы и фольклористы: в каком типологическом ряду следует рассматривать надгробные надписи? (см. об этом, например, — *Царькова* 1990; *Царькова* 1994; *Кормилов* 1995; *Бахтин* 1996 и др.) и, вводя как коррелят концепт «память», выстраивает этот ряд: альбомные стихи, дарительные надписи, эпитафии. А в заключительной части работы намечает еще одну самоочевидную параллель, пока, однако, не раскрытую филологией: эпитафия — причитания. К верным наблюдениям над жанром реальной (кладбищенской) эпитафии следует отнести неловко сформу-

лированное, но точное по сути, утверждение о панегиричности надписей: «Невольно бросается в глаза, что ни в одной эпитафии нет даже намека на отрицательные стороны умерших. Таких эпитафий не пришлось читать и на других кладбищах».

Старорусское Симоновское кладбище — старинное, едва ли не первое в городе. Вот что сообщает о нем справочник середины прошлого века: «Кладбище, при богословской церкви находящееся, называется симоновщина; оно, по народному преданию, называется так потому, что земля была собственностью одного московского купца, соляного промышленника, жившего в Старой Русе в качестве гостя, по фамилии Симонова, а по смерти его, владели оною его потомки; в это время открылся ужасный мор в г. Старой Русе⁵, и по Высочайшему повелению воспрещено было хоронить умерших при церквях, а велено было отвести за городом кладбище; для сего и отведена, по согласию владельцев, симоновщина. На ней тогда старорусский воевода, как начальник города, Корнилий Иванов Колобов устроил две скульницы, из коих в одной погребались умершие во время мороваго поветрия, а в другой безызвестные странники, нищие, наказанные публично за преступления и проч.

Потом симоновщина из рода Симоновых перешла в собственность старорусского купца Абрама Махаева, по родству-ли, или по продаже, неизвестно. Когда же 1771 года воспрещено было при церквях погребать умерших вообще, то симоновское кладбище избрано общим для всех в православии умерших, которое и доселе остается таковым, будучи обнесено деревянною оградой. К нему с юговосточной его стороны начальством присоединено 1838 года кладбище для погребения иноверцев» (*Макарий* 1866: 34—35). Вышедший век спустя исторический очерк города Старая Русса иначе объясняет происхождение названия кладбища: «„Симоновщина“ — кладбище основано на землях, принадлежавших московскому симоновскому монастырю» (*Вязинин* 1963: 205—206).

Эпитафии старорусского Симоновского кладбища не отличаются большой оригинальностью, они взяты Белинским с рядовых могил обывателей и интересны как типовые образцы низовой (в частности, стихотворной) культуры. Эпитафия вообще чрезвычайно консервативный жанр, как никакой другой сохраняющий пристрастие к традиционным клише, поэтическим формулам. И мы видим, что одни и те же стихи высекались на памятниках и в XIX веке, и в 1920—1930-е годы (заметим, некоторые из них встречаются и на современных кладбищах). Но видим мы это благодаря Белинскому.

В подборке текстов доминируют самодеятельные стихи, реже встречаются цитаты, не раскрытые собирателем. В метрическом отношении самодеятельный стих, поэтика которого еще не изучена, имеет свои особенности, он значительно свободнее канонического стиха, допускает резкие метрические перебои, смену ямба хореем или вовсе прозостихом:

В борьбе со смертью гадкою
70 ночей я просидела над твоею кроваткою, —

написала мать над детской могилой. Не случайно в этой надписи, в последнем сокровенном обращении к ребенку, появляется слово из детского языка, определение — гадкая смерть. Любит реальная эпитафия точность, верность действительности, факту, документальность, отсюда «70 ночей» и строка «прошли шесть месяцев тяжелых» в другом тексте.

Чутко уловил Белинский и еще одну особенность надгробий своего времени — эклектичное взаимодействие сакральных мотивов с атрибутами новой идеологии: христианская эпитафия помещается на памятнике с коммунистической символикой. О том же писал Л. Пантелеев, некогда также неторопливо прогуливавшийся по кладбищам: «Люблю бывать на кладбищах. Характеры людей и тут — в надписях, эпитафиях, в цветах, которые сажают на могиле, в самом надгробии.

Еще в Старой Руссе, кажется, заметил, что больше всего надписей мистического характера.

На могиле летчика витиеватая надпись:

Мой милый комсомолец!
Котик, я не выживу одна.
Возьми меня с собой.

Другой столбик:

С. И. Синюхин
21 30
19 — 12 19 — 36
IX VIII

и химическим карандашом вокруг этой скупой справки: „Сергей не забудь меня прими меня к себе твой любимый брат Вася Синюхин“» (Пантелеев 1980: 290).

Если эпитафии XVIII-XIX вв. хотя бы выборочно попадали в некрополи и могут ныне стать предметом многоаспектного анализа для филологов, историков, этнографов, философов, культурологов, то надписи XX века практически не собраны, не изданы и не изучены. Век заканчивается, а работа предшественников не завершена. И хотя на столичных кладбищах стихотворные эпитафии попадают теперь нечасто, в провинции их по-прежнему пишут. Будем надеяться — и собирают.

Публикуем работу А. И. Белинского как рукописный памятник, не привнося в авторский текст никаких исправлений (РО ИРЛИ Р. V. Кол. 198).

Примечания

¹ Библиографический свод этих работ приведен — *Саитов, Модзалевский* 1907—1908, 1: X—XXII) и — *Саитов* 1912—1913, 1: IV—XIX). Из описаний провинциальных кладбищ XIX в. назовем наиболее известные, содержащие надписи с надгробий: *Лествицын* 1877; *Иосиф (Соколов)* 1892.

² Особенно много статей по этой теме опубликовано в журналах: «Русская старина», «Всемирная иллюстрация», «Зодчий».

³ Ныне «Рыбинский некрополь» опубликован (СПб., 1998).

⁴ Назовем здесь лишь несколько обобщающих, итоговых исследований: *Кудрявцев, Шкода* 1986; *Кобак, Пирютко* 1993; *Шулепова и др.* 1991; *Некрополь* 1996; *Беляев* 1996 и др.

⁵ Вероятно, имеется в виду пятимесячная, опустошительная для города эпидемия 1655 г.

Библиография

Бабичева и др. 1985 — Цветы у обелисков: О памятниках Великой Отечественной войны на Кубани / Сост. Р. И. Бабичева и др. Краснодар, 1985.

Бахтин 1996 — Бахтин В. С. Реальность письменного фольклора // Экспедиционные открытия последних лет. СПб., 1996.

Беляев 1996 — Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. М., 1996.

Валовой, Лапшина 1984 — Валовой Д., Лапшина Г. Имена на обелиске. Минск, 1984.

Врангель 1907 — Врангель Н. Н. Забытые могилы // Старые годы. 1907. Февр. С. 35—51.

Вязинин 1963 — Вязинин И. Н. Южное Приильмень. Новгород, 1963. С. 205—206.

Гиршберг 1960—1962 — Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмоскovie XIV—XVII вв. // Нумизматика и эпиграфика. 1960—1962. Т. 1, 3.

Голиков 1984 — Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны: 1941—1945 / Сост. и общ. ред. В. А. Голиков. М., 1984.

Иосиф (Соколов) 1892 — Иосиф (Соколов). Виленский православный некрополь. Вильна. 1892.

Кобак, Пирютко 1993 — Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Петербурга. СПб, 1993.

Кормилов 1995 — Кормилов С. И. Маргинальные системы русского стихосложения. М., 1995. С. 41—70;

Кудрявцев, Шкода 1986 — Кудрявцев А. Н., Шкода Г. Н. Александроневская лавра: Архитектурный ансамбль и памятники некрополей. Л., 1986.

Лествицын 1877 — Лествицын В. И. Надгробные надписи Спасо-Ярославского монастыря. Ярославль. 1877;

Макарий 1866 — Макарий, архим. Церковно-историческое описание города Старой Русы, содержащее в себе сведения о старорусских церквях, Спаском монастыре и духовном училище. Новгород, 1866.

Некрополь 1996 — Русский провинциальный некрополь. М., 1996 (Река времен: Книга истории и культуры: Кн. 4).

- Перерва* 1984 — Перерва Д. И. Памятники на священных рубежах. Харьков, 1984.
- Петров* 1984 — Петров И. Обелиски славы: История Сибири в памятниках. Иркутск, 1984;
- Платонов* 1929 — Платонов Н. И. Поэзия псковских кладбищ // Познай свой край: Сб. Псковского общества краеведения. Псков, 1929. Вып. IV.
- Россиев* 1906 — Россиев П. А. Забытые могилы на московских кладбищах // Исторический вестник. 1906. № 1. С. 822—848.
- Рыбаков* 1964 — Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV веков. М., 1964.
- Саитов* 1912—1913 — Саитов В. И. Петербургский некрополь: В 4 т. СПб., 1912—1913.
- Саитов, Модзалевский* 1907—1908 — Саитов В. И., Модзалевский Б. Л. Московский некрополь: В 3 т. СПб., 1907—1908.
- Саладин* 1996 — Саладин А. Т. Очерки истории московских кладбищ. М., 1996.
- Синод* 1908 — Переписка Синода с вел. кн. Николаем Михайловичем и Указ Синода епархиальному начальству // РГИА. Ф. 549. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.
- Царькова* 1990 — Царькова Т. С. К изучению стихотворных надписей // Русская литература. 1990. № 3. С. 115—129.
- Царькова* 1994 — Царькова Т. С. Стих в народной бытовой эстетике: (К постановке проблемы) // Русская литература и культура нового времени. СПб., 1994. С. 254—271.
- Шереметевский* 1914 — Шереметевский В. В. Русский провинциальный некрополь. М., 1914.
- Шубинский* 1870 — Шубинский С. Н. Кладбищенская литература // Всемирный труд. 1870. № 11. С. 794—806.
- Шулепова и др.* 1991 — Московский некрополь. История. Археология. Искусство. Охрана: Материалы научно-практической конференции / Редкол.: Э. А. Шулепова и др. М., 1991.
- фон-Эссен* 1919 — фон-Эссен Н. К. Письма Б. Л. Модзалевскому. 1919 г. // РО ИРЛИ. Ф. 184.

А. И. Белинский

Могильные надписи на памятниках Симоновского кладбища в г. Старая Русса (1935г.)

Каждому человеку в большей или меньшей степени присуще желание оставить по себе память после смерти. Одни довольствуются скромным пожеланием удержаться в памяти родных, родственников; другие претендуют жить в памяти друзей; более требовательные хотят не только памяти, но и посмертной славы в среде соотечественников и даже во всем мире.

Эта психологическая черта живет в человеческом обществе от времен самой глубокой древности и выражается в различных формах.

Тысячелетия отделяют нас от египетских фараонов: Тутмесов, Рамзесов, Аменхотепов и др., от ассирийских Ассаргадонов, от вавилонских Навуходоносоров, Набополассаров и пр., а память о них живет в грандиозных сооружениях, созданных трудом эксплуатированного населения в пирамидах, дворцах, мудреных надписях на стенах этих сооружений, на природных скалах, в скульптурных памятниках и пр.

Их примеру следовали правители всех народов, приходивших на историческую сцену. Некоторые уже при жизни ставили себе памятники, вызывая иногда насмешки, негодование и даже возмущение своих «верноподданных», считавших подобную претензию сумасшествием, как это было, например, с римским императором Каллигулою.

Строители записывали и записывают свои имена на своих сооружениях.

Писатели хотят жить в памяти потомков через создаваемые ими литературные произведения. Робко об этом говорит А. А. Блок:

«Быть может: юноша веселый
В грядущем скажет обо мне...»¹.

Более уверенные ноты звучат у А. В. Кольцова:

«Пишу не для мгновенной славы,
Для развлечения, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней»².

С большей экспрессией и самоуверенностью о том же говорит А. С. Пушкин:

«Нет! Весь я не умру. Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит»³.

Дети пишут своим друзьям и подругам на память смешные стишки в альбомы.

С изобретением фотографических аппаратов заставляют помнить о себе фотографическими карточками с очень трогательными надписями и т. д. и т. п.

Человек не может примириться с мыслью, что смерть положит конец его бытию. Бессильный в борьбе со смертью, он протестует против окончательного уничтожения.

«Нет! Весь я не умру!» — говорит человечество устами поэта.

Эту жажду жизни в народе знали религиозные учителя и для успокоения своих последователей создали рассказы о рае и аде, о загробной жизни, о душепереселении и т. п.

Никогда мысль не работает так усиленно над вопросом о загробной жизни, как в тот момент, когда умирает кто-нибудь из родных, близких людей.

С этой точки зрения интересны эпитафии, помещаемые на могильных памятниках. Они зачастую раскрывают нам «святое святых» мертвых и живых. То, что скрывалось где-то в тайниках человеческих, жило бессознательно, вдруг шквалом выплеснуто наружу. Как будто не было другого случая высказаться, всенародно исповедаться. В могильных стихах, вообще небогатых поэзией, так много чувства, что никому не придет в голову сомневаться в искренности исповедующегося поэта.

О чем же говорят нам эпитафии Симоновского кладбища в Старой Руссе?

Вот некто Ф. Ефимов, по-видимому, безродный, думая о смерти, заготовил стихи для креста. Они надписаны: «Моя просьба». Он боится плохой памяти о себе, просит прощения у тех, кому сделал что-нибудь худое:

«Кому я враг, прошу прошенья,
не кляните прах, забудьте мшенье...»

Друзей просит не забывать его могилу:

«Умирают же хорошие люди,
Умру ведь, конечно, и я,
Забегите, как времечко будет,
На могилу проведать меня».

Просит молиться о нем:

«Помолитесь, друзья, помяните,
Где грешника прах опочит,
Панихиду, друзья, отслужите,
Что далекий мой путь облегчит».
(1921 год)

Эта боязнь быть забытым и желание, чтобы живые не проходили безучастно мимо могилы, читается и в нескольких других эпитафиях.

«Прошу, жалея, вспоминая,
Ходить на кладбище ко мне,
И здесь, за все меня прощая,
Молите бога обо мне»,

говорит инокиня Мария Ивановна из дер. Котово (1922 г.).

На кресте над могилой девицы, умершей 20 лет от роду, читаем:

«Здесь моя могила,
Путник, подожди
И над гробом надпись обо мне прочти».
(1933)

Напоминает греческую эпитафию:

«Странник, возвести отчеству:
Мы здесь пали, верные своему долгу»⁴.

Иван Михайлович Яковлев, почти повторяя предыдущую эпитафию и опасаясь равнодушия прохожего, мотивирует свою просьбу, напоминает прохожему его судьбу:

«Ты идешь, прохожий,
Ляжешь, как и я,
Сядь же, отдохни
На могиле у меня
И сорви былинку,
Вспомни о судьбе:
Ты в гостях, я дома,
Вспомни о себе.
О себе подумавши,
Помяни меня,
Долго ли, коротко ли,
Будешь тут, где я»⁵.
(1915 год)

Не звучат ли здесь те же мотивы, что в словах Герман(н)а:

«Что наша жизнь?
— Игра.
Сегодня ты,
А завтра я».

Вероятно, совершенно незнакомый с греческой философией, Яковлев проповедует идеи Платона о том, что наша земная жизнь есть только отражение другого мира, мира идей («Ты в гостях, я — дома»).

Яковлев в этом отношении не одинок. Молодой человек, умерший от чахотки, перед смертью говорил: «Ухожу я домой» (1933г.).

В большинстве эпитафий смерть рассматривается как временный и неизбежный сон:

«Спи, папа!»...

«Так спи же спокойно, Леничка Яхонтов!»...

«Спи, ненаглядный сыночек!»...

«Тише, листья, не шумите,
Нашу Веру не будите,
Здесь, в могиле под крестом,
Спит спокойно крепким сном»⁶.

«Спи же теперь, вечно любимый,
Спи спокойно в могиле своей».

«Дорогой муж, ты спишь в земле сырой».

«Взгляните, как спокойно уснули они»...

«Ты спи спокойно»... и т. д.

Здесь звучат христианские мотивы о смерти, как этапе в жизнь вечную.

«Ушел от земли он в мир божий,
Где свет и блаженство царит...
И там отдохнет от житейской тревоги
В жизни счастливой и новой».

«Так спи же спокойно,
О Шура мой милый,
До дня воскресенья святых»...

«...Господь тебя да упокоит,
Отверзет райские врата,
Жить в том месте удостоит,
Где жизнь и вечна и свята».
(1922 год)

«...Бог искупил твои страданья
И отозвал он в лучший мир,
Где нет ни слез, ни вздыханий»...
(1932 год)

Некоторые эпитафии сомневаются в том, что смерть есть только сон, рисуют этот сон бесконечным. В них нет надежды на какую-то другую жизнь.

«Здесь, в этой могиле сырой
Спят беспробудным сном
Дедушка с внучкой
Маленькой своей...
Сон их беспробудный
Никто не разбудит».

Большинство эпитафий проникнуто безудержной скорбью, которая бьет из каждой строчки, которой насыщено каждое слово. И не удивительно: смерть в один момент разбивает все, что

называется счастьем в жизни. Ярko по этому поводу сказал Г. Р. Державин:

«Где стол был яств, там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики»⁷.

Вот пораженная горем мать, потерявшая 8-летнего сына. Она полна отчаяния. Она не может дать себе отчет в том, что случилось.

«Что случилось? Что задумал ты?
Не могу я понять, отчего ты ушел.
Я всеми силами тебя лелеяла,
Не жалея себя, я тебя стерегла:
В борьбе со смертью гадкою
70 ночей я просидела над твоею кроваткою.
Ты ведь сынушка, был такой крепкий.
Но как видно, короток был земной твой покой.
Все на свете отдала бы я, чтоб опять,
Мой горячо любимый сынушка, тебя к нам вернуть».

Вот говорит другая мать, похоронившая своего сына, свою надежду, опору в старости:

«Прощай, мой ангел безответный,
Ты отлетел уж от меня!
Оставил мать в слезах родную
Скучать и плакать навсегда.
Один ты был моя отрада.
В тебе на жизненном пути
Бывало думала я прежде
Отраду счастья найти.
Тебя, качая в колыбели,
Бессонных несколько ночей
Стояла у твоей постели
С надеждой будущей своей.
Ты подрастал, а я мечтала,
Что юность крепкая твоя
Под старость мне отрада будет,
Надежда вечная моя!»...

Пораженная неожиданной смертью мужа, жена говорит:

«Душа моя рвется к тебе,
Мысли терзают,
Покою не знаю,
Думаю все о тебе.
Двое малюток оставил, мой милый,
В память ты мне о себе,
Плачут, тоскуют, все папочку просят
Вернуть им с могилы себе».

В другой эпитафии:

«Ты не вернешься к нам, родимый,
В родной семье не будешь вновь,
Ты не почувствуешь, голубчик,
Всю нашу скорбь и всю любовь».

Безысходной тоской, безудержным пессимизмом насыщены следующие строки, неизвестно к кому адресованные:

«Я вновь одна и вновь кругом
Все та же даль и мрак унылый,
И я в раздумье роковом
Стою над свежеею могилой.
Чего мне ждать? К чему мне жить?
К чему бороться и томиться?
Мне больше некого любить,
Мне больше не с кем подружиться»⁸.
(1928 год)

Провожают прах «с жгучею болью в душе», с мыслью, что «любимого мужа и папочку больше им здесь никогда не видать», что «пришел конец всему, слов теплых нет, и ласки нам не видеть, не слышать», что «папа не видит, не слышит малюток, сироток своих, обнять целовать уж не может их больше»... и т. п. Во многих эпитафиях рядом с таким безбрежным горем светятся проблески надежды, что горе не вечно. Авторы многих эпитафий находят себе утешение в том, что сами они сойдут «под вечные своды» и там кончится их разлука с дорогими покойниками. Жена и мать говорят:

«Муж мой с детьми под крестом
Спит непробудным, крепким сном,
Спит и почивает, к себе жену он ожидает».

Другая жена (сельского фельдшера) пишет:

«Я плачу, тоскую, убитая горем,
С тобою в разлуке живу,
Молись же, может быть, скоро
Я жить к тебе вечно приду».

В расчете на свидание убитая горем пишет:

«Буду трудиться, бороться и ждать,
Пока не наступит свиданье...
И когда я приду истомленная,
Приголубь меня лаской своей».
(1932 год)

Тот же мотив звучит в словах:

«Жди, наступит час свиданья,
И будем мы вместе, как были всегда».

Эта встреча кажется настолько неизбежной, горе так велико, что автор не выдерживает и через 6 месяцев после смерти любимого обращается к богу с просьбой ускорить свидание:

«Прошли 6 месяцев тяжелых,
Как вот не вижу я тебя,
О боже милостив, пошли свиданье,
Чтоб нам увидеться скорей».

В некоторых эпитафиях звучит уверенность, что в назначенный час встреча состоится:

«Покойся прах души бесценной
В стенах обители святой,
Ударит час благословенный,
И мы увидимся с тобой»⁹.
(1934 год)

Авторы нескольких стихов ищут утешение в том, что умерший переселился в лучший мир. Это примиряет их с тяжелой утратой:

«Хоть трудно расстаться
С близким и сердцем любимым,
Но стоит ли нам убиваться
Над жребием бога счастливым?
Он счастлив вдали от греховного мира,
Он там, где нет горя и слез,
Где люди вражды и неправды не знают,
Где царствует в славе Христос?»

Такая мысль тем более приятна, что в жизни земной многие видели много горя:

«В последние годы тяжелый крест
Нес друг наш милый...
Бог искупил твои страданья
И отозвал он в лучший мир,
Где нет ни слез, ни воздыханий,
Там нет трудов, не нужно сил...»

Та же мысль и в другой эпитафии:

«Только в смерти желанный покой,
Только в смерти ресница густая
Не блеснет безнадежной слезой,
Только там не коснется сомненье
Милой головки твоей.
Только там ни тревог, ни волнений...

Тебя не тревожит тоска и страданье,
Душа твоя там, где любовь и покой...
Где нет безумной печали людской...»¹⁰.
(1932)

Молодая жена успокаивает себя теми же соображениями:

«Исчезли земные страдания и муки...»

Интересно отметить, что и в эпитафии на могиле с коммунистическим памятником есть строчка созвучная христианской идеологии:

«Милый мой Гарри, солнышко ясное...
В мир лучший душой улетел».
(1930)

Авторы некоторых эпитафий думают найти себе утешение в том, что будут ходить на могилу, чтобы выплакать горе в слезах.

«К тебе мы будем приходить
На дорогую нам могилу,
С сердечной болью слезы лить».

«На твою ли могилу, родной наш,
Мы с мамочкой вместе придем
И, папу своего вспоминая,
Горячие слезы прольем».

«Дорогой муж, ты спишь в сырой земле,
Жестокую грусть оставил мне.
Куда идти тоску делить?
Иду к могиле слезы лить».
(1931)

Слезами надеются поддерживать связь с покойником.

«На твою могилу, родная,
Любимые дети придут
И, маму свою вспоминая,
Горячие слезы прольют.
И, может быть, ихние слезы
До сердца на прах твой пройдут
И тебе, дорогая, привет принесут».

В утешение умерших говорят, что память о них будет жить вечно.

«Память о тебе вечно будет жить
в наших больных, разбитых, одиноких сердцах».
(1932)

«Пусть ты в могиле зарыта,
Пусть ты другими забыта,

Да, ты для них умерла,
 Но для меня ты живая».
 (1926)

«Папочка милый, мы будем расти без тебя,...
 Но помнить век будем тебя».
 (1930)

На могиле члена Исполн. Ком. Старорусского Совета Раб, Кр. и Кр. Ар. Депутатов тов. Миронова был поставлен мраморный памятник с надписью: «Вечная память борцу за социализм, погибшему от руки наймитов буржуазии. II. VII.19». Могила не в порядке: холмик затоптан, половина мраморного монумента лежит на земле¹¹.

Невольно зарождается сомнение в искренности эпитафий, где так много любви, клятв в преданности до гроба и т. д.

Не оправдывается ли иногда пословица — «С глаз долой и из сердца вон», и не прав ли был Шекспир, вложивший в уста Гамлета, рассматривавшего череп бывшего знаменитого королевского шута, крылатые слова: «Бедный Йорик!»

В нескольких стихах для умиротворения умерших говорится, что не только родные, не только люди сочувствуют их судьбе, стремятся скрасить их одиночество, но и природа разделяет их горе, готова облегчить их тяжелую долю:

«Пусть теперь тебе листья поют
 Заунывную песню природы,
 Пусть былинка и травка волнуясь шумит
 Над твоей печальной могилой».

В другом:

«И соловей весною звонко
 Тебе здесь песни будет петь,
 Порой осенней и зимою
 Злой ветер жалобно шуметь».

Последние эпитафии в родстве с «Плачем Ярославны», которая в свидетели своего горя призывала ветер, светила небесные, реки и т. д., и с концовкой стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», в котором автор пишет:

«...Пусть у гробового входа
 Младая будет жизнь играть,
 И равнодушная природа
 Красою вечною сиять»¹².

Трудно однако найти утешение в том случае, когда умирает человек молодой, жаждавший жизни, не знавший горя и забот:

«Не старушкой хилой
 Кончила свой путь,
 Не пришла усталой
 Под сей крест уснуть,
 Смерть меня сразила
 В самом цвете лет;
 И когда сулила
 Жизнь мне свой привет,
 И была я бодрой,
 Горестей не знала,
 А душой свободной
 О любви мечтала...»
 (1935)

В таких случаях для смерти нет оправдания. Живые здесь не могут примириться с бесполезною данью земле:

«Раскройся, раскройся, немая могила,
 Мой друг, на меня посмотри,
 Забыл ты, как нежно тебя я любила,
 Встань и мне слезы утри»
 (1926)

Кто же населяет этот своеобразный город мертвых? Что мы знаем о бесчисленных обитателях Симоновского кладбища? Об огромном большинстве ничего, об остальных почти ничего. Невольно закрадывается обида. За своих предков. Ведь они жили, трудились на пользу человечества. Какая же им за это награда?

В своем рассказе «Кладбище» Максим Горький устами Саввы Хорвата говорит: «Вслушайтесь: клад-бище. Клады бы искать надо здесь. Клады разума, сокровища поучений. А что я нахожу? Обида и позор... посмотрите, разве это памятники?! Что они напоминают вам и мне? Ничего. Это не памятники, а паспорта, свидетельства, выданные человеческой глупостью самой себе. Под сим крестом Марья, под сим — Дарья, Алексей, Евсей рабы божии и — никаких примет. Это — безобразие! Здесь людей, отживших трудную жизнь, лишили жизненного образа, а его необходимо сохранить — в поучение мне и вам. Образ жизни всякого человека поучителен, могила часто интереснее романа, да-с»¹³.

Таких паспортов много на Симоновском кладбище. Значительное число их даже безыменные. Полагаю, что это преимущественно могилы крестьян, которые, вообще, на могильных монументах не делают никаких надписей. Как исключение пришлось прочесть (сохраняю правописание): «Под этим крестом покоится тело крестьянки дер. Суриково Татьяне Павловне Ба-

бичевой» и «Здесь покоится гр-ка дер. Слабодка Наталья Петровна Калиничева» (1933 г. 12 марта).

Как будто больше на Симоновском кладбище не хоронили крестьян, как будто нечего сказать о них. А ведь сколько поэзии и правды в тех приплачках, похоронных песнях, которыми сопровождают гроб деревенского покойника и которые можно слышать в поминальные дни — родительские субботы, Троицын день и т. п. Или у крестьянина сложился такой взгляд, что память об нем — это роскошь, что с него довольно одного креста, — «По Сеньке и шапка». Или он слишком занят работой, некогда думать о мертвецах. Иль так уж от стариков повелось.

На многих могилах кресты с фамилией покойников, которые ничего не говорят, если даже к ним прибавить имена и отчества: «Виктор Андреев», «Младенец Валентина Гвоздева», «Александр Карлович Блофлельд» и т. п. есть надписи с обозначением профессии покойника и годами его рождения и смерти. Это в большинстве монументы купцов, купчих, духовенства; есть могилы врачей, фельдшера, лекпома, артиста, офицера, убитого в германскую войну, брандмейстера, пожарного, инокини, быв. гимназистка... Землемеры, агрономы, служащие, мастеровые, учителя, инженеры и пр., должно быть, не умирали. Сведений о них здесь нет.

Только пожарному посчастливилось получить оценку Горсовета, — за 40-летнюю работу он посмертно награжден грамотой героя труда; на могиле студента Андрея Евгеньевича Герасимова стоит крест с надписью, определяющий его заслуги перед обществом: «Безвременно погибшему на далекой чужбине в борьбе с тифозной эпидемией — 1908 г.»

Очень немногих (всего около 60 эпитафий) оценили родные, главным образом как членов семьи.

Из этих эпитафий нам становится известным, что жена оплакивает мужа, которого «злая чахотка поразила, рано так жизнь отняла»; что другой муж умер тоже «жестоко сраженный чахоткой», что он, «порою охвачен неверья сомненьем, бился, как птичка в силках», что он «только тогда нашел покой и блаженство, когда к Иисусу воззвал».

Одна эпитафия говорит о 17-летней девушке пессимистке, которая поведала о себе следующее:

«Я хотела, чтоб я умерла
На рассвете своей красоты,
Чтоб меня, как другие цветы,
Не застала осенняя мгла.

Слишком близко я к горю росла,
Слишком близко несчастье и мгла,
И пока я невинно цвела,
Я хотела, чтоб я умерла».

17-летняя покойница лежит рядом с двумя сестрами, умершими тоже в очень молодые годы. Быть может, та же чахотка, быть может, какой-нибудь семейный недуг косили молодые жизни. Она сама хотела умереть. Что можно сказать по этому поводу? Вспоминается стих Некрасова:

«Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым»¹⁴.

А вот мать показывает на другого пессимиста, сына Витю:

«Милый Витя! Ушел ты от нас,
Ты страдал, дорогой, над бесцельностью жизни
И роптал на нее ты не раз,
Не хотел ты влачить здесь свое прозябанье
И мечтал поскорее уйти.
Ты ушел, дорогой. Тебя нет среди нас.
Ты лежишь здесь в холодной могиле.
Видно, лучше тебе здесь, Витюша!
Что хотелось тебе, — ты достиг...»

Что значит последняя строка? Как кончил жизнь Витя? Не самоубийца ли скрыт землей? Чем навеяно отвращение к жизни? Удары судьбы, неудачи или так сложились убеждения в зависимости от характера, темперамента? Не сродни ли он М. Ю. Лермонтову, который говорил о жизни, что она «дар напрасный, дар случайный»¹⁵.

Напрашивается вопрос, заданный Хорватом, облеченный много раньше Кольцовым в поэтическую форму:

«Какие думы в глубине
Его души таились, зрели?
Когда б они сказались вполне,
Кого б мы в нем, друзья, узрели?»¹⁶.

Но

«Темна, страшна могила,
За далью мрак густой,
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой!»

Философский вопрос о том, для чего рождается человек, если он должен умереть, находит себе ответ в христианском учении о безграничной воле божией:

«Господь нам на утешенье
Созданье милое послал,
И, показав свое творенье,
К себе обратно взял»¹⁷.

«Знать, воля господня на это была».

Невольно бросается в глаза, что ни в одной эпитафии нет даже намека на отрицательные стороны умерших. Таких эпитафий не пришлось читать и на других кладбищах. Очевидно, только в анекдоте можно так говорить, как будто бы написал один муж на памятнике своей жене:

«Спи, милая подруга,
При жизни мы измучили друг друга,
Теперь мы отдохнем»¹⁸.

«De mortuis aut bene, aut nihil» (о мертвых можно говорить или хорошо, или ничего), — говорит древняя латинская поговорка.

Соответственно этому эпитеты, сравнения и другие литературные образы в эпитафиях исключительно ласкательные: «милый», «незабвенный», «голубчик», «ненаглядный», «отрада», «надежда», «родная», «солнышко ясное», «голос чарующий», «слезы горячие», «кудри рассыпались волнами»...

Наоборот, о причинах смерти, о могиле говорится в холодных, даже злобных тонах: «лютая смерть», «злая чахотка», «земля сырая», «могила холодная» и т. п.

Протестантские и католические эпитафии похожи на православные:

«Gehe ein zu deinem Herrn,
Freude, unser heissgeliebter
Sohn und mein unvergessener Bruder!»

(«Иди к твоему господу, радуйся наш горячо любимый сын и мой незабвенный брат»).

«Schlaf wohl mein inniggeliebter,
Mann und mein teux Vater!
Selig sind die Todten
Die in dem Herren sterben».
(1923)

(«Спи спокойно, мой искренне любимый муж и мой дорогой отец». А дальше стих из священного писания: «Блаженны мертвые, умирающие в боге», т. е. с верой в бога).

Интересна одна могила, на прекрасном мраморном памятнике которой высечена историческая фамилия баронессы Крюде-

нер. Такую фамилию носила та международная пророчица, женщина-мистик, под влиянием которой находился одно время император Александр I¹⁹.

«Geb. zu Ludwigsburg in Wütemberg Else Wöhrrmann, verh. Baronin Krüdener». (Родилась в гор. Людвигсбурге, в Вюртемберге, Эльза Верман, в замужестве баронесса Крюденер). Как бы в объяснение того, каким образом баронесса из Германии попала в Старую Руссу, эпитафия кончается словами святого писания: «Es ist der Herr, er tut, was ihm wohlgefällt» – 1905 г. («Есть бог, он делает, что ему угодно»).

Вероятно, смерть застигла покойницу в Руссе, куда она приехала на курорт для лечения. Имеет она какие-нибудь родственные отношения с «пророчицей» — не знаю.

В заключение можно отметить, что кладбище содержится непорядливо: нет ограды, благодаря чему могилы топчет скот, на деревьях вьют гнезда грачи, которые загрязняют кладбище; низина посреди кладбища густо заросла крапивой и др. сорняками; много поломанных крестов, железных решеток, побитых мраморных монументов. Хочется еще раз напомнить, кому следует слова Хорвата: «Обида и позор. Всем обида. „Вси в житии крест, яко ярем, вземииши“ обижены нами, и за это будете обижены вы, я. Помните: „Крест, яко яремя-а!“ значит, жизнь трудна и тяжела. Почтите же достойно отживших, — они ради вас несли при жизни бремя и ярем, — ради вас. А эти, там, не понимают» («Кладбище»)²⁰.

А. Белинский

Запись сделана в августе 1935 г.

Примечания

¹ Цитата из стихотворения А. А. Блока «О, я хочу безумно жить...» (1909—1914).

² Цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Пишу не для мгновенной славы...» (1829).

³ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник» (1836).

⁴ Вероятно, имеется в виду двустишие, написанное от лица фермопильских бойцов, авторство которого приписывалось Симониду Кеосскому (ок. 557—468). Современный перевод М. Л. Гаспарова:

Путник, весть отнеси согражданам в Лакедемон:
Их испонив приказ, здесь мы в могиле лежим.

См. об этом: Гаспаров М. Л. Избранные труды. М., 1997. Т. I. С. 300.

⁵ Один из вариантов широко распространенной в русском некрополе «Эпитафии самому себе» П. П. Сумарокова (1802).

⁶ Повсеместно распространенная в русском некрополе детская эпитафия. Ее варианты см.: Русская стихотворная эпитафия. СПб, 1998. (Новая библиотека поэта). С. 451, 604.

⁷ Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779, 1783).

⁸ Неточно воспроизведенное стихотворение С. Я. Надсона «Над свежей могилой» (1879).

⁹ Повсеместно распространенная в русском некрополе эпитафия.

¹⁰ Парафраз стихотворения С. Я. Надсона «Памяти Н. М. Д(ешевой)» (1879). В многочисленных вариантах встречается на надгробиях XX века. См. об этом: Русская стихотворная эпитафия. С. 444, 602.

¹¹ История жизни и смерти комиссара П. А. Миронова изложена в кн.: Вязинин И. Н. Южное Приильмень. Новгород, 1963. С. 126—128. Там же говорится о его надгробном памятнике, возможно, возобновленном (с. 206).

¹² Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829). Встречается как реальная эпитафия. См. об этом: Русская стихотворная эпитафия. С. 442, 602.

¹³ Здесь и далее цитируется очерк М. Горького «Кладбище» (1913). Публикатор ограничился исправлением явных ошибок в цитатах, не приводя текст к нормам современных публикаций в собраниях сочинений Горького.

¹⁴ Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним...» (1868), первая строфа которого встречается как реальная эпитафия в русском некрополе. См. об этом: Русская стихотворная эпитафия. С. 446, 603.

¹⁵ Ошибка А. И. Белинского. Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828).

¹⁶ Цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Вздых на могиле Веневитинова» (1830).

¹⁷ Часто встречаемая в русском некрополе эпитафия, ее варианты см.: Русская стихотворная эпитафия. С. 421, 597.

¹⁸ Тема широко известной во многих переводах и вариациях эпитафии-эпиграммы французского поэта Жака Дю Лорана. См. об этом: Русская стихотворная эпитафия. С. 106, 493 и др.

¹⁹ Крюденер (Криднер, урожд. Фитингоф) Варвара-Юлия (1764—1825), баронесса, известная проповедница мистического суеверия. В 1815 г. с ней встречался и беседовал имп. Александр I.

²⁰ См. прим. 13.

*Н. Л. Дунаева
С.-Петербург*

Валентин Пресняков — забытое имя

«Не страдая ни в какой мере честолюбием, не афишируя никогда своих заслуг, а лишь безмерно любя свое дело и скромно работая (...), я не могу примириться с мыслью, что моя большая трудовая жизнь не оставит после себя никакого следа», — писал незадолго до своей смерти старый артист и педагог В. И. Пресняков¹, с горечью сознавая, что следы стертые и самое имя его предано забвению.

А между тем, была прожита действительно большая, трудная и во все не бесполезная жизнь. Забвению же, на которое он сетовал, имеется объяснение. Об этом речь пойдет ниже.

Полвека умолчания сделали свое дело: восстановить хотя бы некоторые прочно забытые факты жизненной и творческой биографии Преснякова, умершего сравнительно недавно, в 1956 году, удастся лишь путем настойчивых разысканий в архивах разных городов и опроса тех, кому доводилось с ним общаться или иметь о нем косвенные сведения.

Предлагаем пунктирный очерк этой биографии.

Валентин Иванович Пресняков родился 15 октября 1877 года в Петербурге, в семье мелкого канцелярского чиновника-дворянина. Детство его прошло в маленьких провинциальных городах, где служил отец, и в невельском имении родственников со стороны матери.

В 1887 году десятилетнего подростка привезли в столицу и определили в Императорское театральное училище, на балетное отделение. В то время юный Пресняков не только не ощущал призвания или хотя бы склонности к хореографическому искусству, но имел о нем самое смутное представление, вынесенное из просмотра иллюстрированных журналов. Однако выбор был сделан: родителей прельщало бесплатное обучение, гарантированное место службы в императорских театрах, а по окончании его — ранняя пожизненная пенсия, немногим уступающая зарплате. Семья же помощника секретаря Съезда мировых судей, «нечиновного» Ивана Ивановича Преснякова, была небогатой. Он, как гласило удостоверение, выданное для предоставления «в одно из учебных заведений», «получая крайне ограниченное содержание» не имел «возможности дать воспитание сыну на собственные средства»².

Итак, в августе 1887 года жизнь Валентина Преснякова была определена навечно. Отныне и до последнего вздоха силы физические и

духовные, иллюзии и крушение их, уколы уязвленного самолюбия и гордая уверенность в собственном мастерстве, даже личная жизнь и драматические перипетии судьбы будут связаны с искусством, на служение которому определен он был чужою волей. «Балетные люди, — писал А. Бенуа, многие годы проведенный в тесном общении с ними, — точно вылеплены из другого теста, у них своя совершенно особая психология, особое воспитание. При всей детскости в них живет какое-то очень серьезное и прямо благоговейное отношение к собственной профессии. В большинстве случаев это подлинные художники. И не только первые роли, не только те среди них, кто обладает дарованием и особой интуицией, но и почти вся анонимная масса кордебалета. Разумеется, и среди них попадаются „недостойные элементы“, пошляки, продажные души, гадкие интриганы и циники, но не на них держится весь храм Терпсихоры. Вот я и упомянул имя того божества, которое ведает танцем и танцевальным действием, и это вышло у меня естественно, вся атмосфера балетного дела пропитана каким-то культом...»³.

Учиться Преснякову довелось у выдающихся педагогов: сначала у П. К. Карсавина, одного из ведущих танцовщиков Мариинского театра, отца будущего философа и прославленной балерины, затем у Н. И. Волкова, учителя многих знаменитостей, грозы всего мужского отделения, а в старших классах — у легендарного Павла Гердта, педагога А. Вагановой, М. Фокина, А. Павловой, и у «самого» ... Мариуса Петипа.

Школьная пора была насыщена пестрыми впечатлениями, память о которых Пресняков сохранил до глубокой старости.

Весной 1895 года, ровно в срок, он окончил училище и, получив недурной аттестат⁴, был зачислен в труппу Мариинского театра кордебалетным танцовщиком «с жалованием по шестьсот рублей в год»⁵. То была самая низшая ступень служебной лестницы, что, однако, никак не аттестует профессиональное достоинство балетного артиста. Такова была традиция: многие всемирные знаменитости начинали с «глухого» кордебалета⁶.

Служебная карьера Преснякова складывалась не очень успешно: четыре с половиной года тянул он лямку кордебалетного танцовщика прежде, чем был переведен в следующий разряд — корифей⁷. Амплуа его определилось рано: характерный танцовщик, исполнявший также небольшие роли мимикопластического плана⁸.

Переход из положения казенного воспитанника, каким числился Пресняков в училище, предоставлявшем жильё, одежду, питание, летний отдых, на положение актера ощущался весьма чувствительно: существовать на жалование 600—700 рублей в год было вообще трудно, «а тем паче артистам императорских театров, обязанным быть одетым всегда по моде и у лучших портных»⁹. В деле Преснякова лежат несколько прошений о выдаче ссуды, в которых он указывал «на крайне безвыходное положение» и сетовал на «ограниченное содержание», ко-

торое давала ему служба¹⁰. Необходимо было искать постоянный приватный заработок, и он, к счастью, имелся. «Бальный танец, входивший тогда в программу всех учебных заведений, являлся для нас большим материальным подспорьем, и мы вынуждены были прибегать к урокам (...), которые особенно хорошо оплачивались в фешенебельных домах петербургского общества»¹¹. Так Валентин Пресняков обратился к преподаванию. Когда же он, побуждаемый нуждой, впервые перешагнул через порог танцевального класса в новой для себя роли учителя, то, сам того не ведая, вступил на основную стезю своего творчества, ибо на роду ему было написано стать замечательным педагогом...

Отличный музыкант¹², учившийся по классу фортепиано у В. В. Демянского, будущего консерваторского профессора, сам немного сочинявший¹³, вольнослушатель университетских лекций Ф. Зелинского, постоянный участник пятниц Академии Художеств¹⁴, Пресняков принадлежал к тому новому типу балетных артистов, который появился в императорских театрах на рубеже веков. К этому типу людей начитанных, интересовавшихся общими вопросами искусства, старавшихся преодолеть «опасность сугубого профессионализма и пресловутой кастовой замкнутости» (И. Соллертинский)¹⁵, принадлежали и наиболее близкие ему в труппе люди: Т. Карсавина, А. Павлова, братья С. и Н. Легат, братья А. и И. Чекрыгины, М. Фокин.

«Валентин Пресняков был старше Фокина, в которого творчески верил и чьими первыми шагами, несомненно, руководил, как знающий, начитанный в вопросах искусства человек», — засвидетельствовал Ф. Лопухов, служивший с ними в одно время¹⁶.

Преснякова и Фокина должно было объединять многое: сходные взгляды на хореографию, серьезное занятие музыкой, увлеченность изобразительным искусством. Сближало их и критическое отношение к театральной администрации, и связанное с этим фрондерство. Оба слыли либералами, оба были «гребловцами», членами благотворительного общества, в котором дирекции мерещилась чуть ли не подпольная организация. Оба приняли участие в знаменитой балетной забастовке 1905 года.

«Нет нужды преувеличивать роль балетной труппы в революционном движении 1905 года, — утверждал Ф. Лопухов. — Прямого участия в нем мы не принимали (...). Наши революционные настроения (не знаю даже, можно ли их так назвать) выросли из собственных размышлений вне каких-либо организационных рамок. Другое дело, что их породила обстановка в стране...»¹⁷. Мятеж бессловесных во всех смыслах «балетных» был вызван прежде всего жалким материальным положением большинства артистов, получавших ничтожный оклад, и самоволием театральных чиновников, среди которых единодушную неприязнь вызывал новый управляющий конторой, А. Крупенский, этот, по выражению А. Бенуа, «злополучный театральный Аракчеев»¹⁸, и поставленный им во главе труппы, ее полновластный диктатор, без-

дарный и мстительный режиссер Н. Сергеев. Возмутили труппу и произведенные новым директором, В. Теляковским, немотивированные отставки: среди прочих был уволен всеми почитаемый М. Петипа с оскорбительным запрещением присутствовать на репетициях собственных балетов и вообще входить со служебного входа в театр, в котором он прослужил шесть десятков лет¹⁹. «На лозунге „Долой Крупенского и Сергеева!“ построился весь процесс возмущения», — признавался один из главных участников «бунта» А. Маслов²⁰. Пик волнений пришелся на осень 1905 года, и одним из самых активных участников этих событий стал Пресняков: он выступил на собрании, которое впервые в истории императорского балета устроили возмущенные артисты, вошел в организационное бюро, сыграл свою роль и в забастовке танцовщиков (артисты не вышли на сцену в третьем акте «Пиковой дамы»)²¹. «Пресняков, говорят, (...) бегал по уборным и кричал: „Как вы можете танцевать и забавлять буржуа в то время, как в стране льется кровь“, — записал в своем дневнике Теляковский²².

Участием в событиях 1905 года артист подписал себе приговор. Предел его службе в императорских театрах был поставлен в июне 1909 года (сразу это мешала сделать царская амнистия), за шесть лет до положенного срока, что лишало его права на полную пенсию²⁹.

Уход из Мариинского театра не оборвал разом исполнительскую деятельность танцовщика: мы видим его имя среди участников Дягилевской антрепризы в спектаклях 1909 и 1910 годов²⁴. Однако основным делом Преснякова с этого времени стало преподавание, которое захватило его полностью. Он учил бальным и классическим танцам, сценическому жесту, пластике, мимике и фехтованию; преподавал в гимназиях, институтах благородных девиц, на хореографических, оперных и драматических курсах, в школе ораторского искусства, давал уроки на дому²⁵. Основным же местом его работы была Санкт-Петербургская консерватория, где он вел класс с 1904 года²⁶.

1911 год считал Пресняков вехой своей творческой жизни, ибо тогда он познакомился с системой Э. Жака-Далькроза²⁷ и стал вместе с С. М. Волконским одним из первых в России адептов швейцарского музыканта. Слова Далькроза о том, что «танцовщики ничего не знают о музыкальном ритме», который непременно должен быть «телесно пережит», претворен в движение²⁸, открыли Преснякову глаза. Он понял, что основная тайна сценического искусства, будь то драма, опера или балет, заключается в «тайне сочетания видимого движения с музыкой, в ритмизации движения»²⁹. Добиться же этого можно системой ритмических упражнений по методу «Дрезденского учителя»³⁰, изобретшего «систему сольфеджио для тела». Соединив канонический балетный экзерсис с элементами ритмической гимнастики Далькроза, Пресняков создал свою особую, ни на какую другую не похожую методику преподавания танца и пластики, снискав славу блестящего педагога. Эту славу подтвердило печатное заявление А. Павловой, посетившей урок Преснякова и признавшей, что «ничего подобного ей не приходилось ви-

деть ни в Европе, ни в Америке»³¹. Благодарное воспоминание пронесли о занятиях с Пресняковым через всю жизнь его ученики: хореограф П. Вирский³², драматический актер А. Мгебров³³ или певица Л. Кича³⁴. Так что, когда В. Всеволодский-Гернгросс, приглашая Преснякова профессорствовать во вновь открывшийся Институт Живого Слова, назвал его «лучшим знатоком в вопросах пластики»³⁵, то было не комплиментом, но выражением общего мнения.

После ухода из Мариинского театра широко развернулась и балетмейстерская деятельность Преснякова. Именно к этим годам относится его сотрудничество с В. Мейерхольдом. Пантомима А. Шнишлера «Шарф Коломбины» на музыку Э. Донаньи (1910), балет-пантомима по сценарию и на музыку М. Кузмина «Выбор невесты» (1910), комедия Е. Зноско-Боровского «Обращенный принц» (1910), пьеса Ф. Сологуба «Мечта-победительница» и «Заложники жизни» (1912) таков, быть может, неполный список их совместных работ, в которых танец и пластика играли отнюдь не прикладную, но формообразующую роль.

В течение нескольких лет сотрудничал Пресняков и с Н. Евреиновым в «Кривом зеркале».

Когда же в антрепризе Н. Дризена и Н. Евреинова «Старинный театр»³⁶, где хореографической стороне драматического спектакля придавалось особое значение, встал вопрос о балетмейстере второго сезона (1911/12) — в первом (1907) работал М. Фокин — и руководителе хореографического класса в организованной при «Старинном театре» школе, выбор пал на В. Преснякова³⁷. О талантливо поставленных им танцах в «Фуенте Овехуна» упоминалось в многочисленных рецензиях на спектакли антрепризы³⁸.

Встречается фамилия Преснякова и в программах «Бродячей собаки» (1912)³⁹. Многочисленные постановки были осуществлены им и в оперном классе Петербургской консерватории. Эта работа дала основание А. Глазунову, «со свойственной ему точностью в характеристиках»⁴⁰, назвать Преснякова «высоко талантливым и в высшей степени сведущим» специалистом, показавшим себя «тонким мастером при постановке танцев», и отметить его «выдающееся дарование, большой педагогический опыт и необыкновенную любовь к делу»⁴¹.

Революция пришла ровно на середину жизни В. Преснякова. Осенью 1919 года он, спасаясь от голода, холода и разрухи, вместе с семьей покинул родной Петроград, чтобы обосноваться в сравнительно сытном Невельском уезде, где у него было маленькое имение⁴². В родной город ему отныне суждено было приезжать лишь редким гостем.

За два предвоенные десятилетия Преснякову удалось сделать многое. Он открыл и возглавил в Невеле «лесную школу» для ослабленных детей, «по типу немецких», как определил сам (1919—1921)⁴³, затем, откликнувшись на приглашение Большого совета Витебской консерватории, стал ее директором (1922—1924)⁴⁴, приняв на себя тяжкое бремя: консерватория переживала черные дни и, даже преобразованная в музыкальный техникум, постоянно была под угрозой закрытия. О Пресня-

кове как о директоре уважительно упомянул, поставив его в один ряд с такими «очень крупными представителями петербургской, петроградской интеллигенции», как дирижер Н. Малько и пианист Н. Дубасов, работавший под его началом М. Бахтин, который назвал Витебскую консерваторию той поры «просто блестящей»⁴⁵.

Шесть лет жизни (1924—1932) Преснякова было отдано Одесскому музыкально-драматическому институту им. Бетховена (ныне Консерватория), где он, возглавляя хореографическое отделение⁴⁶, выпустил плеяду профессиональных танцовщиков. Стал он создателем и главным балетмейстером первой армянской балетной труппы в Ереванском театре оперы и балета имени Спендиарова (1932—1938)⁴⁷.

Война застала шестидесятичетырехлетнего Преснякова художественным руководителем Воронежского хореографического училища, преобразованного его усилиями из полупрофессиональной балетной студии в 1938 году⁴⁸.

Затем последовала страшная пора жизни, о которой он вспоминал как об «ужасном кошмаре»⁴⁹. Осторожные ответы членов семьи на вопросы анкет советских учреждений, противоречивые рассказы родственников, знающих о событиях тех лет лишь по наслышке, не позволяют восстановить истинную картину произошедшего. Бесспорно одно: Пресняков и его семья оказались сначала в оккупации, а затем в Германии, где он возглавил небольшой эстрадно-танцевальный коллектив (туда вошли и его сын, начинающий драматический актер, и жена, профессиональная танцовщица) и с ним разъезжал по стране⁵⁰. «Никто не знает, что пришлось пережить мне и моей семье за годы военной оккупации! Да и кому какое дело до нас и до нашей судьбы!» — написал он в отчаянии через несколько лет, когда понял, что все его профессиональное прошлое, все заслуги и достижения перечеркнуты годами немецкой неволи⁵¹.

1945 год семья встретила в английской зоне оккупации, перешедшей затем к американцам⁵².

«Союзники» предлагали уехать на Запад — посещавшие зону представители советских властей уговаривали вернуться в СССР. Пресняков выбрал второе. Путь на родину лежал через лагерь, который в наши дни назвали бы фильтрационным. Вскоре выяснилось, что и там, в лагере, профессия хореографа является такой же востребованной, как и у немецких властей: снова пришлось ему устраивать концерты и даже ставить пьесу К. Симонова «Русские люди» для вечеров отдыха лагерного начальства⁵³. Быть может, этим он обеспечил себе и своим близким путь не в ГУЛАГ, а в ансамбль песни и пляски одной из частей Советской Армии⁵⁴, с которой потом и вернулся на родину. Жить пришлось в Архангельске, где квартировала часть, в которой находился ансамбль. На долгие шесть лет Пресняковы задержались на севере, сначала в самом Архангельске, а затем в Молотовске (ныне: Северо-Двинск). И там, как обычно, нашлась работа: вместе с женой он преподавал в студии местного драматического театра, в труппе

которого ведущее положение занял его сын. Московская комиссия, приехавшая принимать экзамены, вынуждена была признать: таких результатов они не видели и в столичных театральных вузах⁵⁵. Разумеется, настоящее место Преснякова и должно было быть там: ведь он являлся носителем старой танцевальной культуры, выдающимся педагогом. О работе в Московском хореографическом училище или в серьезном музыкальном заведении большого города хлопотал его бывший ученик, к тому времени известный балетмейстер — П. Вирский. Но тщетно пытался, используя свой немалый авторитет и громкую известность, доказать Вирский в Комитете по делам искусств педагогическую уникальность Преснякова⁵⁶ тщетно писали туда письма сам Пресняков и его сын, объясняя, как губителен для здоровья семидесятилетнего старика, наследственного туберкулезника, местный климат: «печатать репатрианта», лежащая на нем, препятствовала успеху этих хлопот⁵⁷.

Только в 1950 году удалось Пресняковым вырваться из архангельской области.

Последние годы старого артиста прошли во Пскове, всего в нескольких часах езды от Ленинграда, который он помнил еще Петербургом, вблизи милых его сердцу невельских мест, где прошло его детство. Жизнь, совершив множество витков, замыкала круг, и это усиливало ощущение конца. Конец же был безрадостным. Угнетала материальная нужда, одолевали недуги, но, главное, приводила в отчаяние профессиональная невостребованность и отсутствие профессиональной среды. Псков был, что называется, «небалетным» городом: здесь не существовало ни хореографического училища, ни консерватории, ни студии при местном театре: труппа его пополнялась ленинградскими выпускниками. «Таковы условия нашего города, из которого Терпсихора, кажется, навечно изгнана», — печалился он в одном из писем⁵⁸. Старый мастер, ученик Петипа, сотрудник Фокина, Мейерхольда и Евреинова, не мог найти даже места руководителя танцевального кружка. «Не такую представлял я себе свою старость, да и не такую она и была бы, если бы не эта проклятая война! Сейчас я всеми забыт и никому не нужен», — подобная жалоба звучит не в одном его письме⁵⁹. Отчужденность «от подлинной культуры и интеллигентного общества» лишала его интереса к жизни и погружали в «состояние своеобразной спячки»⁶⁰.

«Давно я хотел вам задать вопрос, — написал ему однажды П. Вирский, — почему вы не напишите свои воспоминания (...). Вы прошли такой большой путь в искусстве, и (...) могли бы сказать многое...»⁶¹... «Вы затронули мое больное место, — отвечал ему Пресняков. — Мои мемуары, охватывавшие свыше 1600 лиц, были выкрадены из (...) багажа малой скоростью еще при (...) переезде из Одессы в Ереван (...). Я писал много и любил писать, а писать было о чем!»⁶²

Существовала и другая причина, по которой он не сразу откликнулся на призыв Вирского: «...писать, не имея под руками никаких ма-

териалов, совершенно немислимо. На память уже не полагаюсь, хотя самые ранние воспоминания я помню гораздо ярче последующих»⁶³.

Однако прошло какое-то время, и Пресняков взялся за перо. Он не повторял написанное им ранее не оттого, что забыл утраченный текст — он писал в иную пору жизни, с иным опытом за плечами, в ином психологическом состоянии, при иной самоидентификации.

Первые (утраченные) мемуары он, уверенный тогда в собственной творческой значимости, открывал рассказом о рубинштейновском концерте, от которого вел отсчет своего существования в искусстве⁶⁴. Теперь же он счел необходимым начать воспоминания с самого раннего детства, ибо писал не просто мемуары, но, по-видимому, задумал книгу о «воспитании чувств», о построении собственной личности, о том случайном, что не прошло для нее бесследно, и о тех людях, «благотворное и просветительное влияние которых формировало» его, «начиная с повара Михайлы и кончая светлой памяти покойных Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова»⁶⁵. Наделенный рефлексивным сознанием, он пытался разобраться в себе и «отделить все чистое и светлое, что (...) обнаруживал в своем когда-то непорочном детском существе, от той грязи и накипи, которые день за днем наслаивались на (...) душе»⁶⁶.

Осмысляя свою жизнь, Пресняков создал не только уникальность собственного опыта, но и трагическую участь поколения, к которому принадлежал, поколения, испытавшего на себе «все ужасы (...) народных бедствий и общественных катаклизмов»: «братоубийственную гражданскую войну, революции, государственные перевороты (...) и нашествие немецких „культуртрегеров“, этих вандалов двадцатого столетия»⁶⁷. Он писал, ясно ощущая себя человеком двух эпох, сам порой удивляясь стремительному «бегу времени»: «Ведь подумайте, я еще помню Пати, Мазини, Штрауса (короля вальсов) и многих других (...)»⁶⁸. И впрямь, ему ведь довелось жить в царствование трех императоров, читать при масляном и керосиновом освещении, пользоваться услугами курьеров и посыльных, брать извозчиков, ездить на конке, сниматься на даггеротипах... «Мы прожили две жизни, две разные жизни! Красота, комфорт, богатство, изобилие, дешевизна, покой и привлекательность жизни отошли в область преданий и воспринимаются как сказка»⁶⁹. Пафос неприятия той действительности, в которой доводилось Преснякову кончать дни, воодушевлял его и в сильной степени водил его пером: на противопоставлении «века нынешнего и века минувшего» построено многое в его рассказе. Противопоставление это было для него программным: «...я все же счастлив, что мне удалось урвать от прежней жизни (...) те немногие мгновения, когда мы могли познать чистоту мыслей и чувств. Мы хорошо усвоили себе, (...) что такое любовь. Не та любовь, которая руководит собачьими свадьбами, а подлинная христианская любовь (...). Мы хорошо усвоили понятие о долге, чести и благородстве, хотя, быть может, мы сами не всегда были на высоте этих великих принципов (...). Мы хорошо усвоили, что такое совесть, тогда как теперь это слово уже давно ут-

ратило свое подлинное значение и смысл и вышло в тираж, как непотребное в нашем лексиконе»⁷⁰. От раздражающей и враждебной ему действительности Пресняков уходил в мир невозвратного прошлого, тщательно воссоздавая на страницах «Воспоминаний» его утраченные реалии, смакуя детали и растравляя свои душевные раны. Любая примета ушедшего быта обретала самоценность в его сознании и становилась предметом любовного, а порой и патетического описания: устройство почтовой станции, упряжь лошадей, хозяйственные постройки и особенно та обильная пища, что доводилось ему вкушать в детстве, будь то блюда, поданные станционным смотрителем, лакомства, купленные на провинциальном базаре, или яства, украшавшие пасхальный стол в небогатом имении.

Эти подробные описания, особенно в первой половине мемуара, придают эпический характер повествованию, неторопливый ритм которого словно вторит медленному движению по невеликому тракту двух обозов со скарбом пресняковской семьи.

Человек начитанный, Пресняков, быть может, бессознательно ориентировался на литературные образцы, и не случайно имя автора «Семейной хроники» и «Детства Багрова внука» возникает на страницах его воспоминаний. Описывая патриархальный уклад жизни в имении Долыссы или уютную среду невеликих чиновников, он, разумеется, творил долысский и невелисский миф. Так было нужно его изнывающей в острой ностальгии душе, ищущей забвения от опостылевшей реальности. Поэтому-то гармонический мир, им нарисованный, так безмятежен и намеренно лишен печати грядущей гибели, о которой не мог догадываться восьмилетний Валя, но о которой все было известно семидесятишестилетнему Валентину Ивановичу: звуки шопеновских этюдов, что разыгрывала на рояле мать мемуариста, заглушали в его памяти бряцание солдатских прикладов во время экспроприации особняка, принадлежащего знакомому невелисскому купцу, а сквозь картину долысской идиллии не просвечивали всполохи пожара, охватившего дядину усадьбу в 17-м году.

В последней части «Воспоминаний» (в этой публикации опущенной) Пресняков рисует специфический мир «Терсихорина царства» и удивительно точен в его воспроизведении, что подтверждается как документальными источниками, так и свидетельствами его коллег, оставивших свои воспоминания подчас в виде отдельных фрагментов, большая часть которых до сих пор не опубликована. Исписав своим четким почерком пять толстых школьных тетрадей, Пресняков довел повествование до весны 1888 года, когда одиннадцатилетний Валентин окончил первый класс театрального училища. Но даже и в таком, далеко не законченном виде, ценность «Воспоминаний» В. И. Преснякова представляется нам не только в том, что они пополняют на редкость малочисленный корпус балетной муаристики, но и в том, что воспроизводят тип сознания человека, чья жизнь пришлась на две исторических эпохи.

Валентин Иванович Пресняков умер 22 марта 1956 года⁷¹. Ему было 79 лет, и он не дожил всего нескольких месяцев до того момента, когда историк балета Ю. И. Слонимский, случайно напав на след «забытого деятеля музыкального театра», связался с его семьей, ознакомился с небольшим пресняковским архивом и рукописью «Воспоминаний». Об опубликовании их он не помышлял, но, желая восстановить справедливость и ввести имя В. Преснякова в научный оборот, написал о нем небольшой очерк, который так и не смог увидеть свет⁷². Слонимский рассказал о роли Преснякова в балетной забастовке 1905 года во вступительной статье к книге М. Фокина⁷³ и включил развернутый пассаж, ему посвященный, в свои мемуары⁷⁴, используя, не подвергая, однако, научной критике, некоторые факты, почерпнутые им из «Воспоминаний». Думается, это он стимулировал Ф. Лопухова упомянуть о давнем своем сослуживце на страницах книги, литературным редактором которой был⁷⁵. Благодаря Слонимскому имя Преснякова попало и в справочные издания⁷⁶, но самое главное — Слонимскому удалось уговорить вдову Преснякова сдать, а работников Отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Российская Национальная библиотека) принять на хранение пресняковский архив⁷⁷, среди материалов которого находится публикуемая в настоящем сборнике со значительными сокращениями рукопись «Воспоминаний»⁷⁸. Текст воспроизводится по выверенной машинописной копии, хранящейся там же⁷⁹. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современной нормой.

Автор считает своей приятной обязанностью выразить глубокую признательность Г. В. Томсон, дочери Ю. И. Слонимского, и сотрудникам Отдела Рукописей и редкой книги Санкт-Петербургской Театральной библиотеки: М. И. Цаповецкой, И. Б. Вагановой, С. А. Ковалевой, — благодаря любезности и профессиональной заинтересованности которых получил доступ к материалам необработанного архива Ю. И. Слонимского; родственникам В. И. Преснякова: Т. А. Вальденбаум и Г. А. Ефименко, — позволившим ознакомиться с документами их семейных архивов, а также Е. А. Бутилиной, Е. А. Синельникову, З. Б. Бадаре, С. Б. Потемкиной, Е. Л. Шмаковой, З. А. Закржевской за оказанную помощь в работе.

Примечания

¹ Пресняков В. И. (Записка о своей педагогической и художественной деятельности в петербургской консерватории и в других музыкальных заведениях) // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее: ОР РНБ). Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 3.

² РГИА. Ф. 498. Оп. 1. Ед. хр. 3901. Л. 3. Дело правления Императорского СПб. Театрального училища. Валентин Пресняков. Далее: Валентин Пресняков.

³ Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. Кн. IV—V. С. 464.

⁴ Валентин Пресняков. Л. 20.

⁵ Дело Санкт-Петербургской конторы Императорских театров о службе артиста балетной труппы Валентина Преснякова (далее: Дело В. Преснякова) // РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2565. Л. 1.

⁶ Так начинали службу всемирно известные Т. Карсавина, В. Трефилова, О. Преображенская, А. Ваганова, С. и Н. Легат, А. Горский.

⁷ Дело В. Преснякова. Л. 15.

⁸ См.: Ежегодник императорских театров, сезоны 1901...1909. СПб., 1902...1910.

⁹ В. Пресняков. Заметки и материалы // ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 8 (далее: Заметки и материалы).

¹⁰ Дело В. Преснякова. Лл. 17, 18, 19, 21, 26.

¹¹ Заметки и материалы. Л. 8.

¹² О том, что В. Пресняков хорошо играл на рояле, свидетельствовал Ф. Лопухов, сам отличный музыкант-любитель (Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете: воспоминания и записки балетмейстера. М., 1966. С. 87. Далее: Лопухов).

¹³ В одном из своих автобиографических набросков В. Пресняков рассказывает о том, как П. Чайковский правил его детское сочинение — вальс «Мечта» (Заметки и материалы. Л. 17).

¹⁴ Об академических «пятницах» см.: Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820—1932): Справочник. СПб., 1992. С. 166.

¹⁵ Соллертинский И. Музыкальный театр и проблема оперно-балетного наследия на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма // История советского театра. Т. 1. Л., 1933. С. 329.

¹⁶ Лопухов. С. 127.

¹⁷ Лопухов. С. 121.

¹⁸ Бенуа А. Русские спектакли в Париже: Шехеразада // Речь. 1910. 11 июля.

¹⁹ Об этом см.: Плещеев А. А. М. И. Петипа (1847—1907): К 60-летию его службы на сцене императорских театров. СПб., 1907; Кшесинский И. Ф. 1905 год и балет // Жизнь искусства. 1925. № 51. С. 8.

²⁰ Письмо А. Маслова Ю. И. Слонимскому. Б. д // Отдел рукописей и редких книг Санкт-Петербургской Театральной библиотеки (далее — ОРРК СПб. ТБ). Архив Ю. И. Слонимского. Ф. 22 (Фонд не обработан, поэтому единица хранения и лист не указываются).

Маслов Александр Николаевич (1879—1967) — артист балета.

²¹ Об этом см.: В. А. Теляковский. Императорские театры и 1905 год // Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965. С. 248—249. Далее: Теляковский.

²² Теляковский В. Дневник. Запись от 30 ноября 1905 г. Тетрадь 17 // Театральный музей им. А. А. Бахрушина. Ф. 280.

²³ ОР РНБ. Ф. 614. Ед. хр. 2. Л. 1.

²⁴ ОРРК СПб. ТБ. Ф. 22.

²⁵ Заметки и материалы. Л. 2—3. Имя В. Преснякова находим среди преподавателей танцев ряда женских гимназий: Константиновой, Рыбаковой, Хворовой, Прокофьевой, Юргенс, Женского коммерческого училища, Санкт-Петербургской Филармонической школы (Весь Петербург, 1910—1916), специальных классов хореографического искусства при Му-

зыкально-драматических курсах Заславского (Петровская И. Ф. Музыкальное образование и музыкальные общественные организации в Петербурге 1801—1917. СПб., 1999, С. 110). Объявления о частных уроках Преснякова см.: *Весь Петербург*, 1910—1916.

²⁶ ОР РК СПб. ТБ. Ф. 22.

²⁷ Жак-Далькроз (Jaques-Dalcroze) (настоящая фамилия: Жак) Эмиль (1861—1950) швейцарский музыкант, педагог, композитор, музыковед. Разработал систему музыкально-ритмического воспитания, преподавал по своей системе в специальной школе в Хеллерау, близ Дрездена (1911—1914), в институте Жак-Далькроз в Женеве (с 1915). Подобные институты были открыты в различных городах Европы. Оказал влияние и на развитие балетного театра (творчество В. Ф. Нижинского).

²⁸ Жак-Далькроз Е. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и искусства: Шесть лекций. Изд. журнала «Театр и искусство». (1913). С. 8.

²⁹ Волконский С. Мои воспоминания: В 2-х т. М., 1992. Т. 1. С. 163.

³⁰ Так называл в письмах и печатно Э. Жака-Далькроза С. Волконский // ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 972. Л. 4.

³¹ Альбом газетных и журнальных вырезок, посвященных «Старинному театру» // ОР РНБ. Ф. 263. Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 3. Далее: Альбом вырезок.

³² Вировский Павел Павлович (1905—1975) — танцовщик, балетмейстер, ученик В. Преснякова по Одесскому музыкально-драматическому институту им. Л. Бетховена. О роли Преснякова в становлении своем как танцовщика и балетмейстера см. в его письме Ю. Слонимскому от 28.11.1963 // ОР РК СПб. ТБ. Ф. 22.

³³ Мгебров Александр Авелевич (1884—1966) — драматический актер, участник антрепризы «Старинный театр» (1912). Об уроках В. Преснякова см.: Мгебров А. А. Жизнь в театре. Л., (1920). С. 60—61.

³⁴ Кича Лариса Васильевна (1890—1966) — артистка оперы, педагог, закончила Петербургскую консерваторию в 1914, где впоследствии была профессором. В небольшом мемуарном очерке рассказала об увлекательных уроках ритмической гимнастики, которые в 1912 году посетил сам Э. Жак-Далькроз. Хотя имя педагога не названо, речь, несомненно, идет о Преснякове, единственном преподавателе этого предмета в консерватории. Есть основание полагать, что его фамилия была убрана из текста мемуара редакцией. Местонахождение рукописи неизвестно (Кича Л. В. Полвека назад // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Изд. 2-е, доп. Л., 1988. Кн. 2. С. 194).

³⁵ ОР РК СПб. ТБ. Ф. 22.

³⁶ Антреприза «Старинный театр» имела всего два сезона: 1907/8, 1911/12. Школа при антрепризе существовала только во 2 сезоне. Об антрепризе см.: Старк Э. Старинный театр. Пг., 1922.: Альбом вырезок.

³⁷ Альбом вырезок. Л. 10, 115, 118.

³⁸ Светлов В. «Старинный театр» и испанские танцы // Петербургская газета. 1911. 21 ноября; См. также: Альбом вырезок. Л. 145, 147, 155, 183, 245—246, 254, 331, 357, 439, 448 и др.

³⁹ Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» (далее: Программы «Бродячей собаки») // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Л., 1985. С. 200—201, 252—253.

⁴⁰ Левик С. Ю. Страницы воспоминаний // Глазунов: исследования, материалы, публикации, письма. В 2 т. Л., 1960. Т. 2. С. 116.

⁴¹ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1.

⁴² См.: Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 137. Стажились тех мест до сих пор помнят «Дачу Преснякова».

⁴³ ОР РНБ. Ф. 614 Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 3.

⁴⁴ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 2об.

⁴⁵ См. примеч. 42.

⁴⁶ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 15, Л. 3; Ед. хр. 11. Л. 1.; Ед. хр. 10. Л. 2,5.

⁴⁷ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 1.; ОРИРК СПб ТБ. Ф. 22.; Тирочян Р. Б. Армянский театр Оперы и балета // Балет: Энциклопедия. М., 1981.

⁴⁸ Справка, выданная В. И. Преснякову Воронежским Областным управлением по делам искусств 11 сентября 1938 // Личный архив семьи Вальденбаум; Вронский А. Письмо Ю. Слонимскому. Б. д. // ОРИРК СПб. ТБ. Ф. 22.

⁴⁹ Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 8 февраля 1948 г. // ОРИРК СПб. ТБ. Ф. 22.

⁵⁰ В. Пресняков. Автобиография // Архив семьи Вальденбаум; то же рассказали автору настоящей статьи Г. А. Ефименко 26 августа 1996 и Т. А. Вальденбаум 17 октября 1996; сын — Пресняков Юрий Валентинович (1921—1979) актер драматического театра; Преснякова Вера Геннадиевна (1897—1983) — артистка балета.

⁵¹ Пресняков В. Письмо начальнику Комитета по делам искусств (Молодковского горисполкома) от 28 августа 1950 // ОРИРК СПб. ТБ. Ф. 22.

⁵² См. примеч. 50.

⁵³ Копия характеристики В. И. Преснякова, подписанная зам. коменданта по политчасти и начальником клуба 218 лагеря приема и содержания освобожденных советских военнопленных и советских граждан // ОРИРК СПб. ТБ. Ф. 22.

⁵⁴ Запись в личном листке по учету кадров (Литовский театр русской драмы) Ю. В. Преснякова.

⁵⁵ Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 8 февраля 1948 г. // ОРИРК СПб. ТБ. Ф. 22.

⁵⁶ Вирский П. Письмо Ю. Слонимскому от 28 ноября 1963 г. // ОРИРК СПб. Там же.

⁵⁷ Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 8 февраля 1948 г. // Там же.

⁵⁸ Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 25 февраля 1953 г. // Там же.

⁵⁹ См. напр.: Пресняков В. Письма П. Вирскому от 9 ноября 1954 г. и 25 ноября 1953 г. // Там же.

⁶⁰ Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 3 января 1954 г. // Там же.

⁶¹ Вирский П. Письмо В. Преснякову от 10 февраля 1953 г. // Там же.

⁶² Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 25 февраля 1953 г. // Там же.

⁶³ То же.

⁶⁴ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 3.

⁶⁵ Пресняков В. Воспоминания // ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 6, 9.

⁶⁶ Там же. Л. 2.

⁶⁷ Там же. Л. 6.

⁶⁸ Пресняков В. Письмо П. Вирскому от 25 февраля 1953 г.

Патти (Patti) Аделина-Хуана-Мария (1843—1919) — итальянская певица, гастролировала в России 1869—1877, 1904; Мазини (Masini) Анджело (1844—1926) — итальянский певец; Штраусс (Strauss) Иоганн (сын) (1825—1899) — австрийский композитор.

⁶⁹ Там же. Л. 4.

⁷⁰ Там же Л. 5.

⁷¹ Свидетельство о смерти В. И. Преснякова (ЧИ № 063879) хранится в архиве семьи Вальденбаум.

⁷² Слонимский Ю. Забытый деятель музыкального театра // ОРиРК СПб. ТБ. Ф. 22.

⁷³ Слонимский Ю. М. Фокин и его время // Фокин. Против течения: воспоминания балетмейстера, статьи, письма. Л.; М., 1962. С. 24—26.

⁷⁴ Слонимский Ю. Чудесное было рядом с нами: Заметки о петроградском балете 20-х годов. Л., 1984. С. 51—52.

⁷⁵ Лопухов. С. 127—128.

⁷⁶ Суриц Е. Я. Все о балете: Словарь-справочник. М.; Л., 1966. Балет: Энциклопедия. М., 1981. Русский балет: Энциклопедия М., 1997.

⁷⁷ Письмо Ю. И. Слонимского А. С. Ляпуновой от 20 декабря (1956) // ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 32.

⁷⁸ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 20, 21.

⁷⁹ ОР РНБ. Ф. 614. Оп. 1. Ед. хр. 22.

В. И. Пресняков

Воспоминания

Глава первая

Санкт-Петербург — город Святого Петра, столица Российской империи, 1877 год. Русско-турецкая война на Балканах. Интеллигенция и весь русский народ с живым интересом следят за поступающими с театра войны известиями. Утро 15-го октября этого же года. Просыпается большой людской муравейник. Наступает обычный трудовой день. В небольшой и скромной квартире зауряд-чиновника Ивана Ивановича Преснякова¹ пахнет нашатырным спиртом и другими медикаментами. Среди какой-то странной, тупой тишины нависла томительная тревога, но вот со стен Петропавловской крепости прокатился пушечный выстрел. Это установленный Петровской традицией выстрел², возвещающий жителям столицы: полдень. Одновременно, т. е. ровно в 12 ч. дня, по странной прихоти судьбы эту тишину прорезал тяжелый вздох больной женщины, и вслед за ним раздался нестерпимый кошачий писк: это заявлял о своем водворении на нашей планете первенец Ив. Ив. Преснякова, нареченный впоследствии Валентином. В настоящее время сей муж представляет довольно оригинальное ископаемое, возымевшее вдруг («на охоту ехать, — собак кормить») странное желание хотя бы наспех восстановить в памяти и запечатлеть на бумаге наиболее яркие события, увлечения, ошибки и отклонения, совершенные им на пути жизненного следования, предначертанного ему судьбой, и представить ту «кривую», которая отличает одну жизнь от другой. Итак, я начну со своих родителей.

Более или менее отчетливо я начинаю вспоминать их с трех-четырёхлетнего возраста. Это были статные и крепкие люди старого закала (...). Оба высокого роста и прекрасного сложения, они представляли на редкость подобранную пару, выгодно дополняя один другого, несмотря на ярко выраженное различие их национального происхождения. Отец был типичный кровный великоросс, а мать — чистокровная полька. Особенно характерным для отца было его открытое простодушное лицо, озаренное серо-голубыми глазами, отражавшими весь его внутренний мир. Эти глаза резко запечатлевались с первого взгляда, с первого же знакомства. Бесконечно добрый и отзывчивый³, он

пользовался необыкновенной популярностью и любовью во всех слоях общества и в особенности среди крестьян, которым он всячески помогал и делал много добра (...). По тому времени он носил небольшую окладистую бороду темно-каштанового цвета и такую же несколько волнистую шевелюру, зачесанную без пробора назад. В целом весь его облик совпадал с тем образом, который в народном эпосе определялся словами «добрый молодец», а в более позднюю пору жизни представлял традиционный тип русского витязя (...). Все предки по мужской линии Пресняковых с давних времен служили в русском морском флоте⁴, и только мой отец, что называется, «подкачал» и тем оборвал эту славную плеяду русских моряков. Еще со времен императрицы Елизаветы Петровны из рода в род Пресняковых передавались высочайшие грамоты, в которых были отмечены заслуги и повышения по службе этих тружеников моря. Эти грамоты представляли большую историческую ценность и составляли семейную реликвию нашего дома, которую отец хранил как святыню⁵. В этих грамотах значилось огромное количество Пресняковых — присяжных моряков русского флота всех званий, специальностей, чинов и рангов. Здесь можно было найти и кадровых матросов, и боцманов, лоцманов, штурвальных, механиков, штурманов, судовых врачей, мичманов и старших офицеров всех рангов. Этот перечень завершал мой дед, капитан I-го ранга, к слову, которого я никогда не видел⁶, как и деда со стороны матери⁷. Вся эта коллекция завершалась формуляром моего отца, из которого можно было узнать, что отец в чине мичмана был отправлен в кругосветное плавание, но на полпути был списан на берег как непригодный для несения морской службы офицер по причине не поддающейся излечению морской болезни и отправлен с попутным кораблем на родину⁸. На этом кончилась бесславная морская карьера моего отца. Поставив крест на морской береговой службе, он направил свои стопы по гражданской линии. Безупречно честный и исполнительный, он всегда пользовался большим доверием своего начальства и считался незаменимым работником. Чрезвычайно одаренный вообще, он обладал на редкость красивым каллиграфическим почерком и имел, как говорили, «золотые руки». Зато в жизни и на служебном поприще это был до нельзя слабхарактерный и непрактичный человек. Будучи непримиримым врагом низкопоклонства и карьеризма, он всегда оставался в тени, довольствуясь положением скромного канцелярского чиновника. Он был страстным ружейным охотником и большим

хлебосолом. Его друзья, казалось, не выходили из нашего дома. Где и когда он встретился с моей матерью, как и при каких обстоятельствах протекал их роман, мне неизвестно. Но я знаю только то, что мать моя променяла свою блестящую пианистическую карьеру на семейный очаг с прекрасным, но безвестным и не отмеченным никакими лаврами человеком.

Удивительной чертой его характера было непостижимое сочетание самых противоположных качеств; так, будучи чрезвычайно добродушным и слабохарактерным человеком, он обнаруживал подчас наличие большой железной воли. Особенно ярко это проявлялось в среде его тесной дружеской компании, где он любил играть роль воспитателя и проводить идеи Сократа относительно пьянства⁹. На этом стоит остановиться. Он не дурак был выпить, как о нем говорили его друзья, и в то же время терпеть не мог пьяных. У него была на редкость крепкая голова, и он мог пить до утра, но его, как и его друзей, никогда не видели пьяными, а тем паче на работе. Заурядные пьяницы, часто ездившие «в Ригу», сонливые, слезоточивые, буяны и терявшие рассудок, возбуждали в нем болезненную нетерпимость и они безжалостно изгонялись из их тесной товарищеской среды. Он утверждал, что человек, не умеющий пить — это самый опасный человек, и он инстинктивно сторонился таких людей, относясь к ним, как морально неблагонадежным товарищам, зато его испытанные друзья просто молились на него и готовы были идти за ним в огонь и в воду. Он ревниво охранял свой семейный очаг и присущее ему чувство человеческого достоинства. Благодаря этому, в нашем доме никогда не было никаких непредвиденных эксцессов или непристойного поведения присутствующих. Отец терпеть не мог, когда его гости под влиянием вина распоясывались и вносили в их веселую дружескую атмосферу ухарский и пошлый характер; в таких случаях, он, не смущаясь, командовал: «А ну-ка, откройте форточки, а то у нас кабаком запахло», и эти «гости», не получая ответного резонанса, быстро отпадали и возвращались в свою пьяную среду. Такая тактика, проводимая отцом, подчеркивала его заботу о моральной чистоте его дома, покое семьи и его глубококом уважении к жене и детям. Он всегда держался в строгих рамках, какого-то внутреннего регламента. Но все же алкоголь и, по-видимому, зачатки позднего туберкулеза намного сократили его жизнь, и этот богатырь, медленно угасая, окончил свое земное существование пятидесяти двух лет в Максимилиановской больнице¹⁰.

Мир праху твоему, незабвенный отец и редкой души человек!!

Мать моя, урожденная Висковская, Аделаида Андреевна, происходила из старинного разорившегося польского рода¹¹ и представляла собой незаурядную женщину и образцовую мать. Красивая, статная, получившая прекрасное воспитание, окончившая Смольный институт с золотой медалью¹² и Петербургскую Консерваторию¹³, премириванная роялем, она заняла выдающееся положение на концертной эстраде, и на протяжении ряда лет имя ее гремело по всему западному краю. Окончив свое музыкальное образование по классу фортепиано у профессора Лешетицкого¹⁴ и Антона Григ. Рубинштейна¹⁵, она пользовалась исключительным расположением последнего и считалась его любимой ученицей.

Выступая в Консерваторских концертах для двух роялей в качестве партнера своего великого учителя, она пользовалась неизменным успехом у консерваторской аудитории и у публики, посещавшей ее концерты. Но встреча с отцом и возникшие чувства покорили рассудок матери и вынудили ее оставить артистическую карьеру, променяв ее на семейный очаг, а впоследствии — на скромное положение учительницы музыки {...}.

Не умаляя личных достоинств моего отца, нужно отдать должное моей матери, сумевшей создать крепкий и здоровый семейный очаг, осветив его каким-то ореолом нравственной и духовной красоты. Она стойчески и самоотверженно боролась со всеми невзгодами жизни, создавая и упрочивая наше семейное и общественное благополучие, искусно лавируя между Сциллой и Харибдой. Она неустанно работала, с утра до вечера отдавая сполна все свои духовные и физические силы семье; она сумела поднять, воспитать и поставить на ноги своих детей, заложив в них вкус и любовь к честному созидательному труду. Она сумела создать особую семейную атмосферу, невзирая на разность их характеров и на различное отражение их национальных и религиозных оттенков. Их семейные взаимоотношения и все их внешнее поведение были проникнуты чувством глубокого уважения и доверия друг к другу. Они всегда старались быть на высоте внутреннего и внешнего благородства как перед людьми, так и в особенности перед собственными детьми и домашней прислугой.

Кроме отца с матерью, у меня были еще две бабушки, которые оказали на мое развитие большое и неотразимое влияние. Они духовно связывали развивавшееся во мне жадное восприятие жизни с первой половиной прошлого столетия, поощряя и удовлетворяя пылкость моего детского интеллекта красочными повествованиями о жизни, обычаях и людях ста-

рого времени. Мать моего отца, моя бабушка¹⁶, была вдовой капитана морского флота I-го ранга, участника Севастопольской обороны¹⁷ и Георгиевского кавалера¹⁸. Это была бодрая, боевая и в тоже время добродушная старушка, прожившая всю свою жизнь безвыездно в Кронштадте и только после смерти деда переехавшая в Петербург¹⁹.

Вторая моя бабушка, со стороны матери²⁰, рано овдовевшая, проживала теперь в имении своих двоюродных племянников, в Невельском уезде Витебской губернии²¹. Первая постоянно рассказывала мне об императоре Николае I, о морях, о Севастополе и т. п., а вторая — о польском восстании, о баррикадах, на которых погиб ее муж²², о Муравьеве-вешателе²³, о разгроме их имения, о Мицкевиче и Пушкине, которые не раз бывали в их «Летягах» Могилевской губернии²⁴, и т. д. и т. п. Но вернемся к знаменательной дате 15-го октября 1877-го года.

Глава вторая

⟨...⟩ 1879-й год. Мне еще нет двух лет. Окна нашей квартиры выходят на Забалканский проспект, где мы живем неподалеку от Нарвских ворот²⁵. Начало лета. Яркий солнечный день; гремят военные оркестры, за ними дефилируют русские войска, возвращающиеся с турецкого фронта. Они одеты в белые рубахи и такие же головные уборы. Перед разделениями солдат держит перед собой длинную палку, с подвешенным на ее верхнем конце обручем, украшенным разноцветными лентами и бубенцами. В такт лихой солдатской песне, он на ходу потряхивает этим инструментом²⁶, а стоящий вдоль тротуаров народ приветствует их несмолкаемыми криками «ура». Мне немного больше полутора лет, но я выхватываю из жизни этот яркий кадр, подобно затвору фотографического аппарата, после чего это мое зрительное восприятие также неожиданно меркнет на долгое время, тогда как память фиксирует все детали и закрепляет это впечатление на всю жизнь. Соответствие воспринятого мною впечатления, как и сопоставление деталей этого случая, проверены и подтверждены моими родителями. Следующий случай: в 1880-м году мои родители переехали в город Вытегру Олонецкой губ(ернии)²⁷, куда отец был приглашен в качестве смотрителя детской городской больницы²⁸ ⟨...⟩.

Большой одноэтажный флигель в саду больницы; это казенная квартира отца. По фасаду ряд комнат: прихожая, по другой стороне кухня и людская, столовая в два окна, по другой сторо-

не — буфетная; в центре флигеля — огромная гостинная в три окна; за ней — узкий кабинет отца в одно окно и, наконец, большая спальня, она же детская в два окна. Мне примерно года три с половиной. Зима, у нас по какому-то случаю званый обед. Стол накрыт не в столовой, а в гостиной; он тянется вдоль всей этой огромной комнаты и заставлен множеством бутылок и различных закусок. Вдоль стола стоят четыре бронзовых канделябра, в центре над столом большая люстра с керосиновой лампой и свечами. В простенках между тремя окнами два больших трюмо. Пока собираются гости и усаживаются за стол, мы с няней находимся в спальне, но вот приходит мать и выводит меня к гостям. За столом очень шумно, изредка слышится польская речь; я сижу на конце стола, около матери. Обед тянется долго, и меня клонит ко сну. На предлагаемые матери блюда она неизменно отвечает стереотипной фразой: «бардзе динькуе», что в дословном переводе означает очень благодарю. Мне уже давно надоело сидеть за столом, и я раздраженным тоном спрашиваю: «Мамочка, да когда же ты мне дашь этого „динькуе“»? Мать, едва сдерживая улыбку, подзывает няню, и меня уводят в детскую. Оттуда я слышу гул голосов, звон посуды, смех и редкие выкрики «ура». Наконец, слышится грохот отодвигаемых стульев и на минуту все смолкает. Няня застилает кровать и начинает раздевать меня. Но вот раздаются звуки рояля, и я превращаюсь в слух. Потом снова шум, аплодисменты, кто-то поет знакомый романс, затем снова рояль, и я скоро засыпаю под божественные звуки шопеновской музыки. Ночь. Я вдруг просыпаюсь, как от прикосновения электрического тока. Вокруг тишина. Я тревожно окликаю мать, но мне никто не отвечает. Я протягиваю ручонку из своей кровати, вплотную приставленной к кровати матери, но ничего не ощущаю на ней. Тогда я осторожно перелезаю через сетку и убеждаюсь, что кровать матери пуста. Я зову няню, но мой зов остается гласом вопиющего в пустыне. Я сползаю на пол и направляюсь в кабинет отца, но там так же темно, а диван отца оказывается даже незастланым. Зато из-под двери, ведущей в гостинную, я замечаю слабую полосу света. Я тихонько открываю дверь, и мне в нос ударяет запах керосиновой копоти; очевидно, лампа выгорела и загасла сама. Все свечи в канделябрах догорели до конца, и только в одном теплились еще два огарка. В этой полутьме я взобрался на стул и начал осматривать стол. Передо мной стояла рюмка с недопитой наливкой. Я долго смаковал ее, а затем я начал перебираться со стула на стул, обходя таким образом стол и облизывая по порядку все рюмки.

Вскоре я почувствовал, что у меня кружится голова. Тем временем догорели последние огарки, и я очутился в полной темноте. Я вспомнил, что на трюмо стояли свечи и там же находилась пепельница со спичками. Пододвинув на ощупь стул к самому зеркалу и нащупав спички, я чиркнул зараз две или три штуки. Острая струя серы пахнула мне в нос, и горящие спички упали на бумажное плато, на котором стояли подсвечники. Вмиг загорелась бумага, а за ней вспыхнула тюлевая гардина, и огонь весело побежал вверх, по левой стороне окна. Добравшись до карниза, огонь перебросился на правую сторону, и обгоревшая сверху гардина рухнула на пол, где благополучно догорела до конца. Этот фейерверк, помнится, произвел на меня весьма приятное впечатление, но зато после него тьма стала еще гуще, и я почувствовал себя нетвердо на ногах. Нужно было слезать и ложиться спать. Кое-как я добрался до кабинета отца, и тут я вспомнил, что на письменном столе также должны быть свеча и спички. Взобравшись не без труда на кресло, я сразу нашел то и другое. Засветив свечу, я заметил сигарный ящик, в котором у отца хранились папиросы. Достав одну из них, я прикурил ее по всем правилам и направился в спальню, но на пути я наткнулся на диван, и дальше мне уже не захотелось идти. Я лег на спину и, подражая отцу, заложил руки за затылок. Сон быстро навалился на меня всей своей тяжестью, и я как бы провалился в бездну. Родителям долго пришлось ломиться в свою квартиру. Отец оборвал звонок и чуть не выломал дверь, когда наконец заспанная и едва державшаяся на ногах няня открыла дверь. Прислугу нашли спящей мертвецким сном посредине кухни, я же спал в той же позе отца, и только рубашка на моей груди, сотлевши, образовала круг диаметром в десертную тарелку, в центре которого лежала обсосанная папироса. Что же оказалось? Моих родителей гости чуть ли не силой вытащили кататься на тройке, а я и весь дом были поручены попечению и заботам двух почтенных чухонков, которые считались образцом честности, чистоплотности и трудолюбия. Они же оказались не менее меня любознательными по части содержания оставшегося в бутылках.

После этого в моей памяти наступает провал до следующего лета, когда я совершенно отчетливо и со всеми деталями вспоминаю следующий эпизод: там же на соборную площадь, находившуюся неподалеку от нашего дома, привезли огромный колокол. Возле него лежал «язык» весом не менее 6—7 пудов. Около него копошилась куча ребятишек, пытавшихся общими усилиями поднять его верхний конец. В это время среди них появился

плотный паренек лет пятнадцати. Он властно растолкал ребят, широко расставил ноги и, ухватившись обеими руками за кольцо, сильным рывком оторвал железо от земли, тотчас же выпустив его из рук. Этот эксперимент сильно поразил нас всех. Едва только паренек удалился с победоносным видом, мы все напереыв начали пробовать свои силы, применяя виденный нами прием. Когда очередь дошла до меня, я также врос в землю во второй позиции²⁹, ухватился обеими руками за кольцо и рванул эту тяжесть изо всех сил. В это время моя правая рука как-то нехорошо сорвалась с кольца и я невольно выпустил его из своих рук. В тот же момент я невольно взглянул на свою руку и пришел в ужас: указательный палец правой руки повернулся крючком к тыльной поверхности ладони и, по-видимому, не собиравшись возвращаться на свое место. В первый момент я не ощутил никакой боли; меня ужасало лишь уродство руки и безвыходность положения перед родителями. В отчаянии я ухватился левой рукой за кривой палец и крепко зажав его в кулак, стремительно помчался к дому. На половине пути в моем кулаке вдруг что-то хрустнуло и палец неожиданно водворился на место. Одновременно с этим я почувствовал страшную, режущую боль; вся кисть безобразно распухла за какие-нибудь десять минут. Добравшись до дома я все время старался скрываться в саду, но когда меня призывали к обеду, то уже не было никакой возможности скрыть свою инвалидность, и мне пришлось во всем чистосердечно сознаться. В это время мне было уже более четырех с половиной лет, и тем не менее, после этого случая у меня вновь наступает пробел в моей памяти на несколько долгих месяцев. Меня особенно удивляет то обстоятельство, что совершая дважды переезд по бурному Ладожскому озеру, эти путешествия никак не отложились в моей памяти. По рассказам отца, на обратном пути в Петербург наш пароход выдержал сильный шторм, а одним рейсом раньше большой пассажирский пароход «Николай I-ый», на котором, к слову, мы должны были выехать, но опоздали на несколько минут, пошел ко дну. На его борту, кроме команды, было 160 пассажиров. Также не помню я и нашего поселения в квартире моей тетки Лауры Густавовны Савицкой на углу Торговой ул. и Екатерининского канала³⁰ в непосредственном соседстве с Мариинским театром, с которым у меня связаны кровные и незабываемые воспоминания.

Но вернемся пока назад. Унаследовав от матери безупречный слух и музыкальные способности, я рано начал развиваться в этом направлении. Моей первой духовной пищей, наряду с молоком

матери, была музыка, предопределившая впоследствии мою сценическую карьеру.

Однако мои родители были очень далеки от мысли, что их первенец станет профессиональным жрецом Терпсихоры, но в этом отношении мою судьбу решил случай, о котором я расскажу в соответствующем месте.

Первая же беременность матери и мое появление на свет вынудили ее оставить артистическую карьеру и переключиться впоследствии на педагогическую работу. Тем не менее, она продолжала усердно работать над собой, просиживая над роялем по несколько часов в сутки. Таким образом, с пеленок и все последующее время я рос и развивался в мире звуков, впитывая в себя всю сладость гармонии, формировавших мой душевный строй и подготавливавших мои чувства к другим эстетическим восприятиям. Уже в самом раннем детстве я был хорошо знаком с творчеством Баха, Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена, Мендельсона и других европейских классиков. Из русских классиков ранее других я узнал Глинку. Таким образом, я уже с ранних лет интуитивно отождествлял мир звуков с окружающей меня природой, в которой, в свою очередь, я постоянно ощущал музыку. Через то и другое я познал, что такое Любовь в ее многогранном, глубоком и святом значении этого понятия, а через Любовь я познал и другие высокие идеалы, о чистоте которых я вспоминаю теперь как о золотом и неповторимом сновидении, подарившем меня редким счастьем испытать на себе всю сладость их целомудренной духовной красоты. На шестом году жизни я уже хорошо и бегло читал, а с шестилетнего возраста я читал не только детские журналы, но и общую литературу. По возвращении из Вытегры мы поселились в упомянутом уже мною доме на углу Торговой ул. и Екатерининского канала, в квартире моего дяди со стороны матери, Ивана Осиповича Савицкого³¹. Это был уже немолодой типичный поляк. Он воплощал в себе все свойственные этой национальности характерные черты. Наружность его была чрезвычайно колоритна и красочна. Большая, с большой проседью шевелюра, большие и пышные, с подусниками, усы, выразительные глаза, прекрасный рост, рыцарский характер и веселый нрав изобличали в нем былого сердцееда и галантного Дон-Жуана. Несмотря на свой шестидесятилетний возраст, он все еще тяготел к женскому полу и, по-видимому, частенько изменял своей жене, природной парижанке с очень практичным, оборотистым и властным характером. Лаура Густавовна Савицкая снимала в упомянутом доме целых два этажа и, в свою очередь, сдавала в

наем мебелированные комнаты. Это предприятие было организовано ею по образцу небольших европейских отелей и приносило ей солидный доход. У нее был безукоризненный табльдот³², отличный повар, дрессированная прислуга, бильярд, общая гостинная и прочие атрибуты. Это предприятие обеспечивало ей и ее семье безбедное существование. Особенно хорошо чувствовал себя ее муж, который нигде не служил и ничего не делал. Вот у этой почтенной особы, а для нас «тети Лёры», мы и остановились по возвращении в Петербург.

(...) Наступила мозглая и сырая осень с ее частыми дождями и туманами. Я стал простуживаться и часто хворать. Мать была очень встревожена этим обстоятельством и дрожала над своим первенцем. Она все еще находилась под впечатлением смерти моей сестрички, несмотря на то, что с того времени прошло уже три с половиною года. Эту смерть она постоянно связывала с петербургским климатом, и жизнь ее стала тягостной и тревожной. Зимними вечерами и днем все чаще и чаще возникали разговоры о необходимости перемены климатических условий. Мать часто переписывалась с бабушкой, которая жила у своих племянников в Витебской губернии. Разумеется, в этой переписке не раз затрагивался этот больной вопрос и старший из племянников, управлявший имением, Петр Карпович Трупчинский³³, настоятельно рекомендовал матери поселиться в их имении, по примеру бабушки, но мать упорно противилась этому, зная наперед, что дядя Петя не согласится ни с какими материальными условиями, и таким образом вся наша семья очутится на положении бедных родственников или нахлебников. Вопрос этот осложнялся с каждым днем. Отец медлил с поступлением на службу, жизнь у тетки обходилась очень дорого, а родители все еще не могли прийти ни к какому решению.

Близилась весна, когда от Петра Карповича было получено письмо, в котором сообщалось о том, что в соседнем уездном городе Невеле Витебской губернии открывается ваканция секретаря Мирового съезда. Он писал, что разрешение вопроса в пользу переезда в Невель он считал бы наилучшим, что Адель, живя в двадцати верстах от имения, будет иметь возможность общаться со своей матерью, а на летние месяцы мать может отсылать меня к ним в имение.

В конце концов на семейном совете все пришли к тому заключению, что хотя Невель и небольшой, захолустный и неблагоустроенный город³⁴, но живут же люди и там и в других подобных городах. Нужно рискнуть, а там — видно будет.

В конце апреля 1883 г. отец списался с Председателем Невельского Мирового Съезда М. М. Вилинбаховым и получил вполне удовлетворительный ответ. Все условия отца были приняты, и в июне месяце нас ждали в Невеле³⁵.

Бывший предводитель дворянства и местный помещик Михаил Михайлович Вилинбахов³⁶ был высокообразованным человеком и пользовался в уезде большим уважением и авторитетом. Представительный, высокого роста, лет пятидесяти, с небольшими баками, он был всегда чисто выбрит и изысканно, но скромно одет. Впоследствии он стал не только начальником отца, но и лучшим другом нашего дома. Но я не буду забегать вперед!

Итак, было окончательно решено готовиться к отъезду, который был назначен на первые числа июня месяца. Отец исподволь занялся изъятием со склада вещей и отправкой их по месту назначения. Дело было нелегкое, т. к., помимо значительного количества мебели и вещей, нужно было отправить еще два рояля. Зная со слов Петра Карповича, что Вилинбахов — прекрасный музыкант и большой любитель музыки, мать не решилась расстаться с нашим старым «Зайдлером»³⁷, а это значительно увеличивало наш багаж. Упаковка вещей по тем временам требовала особенного внимания и качества, т. к. известную часть пути вещи перевозились на лошадях с ответственным за доставку нарочным от почтовой станции (...).

Наш маршрут следовал по Варшавской жел. дороге, еще совсем молодой по тому времени, до станции «Остров» Псковской губ., а последние 200 верст до Невеля нужно было ехать на лошадях.

Перспектива столь долгого путешествия всецело овладела всем моим существом, подогревая мою фантазию и нетерпение к новым и неведомым путевым впечатлениям. Я считал дни и часы, и вдруг опять провал в моей памяти. Я до сегодняшнего дня не могу вспомнить не только нашего отъезда из Петербурга, но даже нашего следования по жел. дороге, между тем, как это особенно должно было интересовать меня, никогда не видевшего ни локомотива ни железнодорожного состава. (...)

По прибытии поезда на ст. «Остров» отец до вечера был занят выкупом багажа, переправкой его на почтовую станцию и снаряжением обоза на Невель.

День уже склонялся к вечеру, когда я проснулся в незнакомой мне обстановке. На столе кипел огромный медный самовар; мать расставляла посуду, а отец сутился около своих охотничьих несессеров и корзины с провизией. В стороне стояла дебелая дев-

ка, ожидая распоряжений и наблюдая новых постояльцев, а у дверей — двое ямщиков, с которыми отец, не отрываясь от своего дела, перебрасывался короткими репликами. В комнату вошла пожилая женщина с огромной сковородой и кипящей на ней «глазуньей». «Чаво буркулы-то вылупила? Али думаешь, делу-то бог ноги приставил?», — цукнула она на девку, и та вылетела из комнаты, как из пушки. Через минуту она уже несла крынку со сливками и творог. Хозяйка изошрялась в желании угодить господам, и на столе стали появляться одно за другим: толокно, соленые грузди, брусничное варенье, жареные окуни, драчена³⁸ — блюдо, с которым я впервые здесь познакомился, — свежая лесная земляника и т. п.

Наконец, мать взмолилась, стараясь умерить пыл гостеприимной женщины. Тем временем ямщики, получив от отца по чарке водки, удалились со словами: «Уж будьте покойны, Ваше благородие, в дороге, хорони Бог — маковой росинки не пропустим». Мы остались одни и уселись за стол.

Как сейчас помню, с каким аппетитом мы поглощали эти редкие для нас блюда и в каком возбужденном состоянии провел я с родителями этот вечер, сидя за столом и прислушиваясь к их разговорам. Мы должны были переночевать на этой городской станции и только на следующий день начать наше путешествие. В соседней комнате нас уже ожидали две безукоризненные кровати с пуховиками, чистым бельем и одеялами.

На следующее утро в седьмом часу мы были уже на ногах. Снова самовар, простокваша, яичница и легкий утренний завтрак. Из корзины извлекаются сушки и варенье. Стоит чудесная погода; слышится хлопанье дверей, звук голосов и ржание лошадей. Под окном, как теперь говорят, «разоряется» петух. Я выхожу на заднее крыльцо. Наш обоз уже давно в дороге. Передо мной огромный четырехугольный двор. С правой стороны от меня, вглубь двора, тянутся каменные конюшни, задняя сторона двора, параллельная шоссе, на котором стоит станция, занята крытыми навесами со стоящими под ними экипажами. В центре их большая каменная постройка — это сеновал; здесь же колодезь с большим «воротом», «коновязи» и долбленные корыта для поила скота. Левая сторона была занята большим деревянным флигелем, в котором помещались кучерская и остальной обслуживающий персонал. За ними в другом углу стоял хлев и птичник, а рядом под навесом были сложены большими штабелями дрова. Этот двор замыкался каменной стеной, в центре которой стояло здание «Почтовой станции Остров Невельского тракта». Это была

добротная кирпичная постройка в Александровском стиле. Ее симметричная архитектура с готическими окнами представляла длинное одноэтажное здание с большим парадным крыльцом и большими воротами со сторожевой будкой в левой части высокой стены-ограды. С этой же стороны от входа помещались так называемые «Царские покои», которые никогда не открывались. Правая часть здания предназначалась для проезжающих; здесь помещалась квартира смотрителя станции, контора и две чистые запасные комнаты, предназначавшиеся, очевидно, для более привилегированных посетителей.

Я так подробно описываю это дорожное хозяйство потому, что встречаясь через каждые 20 верст пути, они представляли радостные и благоустроенные оазисы, содержащиеся в образцовом порядке и чистоте.

На дворе было большое оживление. Не в далеке стояли два больших дорожных экипажа, у которых смазывались оси и втулки колес. У колодца чистили, кормили и обливали из ведер лошадей, пришедших с ночным рейсом. Ямщики весело перекликались и, видимо, были в хорошем расположении духа. Они тут же инсценировали приемы борьбы, проявляя в своих движениях избыток энергии и молодой удали. По двору расхаживала почтенная свинья со своим последним приплодом. Петух не унимался и, хлопая себя крыльями по бокам, как бы пытаясь взлететь, неистово выкрикивал свое кукареку. Солнце предвещало знойный день, заливая своим ровным, спокойным светом землю и все живое. Ласточки реяли в воздухе, выделявая в своем радостном и стремительном полете замысловатые зигзаги и вольты. В вышине, на фоне безоблачного голубого неба, парил ястреб.

Описав большой круг, он останавливался и, оставаясь долгое время на мертвой точке, сосредоточенно наблюдал куриное царство, делая свои агрессивные математические расчеты. Пока ему, очевидно, мешали лошади и люди, находившиеся во дворе. Еще никогда не чувствовал я так страстно влияния природы: моя детская душа еще никогда не воспринимала так благостно и сильно всю полноту и очарование жизни, как в эти минуты. Во мне все пело, как вдруг я сразу как бы обмяк, когда мать, появившись в окне, позвала меня домой. Она собралась на базар и решила взять меня с собой. Собственно мы должны были бы выехать отсюда еще часов в шесть утра, но лошади поздно вернулись с прогона и еще не успели отдохнуть, остальные же были в разгоне или готовились в порядке очереди для других, ранее нас прибывших на станцию. Нам поневоле приходилось ждать до трех часов дня. Ба-

зар начинался на небольшой площади, в центре которой стояла церковь. Главная же торговля происходила на большом смежном участке, обрамленном в виде буквы П всевозможными ларьками, лавками, кузнями и мелкими ремесленными мастерскими. Вся эта площадь походила на улей, среди которого в беспорядке стояли телеги с задранными вверх оглоблями и выпряженными лошадьми. Трудно сказать, чем здесь только не торговали! Лошади, коровы, овцы, козы, свиньи, гуси, куры и другая животная тварь, печеный хлеб, мука, сено, солома, сани, телеги, дуги, оглобли, ободья, бочки, корыта, шайки, грабли, вилы, коромысла, ведра и другие предметы домашнего обихода и сельско-хозяйственного инвентаря. Здесь же в изобилии продавались глиняная посуда, деготь, смола, краски и скобяные товары. Над всем этим стоял несмолкаемый шум и гомон человеческих голосов и животных. Базар произвел на меня неотразимое впечатление. Представляя себе со всею отчетливостью эту картину и переживая вновь эти впечатления, я затрудняюсь описать это зрелище, настолько богаты и разнообразны были эти картины. Какой богатый и колоритный материал для художника! Если бы в то время существовали такие портативные и совершенные фотографические аппараты, какими мы располагаем теперь, какое бесчисленное количество типов и жанровых картин можно было бы зарисовать и увековечить в наших музеях! Здесь можно было видеть и характерную фигуру еврея с пейсами и в лапсердаке³⁹, и красочных цыган, и литовцев, и поляков, не говоря уже о русских крестьянах, образ которых в наше время совершенно утратил присущие ему национальные черты и характер. Около церкви преимущественно продавались всевозможные продукты питания: на первом месте молочные, а затем овощи, моченья, соленья, пряники, коврижки, мед, ягоды, грибы, вологодские орехи, подсолнухи, сладкие сухие темно-коричневые стручки, светлые в изломе, с черными как бы полированными семенами размером в кофейное зерно. Я до сих пор не могу узнать происхождение и название этого фрукта, бывшего неизменным и любимым народным лакомством. Как мне помнится, их, кажется, называли рожками. Мать ограничилась покупкой плетеной ивовой корзинки и душистой лесной земляники. Мне она купила описанных выше рожков, большой, облитой сахаром, пряник в виде рыбы и две глиняных свистульки: одна походила на итальянскую окарину⁴⁰ и издавала несколько звуков, другая была просто свистулька; она изображала глиняного коня с всадником. Вместо хвоста у лошади сзади торчал отросток в виде табачного мундштука, в который и следовало дуть. На-

гулявшись вдоволь по базару, мы вернулись на станцию. В это время к одному из экипажей крепились наши вещи, помещавшиеся сзади экипажа на длинных дорогах, соединявших передние колеса и оси с задними и служившие вместо рессор. Экипаж был очень вместительным и имел фордек⁴¹ и кожаный фартук на случай дождя. Отец руководил увязкой вещей, тщательно проверяя прочность веревок и их правильное сплетение. Как будто бы все уже было готово к отъезду, но мы еще долгое время вынуждены были задерживаться на станции. Мы успели спокойно пообедать и даже отдохнуть, когда в четвертом часу дня из конюшни вывели тройку лошадей, а через полчаса мы уже выезжали из города.

Мне хочется отметить тот неуловимый внутренний перелом, который совершался во мне за последние сутки. Я чувствовал, что со мной происходит нечто такое, чего я тогда еще не мог уяснить себе. Я жадно прислушивался к разговору родителей, который заставлял меня как бы обсасывать смысл каждой фразы, каждого слова и сознательно проходить через мое мышление. Высказываемые ими мысли, суждения, их планы на будущее или то, что мать сообщала отцу о Доллысах (так называлось имение ее племянников)⁴², о семье Трупчинских, с которыми отец в то время еще не был знаком, приобретало для меня какой-то новый, понятный и логический смысл. Если до этого времени обычные разговоры не привлекали моего внимания и никак или слабо отражались в моем сознании, то теперь каждое слово приобретало для меня особый смысл и значение. В репликах отца и его заключениях я улавливал какой-то убедительный характер и какие-то особые логические точки опоры. С этой минуты непонятного для меня прозрения мне захотелось во всем подражать отцу: его манере говорить, его интонациям и обращению с собеседником; я как будто бы вдруг и неожиданно повзрослел и осознал самого себя.

(...) Но вернемся к нашему экипажу. Он запряжен в дышло парой добротных лошадей и пристяжной с левой стороны. Она весело резвится, едва натягивая постромки. Невельский почтовый тракт, как и вся Псковская и в особенности Витебская губерния, характеризуется холмистым рельефом, и паре лошадей не всегда бывает под силу одолеть некоторые подъемы⁴³, тогда пристяжная получает соответствующую нагрузку и увеличенную порцию поощрений в виде ударов кнута. Пока же еще для нее нет настоящей работы, кучер время от времени весело покрикивает на нее, добродушно и нараспев возглашая: «ба-лууй!».

Беседуя с матерью, отец временами обращается к ямщику, спрашивая его о нашей будущей резиденции. По словам воз-

ницы, это небольшой уездный город с населением, как говорят, около 5000 человек; много евреев, главный состав населения русские и поляки⁴⁴. Через город протекает речка Еменка, впадающая вблизи города в Невельское озеро. В городе три православных церкви, монастырь, костел, синагога, три учебных заведения, больница, мелкие фабрики и заводы, кустарные производства и др. Экипаж движется с приблизительной скоростью десять верст в час. Мы проехали немного больше половины пути до первой станции, а на всем протяжении нашего следования их целых десять. Солнце уж не печет так немилосердно, но оно по-прежнему заливает своим животворящим светом улыбающуюся природу, которая, подобно живой панораме, движется навстречу нашему экипажу, раскрывая перед нашими взорами все новые и новые картины. Вот справа блеснуло озеро, и его берега постепенно разворачиваются соответственно нашему продвижению. За ним вырисовывается церковь. Только что ее еще совсем не было видно, но она вдруг вынырнула из-за опустившейся возвышенности и куши дерёв. В отдалении стоит ветряная мельница, но она не работает; и опять кусты, кустарники, перелески, небольшие болота, и дорога снова поднимается вверх. Я сижу между отцом и матерью, несмотря на то, что перед нами находится двухместное, мягкое сиденье. Я весь во власти чувств и впечатлений. Бубенчики в ритм с оборотами колес образуют какую-то тихую, своеобразную мелодию, и все окружающее оказывает на меня неотразимое и умиротворяющее действие.

Вот мы проезжаем корчму; тут же небольшой пруд и стадо гусей на берегу. «Скоро станция, — говорит возница, — вона, за ентот горой». Я как бы пробуждаюсь ото сна. Где-то мерно ударяет колокол. Сейчас должно быть часов шесть. Это, наверно, в ближайшем селе народ собирается в церковь. Через минуту навстречу плывет полосатый верстовой столб, на нем цифра «20». До станции остается еще верста. Дорога полого поднимается на небольшой холм, с которого показывается зеленая крыша, затем, по мере того, как полотно дороги начинает опускаться, начинает расти и обрисовываться во всех деталях кирпичное здание станции. Это точная копия «Островской» станции, которая осталась позади. Мы выходим из экипажа и поднимаемся на крыльцо. Навстречу к нам выходит смотритель. Свободные лошади есть, и мы без задержки можем следовать дальше. Смотритель любезно осведомляется, не хотим ли мы чаю, молока или чем-нибудь подкрепиться, но мы отказываемся и беседуем с ним в ожидании, по-

ка перепрягут лошадей. Через полчаса экипаж трогается, и мы продолжаем наш путь.

Сегодня мы должны одолеть еще два перегона. Шоссе тянется длинной лентой и уходит в глубь перспективы, теряясь в ее туманной дали. Полотно дороги то поднимается, то опускается. Временами оно стелется в одной плоскости с окружающим пейзажем, временами вздымается на холмы, с которых открываются живописные дали с темной каймой отдаленного леса на горизонте.

Там и сям блестят озера, около которых раскинулись села с церквями, кладбищами, садами и огородами. Иногда дорога как бы опускается ниже горизонта. Окаймленная с обеих сторон небольшими откосами, поросшими мелким кустарником, она походит на траншею, но скоро эти участки обрываются и вновь открывают новые панорамы.

Но вот мы спускаемся с пологого холма и попадаем в объятия сплошного леса. Высокие сосны и ели стоят сплошной стеной по обеим сторонам дороги, и мы едем, как по аллее. Скоро с правой стороны дороги показывается станция. К слову, все станции стоят по правой стороне. Она стоит в окружении леса и кажется несколько меньше своих собственных размеров. Но как уже она знакома мне! Все до мельчайших подробностей повторяет здесь архитектуру оставленных позади станций: то же кирпичное здание с готическими окнами и белыми оконными проемами, то же крыльцо с зеленым почтовым ящиком, словом, все то же, и только лес отличает ее окружение, создавая какое-то сказочное настроение. Экипаж подъезжает к крыльцу, на котором нас встречает смотритель станции. Мы выходим из экипажа. Отец со смотрителем уходит внутрь станции, а мать со счастливой улыбкой вдыхает полной грудью хвойный аромат и прохладу леса. Мы счастливы оба! Мать прижимает меня к себе и ласково гладит меня по голове и щекам. Наконец, мы отходим на шоссе и медленно прогуливаемся в этом прохладном коридоре. Тихий, спокойный вечер. Как хорошо! Как безгранично легко и радостно!! Вот так бы жить всегда, не чувствуя никаких оков и стеснений. «Наверное, птицы так хорошо дышат и чувствуют себя, — думаю я. Но чем я не птица?! Я почти ощущаю за собой крылья: так трепещет и радуется моя душа!»

Пока мы так прогуливаемся с матерью, ямщики выпрягают лошадей, на смену им со двора ведут трех новых, свежих лошадей. Два очередных ямщика принимаются за работу. Они осматривают колеса и экипаж, сметая с него дорожную пыль, и запря-

гают новых лошадей. Тем временем со станции выходит отец, а мы направляемся в туалетную, где нам подают медный таз с водой, мыло и полотенце. Освежившись, мы возвращаемся обратно и садимся с матерью в экипаж. Мать открывает дорожную корзину и вынимает оттуда бутылки с молоком, сладким чаем и пирожки с мясом и вареньем. Отец присоединяется к нам, не входя в экипаж. Он достает свою плетеную охотничью флягу с металлическим колпачком, в виде стаканчика, наполняет его раз, другой и, «опрокинув», закусывает эту влагу хлебом с малороссийским салом. Мы не торопимся: отец еще раз осматривает наш багаж: не перетерлись ли или не ослабли веревки, не сдвинулся ли к колесам сундук, но все в порядке. Отец наделяет ямщиков чайными, и мы трогаемся в путь. Версты три мы едем лесом, но вот он начинает постепенно редеть, и перед нами снова разворачивается широкий ландшафт и живописные дали.

На дороге стало светлее. Навстречу нам движется какое-то огромное сооружение, запряженное четверкой лошадей. Это почтовый дилижанс, направляющийся в Остров. Крытый фургон на 12—14 человек до отказа переполнен пассажирами, соблюдающими значительную экономию по переезду на большие расстояния. Я никогда еще не видел таких экипажей, но он был уже мне знаком по «Всемирной иллюстрации», где был помещен рисунок, изображавший нападение индейцев в Техасе на точно такой же дилижанс. Там, как и на нашем встречном дилижансе, империял⁴⁵ был загружен багажом, но там была не четверка, а шестерка лошадей, запряженных парами-цугом, и кучера сидели очень высоко, здесь же лошади были запряжены в дышло с пристяжными по бокам, а кучерские сиденья или козлы были расположены обычным порядком. Из дилижанса слышались громкие гортанные голоса и дробная еврейская речь. Эта встреча вызвала у нас некоторое оживление. Ямщик отпустил по адресу евреев несколько ядовитых реплик, которые привели отца в веселое расположение духа, и он долгое время балагурит с ямщиком, оказавшимся очень остроумным и смышленным малым. Наконец мы подъезжаем к третьей станции. Второй перегон мы сделали значительно быстрее первого, но зато на этой станции мы неожиданно застреваем. Еще не доезжая, мы видим стоящего на дороге человека с чудесным «ирландцем». Когда мы подъезжаем к крыльцу, человек почтительно приветствует нас, а когда мы выходим из экипажа, собака радостно ласкается к нам, как к своим старым знакомым, весело размахивая своим роскошным хвостом. Все сразу становится ясным. Недаром говорят: «Рыбак рыбака видит изда-

лека». Конечно, смотритель станции — охотник. Он производит приятное впечатление вполне интеллигентного человека. Дабы не удлинять дорожного режима всухомятку, отец тут же просит поставить наскоро самовар и сделать яичницу с салом. Нужно заметить, что широкое гостеприимство составляло в то время характерную черту русского народа. Где бы вы ни появились, вас постараются удержать, угостить и отпустят на волю лишь тогда, когда хозяин удостоверится в том, что вы сыты и остались довольны. Нечто вроде обычной для того времени Демьяновой ухи повторилось с нами и на этой станции. Так вслед за яичницей нам принесли жареных грибов в сметане, а там следом одно за другим стали появляться фаршированная щука по-еврейски, жареные цыплята, маринованные рыжики, мед, земляника со сливками и т. п. Положение становилось затруднительным, т. к. хозяевами стола на этот раз оказались сами смотритель станции и его жена. Наши протесты и отказы, видимо, искренне обижали их, а отец спешил в этот вечер сделать еще двадцать верст. Лошади давно уже стояли в упряжке, а кучера сидели на крыльце в ожидании отъезда и чаевых. Но, как тогда говорили: «Человек предполагает, а бог располагает». Хозяева всеми силами старались сманить моих родителей не торопиться и лучше переночевать у них с тем, чтобы выехать пораньше, «по росе», пока еще нет пыли и не пригрело солнце. Они так радушно, так искренне выказывали нам свое расположение и заботы, что у родителей не хватало духа обидеть этих простых бесхитростных людей. Но секрет здесь, по-видимому, заключался еще и в моем отце. Он очень часто, сам того не замечая, привораживал к себе совершенно посторонних людей, и эта милая супружеская чета была его первыми пленниками в этих новых для нас краях.

Федор Михайлович Закревский происходил из давно обрусевшей польской фамилии. Это был добрый, скромный, отзывчивый человек и честнейший работник. В скором времени при содействии моего отца он был переведен в Невель, где состоял чиновником Невельского гор. казначейства. Так же скоро завязалась и дружба моих родителей с этими прекрасными людьми. Федор Михайлович и его супруга никогда не гнушались никакими поручениями и всегда были готовы вывернуться на изнанку для нашей семьи. Так закончился первый день нашего путешествия, за который мы проехали всего лишь 61 версту. Экипаж был введен во двор, ямщики распрягли лошадей, внесли наши ручные баулы, и мы с матерью, встав из-за стола, отправились спать. Отец же еще долго беседовал со своими будущими друзьями, и мы со-

всем не слышали его возвращения. На другой день в пятом часу утра с подвязанным к дышлу колоколом мы выехали со двора, напутствуемые добрыми пожеланиями зрителя и просьбой не забывать, как они себя называли, «бедных отшельников».

Было прохладное, несколько туманное утро. Небо подернуто какой-то серой дымкой, и солнце удерживает свои лучи за этой подозрительной завесой. Свежий ветерок шаловливо забирается за мой воротник, вызывая легкий озноб. Мать волнуется и старательно укрывает меня пледом, но кучер авторитетно заявляет, что дождя не будет, а скорее будет жаркий, знойный день. «Видите, овод-то какую рань опановал шею коней», — говорит он в подтверждение своей гипотезе. Его предсказание оправдывается очень скоро. Вероятно, не прошло и полчаса, как все прояснилось и установилась чудесная погода. По отлогим берегам шоссе растет редкий смешанный лес с поднимающимися среди него высокими елями. Воздух наполнен щебетанием и пением птиц. Вот пролетела сизокрылая сойка или, как их здесь называют, «сивоворонка». За ней следом летят, а потом вдруг и неожиданно взмываются вверх два диких голубя. В одном месте рыжая белка, задравши свой пушистый хвост, скачет по земле галопом, перебегая от одной ели к другой. Все живет и радуется летнему солнцу. Но вот растительность пропадает, и тянется лишь голая, однообразная лента шоссе с пестрыми верстовыми столбами. По дороге встречаются обозы с какой-то кладью, медленно следующие одна телега за другой. Что везли мужички, определить было трудно, но по тому, что возчики не сидели в телегах, а шли рядом, можно было подумать, что груз был достаточный и что они берегли своих лошадок. Крестьянские телеги попадались и раньше, но то были по большей части редкие одиночки: то проезжал воз с кирпичом, то двигалась шагом телега, на которой спал безмятежным сном ее хозяин, а один раз нам встретилась телега, на которой везли большую корову. Вот мы проезжаем мимо телеграфного столба, на вершине которого сидит ***** ** (пропуск в тексте оригинала — *Н. Д.*) он, вероятно ничего не видит и все же движение и шум на дороге, по-видимому, его мало смущают. По обочинам шоссе стали попадаться аккуратно сложенные пирамиды щебня, облитые накрест белой известью. Между ними сидели на земле молотобойцы. Обмотанными в тряпки ступнями ног они придерживали ими огромные булыжники, которые они разбивали на куски, а другие дробили их на мелкий щебень. Скоро мы доехали до участка, на котором производился ремонт дороги. Движение было открыто только по одной стороне шоссе, и, чтобы разъехаться с

нашей тройкой, нужно было применять особые маневры и замедлять ход. Среди чудесных ландшафтов, которые вновь начали появляться с обеих сторон дороги, стали все чаще и чаще попадаться небольшие деревеньки и отдельные хутора. Вдоль шоссе и непосредственно к нему прилепились заезжие двory, кабаки, харчевни или однодворные постройки. Около одной из таких харчевен мы нагоняем наш обоз с мебелью и вещами. Он стоит на обочине дороги, и дежурный возница поит лошадей из ведра; «ответственный» и другие возчики обедают. Отец выходит из экипажа и направляется в харчевню. Минут через десять он выходит оттуда улыбающийся и довольный. Пьяных в обозе нет, и он ставит им в награду штоф водки; они же, в свою очередь обещают отцу не пить до Невеля, и мы продолжаем наш путь. Но вот и станция. Та же архитектура, тот же уклад и порядок, тот же и смотритель, смена лошадей, чаевые, поклоны и русские прибаутки.

Все готово: ямщик сидит на козлах и ждет сигнала. Наконец отец произносит: «трогай!», и лошади, встряхнув головой, вызывают резкий и отрывистый аккорд бубенчиков, экипаж как бы отрывается от земли, и мы снова начинаем свое продвижение под мерный звон дышлового колокола. Опять та же панорама, но движение по шоссе становится оживленнее. Кроме одиночных телег и обозов, встречаются шарабаны, беговые дрожки, экипажи, подводы со строительными материалами, гурты скота, гусей и пешеходы. При встрече с нами все приветливо снимают шапки и кланяются. Даже становой пристав, обгоняя нас, делает под козырек. Около дорожных поселков и хуторов бросаются в глаза большие стада гусей. За три-четыре версты до станции, около самого шоссе, раскинулся большой табор цыган. Какая живописная и красочная картина! За нашим экипажем бегут полуголые, черномазые цыганята, назойливо выпрашивая на бегу копейчку. Они преследуют вас целую версту, пока вы не раскроете свой кошелек. Если до сего времени дорожное движение было вялым и спокойным, то теперь темп его заметно изменился и стал более торопливым и деловитым. Чувствовалась близость городского центра. Мы подъезжали к уездному городу Опочка. Шоссе прорезало город, и станция стояла на его почетном участке. Небольшой уездный городок, но оживленный и шумный, он походил на большой муравейник, где каждый спешил выполнить какую-то срочную задачу. Базарная площадь в центре города как бы не в силах была ограничить свою деятельность в отведенных ей пределах и разливалась по всему городу. Слышались ржание лошадей, мычание коров, визг поросят и громыхание телег по булыж-

ным мостовым. И опять гуси, гуси и всюду гуси. Это был первый и единственный на нашем пути город. Географически он знаменовал половину пути между Островом и Невелем. Здесь нам придется несколько задержаться. Мы с любопытством ходим по базару и окрестным улицам. Вскоре мы возвращаемся на станцию и, пока запрягают лошадей, немного отдыхаем и пьем густое вкусное молоко со свежими баранками. Часа через два с половиной мы двигаемся дальше. Третий перегон мы совершаем сегодня поздно. Но что из этого? Мы все же движемся вперед, приближаясь к цели, к новой жизни; движемся по таким новым и неведомым мне ранее восхитительным местам! Здесь оканчивается Псковская губерния и начинается «наша» Витебская губерния. Топография становится еще волнистее, озера встречаются все чаще и чаще, пейзажи становятся еще разнообразнее и привлекательнее. Лесные массивы чередуются с перелесками, полями, лугами и болотами. «Вот, должно быть, здесь раздолье!» — восклицает отец, подразумевая под этим охоту и охотничьи угодья. Мать хорошо понимает его с полслова и сочувственной улыбкой смотрит на его лицо. И как будто бы в ответ на их немой разговор заяц перебегает дорогу. «Смотри, смотри, Валя! видишь?» — вскрикивает отец, готовый сорваться со своего места. Как хорош он в эту минуту! Как непосредственно, по-детски горят его глаза! Он долго объясняет матери признаки того, какой зверь или птица должны обитать вон в тех моховых болотах, справа поросших чахлым можжевельником, клюквой и брусникой, или какую облаву можно было бы сделать вот в этих местах, и он жестом определяет загон и его границы. Я с трепетом и замиранием сердца ловлю каждое его слово и воспринимаю эту страсть, как самую жизнь, как счастье. Вот она — природа. Вот, что она таит в себе, кроме своего божественного лика и своих сказочных нарядов!! Вот здесь, очевидно, и была заронена та искра, которая впоследствии разгорелась в страсть⁴⁶. Наконец, мы подъезжаем к третьей станции за сегодняшней день, а считая вчерашние — это уже шестая. Здесь мы будем обедать и отдыхать. Оставшиеся четыре перегона отец решает разделить так: сегодня вечером два и на завтра последние два, с тем, чтобы до полудня быть в Невеле. Завтра же на предпоследней станции «Доллысы», в трех верстах от которой находится имение Трупчинских⁴⁷, нас должны встречать, а еще через один перегон и Невель.

Умывшись и пообчистившись от дорожной пыли, в 1 час дня мы садимся за стол. После обеда мы совершаем небольшую прогулку вдоль шоссе и идем отдыхать. До шести часов вечера мы

спим как убитые. В 6 часов нас будят, и через полчаса мы выезжаем со двора станции. Жара уже спала. В экипаже мы чувствуем себя уже как дома, и эти последние два перегона за сегодняшний день мы делаем как привычное дело. В 11 часов вечера мы садимся ужинать. Мать открывает сардины, достает свежую икру, сыр и ставит это на стол. В это время хозяйка подает деревенскую жареную колбасу, при виде которой мать приходит в восторг. Ей уже много лет не приходилось есть этого любимого в польском крае демократического блюда. Но когда вслед за этим внесли огромное блюдо с крупными красными раками, настала очередь отца. Нужно было только видеть, что делалось с отцом! Он буквально растерялся, не зная что бы сотворить от радости. Он бросился к своему походному буфету, достал бутылку портвейна и чуть не насильно заставил выпить хозяйку целый стакан вина. Я усиленно подмигивал отцу, но мать сама налила мне рюмку портвейна, и мы, радостно чокаясь, с увлечением уничтожали раков и колбасу. Этот памятный Лукуловский ужин прошел на славу, и мы, довольные и счастливые, скоро были уже в теплых объятиях Морфея.

Глава третья

На другой день около восьми часов утра мы подъезжаем к станции «Доллысы», в переводе «Лысый дол». Так же называется имение семьи Трупчинских. Берет ли станция свое название от названия имения или наоборот, этим я в свое время не интересовался, да это и не так важно. Интересно само по себе имение, его строй и воспоминания, связанные с моим пребыванием в деревне.

Экипаж останавливается у крыльца станции, и к нам сейчас же подходит смотритель, который подает отцу большой конверт, запечатанный красной сургучной печатью. Это наказ смотрителю станции от Вилинбахова: передать отцу в собственные руки, как только мы появимся на станции. Тут же к нам подходит шустрый еврей в ермолке и лапсердаке с характерными пейсами. Это наш будущий знакомый, с которым нам придется еще не раз встречаться. Это популярный в округе фактор⁴⁸ Иоссель или попросту Ёска. Это маг и волшебник, это существо, для которого нет никаких преград и ничего невыполнимого. Он сообщает отцу о том, что «Петр Карпович изволили еще вчера ожидать Ваше благородие», и одновременно передает матери письмо от бабуш-

ки. Сейчас он должен уведомить о нашем прибытии и просит нас немного обождать на станции. Через минуту раздается выстрел, за ним другой, третий, четвертый, постепенно удаляясь. Это творческая изобретательность Ёски, это своего рода телефон. Таким способом Петру Карповичу сообщается на трехверстном расстоянии о нашем прибытии, и действительно со скоростью пожарного брандмейстера из леса вылетает дядя на беговых дрожках. Он быстро соскакивает с них, и мать бросается в его объятия. После первых приветствий и радостного волнения, мать знакомит нас с дядей. Это цветущий тридцатипятилетний мужчина, склонный к некоторой полноте, с приятным открытым русским лицом и сангвиническим характером. Он одет в простые нанковые шаровары и русские сапоги. Поверх шаровар на нем русская холщевая косоворотка без пояса. Сигнал застал его за полевыми работами, где он все время был начеку.

В состоянии радостного возбуждения никто из нас не замечает того, что все мы стоим на самой середине дороги и затрудняем движение, тогда один из ямщиков отводит дядины дрожки к лесу, а мы все направляемся к крыльцу станции, где стоит наш экипаж. Здесь дядя объявляет нам о том, что сейчас мы едем в имение, и велит ямщикам отвязывать наши вещи. Никаких возражений он не хочет и слушать: нас ждут там еще со вчерашнего утра, и бабушка даже не спала всю ночь. Конечно, нам с матерью возражать не приходится, но отец считает, что ему необходимо поехать прямо в Невель, чтобы самому встретить там наш обоз, но дядя заверяет его в том, что он двадцать раз успеет выехать туда на лошадях, как только ему сообщат, что вещи прибыли на Доллыскую станцию. В это время из леса показался парный рессорный экипаж и просторная телега. В какие-нибудь пятнадцать минут вещи были сложены на телегу, быстро произведены все дорожные формальности, и мы садимся в экипаж. С шоссе мы сворачиваем влево и въезжаем в лес. Экипажем правит сам дядя, а его кучер едет за нами на его беговых дрожках. Лесом мы едем почти шагом. Дядя сидит на козлах в полоборота, разговаривая с нами и держа свободно вожжи в руках. Воздух напоен каким-то экстрактом, а лес наполнен несмолкаемыми звуками птичьих голосов. Дядя как-то сразу сделался мне близким и дорогим. Его простое обращение, его веселый, добродушный характер и заразительный смех создавали такое впечатление, как будто бы я знал его уже давно и никогда с ним не расставался. Скоро лесная дорога окончилась и мы выехали на широкий простор. Слева открылся большой изумрудный луг, на котором паслось

Доллыкское стадо коров. Он окаймлялся тем же лесом, который теперь отклонялся от шоссе и тянулся на далекое расстояние, теряясь в живописной перспективе. Справа раскинулось ржаное поле, вдаль вырисовывались большие кущи деревьев, строения, а еще дальше — огромное озеро с несколькими островами.

Это и были Доллысы, о которых я так много слышал от своей матери и где жила моя бабушка. Теперь лошади сами пошли веселее, вероятно, предвкушая спокойные ясли и временный отдых. Но вот послышался шум, нарастающий все с большей и большей силой, и скоро экипаж пролетает бревенчатый мост. На некотором расстоянии от него стоит мельница. На ее огромное колесо низвергается бурлящая масса воды. Старый мельник, весь белый от мучной пыли, приветствует нас широким поклоном. Речка с заросшими лозняком берегами, прихотливо извиваясь, отклоняется влево, уходя в направлении озера.

За мостом мы встречаем пожилую еврейку с курицей подмышкой и большим лукошком. Это Сарра, жена нашего знакомого Ёски. Она радостно кланяется нам, а потом долго смотрит вслед нашему экипажу, как бы что-то прикидывая в своей еврейской голове. Но вот лошади неожиданно подхватывают на небольшую гору, и мы вылетаем на большой, широкий двор, окруженный солидными хозяйственными постройками. В глубине стоит большой одноэтажный «господский дом» с большой, во всю его длину, широкой террасой и таким же широким крыльцом, с двойными колоннами по бокам. Левее, шагах в восьмидесяти от дома, примыкая к фруктовому саду, стоит большой одноэтажный флигель. Дядя делает неуловимое движение вожжами и, огибая весь двор справа налево, широким аллюром подкатывает к крыльцу. Посреди террасы в большом вольтеровском кресле сидит бабушка. Ее окружает большая, как бы готовая к фотографической экспозиции, группа, составляющая семью дяди.

Я пропускаю описание этой хорошо памятной мне сцены трогательной встречи матери с моей бабушкой, слезы умиления и радости, бесконечных объятий с многочисленными племянниками, расспросы, представление отца и моей персоны, но я должен остановиться на семье дяди, их имени и укладе жизни, т. к. с ними у меня связаны лучшие воспоминания моих детских лет.

Их семейные взаимоотношения и деревенская жизнь представляют редкий образец старинного патриархального рода. У дяди было семь братьев и три сестры. Жили они необыкновенно дружно, и жизнь их была построена на началах коммуны. Управлял этой коммуной дядя, а помогали ему в хозяйстве два старших

брата, Павел и Сергей, и старшая сестра Мария. Кроме них, главным рычагом в хозяйстве была его жена, Матильда Ипполитовна, урожденная Соколовская. В то время это была стройная, красивая женщина, получившая образование в Москве. Это была жизнерадостная веселая натура с любвеобильным сердцем и очень мягким характером. У них был всего лишь один сын Володя, которому в то время было семь лет. Павел Карпович был вторым по старшинству. Самый красивый и представительный в семье, полный сил, с прекрасным, добрым и уравновешенным характером, агроном по образованию, он с Сергеем, недавно окончившим Лесной институт, являлись ценными помощниками дяди. Между ними был Антон Карпович, инженер, страдавший эпилепсией и живший безвыездно в имении. Это был очень культурный, образованный и интересный человек. За ним шел Евгений Карпович⁴⁹, офицер, служивший в Петербурге, и Константин, окончивший там же Технологический институт, и, наконец, два последних — Андрей и Роман, воспитывавшиеся в Николаевском кадетском корпусе. Старшая сестра Мария была старая дева, преждевременно высохшая женщина, со слабыми легкими, но энергичная и подвижная. За ней шла Елизавета; она была замужем за неким Волковичем⁵⁰ и жила в Витебске, и, наконец, самая младшая — Верочка, семнадцатилетняя девица.

Летом, на Рождество и на Пасху обыкновенно все приезжали в Доллысы. За стол, кроме гостей, садилось человек пятнадцать. На конце стола в качестве хозяйки сидела тетя Матильда, напротив, на другом конце, сидела бабушка; дядя Петя сидел в центре стола и вокруг размещались остальные. Первой все блюда подавались бабушке, ей же оказывалось всяческое внимание и предпочтение. Бабушка сидела на особом мягком кресле с подвесным валиком под затылком. Никто не садился за стол, пока не села бабушка, а по окончании трапезы спрашивали ее разрешения встать, на что она обычно отвечала мягким наклоном головы. Иногда бабушка сама просила разрешения встать, и тогда за столом становилось более шумно, допускались шутки, громкий смех и другие вольности, в остальном же все вели себя непринужденно и пользовались полной свободой. К столу все созывались через посредство колокола, который был слышен за версту и дальше. В колокол звонили за полчаса; второй сигнал давался за десять минут. Если гости или кто-либо из семьи отлучались далеко, то их ожидал повторный стол согласно предварительному уговору. Такие опоздания бывали следствием кавалькад, охоты, собирания грибов и ягод, рыбной ловли или полевых работ, и это не

вносило никакой дезорганизации в хозяйственную область тети Матильды. Летом устраивались пикники, а на Рождество и Пасху — балы, на которые съезжалась масса окрестных гостей. Приезжали за двадцать-тридцать верст и часто оставались по нескольку дней. Боже, сколько впечатлений и каких пережито мною в детстве, и все они оставили неизгладимый след в моей душе и памяти. До моего поступления в училище 5—6 месяцев в году я проводил в имении дяди. С весны до поздней осени на Рождество и на Пасху меня привозили в Доллысы, которые стали для меня моим вторым родным домом. Но вернемся к моим первым впечатлениям по приезде в Доллысы. Кроме огромной семьи Трупчинских, несколько в стороне, на террасе, стояли дворовые и прислуга, которые с интересом наблюдали за дочерью «старой барыни» и нашей семьей. Впоследствии среди этих простых русских людей у меня оказалось много друзей, которые баловали меня и часто покрывали мои шалости. Самым дорогим среди них был для меня повар Михайла, страстный любитель природы и опытный охотник. Ему я обязан тем, что он научил меня понимать природу и видеть ее во всем ее чарующем многообразии. Он научил меня любить рассвет и пробуждение леса, поэтические вечера с тягой вальдшнепов и тихие, теплые ночи, когда мы с ним лучили рыбу⁵¹ или коротали время у костра в ожидании утреннего перелета уток. Простой русский мужик, бывший крепостной, не пожелавший уходить от своих господ, в которых он видел подобных себе по духу и вере братьев одного и того же народа, он до гробовой доски был верен тем, кто не обижал его, уважал его человеческое достоинство и ценил его не только по его делам, но и за его редкие душевные качества. Я ставлю его выше всех воспитателей, которых я когда-либо встречал и которые оказали бы на меня столь сильное и благотворное влияние, как он. Мир праху твоему, дорогой наставник. Хорошая память о тебе сохранилась у меня на всю мою жизнь!

Но где же теперь этот русский мужик? Куда девались русские люди с присущими им открытой душой, общительностью, хлебосольством, добродушием и незлобливостью? <...>

Итак, пробыв на террасе около получаса, нас повели в дом. Из просторной прихожей мы проходили в большую длинную столовую. Но никто не садится: все ждут, когда сядет бабушка. После нее все начинают занимать свои места. Около бабушки сажают мать и меня, отец садится рядом с дядей. Вносят большой самовар и ставят на особый столик, который стоит справа от тети Матильды. На столе — большой окорок ветчины, холод-

ная жареная телятина, соленья, маринады и закуски. Кроме того, подается горячий пирог с рисом и грибами. Это утренний чай и завтрак, вызванные нашим приездом. По окончании чаепития бабушка встает из-за стола, и они с мамой идут отдыхать. Бабушка и на самом деле кажется утомленной после плохо проведенной ночи. Мне разрешают остаться с отцом. Мы еще сидим некоторое время за столом, а потом меня с Володей няня ведет в парк. Парк содержится не в образцовом порядке: дорожки изрядно заросли травой, не убраны засохшие сучья, некоторые из постоянных скамеек подгнили в своем основании и т. п. Видно, что заботы о парке стоят на втором плане. Зато сам по себе парк чудесный: он занимает огромную территорию, в нем много укромных и живописных уголков, много старых, вековых деревьев, а некоторые участки напоминают девственный лес. Моя фантазия бешено работает, и я начинаю рисовать себе осуществление некоторых эпизодов в виде охоты на диких зверей, преследований индейцев и разного рода других приключений. Но вот мы сворачиваем в боковую аллею и няня ведет нас в малинник. Как хорошо здесь среди этих кустов и массы ягод, но они еще не доспели, и мы идем во фруктовую часть и огороды. Здесь множество сладкой клубники и садовой земляники. Полакомившись вдоволь, мы возвращаемся домой. В столовой прислуга убирает со стола, и мы здесь уже не застаем никого. Выйдя на террасу, я вижу большую компанию, возвращающуюся из флигеля, и среди них — отца: это ему показывали отведенную для нас комнату. Посредине двора они останавливаются и через минуту все расходятся по разным направлениям. Дядя подзывает меня к себе, и мы с отцом идем за дядей, который ведет нас осматривать его хозяйство.

Первым, ближайшим к дому, слева, является большой каретный сарай, сложенный из крупного натурального камня на цементе, разделанного в швах кирпичной щебенкой. В сарае стоят всевозможные экипажи, а на потолке, выстланном редкими балками и представлявшем подобие нар, хранились дровни, розвальни и сани различных фасонов. Там же были сложены запасные колеса, ободья, дуги, оглобли и т. п. На задней стене висели хомуты, сбруи, вожжи, уздечки, а на особых козлах красовались мужские и дамские седла. На передней стене, изнутри, помещался противопожарный ассортимент: топоры, лопаты, багры, веревки и пожарные пояса. В следующем таком же здании помещались конюшни с двадцатью стойлами, а треть помещения отводилась для молодых жеребят. Некоторые стойла были пустые, очевидно,

часть лошадей находилась в разъезде или в поле. Между этими строениями под навесом стояли пять пожарных бочек и две насосные машины. Под углом от этих строений, параллельно фасаду главного дома, в глубине двора, шла широкая канава с земляным валом, засаженным кустами желтой акации. За ней, много отступя, находились скотный двор, птичник, конюшня для рабочих лошадей, оранжерея, гумно, сеновалы и большой деревянный двухэтажный дом, где жили рабочие и одна комната была отведена под школу, в которой занималась Верочка. Дальше, на спуске к реке, стояли кузня, баня, а за речкой, около самой запруды, маленькая избушка, в которой жил Ёска со своей благоверной супругой. Все хозяйственные постройки находились в образцовом порядке и были крыты железом.

На речке, около фруктового сада, была еще, так наз., «чистая баня». После этого осмотра, который показал мне много нового и интересного, дядя предложил нам отдохнуть, а сам отправился в поле. Мы лежали с отцом в большой комнате в два окна, около которых стояли наши кровати. В раскрытые окна, обращенные в сад, неслись ароматы цветов, голоса птиц и слышался отдаленный шум мельницы. Солнце стояло в зените, и день обещал быть особенно жарким. Я засыпал отца нескончаемыми вопросами, и он терпеливо отвечал мне на них, хотя по всему было видно, что мысли его были заняты устройством новой жизни и связанными с этим заботами. Но вот раздались удары колокола; это означало, что через полчаса мы будем сидеть за столом и я буду есть обещанную мне сладкую клубнику со сливками. В этот день установленный здесь распорядок дня был передвинут на час вперед, и сегодняшний завтрак назначен в час дня. Мы направились с отцом к большому дому и застали маму с бабушкой на террасе, где они мирно беседовали, сидя на ступеньках фасадного крыльца. В это время колокол прозвучал вторично. Поговорив с ними минут пять, отец помог бабушке подняться, и мы направились в столовую. Здесь уже почти все были в сборе, и мы, не топясь, после бабушки, начали занимать свои утренние места.

За столом было очень оживленно и весело. На столе стояли разные закуски, рябиновая настойка и какие-то виноградные вина. На первое нам подали холодную ботвинью на кислых щах с отварным сигом. За столом мама рассказывала о том, как нас закармливали на станциях, и между прочим, упомянула о том, в каком диком восторге был отец, когда вчера вечером нам подали огромное блюдо раков. Тетя Матильда даже подскочила на своем стуле, вскрикнув: «А я ведь только сегодня утром думала о ра-

ках! Если бы я только знала, что Ив(ан) Ив(анович) так любит раков», — заключила она с рассказанием в голосе. «Назавтра мы исправим этот промах», — добавила она, как бы извиняясь. Но, нужно заметить, что на завтрашний день, в 10 часов утра, отец выехал в Невель, т. к. дяде сообщили, что наши подводки проехали Доллысы около семи часов утра. Можно подумать, что отец упустил случай поесть раков, но предусмотрительный дядя распорядился еще с вечера, чтобы наловили два ведра раков и упаковали их к отправке. Итак, счастливый отец все же поехал на свое новоселье с раками.

На второе блюдо подали жареных карасей в сметане, зато вместо ожидаемой клубники со сливками на столе оказалось клубничное мороженое, а мою клубнику перенесли на обед. Тетя объяснила мне, что в пять часов будет уже не так жарко и что в пять часов она будет еще вкуснее. Не согласиться с этим было нельзя, и я хорошо понял ее иронию. После завтрака я очутился в женском обществе. Тетя Матильда, старшая сестра дяди, Мария Карповна и тетя Вера повели нас с мамой на прогулку. Мы прошли до конца весь парк, который тянулся с добрый километр, и вышли сквозь разрушенную ограду на небольшой холм, с которого открывался чудесный вид на озеро. Перед нами внизу разливалось устье заросшей камышом речки, которая огибала фруктовый сад и половину парка. В камышах стояла старая лодка, а на ее носу сидел еще более старенький дед с удочкой. Мне так хотелось сбегать вниз, побегать, посмотреть, как этот дедушка ловит рыбу, но мать не разрешила мне спускаться одному, и нас повели дальше по самому обрыву этой возвышенности. Теперь перед нами простиралось огромное ржаное поле. Мы сошли вниз и гуськом вошли, как в потайную дверь, в самую гущу этого ласково-колеблющегося моря. Зеленая стежка делила все это поле до самой проселочной дороги. Идти приходилось не торопясь и все время смотреть под ноги, т. к. стежка была очень узкая и кочковатая. Рожь покрывала нас с головой. Над нами, как бы замирая в воздухе, реяли жаворонки, а в ногах путалась трава и в изобилии росли васильки. Скоро мы вышли на проселочную дорогу, по которой мы вернулись домой с другой стороны усадьбы. На террасе за ломберным столом сидели три моих старших дяди и отец, играли в преферанс. Пока мы рассаживались на крыльце, со стороны кухни показался среднего роста мужичок лет сорока пяти, в русской поддевке и сапогах, с необыкновенно приятным лицом, обрамленным небольшой бородкой и добрыми, ласковыми глазами. Он шел с большим подносом в руках, на котором стояли

стаканы и стеклянный кувшин с квасом. «Вот хорошо, Михайла, что догадался», — сказала тетя Матильда, и он направился к нам. Все наливали себе и пили, а я выжидал, когда вспомнят обо мне. «А что же молодому-то барину?» — сказал укоризненно Михайла, и мне тотчас же налили полстакана. Мать вдруг заволновалась, подумав, что я сильно разгорячен. Она поспешно проглатывала меня по голове, и ее пальцы стали бегать у меня за шиворотом. «Только не пей сразу, пей по глоткам», — поспешно сказала мать, и я, как нарочно, хлебнул не в меру и закашлялся. Квас был острый, и я еще не применился к его потреблению. «Вот видишь», — сказала мать укоризненно, но Михайла вступился за меня: «Ничего, барынька, квас этот здоровый, от него не заболеют». Я с большим удовольствием пил этот русский нектар, но квас опять подшутил надо мной: он так сильно и так неожиданно ударил мне в нос два раза подряд, что у меня выступили слезы. Михайла засмеялся, а за ним засмеялись и мои тетки. «Молодец будет мужчина», — заключил Михайла и, спросив: «Не угодно ли будет еще кому», — отошел к ломберному столу, где наши игроки уже с нетерпением ждали его. Отец залпом выпил первый стакан и, весело крикнув, произнес: «Вот это квас так квас! Это я понимаю, это не то, что наш Питерский!». И, действительно, никогда больше и нигде я не пил такого хлебного кваса, как в Доллысах. Вскоре тетка встала и пошла в дом. Через несколько минут она окликнула из окна маму и сказала, что бабушка зовет ее к себе. Придя в ее комнату, меня заставили лечь, а сами без умолку говорили о Петербурге, о Вытегре, об отце и я не знаю еще о чем, т. к. я очень быстро погрузился в глубокий и крепкий сон.

Видимо, прогулка и здоровый деревенский воздух утомили меня, а может быть, к этому прибавил еще и квас, т. к. квас был, бесспорно, крепкий и довольно хмельной. Я не слышал колокола, и меня с трудом разбудили к обеду. Когда мы вышли в столовую, все уже были в сборе и только ждали нас с бабушкой. За столом я заметил, что количество бутылок пополнилось разными сортами наливок. Обед начался с крепкого бульона и растегаев. На второе подали жареных цыплят с белым соусом и рисом, а третья?! Но не думайте, это еще не сладкое. Я уже и не знаю, как мне приступить к описанию этого невиданного еще мною блюда.

Представьте себе громадное блюдо, на котором покоятся мирным сном и даже, казалось улыбаются, как это бывает с молодоженами, когда они засыпают под утро в первую брачную ночь... Словом, на блюде лежали два очаровательных поросенка! Конеч-

но, к ним прилагались и хрен со сметаной, как это признавал и Чичиков⁵². Но что сильнее всего воздействовало на меня: их девственный вид и невинные пяточки или вкус их мяса, я до сих пор не могу этого решить. Впоследствии у Лейнера и в Вене, у Кюба и Донона⁵³ я не чувствовал такого восхищения перед этим блюдом, как тогда. Во всех случаях, хотя было и вкусно, но чувствовалась какая-то профанация и не было того художественного творчества, каким обладал Михайла. Завершался этот обед воздушным пирогом, какие мог создавать тот же Михайла. Все, что я описываю за первый день моего пребывания в Доллысах, вполне достоверно и точно. Я скорее не ручаюсь за дальнейшее изложение, где я могу ошибаться в хронологической последовательности событий или столовых меню, в точности моих воспоминаний в отношении тех или иных деталей, но за первый день я ручаюсь, ибо он врезался в мою память остро и неизгладимо.

Все же я хочу наскоро закончить описание первого проведенного в деревне и памятного мне дня. После обеда мы уже нигде не ходили. Мать в этот день много играла на рояле и до и после ужина. За столом мы также долго сидели, и все в этот вечер поздно разошлись по своим опочивальням.

Мы совершали свой вечерний туалет и ложились спать под аккомпанемент пения соловьев, которые заливались в ближайших кустах. И как я ни был утомлен в своих переживаниях, я испытывал незнакомое мне чувство душевного равновесия и спокойного умиления. Но все же это не передает того состояния, которое, вероятно, испытывают морфинисты и которое я не в состоянии описать, т. к. никогда не пробовал этого на себе. Какие сны я видел в эту ночь, я не помню, а вероятнее всего, я их не видел вовсе.

На другой день в 7 часов утра колокол возвестил обитателей имения о времени подъема, в 7 1/2 час. он пробил призыв к утреннему чаю, а без десяти минут восемь обитатели «Доллыс» начали стекаться в столовую. За столом не оказалось дяди и его братьев — Павла и Сергея Карповичей. Они уже давно были кто в поле, кто в лесу, и только через час, когда мы уже выходили из за-стола, они вернулись с работы. Я сразу же после чая был уже в парке и самостоятельно обследовал все уголки. Мама сначала была очень обеспокоена моим отсутствием, но успокоения теток и мои регулярные отлучки постепенно примирили ее с моей самостоятельностью и предоставленной мне здесь свободой. В 10 час. утра к крыльцу подали экипаж, на котором отец выехал в Невель. Пролетели два часа, и мы уже снова сидели за шумным сто-

лом. Сегодня на завтрак подали два блюда отборных красных раков и отварную копченую ветчину с зеленым горошком. После завтрака все переходили в гостиную, где обычно накрывался чайный стол с разными вареньями, печеньями и тортом. Тут же на особом столике постоянно стояли клюквенный морс, квас и другие прохладительные напитки. Эта же гостинная в известных случаях являлась и залой, где устраивались танцы. Это была огромная, продолговатой формы комната в семь окон с большими простенками. Все окна выходили на террасу и закрывались только во время грозы. Здесь обычно мужчины играли в карты, а мать со второго же дня приезда продолжала свои занятия за роялем. Бабушка, сидя в своем кресле, читала польские или французские романы. Когда мать оканчивала свои этюды, гаммы и арпеджио и переходила к классической литературе, бабушка складывала на коленях книгу и, закрыв глаза, слушала и, очевидно, наслаждалась мастерством исполнения своей дочери. Сегодня ломберный стол вынесли на террасу. Должно быть, в третьем часу со стороны мельницы послышался почтовый колокольчик, а через несколько минут к крыльцу подъехал парный экипаж, из которого вышли Елизавета Карповна и ее муж — Алексей Онуфриевич Волкович, о котором я уже упоминал. Елизавета Карповна была красивая женщина лет 25—26, очень приветливая и симпатичная. Это была моя новая, четвертая по счету тетка. Муж тети Лизы был старше ее лет на 8—10 и уже с заметной лысиной и большими заездами на лбу. Это была большая умница, хорошо воспитанный и остроумный человек. Среднего роста и, как говорят, средней упитанности, с короткими стриженными усами темного цвета и такой же бородкой, с карими и выразительными глазами, он своими манерами и веселым характером несколько напоминал француза. Их приезд всегда вносил в Доллыскую коммуну заметное оживление и бодрящий нерв. В особенности это сказывалось за столом, где он являлся глашатаем новых течений, общественных настроений, а то просто веселым рассказчиком анекдотов. Тетка очень любила его повествования, и их приезд всегда радовал ее. Конечно, карты были сейчас же оставлены, и все устремились на террасу. Встреча носила веселый и шумный характер; слышались смех, громкие восклицания, и все старались как бы опередить друг друга своими репликами, в которых чувствовалось какое-то тяготение к их остроумному построению. Бабушка стояла в гостиной у окна и представляла им свою дочь и внука. Новых гостей повели во флигель, а мы с мамой и бабушкой пошли в ее комнату. Скоро пробил колокол, и в четыре часа мы сидели уже за

столом. Сегодняшний обед был особенно шумным и веселым, благодаря присутствию Волковича. Время от времени раздавались взрывы неудержимого хохота. Остроты Алексея Онуфриевича, конечно, не доходили до меня, но я со всеми вместе искренне хохотал, настолько заразительна была обстановка. Тетя Матильда все время вытирала слезы, а потом с трудом сказала: «Ну, Алексей сегодня в особенном ударе!» Последнего слова я не понял, и потому я стал приставать к матери, чтобы она объяснила мне, что значит «в ударе». «Это значит, мой юный друг, — обратился ко мне Ал(ексей) Он(уфриевич), — что меня сегодня хорошо потрянуло на ухабе и мои мозги стали играть в чехарду, а что такое чехарда, я тебе завтра покажу». Это вполне удовлетворило меня, хотя я и чувствовал, что чего-то я недопонял. Обед состоял из рыбной окрошки со льдом, телячьих мозгов, жареных гусей с яблоками и шоколада с бисквитами. Когда мы приступили ко второму блюду, Волкович снова обратился ко мне: «Вот видишь, у этих телят мозги доигрались до того, что Михайла должен был выпустить их на сковороду». Тут уж я ничего не понял, но благоразумно промолчал. Наливки пользовались большим успехом, и даже мне налили пол рюмки «Малороссийской запеканки», несмотря на слабые протесты матери. За столом сидели дольше обыкновенного, а по окончании обеда Волкович организовал на террасе «винт», в который он почти всегда всех обыгрывал. Бабушка просила маму поиграть что-нибудь из шопеновского репертуара. Собралось много слушателей. При первых же звуках шопеновского прелюда игривое настроение наших винтеров резко упало. Было совершенно очевидно, что игра в винт никак не вязалась с гениальной гармонией национального певца и с вдохновенным исполнением матери. Сначала они просто старались не мешать, но, мало по малу, они полностью отдались во власть чарующих звуков и совершенно перестали играть. Едва замерли заключительные аккорды, как Волкович перелез через подоконник, подбежал к матери, бросился перед ней на одно колено и стал целовать ее руки. Все долго и восторженно аплодировали. Ощущение здоровой радостной жизни охватило вдруг всех присутствующих; как будто бы какой-то бесенок вселился в каждого из них, и мать под влиянием создавшегося настроения грянула бравурную мазурку. Волкович подхватил самую молоденькую из дам тетю Веру и понесся с ней в бешеном темпе этого блестящего танца, о котором в наше время не имеют и самого отдаленного представления. Он считался хорошим танцором, но здесь он скоро выдохся, вина во всем гуся с яблоками, который, по его словам, помешал ему продемон-

стрировать какие-то особые, замысловатые «pas», которые он, якобы, сам изобрел. Дядя Петя пробовал вторить, солируя и подражая Волковичу. Он совершенно не умел танцевать и выделял такие уморительные выкрутасы, что все просто помирало от смеха. Боже мой! Как хорошо переживать такие минуты, когда кажется, что жизнь и счастье — это что-то неделимое или, по крайней мере, что это синонимы, что другой жизни нет и не может быть. Да разве такие минуты можно забыть?! И долго еще веселились взрослые люди, как дети, свободные от всяких нечистых помыслов и деяний. Танцевали вальс в два па, галоп, польку-мазурку и другие танцы, а потом Волкович демонстрировал новый вальс в три па, который, по его словам, танцевали в Вене, но он показался всем скучным и неинтересным. Мало по малу все общество, как тогда говорили, угомонилось, и мужчины вернулись к ломберному столу. А дальше — снова ужин и сладкий сон у открытого окна. Но соловьи сегодня уже не поют: шел теплый летний дождь, приносивший приятную прохладу освеженной зелени и цветов.

Вы, вероятно, заметили, и вас, конечно, удивляют мои восторги в отношении утробных вопросов? Но это будет понятно, если я скажу, что наша семья всегда питалась скромно и просто, хотя в еде у нас не было недостатка. Отец любил угощать, но все это делалось больше за счет фабрикатов или примитивного базарного стола. <...>

Дни шли за днями. Я уже свободно бегал по парку и был счастлив, что никто не мешал мне фантазировать или разыгрывать различные сцены, воплощая их действующих лиц в своем единственном лице. Я изображал и страшного тигра, осторожно пробирающегося среди густых зарослей, и охотника, выслеживающего этого же самого тигра, и американских индейцев, преследующих врага, и отважного путешественника, преодолевающего различные препятствия, и многое другое. Только тогда, когда няня с Володей ходили в лес, где они собирали грибы или землянику, я присоединялся к ним, в остальных же случаях я избегал их общества. Я гордился своей самостоятельностью, и присутствие чужой няни смущало меня и даже ущемляло мое самолюбие. Зато с нескрываемой радостью я отвечал на предложения Михайлы, когда он приглашал меня на ловлю раков или брал меня с собой на станцию, куда дядя часто посылал его с разными поручениями. Он сажал меня перед собой на беговые дрожки и давал править дядиной лошадей. По пути он рассказывал мне про птиц и животных, возбуждая во мне живейший интерес к их образу

жизни, к их способности приспособляться к смене времен года, их смысленности, чуткости и сноровкам, помогающим им избегать преследования своих врагов. Я стал все больше и больше привязываться к нему и поддавать под его влияние. Моя вера в него, в каждое его слово и тяготение к его большому любвеобильному сердцу делали меня его страстным поклонником и каким-то рабом. Его слово было для меня законом. Он не пил и не курил, и эта тема в наших беседах проходила красной нитью через многие годы моего общения с ним. Я обязан ему тем, что, не взирая ни на какие соблазны, я не поддавался этим пагубным привычкам вплоть до моего окончания Театрального училища, т. е. до девятнадцатилетнего возраста. Дядя Сережа также часто брал меня с собой в лес, где он производил обмеры и руководил прокладкой просеки. Каждый раз я получал от поездок со старшими мужчинами неизъяснимое удовольствие и мне казалось, что я становлюсь в один ряд со взрослыми; на самом же деле мне в это время было всего лишь шесть лет.

Следующий день шел дождь с небольшими перерывами, и мать старалась не выпускать меня из поля своего зрения. От нечего делать дядя предложил маме поиграть с ним в дурачка, и они уселись на террасе за ломберный стол. Мама с места в карьер оставила дядю одиннадцать раз подряд. Это положило начало ежедневным сражениям, которые начинались тотчас после обеда и продолжались почти до ужина. Мама даже забросила рояль и играла лишь по просьбе бабушки. Несмотря на то, что они играли по пятаку, мама через несколько дней выиграла пять рублей и хотела на этом кончить игру, но дядя уже вошел в азарт и предложил для окончания «ва банк». Мама, желая положить конец игре, приняла предложение, и дядя снова проиграл. На следующий день его проигрыш уже равнялся двенадцати рублям и 50 копейкам.

Между тем, отец часто информировал мать, то через посредство почты, то с нарочным. В Невеле все уже было приготовлено к нашему приезду, и мать каждый день ждала сигнала или приезда отца. По сообщениям было известно, что отец нанял отдельный дом с хозяйственными постройками и огородом. Таким образом, мы прожили здесь с мамой почти две недели. На завтрашний день был назначен наш отъезд в город, но отец неожиданно приехал за нами сам, и нас задержали еще на один день. В этот день дважды подавали раков: на завтрак и к ужину. Мама с дядей долго еще торговались по поводу дядиного проигрыша, но мать решительно отказалась от своего выигрыша, стараясь дока-

зять, что игра была несерьезная и что ее склонила к этому лишь дождливая погода. Нас пытались задержать еще на один день, но отец ссылаясь на свои дела, и на другой день мы выехали в дядинском экипаже в Невель. <...>

Глава четвертая

Но вот мы уже подъезжаем к Невелю. Справа от нас стоит трактир с вывеской «Орешек». Почему это орешек, а не клюква или что-либо другое, неизвестно, но что от «Орешка» до Невеля считается ровно верста, это известно. Вот перед нами деревянный мост через речку Еменку, с которой начинается город. Мы проезжаем его и въезжаем на городскую площадь. Слева от нас большое каменное двухэтажное здание губернского уездного Казначейства, дальше торговые ряды и склады, за ними костел, прямо — «Гастрономия Бенкевича»⁵⁴, русский собор, городское училище и бывшая тюрьма⁵⁵. Мы пересекаем площадь и едем по главной улице, затем мы сворачиваем вправо и подъезжаем к небольшому деревянному дому. На фасад выходят пять окон и два в небольшом мезонине. Рядом тесовые ворота с калиткой. Кучер дяди слезает с козел, идет во двор, открывает ворота и выводит под уздцы экипаж, в котором мы продолжаем сидеть. На крыльцо выбегает миловидная работница Феня, которая радостно приветствует нас. Она отбирает от матери легкие баулы и помогает ей выйти из экипажа. Последними выходим мы с отцом. Мы входим в просторную переднюю; из нее три двери: одна — в первые две проходные комнаты, вторая — в две следующие и третья — в кухню. Комнаты выбелены и покрыты новыми обоями. Полы до бела вышарованы⁵⁶ и посыпаны резаным аиром, от которого исходит приятный освежающий аромат. Впоследствии из этого аира, который здесь растет в изобилии по берегам Еменки, мы будем делать чудесные цукаты. В самой большой комнате стоят наши роали. Мебель размещена по всем комнатам с большим вкусом и очень удобно. Отец большой мастер по части устройства домашнего уюта. Итак, у нас спальня, гостиная, столовая и кабинет отца. Дальше — просторная кухня в два окна с большой русской печкой и плитой. Из кухни — дверь во двор и большие сени, в которых помещается чулан и лестница в мезонин. Здесь же стоит большая дубовая бочка с водой. Я бегу наверх; там две маленькие комнатки по одному окну. В одной из них живет Феня, другая — свободная.

Я выбегаю во двор. Напротив дома стоит деревянная постройка, в которой помещается хлев и два стойла для лошадей. Дальше навес для экипажей или, как их тут называют, — «поветь», сарай для дров и сена, и в углу кирпичный вход в ледник, крытый дерном. За домом — большой огород, в нем десятка три фруктовых деревьев и кусты смородины, крыжовника и малины. Огород в полном цвету, но половину урожая овощей, по уговору, мы должны отдать хозяевам, которые теперь живут через квартал от нас. И вот тут-то начинаются те сказки, о которых я предупреждал еще в самом начале.

До сего времени мне не приходилось ничего знать и даже слышать о покупательной стоимости рубля. Всякого рода базарные разговоры происходили без меня, и я был далек в своих понятиях о значении в жизни презренного металла; зато здесь с первых же дней эти разговоры занимали видное место в нашей хозяйственной жизни, и я мало по малу стал интересоваться этими вопросами. Скоро я уже освоил калькуляцию наиболее часто повторяющихся товаров и уже хорошо понимал, когда на рынке или базаре запрашивали больше установленной цены.

Итак, перейдем теперь к сказочному разделу. Начнем с дома. Договор на аренду нашего дома со всеми хозяйственными постройками, с огородом и садом был заключен моим отцом на один год в сумме шестидесяти шести рублей (66 р.), т. е. с ежемесячной уплатой нанимателем по 5 руб. 50 коп. Наша Феня обходилась нам, не считая ее содержания, полтора рубля в месяц, а городской водовоз, доставлявший нам ежедневно бочку свежей воды, 80 коп. в месяц. Ведро молока в то время стоило 20 коп., сотня яиц — 1р. 50 коп., а в розничной продаже от 15-ти до 18 коп. десятка. Мясо 1-го сорта 3—4 коп. за фунт, парной поросенок 35—40 коп., гуси по 60—70 коп. за штуку, пуд ржаной муки 40—45 коп., крупчатка высшего сорта от 60—70 коп. за пуд и т. п. К сожалению, я не могу теперь сопоставить эти цены со столичными ценами. Все это относится к 1883 году⁵⁷. 20 копеек «чаевых» равнялись тогда тому, если бы вы теперь дали швейцару в парикмахерской вместо двугривенного четвертной билет, а в то время и 20 коп. были почти такой же непомерной щедростью.

Через несколько дней к нам во двор пригнали чудесную холмогорскую корову. Это дядя Петя прислал маме в уплату своего долга за «дурачка». Огромная корова высоких кровей безусловно стоила даже по тем временам двенадцать с половиной. Отказаться было нельзя, и мы были очень признательны Петру Карповичу за его «Розину», которую упрощенно звали просто «Розой». Она

давала около сорока бутылок чудесного молока и у нас образовались свои собственные молочные скопы.

Вскоре у нас объявилось много друзей и знакомых. Через неделю после нашего приезда отец справлял наше новоселье, на котором присутствовали сливки Невельского общества: Исправник — немец Карл Карлович Штупф, Председатель Съезда мировых судей — М. М. Вилинбахов, Мировой судья — Осмоловский, Попечитель учебн. округа — Недведский и завед. больницей д-р Юдин⁵⁸. Приехали и дядя Петя с тетей, которые навезли массу всякой снеди и домашних наливок. Мама с Вилинбаховым дали целый концерт. Банкет был на славу и затянулся до утра. Об этом банкете долго говорили в городе, и он способствовал популярности и престижу нашей фамилии не только в городе, но и в уезде. Очень скоро все окрестные крестьяне узнали Ивана Ивановича и полюбили его за простоту обращения, отзывчивость и помощь, которую он им оказывал. Трупчинские прожили у нас двое суток, а затем увезли меня с собой в деревню после долгих уговоров матери.

Мать еще во дворе заверяла дядю, что 29-го мы приедем все вместе, но дядя взял меня подмышки, посадил в экипаж, и мы покатали. Что означало 29-е, мне не приходило в голову, но я заметил, что тотчас же с возвращением тети все как-то зашевелилось. Среди обитателей имения чувствовалась какая-то общая целеустремленность. Все были заняты решением какой-то одной общей и важной задачи. Особенно это было заметно по взаимоотношениям тети Матильды и Михайлы. Между ними возникли какие-то особые деловые сношения. Михайла поминутно бегал к тете, они о чем-то долго совещались, что-то записывали, посылали куда-то нарочных и, видимо, были чем-то очень озабочены. Михайла стал меньше уделять мне внимания, и я пришел в уныние. Это не ускользнуло от внимания дяди Пети, который очень любил меня и хорошо понимал мою детскую психологию. Однажды после завтрака он позвал меня к себе и показал мне отличное иллюстрированное издание «Робинзона» — Дефо. Он предоставил книгу в мое распоряжение, и я уже окончательно пропал. Я зачитывался ею запоем; я перечитывал по 20 раз отдельные главы или эпизоды. Наконец у меня созрели определенные планы и я приступил к их осуществлению. Первым долгом, я построил шалаш в самой отдаленной и глухой части парка. Начались первые репетиции. Я ходил по зарослям, как бы исследуя необитаемый остров. Затем я стал искать среди орешника хорошие гибкие прутья для изготовле-

ния хорошего лука и стрел; это было совершенно необходимо с самого же начала. Я попросил у дяди Пети острый перочинный нож и здесь я начал приобретать первые ремесленные навыки и развивать свое терпение. Я не делал ничего кое-как; я придавал большое значение качеству и внешней отделке своих изделий. Я строго придерживался формы и размеров тех предметов, которые я видел на иллюстрациях книги. И в своем увлечении не замечал, как летели часы и дни. Почти следом за нами, в тот же день, приехал дядин брат, офицер Евгений Карпович, а на следующий день и самые младшие, кадеты — Константин и Роман. Первому было уже около 16-ти лет, а второму — 14. Между ними установилась какая-то особая солидарность; это были какие-то аяксы. Куда шел один, за ним следовал другой. Они никогда не спорили и не ссорились друг с другом. Оба были всегда подтянуты, когда на них были мундиры, и в их манерах чувствовалась военная дисциплина. Их появление произвело на меня сильное впечатление. В тайне я, конечно, завидовал им, но утешал себя тем, что я также поступлю в кадетский корпус, тем более, что эту мысль в нашей семье всегда поддерживал мой отец. По отношению ко мне эти молодые родственники держали себя как взрослые, и это несколько обижало меня, но моим спасительным якорем от всяких неприятностей был все тот же Михайла и «Робинзон Крузо». За последние два дня стали съезжаться гости. 29-е июня, день Петра и Павла, был традиционным праздником не только в Доллысах, но и во всей округе. Если не было на лицо именинников, то в этот день праздновалось открытие охоты, а охотников кругом было более, чем достаточно; в Доллысах же было два именинника, двое самых старших в семье братьев.

29-го утром приехала мама с отцом. Описывать этот праздник дело нелегкое, поэтому я коснусь его лишь в главных чертах. Было много гостей, было очень шумно и весело. Что было за столом и на столе, это просто не поддается описанию. По своему мастерству, разнообразию и изобретательности Михайла с тетей Матильдой превзошли самих себя. Именины праздновались три дня. По вечерам устраивались танцы, на которых особенно отличались Волкович, два моих младших дяди и молоденькие барышни из соседних имений, в числе которых выделялась дочь Виллинбахова — Верочка, пятнадцати лет, которая обронила из своего колчана стрелу Амура, ненароком ранив до того еще мое девственное сердце⁵⁹. Три вечера сжигались замечательные фейерверки, ракеты и римские свечи, которые собственноручно при-

готовлял дядя Антон Карпович. Моих личных переживаний я также не берусь описывать; они должны быть понятны, потому что они отражали все то, с чем мне пришлось познакомиться впервые в моей жизни.

В имении я прожил до конца сентября. За это первое проведенное в деревне лето я значительно вырос, окреп и загорел. Мне уже было без пяти минут семь лет. Все мои дяди и тетки баловали меня и поощряли мою самостоятельность. Я уже ездил верхом без седла в «ночное» с работниками дяди. С Михайлой я ходил на тягу вальдшнепов и вечерние перелеты уток. С ним же я ловил рыбу и раков, а один раз он взял меня с собой ночью лучить рыбу с острогой. Все это производило на меня очень сильное впечатление и закаляло меня физически. Многие из этого деревенского воспитания было неизвестно моей матери; от нее и бабушки многое скрывалось, чтобы не волновать их этими непривычными для них методами воспитания и тренировки. Весь остаток лета я был поглощен «Робинзоном Крузо». В парке было много столетних дубовых деревьев. Выбрав из них самое развесистое, с мощными горизонтальными сучьями, я соорудил на них большой настил из досок, натаскал туда соломы и даже сделал навес от дождя. У меня там образовалось целое хозяйство: здесь было и молоко, и хлеб, стручковый горох и огурцы, ягоды, мед и тому подобная снедь. Очень часто я портил себе аппетит перед завтраком или обедом. Долгое время мое обиталище не было никому известно, но дядя Петя выследил меня, и о «Робинзоне» знали только он и тетя Матильда.

Что я переживал, какие часы блаженства и упоения испытывал я, ощущая всю прелесть свободы и близкое общение с природой, я не в силах передать. За это лето Михайла научил меня плести и вязать всевозможные снасти, сети, сачки, «морды»⁶⁰ и т. п., ставить переметы, делать из глины примитивную посуду, разводить костры с полной гарантией безопасности и многое другое, что мне так пригодилось в последующей жизни.

В конце сентября за мной приехал отец. Как ни уговаривал нас дядя остаться еще, хотя бы до завтрашнего дня, отец не мог этого сделать, т. к. неотложные дела требовали его возвращения в этот же день, и мы тотчас после завтрака выехали в Невель. Не доезжая моста, кучер резко повернул экипаж влево, и через две-три минуты мы подъезжали к зданию Мирового Съезда. Каково же было мое удивление, когда мы въехали во двор, и на крыльцо большого деревянного флигеля вышла мать с какой-то пожилой и симпатичной женщиной. Расцеловавшись, мы во-

шли в дом, и я был поражен еще более. Здесь оказалась вся наша мебель, рояли и даже Феня. Отец нарочно скрыл от меня переезд на казенную квартиру, которая, как оказалось, ремонтировалась и отделялась для нас целое лето. Для меня это было совершенно неожиданным сюрпризом. Помещение здесь было вдвое больше прежнего, а высокие потолки и большие окна делали ее много привлекательнее и веселее. В большой гостиной в четыре окна, обращенных в сад, и двух окон во двор на противоположной стене по глухим стенам стояли наши рояли. В глухом углу, ограниченном дверью в кабинет отца, стоял угловой кожаный диван и большой круглый стол, покрытый бархатной скатертью, в центре которого стояла высокая лампа под большим зеленым абажуром.

Этот угол на протяжении ряда лет являлся тем гнездом, в котором созрел мой интеллект, развивалась любознательность, формировался мой душевный строй и образовывались эстетические и художественные представления. С ним у меня связаны на всю жизнь самые теплые, чистые и радостные воспоминания.

Мой отец был одним из аккуратных подписчиков на большинство периодических изданий. Кроме обширной библиотеки отца, здесь можно было найти и «Всемирную иллюстрацию», и «Живописную Россию», и популярную «Ниву», и «Иностранную литературу», и журналы «Природа и люди», «Вокруг света», «Ребус», сатирический журнал «Стрекоза» и др.⁶¹ На шестом году жизни я уже хорошо и бегло читал, теперь же все это с жадностью поглощалось мною, а бесчисленные иллюстрации развивали мою зрительную память и помогали мне лучше и прочнее усваивать прочитанное. Почерпая самые разнообразные познания, я был осведомлен в то время обо всем, что делалось на «белом свете». Передо мною проходили не только дела и события того времени, но я запечатлевал бесконечную портретную галерею государственных деятелей, ученых, артистов, писателей, музыкантов, композиторов и даже мошенников, вроде «Сонька-золотая ручка»⁶², убийц-уродов — «Сиамских близнецов», знаменитого франц(узского) сыщика Видока⁶³, франц(узской) гадалки Ленорман⁶⁴ и т. п. Мое внимание привлекали в одинаковой мере и знаменитый путешественник Стенли⁶⁵ и Бисмарк «с тремя волосами»⁶⁶, и Мольтке⁶⁷, и белый генерал Скобелев⁶⁸, и Патти⁶⁹, и Сарра Бернар⁷⁰ и многие другие. Библиотекой отца я пользовался под его довольно свободным контролем. Начав с Ломоносова, Державина и Фонвизина, я подо-

шел к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Кольцову, Тютчеву, Полонскому и др. С исторических романов Мордовцева⁷¹, Загоскина⁷² и Сенкевича⁷³, я перешел к иностранным писателям: Дюма, Вальтеру Скотту, Битчер Стоу и др. Позднее, будучи уже воспитанником Петербургского Театрального училища, я ознакомился со всеми русскими классиками и в значительной мере с переводной иностранной литературой. Моими любимыми авторами в то время были Тургенев и Аксаков. В центре моих детских воспоминаний острее и ярче всего вырисовывается угловой диван в нашей гостиной с круглым журнальным столом и зеленым абажуром и со всей той обстановкой и бытом, среди которых протекало и крепло мое музыкальное и интеллектуальное развитие. Я вижу, как сейчас, эту обстановку, где все, где каждая мелочь, включая детали рисунка на обоях, стоят перед моими глазами так четко, как если бы я видел все это полчаса тому назад. Вечер. Лампа освещает ровным желтоватым светом часть угла и стол, оставляя в полумраке остальное пространство комнаты. По диагонали, в противоположном углу, — рояль, освещаемый двумя свечами по сторонам пюпитра. Это любимец и гордость моей матери — Лихтенталь⁷⁴, которым она премирована по окончании ею Петербургской консерватории. По другой — противоположной стене стоит второй рояль, старый Зейдлер, но он теперь уже не в фаворе. Он открывается лишь тогда, когда приезжает М. П. Вилинбахов, и они с матерью играют концерты для двух роялей.

Но вот мать садится за рояль. Некоторое время она сидит неподвижно, а затем, как бы пробуждаясь, постепенно ее пальцы начинают извлекать из клавиатуры прозрачные модуляции и легкие арпеджио, после чего она приступает к музыкальному священнодействию. Погруженная в полумрак комната наполняется дивными звуками «Лунной сонаты» Бетховена. Рояль поет под чудесными руками матери. Соната сменяется «Кампанеллой» Листа или его Венгерскими рапсодиями, а затем (и неизменно) все сводится к проникновенным звукам и близкой ей по духу и национальности чарующей гармонии Шопеновской музыки. Я сижу зачарованный на огромном диване с раскрытым журналом на коленях. Я весь — слух и зрение! Я не могу оторвать глаз от одухотворенного и милого лица матери. Я вижу, чувствую и понимаю это ее особое состояние. Я сам тревожно испытываю этот экстаз, интуитивно воспринимая как истину самые тонкие нюансы, рождающиеся в ее великолепном туше, которые составляют неотъемлемую и выразительную сущность шопеновского твор-

чества. Отец работает в своем кабинете. О, эта музыка!! Он также поглощен этими божественными звуками, он также в плену ее чарующей гармонии и вряд ли много наработает в этот вечер!

По вечерам к нам часто съезжаются друзья, знакомые и приятели отца; тогда они удаляются в столовую, чтобы не мешать матери. Они беседуют, играют в преферанс или винт и ждут, пока мать закончит свою программу, а там ужин. В 9 часов взрослые садятся за стол, а я с няней отправляемся в детскую. Ложась в свою кроватку, у меня все еще звучат знакомые и ставшие какими-то родными мотивы, с которыми я погружаюсь в блаженное состояние, переходящее в крепкий и безмятежный сон.

Невозвратное золотое детство!

Неповторимые чистые и счастливые годы!! Я с благоговением и благодарностью вспоминаю вас ежечасно и слезы умиления застилают мое старческое зрение.

Теперь, подходя к последнему краю своего жизненного пути, я издалека времен люблюсь своею девственной душой ребенка, познавшей в свое время все очарование тончайших эмоций, которыми наделила меня природа. Та природа, которую я страстно полюбил с первых проблесков своего младенческого сознания, с первых проблесков чувств и впечатлений, которые отлагались в моей детской душе под влиянием чудесной музыки моей матери и подкрепленные позднее нашей русской поэзией и литературой, просветлявшей мой детский разум и открывшие перед моим детским сознанием необъятные горизонты знаний, красоту природы и величие мироздания! Я вижу и вспоминаю теперь с предельной ясностью эти далекие годы, в то время как сейчас я с большим напряжением припоминаю дела и события последних дней.

В ноябре этого же года мать родила второго сына — Евгения⁷⁵. Беременность матери, рождение брата и послеродовой период не оставили в моей памяти никаких впечатлений. Все это прошло как-то мимо меня. Я начинаю припоминать младенчество брата лишь со второго года его жизни. Эти проблески памяти в отношении нового члена нашей семьи связаны у меня с воспоминаниями криков, периодически раздававшихся из спальни или когда его выносили в гостинную.

Я уже говорил о том, что я начал рано читать, а семи лет я поглощал уже немало литературы по всевозможным отраслям знания, бывшей всегда под рукой на журнальном столе. Эти крики особенно нервировали меня во время чтения, и, вероятно, только потому это впечатление относительно удержалось у меня в памяти. Женщина, упомянутая мною вскользь при встрече нас

с отцом на казенной квартире, была общая наша с братом няня. Это была уже пожилая, достаточно грамотная и добродушная женщина лет сорока, Пелагея Назаровна Кочетова; мы все называли ее просто Назаровной. Я как-то рано вышел из под опеки этих домашних надзирателей, и она мало имела соприкосновения со мной. Я уже был в достаточной мере избалован теткой, и у меня рано развилось чувство независимости, свободы и самостоятельности. Мало того, у меня самого начали проявляться какие-то педагогические наклонности. Я очень любил поучать и школить своих сверстников, собиравшихся на нашем дворе.

В наших играх постоянно можно было слышать мой наставнический голос и замечания, вроде: «это не так», «нельзя», «это не хорошо», «не смей» и т. п. Мои вразумления часто доходили до физических расправ, когда детвора переставала мне подчиняться. Я не выносил жестокости и зверства, и меня легко можно было привести в ярость. Так я жестоко наказывал ребят, когда они отрывали мухам крылья, привязывали к их туловищу нитки с бумажками на конце и мучили насекомых или животных. Но из этого вовсе не следует, что я мог служить для них примером, т. к. я сам часто опускал горсти головастиков или молодых лягушат за шиворот или в штаны еврейских ребятишек. Но и это я делал не столько из озорства, сколько из чувства возмездия, видя в этом один из педагогических приемов.

Как я потом увидел, многое в своем характере я унаследовал от отца. По своему добродушию и простоте отец был настоящий ребенок, и в тоже время он жестоко расправлялся со мною, когда это было необходимо, и после чего он сам всегда невыразимо страдал. Не следует думать, что отец систематически применял ко мне телесные наказания; я помню их не более четырех раз в моей жизни, но они осуществлялись с большим хирургическим мастерством и строго ограничивались моей филейной областью. Эти «уроки» никогда не ожесточали меня, потому что я хорошо создавал их справедливость, а главное, они всегда были эффективны, своевременны и четки.

С малых лет я был очень влюбчив. Первой моей такой любовью была мать, которой в приливе особой ласки я часто говорил: «Мама, я никогда ни на ком не женюсь, кроме тебя». Второй моей любовью была Верочка Вилинбахова, которую я очень редко видел, но которая прочно занимала место в моем неумном сердце. В конце августа 84-го года, когда мне было семь лет, а ей почти 17, произошел такой случай: отвозя свою дочь в Москву, где она воспитывалась в каком-то институте, Вилинбахов заехал с ней

попутно в Невель. Их экипаж стоял на нашем дворе. В момент отъезда мы все вышли во двор и стали прощаться. Когда очередь дошла до меня, и Верочка, обняв меня, стала меня целовать, я судорожно охватил ее за шею и, заливаясь слезами, стал душить в своих объятиях. Отцу с матерью стоило больших усилий оторвать меня от объекта моей страсти и увести домой. После этих проводов я пролежал две недели в постели, причем в первые дни врач очень боялся за состояние моей психики. Эта Верочка положила начало моего страстного тяготения ко всем последующим Верочкам, из которых Верочка Трефилова, известная впоследствии балерина Мариинского театра⁷⁶ сыграла роковую роль в моем здоровье, а последняя Верочка Р. взяла меня под свою опеку, которая продолжается вот уже 36 лет⁷⁷.

В кабинете отца стоял верстак, за которым он любил проводить свои досуги. Он очень искусно делал все, за что бы он ни брался, и недаром говорили, что у Ив. Ив. просто золотые руки. Ему я обязан тем, что он не только ознакомил меня с разными технологическими приемами, но и привил мне любовь и терпение к самым разнообразным работам. Впоследствии я и шил, и вязал, плотничал и столярничал, точил и слесарничал — словом, я брался за все и доводил всегда все до конца. Я принципиально никогда не обращался к помощи ремесленников-специалистов и во всех случаях обходился собственными руками. Я делал мебель⁷⁸ и многое другое и даже принимал равное участие с плотниками во время построек своих дач, но чему я не успел научиться и о чем я всегда очень сожалел, это шить обувь. У меня был приятель, заведывавший формовкой Академии художеств некто фон-Гайнинген-Гюнэ, который в качестве любителя соперничал с производством американской фирмы модельной обуви — «Вальковер» и делал такую обувь, с какой не мог сравниться ни «Вейс»⁷⁹, ни другие Петербургские мастера.

Так протекали ранние годы моего детства. Музыка, чтение, занятия ремеслами и жизнь в деревне, которая составляла существенную часть в моем душевном и психо-физиологическом формировании, составляли тот фундамент, на котором выросла эта старая коряга, именуемая теперь — безвестным Валентином Ивановичем Пресняковым.

На Рождество и на Пасху я ездил в деревню. Эти праздники особенно живо встают в моей памяти потому, что я проводил их там ежегодно, вплоть до поступления в училище, т. е. до 87-го года, причем их программа и характер оставались из года в год одни и те же. Рождественский период знаменовался танцевальны-

ми вечерами, маскарадами и колядками. Танцевали тогда преимущественно: французскую кадрили, или «контрданс»⁸⁰, иногда «ляньсье»⁸¹, вальс в два па⁸², польку, польку-мазурку, мазурку и галоп. От теперешних вечеров, от которых слишком пахнет потом, вином, бессмысленной толчеей, постными лицами и невероятной скукой, вечера прежних времен отличались чрезвычайным оживлением, непосредственным и искренним весельем, а главное, умением и часто большим мастерством⁸³. Теперь вы уже не увидите такого блестящего танца, как мазурка, даже в академическом балете, т. к. бальная мазурка отличается от сценической особым пластическим построением, своеобразным стилем, манерой, а главное, индивидуальной интерпретацией. Впоследствии таким представителем былых поколений на нашей сцене был один лишь знаменитый Кшесинский-отец, Феликс Иванович⁸⁴. Люди делились на умеющих и не умеющих танцевать. Последние никогда не решались выступать публично до тех пор, пока они в совершенстве не освоили этого искусства. Качество вечеров, т. е. их программа, разнообразие и интерес всецело зависели от дирижера или распорядителя танцев⁸⁵. Распорядитель должен был представлять собою образец мастерства и обладать фантазией, находчивостью, живым, веселым характером и организаторскими способностями. Особенно увлекательными в то время были котильоны⁸⁶ с призами, орденскими знаками, конфетти и серпантинами. Отдельные фигуры французской кадрили мешались с быстротечными играми, фантами⁸⁷ и различными танцами, в основе которых был галоп. Немало зависело и от хорошего тапера⁸⁸. Неотъемлемыми атрибутами этих вечеров являлись: туалеты, лайковые перчатки, веера, цветы, духи, прохладительные напитки и мороженое. Маскарады увлекали не только молодежь, но и все возрасты, вплоть до пожилых и стариков. Колядки я не берусь описывать, т. к. они художественно отражены в нашей классической литературе и всем хорошо известны. Колядовать со звездой⁸⁹ мы ходили и ездили большими компаниями на разукрашенных лентах и бубенцами лошадаках с запасами ракет и фейерверка.

Предоставляю вам судить о тех впечатлениях, которые оставляли после себя все эти бытовые и характерные для нашего народа обычаи и забавы.

На Пасхальном периоде мне также хотелось бы остановиться, как на особом русском празднике Кулинарии. В Доллысах это было что-то сверх всякой фантазии.

Мне неоднократно приходилось бывать за царским столом, когда после спектаклей в Эрмитажном театре Зимнего дворца нас

приглашали к ужину, специально для нас устраиваемому⁹⁰. Там также был отдельный стол а ля фуршет, на котором помещалось множество различных яств, закусок, фруктов и вина, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что можно было наблюдать в Доллысах. Здесь пасхальные столы помещались в гостинной. Их три, но они объединены в один и представляют фигуру в виде буквы «П». Самый большой из них тянулся вдоль стены в семь окон, и от него под прямым углом шли два коротких крыла. Все они накрыты белыми льняными скатертями. В порядке художественного оформления свисающие до пола скатерти обиты зеленым орнаментом из ползучего моха. На большом центральном столе помещается всякая снедь, которая ежедневно пополняется и обновляется.

И чего только здесь не было?!

В двух словах я сказал бы, что даже на складе Елисеева нельзя было бы найти половины того ассортимента, который можно было видеть здесь. Количества всякой снеди, которая потреблялась гостями за эту неделю, хватило бы на целый год для средней семьи. Все это было размещено на большом столе с художественным вкусом и расчетом.

В центре на специальном блюде покоился мастерски исполненный из сливочного масла рождественский барашек с золотыми завитками рогов и традиционной хоругвью, окруженный свежей порослью изумрудного рейгра⁹¹. По две с каждой стороны стояли пасхи: сливочная, вареная, миндальная и шоколадная с изюмом, фисташками или цукатами. Дальше располагались окорока: свиные, говяжьи, телячьи и бараньи, «полендвица»⁹², буженина и медвежатина. Яйца: куриные, гусиные и чибисовые. Холодные жаркие: каплуны, пулярки, фазаны, глухари, тетерева, гуси, утки, куропатки, рябчики и др. Заливные и паштеты рыбные, из дичи и раков, копченые сиги, угри, салаты, соусы, подливки и разные приправы. Столы были украшены цветами; тут же помещались канделябры и стопки тарелок с приборами. На ближнем от входа крыле стояли всевозможные закуски, соленья, маринады, наливки и вина, на дальнем крыле — вазы с фруктами, гигантские «бабы»⁹³, куличи, торты, бисквиты, пляцки⁹⁴, вафли, мазурки⁹⁵, пастила, венгерские сливы, вяленая малага⁹⁶, финики, ананасы, пьяная вишня и каштаны в шоколаде. Тут же были лимонады, оршады⁹⁷, миндальное молоко и другие прохладительные напитки. Ежедневно все это обновлялось, пополнялось или заменялось сменными блюдами.

Вечером горящие канделябры, цветы и вся сервировка создавали незабываемое впечатление какой-то своеобразной симфо-

нии. Обычные завтраки и ужины на этой неделе отменялись, и все довольствие производилось а ля фуршет, т. е. путем самообслуживания. За обедом подавались лишь разные супы и горячее, вроде цыплят, жареных голубей, фаршированного зайца, пельменей, отварного сига, судака по-польски, зразы и т. п., третьи блюда также отменялись и заменялись разными пудингами, желе и компотами. Помимо этих обедов каждый ел когда и что хотел в гостинной. Вечером стол убирался и столовая превращалась в танцевальный зал.

Истинными мастерами и художниками этих дней нужно считать Михайлу, тетку Матильду, ее правую руку по кухонному отделу — Апполинарию, толстенную «кухарку за повара», и немалое число дворни. Для извлечения из печи некоторых сортов баб или куличей приходилось разбирать «под»⁹⁸. Некоторые бабы остывали на пуховых подушках, и много других «чудес» видел я в своем детстве. Немало хлопот выпадало в этот период и на долю Ёски, который и сам до или после нашей пасхи готовился к своей еврейской. Он постоянно зазывал меня к себе и угощал меня разного рода цимусами, вроде редьки с медом и другими, а мацой⁹⁹ он снабжал меня на долгое время и (она) поступала в мои робинзоновские склады.

Зимний период в Невеле проходил в неустанной работе моих родителей, а с пяти часов дня — свобода и отдых, музыка и чтение, общение с друзьями и знакомыми, семейные вечера, беседы, карты и мирный сон.

Жизнь стоила по тем временам баснословно дешево, работать, кто ее любил, было легко, найти ее было также не трудно, как найти квартиру на любой вкус. Отец свободно мог содержать свою семью, но мать не считала возможным возлагать все материальное бремя на отца и она стала давать уроки музыки. Отец также подрабатывал сверх своего жалования, занимаясь составлением прошений, жалоб, ходатайств и других ведомственных бумаг.

В особенности хорошо оплачивались тогда прошения на высочайшее имя, где требовались особый стиль, литературное изложение и чистое каллиграфическое исполнение.

Культурная часть невеликого общества не чужда была и творческим, художественным запросам. Время от времени в помещении клуба устраивались любительские спектакли, сбор с которых поступал на благотворительные цели. В первую голову помощь оказывалась арестантам и бесприютным детям. Главными, как теперь говорят, активистами были мои родители. У отца была бо-

гательшая фантазия и изобретательность. Участники относились к своим обязанностям в высшей степени добросовестно и работали с большим увлечением.

Отец, как всегда, увлекался охотой и каждый раз по своем возвращении передавал мне во всех подробностях ее отдельные эпизоды. С переездом на казенную квартиру мать посадила меня за рояль. Сначала дело шло очень успешно. Я обладал хорошим музыкальным слухом и памятью; у меня быстро развивалась техника и я стал неплохо читать ноты, но скоро мне это надоело, и я стал увлекаться игрой по слуху. Я безупречно точно воспроизводил не только мелодию, но и гармонию тех несложных вещей, которые для меня проигрывала мать. Мне было достаточно прослушать два раза какой-нибудь этюд, чтобы я мог заучить его безошибочно и точно. Это окончательно сгубило меня и привело к дилеттантизму. Скоро начались разные недоразумения, в основе которых были леность и капризы, выведившие мать из себя. Тем не менее, мать продолжала терпеливо заниматься со мной, но уроки все чаще и чаще стали оканчиваться слезами и, наконец, мать махнула на меня рукой. Но страсть к музыке все же не угасла во мне от этих неудачных экспериментов, и я постоянно был в ее власти. Слушая игру матери, я проникался ею до глубины души и интуитивно старался постичь ее язык. Я по-прежнему много читал, а с наступлением теплых весенних дней меня отвозили в Доллысы.

В 1885-м году отец основал в Невеле «Вольно-пожарное общество»¹⁰⁰. Затея была своевременна, т. к. пожары в городе стали учащаться. До того времени пожары тушились домашними средствами. На пожар сбегались больше из любопытства, а если и тушили, то только любители, не имевшие ни средств пожарной обороны, ни опыта, ни умения. Отец выработал обстоятельный устав и правила, которые были утверждены свыше, и отец приступил к организации общества. Начался сбор средств и добровольцев. Отец пользовался большой любовью горожан, и на его призыв стали откликаться не только частные лица, но и казенные учреждения. Большую сумму на это учреждение пожертвовал местный купец Бенкевич, владелец самого крупного дома и единственного в городе гастрономического и бакалейного магазина. Городские власти оборудовали за свой счет пожарный обоз из шести бочек и обязали ряд частных владельцев лошадей гужевой тягой. На собранные средства отец выписал из Петербурга две насосные машины, шланги, топоры, багры, пояса с карабинами и весь необходимый инвентарь. Кроме это-

го, — и это главное, — были выписаны три медные пожарные каски. Отец чуть ли не сам себя назначил брандмейстером, а Ф. М. Закревского — своим помощником. Сын Бенкевича, здоровый парень, лет двадцати пяти¹⁰¹, числился в распоряжении отца и Закревского. Эти три лица и должны были облечься в медные каски. В обладании этих касок, по-видимому, крылся тот детский интерес к серьезному и важному делу, который зажигал энтузиазмом и всех остальных добровольцев. Я с умилением вспоминаю теперь, как искренне и с каким увлечением играли эти взрослые дети в парады и маневры, с каким увлечением отдавались они обучению военному строю, приемам тушения и производственной дисциплине. Но эта игра, над которой я теперь смеялся бы до слез, имела и свою положительную сторону, ибо нужно отдать справедливость тем результатам, которые в полной мере оправдывали существование общества. Уже в первых трех случаях добровольцы показали себя с лучшей стороны, с самозабвением отдаваясь своему долгу в борьбе с огненной стихией.

Первоначальное увлечение, в котором вначале сказывалось какое-то взрослое ребячество, мало-помалу стало приобретать спортивный характер и объединять этих людей в одну серьезную профессиональную группу. Даже невинные медные каски, которые вначале являлись лишь интересной блестящей игрушкой, сыграли свою положительную роль, потому что, не будь этих касок, являвшихся символом командной власти и творческой инициативы, а будь эти люди призваны только к отбыванию своего общественного долга и подчинены другой посторонней власти, картина была бы иная. Но эта моя попутная критика полна добродушия, и я теперь лишь переживаю вновь те впечатления, которые у меня сохранились в связи с этим эпизодом. Практически дело началось с весны. Все участники дружины пошили себе за свой счет летнюю форму, состоящую из парусиновых бушлатов и таких же шаровар. На головах у них были парусиновые фуражки военного образца с синим околышем и кокардой, на которой скрещивались пожарные топоры.

В день Св. Троицы на городской площади был отслужен молебен, после которого священник произнес соответствующую случаю напутственную речь и поздравил дружинников с открытием деятельности общества. Наши три витязя в касках были просто великолепны! Конечно, отец со своим обличьем и фигурой, своим складом и высоким ростом выделялся из всех и обращал на себя внимание толпы. Невельские дамы махали ему ручками,

а дома восторгались, говорили комплименты и сравнивали его с ~~каким-то~~ римским воином.

Милый отец! Как я любил тебя, чувствуя бессознательно твое ребячество, как я любил тебя за твои золотые руки, которые даже в процессе наказания делали чудеса, как я люблю теперь твою память и за все, за все и даже те твои ошибки, которые ты умел облечь в какую-то невзыскательную форму.

После молебна вся дружина, как мне помнится, человек в тридцать отправилась в клуб, где Бенкевич давал обед в честь новоявленного «невельского вольно-пожарного общества».

По воскресным и праздничным дням производились регулярные занятия преимущественно за городом, на Орешкинском поле, в одной версте от Невеля.

В августе происходили маневры. Объектом практических занятий служило трехэтажное кирпичное здание, в прошлом служившее тюрьмой, и поврежденное, как видно, также пожаром. Добровольцы взбегали по лестницам, рассыпались по дырявой крыше, протягивали шланги, качали машины, спускались из окон на веревках и выполняли всякого рода маневренные задания. Командовал, конечно, отец. Вокруг собиралась масса зевак и праздного народа. В Орешек шли по шоссе военным строем и так же возвращались, с песнями, тамбурином, свистом и деревянными ложками, заменявшими в России испанские кастаньеты. В Орешке иногда «после трудов праведных», воздавалась некоторая дань Бахусу, но всегда в строгих пределах и рамках приличия.

Как жаль, что любительская фотография еще не была развита в то время! Сколько интересных моментов или отдельных типов с ярко выраженными чувствами достоинства и даже превосходства над простыми смертными можно было запечатлеть на лицах этих «героев», с широкими поясами и топорами на бедре. Сколько интересных кадров можно было заснять во время парадов, которые принимал отец! Но «страховое от огня общество» было преисполнено благодарности этим героям, которые многократно локализовали возникновение пожаров и избавляли государство от оплаты страховых полисов. Через год был составлен отчет о деятельности «Невельского вольно-пожарного общества», из которого стали выявляться интересные детали. Так оказалось, что горели только застрахованные лавки, владельцами которых являлись исключительно евреи. Дальше оказалось, что судьба явно покровительствует русским и полякам, тщательно охраняя их кров и имущество. В следующем 86-м году из того же годового отчета явствовало, что число пожаров прогрессирует и что при-

чиной таковых являются поджоги. При сопоставлении фактов выяснилось, что мелкие погорельцы через год уже оказывались владельцами приличных лавок, а при повторном горении они уже имели хорошие магазины и обогащались на глазах жителей. Как фениксы из пепла стали появляться роскошные магазины Гинсбурга, Мовшензона, Абрамова (он же Абрамович) и другие. Получалось впечатление, что Невель растет и развивается не по дням, а по часам. Но оставим пока эту тему и вернемся к личной жизни нашей семьи.

Я по-прежнему из года в год проводил каждое лето в Долысах, где развивался и закалялся в деревенских условиях на парном молоке, сливках и здоровом разнообразном столе; где я получал основательную тренировку на полевых работах, в лесу и дома, где я пилил дрова, возил навоз и совершал множество работ об руку с рабочими. Я рыбачил с настоящими рыбаками в разное время дня и ночи или сопровождал Михайлу на охоты после Петрова дня, где мне часто приходилось зябнуть и промокать, как и на озере, до нитки, а потом обсушиваться у костра. Неоднократно мне приходилось принимать участие в тушении лесных пожаров, этой опасной и чрезвычайно тяжелой работе, и мало еще чего не приходилось делать, от чего мать сошла бы с ума, если бы только знала хоть сотую часть моей деревенской жизни. За все годы моего пребывания в деревне у меня никогда не было даже насморка.

Зимние периоды 85 и 86-го годов проходили, как и предыдущие. В 9 час. утра отец поднимался в помещение Съезда Мировых Судей, а мать начинала уроки музыки, которые продолжались до часу дня, когда мы завтракали. В это время приходил отец, а после завтрака он снова возвращался на работу. До пяти часов мать занималась своими и хозяйственными делами, а я ежедневно гулял, катался на санках, а дома читал, иногда плел сети, готовил к лету переметы или ковырялся за отцовским верстаком. В 5 часов отец приходил с работы и мы садились обедать. После обеда мать всегда музицировала, а отец отправлялся в свой кабинет, где работал до вечера. Вечером обычно приходили Закревские и кто-либо из знакомых. Часто бывал у нас исправник города К. К. Штумф, добродушный, кругленький немец, который обычно напускал на себя строгий и неприступный вид, впрочем, не устрашавший никого даже тогда, когда он выходил из себя и распекал городских, лавочников, извозчиков и всех, кто ему попадался под руку. Он очень любил музыку и винт. Будучи мало одаренным человеком, он одновременно преклонялся перед ис-

кусством матери и организаторскими способностями отца. Он часто советовался с ним по городским административным вопросам и нередко обращался к его помощи, т. к. авторитет отца был значительно популярнее его, зато он считал своим долгом представлять на парадах отца и много способствовал развитию благотворительных спектаклей, концертов матери и деятельности Вольно-пожарного общества. Изредка бывал Вилинбахов, который жил в своем имении, в 12-ти верстах от города и приезжал два раза в неделю по делам суда, в остальные же дни его замещал мировой судья Осмоловский. Так прошли все эти годы. Наступил роковой для нас 1887 год.

Глава пятая

Я уже говорил о том, что число пожаров систематически прогрессировало из года в год, а в 87-м году они приняли совершенно стихийный характер. Евреи до такой степени обнаглели в своем увлечении поджогами, что жители потеряли покой и душевное равновесие. В городе поднималась волна возмущения и недовольства против бездарного руководства полицией и бездеятельностью исправника. Открыто говорили о том, что вся полиция подкуплена жидами, и это было весьма правдоподобно. Прежние виновники пожаров не преследовались якобы за недостатком улик, и евреи благодушествовали. И вот в день Св. Троицы, кажется это было 25-го мая, если память мне не изменяет¹⁰², пожары стали возникать одновременно в разных частях города. Они начались еще с ночи. Соборный колокол дважды в эту ночь бил тревогу и поднимал жителей на ноги. Но с утра уже можно было подумать, что происходит какой-то спорт или соревнования между игроками. Впоследствии выяснилось, что все это являлось результатом заранее выработанного плана. Расчет заключался в том, что хорошо справлявшиеся с единичными пожарами, дружинники не в силах будут управиться в разных точках, и благодаря этому, часть объектов сможет успешно догореть до конца. Днем в городе началась паника. Дружинники буквально разрывались на части и выбивались из сил.

Как назло, весна в этом году была незадачливая и очень ветреная. Халупы, с которых обыкновенно начинался пожар, были ветхи, сухи и воспламенялись, как селитра. В полдень этот план уже исполнялся, как по нотам, и жители были охвачены со всех сторон огненным кольцом. Бушующее море огня, шквалистый,

порывистый ветер, жуткий гул набата, неистовые крики, плачь, мычание коров и вой собак создавали страшную картину народного бедствия. Люди с опасностью для жизни прорывались сквозь это кольцо, кто на лошадях, а кто на своих двоих, навьюченные наспех собранным скарбом, обремененные грудными детьми, стариками и больными. Это походило на какие-то Содом и Гоморру¹⁰³, наказанных за грехи человеческие. Отец, выбиваясь из сил, метался с дружинниками в этом страшном кольце и ловил на месте преступления евреев, продолжавших, уже будучи пойманными, выливать на свои лавчонки остатки керосина. Он успел лишь получить сведения через Закревского, что его семья сидит в своем огороде со сложенными вещами, что Бенкевич уже покинул город и послал нам телегу, что здание Съезда стоит нетронутым, как и другие постройки, расположенные за рекой. Мы с матерью, маленьким братишкой, няней и прислугой сидели на своих узлах ни живы ни мертвы, наблюдая невольно, как жители лавиной старались преодолеть мост, который связывал их еще с жизнью. Атмосфера накалилась до крайних пределов, и в огороде было жарко, как в печке. Отсутствие отца удесятряло нашу тревогу, и казалось, что этому испытанию не будет конца. Наконец явился отец. Его нельзя было узнать. С обгоревшей бородой, весь черный, в оборванном платье и израненными руками, он бросился в объятия матери и разрыдался, как ребенок. Мы не заметили, как нас обступили какие-то люди и сочувственно стали помогать рабочему Бенкевича складывать на телегу наши вещи. Мы пошли в дом.

Никогда не забуду я этой минуты и того убийственного впечатления, которое трудно передать и которое живо во мне еще и по сей день¹⁰⁴. Все оставалось на своих местах, но сознание обреченности и неотвратимой близости конца их материального существования, существования всего того, что было так дорого каждому из нас, подавляло душу и рассудок. Казалось, что мы присутствовали в ожидании приговоренных к расстрелу близких людей. Каждая вещь казалась живой и понимающей свою обреченность. Мать бросилась к своему Лихтенталю, взяла какой-то страшно прозвучавший аккорд и, упав ничком на клавиатуру, залилась горячими слезами. Отец, охватив голову руками и опершись локтями о колени, сидел в каком-то оцепенении. Я смотрел на круглый стол, на лампу с абажуром, на диван и журналы, испытывал сверх того, что можно испытывать с утратой самого дорогого, еще нечто, что может ощущать только девственная душа ребенка и чего нельзя передать словами. Прислуга, я и кто-то

еще из посторонних ревели навзрыд, как на похоронах. Наконец отец встал. В дверях стоял работник Бенкевича. «Ну что? — спросил отец твердым голосом и направляясь к выходу, — место еще есть?» «Барыню с детьми посадим, а больше не будет», — отвечал рабочий, идя следом за отцом. Через 2—3 минуты они вернулись в дом. Отец в последний раз осмотрел свой кабинет, письменный стол, обошел все комнаты, посрывал портьеры, вынес оставшиеся одеяла, подушки и, сняв образа, перекрестился широким жестом. За ним перекрестились и все присутствующие. «Вали все это поверху», — сказал он, передавая вещи окружающим нас людям, — и в Орешек», — скомандовал отец. Он поднял мать и, крепко держа ее в объятьях, повел к выходу.

Мы выехали со двора, когда уже огонь перебросился через Еменку. По шоссе тянулись погорельцы, и дорога была запружена на большом протяжении. Отец, Назаровна и Феня шли рядом с телегой. Через пол версты некоторые стали сворачивать в поле и расселяться на нем отдельными группами. В Орешке поселился уже Бенкевич, ксендз и настоятель невелицкого монастыря. Места не было, и мы, по примеру других, остановились в поле. К вечеру здесь разбился огромный бивуак в несколько сот человек. Отец разбил нечто вроде палатки из одеял и ковров. Во многих местах горели костры, около которых люди обогривались или готовили себе пищу. Вечер был свежий, но такого страшного течения воздуха здесь не чувствовалось, как это было в самом городе. Очевидно, что там эти потоки образовывались от соприкосновения тепла с холодом. В подтверждение того, что в городе ветер продолжал бушевать, было то, что, когда уже совершенно стемнело, можно было наблюдать, как огромные горящие головки перелетали над городом на большие расстояния, производя впечатление гигантских ракет. Зрелище было поистине грандиозное и внушительное. Теперь город горел без помех. Он горел семь суток и столько же тлел и остывал. Несчастный город был предоставлен своей участи так же, как и его потерпевшие жители. В час дня дядя выехал из Доллыс с несколькими подводками, но за четыре версты до Невеля должен был повернуть обратно, так как встречное движение нельзя было преодолеть ни при каких условиях. На третий день к нам подошел пожилой и благообразный крестьянин и предложил отцу переехать к нему на хутор. Это был зажиточный мужик Лукаш, которому отец не раз помогал в ведении каких-то юридических дел. Его хутор помещался у самого шоссе, на большом возвышенном плато, в четырех верстах от города и в трех верстах от Орешка. После недолгих разго-

воров отец дал свое согласие на переезд, и часа через полтора Лукаш приехал за нами на двух телегах. Хозяйка уже ждала нас с обедом. Радующие и трогательные заботы об удобствах, которыми они старались окружить нас и в особенности мать с двумя малышами, свидетельствовали о той христианской добродетели, которая была так характерна для русского человека и в особенности для нашего русского крестьянина. Стремление помочь, поддержать, выручить или спасти от беды своего ближнего являлись тогда их характерной и неотъемлемой чертой.

После обеда нас уложили на перины, и все удалились на т. наз. черную половину. Часов в пять Лукаш разбудил нас и сказал, что баня для нас готова. После бани мы ужинали вместе с Лукашом и его семьей, а часов в 9 вечера мы уже снова спали крепким сном. Рано утром, после первой проведенной у Лукаша ночи, пред нами предстал сконфуженный и удрученный Ёска. Это был, кажется, первый случай в его жизни, когда он провалил порученное ему дело, а дело было нелегкое: обнаружить наше местопребывание в этом море тысяч людей, рассеянных более, чем на трехверстном пространстве. Он не раз советовался с Лукашем по этому поводу, но Лукаш, не говоря ни слова, сам отправился на поиски и опередил Ёску. Теперь Ёска чувствовал себя, как побитая собака. Может быть, Ёска и нашел бы нас, но тогда антагонизм был настолько силен, что с ним, как с евреем, никто не хотел и разговаривать. Все же он был счастлив, что может сообщить в Доллысы радостную весть и помчался, как на крыльях, в имение. Во второй половине дня на шоссе показался экипаж и две телеги. За нами приехал старший брат дяди — Павел Карпович, Ёска и двое рабочих. Дядя был занят какими-то неотложными делами и сам выехать не мог. Их приезд страшно расстроил наших хозяев. Лукаш стал оспаривать наше пребывание у него и говорил, что Иван Ив. — это его дорогой гость и что он будет кровно обижен, если нас увезут от него. Торг был долгим и трогательным. Наконец, дядя убедил старика в том, что все же наша семья — это родная часть общей семьи, и они не могут отказаться от нас в столь тяжелую минуту. В конце концов обе стороны пошли на компромисс и порешили на том, что мы еще поживем у Лукаша целую неделю и тогда уже поедem в деревню. Мы все это время сидели как приговоренные и ждали решения нашей участи. Лукаш не отпустил легко Доллыскую экспедицию. Быстро собрали на стол; обед был уже давно готов, Ёска был командирован в кабаk, и только часа через два дядя Паля, как я его тогда называл, уехал от нас с обещанием через неделю приехать вторично.

И точно, через неделю приехал сам дядя Петя в сопровождении тех же Ески и двух рабочих. Лукашу он привез в подарок два копченых окорока, пару живых заводских поросят и четвертную бутылку водки. Опять начался торг из-за обеда. Лукаш ни за что не соглашался отпустить нас всех без «отвальной», пришлось согласиться, и мы только в восьмом часу вечера приехали в Доллысы. За ужином мы уже только сидели и смотрели, как едят другие, потому что растягивать дальше свои желудки нам было уже не под силу. Разговоры вертелись исключительно на пожаре, на еврейях, которые нигде и никому не дают жить спокойно, о том, что вся полиция, вместе с ее начальством, продажная и т. д. и т. п.

Быстро пролетели июнь и июль 1887 года. Мне уже шел десятый год, а я еще нигде не учился, хотя и был более чем достаточно подготовлен. Больше терять времени было нельзя, и перед моими родителями встала во весь рост срочная и тяжелая проблема. До пожара этот вопрос не тревожил родителей, т. к. предполагалось, что осенью этого года я буду определен в Петербургский морской кадетский корпус, но теперь все резко изменилось, и о корпусе думать уже не приходилось, т. к. туда нужно было платить 400 или 450 руб. в год. Пользоваться кредитом дяди никак не входило в расчеты моих родителей, и снова создавался какой-то заколдованный круг, из которого, как казалось, не было никакого выхода¹⁰⁵.

В первых числах августа мать повезла меня в Петербург, не имея впереди никаких планов¹⁰⁶ или обнадеживающих перспектив. Обратный путь на перекладных уже не производил на меня тех радужных и беззаботно-счастливых переживаний, которыми раньше была так полна моя детская душа. Я уже смотрел на все глазами взрослого ребенка. Я уже носил в себе осадок травмы, полученной в результате постигшего нас несчастья. Тревожное состояние матери непосредственно передавалось и мне. Я испытывал и тоску по утраченному беззаботному детству, и по тем местам и людям, с которыми я расставался, быть может, навсегда, а неизвестность пугала меня. (...)

Комментарии

Свои воспоминания В. И. Пресняков писал в середине 1950-х годов: на склоне жизни, через семь десятилетий после описываемых событий, вдали от немногих доживавших свой век сверстников, близких его родственному и дружескому кругу, — от всех, кто мог бы скорректировать написанное. Да вряд ли мемуариста и посещала мысль о какой-либо корректировке. Руко-

пись его (по некоторым приметам можно предположить, что он писал набело, без черновиков) не носит следов правки. Ни в малой степени не допуская вероятность публикации мемуаров (иначе, как бы попал в них, например, исполненный умиления рассказ об Александре III и его «августейшем семействе»), он мог рассчитывать лишь на заинтересованное внимание домашних. У него не было нужды выверять факты и даты — он полагался лишь на свою память и, основываясь подчас на семейных легендах, не подвергал сомнению их достоверность. Поэтому фактология «Воспоминаний» требует тщательной проверки и уточнения. Осуществить же это весьма трудно: материалы Центрального Государственного исторического архива Санкт-Петербурга вот уже несколько лет недоступны исследователям, и комментатор порой вынужден прибегать к гипотезам и предположениям, строить догадки, тщетно задавая вопросы, точный ответ на которые, скорее всего, содержится в документах этого архива.

Взяв под сомнение, а иногда и опровергнув целый ряд сведений, сообщаемых мемуаристом, комментатор счел целесообразным в других случаях привести параллельные свидетельства, доказывающие правдивость изложенного.

¹ Иван Иванович Пресняков (1847—1907?) ко времени рождения мемуариста занимал должность «канцелярского чиновника С.-Петербургского окружного суда», о чем свидетельствует запись в метрической книге Санкт-Петербургского Адмиралтейского Собора за 1878 год, № 99 (копия свидетельства о рождении Валентина Преснякова // РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2565. Л. 3.).

² Обычай возвещать жителям столицы о наступлении полдня пушечным выстрелом был установлен значительно позже, в 1736 году, по инициативе профессора-астронома Ж. Н. Делиля, подавшего 22 декабря 1735 года в конференцию Российской Академии Наук о том свой проект (Материалы для истории Императорской Академии Наук: 1731—1735. СПб., 1886. Т.2. Кн.22. С. 839—840, 935.) Легенда, однако, этот факт упорно относил к петровскому времени.

³ Доброта отмечена и в характеристике кадета Ивана Преснякова, составленной инспектором Морского кадетского корпуса Скалоном: «Добр, резв, шаловлив, иногда упрям, способности довольно хорошие, довольно прилежен» (Аттестационная тетрадь. Воспитанник Иван Иванов сын Преснякова // РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 2. Ед. хр. 1709. Л. 1 об.).

⁴ Приводим далеко не полный перечень представителей дворянского рода Пресняковых, служивших в морском и речном флотах: пра-пра-прадед мемуариста, Петр Иванович (?-?), был штурманом и имел чин майора (Дело департамента Министерства юстиции о дворянском достоинстве рода Пресняковых — РГИА. Ф. 1405. Оп. 44. Ед. хр. 5573. Л. 13 об. Далее: Дело о дворянском достоинстве); пра-прадед, Иван Петрович (1748-?), имел звание «ластовых дел мастера и чин прапорщика, позже — переименован коллежским ассесором». Он занимался «строением военных транспортных и купеческих морских и речных судов (...), под Шведскую войну 1789 года построил легкое военное судно в срок (...) и три плавучие батареи. В 1791 году от Государственной Адмиралтейской коллегии находился при чистке реки Свири, и при строении Стороженского маяка, и при поставлении бакенов». Известно также, что «под смотрение его же Олонецкой губернии купечеством построено 150 судов» (Л. 35 об.); прадед, Герасим Иванович (?-?), титуляр-

ный советник служил в II-м округе путей сообщения разъездным смотрителем I-го пояса по Свирскому каналу (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 2187. Л. 1.); дед, Иван Герасимович (1809—1847), закончил Морской кадетный корпус (См.: Список выпускных воспитанников Морского Кадетского Корпуса с 1753 по 1896 // Обзор преобразований Морского Кадетского Корпуса с 1852 года... СПб. 1897. С. 187.) и в чине капитана служил в морской артиллерии. (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 5131. Л. 1-2; Там же. Ф. 406. Оп. 4. Ед. хр. 3949. Л. 1-2.); двоюродные прадеды: Василий Иванович (? — ?), титулярный советник, был смотрителем судоходства 2-го класса по реке Свири Метусовской дистанции, имел знаки отличия за беспорочную службу XXX лет, бронзовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1812 года (Дело о дворянском достоинстве Л. 35, II об.) и Иван Иванович (1748—?), также титулярный советник, служил в ластовых экипажах (Там же); двоюродный дед, Михаил Васильевич, был столоначальником правления Балтийского округа корабельных лесов (РГИА. Ф. 1409. Оп. 44. Ед. хр. 5573).

Кроме того, существовал некий Степан Яковлевич Пресняков, кондуктор корпуса флотских штурманов (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 2. Ед. хр. 212).

В каталоге РГАВМФ значатся Пресняков Яков Петрович, чиновник морского ведомства (Ф. 1831), Пресняков, младший ординатор Кронштадтского морского ведомства (Ф. 249), Пресняков Иван Тимофеевич, врач 17-й флотилии (Весь Петербург на 1815), Пресняков Алексей, учитель Кронштадтской морской словено-российской школы... Но выявить степень родства их с В. И. Пресняковым не удалось.

⁵ В «Деле о дворянстве Пресняковых» находится следующий документ: «Божию милостию, Мы Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская, прочая, и прочая. Известно и ведомо будет каждому, что Мы Ивана Преснякова, который служил при НАШЕМ Адмиралтействе ластовых судов Подмастерьем с 1793 года октября 12 дня, для его оказанной к службе НАШЕЙ ревности и прилежности, в ластовые мастера с чином Прапорщика всемилостивейше пожаловали и учредили, якоже Мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем НАШИМ, помянутого Ивана Преснякова за НАШЕГО Ластовых судов Мастера в чине Прапорщика, надлежащим образом признавать и почитать, напротив чего и Мы надеемся, что он в том ему всемилостивейше пожалованном чине, так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму Офицеру надлежит» // РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Ед. хр. 6432. Л. 64).

⁶ Дед В. И. Преснякова, Иван Герасимович Пресняков, умер в чине капитана за 30 лет до рождения внука (Формулярный список о службе и достоинстве 4-го Рабочего Экипажа капитана Ивана Преснякова, умершего 4 апреля 1847 года // РГИА. Ф. 406. Оп. 4. Ед. хр. 3949. Л. 1-4. См. также примеч. 4).

⁷ Висковский Андрей (Андрей-Юрий) Яковлевич (1804 — не позже 1859). Начав службу в мае 1819 помощником письмоводителя Черниковского поветового (позже — уездного) суда, закончил ее в 1842 секретарем Могилевской палаты гражданского суда в чине надворного советника, кавалером ордена Св. Анны 3-й степени (1836). «В продолжение службы он, Висковский, вел себя честно и добропорядочно, имел превосходные к статской службе способности, дела по обязанности его отправлялись с прилежною ревностью, усердием, заботливостью и похвальным прилежанием» // РГИА. Ф. 1343. Оп. 1. Ед. хр. 2523. Л. 377—377 об.

⁸ Как в действительности обстояло дело, показывает датированное 10 сентября 1862 свидетельство, выданное «кадету Морского Кадетского Корпуса Ивану Ивановичу Преснякову в том, что он определен был в комплект кадетом корпуса 27 августа 1857 на одиннадцатом году от роду (...) и, продолжая воспитание в этом корпусе, мог быть выпущен из него в мае месяце 1867 года, но по просьбе матери его, вдовы капитана, Клавдии Никифоровны Пресняковой, уволен вовсе из корпуса на поечение означенной матери его, на основании Высочайшего повеления, последовавшего 4 июня 1862, пользуется правом получать до первого мая тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года от морского Министерства пособие при представлении этого свидетельства в Коммисариатский Департамент» // РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Ед. хр. 4681. Л. 3.

⁹ Скорее, не идеи Сократа, а его свойство пить и не пьянеть. (См. Платон. Пир // Платон. Собр. соч.: В 3 т. М., 1970. Т.2. С. 102.)

¹⁰ И. И. Пресняков умер, будучи значительно старше. В заявлении, поданном его младшим сыном Евгением Ивановичем в Санкт-Петербургскую контору императорских театров от 24 января 1907 года, об отце говорится еще как о живом («ввиду крайне болезненного состояния моего отца») (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2566. Л. 43). А в письме на имя управляющего конторой императорских театров А. Д. Крупенского от 20 июня 1909 года А. А. Преснякова подписывается уже как «вдова дворянина» (Там же. Л. 65.) Отсюда следует, что И. И. Пресняков прожил 60—62 года. Максимилиановская больница в Петербурге была основана в 1900 году.

¹¹ Род дворян Висковских вел свое начало от легендарного «Тесли, прозванного Хольва», которому польский король Болеслав Смелый в 1060 году «как удостоенному в звании дворянском» пожаловал герб следующего содержания: «в красном поле две клемры, или скобы железные, посреди шита рядом положенные, хребтами одна к другой обращенные, а меж ними обнаженный белый меч концом вниз — в шлеме над короною пять перьев страусовых». При составлении поколенной росписи Висковские, «оставя тщетные доиски, яко невозможные, о первом рода своего приобретателе имени, прописали самого позднейшего от Тесли Хольвы потомка на первое колено — Ивана Висковского, который прибыл из Польши в край Белорусский и, поселившись на жительство в Могилевском воеводстве, владел недвижимым, приобретенным по праву дворянскому» (Дело о дворянстве рода Висковских Могилевской губернии. 1829—1889—1891 // РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Ед. хр. 2523. Л. 3.). К седьмому от Ивана Висковского колону принадлежала мать В. И. Преснякова Аделаида Андреевна (1843 — не ранее 1909) // Там же. Л. 249.

¹² В списке воспитанниц, когда-либо учившихся в Смольном институте, Аделаида Висковская не значится (См.: Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц: исторический очерк. 1764—1914. Т.2. Пг., 1915). Быть может, А. А. Висковская окончила Александровский институт. Открытый в 1765 году на территории Смольного монастыря как мешанское отделение императорского воспитательного общества благородных девиц (Смольного института), он к 1840—50-м годам превратился в учебное заведение для дочерей военных и гражданских чиновников. В таком случае, неточность мемуариста объяснима. (Ср.: «Мама окончила Смольный институт (его «александровскую половину») // Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 115. Далее: Добужинский). Н. П. Черепнин в списке окончивших Смольный институт выпускниц Александровского не учитывал.

¹³ Имя ученицы Аделаиды Висковской находим среди участников ученических концертов, так называемых адьюнктских домашних вечеров СПб. консерватории, а так же в списке «Комплектных учениц» 1870/1871, 1871/1872, 1872/1873/ учебных годов (Отчет Императорского русского музыкального общества в Санкт-Петербурге и учрежденной при оном Консерватории за 1870/1871. СПб., 1872. С. 65, 98. То же за 1871/1872. СПб., 1873. С. 60, 70. То же за 1872/1873. СПб., 1874. С. 23. Далее: Отчеты.

¹⁴ Лешетицкий (Leszetycki) Теодор (Федор Осипович) (1830—1915) — польский пианист и композитор, один из крупнейших фортепианных педагогов Европы, создатель всемирно известной пианистической школы. Работал в Санкт-Петербурге (1852—1892), профессор СПб консерватории, педагог многих выдающихся русских музыкантов: А. Есиповой, С. Майкапара, В. Пухальского. В отчетах Императорского русского музыкального общества Аделаида Висковская значится как ученица адьюнкта Г. Ф. Вельфля (Отчет за 1870/1871. С. 70 и 1871/1872. С. 70) и профессора Т. Штейна (Отчет за 1872/1873. С. 74).

¹⁵ Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — русский композитор, пианист, дирижер, педагог, один из организаторов Императорского русского музыкального общества. В 1867 году покинул основанную им консерваторию и вернулся в нее лишь в январе 1876. А. Висковская, занимавшаяся там в начале 70-х годов, быть его ученицей в стенах консерватории не могла.

¹⁶ Преснякова Клавдия Никифоровна, урожденная Паивина (1812—?), дочь надворного советника (Формулярный список о службе и достоинстве 4-го рабочего Экипажа капитана Ивана Преснякова... // РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 4. Ед. хр. 3949. Л. 1 об.). Далее: Формулярный список.

¹⁷ И. Г. Пресняков не был участником Севастопольской обороны: он умер в 1847 году, за 6 лет до начала Крымской войны. О нем см. примеч. 4 и 6.

¹⁸ В списке Георгиевских кавалеров И. Г. Пресняков не значится. Под № 6613 за 1841 год стоит имя Андрея Преснякова. Имеет ли он родственное отношение к мемуаристу, выяснить не удалось (В память столетнего юбилея Императорского военного ордена Святого Великомученника и Победоносца Георгия 1769—1869 / Сост. В. С. Степанов и Н. И. Григорович. СПб., 1869).

В августе 1844 года И. Г. Пресняков был награжден знаком отличия беспорочной службы за XV лет на Георгиевской ленте (Формулярный список о службе и достоинстве (...) Ивана Преснякова (...) // Формулярный список. Л. 2.).

¹⁹ В указании маршрутов плаваний или «крейсерований» И. Г. Преснякова порт Кронштадт неизменно фигурирует как место отправления в плавание и как конечный пункт (См.: Формулярный список (...) Ивана Преснякова). В Петербург К. Н. Преснякова после смерти мужа переселилась не сразу, а какое-то время жила в его предместье, «в селении Колпино по Ижорском заводе в доме штаб-капитана Паивина» (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 5131. Л. 1). Впоследствии она проживала в Петербурге, «в Коломне, в Псковской улице. Дом Окольниковишкова № 28, кв. 5» (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Ед. хр. 4681. Л. 1). Известны и другие петербургские ее адреса.

²⁰ Висковская (урожд. Трупчинская) Констанция Васильевна (1811—?), дочь надворного советника, Василия Казимировича Трупчинского (Дело о дворянстве Висковских // РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Ед. хр. 2523. Л. 221, 375). Далее: Дело о дворянстве Висковских.

²¹ Речь идет об имении Долыссы (см. примеч. 47).

²² Принимать участие в польском восстании 1863—64 гг. А. Я. Висковский не мог: в документах, датированных декабрем 1859 г., его жена, Констанция Висковская, названа вдовой (Дело о дворянстве рода Висковских. Л. 375—375 об.). Участниками восстания были другие представители рода: двоюродный дед В. Преснякова Висковский Франц Николаевич (1829 — ?). По решению правительствующего сената, «за участие Франца Висковского в мятеже 1863 конфискована была в казну следующая ему часть из имения его «Скалина». («Дело 1873 года по отношению Обер-прокурора 2-го Департамента Правительствующего Сената о выделе в казну конфискованной части имения Скалина в правах политического преступника Франца Висковского, Могилевской губернии» // РГИА. Ф. 381. Оп. 15. Ед. хр. 9150). «Политическим преступником» был и родной брат матери В. И. Преснякова Висковский Антон Андреевич (1835—1870), отставной коллежский регистратор, сосланный в Сибирь (Дело о дворянстве рода Висковских. Л. 412. 418 об., 423). Какое-то время находился под подозрением и его брат Висковский Казимир Андреевич (1835 — ?), коллежский регистратор (Там же. Л. 397).

²³ Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — граф, русский государственный деятель, генерал-губернатор Северо-Западного края (1863—1865). Назван «вешателем» за жестокость при подавлении Польского восстания 1863 г.

²⁴ Родовое имение А. Я. Висковского Литяги (во всех документах написание его дается через «и», а не через «е», как у В. И. Преснякова), «с фолварками, деревнями», оставленное им по духовному завещанию «жене Констанции Висковской и детям, сколько бы Бог даровал», было продано его сыновьями: «помещиком Казимиром Андреевым Висковским и по доверенности родным братом его, помещиком, коллежским регистратором Антоном Андреевым Висковским (...) отставному коллежскому ассесору Феофилу Григорьевичу Шкляревичу», в 1867 году (Дело о дворянстве рода Висковских. Л. 424). Конкретных сведений о разорении Литяг обнаружить не удалось. Быть может, имение Висковских разделило общую участь польских поместий. С. В. Ковалевская, жившая в тех же краях, вспоминала: «Большинство помещиков, и преимущественно самые образованные и богатые, были поляки, многие из них оказались скомпрометированными, у некоторых имения были конфискованы, почти все обложены контрибуциями» // Ковалевская С. В. Воспоминания детства. М., 1889. С. 72—73. О посещении Пушкиным и Мицкевичем имения Литяги сведений нет. Среди знакомых Пушкина и Мицкевича фамилия Висковских не значится (См.: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I: 1795 — 1826. Л., 1996; Черейский Л. Б. Пушкин и его окружение. Л., 1988; Słownik języka Adama Mickiewicza: В 11 т. Wrocław, 1962—1983).

²⁵ Забалканский проспект (с 1925 — Московский проспект) находился «неподалеку» от Московских ворот, сооруженных по проекту архитектора В. П. Стасова в 1834—38 годах в память русско-турецкой войны.

²⁶ По всей вероятности, речь идет о бунчуке, шумовом инструменте, заимствованном у турецкой армии армиями европейских государств. В русских войсках использовался в некоторых казачьих, кавалерийских и пехотных полках.

²⁷ Причины, по которым И. И. Пресняков покинул службу в Петербурге, неизвестны, но выбор Вытегры не случаен. Пресняковы были дворя-

нами Олонецкой губернии, и в Вытегре (конец 1870-х — начало 80-х) служили ближайшие родственники отца мемуариста: двоюродный дядя, Герасим Иванович Пресняков, надворный советник, председатель уездной земской управы, гласный городской думы, кавалер орденов Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Станислава 2-й степени; а также троюродные братья: Александр Герасимович Пресняков, коллежский секретарь, судебный пристав, исполняющий должность следователя 2-го участка Каргопольского уезда. Кандидатами на служебные должности при палате состояли два других троюродных брата: коллежский секретарь Владимир Герасимович Пресняков и губернский секретарь Иван Герасимович Пресняков // Список должностным лицам гражданским, военным и других ведомств Олонецкой губернии на 1 января 1880 г. Петрозаводск, 1880. С. 15, 19, 44, 93, 94, 99.

²⁸ Специализированной детской больницы в 1880 году в Вытегре, по-видимому, не существовало. В «Приложении ко всеподданейшему отчету Олонецкого губернатора за 1880 год» в Обзоре Олонецкой губернии читаем: «Уездным ведомствам принадлежат: Вытегровскому 1 больничный дом в г. Вытегре (Приложение ко всеподданейшему отчету Олонецкой губернии за 1880 год. С. 52). Эта больница оставалась единственной и через 30 лет: «Больница одна, земская» // Новый Энциклопедический словарь. Т. 12. СПб., (1913). Стб. 92.

В отношении службы И. И. Преснякова в Вытегре много неясного: имя его ни разу не упоминается среди должностных лиц губернии (Список должностным лицам гражданским, военным и других ведомств Олонецкой губернии на 1 января 1880 г. Петрозаводск, 1880. То же на 1881... 1885). В записи о рождении младшего сына Пресняковых — Евгения, сделанной в метрической книге Вытегорского собора на 1883 год, И. И. Пресняков обозначен не как местный чиновник, а как «отставной канцелярский чиновник Санкт-Петербургского окружного суда» (Свидетельство о рождении Е. И. Преснякова // Дело о службе артиста балетной труппы Евгения Преснякова II-го — РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 2566. Л. 26, 72).

²⁹ Мемуарист, иронически описывая свою позу с расставленными ногами, использует термин канонического экзерсиса балетного танцовщика.

³⁰ Савицкая Лаура Густавовна (? — ?), жена надворного советника, упоминается в одном из документов, поданных Аделаидой Пресняковой в Императорское СПб. театральное училище в августе 1887. Там указан, однако, другой адрес: дом 5 на углу Крюкова канала и Торгового моста. Сходство его звучания с тем, который называет Пресняков, объясняет неточность мемуариста, повторившего свою версию и в рассказе о событиях августа 1887 года (Валентин Пресняков. Л. 1).

³¹ Имя Ивана Осиповича Савицкого (? — ?), помещика, губернского секретаря, встречается в одном из документов Висковских. В 1867 году он, будучи «поверенным» «политического ссыльного» Антона Висковского, совершил вместе с его братом, Казимиром Висковским, в Могилевской палате гражданского суда акт продажи наследственного имения Висковских — Литяги (Дело о дворянстве Висковских. Л. 424, 424 об.)

³² Табльдот — общий стол в европейских пансионатах.

³³ Трупчинский Петр Карпович — владелец имения Долыссы Невельского уезда (Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906. С. 257.), член уездной земской управы (Памятная книжка Витебской губернии

на 1912 год. Витебск, 1912). Дожил до революции 1917 года. После того, как имение его было разграблено и сожжено, вместе с женой Матильдой Ипполитовной нашел приют в доме знаменитого невелинского врача Скачевского Валентина Павловича (1883—1956). О. В. Скачевская вспоминает: «Папа был знаком с ними, поэтому в тяжелое для них время он приютил их, и они жили у нас в доме, пока их не взял к себе их сын Игорь Петрович Трупчинский, живший где-то в другом городе» (Петербургские встречи: (разговоры с О. В. Скачевской) / Публикация Л. М. Максимовской // Невельский сборник: статьи, письма, воспоминания: Вып. 3. СПб., 1998. С. 161)

³⁴ К. К. Случевский, посетивший Невель в августе 1887 года отметил, что «население Невеля около 7500 человек (...), улочки узкие», в основном «деревянные дома, из числа 1400 только 42 каменных» (Случевский К. Путешествие Его Императорского Высочества Великого князя Владимира Александровича. Невель // Витебские Губернские ведомости. 1887. 5 августа. № 61. С. 7 — далее: Случевский). О благоустроенности Невеля в 80-х годах дают косвенное представление официальные сведения 1906 года. Через 20 лет после описываемых событий город представлял собой такую картину: «Величина заселенной его площади примерно 210 десятин. Улиц 28, переулков 10, протяженность мощенных улиц примерно 4 версты, переулки не мощены, тротуаров, мощенных булыжником, примерно 8 верст. (...) Домов каменных 232, деревянных — 1222, крыто железом 291, деревом — 1163. Освещается город 110 керасиновыми фонарями. Водопровода нет. Город пользуется водой из реки и озера. Нечистоты вывозятся в бочках» (Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906. С. 30—31. Далее: Список).

³⁵ Переезд семьи Пресняковых в Невель совершился, по-видимому, двумя годами позже. В 1883 году Пресняковы были еще в Вытегре. Именно там, «в метрической книге Олонецкой епархии Вытегорского Воскресенского собора на тысяча восемьсот семьдесят третий год в части первой о родившихся» сделана запись о рождении Евгения Преснякова, младшего брата мемуариста // См. примеч. 28. В копии свидетельства, выданного «...от Председателя Съезда Мировых Судей Невельского округа бывшему Помощнику Секретаря этого съезда из дворян Ивану Ивановичу Преснякову» сказано, «что он состоял в этой должности с пятого октября тысяча восемьсот семьдесят пятого года по двадцать пятое число мая сего года». Документ подписан 7 июня 1888 года (Дело В. Преснякова. Л. 4.).

³⁶ Вилинбахов Михаил Петрович — а не Михайлович, как пишет мемуарист (1841—?) окончил Петербургскую гимназию, затем Московский университет по юридическому факультету (1864). С 1872 по 1888 был председателем съезда мировых судей. Впоследствии действительный статский советник. Невельским уездным предводителем дворянства (1829—1831) был его отец, Петр Афанасьевич Вилинбахов (1788-?). (Сообщено Г. В. Вилинбаховым по материалам семейного архива). Имение Вилинбаховых Плоское находилось близ озера Усват в 12 верстах от Невеля //Список. С. 268.

³⁷ По всей вероятности, мемуарист имеет в виду рояль фортепианного предприятия семьи Зейлер, филиалы которого находились в Лейпциге, Берлине, Гамбурге, Бреслау, Берсдорфе на Ниссе и др. (См. Чугунников Р. В. Каталог фортепианных предприятий (1492—1932). Белгород, 1972. С. 17 — далее: Чугунников). Петербургские музыкальные магазины, выполняющая роль комиссионеров, торговали инструментами как отечественных, так и зарубежных фирм.

³⁸ Драчена (дрочона) — кушанье из запеченой смеси яиц, молока и муки или тертого картофеля.

³⁹ Лапсердак — длиннополый сюртук, который в то время носили польские и галицийские евреи.

⁴⁰ Народный глиняный инструмент из семейства флейтовых, широко распространенный в различных европейских странах.

⁴¹ Правильнее: фордэк (нем.) — передний навес коляски или брички.

⁴² В русских печатных изданиях название почтовой станции и имения Трупчинских пишется «Дольссы» (Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906. С. 257.); мемуарист, производя его от польского *Dołusy*, пишет: «Долысы»; в польском же справочнике видим третий вариант: «*Dolysy, st. pocz. przy szose wiodacem z Witebska do Ostrowa, pow. newelski...*» (*Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich...* Warszawa, 1881. S. 109).

⁴³ «...до самого Невеля имеется шоссе, открытое с 1842 года. Шоссе это времени Николая I проложено почти по прямой линии, без малейшего внимания к болотам и горам, по которым предстояло вести его, верста обошлась около 11000 рублей». // Случевский. С. 7.

⁴⁴ «Половину населения Невеля составляют христиане занимающиеся земледелием, извозом, ремеслами и торговлей, а половину — евреи (...), занимающиеся главным образом ремеслами и торговлей» (Горбачевский И. Экономический очерк Невельского уезда. // Витебские губернские ведомости. 1895. № 67. 20 авг. С. 4—5. Цит. по: Невельская старина: Сборник материалов по истории Невеля XVI — начало XX века. Спб., 1993. С. 99.) Большое количество поляков в Невеле и во всей Витебской губернии объясняется тем, что на протяжении своей истории земли эти неоднократно переходили от русских к полякам и обратно. В 1772 году Невель был окончательно присоединен к России. После польских восстаний 1830 и 1863 годов правительственная политика была направлена на вытеснение польской культуры, и к началу XX века поляки-католики составляли меньшинство населения города, но службы в костеле и каплицах еще совершались.

⁴⁵ Место на крыше дорожных карет и железноконных вагонов для сидков либо клади.

⁴⁶ Впоследствии мемуарист стал членом Петербургского охотничьего общества «Северянин» и одно время был его секретарем. (Весь Петербург на 1901. СПб., 1902). Примечательно, что председателем был также артист балета — И. Ф. Кшесинский. О нем см. примеч. 84 (Указано Е. Л. Шмаковой).

⁴⁷ Имение Трупчинских Дольссы расположено в 4 верстах от одноименной почтовой станции, в 18 верстах от Невеля и в 113 верстах от Витебска, близ озера того же названия // Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906. С. 257.

⁴⁸ Фактор — комиссионер, исполнитель частных поручений.

⁴⁹ Трупчинский Евгений Карпович (?—?). В памятных книжках Витебской губернии он упоминается как окончивший константиновское училище, батальонный адъютант 163 пехотного Ленкоранско-Наммебургского полка 41 дивизии, квартировавшей в Витебске (Памятные книжки Витебской губернии на 1900...1904. Витебск, 1900...1904).

⁵⁰ Волкович Алексей Онуфриевич (1856 — не ранее октября 1917) — один из активных общественных деятелей Витебска: был гласным Витебской

городской думы, занимал должность Витебского городского головы, с которой, административным порядком до срока отстранен министром внутренних дел В. К. Плеве. В 1906 году — членом 1-й Государственной Думы (партия кадетов). После разгона думы — в числе депутатов, подписавших Выборгское воззвание. Подвергся за это репрессии (3 месяца тюрьмы). После Февральской революции вплоть до Октябрьского переворота — Витебский губернский комиссар Временного правительства (Биографии гг. членов Государственной Думы. СПб., 1906. С. 10; А. О. Волкович — губернский комиссар // Витебский листок. 1917. 19 марта. № 4268. С. 3).

⁵¹ Лучоба — ночной лов рыбы, которую бьют острой при лучинном огне. (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 1994. Т. 2. Стб. 712. Далее: Даль).

⁵² Имеется в виду сцена из 4-й главы «Мертвых душ»: «— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе. — Есть. — С хреном и со сметаной? — С хреном и со сметаной. — Давай его сюда!» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т.5. С. 71).

⁵³ Перечислены знаменитые петербургские рестораны, своеобразные клубы столичной художественной богемы, славившиеся своей кухней:

Ресторан Лейнера (1885? — 1900). Исторический адрес: Невский проспект 18;

Вена (1875? -1917). Исторический адрес: Малая Морская ул., 13/8 угол Гороховой;

Ресторан Кюба (1887—1917?). Исторический адрес: Большая Морская ул., 16;

Ресторан Донона (1849—1920-е гг.). Исторические адреса: Набережная Мойки, 24, с 1910: Благовещенская площадь (площадь Труда) 36/2. (Подробно о них: Алянский Ю. Увеселительные заведения старого Петербурга. СПб., 1996. С. 54—55, 84—85, 128—129. Далее: Алянский).

⁵⁴ В Невеле жило несколько поколений купеческой семьи Бенкевич. До нас дошли сведения об Андрее Григорьевиче Бенкевиче (1804—1854) (сообщено Л. А. Тимофеевой); его сыне, Николае Андреевиче, купце 2-й гильдии, городском голове (Памятная книжка Витебской губернии на 1884 год. Витебск, 1884) и внуке, Николае Николаевиче, авторе брошюры «Историческая заметка о городе Невеле (Витебской губернии)». СПб., 1904).

⁵⁵ К. К. Случевский оставил такое описание города: «Вид на Невель с шоссе недурен, влево высится собор, рядом с ним костел, вправо маковки православного монастыря (...). Собор под восьмигранным куполом на четырех столбах далеко не производит впечатление богатого: образов мало, иконостас и староват и плох, так что благолепия, к которому привык русский глаз, здесь не имеется. Храм построен в 1809 году, но сгорел в 1865 и подновлен в 1866 году. Соседний с собором заштатный мужской Преображенский монастырь построен в 1732 году, но сгорел и подновлен одновременно с собором, купол в монастырском храме восьмигранный, иконостас трехъярусный, (...) образов очень немного, да и те, что есть, бедны» (Случевский. С. 7).

⁵⁶ Вышаровать — в псковском диалекте употребляется как синоним — чисто вымыть, вычистить щеткой (Словарь русских народных говоров: Вып. 6. Л., 1970. С. 58).

⁵⁷ Приведем для сравнения невельские расценки 1906 года, которые предоставляет официальный источник: «Средняя стоимость квартир: больших,

в 5 комнат, 300 руб., средних, в 4 комнаты, 150 руб., малых, в 2 комнаты, 60 руб. Стоимость в розничной продаже: 1 ф. ржаного хлеба 3 к., 1 ф. соли 1 1/4 к., 1 ф. мяса лучшего сорта 12 к., худшего — 8 коп., 1 ф. сахару 16 к. Наемная плата прислуге: мужской 6 руб., женской 3 руб. в месяц, чернорабочим: мужчинам 70 коп., женщинам 30 коп. Нищих в городе до 40 человек» // Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906. С. XXX—XXXI.

⁵⁸ Мемуарист не совсем точен. Уездным исправником был не Штупф, а Карл Карлович Пейкер, «отставной майор кавалер орденов Св. Станислава 3 степени, с лентой и бантом, и Св. Анны 3 степени, серебрянных медалей: за защиту Севастополя, за покорение Чечни и Дагестана, и Западного Кавказа, и светло бронзовые: в память войны 1853, Турецкой (1877—78), и кресты: кавказский, Румынский за взятие Плевны» (Памятные книжки Витебской губернии за 1885—1887 г.). Оговорка мемуариста вызвана, по-видимому, тем, что в течение ряда лет он общался в охотничьем обществе «Северянин» с Георгием Георгиевичем Штумфом.

Осмоловский (точнее, Коршун-Осмоловский) Василий Григорьевич, надворный советник, был секретарем Съезда мировых судей, а не судьей, как пишет мемуарист, «в должности с апреля 1872 года», имел медаль в память войны 1853—56 года. Осмоловские были в родстве с Висковскими: Ядвига Осмоловская была замужем за Венедиктом Висковским и приходилась матери В. И. Преснякова, Аделаиде Андреевне, прабабушкой. Невдвеецкий Юлиан Антонович, коллежский регистратор, находился в службе с 1856 года. Юдин Вениамин Гаврилович (1864—1943), отец известной пианистки Марии Вениаминовны Юдиной, знаменитый невелицкий врач, в 1883 году, о котором ведет речь мемуарист, еще не был заведующим больницы. Он окончил медицинский факультет Московского университета лишь в 1887 году. В Невеле Юдин развернул энергичную деятельность. Его дочь, Вера Вениаминовна, вспоминала: «Он не только лечил городских жителей и окрестных крестьян, но и неустанно хлопотал, добиваясь расширения больницы, открытия амбулатории, построения артезианских колодезь, выступал с лекциями, учил в открывшейся школе (Юдина М. В. Воспоминания // Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания, материалы. М., 1978. С. 16.) Присутствовать на новоселье в доме Пресняковых В. Г. Юдин мог только студентом. Очевидно, впоследствии, в бытность заведующим больницей, он не раз посещал музыкальные вечера Пресняковых. Примечательно, что до Юдина место земского врача в Невеле занимал И. Я. Вайнкопф, дед другого известного деятеля музыкальной культуры — Ю. Я. Вайнкопфа (1901—1974; сообщено А. М. Подлинским).

⁵⁹ Несколько неожиданная старомодность метафоры объясняется ее привычностью для автора, танцевавшего на императорской сцене во множестве балетов. Редкий из них обходился без «дежурной» (неизменно женской) партии Амура, исполняемой как взрослыми танцовщицами, так и воспитанницами Императорского театрального училища (См.: Афиши императорских театров в собрании РНБ).

⁶⁰ Морда — рыболовный снаряд, имеющий вид двух вставленных один в другой заостренных конусов, сплетенных из прутьев. (...) Ставится у самого берега // Энциклопедический словарь / Изд. Брокгауза Ф. А., Эфрон И. А. СПб., 1896. Т. XIX. (Кн.) 38. Стб. 838.

⁶¹ Мемуарист перечисляет популярные столичные иллюстрированные журналы, предназначенные для семейного чтения. Почти все они регуляр-

но печатали беллетристику, биографические очерки, статьи по истории, географии, естествознанию, этнографии, внутренние известия, судебную хронику.

⁶² «Сонька Золотая Ручка» — прозвище Софьи Ивановны (Лейбовны) Блювштейн, известной мошенницы, сосланной на Сахалин (См.: Дорошевич В. Сахалин. Т.2. СПб., 1903. С. 3—11; Петербургский листок. 1903. 18(31) мая. № 134. О ней также писал А. Чехов в книге «Остров Сахалин». Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М., 1978. Т. 14—15. С. 89—90.

⁶³ Видок (Vidocq) Эпин-Франсуа (1775—1857), известный французский сыщик, в прошлом отбывавший срок на галерах за дезертирство и воровство; начальник особого отряда парижской полиции, составленного из сыщиков и помилованных преступников; автор мемуаров (1826), вышедших в русском переводе в 1831 г.

⁶⁴ Ленорман (Lenormand) Мария-Анна-Аделаида (1772—1843) — известная французская гадалка, прославившаяся тем, что предсказала падение Наполеона и реставрацию Бурбонов.

⁶⁵ Стенли (Stanley) Генри-Мортон (настоящее имя: Джон Роулэндс) (1841—1904) американский журналист, исследователь центральной Африки.

⁶⁶ Бисмарк Отто (1815—1898) — кн., немецкий государственный деятель, дипломат, проводивший объединение Германии под главенством Пруссии. Изображать Бисмарка с тремя волосинами на лысом черепе было любимым приемом немецких карикатуристов, у которых его заимствовали карикатуристы других стран, усиленно эксплуатиовавшие этот образ. (Ср. у В. Набокова: «...питал свое воображение набором банальностей и расхожих идей (...). Скрещенных рук Наполеона, трех волосин Железного Канцлера...» // Набоков В. Пушкин, или Правда и правдоподобие: Романы, рассказы, эссе. СПб., 1993. С. 228. Ср. у М. Добужинского: «Однажды в офицерском собрании давал сеанс заезжий „художник-моменталист“, и я любовался его ловкой рукой, выводившей с одного маха карикатуры (конечно, и Бисмарка с тремя волосами на лысине) (...)» // Добужинский. С. 79).

⁶⁷ Мольтке (von Moltke) Гельмут-Карл-Бернгард, граф, прусский фельдмаршал и политический деятель (1800—1891). Блестящий успех военных кампаний 1866 и 1870—1871 годов доставили ему славу первого полководца своего времени.

⁶⁸ Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал, особенно прославившийся во время Балканской войны 1877—1878. Глубокое и всестороннее знание военного дела и личное мужество сделали его любимцем армии. Популярность Скобелева в России и в Болгарии, где его именем названы площади и улицы, была необычайно велика. Прозвище «Белый генерал» получил потому, что во время боя появлялся перед строем в белом кителе, белой фуражке (или папахе), на белой лошади. В. Пресняков мальчиком мог читать книгу «Белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, русский чудо-богатырь. Очерки боевой жизни и кончины его». М., 1882.

⁶⁹ Популярность певицы в России, где она неоднократно гастролировала, была необычайно велика. Это нашло отражение и в художественной литературе: одна из сцен 5-й части «Анны Карениной» происходит в театре во время спектакля с участием Патти.

⁷⁰ Бернар (Bernardt) Сарра (1844—1923) — французская драматическая актриса трагического амплуа. Ее выступления в театре, общественную и личную жизнь широко освещала мировая (в том числе и русская) пресса.

⁷¹ Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — русский и украинский писатель, автор исторических романов: «Соловецкое сидение», «Великий раскол», «Сагайдачный», «За чьи грехи?» и др., пользовавшихся популярностью у широкого читателя 80—90-х годов.

⁷² Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель, автор широко известных исторических романов: «Юрий Милославский или Русские в 1612 году», «Рославлев или Русские в 1812 году», «Аскольдова могила», «Кузьма Рошин», «Искуситель», «Тоска по родине» и др.

⁷³ Сенкевич (Sienkiewicz) Генрик (1846—1916) — польский писатель, автор романов: «Огнем и мечом», «Пан Володыевский», «Без догмата», «Камо грядеши», «Крестоносцы» и др., которые пользовались большим успехом у русского читателя.

⁷⁴ Имеется в виду рояль Санкт-Петербургского фортепианного предприятия, владельцем которого были Белониц Лихтенталь (в 1840—1854), затем Герман Лихтенталь (в 1854—1870). (Чугунников. С. 21).

⁷⁵ Пресняков Евгений Иванович (1883—1914) родился в августе, а не в ноябре, и не в Невеле, а в Вытегре (Свидетельство о рождении Преснякова Е. И. См. примеч. 28). Подобно старшему брату, окончил балетное отделение Императорского СПб. театрального училища. В 1901—1909 — артист Мариинского театра, активный участник балетной «забастовки» 1905 года, что и стало причиной его увольнения без пенсии. Какое-то время работал как драматический актер в различных провинциальных труппах, сильно нуждался, умер в Крыму от стремительно развившегося туберкулеза. (См. Дело о службе Евгения Преснякова).

⁷⁶ Трефилова Вера Александровна (1875—1943) — балерина Мариинского театра (1894—1910). Отличалась редкой красотой. В Театральном училище занималась на класс старше мемуариста, была предметом его детской влюбленности. Ей он посвятил вальс «Мечта» собственного сочинения (Заметки и материалы. Л. 5 об.).

⁷⁷ Преснякова Вера Геннадиевна — вторая жена мемуариста. В официальных документах значилась Трифионовой, по фамилии матери, Клавдии Петровны Трифионовой, но в ближайшем окружении называли ее Рузановой, по фамилии купца Геннадия Николаевича Рузанова, незаконной дочерью которого она была. (Сведения получены от Т. А. Вальденбаум).

Венчание В. Г. и В. И. Пресняковых произошло 11 октября 1915 года. (Свидетельство о венчании, выданное на основании записи в метрической книге Тереокской православной церкви в честь Божией Матери иконы Ея Казанской // Личный архив семьи Вальденбаум).

⁷⁸ В семье Т. А. Вальденбаум до сих пор хранится письменный стол, сделанный руками В. И. Преснякова, когда ему шел восьмой десяток лет.

⁷⁹ В издании «Весь Петербург» на 1914 год помещено такое рекламное объявление: «Walk-over» — фабричный склад настоящей американской обуви для дам и мужчин. Невский 34». Мемуарист имеет в виду знаменитую петербургскую семью Вейс, занимавшуюся производством и продажей обуви. Потомственному почетному гражданину Генриху Вейсу принадлежал магазин и мастерская обуви, Виктору Генриховичу Вейсу — фабрика и магазин обуви. Изделия Генриха Вейса получили grand prix на Парижской выставке (1900). (См.: Весь Петербург. 1913; Обзорение театров. 1912 — реклама).

⁸⁰ Контранс (франц. contredanse от англ. country dance, букв. — деревенский танец) — английский народный танец, возникший в XVII в. Пер-

воначально исполнялся на сельских празднествах. Его жизнерадостный и непосредственный характер сохранился и в салонном варианте, приобретая, однако, некоторую чинность. Быстро распространился по Европе, в Германии его называли «франсез», во Франции и России «англез». В течение двух веков его неизменно исполняли на балах и вечеринках различных сословий.

⁸¹ Лансье, кадрили-лансье (франц. *lancler*, букв. — улан) — английский бальный танец, один из видов контрданса, вошедший в европейскую моду с середины XIX в.

⁸² Вальс в два па — одна из разновидностей вальса, особенно популярная в России во 2-й половине XIX в.

⁸³ Ср. в мемуарах М. Фокина: «В те времена танцы на балах были другими. Теперь пары едва двигаются маленькими шажками. Почти стоят на месте, когда „танцуют“. Если бы не играла музыка, то трудно было бы догадаться, что они собственно делают, обнявшись. Тогда действительно танцевали. Большое движение было в мазурке, большое веселие в кадрили, отдых и успокоение в плавном вальсе. (...) Сравнивая танцы того времени с теперешними, я должен сказать, что помимо сильного движения их отличало еще полное отсутствие эротического элемента. Кавалер держал даму за кончики пальцев или, например в вальсе, за талию (не выше и не ниже затянутой в крепкий корсет талии). Танец выражал очень почтительное отношение кавалера к даме. В мазурке, в кадрили он вел ее немного впереди себя, иногда рыцарски становился на колено. Что бы сказали танцоры того времени, увидав современный Foxtrot, в котором кавалер прикладывает щеку к лицу дамы, а она вместо того, чтобы убежать из его тесных объятий, прижимается к нему, обхватывая его за шею?! Времена меняются, меняется и танец — всегда точный выразитель времени» // Фокин. М. Против течения: Воспоминания балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма. Л., 1981. С. 34. Далее: Фокин.

⁸⁴ Кшесинский (настоящая фамилия Кржезинский-Нечуй) Феликс (Адам-Валезиуш) Иванович (Янович) (1823—1905) — артист балета сначала Варшавского «Театра Вельки», с 1853 по конец жизни — императорских петербургских театров, непревзойденный исполнитель различного вида мазурок, положивший начало сценической традиции этого танца, модного в Европе с 1810-х годов. В балетной труппе одновременно с ним работал Кшесинский-сын, Иосиф Феликсович (1868—1942), также выдающийся исполнитель характерных танцев, близкий приятель В. И. Преснякова, как и он, активный участник балетной «забастовки» 1905, уволенный за это из театра; и две дочери: прима-балерина Матильда Феликсовна Кшесинская (1872—1971) и характерная танцовщица Юлия Феликсовна Кшесинская (1865—?).

⁸⁵ О том, как важна была роль в танцевальных собраниях распорядителя, или, как его иначе называли, дирижера, свидетельствует выпуск специальных пособий (См., напр.: Раевский В. Дирижер: Практическое руководство дирижировать балетными и общественными танцами. Наставление для распорядителей на балах и семейных вечерах, с приложением описания многих характерных танцев и терминологии для распорядителей с 39 рис. в тексте. СПб., 1896). Выразительный обобщенный образ распорядителя танцев находим в мемуарах М. Фокина: «Кадрилью обычно руководил специальный дирижер. Он выкрикивал: *tesculez, changez, vos dames...* и т. д. Все подчинялись его повелениям. Дирижер обычно был общим любимцем, делая свое дело вдохновенно и часто очень забавно импровизируя сложные переходы

танцующих. Он был краснее всех, больше всех обмахивался платочком и не замечал, что крахмальный воротник его совершенно терял форму. (Фокин. С. 34). На общественные балы и в богатые дома дирижировать танцами, как правило, приглашался артист балетной труппы императорских театров. Выступал в этой роли и мемуарист. В «Деле о службе (...) Валентина Преснякова» сохранился такой документ: Министерство императорского двора. Санкт-петербургская контора императорских театров. 7 ноября 1904. № 1035. Режиссеру балетной труппы. Распорядительное отделение по приглашению г. помощника (...) имеет честь заявить, г. Преснякову разрешено не снимать своей фамилии с афиши по дирижированию танцев в зале Павловой» // Дело В. Преснякова. Л. 30. Имеется в виду Зал А. И. Павловой (1886—1918) — театральная зрительная зала на 500 мест, одно из крупнейших увеселительных заведений Петербурга, Исторический адрес: Троицкая улица (ул. Рубинштейна) 7 (См.: Алянский. С. 100.) Распорядителем также называли кавалера первой, заводящей, пары котильона.

⁸⁶ Котильон — танец французского происхождения. Возникнув в XVIII в., широкую популярность получил в XIX, особенно во второй его половине, когда ни один бал, ни одно танцевальное собрание без него не обходилось. Первоначально состоял из одной фигуры, затем композиция его усложнилась и появилось огромное количество фигур, в которые входили вальс, мазурка, полька и др. Начиная с 70-х годов в него стали включать игры с различными предметами-сувенирами: значками, коробочками, букетиками, специально изготовляемыми для этой цели. По сути это был массовый танец, возглавляемый первой парой, кавалер которой задавал фигуры танца, подчас самые неожиданные, что вносило особое веселье. Будучи кульминацией вечера, обычно исполнялся в заключительной его части, являясь как бы прощальным выступлением всех участников в излюбленных танцах (О нем см.: Ивановский Н. П. Бальный танец XVI—XIX вв. Л.; М., 1948.; Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец. М., 1963.).

⁸⁷ Фанты — игра, в которой все участники исполняют поочередно какое-либо шуточное задание, выпавшее по жребию владельца предмета, отданного для жеребьевки.

⁸⁸ Тапер — музыкант, играющий за плату на танцевальных вечерах.

⁸⁹ Рождественский обряд, выполняя который обходят соседей с пением коляды, обрядовой песни; при этом участники несут в руках символическое изображение рождественской звезды.

⁹⁰ О таких ужинах, входивших в «церемониал эрмитажных спектаклей», вспоминал бывший директор императорских театров В. А. Теляковский: «По окончании эрмитажного спектакля для артистов сервировался особый ужин в комнатах, прилегающих к уборным, и артисты, переодевшись, собирались в этих комнатах за несколькими столами. Представителем гофмаршала на этих ужинах бывал обыкновенно один из его помощников по хозяйственной части. К нему обращались артисты с жалобами, если что-нибудь было не так подано и в недостаточном количестве. Этот ужин был проще того, который подавали в залах Эрмитажа, но тем не менее в большинстве случаев весьма порядочный, не менее трех блюд. Вино подавалось красное и мадера, а также шампанское; это последнее отпускалось в более умеренном количестве, по бокалу на человека, но от лезбозности заменяющего гофмаршала зависело прибавить еще несколько бутылок из запасных. По окончании ужина, если мне самому не удавалось посетить артистов, заменяющий

гофмаршала заходил в эрмитажный зал и сообщал мне, что ужином артисты остались довольны или что они предъявляли такие-то и такие претензии. Если жалобы оказывались основательными, то доводилось до сведения министра. Иногда директор приходил посидеть за ужином к артистам, если ужин затягивался вследствие переодевания» (Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965. С. 59.) Об этом же оставили воспоминания и артисты (См.: Соляников И. Глава русского балета // Мариус Петипа: материалы, воспоминания, статьи. Л., 1971. С. 264—265; Беседа с артистом (П?) Гончаровым, записанная Ю. Слонимским // ОРиРК СПб. ТБ. Ф. 22). Участие В. И. Преснякова в Эрмитажных спектаклях подтверждается документально (Дело Санкт-Петербургской конторы императорских театров об устройстве спектаклей в Эрмитажном театре. Список участников спектакля, получивших награды // РГИА. Ф. 497. Оп. 6. Ед. хр. 4665).

⁹¹ Рейграсс (нем.: Reingrass; дословно: луговая трава) — молодые всходы овса, который специально сеялся для украшения пасхального агнца.

⁹² Полендвица (польск.: poledwica) — копченая говядина из филейной части, традиционное блюдо на пасхальном столе // Даль. Т. 3.

⁹³ Род кулича, выпекаемого в высокой цилиндрической форме. Тесто бабы более воздушное, чем у кулича.

⁹⁴ Печенье из дрожжевого теста с добавлением толченого горького миндаля и цедры лимона, иногда сверху покрывалось вареньем (см.: Похлебкин В. В. О кулинарии от А до Я: словарь-справочник. Алма-Ата, 1989).

⁹⁵ Заимствовано из польского mazurek — сладкое печенье продолговатой формы из миндаля с различными пряностями.

⁹⁶ Сорт винограда.

⁹⁷ Прохладительный напиток, приготовленный из миндального молока, разбавленного водой, с добавлением сахара.

⁹⁸ Нижняя горизонтальная поверхность печи, находящаяся в печной топке, где обычно лежала кочерга.

⁹⁹ Опресная лепешка из тонко раскатанного теста, единственный вид хлеба, который иудейская традиция предписывает верующим употреблять в течение пасхальной недели.

¹⁰⁰ Факт основания невеликого Вольно-пожарного общества именно в 1885 году подтверждается тем, что в июне 1910 года «Невельская пожарная дружина (...) справляла день своего «серебряного рождения», (...) почти все жители были украшены пожарными атрибутами и знаками, что придавало вид какой-то свирелой и кровожадной воинственности их мирным лицам, почти весь город шел на торжества (Арсеньев В. Поездка в Езериче и Иваново: июня 1910 г. // Витебские губернские ведомости. 1910. № 171. 1 авг. См.: Невельская старина: Сборник материалов по истории Невеля XVI — начало XX века. СПб., 1993. С. 103).

¹⁰¹ У купца Николая Андреевича Бенкевича было четверо сыновей: Владимир, Модест, Николай и Иван (Сообщено Л. А. Тимофеевой). Возможно, речь идет об Иване. В памятной книжке Витебской губернии на 1885 год читаем: «...техник огнестойкого строительства Иван Николаевич Бенкевич».

¹⁰² День Святой Троицы приходился в 1887 году на 24 мая. Сильный пожар произошел через месяц, но не в Невеле, а в Витебске (Витебские губернские ведомости. 1887. 27 июня. № 50. С. 3—4). Невельский пожар, в котором «сгорело около трети города», случился двумя месяцами позже, 22 августа 1887 года. Об этих пожарах писал во всеподданнейшем отчете о

состоянии Витебской губернии губернатор князь Долгоруков: «Из числа общих бедствий, постигших Витебскую губернию в отчетном году, были два значительных пожара, случившиеся в г. Витебске 24 июня и Невеле 22 августа» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 223. Ед. хр. 139. Л. 13).

¹⁰³ Содом и Гоморра — древние города в долине реки Сиддим, по библейскому преданию за грехи жителей испепеленные огнем, посланным с небес: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба...» (Быт.24).

¹⁰⁴ Мемуарист мог быть свидетелем невельского пожара 22 августа 1887 года, а его мать — участницей описанной сцены лишь в том случае, если предположить, что, вопреки его рассказу, они побывали в Петербурге еще до пожара (прошение А. А. Пресняковой о приеме сына в Театральное училище датировано 17 августа), вернулись в Невель и уже после пожара выехали снова в столицу, где 29 августа В. Пресняков предстал перед экзаменационной комиссией. Но такая версия не согласуется с рассказом мемуариста о том, как они жили неделю на хуторе у Лукаша и указанию на то, что они отправлялись в Петербург в первых числах августа. Через год, в июле 1888 года, Невель пережил еще два опустошительных пожара, следовавших один за другим через три дня, во время которых выгорело то, что «уцелело от пожара 1887г.» (А. К. О погоревшем Невеле // Витебские губернские ведомости. 1895. 4 июня. № 45).

Возможно, что многочисленные рассказы о витебском и невельских пожарах, а быть может, и личные впечатления (летние каникулы 1888 года Пресняков проводил в невельском уезде) контаминировались в его памяти. Достоверность рассказа мемуариста о том, что во время пожара в августе 1887 года погибло все имущество его семьи, подтверждается нотариально заверенным документом: «Удостоверение, 1887 сентября 24 дня, выдано и. о. невельского уездного исправника дворянину Ивану Ивановичу Преснякову в том, что, как оказалось произведенным Полицейским надзирателем 1-го участка г. Невеля Перебилло дознанием во время бывшего 22 августа 1887 года в г. Невеле пожара квартиры, в коей Пресняков имел постоянное местожительство, сгорела до основания со всем находящимся в оной имуществом, собственно ему, Преснякову принадлежащим, на сумму около шестисот тридцати двух рублей...» (РГИА. Ф. 498. Оп. 1. Ед. хр. 3901. Л. 4—4 об.).

¹⁰⁵ Тот факт, что и до пожара в семье Пресняковых рассматривался вариант бесплатного обучения сына, подтверждает следующий документ: «Свидетельство. Выдано сие Невельского уездного Предводителя Дворянства дворянину Ивану Ивановичу Преснякову вследствие его просьбы для представления при определении малолетнего сына его Валентина в одно из учебных заведений в том, что он, Пресняков, состоял на службе Помощником Секретаря Съезда мировых судей Невельского округа и, получая крайне ограниченное содержание, не имеет возможности дать воспитание сыну на собственные средства, в чем подписом и приложением казенной печати удостоверяю. Января 16 дня 1887 года. Предводитель Дворянства Н. Евреинов, за письмоводителя Гашкевич. (РГИА. Ф. 498. Оп. 1. Ед. хр. 3901. Л. 4). Аналогичный документ был получен и от съезда мировых судей за подписью его председателя М. Вилинбахова (Там же. Л. 5).

¹⁰⁶ Вопреки утверждению мемуариста, можно предположить, что решение определить сына на балетное отделение Императорского СПб. театраль-

ного училища, созрело у Пресняковых уже к началу августа. В перечне документов, представленных А. Пресняковой, значилось: «подписка моего мужа на определение мною в училище сына от 7 августа 1887 г. за № 723» // Валентин Пресняков. Л. 1.

*Подготовка текста и комментарии
Н. Л. Дунаевой*

Вера Берхман

Отъезд (быль)

Автор повести — Вера Константиновна Берхман (10.9.1888—24.3.1969) дочь юриста, правоведа и художника Константина Александровича Берхмана (24.4.1856 — 11.1.1920). Ему принадлежат многие псковские пейзажи, писанные маслом и изображающие, в частности, две церкви по обе стороны Великой в Синском устье — Предтеченскую конца XVI века и Ильинскую 1888 г., деревянную, красненькую.

Берхманы, обрусевшие немцы (Bergmann), поселились на псковщине тогда, когда дед Константина Петр Иванович купил у наследников бывшего владельца заложенное и перезаложенное поместье Скоково на берегу Великой, в полуверсте от Синского устья, на старой дороге от Острова к Тригорскому и Михайловскому. Было известно, что владел поместьем до того некто коллежский советник и кавалер Алексеев Александр Николаевич 1782 г. рождения, жестокий и убитый своими крепостными на скотном дворе в начале 20-х годов. Его вдова Елена Андреевна продала имение не ранее 1847 г. Поместье с пятью деревнями Алексеев получил от своего дяди не позднее 1820 г.

И Петр, и сын его Александр (р. 1812) Берхманы многие годы выплачивали долги по имению, дохода практически не приносившему. В 1855 г. Александр женился на младшей дочери прадеда поэта А. А. Блока Аделаиде Александровне Блок (р. 1834 г.), болезненной и рано умершей, оставившей сиротами подростка Константина и годовалую дочь Наталию. Вскоре умер и отец детей. Опекун их стал сосед, а с 1873 г. и владелец соседнего поместья Горай барон Георгий Владимирович Розен (18.4.1849 — 20.12.1908), в прошлом лицеист (XXX курс 1869 г.), стало быть имевший высшее юридическое образование и избранный мировым судьей Опочечского уезда, а позже попечитель села Михайловского и устроитель там колонии для одиноких учителей и литераторов (с 7 мая 1907 г. до смерти своей). Собственно основатель в 1907 г. Пушкинского Заповедника.

К. А. Берхман женился на Александре Борисовне Хвостовой (1853—1924), имел от нее трех дочерей — Ольгу, Веру и Татьяну и сына Александра (1891 — 1919). Мальчик был талантливым музыкантом, но рано умер. Дочь Татьяна (5/17 января 1894 — 1.4.1942, блокада) в 1914 г. выпустила книжку «Первые стихи», послав ее с посвящением троюродно-

му брату Александру Блоку, который 11 марта 1914 года записал об этом даре в своем дневнике (см.: Блок А. Сочинения: В 8 т. М., 1965. Т. VII. С. 215).

Дочь Вера, безусловно также талантливая, была хроникером семьи, ее рукописи разных годов хранит ныне сын Татьяны — Александр Николаевич Великотный. В 1914 г. Вера стала сестрой милосердия, а позже медицинским работником. Часто гостил в Скоково и брат владелицы поместья — правовед и товарищ своего зятя Николай Борисович Хвостов (1849 — 1924), выпустивший в 1901 г. двухтомник своих стихов, большей частью слабых, но свидетельствующих о нравственной высоте и благородстве их автора. Во вступлении к изданию он писал:

И если песнь моя на миг
 Душе тревожной даст отраду,
 То цели я своей достиг
 И получил свою награду!

К 100-летию юбилею А. С. Пушкина он написал стихотворение — диалог деда и внука, который ведут они, стоя у шоссе, по которому гости едут и едут в Святые Горы. Местные сведения об этом юбилее ныне почти отсутствуют, и строки скоковского жителя представляются интересными.

Святые горы

Весь согнувшись дугою,
 Ветхий днями, лыс и сед,
 На проезжую дорогу
 С внуком Сашей вышел дед.

И глядит старик, склоняясь
 Дряхлым телом над клюкой,
 Как течет вдоль по дороге
 Русский люд живой рекой.

Кто в коляске, кто в линейке,
 Кто в телеге, кто верхом,
 Кто с котомкой за плечами
 По пути бредет пешком.

Говорит внук Саша деду:
 — Ты, родной, поведай мне,
 Что такое приключилось
 В нашей тихой стороне?

Верно, дедушка, ты знаешь,
 И откуда, и куда
 По шоссе идут и едут
 Мужички и господа!

Дед кивает головою
 Внуку малому в ответ:

— Ну, конечно, милый, знаю!
 Не скажу тебе я — нет!

Ведь сегодня — день великий,
 Дорогой нам, русским, день!
 Светлый праздник для столицы,
 Городов и деревень!

Ото всех концов России
 Шлет гонцов отчизны ширь;
 Все спешат к певцу родному
 В Святогорский монастырь.

На весь мир пером свободным
 Свой народ прославил он;
 И к нему, ко дню рожденья
 Русь стеклася на поклон.

Знай же, Саша, что сегодня
 Ровно минуло сто лет,
 Как в Москве родился Пушкин,
 Тезка твой, большой поэт!

— Как сто лет? — смеется мальчик,
 Широко глаза раскрыв.
 — Видно, дедушка, ошибся!
 Так состарился и жив?

— Жив он! Сам того не зная,
 Внук, ты истину изрек!
 И не стар, а молод, молод
 И от смерти он далек!

Буду я лежать в могиле,
 Старым будешь, внучек, ты —
 Сохранит певец народный
 Прежней юности черты!

Протекут, сменяясь, годы,
 Проплывут чредой века,—
 Не умчит его с собою
 К смерти вечности река.

И, как правда, неизменный
 В роковом потоке лет
 Будет жить в сердцах народных
 Воспитавший их поэт!

1899 г.

Из любимого Берхманами Скокова они уехали, видимо, в конце лета 1917 года. Поздней осенью 1918 г. Вера с матерью в последний раз решились навестить дорогие места, где деревянный двухэтажный дом был уже сожжен, а какая-то коммуна из окрестных крестьян позволила им побывать на родной земле. Церковь в Ильинском была сожжена также. Мать и дочь навсегда прощались с аллеями сада, спустились к реке,

обнаружили постамент, оставшийся от уничтоженной скульптуры Меркурия на нижней террасе парка. Берхманам дали им же принадлежавшую прежде лошадку, впряженную в телегу, чтобы доехать то ли до почтовой станции в Крюках (5 км.), то ли до г. Острова (25 км.). Никто и никогда из членов семьи не посещал более вскоре заглохшего и одичавшего погорелого места. Крестьяне ушли — пустота от переправы и до деревни Огурцово (в 3-х км от устья Синеи) встречает ныне того, кто случайно окажется в этих местах, вернувшись к доисторическим временам. Кто знает, тот обернется чуть назад и влево, проезжая из Пскова мост в селении Решеты, — там, по другую сторону речки Синеи, у древней переправы, отмеченной купой кустарников, место кладбища, где похоронили и барона Розена, и вдову его Ольгу Николаевну, урожденную Горожанскую (1855 — 1916). Там же ранее, в 1883 г. похоронили деда Веры Берхман — сенатора Бориса Николаевича Хвостова, жившего летом на старости в поместье зятя.

Чем более десятилетий уводило одинокую Веру Константиновну от дорогих мест детства, тем настоятельнее память влекла ее назад. Сидя в своей амбулатории, пометив дату — 13.3.1952 года, на второй неделе поста — принялась она писать.

«С ворохом лет за спиною, продолжая еще жить на земле, в стране изгнания, ожидая милосердия и лучшего отечества, я говорю самой себе: сад был мой! И я снова должна в него войти! Этот сад был прообразом рая. Видели его и живые свидетели минувших лет. Как живой встает он — вишнево-яблочный, сиренево-жимолостный, ароматный, сияющий, влекущий... Он не только снится — он был... И я прошу Того, Кто ведает и затворами, и входами, открыть его снова. „Рая паки жителя мя сотворяяй!“». Религиозность все сильнее овладевала ею к старости и вот, опасаясь всего — и немецкой фамилии, и дворянского происхождения, и этой веры, осужденной после 1917 года, она решилась записать — истины ради — точный рассказ о том, как ее подруги, две дочери Розенов, бежали из родного дома, боясь убийства и поджога, боясь массового безумия пьяных, подначенных не только водкой и жадностью до чужого добра, но и заезжими агитаторами. Был среди местных «активистов» и вспоминаемый ныне стариками Ванька Кислый — этот презрение к «буржуйам» выразил однажды во время концерта в городском саду г. Острова, подойдя к девушке и утерев грязные сапоги о ее белое платье.

Вспоминая и перебирая эти эпизоды и радостный мир природы, встречавший едуших из Петербурга по весне детей, Вера принялась описывать побег Елизаветы (Веты) и Тамары (Мары; 3.05.1894, Горай — 1.07.1966, Стокгольм), о котором знала от тех подруг детства сестер Розен, которые спасали им жизнь, и что она так выразительно сумела передать в своей «были».

Повесть «Отъезд» написана около 1950 года, карандашом, в тетради, и слепые буквы призваны были, видимо, утаить опасный смысл содержания.

Отгоняя тревожные, почти грозные думы о будущем, баронесса Елизавета Розен, старшая дочь покойного владельца усадьбы Гораи¹, подошла к открытому фортепиано и взяла только один аккорд — могучий, торжественный. В последние дни это было — как некий ритуал. Сняв руки с клавиш, баронесса задумалась и, пригнув голову к худощавой своей груди, как бы потеряла связь с окружающим миром. Этот смелый звук, будящий окружающую тишину и медленно смолкающий, стал ей с некоторых пор необходим. Не то напоминал старые годы — еще так недавно он сзывал всю их семью и гостей к обеду, — не то звучал первым ударом колокола из сельской церкви. Что бы это ни значило, старшая Розен или «баронесса Вета», как ее называли в округе, снова исполнила ритуал последних дней, ударив большой, не изнеженной, но все же артистически красивой рукой по желтым клавишам.

В ответ колыхнулась тяжелая штофная портьера и в просвете дверей появилась молоденькая девушка. — Разве можно, Вета? — в голосе звучал испуг. — Неужели хочешь петь? Теперь? — В доме никого нет, Мара. И вообще нечего заражаться пустыми страхами. — Но это-то и страшно, что в доме никого не стало. И я тебя вообще не понимаю, Вета. В такие дни... Мы обе с тобой читаем газеты.

Старшая усмехнулась: Какие там дни? только бы тебе трусить. Их умирjali всегда, умирят и теперь.

Она снова энергично перебрала рукой клавиатуру с дерзким вызовом кому-то грозному, но еще не близкому — и запела арию Леля.

Мара, младшая Розен, всегда слушала пение сестры почти молитвенно, но сейчас в ней впервые закипело негодование, для нее чувство непривычное. Ведь сестра Елизавета заменила ей мать после смерти старой баронессы. Отец их умер раньше. Так как день ее рождения пришелся на 3 мая, день святой Тамары, и она носила это имя, то в семье было принято называть ее Марочкой, Марой. Романтическое Тамара не шло к ней. Кругленькое личико самого русского, простого типа, вздернутый носик, сияющие карие глаза и во всем свежесть ранней юности. Явным было несходство с рано высохшей, отцветшей сестрой.

Как бы ни работала старшая Розен в осиротевшем Гораи, заменяя любого работника — так было учинено и при старых баронах: «девочка должна работать как все, чтобы иметь право на свое» — несмотря на силу, постоянный загар и огрубелость — все равно, она была баронесса Розен, к ней все обращались почти-

тельно и покорно, а в Маре ничто не обличало баронской крови. Всюду она именовалась Марочкой, младшей барышней, а то и просто «дохтуровой» — была жива общая память о земском враче, приехавшем на участок по соседству с Гораями лет 18 тому назад. На него-то, как говорили, и походила Марочка как две капли воды, а он, сразу же как приехал, стал домашним врачом горайского дома. Только на именинных пирах, когда съезжались окрестные помещики, духовенство, купцы и земские, за ужином или обедом при передаче блюд, лакеи говорили «передайте баронессе младшей» и тогда прислуга, чуть улыбаясь, подходила к общей любимице Марочке. А после ужина голос старшей Розен, могучий, оперный, разливался по залу. Он привлекал к себе внимание, считался настоящим достоянием. Музыкальное образование Елизавета получила в Париже, ей сулили известность, но забыли, после того как она, спешно вызванная в Россию известием о смерти отца, покинула Париж. Думала — ненадолго. Но жизнь поставила преграду ее возвращению.

Старая баронесса хворала, Марочке тогда только что исполнилось 8 лет. Дел по усадьбе — не перечесть, один конский завод чего стоил.

Старый барон лежал под грандиозным памятником серого мрамора, таким же массивным и тяжелым, как вся окружающая жизнь, давно томившая добродушного толстяка. Так взгромоздилась высокая плита в углу сельского кладбища, среди рябинок и шиповника. Она была здесь странной, как если бы вырос роскошный собор вместо скромной деревенской Ильинской церковки в ожерелье кленов и лип².

Баронесса Елизавета сразу взялась за все усадебные дела и ушла в свое никому неведомое молчание. Пока не умерла мать, ее тайные мечты о возврате в Париж всплывали иногда золотыми рыбками. Приговоренная к смерти старая баронесса разделяла с дочерью ее мечты. По ночам, когда мать задышалась и обе ждали желанного рассвета, как будто он мог принести облегчение, их любимой облегчающей темой был Париж. Мать мечтала о полном выздоровлении, обманывая себя, и дочь и все очевидности жизни этими мечтами.

А как же с Марой? И ее в Париж? А как же с усадьбой? В аренду? Кому? Как же с лошадьми, с коровами, с оранжереями, с посевами? А тут еще лезли в ум яблоневые сады, новые инкубаторы, заграничные маслобойки.

Вставал перед трезвым разумом новый, только отстроенный родильный дом на пятнадцать коек при отремонтированной боль-

ничке. И когда все спутывалось в один клубок неразматываемых задач, старуха жалобно просила, как милости: — Спой мне мою любимую арию, Вета. Потихонечку спой, шепотом...

Дочь напевала, боясь разбудить Мару. И обе потом ненадолго засыпали, до прихода экономки, и снова начинался деревенский хлопотливый день.

Старая баронесса умерла, ненадолго пережив мужа, ее похоронили с подобающими почестями на живописном месте слияния Великой и Синей; в углу кладбища вырос фамильный склеп Розенской семьи. Его увенчала фигура благословляющего Спасителя. А жизнь в Гораях потекла по-прежнему. Как и при покойной матери, баронесса Елизавета вставала чуть свет.

Сильная и крепкая, сухошавая и жилистая, со светской улыбкой-маской, застывшей на ее несколько длинном лице, она командовала и распоряжалась многочисленной дворней, наполнявшей усадьбу. Пропоют петухи, натянет она русские сапоги на длинноstopные ноги и идет в обход своих владений с любимейшим баронским Донатом Ивановичем, душеприказчиком отца и управителем. День начинался заботой об усадьбе, кончался думой о том же. Дела вылезали отовсюду, неумные, капризные, как дети. Чем больше, не покладая рук, работала в селе неутомимая барышня, тем больше дел подставляла ей нехитрая с виду, полная сытости и довольства деревенская жизнь. И на каждом шагу вставали преграды самому заветному — мечте о возврате в Париж. Подростала, ровнялась, хорошела Марочка, и Елизавета Юрьевна постепенно входила в роль матери. Она заботилась о сестре жадным, не знавшим любви иной сердцем.

Ее голос уже терял пластичность, но он был такой же громадный, как у протодьякона в Святых Горах. Теперь он потрясал своды низенькой церкви, покрывая жидкие тенорки и резкие голосенки деревенских певцов, придавливая скромный хорик так же, как придавил массивный памятник малую пядь земли над ее отцом. Пела старшая Розен по престольным праздникам и дням именин баронской семьи. После обедни ей подносили большую просфору на блюде с обтертыми, позеленевшими краями. Отец Спиридон, тоже придавленный и напуганный величием мощных звуков, изливался в благодарностях. Отдергивая в смущении от баронских уст загорелую, шербающую руку: «Не нам, не нам, а имени Твоему», — говорила тогда старшая Розен и улыбалась сеюим застывшим в улыбке лицом. Слова ее звучали той непреложностью истины, что впиталась с детства от отцов и дедов, которым перечить было нельзя.

Пела она иногда и дома, когда на ее или Марины именины съезжались в баронское гнездо земские деятели и помещики. Их похвалы и восторги будили в ней воспоминания о покинутом Париже, и ночью, когда она оставалась в своей уютной, но достаточно прискучившей светлице, славолюбивые мечты не давали покоя. Мерно дышала, изредка бормоча и раскидываясь во сне, на 15 лет младшая ее сестра³, и старшей баронессой овладевала сперва тоска, потом злоба и такое отчаяние, от которого хотелось вскочить и кричать на весь дом.

Кричать о том, что она — одаренная и богатая — заживо замурована в этом белом помещичьем дворце, с колоннадою, возведенною при жизни прабабки Марии Ивановны Лорер⁴.

Оборвался последний звук. Снова тишина полная. Молчали обе сестры, молчала застывшая для приемов и концертов белая зала с высокими аркообразными закругленными окнами. Невслышно падали за ними, мягко крутясь, хлопья влажного первого снега и, неотличимо от белого камня, ложились на лестницу и на плитняк веранды, у подножия колонн.

Вздвогнув и сжав мучительно руки, Елизавета Юрьевна поднялась с табурета и подошла к балконной двери. Мара следила за ней. Она ждала удобной минуты, чтобы высказать то, что беспокоило, доводило до бессонницы. Она любила старшую сестру, была привязана к ней, у нее еще не было никого, чтоб опереться тверже, чем на это высокое существо с углами непокатых худошавых плеч. Знала Мара как и ее, в свою очередь, любит старшая сестра, но за последние две недели беспокойств, сбивчивых мыслей, газетных и иных известий, приносивших новое и новое, — Марой овладело чувство раздражения и той нервной напряженности, что вот-вот еще одна капля и полетят кувыркком куда-то и внешняя благопристойность, и выдержка воспитания, и постоянное преклонение перед авторитетом этой старшей — и она, Марочка, закричит: «Уедем! Бежим отсюда! Пока не поздно!».

Минута, наконец, пришла, и она не выдержала давящего молчания. Тишина ожесточилась — слова вырвались сами собою.

— Почему мы еще здесь? Чего мы ждем? почему не уехали в августе, когда от нас отняли Гнилки и Казаны? Каких благ мы ждем и от кого, когда все примкнули к ним?

— Чего мы ждем? — обернулась к ней сестра. — Как чего, Тамара? (в торжественных случаях у нее вылетало это имя). Избавления.

Какого? — почти с рыданием вырвалось у Мары. — От кого? От этих горе-генералов? Да они все уничтожены. Кто взят, кто бежал, кто застрелился. И потом — подлые они! Ах, подлые!

— Тамара, как ты смеешь?..

— Смею! Восстание надо вести, когда ты знаешь, что вас не кучка. Что ты сила. Они только подвели нас. Они ускорили вот то, что движется сейчас. Я мало разбираюсь, я тепличное растение горайской оранжереи, но я теперь пришла к тому: кто победит, с тем я и пойду.. если меня не убьют раньше как баронессу Розен.

Сестра вздрогнула, но Мара не сдавалась.

— Уехали все, кому дорога жизнь! И Фоки с Лысой горки, и Берхманы, и Затеплинские... и Роговские...⁵ Ради чего мы здесь сидим и досидим до ужасов? Вот уже три дня мы не знаем, что в Петрограде... Что нас ждет? Смерть?

— Куда ехать? — глухо спросила старшая. — Петербурга, да и Петрограда уже нет. Куда мы двинемся, баронессы Розен? От родного гнезда и могил? Поезжай сама, я не держу. Но куда ты поедешь? Я — я — останусь...

— В Петроград. Пусть там ужасы, пусть вся жизнь трещит и ломается, но здесь — только могила — и мы с тобой вдвоем. Нас не сегодня-завтра приколуют. А там мы присоединимся ко всему и всем, я буду учиться. Все образуется... Мне хочется учиться, я знаю так позорно мало.

— Вот что, Тамара, — пришла в себя старшая. — Оставь этот бред. Тебе учиться? В такое время? В прошлом году ты ездила туда и сдала экстерном за седьмой класс при гимназии Оболенской. Ты училась языкам, закону Божию, искусству, физике... Ты знаешь все, что нужно знать барышне известного круга с положением в свете. Куда тебе еще учиться и чему это нас научат сейчас? Пожалуйста, поезжайте, будьте студенткою, славьте на всех углах новый режим... Я с Вами не поеду. Да будет это Вам известно, Тамара.

— Зачем же ты меня на Вы, Веточка? И без ссоры тошно. Мы одиноки... Мы одни во всем доме. И эти ужасы в газетах. И мы толком ничего не знаем. Что там? Троицкий восстания не хочет. И удержится ли подольше Временное правительство? Как все страшно. А сколько от нас ушло людей! Уходят и уходят. Куда бежать, скажи?

— Уходят те, которые перебегают, которые трусят. Верные слуги не уйдут. У нас еще довольно людей. С нами Донат Иванович, Елена Игнатьевна, Марфа, с нами Егор Капитоныч, Влас...

— Влас ушел. Я тебе не говорила, но теперь скажу. Все равно. От тебя скрыла. Я узнала только что. Влас ушел и, по разрешению Григория, увел Красотку и Грома. Я видела Григория и говорила с ним. Я знаю, что это не мое дело. Что ты — глава дома, но Гром и Отметка мои любимые лошади. А Григорий мне сегодня надерзил и сказал: «Всех лошадей разведем, благодарите Бога, что сами еще живы». Вот что сказал Григорий. Из-за того я и начала разговор. Чего еще ждать?

Она разрыдалась и, кутаясь в легкую шаль, пошла от сестры. Но, дойдя до двери, вытянув руки по швам, держа их под серым фуляром, повернулась к Елизавете и голос ее, всегда такой мягкий и по детски звенящий, стал жестким:

— Ты ждешь смерти? Чего ты ждешь? — Ее зрачки вперились в глаза сестры. Обeim стало жутко. И тогда старшая ответила не своим, а каким-то сломанным, не подчиненным голосом:

— Из — бав — ления... Оно может — вот-вот...

— От кого избавления? — крикнула Мара, потеряв самообладание. — От кого? В обреченной усадьбе. Надо спешить, пока не увели последнюю лошадь...

Через открытые двери гостиной и столовой стало слышно: кто-то вошел и кашлянул.

— Господи, кто там? — младшая схватила руку старшей. — Идем вместе!

— Ах, как глупо, Тамара! — Елизавета смеялась повышенно громким смехом. — Ты и меня заразила своими страхами. Ведь это наш милейший Донат Иванович.

В столовой стоял у дубового буфета, на фоне инкрустированных виноградных гроздьев и амуров, управляющий. Он вынимал корреспонденцию из грубой кожаной сумки.

— Погода, Донат Иванович, ужас! — обратилась к нему старшая, зябко перекосив плечи. За последнее время она часто заговаривала с людьми первая, причем ее голос звучал как-то по-новому.

— Да, замечает... — коротко ответил Донат Иванович, вынимая последнюю газетку. — Ноябрьские снежки. А я, как видите, сегодня сам приношу почту. Случайно был в Крюках. Почтарь ходить больше не будет. Не к кому...

— То есть как это — не к кому? — и у Елизаветы Юрьевны⁶ задрожала рука, принимавшая газету. — А мы? А Крутиковы? Семендяевы? Да мало ли кто по тракту?... А Вревские? Как же так? Ведь не мы же одни, в самом деле?

Ремень от сумки в руках Доната Ивановича ни за что не хотел зайти на последний шпынек, и лицо его клонилось низко, пряча смущение.

— В том-то вся суть, что будто и одне... Крутиковы вечер в полудни проскочили на вокзал, а нонечь слух идет, — а я аккурат с почты, и там как раз шумели, что будто во Врёве старую-то бароншу на телегу посадили, овчинами, холстом позакрывали и, ровно убоину какую, на вокзал... И еще счастье, что так. Округ Врёва — беспокойно. Мужики здорово шкодят. Им сейчас море по колено. И коли б не Лушка, знаете, та Лукерья одноглазая, дочка той старухи, что еще крепостное помнит, — Врёвихе бы не сдобровать. Это она ее спасение надумала. Вот что... А и обеим-то! И баронше, и тетке бароншиной — лет по восемьдесят, да и более! А в песне-то нонечь поют «цыпленок тоже хочет жить»...

— Странно, — говорила Елизавета Юрьевна, по уши уйдя в пуховой платок и развернув газету, — что же это так опасно в уезде? Почему?

— А вы читайте, — уже наставительно заметил Донат. — Читайте — и все понятно.

Елизавета Юрьевна прочитала заголовок и отложила газету. Ее жадно схватила Мара. И наступила минута полного молчания всех троих.

Запоздавшая чуть не на пять дней газета от 27 октября говорила сестрам, что не только их дни, но и часы могут быть сочтены. Вооруженное восстание победило.

Власть перешла к советам. Но это были уже не свежие вести. Их приговор как владелиц усадьбы состоял в двух декретах — о мире и о земле. Собственность отменялась немедленно, без всякого выкупа. И всякие Врёвы, Гораи, Сине-Николы, Скоковы становились фикцией. Тут уже нельзя было думать о «территоризации положения», как еще вчера заметила старшая младшей.

Если думать о том, что крестьяне всегда относились хорошо, то это сейчас не исключает возможности ни насилия, ни реквизиции имущества сегодня-завтра ли, так как это дозволено, опубликовано, принято.

И почему им, Розенам, сделают исключение? Голая правда грозно встала перед ними. Елизавета вспомнила вдруг покойного отца: бывало, шумят у него под окном, пока не выйдет их судить.

— Потрава! У меня Прохоровы десять бабок оттяпали! — А у меня сено спалили! Два стожка! — А ко мне гуси с соседнего хутора ходят, всю полянку изгадили! — Елизавета была тогда ма-

ленькой, а помнит: отец выйдет и все уладит, и потраву, и гусей, и сено... Ее отец являлся законом. Но это было тогда. Теперь весь народ — закон. Труситься нельзя — она твердо это знает, особенно теперь, стоя перед лицом смерти. И если ей — законно — скажут: «Ты должна отдать дом», — она без ропота, о, поверьте, без ропота... А каковы сейчас крестьяне? Их масса? Своих-то она знала, многих степенных мужиков, чуть не с детства. Она играла с их детьми. У старой баронши были свои любимые девчонки, которые входили в дом маленькими и уходили оттуда невестами, и сколько здесь было устроено браков, сколько покрыто грехов, сколько роздано приданого и подарков!

Но теперь это все ничто. Личное упразднилось. Наступал момент общего закона о земле. Новые правила, новые положения, новый устав. Дело ведь не в том, что знакомцы твои, Сидор и Марья, примут и миролюбиво обсудят новый закон, а то и дадут поблажку в том-другом, а то и позволят тебе, отживающей свой век, возможность работать тут и не уходить со знакомых мест, — нет! Судья тебе весь восставший народ. На каких-то нескольких свидетелей надеяться нельзя. И силу, и настроенность этого народа, что сейчас весь, ощетинясь, восстал со своих мест, она не знает и измерить не может. Мужик был для нее подсобник в ее делах, помощник в ее личном благосостоянии. Сейчас он восстал не для того, чтоб работать на Розен и на Вревских, — но для того, чтоб эти Розены и Вревские уступили ему свое место и свою землю, а может быть и поплатились бы жизнью за то только, что это имели.

Мысли эти вихрем пронеслись в голове старшей баронессы. Газеты давно были прочитаны, отложены, но все трое продолжало сидеть молча. И старшую начинало беспокоить молчание Доната. Кому теперь верить, о чем думает сейчас их испытанный, верный слуга, с которым, бывало, она коротала свои прежние рабочие дни. Как они кажутся теперь прекрасны! Как хорошо бывало влажными утрами обходить весенний сад, слушая щебетание птиц, ступать по пробивающейся траве, знать, что это твоя собственная земля, что ты художник и хозяин нового посева, что все эти всходы — твое творчество, твоя работа? Будь она в Париже, она была бы освобождена от тяжелой доли, павшей на нее! Но в эти грозные минуты Париж не возбудил в ней прежних чувств — и не к нему обратила она свои мысленные взоры.

Весенний сад, полный звуков, тепла, истового клекота, сад, ждущий ее прихода, ее в нем работы — пригрезился ей светлой уходящей навсегда былью... Она поняла, что самыми счастли-

выми днями в ее жизни был не Париж, не шум, не ее первые успехи, а сад, Горайский сад в период ли цветения, во времена ли осеннего листопада. Но почему все молчит и молчит Донат Иванович? Правда, он прошел с почты шесть верст. Но надо непременно, чтобы он заговорил. О чем бы то ни было. И сказать бы ему надо так: «Да-с, Елизавета Юрьевна, это вы верно-с... Как завсегда. И все ладно. И все образуется. Погалдят в уезде и перестанут. И мы с вами опять начнем топтать по саду да по земле. Ленюк-то голубенький растить Вам на блузки, на рубашечки».

Донат Иванович наконец-то прервал молчание. Он откашлялся и вместо всех успокоительных слов, которые ждала от него баронесса, начал веско, решительно, почти строго:

— Дело такое зашло, Елизавета Юрьевна. Сами понимаете. Каждому — свое. И своя жизнь дорога. И я тепереча рассудил: коль я мужик, так мне в мужицком, а не в барском звании, да дворе пребывать надо. Есть же у меня своя кровля в Касьянах⁷. Избушечка моя цела стоит? — Цела. А чего ж больше мне надо? Жил да был у Вас в услужении, много доволен старым, а нового-то уж нам с Вами не нажить. Теперь крестьянину любому почет и уважение, и я еще к тому ж грамотной шибко, в Касьянах что ли пропадать? Переедем в Остров либо Опочку. Да что там гадать? А только сию минуту надобно мне от Вас отойти... Ты чего, скажут мне, баронским прихвостнем, скажут, был? А ты, может, с ними, с такими-сякими нашу кроушку ел-пил? Жилы с нас тянул? А скажу я: «не пил кроушки, не тянул жил» — так не поверят. Ведь не на то посмотрят, как ты сам по себе, а поглядят, с кем водился, и тогда уж ау-аушеньки. И вот, дорогие барышни мои, как титулов и званьев тепереча, конечно, не имеется — я к вам с распрошеваньем: Прощайте ж, Елизавета Юрьевна, прощайте, Тамара Юрьевна, Марочка дорогая — и мой совет — поскорей Вам отсюда скрыться. Здесь оставаться больше не приходится. Да-с. Так вот еще что, откровенно скажу, я и лошадку вашу Милагу себе отобрал. Как теперь говорят — реквизиул. И вам в этом деле покаяние приношу. Чтоб вам к вечерку уж на станцию... Да и лошадок-то ваших все равно дня в два, в три разведут. Газетки-то номерок, он быстро свет объедет... да и вообще все уж об этом уведомяны.

— О чем? О чем уведомяны? — тихо спросила Елизавета Юрьевна.

— Да о чем? — Что вся земля крестьянам. А вам-то, барышни мои, оставаться здесь никак не можно. Это вы уж поверьте. И

даже много говорить не могу, всякая минута на счету. Собирайте что само необходимо, пока лошадки еще есть и Григорий не ушел. На вокзал далеконоько, и коли с Гришкой поедете — зацапать по самому Григорию могут. А вы с кем-нибудь попроще, да не на вокзал, а вбок — сами знаете, по проселочку, направо, верст будет двенадцать, по теперешнему рукой подать, это как на Иссе ехать, а от Иссы верст пять не больше⁸. Канавка такая пролегает, а у канавки столбик стоит и надпись на нем. Вам, барышни мои, теперь только такое дело и остается.

— Это Вы про границу говорите? — овладев собой, спросила Елизавета Юрьевна.

— Точно так. Неприметная она. Человек-то стоит, правда, ну, все же, перемахнуть можно. А там пешочком до любой деревни. Там в безопасности. Там вам и начнется новая жизнь.

— Новая жизнь... — повторила Мара эти слова не то с удивлением, не то с каким-то детским интересом.

— А кто же знает, кто угадать может эту канавку?

— Да у любой бабы за Иссой спросите. Там направление одно. Укажут. Ну-с, мне пора! Прощения прошу и благополучного пути, а пуще всего...

Он не договорил, простодушно хлюпнул носом, встал и пошел к высокой двери, ведущей в вестибюль и скрылся за ней. Прогромыхали русские сапоги по ступенькам крыльца.

— Оказался тварью, как все, — сказала Елизавета Юрьевна. — Нажился, разбогател — и вот.

— По-своему он прав, — заявила Мара. — Правы все, кто ушел и уехал. Здесь уже все не наше. Мы — на чужом. Мы не только права им пенять — мы сами должны их гнать от себя как от чумы или проказы. Если сами идем на смерть, то не для чего обречь на нее неповинных людей.

— Неповинные? А мы повинны?

— Повинны в том, что ждем спасения. В том, что мы были баронессы, помещицы — не считаю вины, но если эти баронессы ждут грядущей опасности у себя в усадьбе только потому, что они бросают вызов жизни, они не правы.

— Были баронессы? Ты говоришь — были. О, Боже! Я ею была и буду ею.

— Будь — твое дело. Долго ли пробудешь — я не знаю.

— Опомнись, Мара, ты большевичка?

— Не знаю, кто я. Но я выросла за эти дни и мое сознание ширится и растет. Я уже переросла баронессу и ею не хочу быть.

— Поздравляю. И ты мне сестра!

— Почти наверное, нет, к сожалению. Сожалею, потому что привыкла любить и уважать тебя как сестру. Знаю, что ты из-за меня поступила карьерой. Что же! Это тебе делает честь как баронессе Розен, великодушному их роду. О моем-то не господском происхождении все говорили и говорят, кому не лень.

— Мара! Вы с ума не сходите... Верить таким сплетням.

— А что особого? Дыма без огня не бывает. И возможно, что моя неголубая кровь кричит и протестует против всех таких... геральдических трагедий. Я жить хочу, Вета, жить! Мне 18 лет. И я связана с тобой. Когда ты решишься запрягать последнюю лошадку! Сейчас пойду в конюшню и посмотрю, что там осталось. Проводить такое время в разговорах!

Вошла экономка Елена Игнатьевна с заплаканным лицом и спешно начала собирать на стол. Одна из китайских заветных чашек выскользнула из дрожащих рук и по полу нежно прозвенел голубоватый фарфор.

— Эх, барышня, не ругайтесь на чашку, — первая предупредила она выговор, — сама не знаю, что творю. — Времечко! Не до чашек нам теперь. — Слышали, вчера Рогово спалили до тла! Константиновку — третьего дня. Да и нам вот-вот пустят красного петушка. Досиделись. Дожили. А лошади-то, барышня? Сегодня опять трех увели. Это, говорят, реквизиция. Вы куда, барышня Мара?

— В конюшню. Мне лошадей посмотреть и Григория повидать.

На столе весело булькал самоварчик-пузанок. Экономка привычно хозяйственной рукой ополоснула кипятком чайник и заварила чай. Все — как всегда, как раньше. Будто сон какой-то снится Елизавете Розен. Но явью — говорят о чем-то страшном для нее нежные осколки на полу голубого фарфора. И молча приняла она чашку из дрожащей руки экономки.

Марочка давно не видела своих лошадок, не входила в конюшню горайского коннозавода уже с месяц, когда в последний раз они с сестрой лечили испорченную бабку у Красотки.

— Красотка, Гром, Вешний уведены — но где же Демон, Витязь, Буран? Пять пустых стойл — это что же такое? Где Баринок, Молния, Москвич? — Мара ходила в каком-то отупении от стойла к стойлу — везде встречала ее пустота, примятое сено. Она не досчитывалась уже 12 лошадей. Нет, 14... Какое там 14, 16-ти?

Главное, что она сообразила уже позднее подсчета потерь, заключалось в том, что двери длинного, складообразного помещения коннозавода были открыты настежь. Так никогда не бывало! Все по-старому — серенькие стены невысокой конюшни с узенькими оконцами, окаймленными известняком, с детства знакомы Марочке. Но лошадей нет. Она идет по плитняку около стойл. За несколько минут перед тем она бодро входила в новое положение, теперь она подавлена. Надо что-то сообразить, обдумать, но слышен знакомый голос кучера. Он идет с Донатом мимо боковых стойл, где всегда помещались остальные лошади. Мара слышит их разговор и цепенеет. Ноги ее от самых бедер стали чугунными, пальцы впились в бока, вся она словно приросла к плитняку.

Григорий — голос прежнего, веселого Гришки, — а слова не Григория, а новые, чуждые. Он сообщает Донату, что тот сегодня же может взять и вывести потихоньку ночью ее рыжую любимицу Отметку.

— И так ее бери, чтоб никакого шума, — добродушно советует Гришка. — А то на Отметку еще сколь зубы точили. Да еще Навдыши себе Бархотку оставляли. И еще останется с пяток. Их тоже мигом...

— Бароншам-то что ли надо едину оставить? — слышится голос Доната. Это ужасно, но и благородно с Донатовой стороны, — думает Мара. — А Григорий, Григорий! Сколько лет у нас! Он не подумал, а вот Донат...

— Бароншино дело такое, — как бы смакуя слова произносит Григорий. — Коли не спохватятся, завтра-послезавтра красного петуха, а им самим каюк. Сам слышал в Дарьино утром сднни шумели: «Их, стервов, давно пора, — сами виноваты, не сиди до петушков, знай свое место»... — Мое дело что ж, я — как народ — так и мы. Хошь сиди, хошь поезжай. Дитя не плаче, матка не разумее».

Вихрь пронесся в Тамариной душе. Застучало в висках, задрожали губы, огненным взрывом наполнилось сердце... Одеревенелость членов исчезла, как и не бывало; быстро ворвалась она в закуток, где стояли кучер с Донатом, у самых ноздрей Отметки, что безмятежно хрупала сено, забирая его бархатными губами.

— Григорий! Ты это или не ты? Подменили тебя что ли? Это я, я говорю с тобой, Тамара, бывшая барышня и баронесса! И все-таки я и сейчас человек, а ты раб, да и подлый, куда подует ветер, туда и ты. Пугаешь смертью, — а мне не страшна она, коли не знаю за собой ничего скверного. Одно у меня преступление —

баронесса. Так не думаешь ли, холуй, что я буду каяться тебе в нем? Но если сейчас, при новой власти ты будешь так перебегать с места на место, ненавидеть из-за угла тех, кому раньше служил и у кого ел и пил — не потерпит тебя никакая власть, так и знай. И не баронесса тебе говорит, а человек, женщина, две женщины. Никому дела нет, что мы сидели в своем собственном доме до пожара и смерти... тебе — тем более.

Григорий слушал ее, понурился. Донат тихо вышел и стал у входа в боковой коридор. Пахло сеном. Оставшиеся лошади пофыркивали. Отметка, высунув морду, тянулась к плечу Тамары.

— Отметку, — продолжала Тамара после некоторого молчания, — Донату сейчас не отдавай, пока она мне не отслужит в последний раз. Приказов с нашей стороны как будто быть не может, но и просить тебя я не стану. Ты, как человек, если еще не хочешь быть скверным животным, должен вечером запрячь Отметку и доставить нас на вокзал. Если нас убьют до вечера — что попишешь! Если нет — получишь вознаграждение. Ты понял? Отметку сразу же отдашь Донату, как мы уедем. Запряги в тарантас или телегу, что еще у нас осталось.

— На полозках, — смотря в сторону бормотал Григорий, — на полозках еще трудновато на «соше»⁹, да и снег еще стаивает, зима-то...

— Как хочешь. Наше дело уехать. До вечера. Придешь и оповестишь: «Лошадь готова!» Все!

Надо было скрыть от Веты все, что она слышала и, вместе с тем, подвинуть ее на скорый отъезд из села. Тамара шла к дому легко.

Большой белый барский дом с готическими окнами, с зеленой куполообразной крышей в несколько дней опустел от людей, а из конюшен вывели лошадей. И все это идет быстро. И надо все бросить, все как не свое. Расстаться со всем и сразу — через три, четыре часа, чем скорее, тем лучше. Дороже жизни нет ничего на свете.

В вестибюль Розенского дворца, куда возвращалась Тамара, вела скромная боковая лесенка с пилястрами. Здесь она, маленькая, с дворовыми девочками Санькой и Наткой пряталась от палочки-воровочки. Теперь эти подруги, на три года старше Марочки, уже замужем. Они живут зажиточно и близко. Их никто не тронет, они — господа положения. Вспомнив их и свое детство, вошла Тамара в прихожую, где стоял почему-то запах овчинных тулупов. И услышала голос Веты — такой погасший и такой совсем не ее — уверенный в себе обычно тон. Тамара открыла дверь

в столовую, где оказались Наталия и Александра, о которых, поднимаясь по лесенке, вспоминала только что. Два года назад состоялось их замужество. Мужья были степенные Ильинские мужики. Тогда они получили богатое приданое от баронши, подруги детства. Увидев их, Тамара сразу поняла, что приход имел причину особенную. И сразу же Наталья, прикрывая лицо сползшим на шею платком, бросилась к Марочке, обняла ее за плечи, стиснула их как жестким кольцом.

— Родимые, кормильцы — бежите! Сегодня же бежите! Ильинские, то бишь наши мужики, сшалели... Не тихо у нас! Утром баили, что баронш завтра прикончим. А не то ввечеру с рогатинами, как на медведей пойдем! Мой-то Василий за вас вступаться, так ему чуть морду не покривили. Такой ты сякой, говорят! Твоя-то на барском дворе возрастала, ее вареньем-соленьем да вином заморским поили-кормили. Да белья да платья, того-другого под венец надавали, так и ты за буржуев недорезанных? Шалишь, говорят! Коль ты с нам не пойдешь по Гораям, каюк и тебе! — Вот мы с Саней и подумали... к вам, на скорях. Да чтоб они не хватились! Низами, да прудами, гумнами да амбарами, да скрозь Дарьино, да скрозь Скоково, сами знаете, верстов шесть махнули, да и сейчас дрожь берет — ужли хватятся?

Акулина подговорила, — вступилась миловидная беременная Александра, — чтоб сказала мужу, будто мы в Новгородку, к бабке-акушерке, насчет родин. Мне ведь скоро...

— А я, — перебила ее Наталья, — свекровке вру — капусту рубить звали у Елкиных, пособить — ну, она Елкиных-то уважает... А мужикам-то сегодня, поди, сюда не выбратся. Самогон с ног сшибет. Пронька с Лебедян достал. — Врѐв пропивают, а что на «соше» творится! На тракте от Опочки, слышать, три петушка пущены, — Врѐв горит, старухи вовремя уехали. Барабаны горят. В Иссе дядю Петю Голикова до тла сожгли, поди, до Тригорского доберутся, там в округе богатенькие... Да уж ладно, балакать больше время нет... Думаем, службу сослужили — и все. Родимые, Марочка, Лизавета Юрьевна, было б вам все сказано — а Вы как знаете.

— Мы уедем сегодня, — глухо сказала Тамара. — Я велела запрягать к вечеру. Погоди, Наташа, погоди, Саня... — Она быстро выбежала из столовой и менее, чем через пять минут вернулась. — Вот — на память — тебе за вашу службу, а это тебе, Ната, — и чудесные каратики искрами заиграли на шершавых ладонях былых подруг. — Не поминайте лихом. — Все обнялись, целуясь и плача...

Скрипнули старые деревянные ступени — и обе женщины, кутаясь в платки, быстрым шагом, почти бегом начали спускаться в село под гору, по тропинке, противоположной въездной аллее — узенькой, так называемой, водовозной.

— Теперь, Тамара, — сказала Лизавета Юрьевна, — я сама вижу, надо уезжать, теперь пора.

— Надо бежать, — поправила ее сестра. И чем скорее, тем лучше. Где Елена Игнатьевна? А, Вы тут? Мы уезжаем, дорогая, а Вы как?

— Григорий запрягает, — робко сказала экономка. — Он хочет засветло — 25 верст не малая дорога. Ах, барышни, мои дорогие. Какая судьба! — Она плакала, утираясь кончиком белого головного платка. Голова тряслась, руки дрожали. — Для меня, барышни, Вы всегда баронши!

— Вот как раз это сейчас ни для кого не нужно! — даже засмеялась Марочка. — Ах, Елена Игнатьевна! У меня даже радость какая-то. Я здесь всегда грустна, а тут жизнь наметилась новая. Я в нее пойду целиком! Я верю в Россию, в торжество жизни и народа.

— Я еще сегодня говорила, что ты большевичка, — кисло, но веско заметила сестра.

— Елена Игнатьевна, уезжая, мы оставляем все. Возьмем только самое необходимое. Вас мы просим переслать при случае еще что-то.

— Но, дорогие барышни! Как вы полагаете, разве я могу остаться здесь? Меня зарежут в первые же дни как барскую прислугу. Умоляю, прошу вас — довести меня до Острова. Там я сяду на Двинск, там у меня брат, там знакомый ксендз, я устроюсь и доживу свое.

— Итак, поедем из села втроем, это даже интересно! — оживленно заявила Тамара.

— Какая ты, Тамара!.. — С горечью остановила ее сестра. Мы даже на могилах не успем побывать. Мы бросаем все. И кому? Лишь бы проскочить.

— Где там на могилах побывать, барышни! Синское горит в трех местах. Нам лишь бы кости свои увезти... — резюмировала Елена Игнатьевна.

Наверху, в милых светлицах Горайского дворца сестры Розен готовились к отъезду. Что можно было взять с собою при таких обстоятельствах? Горай еще не горели, такая усадьба чудом оста-

валась пока целой, давая возможность уехать этим троим. Но каждую минуту Ильинские, Власовские, Ребровские могли ворваться сюда в трезвом или пьяном виде, с оружием или хворостинами, рогатинами, с диким криком «Даешь усадьбу!». Слабый аргумент Сани и Наташи о том, что самогон задержит до завтра мужиков, не имел под собой почвы, раз все вокруг охвачено пожаром. В душе Елизаветы стоял первобытный хаос.

Жалеть именно для себя не приходилось ничего. Все надлежало оставить смерти. Но неусыпающий разум, вековечное радио человека восставало против безобразного истребления всего, попрания разгулявшимися подонками памяти отцов.

Тут хранились драгоценности — в белье, в шкатулочках и коробочках с атласными и бархатными углублениями. Как их взять, куда или кому оставить?

Со стен смотрели портреты, о них и думать не приходилось. Время бежало, и каждая минута становилась все дороже. Драгоценности хранились, и о них даже не вспоминали. Надежные слуги никогда не позволили бы себе даже коснуться до них. В некоторых вещах, часиках с брильянтами, в изящной золотой брошке — арфе с жемчугами — жил давно улетевший мир. Дымчатый топаз-кулон, как он прозрачно сиял когда-то в складках черного газового корсажа! Сережки, кольца, булавки, часики, фамильные браслеты и колье, бусы и медальоны... Сколько памяти о детстве и юности, сколько родительской любви и воспоминаний о безмятежной жизни! Рассовать по карманам? — Убьют. На шею? — Зарежут. Под корсет? — Могут раздеть. Отдать? Кому? Власти на месте нет, все рушится.

— Тамара, осторожненько сбегай в прачешную и отдай вот это Дарье Никитишне. Она тут, мне Елена Игнатьевна говорила. Ей будет кстати, у ней ни кола, ни двора и больная дочь. Пригодится... — внушительно и строго сказала Елизавета.

— Чудно, благородно с твоей стороны, Вета! И от меня, и от меня — вот это и еще это — мое приданое.

— Надобно было нам с тобой раньше, Тамара. Сейчас расчётливость уже не делает нам чести.

Тамара вернулась сияющая и получила новое приказание — сходить в конюшню и узнать, скоро ли лошадь? Григорий в благодарность получил кольцо и баронский портсигар с алмазным на застёжке. А буде они, баронши, проскочат безопасно до станции, то получит щедрую прибавку — таков уговор.

Парижские часы Вета опустила в боковой карман пальто, на шею крест с образком, на грудь паспорт; во внутренний кушак

юбки и в подол зашили самое дорогое — подарки родителей: серьги, медальоны, колечки. Елена Игнатьевна пришла торопить сестер. Григорий спешил тоже. Не то, чтоб устыдили его слова барышни Марочки, но он, уведомленный лучше кого другого в настроениях в округе, желал поскорее покончить с этим делом да и получить уже сегодня награду от бывших хозяек.

— Вот, Елена Игнатьевна, Вам от нас на память! — Это был небольшой, но туго набитый мешочек. Тут были и керенки, и золото, и камни. Вета спешно приметала тесьму, чтоб можно было надеть ей на шею.

Не бойтесь! — и она помогла экономке запрятать его подальше, под лиф и рубашку. — Поедете с нами, даст Бог, уцелеем. Этому новому правителю Гришке выгоднее нас доставить живыми на вокзал, я так полагаю...

— Барышни, — рыдая говорила экономка, — да что же вы для меня сегодня делаете и сделаете, я человек верующий. Там у Двинска мой духовный отец, ксендз, пробст — вечно, до смерти буду молить за Вас Деву Марию и пана Иезуса, лишь бы нам с вами спастись...

Оставалось многое. Фамильная икона в ризе с драгоценными камнями, футляры, реликвии семьи с баронскими коронами в золоте и камнях.

Если оставить здесь в тайниках, в стене или под половицей — дом сожгут до тла. Елизавета Юрьевна лихорадочно думала — куда и как? И вдруг решила закопать в саду или, вернее, дойти до оранжереи и опустить под одну из поднявшихся плит, под которую спускается труба для отопления. Так и сделала.

Прощание с садом длилось недолго. Туда обе сестры и экономка сошли с боковой террасы, куда выходила окнами белая зала. Оранжереи находились внизу, на третьем уступе сада. Одна из плит сокрыла сверток с иконой, несколькими футлярами, коронами баронов, гербы и печатки.

— Клад! — грустно сказала Вета. Кому-то он достанется. Если здесь будут взрывать и перепахивать... А вдруг все протянется недолго и мы снова, снова будем введены во владение? — Идем скорее, Тамара. Гришка наверное уже впряг лошадь и ждет нас у конюшни. Пора. Пятый час. Темнеет.

На лесенке веранды остановились, обернулись вместе: «Прости, Горай!»

Отметка, рыженькая кобыла с довольно правильной белой звездой на груди, пофыркивала, запряженная в просторный тарантас. Уезжали от конюшен, по водовозной тропинке, прямо на проселок, мимо бань. До бровей укутанные в серые платки с небольшими узлами в руках прежние баронши казались сельскими лавочницами или просвирями с соседнего погоста. Елена Игнатьевна могла немного напортить своими могучими объемами и новым модного покроя пальто. Ее посадили посередине, отъезжали, дружно сплотившись между собой, предоставив Григорию его кучерское насиженное место.

Лишь спустились с водовозной тропинки под Горайскую горку, как заметили укутанную фигуру Наташи. Она махнула рукой и когда подъехали, наклонилась и зашептала:

— Кормильцы, я опять прибегла. По прямому проселку не ежайте. Ильинские ребята идут на Гораи. Сбочку, сбочку, влево. Гришка, ты ведь знаешь: на Дарьино, а с Дарьино на Ершаково. К Крюкам в объезд на «сошу». Живо поверни в бочок, они еще когда встретятся, а уж вышли... С Богом, кормильцы!

Проселок был труден для тарантаса, но в санях было бы еще хуже. Подпрыгивали, кренились, но выезжали. И чем дальше оставляли усадьбу по пути к Острову, тем свободнее и веселее становилось в душе у Марочки. Через полчаса они проехали мимо Ершаково на тракт, чтобы оставить Гораи далеко позади.

Марочка, с задором юности, только что избежавшей опасности, спросила Григория:

— Гришка! По правде скажи, убьешь? Или довезешь? — Кучер не сразу ответил. С прежней повадкой разбитного Гришки, опоясанного, бывало, черным кушаком по синему кафтану, носившего перо на шапке, — лихо обернулся он и, скаля белые зубы, ответил: — А какой мне профит? Убивать-то? Я и так нажился — и еще наживусь. Вами много за прежнее доволен — и еще мзду получить надеюсь, как доставлю в целости.

— Зачем ты с ним разговариваешь, с этим смердом? — взмолилась шепотом Елизавета. — Я Вас прошу, Тамара, — шептала она уже по-французски, — не болтайте так легкомысленно с одним из воров и разбойников! — Но этот разбойник спасает нам сейчас жизнь, — ответила Мара.

Тарантас увозил их все дальше и дальше¹⁰.

Примечания

¹ Великолепное некогда поместье Гораи расположено примерно в 60 км от пушкинского Михайловского. С поместьем связаны пять имен декабристов, однако его история — отдельная тема.

² Рядом с могилами четы Розенов похоронена их воспитанница — сирота Нюша, умершая от чахотки (Анна Утретская, 1885 — 1906). Ее могила сохранилась на кладбище близ несуществующего ныне сельца Ильинского (в Синском устье).

³ Возраст Елизаветы к ноябрю 1917 г., когда сестры покидают Гораи, следом за ними сожженные, — 38 лет. Тамаре 23 года, в повести их годы убавлены.

⁴ Мария Ивановна Лорер, урожденная Корсакова (1777—1873), рано овдовев, усыновила сироту Елизавету Козлову (1818—1906), которая стала в 1840 году женой барона Владимира Александровича Розена, участника Кавказской войны, позже генерал-лейтенанта, сына Александра Владимировича, героя 1812 года. Младшим из пяти детей Владимира и Елизаветы Розен был Георгий, приемный внук Марии Ивановны и после нее владеец Гораев. М. И. Лорер получила это поместье в свое время от матери Агафьи Григорьевны Корсаковой, в девичестве Коновницыной (1748—1826).

⁵ Названное в повести имение Рогово располагалось на другом берегу р. Великой, неподалеку от Гораев. Принадлежало баронам Вревским, потомкам Евпраксии Николаевны Вульф (урожд. Вревской). Ныне там сохранился парк с аллеей дубов. Дарьино находится против Рогова, на горайской стороне.

⁶ Их отца звали Георгием, имя это тождественно Юрию. Именно этим отчеством наделены сестры.

⁷ Управитель Гораев Донат говорит, что он из Касьянов. По другим запискам В. Берхман известно, что в деревне Борки — близ Гораев и Скокова — жило семейство Касьяновых. Петра, его главу, называли «льной царь». Фотография всего семейства, уважаемого за трудолюбие и Розенами, и Берхманами, хранится у А. Н. Великотного, племянника автора повести «Отъезд».

⁸ Донат советует ехать не к Острову, а на юг, к тогдашней границе.

⁹ Соше — простонародное наименование шоссе.

¹⁰ О дальнейшей судьбе Елизаветы и Тамары кое-что известно. Елизавета, с ее великолепным голосом, училась пению в Италии; в 1914—1916 годах давала в пользу раненых благотворительные концерты — в Опочке, Острове, живя в родных Гораях. Замужем никогда не была. Тамара вместе с сестрой покинула Гораи в ноябре 1917 г. Они добрались до Ревеля. Здесь 23 апреля 1923 г. Тамара венчалась со светлейшим князем Григорием Григорьевичем Волконским (р. 1900) — одним из совладельцев имения Фалль, в 20 км на запад от Ревеля. Некогда Фалль принадлежал А. Х. Бенкендорфу, предку Г. Г. Волконского (в поместье фамильный склеп Бенкендорфов). Брат князя Петр Григорьевич (1897—1926) в сент. 1924 г. стал мужем Ирины Сергеевны (1903—1969), дочери композитора Рахманинова. Имение было национализировано Эстонией, и Волконские оказались весьма небогаты. На 20-х годах сведения о сестрах Розен обрываются.

Предисловие, публикация и примечания

Н. К. Телетовой

С.-Петербург

*Р. Ш. Ганелин,
Б. Ф. Егоров
С.-Петербург*

М. А. Стахович и его воспоминания¹

В историографии и истории культуры русской провинции заметным явлением стал выпуск в свет сборника «Елецкие корни». Елец, 1996 (Очерки истории Елецкого уезда: Вып. 2). Книга посвящена елецким дворянам Стаховичам. Здесь воспроизводится книга М. А. Стаховича (1820—1858) «История, этнография и статистика Елецкого уезда»; воспоминания А. А. Стаховича (1830—1913); мемуарные записки М. А. Стаховича-младшего (1861—1923); воспоминания М. А. Стаховича (1889—1967) и работа ныне здравствующей Марии А. Стахович о генеалогии своего рода. Книга иллюстрирована архивными и современными фотографиями. Публикуемая статья является своеобразным дополнением к одной из частей этой замечательной книги.

Михаил Александрович Стахович (1861—1923) принадлежал к родовитому орловскому дворянству. Его дядя, полный тезка, т. е. тоже Михаил Александрович Стахович (1820—1858) был в свое время известным писателем и собирателем народных песен, с ним дружил Ап. Григорьев; добрый, талантливый, он не жалован судьбой: был зверски убит своими крестьянами (один из них — его бурмистр) с целью ограбления. Отец мемуариста Александр Александрович (1830—1913) был известен в петербургском обществе как актер-любитель.

Наш А. М. Стахович прославился на общественно-политическом поприще: он стал одним из организаторов партии октябристов, был депутатом I и II Государственной думы, членом Государственного совета. При Временном правительстве он был генерал-губернатором Финляндии. После Октябрьской революции 1917 г. сохранил свою жизнь, оказавшись в эмиграции.

По своим воззрениям М. А. Стахович находился в числе умеренных представителей так называемой «организованной ответственности», которая пыталась придать либеральный курс развитию России в последние десятилетия существования царизма и

тем самым спасти его от гибели. Как и многие богатые помещики, он стал земским деятелем. В этой среде, включавшей в себя наиболее образованную и озабоченную общественными интересами часть помещичьего дворянства, и возникла идеология русского либерализма. Стахович говорит об этом, называя «старших передовых земцев (больше всего тверских и московских)». В течение многих лет он был предводителем дворянства Орловской губернии. Известный знаток политической жизни предреволюционной России В. В. Водовозов считал его либеральным славянофилом.

Как общественный деятель Стахович всегда открыто выступал в защиту того, что позднее получило название «прав человека». Ничто не могло его тут удержать. «В период безвременья выделился как передовой земец; его речи к сельским учителям, в память императора Александра II (1892 г.) и о свободе совести (1900 г.) сделали его имя известным в России; за две последние речи он даже подвергся служебному взысканию», — отмечалось в его биографии, составленной после избрания в Первую думу (*Альбом* 1906: 52). Речь о свободе совести, произнесенная на миссионерском съезде, была встречена нападками консервативной прессы.

В 1902 г. ему, как и его брату Александру Александровичу Стаховичу, в числе большой группы участников общероссийского земского совещания было объявлено высочайшее неудовольствие (всякое объединение земств считалось предосудительным). А в 1904 г. он выступил со статьей, означавшей резкий протест против произвола властей и бесправия подданных. В качестве сословного представителя он участвовал в заседании Судебной палаты по делу об убийстве нижними чинами полиции за пять лет до того проходившего через Орел по пути в Мекку «сарта» (т. е. узбека) Ибрагимова. Как бывший судья М. А. Стахович ужаснулся той атмосфере «правового убожества», как выразился позже известный адвокат Ф. Н. Плевако, и равнодушию к человеческой судьбе, которая сложилась вокруг процесса. Его позиция определялась, по словам Плевако, не только «всем запасом судейского мужества», но и «сознанным долгом представителя того сословия, которое сугубой борьбой за интересы младших братьев смыкает исторический грех свой перед родиной» (Плевако 1993: 512). Такие представления о дворянской чести в кругу Стаховича действительно существовали, и они-то и вошли в противоречие с другими, по которым долгом дворянина и патриота была безоговорочная поддержка власти. При этом противостояние власти как

самоцель было Стаховичу совершенно чуждо (он провозглашает это и в опубликованной мемуарной заметке).

Его статья о судебном процессе была запрещена цензурой в «Орловском вестнике», не была напечатана в «Петербургских ведомостях». В № 2 «Права» за 1904 г. она была сначала помещена, но затем по требованию цензуры изъята. Как часто в таких случаях бывало, ее копии получили распространение, а в № 44 заграничного «Освобождения», которое широко читалось в России, как некогда герценовский «Колокол», она была, наконец, опубликована.

Царский фаворит кн. В. П. Мещерский в № 28 своей газеты «Гражданин» за 1904 г. обвинил Стаховича в участии в революционном издании. Стахович подал на Мещерского в суд, обвинив его в клевете, обвинение это поддерживали В. А. Маклаков и Плевако, и Мещерский был признан виновным в клевете (*Плевако* 1993: 510). В № 46 «Освобождения» кн. Г. М. Волконский сообщил, что статью Стаховича передал в «Освобождение» он, а не автор.

По словам весьма осведомленного в делах государственных верхов В. И. Гурко, в эти годы М. А. Стахович, как и кн. Алексей Дмитриевич Оболенский, оказывал известное влияние на С. Ю. Витте, перемещенного в 1903 г. из кресла влиятельного министра финансов на очень высокий, но с ограниченными правами пост председателя комитета министров. «Для Витте кн. Оболенский и Стахович, — писал Гурко, скептически относившийся к ним обоим, — были в течение нескольких лет нимфами Егериями, истолкователями внутреннего строя русской жизни, обладателями дара распознавания смысла и сущности господствующих в стране общественных течений. Происходило это, разумеется, от того, что сам Витте не был вовсе знаком с русской провинциальной жизнью и вообще с бытовыми условиями страны, что и не дало ему возможности в течение нескольких лет распознать, что ни Оболенский, ни Стахович не обладали государственным пониманием вещей, а были типичными представителями русских провинциальных мыслителей, обладающих лишь скудными положительными знаниями при определенно дилетантском отношении к самым сложным вопросам народной жизни» (*Гурко*: 192; благодарим за сообщение об этом источнике Б. В. Ананьича).

После манифеста 17 октября 1905 г. М. А. Стахович вошел в «Союз 17 октября», учрежденный консервативным меньшинством земских и городских организаций. «Октябристы» стояли за

поддержку правительства. Они требовали сохранения существовавшего государственного строя, определявшегося ими вначале как конституционная монархия, а затем стали отстаивать совместимость манифеста 17 октября с самодержавием.

Возглавив после манифеста 17 октября Совет министров, С. Ю. Витте, желая привлечь в состав своего правительства представителей общественности, предложил пост товарища одного из министров и Стаховичу. «Стаховича я ранее порядочно знал, — писал о нем Витте в своих воспоминаниях. — Это очень образованный человек, в полном смысле «gentilhomme», весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русскою легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае, это во всех отношениях чистый человек. Он также все время участвовал в съезде общественных деятелей до 17 октября и после, до первой думы куда он был выбран от Орловской губернии членом. Зная и рассчитывая, что он будет выбран, он от всякого правительственного поста в разговоре со мной отказался, но все время участвовал в совместных совещаниях сказанных общественных деятелей со мною» (*Bumme* 1960: 69).

Избранный в первую Думу, превосходившую своим радикализмом последующие, он вошел в состав ее весьма немногочисленного умеренно правого крыла. Думское требование амнистии он предлагал сопроводить призывом к населению о прекращении террора. У него было на это особое моральное право, потому что еще в феврале 1906 г. на заседании Союза 17 октября он заявил, что подавление революции возможно лишь когда она налицо, правительство же продолжает карательные действия без необходимости. Среди возражавших ему был и видный октябрист граф П. А. Гейден. В правительственном офицозе «Русское государство» был помещен протест генерал-лейтенанта О. С. (О. С. 1906). Предложение М. А. в Думе принято не было, и он не участвовал в голосовании ее ответного адреса на тронную речь, в котором содержалось, кроме требования широкой политической амнистии, и требование ответственности министров перед Думой. Он признавал их ответственность лишь перед царем, отрицая самую идею парламентаризма. Вместе с гр. П. А. Гейденом и Н. Н. Львовым основал в думе фракцию мирного обновления, в которую вошло 24 депутата. Роспуску Первой думы, вызвавшему протест ее депутатов — т. наз. Выборгское воззвание, Стахович, Гейден и Львов подчинились, выступив с возванием «От партии мирного обновления». Впослед-

ствии, когда комитет партии признал несовместимым участие в ней и в Союзе 17 октября, Стахович покинул Союз. Естественно, что Стахович был одним из тех «общественников», с которыми новый глава правительства П. А. Столыпин вел переговоры об их вхождении в состав кабинета. Переговоры эти ни к чему не привели. «Очевидно, нас с вами приглашали на роли наемных детей при дамах легкого поведения», — отозвался об этом Гейден. Стахович в специальном письме наиболее умеренному и влиятельному земскому лидеру Д. Н. Шипову 20 июля 1906 г. дал весьма реалистическую и лишенную верноподданнической почтительности оценку поведения царя, убедившегося в своей мощи в результате подавления революционных выступлений масс — «все хотят оставить по-старому... не желая в сущности ни в чем обновиться» (*Шипов* 1918: 473).

И в дальнейшем во 2-й Думе и в Государственном совете, о пребывании в котором М. А. Стахович упоминает в опубликованной заметке, он занимал позицию либерала, во многом противостоявшего власти. В Государственном совете он был среди левых. Но при этом всегда заботился о том, чтобы его оппозиционность не носила антигосударственного характера. Его мысли по этому поводу в опубликованной заметке являются подведением итогов всей политической деятельности. Отсюда его дружеские связи с сановниками реформаторского либерального направления. «Мой большой приятель», «очень близкий мне человек», — отзывался о нем Витте (*Витте* 1960: 423, 548). Близок он был и к И. И. Толстому и его либеральному окружению. Встречался с вел. князем Николаем Михайловичем, известным историком.

Как и многие люди его круга, М. А. Стахович был готов помочь преследуемым за революционную деятельность. В этой связи его имя упоминалось в НКВД в июне 1941 г. Допрашивавший Ю. М. Стеклова следователь Р. А. Гольдман задал арестованному вопрос, ходатайствовали ли А. И. Гучков и М. А. Стахович («эти монархисты») о его освобождении из-под стражи в 1910 г. Стеклов ответил, что об участии в этом Гучкова он не знает, Стахович же, с которым он познакомился у М. М. Ковалевского в 1906 г., действительно ходатайствовал о его освобождении на время родов жены (*Литвин* 1994: 164).

Осведомленность и участие М. А. Стаховича в делах правительственных сфер были значительны не только в последние годы существования царизма, но и после февральской революции. Некоторые известные нам разрозненные сведения об этом убедительно свидетельствуют, что его мемуары стали бы важным ис-

точником по политической истории России начала XX века. Так, И. И. Толстой записал в своем дневнике рассказ М. А. Стаховича о том, как произошел роспуск Думы в сентябре 1915 г. после пресловутого «бунта министров». Стахович рассказал, что абсолютное большинство министров стояло за продолжение думской сессии, но И. Л. Горемыкин привез царю в Ставку письмо председателя Совета объединенного дворянства о необходимости роспуска. По словам Стаховича, царь колебался и предоставил решение Совету министров. «На всякий случай» Горемыкин получил манифест без дат и, проставив их, предъявил его министрам как изданный царем. Сторонниками Горемыкина были в тот момент, по словам Стаховича, В. Н. Шаховской, А. Д. Самарин, А. А. Хвостов, противниками С. Д. Сазонов, П. Н. Игнатьев, А. А. Поливанов, П. А. Харитонов, Н. Б. Щербатов, А. В. Кривошеин (Толстой 1997: 672). Разумеется, все это было достоянием самого узкого круга, к которому Стахович был, по-видимому, прикосновенен.

В марте 1917 г., как сообщал в своих воспоминаниях член Государственного совета в последнем его составе П. П. Менделеев, 30—40 членов Государственного совета, обеспокоенных политикой Временного правительства, собрались у своего коллеги барона В. В. Меллер-Закомельского, который был очень близок с министром-председателем Временного правительства Г. Е. Львовым. «Казался посвященным во все намерения и тайные виды Временного правительства, — писал о Меллере Менделеев. — Делился с нами, если не всеми, то во всяком случае значительной частью добытых из первоисточника сведений. Успокаивал нас в наших сомнениях и возмущении по поводу засилья Совета рабочих депутатов и невероятной уступчивости правительства. Уверял, что никакого двоевластия нет, что Временное правительство действует обдуманно, планомерно, с тонким расчетом. Именно такой образ действий наилучший для окончательного сведения на нет самочинной власти Советов. То же повторял и вновь назначенный Финляндский генерал-губернатор М. А. Стахович. Он доказывал, что общественность должна в эту критическую минуту непременно поддержать с трудом установившееся соглашение между правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов». «Приблизительно то же услышал и из уст самого Г. Е. Львова, которого посетил во второй половине марта», — продолжал Менделеев, добавив, что Львов призывал верить в здравый смысл русского народа, но особой убежденности в нем не было. «Подлинный непротивленец, тол-

стовец...», — писал о Львове Менделеев. — Только такой человек и мог принять безумную меру — в первый же день революции лишит всю громадную страну опытного административного и полицейского аппарата» (Ганелин 1992: 163).

Впрочем, что касается политики соглашения Временного правительства с Советом, то при тех целях, которыми она оправдывалась, призыв к ее поддержке не означал толстовского непротivления.

Деятельность М. А. Стаховича на посту Финляндского генерал-губернатора (сведения о ней нам любезно сообщил И. М. Соломещ) явилась логическим завершением его политической карьеры. Само назначение его на этот пост соответствовало тем обещаниям, которые были сделаны от имени Временного правительства Ф. И. Родичевым в марте 1917 г. во время посещения Финляндии — отменить все государственные акты прежней власти, ущемлявшие автономию княжества, созвать Сейм (выборы состоялись еще в 1916 г. и привели к ошеломительной победе социалистов (103 места из 200), однако он так и не был созван до Февральской революции). Стаховича в Финляндии считали либералом, а потому его назначение на смену Ф. А. Зейну рассматривалось как добрый знак из Петрограда. Сам он считал своей задачей обеспечить автономные права Финляндии и поддерживать порядок на условиях *status quo*: Временное правительство является законным правопреемником власти императора, в том числе и в отношении Великого княжества Финляндского, следовательно, вопрос об изменении ее статуса может быть решен только российским Учредительным собранием.

Стахович проявил себя очень осторожным и здравомыслящим политиком и чиновником, умевшим договариваться как с финскими левыми (особенно в первые месяцы его пребывания в должности), так и с правыми. Объективно действия Стаховича способствовали относительно успешному сотрудничеству финских социалистов и представителей буржуазных партий, по крайней мере, до июля. Ладил он и с Гельсингфорским Советом депутатов армии, флота и рабочих. Есть глухие упоминания о том, что именно Стахович удержал Временное правительство от применения силы и других резких шагов в отношении финнов, особенно в июле, в связи с так называемым «законом о власти», когда под впечатлением от июльского кризиса в России финны попытались «явочным порядком» провозгласить независимость и полный государственный суверенитет. Похоже,

именно Стахович в конце июля лично убедил Керенского занять выжидательную позицию.

Отставка Стаховича была связана, по крайней мере внешне, с продовольственным кризисом в княжестве. В августе финны авансом оплатили поставки российского зерна, однако в начале сентября им (через Стаховича), было заявлено, что всякий хлебный экспорт из России прекращен. Было совершенно ясно, что зимой будет возможен настоящий голод. Стахович подает прошение об отставке и 17 сентября его сменяет Н. В. Некрасов.

* * *

Несколько слов о том, как характеризует М. А. Стахович Александра III и его царствование. Ничуть не возражая мемуаристу по поводу нравственного облика царя, отметим, что в Саратове всегда считали, что живший там много лет выдающийся хирург, действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, проф. Сергей Романович Миротворцев (1878—1949), ученик лейбмедика С. П. Федорова (см. — *Миротворцев* 1956), был внебрачным сыном Александра III.

Как человеку и царю М. А. Стахович давал Александру III совершенно категорическую оценку: «Это был лучший и честнейший, нет, даже чистейший человек из 160 миллионов своих подданных. Но это был вреднейший царь, погубивший династию Романовых». Между тем, эмигранты-мемуаристы, вероятно, вслед за Витте чаще считали погубителем строя и династии Николая II. Свой оригинальный взгляд Стахович объяснял здесь нежеланием Александра III добиваться «популярности разменной, но очень обиходной». Однако на первых страницах своей заметки М. А. Стахович дал иное объяснение этому, сославшись на то, что царствование Александра III было «победой строгого режима реакции», превратившегося «в систему, в традицию», в «борьбу правительства со всей страной» при Николае II.

В опубликованных воспоминаниях ценны не только такие нестандартные характеристики, но и многие подробности описываемых событий, особенно — известной публичной лекции Вл. Соловьева перед казнью народовольцев, знаменитой Пушкинской речи Достоевского, лекции А. Ф. Кони в училище правоведения в день смерти Достоевского, похорон писателя, поступков принца Петра Ольденбургского.

Но за давностью лет многое в памяти мемуариста стерлось, сдвинулось во времени, переакцентировалось. Возьмем, например, сложнейшую тему: отношение Достоевского к Тургеневу и Л. Толстому. По этой теме имеется уже обширная исследовательская литература, отсылаем интересующихся к наиболее обстоятельным трудам (*Апостолов* 1928; *Гусев* 1960; *Гутьяр* 1902; *Волгин* 1991: 262—298).

Стахович в общем прав, отмечая уважительное отношение Толстого к творчеству Достоевского, но совсем не прав, характеризуя отношение Достоевского к Толстому как пропитанное ненавистью. Это совсем не так. Достоевский, правда, сильно ревновал к Толстому-художнику, как и к Тургеневу, завидовал их успеху, завидовал их материальной обеспеченности; с позиций разночинца называл произведения Толстого и Тургенева «помещичьей литературой» (письмо к Н. Н. Страхову от 18/30 мая 1872г.), однако, понимая значение Толстого-писателя, явно желал познакомиться и сблизиться с ним: журил Страхова, что тот не познакомил с Толстым, когда все они присутствовали на публичной лекции Вл. Соловьева 10 марта 1878г., предполагал после известных Пушкинских торжеств в Москве в июне 1880 г. поехать в Ясную поляну и т. д.

Взаимоотношения же Достоевского и Тургенева были, в самом деле, напряженными, конфликтными, доходившими до обоюдной ненависти. Опять же отсылаем интересующихся к указанной литературе.

Следует еще отметить некоторое завышение Стаховичем своей роли в общении, в близком знакомстве с великими писателями. Лишь применительно к Толстому можно говорить именно о близком знакомстве с ним мемуариста. Стахович не только был семейным другом, но совершил однажды (апрель 1886 г.) вместе с Л. Толстым и сыном художника Н. Н. Ге пеший «поход» из Москвы в Ясную поляну. В музее Толстого (Москва) хранится дневник Стаховича, в котором описывается это путешествие².

Будь воспоминания продолжены, они содержали бы, несомненно, упоминания о встречах с Л. Толстым. Впрочем, это не единственная причина, по которой приходится лишь сожалеть, что воспоминания обрываются чуть ли не на полуслове.

Примечания

¹ В сборнике «Елецкие корни» помещены «Записки М. А. Стаховича-младшего» (С. 135—164), представляющие собой, по-видимому, начальный фрагмент незавершенных воспоминаний. Цель настоящей заметки — сообщить ряд сведений об авторе воспоминаний и его круге, которые, вероятно, нашли бы в них отражение, будь они продолжены, а также прокомментировать некоторые его сообщения и оценки.

² Отрывки из него опубликованы: *Шумова* 1978. Ср. также колоритные строки из воспоминаний В. С. Георгиевского (митрополита Евлогия), встречавшего обоих «путешественников» в доме тульского товарища прокурора С. А. Лопухина: «Как-то раз Толстой со Стаховичем пришли из Москвы в Тулу пешком в лаптях и наследили лаптями на коврах; лакеи потом ворчали: „дурят господу...“» (*Евлогий* 1947: 50).

Библиография

Альбом 1906 — Альбом портретов членов Государственной думы. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. М., 1906. С. 52.

Апостолов 1928 — Н. Н. Апостолов. Л. Толстой и Ф. М. Достоевский // Апостолов Н. Н. Лев Толстой и его спутники. М., 1928.

Витте 1960 — Витте С. Ю. Воспоминания: В 3 т. М., 1960. Т. 3.

Волгин 1991 — Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1991 (гл. XV. Развязка с Тургеневым — С. 262—298).

Ганелин 1992 — Ганелин Р. Ш. Материалы по истории Февральской революции в Бахметьевском архиве Колумбийского университета // Отечественная история. 1992. № 5. С. 156—166.

Гурко — Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. Часть II. Гл. IV. // Архив Гуверовского ин-та войны, революции и мира. Коллекция В. И. Гурко.

Гусев 1960 — Гусев Н. Н. Толстой и Достоевский // Яснополянский сборник: Год 1960. Тула, 1960. С. 108—128;

Гутьяр 1902 — Гутьяр Н. И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский // Русская старина. 1902. № 2. С. 323—336;

Евлогий 1947 — Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные им по рассказам Т. Манухиной. Париж. YMCA-Press. 1947.

Литвин 1994 — Литвин А. Без права на мысль. Казань, 1994.

Миротворцев 1956 — Миротворцев С. Р. Страницы жизни. Л., 1956.

О. С. 1906 — О. С. Письмо в редакцию // Русское государство: Веч. газ. «Правительственного вестника». 1906. № 11. 14 (27) февраля.

Плевако 1993 — Плевако Ф. Н. Избранные речи. М., 1993.

Толстой 1997 — Толстой И. И. Дневник: 1906—1916. СПб., 1997.

Шипов 1918 — Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918.

Шумова 1978 — Шумова Е. М. Николай Палкин: (Из дневника М. А. Стаховича) // Октябрь. 1978. № 8. С. 220—221.

*А. Ю. Сорочан
М. В. Строганов
Тверь*

Провинциальный текст в русской художественной культуре

С 25 по 29 сентября Тверской университет и Научный совет по комплексной программе «История мировой культуры» РАН при поддержке Института Открытое общество (Фонд Сороса) провели в Твери вторую международную научную конференцию «Провинциальный текст в русской художественной культуре» (первая состоялась в Твери в сентябре 1997 г.). Широкий круг вопросов был связан со спецификой культурного развития русской провинции и перспективами ее изучения.

Опыт дефиниции понятий «провинциализм» и «провинциальность» предпринял М. В. Строганов (Тверь), который указал, что провинциализм — это одно из воплощений социальной иерархии, организованное (в отличие от других — сословных, возрастных) не по «вертикали», но по «горизонтали», в пространстве. Провинциализм осознается самим носителем, который стремится компенсировать свою социальную неполноценность перед представителями высших социальных ступеней. Провинциальность — это неотрефлексированное самим носителем отставание в моде, манере поведения и т. д., которое может быть легко преодолено при освоении этим человеком современного уровня культуры.

П. А. Клубков (С.-Петербург) рассматривал провинциализм как лингвистическое явление: как слово или выражение либо специфичное для какой-либо провинции (областное), либо специфичное для провинции вообще («нестоличное слово»). Если использовать это слово в первом значении, следует отличать его от диалектизма. Провинциализмы являются элементами не диалекта, а группового языка жителей города, предметом не диалектологии, а социальной лингвистики. Второе понимание термина со-

ответствует очень ограниченному числу языковых средств, связанных с выражением оппозиции столица/провинция.

С. Б. Адоньева (С.-Петербург) развивала положение о том, что коллективные и индивидуальные формы жизни (жизненный стиль) определяются во многом позицией, занятой в отношении времени. Изъятие себя из настоящего имеет следствием расщепление субъекта на наблюдателя и персонаж наблюдаемого сюжета. В таком случае жизненный сюжет оказывается связан с наблюдателем косвенно. Сюжет располагается во времени, которое можно назвать ненастоящим. Оно представляет собой существование «по внешнему ряду». Ненастоящее может служить сюжетом, тогда оно формирует прошлое человека. Ненастоящее может быть сценарием, и тогда оно делает предсказуемым поведение человека в «предлагаемых обстоятельствах». Стилистических вариантов такого ненастоящего может быть много, в отличие от единственного настоящего, перед лицом которого нельзя сыграть ни в какую игру. В качестве примера ненастоящего рассмотрены стереотипные формы быта и авторские (сочинительские) тексты, где формы ненастоящего становятся элементом поэтической структуры.

Целый ряд докладов и сообщений был посвящен описанию и характеристике типологических свойств текстов, относящихся к конкретным регионам русской провинции. В докладе В. В. Абашева (Пермь) описана структура и семантика пермского текста, своеобразия которого определяется напряженным взаимодействием семиотики имени и семиотики места. Город, основанный в 1781 году указом Екатерины II в качестве административного центра нового наместничества, получил имя древней земли с богатой историей и легендарным ореолом. В результате семиотическая история Перми и пермского текста складывается как стремление города овладеть или, скорее, присвоить себе историю земли. Пермский текст складывается как непрерывное взаимодействие двух начал: текста идеального города и текста города заброшенного, вымершего.

О. Р. Николаев (С.-Петербург) анализировал одну из граней торопецкого текста — историю характерологической репутации торопчан. Общероссийская репутация Торопца формируется в XVIII веке — «золотом веке» торопецкого купечества. Торопчанам приписывается страсть к плутовству и обманам, что закрепляется в целом ряде присловий — египчане, «наставные головы». «Плутовской» миф оказывает воздействие на локальное самосознание, воплощаясь как в ряде купеческих преданий (например,

о чугунной медали Екатерины), так и в переосмысление традиционных черт городского культурного быта (двойные фамилии, торговое арго и др.). Реальная подоплека этой характеристики — пограничность Торопца, что порождает и обманные (контрабандные) способы торговли, и особый «пограничный» менталитет. С конца XVIII века торопецкий плутовской миф постепенно утрачивает общероссийский масштаб, сохраняясь лишь в пределах локальной традиции.

И. А. Разумова (Петрозаводск) на материале поэтических произведений (от Державина и Глинки до русских и финноязычных поэтов наших дней), очерковой литературы и устных текстов, представляющих современный дискурс, устанавливала основные образы-символы Карелии — природные и культурные, определяющие специфику «карельского текста».

Е. В. Милюкова (Москва) исследовала поэзию рабочих Южного Урала, в которой «железо» и «огонь» выступают как основные категории-характеристики жизненного пространства и оказываются знаками вытеснения из сознания людей уральского индустриального города понятия ДОМ, заменяемого понятиями ЦЕХ и ЗАВОД, принимающими на себя значение новой жизненной доминанты. Выявление специфических смыслов мифопоэтического контекста позволяет сделать вывод о некоторых способах разрушения нравственно-экологического сознания людей в советскую эпоху и определить «челябинский текст» как наиболее репрезентативный для нее.

Многие участники конференции обратились к провинциальному фольклору, различные черты которого стали базой для их научных поисков.

Среди противопоставлений, которые определяют многослойный, даже мозаичный характер русской культуры, особую роль играют оппозиции: «культура светская — культура церковная», «культура народная — культура элитарная». А. Л. Топорков (Москва) рассматривал формулу самоотождествления со зверем (типа «я волк, ты овца»), которая бытовала во множестве вариантов в устных и письменных молитвах и заговорах XVIII — XIX веков.

В. Л. Кляус (Чита) анализировал записи старообрядческого фольклора в семьях Забайкалья. Наблюдения над «сюжетом» действий знахарки и больного показывают, что при сохранении общей схемы поведения в обряде лечения «сглаза» происходит включение элементов, имеющих случайный, индивидуальный характер, что обусловлено обстоятельствами исполнения и личностью знахарки. «Сюжет» действий данного обряда может конта-

минироваться с «сюжетами» действий в иных обрядах. Текст действий и словесный текст заговора, пересекаясь, взаимно дополняют друг друга в едином тексте обряда.

Т. В. Цивьян (Москва) представила письмо из Медыни — подлинный документ из семейного архива, датированный 1875 годом, который вписывается в традицию родительских поучений и наставлений (от Владимира Мономаха и далее). Наряду с «сельскохозяйственной педагогикой», предполагавшей «крушение ребер», существовала и другая, основанная на доброжелательном увещании, на деликатных просьбах, на «дружеском договоре» (как об этом писал Радищев). Возможно, именно эта воспитательная линия приводила к гораздо более весомым результатам — взаимному уважению родителей и детей, которые были по отношению друг к другу «добрыми» во всех многогранных смыслах этого слова.

С. В. Фролов (С.-Петербург) рассматривал функционирование «провинциального текста» в «Трех русских песнях» С. В. Рахманинова. Периферийные народные тексты, рассмотренные как проявление русской исторической памяти, обретают особое значение. Рассмотрение женской судьбы в русской симфонической музыке (даже на столь локальном уровне) прочувствовано сквозь призму русской государственности.

Провинциальная культура оказалась весьма значимой и для истории русской литературы XIX — XX веков. Своеобразие трактовок провинции у самых разных авторов нашло свое отражение в тематике выступлений.

В. В. Слобнов (Тверь) охарактеризовал своеобразное видение провинциальной жизни у одного из известных поэтов пушкинской поры Н. М. Языкова. Эта жизнь представлена не в дорожных впечатлениях, не в калейдоскопе событий и лиц, но статике отдельных частных зарисовок, в жанре литературного экспромта. Героическое прошлое провинции (Симбирская, Псковская губернии, Ливония) изображается масштабно и романтически-возвышенно, а университетская жизнь в Дерпте замыкается в достаточно тесный круг друзей, тех занятий и увлечений, которые нравились самому поэту. В этом сказались и усадебное воспитание поэта, и влияние романтической эстетики, которая усваивается им чрезвычайно быстро и органично.

Доклад В. Ш. Кривоноса (Елец) послужил основой статьи, публикуемой в наст. изд. (С. 236—249).

В. Н. Сажин (С.-Петербург) по материалам рукописной лекции графа Завадовского описал составлявшийся в течение всего XIX века комплекс сборников, содержащих обширный репер-

туар стихотворной и прозаической эротики. Являющийся продуктом столичной (преимущественно московской) культуры, он может рассматриваться как столичное литературное явление с провинциальной судьбой: эта литература мало известна, распространение ее очень ограничено, она существует с оглядкой на печатную литературу и пытается ей подражать. Помимо того, в этой литературе присутствует оппозиция «столица — провинция», интерпретируемая как развращающее влияние порочного города на патриархальную провинцию.

А. Ф. Белоусов (С.-Петербург) проследил «уездную» тему в творчестве поэта и прозаика А. П. Шполянского (1888—1957), более известного под псевдонимом «Дон-Аминадо», который вошел в литературу в 1910-е гг., когда «уезд» и «уездное» считались синонимом «косности», «скуки» и «бездуховности». Однако в стихотворениях Дон-Аминадо 1920—1930-х годов возникает прямо противоположный образ «уездного» города России, воспринимаемого сквозь дымку воспоминаний о своей молодости и преобразующегося как место, где царит весна, где люди молоды и влюблены. Весьма характерно в этом смысле стихотворение «Уездная сирень» (1929—1935): сирень, ставшая со второй половины XIX века символом весны, помещается в самый центр «уездного» мира. Восторженное отношение к своему «уездному» прошлому сохранилось и в последней книге писателя «Поезд на третьем пути», где провинция выступает как «потерянный, невозвращенный рай». Этот образ объясняется не только эмигрантской ностальгией, но культом молодости, идеологией «простой», естественной жизни, активно и ярко проявившимися в творчестве Дон-Аминадо.

М. П. Одесский и Д. М. Фельдман (Москва) рассматривали интерпретацию мифа-текста Одессы, принципиального для истолкования романной дилогии И. Ильфа и Е. Петрова. В «Двенадцати стульях» Одесса представлена как Старгород обыкновенный провинциальный город, в «Золотом теленке» — как Черноморск, уникальный топоним с особым мифом. Соответственно, в первом романе Одесса/Старгород противопоставляется столице с негативным знаком, во втором — с позитивным.

Немало места в программе конференции было уделено «тверскому тексту». Целый ряд местных ученых выступил с сообщениями, посвященными литературной истории тверской провинции и деятелям русской литературы, творившим на тверской земле.

С. Ю. Николаева (Тверь) представила памятник тверской письменности начала XVII в. «Сказание о явлении иконы Бого-

родицы во Ржеве на Оковцах». Ранее не публиковавшаяся рукопись хранится в Государственном архиве Тверской области и представляет большой интерес с литературной точки зрения, а также содержит важный материал для характеристики духовной и культурной традиции Ржева — центра старообрядчества в Тверской губернии.

Л. Л. Ерохина (Тверь) обратилась к мало изученным страницам жизни и творчества Ф. Н. Глинки, связанным с Тверью. Были, в частности, приведены выдержки из писем писателя к его невесте — А. П. Голенищевой-Кутузовой: стихотворения, которые в период сватовства и супружеской жизни Федор Николаевич и Авдотья Павловна посвящали друг другу. Ранее не публиковавшиеся записные книжки Глинки 1847—48 гг. позволяют более полно представить мировоззрение писателя означенного периода. Тверские стихотворные тексты позднего Глинки (с 1862 г.) дают возможность предположить, что в системе ценностей писателя провинциальная жизнь не только занимает важное место, но и противопоставляется и предпочитается столичной.

А. Ю. Сорочан (Тверь) анализировал те главы из романа И. И. Лажечникова «Басурман», действие которых происходит на тверской земле в период падения независимости удельного княжества. Эти фрагменты, созданные в Тверской губернии, позволяют по-новому взглянуть на историческую концепцию писателя, смело порывающего со взглядами Н. М. Карамзина и противопоставляющего личные христианские добродетели «государственным» заслугам.

Т. А. Ильина (Тверь) сообщила материалы об усадьбе Коноплюно и ее месте в жизни И. И. Лажечникова, который 22 года (с 1831 по 1853) провел на тверской земле. В 1831 г. он был назначен директором Тверской мужской гимназии и приехал в Тверь, уже будучи автором нашумевшего романа «Последний Новик». Служба тяготила писателя, и в 1835 г. он купил живописное имение Коноплюно в 7 километрах от Старицы, куда и переехал в 1837 г. после долгожданной отставки. Летом 1836 г. у Лажечникова гостил М. А. Бакунин, а в июле 1838 г. В. Г. Белинский, Н. В. Станкевич и В. П. Боткин. В Тверской губернии были написаны романы «Ледяной дом», «Басурман», драмы «Христиерн II и Густав Ваза», «Опричник». В мае 1843 г. Лажечников был назначен тверским вице-губернатором и покинул Коноплюно, поселившись в имении Никольское Тверского уезда. До настоящего времени в Коноплюно сохранился барский дом и парк.

Е. Н. Строганова (Тверь) рассказала об известном в 30—50-е гг. XIX в. «литературном чуде» И. Е. Великопольском и раскрыла воздействие поэзии Пушкина не только на художественное творчество Великопольского, но и на его человеческую судьбу. Документы, хранящиеся в Государственном архиве Тверской области, ярко демонстрируют драматизм последних лет жизни Великопольского и его семьи.

Т. В. Волкова (Тверь) рассказала о литературных произведениях, хранящихся в частных коллекциях Тверского государственного архива (архивы А. В. Кафтыревой, бежецких дворян Неведомских, рода Манзеев). Это или литературные опыты, или самостоятельные интерпретации известных произведений, или всевозможные «записки», «размышления», являющиеся разновидностью «литературных опусов». Литературные страницы тверских архивов могут быть рассмотрены как ключ к открытию новых реалий провинциальной жизни.

О. Е. Лебедева (Тверь) сообщила о рукописи, найденной в ходе фольклорно-этнографической экспедиции 1998 г. в с. Арпачево Торжокского района Тверской области. «История села Арпачева», записанная в 1925 году, является единственным источником историографии этого населенного пункта. Она представляет собой «панегирик» Советской власти и во многом противоречит устным преданиям жителей, сохранившим немало реальных черт дооктябрьской «старины».

Ю. В. Доманский (Тверь) сделал попытку осмыслить функционирование топоса «Тверь» в рок-поэзии Б. Гребенщикова, в частности, в таких текстах как «Дубровский» и «Из Калинина в Тверь». С учетом ряда моментов биографии поэта и его собственных признаний рассматривается место Твери в художественном мире и мироощущении Гребенщикова. В подтверждение концепции приводится анализ созданного в Калинине стихотворения «Не стой на пути у высоких чувств».

На конференции также прозвучали доклады В. А. Кошелева (Новгород) и Р. Казари (Италия, Бергамо).

Материалы докладов были дополнены интересными экскурсиями. Участники конференции посетили наиболее известные тверские храмы и музеи, побывали в усадьбах И. Е. Великопольского (Чукавино) и И. И. Лажечникова (Коноплино).

СУДЬБЫ ФИЛОЛОГОВ

ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАКСИМОВ
(1904—1987)

*А. Л. Дмитренко
С.-Петербург*

Статья Д. Е. Максимова о К. К. Вагинове: контур неосуществленного замысла

Для Дмитрия Евгеньевича Максимова создание очерка о Константине Вагинове, очевидно, являлось одним из тех в высоком смысле «необязательных» занятий, оправданием которых не могли быть факторы сугубо внешние, «биографические». По-видимому, именно в силу душевной обусловленности избранной темы, Максимов, чрезвычайно требовательный к себе (кстати, ценивший и в своих коллегах глубину и ответственность суждений¹), не нашел возможности быстро завершить работу. Первоначальные наброски были отложены, но собирание материалов продолжалось до самой смерти Максимова в 1987 году.

Вагинов наряду с Заболоцким был одним из двух писателей, чьи отзывы о стихах Максимова (в начале 1930-х) были охарактеризованы им впоследствии как «напутствия-благословения»². Интересно, что приоритет в данном случае, судя по воспоминаниям Максимова, был за Вагиновым: «Первым настоящим и значительным поэтом, которому я прочитал несколько стихотворений (в начале 30-х годов) и который в то время сильно на меня влиял, был Константин Вагинов. Он отнесся к прочитанному с одобрением и говорил, что непременно нужно печататься. „Посмотрите, вот молчит Ахматова — и это интересно, а Ваше молчание пока никому не интересно“. Такая аргументация мне не слишком понравилась, но я подумал, что к ней не сводится Вагинов, продолжал с ним время от времени встречаться, прислушиваться к нему, интересоваться им и ценить его прозу. А совет его повис в воздухе — я хорошо знал, что выполнить его, при всем желании, не удастся, и никогда со своими стихами ни в одну редакцию не ходил»³.

Следует отметить, что в поздние годы Максимов не склонен был преувеличивать зависимость своей поэтической практики от творчества Вагинова. «Импульс, полученный когда-то от Вагинова, признаю существенным для себя и память Вагинова чту, хотя отпечатки его влияния, думается, давно уже стерлись (сам Вагинов почему-то отрицал за-

висимость моих тогдашних стихов от его лирики)»⁴, — вспоминал он в 1966 году.

Однако вряд ли случаен тот факт, что обращение Максимова к творчеству и к личности Вагинова в 1980-е годы происходило параллельно с приведением в порядок собственного поэтического архива⁵. Как бы то ни было, но «давняя душевная тема»⁶, каковой было для Максимова творчество Вагинова, в 1980-е годы перешла в сферу его актуальных литературных интересов.

Но непосредственным стимулом к созданию статьи о Вагинове, очевидно, послужила работа (в 1983 году) над аналогичной статьей о Николае Заболоцком для второго издания книги мемуаров о поэте⁷. По замыслу Максимова, в очерке о Вагинове, также как и в очерке о Заболоцком, предполагалось соединить мемуарную и собственно литературоведческую формы повествования. Добавим, что именно в начале 1980-х проявляется интерес Максимова к прозе двадцатых годов. Он перечитывает «Скандалиста» Каверина (сохранились его читательские записи с наблюдениями о стилистике романа), к 1980 году относятся и публикуемые здесь читательские записи Максимова о «Козлиной песни».

В июне 1983 года Максимов обратился к вдове К. К. Вагинова, Александре Ивановне Вагиновой (урожд. Федоровой, 1902—1993) со следующим письмом:

10 июня 1983

Дорогая и глубокоуважаемая
Александра Ивановна!

Пишу к Вам, надеясь, что Вы меня помните и поэтому не представляюсь Вам. Вы, вероятно не знаете, что уже многие годы и даже десятилетия я постоянно думаю о Вас и очень-очень хочу с Вами повидаться. Этому мешала всяческая «суета», университет, книги, которые я писал. Сейчас, наконец, эта суета почти отошла и «можно подумать о душе». Константин Константинович, его стихи, проза, он сам — для меня давняя душевная тема. Я не так много встречался с ним, но он и его творчество очень повлияли на меня. Но, конечно, дело не только во мне, но и в значении Константина Константиновича в русской поэзии, которое медленно, но неуклонно проясняется.

Сейчас чувствую потребность нечто написать о нем — так, чтобы личные воспоминания сплетались с характеристикой его творчества. Прошло так много времени, что далеко не все сохранилось в памяти. Вы и единственно Вы могли бы ответить мне на многие вопросы. И вот я обращаюсь к Вам с огромной просьбой: не могу ли я встретиться с Вами в ближайшее время? Я мог бы к Вам приехать в назначенное Вами время, или Вы — заехать ко мне, или я привез бы Вас на такси (несколько лет назад Вы у меня были), или мы могли бы встретиться с Вами на нейтральной почве, например, в библиотеке Союза писат(елей) (это не лучший, но возможный вариант).

Напишите мне, пожалуйста, о Ваших возможностях или лучше позвоните по телефону (моему) 235-78-07 — утром или после 8 вечера.

Дорогая Александра Ивановна, простите, что Вас беспокою, но, повторяю, это — дело для меня не только литературное, но и душевное, и я верю, что Вы мне не откажете.

С глубочайшим уважением
Ваш Д. Максимов

Дмитрий Евгеньевич Максимов

197136 Петр. стор. Ул. Ленина, 34, кв.60, 6-й этаж, лифт.

Простите, что пишу на машинке. Это неприлично, но у меня ужасный почерк.

26 июня (почт. штемпель) А. И. отвечала: Большое спасибо Вам, Дмитрий Евгеньевич, за теплое письмо о Константине Константиновиче. Я, конечно, хорошо Вас помню и помню, когда мы встретились на похоронах А. Н. Егунова, который был близким другом Константина Константиновича. Помню и посещение Вас. Но я долго не отвечала потому, что больна, у меня упорно держится высокое давление и нужен постельный режим⁸.

Встреча состоялась 30 августа, в архиве Максимова сохранился подробный машинописный отчет о ней. В этот же день Максимов получил «в переписку» книгу Вагинова «Путешествие в Хаос» (Пб., 1921)⁹. В письме от 30 сентября он сообщал А. И.: «Пока еще не могу взяться за подробное изучение Конст(антина) Констан(тиновича), но собираю материал и жду момента свободы. Мне сообщили, что в Киеве на съезде славистов среди выставленных иностранных книг была и недавно вышедшая в Мюнхене книга: Конст. Вагинов. Стихотворения. Вступит. статья (небольшая) Черткова... Будте здоровы, дорогая Александра Ивановна! Мне было очень хорошо с Вами поговорить. И — полезно! Хотелось бы когда-нибудь еще».

В декабре 1983 А. И. прислала Максимова копию последнего вагиновского сборника «Звукоподобие»: «Посылаю вам «Звукоподобие», возвращать его не надо. Только не успела написать стихотворение «И дремлют львы, как изваяния», которое должно было быть первым в этой книге. Когда Костя писал эти стихи, он знал, что смертельно болен, отсюда и грусть и иногда отчаяние. Эту книгу мы собирали вместе за две недели до его смерти, потом он очень страдал»¹⁰. На этот подарок Максимов откликнулся на следующий день после получения рукописи, 24 декабря:

Большое-большое Вам спасибо за эту рукопись. Я сразу прочитал эти полупризрачные стихи, открывающие в своей глубине вполне реальный мир дорогого и памятного мне поэта. Ощущение того, что стихи эти — последние, и что многие из них переписаны Вашей рукою, сообщило моему чтению совсем особый, печальный и еще какой-то невыразимый оттенок. Каким образом удастся использовать

эти стихи — где и когда — сказать трудно. Хочу подать в „Библиотеку поэта“ заявку на Вагинова, а если не пройдет — напечатать статью-публикацию где-ниб(удь) в Тарту. Но это не сейчас. В настоящее время нужно завершить уже начатое. Смешивать текущую работу с Вагиновым не хочу: о нем нужно писать «беспримесно», наедине с текстом, с собой и со своей памятью.

Последнее свидетельство общения Максимова с А. И. Вагиновой — новогодняя открытка:

5 января 1985

Дорогая и глубокоуважаемая
Александра Ивановна.

Горячо поздравляю Вас с Новым годом. Не перечисляя пожеланий, останавливаюсь, чтобы было крепче, лишь на одном — БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БЛАГОПОЛУЧНЫ, Вы и Ваш сын. В эти очень тяжелые дни вспоминаются стихи одного забытого поэта:

В сердце наше бедное,
В сердце загляни.
Ближих наших, Господи,
Ближих сохрани¹¹.

Ничего не знаю о Вашей жизни и здоровье (отрывочные сведения из библиотеки — не в счет). Если сможете — напишите две строки о себе. Ввиду близкого аванса за книгу, мог бы немножко Вам помочь. Работа моя о Кон(стантине) Конст(антиновиче) пока отложена, т(ак) к(ак) пока вынужден заниматься другим и дома трудно (жена болеет), но, если хватит сил и отмеренного мне времени, напишу и на эту давно избранную мною душевную тему. Всего, всего, всего Вам хорошего, дорогая Александра Ивановна. Будем держаться.

Ваш Д. Максимов

В архиве Максимова сохранилась папка, содержащая подготовительные наброски, библиографические выписки и прочие материалы, относящиеся к работе над статьей о Вагинове. Публикуемые тексты сгруппированы нами следующим образом. Первую часть составляют два наброска начала статьи, в рукописи озаглавленные «Вагинов». Вторая часть — отрывочные мемуарные фрагменты, записи устных свидетельств о Вагинове и конспект беседы Максимова с А. И. Вагиновой. В третьей части помещены читательские записи Максимова о «Козлиной песни». Все рукописи (за исключением машинописного текста беседы с Вагиновой) представляют собой трудночитаемые черновики. Публикатор выражает сердечную благодарность Александру Васильевичу Лаврову, предоставившему эти рукописи и оказавшему помощь в подготовке их к печати.

I Вагинов

Как это ни странно, но о существовании Вагинова я впервые узнал от Николая Семеновича Тихонова¹².

Он сказал мне, если не ошибаюсь, в 1925, что в Ленинграде живет очень интересный, или даже замечательный поэт — Константин Вагинов. Ни об одном из молодых наших поэтов он не говорил тогда в таком приподнятом тоне, так заинтересованно. Молодого Тихонова, автора сборников «Орда» и «Брага», мы, студенческая молодежь, и не только мы, но и старшие современ(ники), очень почитали, он становился одним из самых популярных поэтов нового поколения, и его голос, его оценка значили оч(ень) много.

Но стихи Вагинова я впервые узнал лишь через несколько месяцев после этого разговора с Тихоновым. Я услышал их в авторском чтении на вечере ленинградских поэтов на Фонтанке д.50, где помещался тогда прежний Союз писателей. На эстраду вошел человек лет 30-ти, маленького роста, шуплый, бледный, болезненный, с очень черными печальными глазами. Кажется, он был похож на человекоподобную тихую и добрую летучую мышь, если можно такую вообразить. Он произносил свои строки тихо, глухо, каким(—то) успокоенно старческим голосом. Стихи Вагинова подействовали на меня как шок. Поразили, напугали, притянули. Они нерасторжимо смыкались с его человеческим обликом. Он читал «Отшельники, тристаны и поэты...»¹³ и еще что-то. Но особенно поразила и как-то вонзилась в слух эта гротескная, «нетопыриная», бесстрашная самохарактеристика:

Мы эллинисты... и т. д.¹⁴

Здесь произносимое и голос произносящего — болезненного и усталого колдуна — как-то особенно крепко срастались, как будто этими кружащимися, легкими, призрачными и грустными стихами об эллинистах были вызваны к жизни эти черные глаза и утомленный голос, и весь человек, Вагинов, возник из них, как окутанный паутиной кокон бабочки.

Бряд ли возможно представить себе образы поэтов и прикрепленные к нему поэтические миры более далекими, чем образы Тихонова и Вагинова. Один был полон жизни и суровой и волевой романтики, другой — уединен от жизненных бурь и огражден магическим кругом своего созерцательного усталого лиризма. Ар-

тистичность Тихонова, поднявшая его над своим и позволившая заглянуть в чужое — такое далекое! — понимающими и заинтересованными глазами, меня удивила.

Вскоре после этого вечера состоялось мое знакомство с Вагиновым. Я не был с ним близок, но время от времени виделся с ним. Это было во второй половине 20-х годов и в самом начале 30-х (он умер в 1934). Мы встречались с ним на нейтральной почве, я несколько раз заходил к нему и он был у меня (кажется, с ночевкой). В моей комнате на ул. Жуковского собирался тогда небольшой дружеский литературный кружок молодых друзей, товарищей по университету, который мы недавно окончили¹⁵. Вагинов читал у нас главы из повести «Козлиная песнь» и мы все проговорили с ним и горячо проспорили чуть не до рассвета, запивая спор не одним лишь невинным чаем. Особенно горячо спорил тогда с Вагиновым один из посетителей нашего кружка будущий драматург Борис Федорович Чирсков¹⁶. Проза Вагинова моим товарищам не очень понравилась, и Конст. Конст. имел основание уйти от нас слегка огорченным. И хотя никакой обиды на лице Вагинова мы не увидели — он оставался все таким же милым и тихим — все же, чтобы устранить неприятный осадок, я съездил к нему на другой день с попыткой смягчить вчерашние впечатления. Все обошлось благополучно: Конст. Конст. как будто действительно не обиделся.

В последний раз я виделся с Вагиновым в столовой Ленкублита на Невском, в которую в то время ходили подкармливаться чуть не все писатели Ленинграда.

Образ Вагинова, поэта и человека, не отделим в моем представлении от его дома. В годы, когда я общался с ним — конец 20-х — начало 30-х — он жил со своей молод(ой) женой Ал(ександрой) Ив(ановн)ой на задворках Ленинградской Консерватории — в переулке... По сумрачной беспризорной лестнице входящий попадал в его маленькую оч(ень) скромную, двухкомнатную квартиру. В той комнате, в которой К. К. работал, самым примеч(ательным) предметом была большая книжная полка — темные переплеты раритетных, букинистических книг на разных языках. Хранились и какие-то скромные редкости, напр(имер) бронзовый светильник с греческой или римской могилы. Но самым необычайным и незабываемым в жилище К. К. и А. И. было отсутствие электрич(еского) освещения. Я знал в детстве такие старые петерб(ургские) дома (текст обрывается)¹⁷.

II.

〈Наброски и материалы к статье о Вагинове〉

И Маяковский и Вагинов грелись с Блоком у костра — но по-разному, и в разные годы! (о Вагинове в восп. Борисова с. 16—20)¹⁸.

Вагинов возражал против двух мест моих стихов: ...тоска под-
колодная ...мохнатые персты («противно!» говорил).

Про Вагинова. Когда шел с ним по Неве: он не любил при-
роду или мир. — Колдовал словами. — По его словам, писал 2 не-
дели 8-строч(ное) стих(отворение) «В стремящейся стране...». Ра-
ди красоты — говорил.

Вагинов интересовался Белым — провозжал его на вокзал.

Г. А. Стратановский¹⁹.

3/VI 83.

〈...〉

Вагинов. Милый и оч(ень) образованный. Ученик античника
Андреева²⁰. Знал и итальян(ский) язык. С А. Н. Егуновым под его
руководством читал греч(еских) классиков²¹.

2 раза был у Г. А. Стр(атановского) и 1 раз Г. А. — у Ваги-
нова.

Невзрачный. Глаза черные. АИША — так называл Вагинов
свою жену (А. И., Шура)²².

Июль 1986. Евг. Марк. Иссерлин (жена Л. В. Пумпянского)
сказала, что Л. В. не любил вспоминать об эпизоде с «Козлиной
песней», но и она и он считают, что со стороны Вагинова это —
нехороший поступок, хотя Вагинов и прислал ему «Козл. песнь»
с любезной надписью.

Иссерлин живет в Шувалово²³.

Лид. Яковл. Гинзбург (мне в мае 1986)²⁴.

«Скандалист» Каверина — неудачн(ый) роман. Действ(ующие) лица не похожи, в том числе Шкловский.

Драгоманов — повесть Тынянова и Поливанова. «Козл(иная) песнь» значительнее в большей мере.

С Вагиновым мало знакома, хотя один раз он у нее был.

БЕСЕДА С АЛЕКСАНДРОЙ ИВАНОВНОЙ ВАГИНОВОЙ У НЕЕ НА КВАРТИРЕ²⁵.

(ул. Композиторов, д.33/5, кв.23)

30 августа 1983 г.

Конст. Конст. Вагинов (фамилия, принятая его отцом)²⁶ умер 27 апр. 1934²⁷ от туберкулеза (тяжелейшая форма — каверна против сердца). Лечили неправильно — на юге. На пароходе пошла кровь горлом. В Ленинграде из больницы под конец попросился домой. Умирал дома. Последние 11 дней — страшные мучения. Сидел. Никого не принимал. Ослеп. Появилась седина.

Жил на Театр(альной) площади. Вначале на первом этаже, то же дома (№ 14)²⁸ — в сырой квартире, что способствовало разв(итию) туберкулеза. После наводнения (1924) переехал в двухкомнатную квартиру № 12, где жил вместе с матерью (Театр. площадь, 4, кв.12). Женился на Ал. Ив. в 1927 г., хотя в предшествующие годы (2—3 ?) постоянно ходили вместе — с 1924 г.

Окончил Литер(атурное) отд(еление) Ин(ститута) ист(ории) иск(устств). Похоронен на Смолен(ском) кладбище на Блоковской дорожке. Но могила (и памятник) не сохранилась.

Глаза у К. К. В. серо-карие, иногда зеленые, темные. Происхождение русско-немецко-якутское (бабушка по матери, видимо, была якуткой). Дед по отцу был лейб-врачом Александра II²⁹. Мать Вагинова — полурусская-полуякутка.

Отец был выслан (-?): жил в Новгороде. Мать была выслана после убийства Кирова — в 34 или 35 г. Соединилась с отцом Вагинова (он — полковник), жили где-то в глуши. О судьбе отца А. И. ничего не знает. Мать в 1945 г. была еще жива. Что было с нею дальше — неизвестно. Если бы К. К. был жив — сказала А. И. — и он бы, видимо, был репрессирован.

Мать К. К., с которой А. И. жила, — совсем беспомощная (в здравом ли уме?).

Очень хорошо относился к К. К. Н. Тихонов. Общались с Тихоновыми, особенно с его женой. Когда Ник. Сем. уехал в Москву, — москвичи встретили его плохо, считая чудаком³⁰.

Среди близких людей, тесно связанных общением — А. Н. Егунов, И. А. Лихачев, Доватур, М. Бахтин (читал на дому курс о пролегоменах Канта), Соллертинский³¹.

Бывал у М. Кузмина, и Кузмин заходил (один раз ?) к ним. Общались с Юдиной³². На похоронах был Шостакович, предложив А. И. помощь.

К. К. В. — библиофил. Собрал редкую библиотеку — 2000 книг. Библиотека и архив К. К. погибли в блокаду.

Сама А. И. работала в библиотеке Союза пис(ателей) оч(ень) долго с 1931 г.: сперва — на Толмачевом пер., с 1934 г. — в Шереметьевском особняке. Комплектовала б(иблите)ку С(оюза) пис(ателей) — частично — из книжн(ых) складов в Петроп(авловской) крепости (там — огромное количество книг. Их погубила немец(кая) бомба). А. И-у эвакуировал СП. из блокадного Ленинграда, но значительную часть блокады она прожила в Ленинграде.

Подтверждает, что во время воен(ной) службы В., видимо, нанял цингу. На воен. службе был (м. б. не сразу ?) санитаром.

А. И. возмущается, когда ее называют девичьей фамилией — Федорова. Она Вагинова.

Эпизода с последн(ей) стр(аниц)ей «Бомбочадо» (?) А. И. не помнит — того, о котор(ом) мне рассказывал К. К.³³.

Бывал у Мандельштама и признавал его. Но А. И. решительно отрицает зависимость Вагинова от Ман(дельшта)ма.

А. И. : НИКТО из русских поэтов не влиял на формирование Вагинова. Из новых авторов влияли лишь французы — Бодлер в юности, а также Э. По.

На первом месте из влиявших ставит греков и ОВИДИЯ (сейчас А. И. читает «Метаморфозы», ОЧ(ЕНЬ) хваля перевод Шервинского).

Оч(ень) увлекался У. Патером³⁴. Очень тянулся к Гонгоре³⁵, хотел его перевести, ради этого изучал испан(ский) язык. Очень любил Новалиса (Офтердингена)³⁶. Интересовался оч(ень) японской поэзией, в частности, Исэ Моногатари «Повесть древней Японии» (пер. Конрада, изд. Всемир(ной) л(итерату)ры)³⁷.

К Пастернаку относился равнодушно, хотя и виделся с ним. Бывал у Мандельштама.

Хорошо относился к личности Заболоцкого.

С Добычиным, по-видимому, не встречался.

Творчество обэриутов его не увлекало. После ареста Олейникова совсем к ним охладел, считая погубителем Олейникова Бахтерева (кажется, жив)³⁸.

Интересовался Шпенглером крат(кий) период.

Вл. Соловьевым и близкими ему авторами не занимался.

Некоторое время в квартире не было электричества. Позже (когда ?) оно появилось. Любил свечи. Освещались керосином.

К Блоку и Гумилеву относился равнодушно.

Занимался в И. И. И. нумизматикой³⁹. И дома собирал монеты. Ходил с тросточкой, к которой были прикреплены монеты. А. И. считает это (добродушно) снобизмом. Она как-то села на эту тросточку и ее сломала — случайно.

Был способен к языкам: знал французский, итальянский (о немецком не помнит), учил греческий и испанский. Знал латинский (читал Полициана)⁴⁰.

На «Козл. песнь» страшно рассердился Пумпянский (грозил офиц(иальной) жалобой). Лихачев и Лукницкий отнеслись добродушно⁴¹.

Ругается по пов(оду) того, что «Козл. песнь» издали в Америке⁴².

Роман «Гарпагониана» не закончен. У нее есть рукопись. Это — роман в защиту коллекционеров.

У Лесмана есть материал о В., но он не дает списывать⁴³.

Статья о В-ве, как библиофиле, в «Альманахе библиофила». М., 1977. Хвалит эту статью⁴⁴.

Попутно о Г. Горе, который КРАЛ книги в б(иблите)ке СП, и предлагал ей участвовать в этом⁴⁵.

Возможно, что Каверин в «Скандалисте» учел опыт «Козл. песни».

Скупал свою книгу «Путешеств(ие) в хаос» (изд. «Кольца поэтов». Пб., 1921) и уничтожал ее, считая плохой.

Идея собирания безвкусицы — от И. А. Лихачева. Егунов в Новгороде попал в плен к немцам, где был в Гамбурге. Вернулся в Союз, но вскоре был арестован, как пленный⁴⁶.

А. И. получает пенсии 57 р. (и за сына ?)⁴⁷.

У А. И. фото — группа поэтов, учеников Гумилева. Среди них и Вагинов (там и сам Гумилев).

У А. И. — текст последнего сборника «Звукоподобие» (он не издан ?)⁴⁸.

К А. И. обращались иностранцы с просьбой помочь в работе над Вагиновым, она отказывала.

Д. Максимов

III

1980

К-н Вагинов. Козлиная песнь. 1928. Роман.

Произведение сильное и запоминающееся. Стилистика не филигранна, но сдвинута, конструктивно остранена авторскими «междусловиями».

Это не роман событий, построенный, как цепь развивающихся ситуаций. Это — описание разговоров, встреч, малых житейских действий десятка героев (факты, их больше), из которых главные —

Тептелкин (Л. В. Пумпянский)

Костя Ротиков — изучатель барокко (И. А. Лихачев)

Александр Петр. Заэвфратский (богач, путешественник, поэт, недавно утонул, в романе не показан) Гумилев

Екатер. Ивановна (его вдова, дурочка, карикатурна) А. Н. Гумилева.

Миша Котиков (карикатурен) — П. Н. Лукницкий.

Философ Андрей Иван. Андриевский — М. М. Бахтин

Асфоделиев — Нельдихен

Поэт Троицын — В. А. Рождественский

Неизвестный поэт, переставший быть поэтом и получивший имя Агафонов Вагинов?

Целое — жестокое увядание чуждых новой жизни, одиноких героев, напитанных всемирной культурой, мнящих себя, а отчасти и являющихся гуманистами (не в смысле гуманности). 99: «мои герои пытались... усидеть в высокой башне гуманизма».

Окружающая жизнь не выдвинута как полож(ительная) сила, но как сила господствующая.

Некоторые из увядающих серьезны и лиричны: Тептелкин и Неизв. поэт.

Вообще: и осмеяние (одних) и отпевание (других) и чуть любовование отпеваемыми.

Грусть доживания — фон. Сюда и образы бывших людей, фонирующих главных героев.

Целое пронизано элегической лирикой, с которой совмещается и карикатурность некот(орых) страниц.

Вероятно, можно рассматривать весь роман, как потенциальную персонификацию авторского сознания (об этом прямо — с. 177—178) — в авторе есть зародыши всех героев (большинство героев и по возрасту соответствуют автору, это — «пожилые молодые люди») (94). Ср. у Блока: «стареющий юноша»⁴⁹.

107. Тептелкин сказал: «—Петербург — центр гуманизма (...) — Он центр эллинизма, перебил Неизвестн(ый) поэт».

Да, роман полностью петербургский. И после «Петербурга» Белого — это некая самобытная стадия мифа о Петербурге. (Вероятно, соседствует лишь «Петербург» Мандельштама, не утративший красоты).

Это особый аспект души Петербурга — фосфорисцирующая, заплесневевшая. Сколько улиц и углов Петербурга. Есть немного и Петергофа.

125. Костя Ротиков характеризует гуманизм героев: «Мы последние гуманисты, мы должны донести огни». Он же, там же: «Нам нет дела до политики, мы не управляем, мы отставлены от управления, но мы ведь и при каком угодно режиме все равно были бы заняты или науками или искусствами». Дело в том, что в 15 и 16 веках гуманисты были государ(ственными) людьми.

О реальном козле — неск(олько) слов на с. 186.

Трагедия — по греч(ески) буквально: козлиная (трагос — козел) песнь. По русски же такая расшифровка снижает.

Из «влиятельный» сильнее других — «Петербург» Белого (особенно вначале «Предисловие»), но за кулисами — Ремизов и Сологуб.

«Бессюжетная» (относительно) композиция м. б. связана с французами (Орлан. «Огни Парижа»⁵⁰)?

Обратить вним(ание) на композицию. Это ближе к симфониям Белого, чем к «Петербургу» (по строению сюжета!) (...)

Особый компонент — названия произведений мировой л(итерату)ры — смысловое сопровождение повествования: через всю повесть (64,95...). Филострат (упомян(ута)) «Жизнь Ап(оллония) Тианского». «Каллимаха». Гонгора. Лонг. Русс(кие) авторы еле упомянуты. Рус(ских) поэтов XX в. совсем нет.

151, 156—7, 173. Очень похоже на самого Вагинова: сочетание слов ради нового смысла. Куда ведет этот смысл, что он такое — неясно.

Примечания

¹ См., например, соответствующее признание в письме Д. Е. Максимова к М. Н. Жемчужниковой от 19 июля 1981 (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 75. Публ. Н. И. Жемчужниковой).

² Максимов Д. Письмо Анне Андреевне Ахматовой на тот свет // Максимов Д. Стихи / Сост. и вступ. статья К. М. Азадовского. Подготовка текстов Д. М. Поцелни. СПб., 1994. С. 33.

³ Максимов Д. Записка Х... Об этих стихах // Максимов Д. Стихи. С. 26.

⁴ Максимов Д. Письмо Анне Андреевне Ахматовой на тот свет // Максимов Д. Стихи. С. 34. О зависимости поэтики Максимова от теории «соединения слов» Вагинова и другие наблюдения см.: Топоров В. Н. Стихи Ивана Игнатова: Представление читателю // Блоковский сборник. IX. Тарту, 1989. С. 36—43; Его же. Об одном письме к Анне Ахматовой // Ахматовский сборник: I. Париж, 1989. С. 13—29.

⁵ В 1982 году в Лозанне, в издательстве «L'Age d'Homme», стараниями Жоржа Нива был выпущен сборник стихов Максимова (под псевдонимом Игнатий Карамов; под таким псевдонимом стихи Максимова появлялись в печати и раньше: Грани. 1971. № 79; 1973. № 87—88). См. отклик на это издание, содержащий, между прочим, публикацию новых поэтических текстов: Пайман А. Путь петербургской поэзии // Вестник Русского Христианского Движения. 1983. (Т.) 140. № IIIV. С. 151—170. К 1985 году Максимов наново составляет собрание своих стихотворений, превосходящее лозаннский сборник на 20 текстов. Этот свод лег в основу посмертного издания (указано в прим.2). О роли стихотворчества в собственной литературной биографии Максимов отзывался так: «Если бы их (стихов) не было, я как историк литературы был бы другим лицом» (Максимов Д. О себе // Максимов Д. Стихи. С. 16).

⁶ Цитата из публикуемого далее письма к А. И. Вагиновой от 10 июня 1983.

⁷ Максимов Д. Заболоцкий: (Об одной давней встрече) // Воспоминания о Заболоцком. Изд. 2-е, доп. М., 1984. С. 121—135. Эти воспоминания были прочитаны Максимовым на вечере, посвященном восьмидесятилетию со дня рождения Заболоцкого, в ленинградском Доме писателя 21 октября 1983. О предполагающемся чтении Максимов сообщал А. И. Вагиновой: «Будет большая программа, в том числе и мои воспоминания. Боюсь, что вам не удастся прийти, а хотелось бы Вас видеть» (письмо от 30 сентября 1983, это и все цитируемые далее письма Максимова к А. И. Вагиновой хранятся в архиве автора настоящей публикации).

⁸ Хранится в архиве Д. Е. Максимова. Здесь и далее цитируются материалы той части архива, которая находится сейчас в распоряжении А. В. Лаврова.

⁹ В письме к А. И. Вагиновой от 30 сентября 1983 Максимов сообщал, что «скопировал эту книгу» и уведомлял А. И., что возвращает ее обратно при посредничестве Т. Ю. Хмельницкой.

¹⁰ Цитируемое письмо и список «Звукоподобия» хранятся в архиве Д. Е. Максимова. Список «Звукоподобия» содержит все стихотворения цикла за исключением драматической поэмы о Филострате («И дремлют львы, как изваянья...») и составлен из машинописей 1930-х годов (вторые экземпляры с позднейшими исправлениями рукою А. И. Вагиновой), списков рукою А. И. Вагиновой и машинописей, выполненных в 1970—1980-х годах предположительно Т. Л. Никольской (также с поправками А. И. Вагиновой). Имеет некоторые разночтения по сравнению с текстом машинописи «Звукоподобия» из собрания Н. С. Тихонова и М. К. Неслуховской, опубликованным Т. Л. Никольской и В. И. Эрлем (Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994. С. 462—478), а также из собрания М. Н. Чуковской, опубликованным А. Г. Ге-

расимовой (Вагинов К. Стихотворения и поэмы. Томск, 1998. С. 94—109). Вопрос об аутентичном тексте «Звукоподобия» в настоящее время окончательно не решен.

¹¹ Цитата из стихотворения З. Н. Гиппиус «Ему» («Радостные белые, белые цветы...», 1915).

¹² Николай Семенович Тихонов (1896—1979) — один из близких друзей и литературных союзников Вагинова. Летом 1921 Вагинов, Тихонов, С. А. Колбасьев и П. Н. Волков образовали содружество поэтов «Островитяне», ставившее своей задачей «борьбу с духом академизма цеха в поэзии, комнатного затворничества» (Н. Тихонов). В 1920-е имена Тихонова и Вагинова неоднократно соседствовали на афишах коллективных литературных вечеров в Доме Искусств, Доме Печати и других клубов. Вагинов был частым гостем в доме Тихонова (Зверинская ул., д.2, кв.21), где с 1921 собиралась литературная молодежь.

¹³ Первая строка стихотворения «Отшельники» (1924).

¹⁴ Стихотворение «Эллинисты» (1926):

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листве шумящей вдоль реки
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,
На тонких щечках синева,
Блестящ и звонок дам наряд,
Фонтаны бьют, огни горят (...).

¹⁵ Речь идет о кружке «Осминог», названном так по числу участников, молодых поэтов и прозаиков, приятелей Максимова по Ленинградскому университету. Одним из гостей «Осминога» был Заболоцкий (см.: Максимов Д. Заболоцкий: (Об одной давней встрече) // Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 123—124).

¹⁶ Борис Федорович Чирсков (1904—1966) — драматург, киносценарист. Окончил этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук Ленинградского университета. Как сценарист дебютировал в 1931.

¹⁷ Ср. описание вагиновского жилища в воспоминаниях Максимова о Заболоцком: «Бывает так, что и писатели, и их душевный микромир, и их окружение в городе или в деревне связаны тесным родством (...). Константин Вагинов, один из последних носителей в нашей литературе старого, уже бессиленного, но все еще прельстительного, чисто петербургского европеизма, обосновался не выбирая сознательно этого места — именно там, где, думалось, ему и надлежало пребывать: в узком проезде на задворках Консерватории, почти рядом с чернотеплой, медленной водой Екатерининского канала, в двух маленьких комнатах, которые вместо электричества намеренно освещались желтым светом керосиновых ламп» (Максимов Д. Заболоцкий: (Об одной давней встрече) // Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 125—126).

¹⁸ Воспоминание о встрече с Блоком у костра содержится в очерке Маяковского «Умер Александр Блок» (1921), а также нашло отражение в седьмой главе поэмы «Хорошо!» (1927). Свидетельство о разговоре Вагинова с Блоком см.: Борисов Л. За круглым столом прошлого: Воспоминания. Л., 1971. С. 16—21.

¹⁹ Георгий Андреевич Стратановский (1901—1986) — переводчик, доцент Ленинградского университета. В 1921 был арестован по делу В. Н. Таганце-

ва, в 1938 оказался в общей камере с Н. Заболоцким и А. Пиотровским (см.: Эльзон М. Д. Последний текст Н. С. Гумилева // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 298—299).

²⁰ О ком идет речь, установить не удалось. Курс античной литературы на Высших курсах искусствознания при Институте Истории Искусств, где учился Вагинов, читал Б. В. Казанский.

²¹ Андрей Николаевич Егунов (1895—1968) — филолог-классик, переводчик, поэт и прозаик. Входил в кружок молодых ученых-эллинистов А. Б. Д. Е. М., проводивший домашние семинары, на которых участники кружка читали и переводили произведения греческих классиков. Об «абдемитах» и Вагинове подробнее см.: Никольская Т. Л. К. К. Вагинов: (Канва биографии и творчества) // Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 76, 82.

²² Аиша — так звали жену Магомета. Ср. в «Поэме квадратов» (1922):

Скрутилась ночь. Аиша, стан девичий,
Смотри, на лодке, Пряжку серебра,
Плывет заря. Но легкий стан девичий
Ответствует: «Зари не вижу я».

²³ Евгения Марковна Иссерлин (1906—1994) — филолог, специалист по древнерусской литературе, в 1927 закончила словесное отделение Высших курсов искусствознания при Институте Истории Искусств, где училась на одном курсе с Вагиновым. Жена литературоведа Льва Васильевича Пумпянского (1894—1940), который послужил прототипом Тептелкина в «Козлиной песни». Нельзя исключать вероятность того, что Е. М. Иссерлин ошиблась (или ошибся Максимов), говоря о «Козлиной песни», подаренной Пумпянскому с любезной надписью. В 1990-е годы в библиотеке Е. М. Иссерлин не было «Козлиной песни», но хранилась книга Вагинова «[Стихотворения]» (Л., 1926) с такой дарственной надписью: «Дорогой Лев Васильевич, примите (так!) эту книжку, как знак дружбы, любви и уважения. Ваши прекрасные беседы останутся навсегда в моей памяти. Любящ(ий) Вас Вагинов. 16/ III 26».

²⁴ Лидия Яковлевна Гинзбург (1902—1990) — литературовед, критик. Окончила высшие курсы искусствознания при Институте Истории Искусств.

²⁵ Приводим список вопросов к А. И. Вагиновой, составленный Максимовым:

Адрес К. Вагинова?

1-й этаж? 2 комнаты.

Так и не провели электричество? Чем объяснить?

Книги? Какие языки знал?

А. И. и тогда работала в библ(иоте)ке?

Цинга? Произношение?

Туберкулез? Смерть? (дома?)

Тросточка?

Звуч. Раковина?

М. Кузмин?

Круг людей. Егунов? Ив. А. Лихачев? Союз последних гуманистов.

Любимые авторы? Белый? Мандельшт(ам)? Кузмин? Французы?

Мера связи с обэриутами?

Н. Тихонов?

Где выступал? Тургеневск(ая) б(иблите)ка?

Элитарность?

Воспом. о нем? вообще л-ра?

Добычин? «Скандалист» Каверина.

1925. Вечер Союза поэтов (или писателей?) на Фонтанке 30 (адрес, по-мещение?)

Маленького роста, щуплый, с очень черными глазами, приглушенный, как будто старческий голос с глухим произношением слов.

Шпенглер? (Как будто женщина с линейными руками...)

Глаза темные (с зелен(ым) оттенком), печальные?

Воен(ная) служба?

Рассказ К. К. о послесловии к «Бомбочадо» (так?)

Отнош(ения) с Тихоновым?

Библиография?

Последн(ий) роман? Где? Назв(ание)?

Дата женитьбы на А. И.

²⁶ Отцу Вагинова, жандармскому подполковнику Константину Адольфовичу Вагенгейму, и членам его семьи по Высочайшему повелению (29 ноября 1915) было разрешено именоваться Вагиновыми.

²⁷ Согласно свидетельству о смерти Вагинов умер 26 апреля 1934.

²⁸ На самом деле — в квартире № 15 дома 105 по каналу Грибоедова (№ 4 по Театральной площади).

²⁹ Дед Вагинова — Адольф Самойлович Вагенгейм (1834 или 1835—1907). Получил свидетельство дантиста в Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии в 1858 году.

³⁰ Жена Н. С. Тихонова — Мария Константиновна Неслуховская (1891—1975). Тихонов перехал в Москву в 1944 г.

³¹ Иван Алексеевич Лихачев (1902—1972) — литературовед, переводчик и поэт; его чертами наделен один из героев «Козлиной песни», Костя Ротиков. Аристид Иванович Доватур (1897—1982) — филолог-классик, участник А. Б. Д. Е. М. Михаил Михайлович Бахтин (1895—1975) — литературовед, послужил прототипом Андрея Ивановича Андриевского в «Козлиной песни». Иван Иванович Соллертинский (1902—1944) — музыкальный критик. «Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки» Канта — введение к его «Критике чистого разума».

³² Мария Вениаминовна Юдина (1899—1970) — пианистка. Ее черты нашли отражение в образе Марии Петровны Далматовой («Козлиная песнь»). Подробнее о ее взаимоотношениях с Вагиновым см.: Никольская Т. Л. К. К. Вагинов: (Канва биографии и творчества) // Четвертые Тыняновские чтения. С. 73.

³³ Вероятно, речь идет об авторском «Послесловии» к роману «Бамбочада» (Л., (1931)). Републикаторы романа Т. Л. Никольская и В. И. Эрль выносят его в раздел приложений, предполагая, что оно было написано «в связи с трудностью прохождения рукописи в издательстве» (см.: Вагинов К. Козлиная песнь: Романы. М., 1991. С. 589).

³⁴ Книга Уолтера Патера «Воображаемые портреты» (Пер. и вступ. статья П. Муратова. Изд. 2-е. М., 1906) имела в библиотеке Вагинова. Экземпляр, принадлежащий Вагинову, хранится ныне в отделе редких книг Библиотеки Санкт-Петербургского университета.

³⁵ Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627) — испанский поэт барокко.

³⁶ Книга Новалиса «Генрих фон Офтердинген» в русском переводе (Пб., 1922) имела в библиотеке Вагинова. Экземпляр, принадлежавший Ваги-

нову, хранится ныне в отделе редких книг Библиотеки Санкт-Петербургского университета.

³⁷ Речь идет об издании: Исэ моногатари: Лирическая повесть древней Японии / Пер. Н. И. Конрада. Пг., 1923.

³⁸ Ошибка памяти А. И. Вагиновой: по-видимому, речь идет о реакции Вагинова на какие-то обстоятельства дела Детского сектора Госиздата (1931—1932), но Олейников по этому делу не арестовывался; см.: «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: «Чинари» в текстах, документах и исследованиях: В 2 т. (М., 1998). Т. 2. С. 573—591. Игорь Владимирович Бахтерев (1908—1996) не имел отношения к аресту Олейникова 3 июля 1937 г.

³⁹ В беседе с С. А. Кибальником А. И. Вагинова сообщала, что Вагинов занимался в Институте Истории Искусств «у нумизмата и был единственным его слушателем» (Ненаписанные воспоминания: Интервью с Александрой Ивановой Вагиновой / Предисловие и публ. С Кибальника // Волга. 1992. № 7—8. С. 148).

⁴⁰ Анджело Полициано (наст. фам. Амброджини, 1454—1494) — итальянский поэт. По свидетельству, очевидно, тоже восходящему к А. И. Вагиновой, «Вагинов ценил поэзию Полициано и в последние годы жизни немного его переводил (переводы, к сожалению, не сохранились)» (комм. Т. Л. Никольской и В. И. Эрля в кн.: Вагинов К. Козлиная песнь: Романы. С. 555).

⁴¹ Павел Николаевич Лукницкий (1902—1973) — поэт и прозаик; послужил прототипом Миши Котикова в «Козлиной песни».

⁴² Репринтное издание «Козлиной песни» было выпущено в США в 1978.

⁴³ Моисей Семенович Лесман (1902—1985), коллекционер. О материалах Вагинова в его собрании см.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989. По указателю.

⁴⁴ Имеется в виду статья: Блюм А., Мартынов И. Петроградские библиофилы: По страницам сатирических романов Вагинова // Альманах библиофила: 4. М., 1977. С. 217—235.

⁴⁵ Геннадий Самойлович Гор (1907—1981) — прозаик.

⁴⁶ Изложенные сведения неточны. Восходят они непосредственно к Егунову, распространившему ложную версию о своем аресте. На самом деле, 25 сентября 1946 г. Егунов нелегально перешел американскую зону оккупации и вскоре был задержан американцами в городе Кассель, после чего выдан советскому командованию. Осужден Военным трибуналом к 10 годам ИТЛ. Подробнее о репатриации и аресте Егунова см. комм. Г. А. Морева в кн.: Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 1998. С. 385—386.

⁴⁷ Сын А. И. Вагиновой от второго брака — Сергей Юрьевич Арапов (1937—1994), ставший инвалидом вследствие перенесенного в детстве менингита.

⁴⁸ Большая часть стихотворений из цикла «Звукоподобие» была впервые опубликована Дж. Мальмстадом и Г. Шмаковым в альманахе «Аполлонь-77» (Париж, 1977).

⁴⁹ Цитата из стихотворения А. Блока «Двойник» («Однажды в октябрьском тумане ...», 1909).

⁵⁰ «Огни Парижа» — роман Пьера Мак-Орлана, рус. пер.: Л., 1927.

*А. Пайман
Дарэм*

Дмитрий Евгеньевич Максимов по воспоминаниям и письмам

«Крупинки памяти, я не отдам вас даром».

Игнатий Карамов

В порядке предыстории. Поступив на факультет современных и средневековых языков Кэмбриджского Университета в 1949 г. в возрасте 19 лет, я уже худо-бедно говорила и понимала по-русски благодаря моей первой учительнице Марии Исааковне Барской и более или менее длительным пребываниям в эмигрантских семьях. В Париже не только жила у русских, но и ходила «вольнослушательницей» на курсы русского языка, где в классе читали «Двенадцать» Блока. «Разгадать» концовку поэмы стало для меня жизненной потребностью, и бесконечные разговоры с представителями белой, эсеровской и просто интеллигентной эмиграции усугубили интерес к истории и литературе России. Окончив университет в 1952 году, я подала заявку на диссертацию о Блоке на степень Ph. D. но, поскольку требовалось, чтобы «докторская» диссертация, в отличие от «магистерской», внесла бы «вклад в науку», меня уговорили заняться темой, по которой можно было найти неизученный материал вне Советского Союза, куда не пускали. В 1958 г. мне присудили степень доктора философии за пятилетний исследовательский труд о Д. С. Мережковском и истоках русского «декаданса» (1892—1905). Работала я под руководством Николая Ефремовича Андреева, который мне советовал работать по книгохранилищам Франции, Германии и Финляндии и свел с такими живыми свидетелями Серебряного века как Вл. А. Злобин, Н. Валентинов (Волжский), Федор Степун, П. В. Вышеславцев, Александр Бенуа, Антон Карташев, Сергей Маковский и Алексей Ремизов. В Академию Наук СССР Кэмбриджский Университет обратился (кажется, в 1956-ом году) на

высшем уровне с просьбой устроить мне научную командировку в Ленинград, но, хоть и реагировали сочувственно, удовлетворить просьбу оказалось невозможным «по техническим причинам». Техническая сторона обменов была урегулирована с помощью Британского Совета (British Council) как раз к 1959 году и, освободившись от Мережковского, я поехала в Россию с первыми официальными английскими стажерами с заявкой на книгу о Блоке.

С Дмитрием Евгеньевичем Максимовым мы встретились впервые осенью 1959 года в напряженной обстановке первых академических обменов между нашими странами. Свели нас иностранный отдел Ленинградского Государственного Университета (ЛГУ) — и Александр Блок. В течение 28 лет нашей дружбы изменилось многое и в мире вокруг нас и в отношении мира к Блоку и его поэзии. В 1959 году Блок не был запретным именем в СССР, но он был катакомбой, таившей в себе многое все еще запрещенное и, как писал Пастернак, «...не навязан никем». Для, так называемых, «борцов холодной войны» Блок тоже был двусмысленным: с одной стороны, — потенциальным «первомученником», несвоевременно и загадочно погибшим, замолчавшим и как будто разочаровавшимся в революции; с другой — автором «первой большевистской поэмы» (именно под таким заголовком был напечатан первый английский перевод «Двенадцати» в 1920 году.

Вспоминая о том, как он двадцать лет вел семинар по Блоку в ЛГУ, Максимов пишет, что «со стороны начальства он подвергался нареканиям. Администрации факультета казалось, что в семинаре допущено перепроизводство Блока и имен окружающих его поэтов, — но, добавляет он в скобках, — (почти сразу после моего ухода из университета это положение изменилось: Блок был канонизирован и признан в нашей литературе)» [Максимов Д. Е. «О себе» / Публ. А. Д'Амелии // *Europa orientalis*. 8 (1989). С. 575]. Ушел в отставку Дмитрий Евгеньевич, если не ошибаюсь, в 1975 году, когда уже началась подготовка к юбилею Блока 1980 года. С этого времени убывает острый интерес к Блоку не только на Западе, но и для Максимова. «С тобой и со мною и со временем что-то случилось — мешает» (письмо от 22 сентября 1980 г.).

Кстати, не могу не задавать себе вопрос: не оказался ли бы также «канонизированным» русский авангард в живописи? Тогда — в 1959 году — пускали в запасники и всячески содействовали моей доброй знакомой и ровеснице Камилле Грей, приехав-

шей в Россию в ту же зиму 1959—60 годов. Процесс оборвался и заморозился на 30 лет после того, как сенсационная статья Александра Маршака в журнале Лайф от 28 марта 1960 года отдала все карты в руки культурного обскурантизма. Говорят, что до этого случая и Фурцева и Хрущев сочувствовали интересу молодых художников к своему, русскому левому искусству (см. книгу бывшего канадского посла: Peter Roberts. *George Kostakis: A Russian Life in Art*. Ottawa: Carleton University Press, 1994. P.151—152, где об этом случае рассказывается словами Костакиса). Камилла, с которой мы встречались с 9 по 11 марта того же 1960 года в Ленинграде, так и не получила после опубликования статьи Маршака обещанные ей фотографии, но по запасникам Русского музея ходила: ей хотели помочь и там и в Москве.

Что касается Блока, возможно, собственный его облик на время захлестнуло количество юбилейных монографий, публикаций, статей и т. д. и т. п. Возможно, что поэт просто отодвинулся во времени, как Максимов предполагает в письме от 29 апреля 1978 г., и стали *«о нем думать „спокойно“, как о Тургеневе»*. В центр внимания исследователей выдвигаются Белый, Вячеслав Иванов, Ремизов, акмеисты, футуристы, Заболоцкий — а Блок, кроме как *«в самых глубоких основах — уследимых и неуследимых» — «затуманивается»* (Письма от 28 августа 1981 и 30 июня 1985).

А зимой 1960—61 ведь не удалось «протолкнуть» сборник статей после конференции о Блоке в Пушкинском доме. Над каждой публикацией дрожали: пройдет ли? В 1961, при деятельном участии Максимова, проходит в трепетной атмосфере, «достойной сюжета», первая Блоковская конференция в Тарту. С 1964 года начинают выходить Блоковские сборники: редколлегия — В. Адамс, Б. Егоров, Ю. Лотман (ответственный редактор), Д. Максимов; корректор (и, конечно, душа всего многотрудного, долголетнего предприятия) — бывшая ученица Максимова, З. Минц. Проходят сборники с боем — иногда одни «тезисы». О том и о другом времени, от хрущевской «оттепели», через все долгие годы «застоя», до наступления «гласности» поведают сохраняемые мной письма Максимова. Это — культурно-историческая их ценность для нынешнего и, может быть, в еще большей степени для будущего читателя.

Хочется мне, однако, вызвать в памяти не только время, но и неповторимый индивидуальный облик Максимова-человека и Максимова-поэта. Вот почему я не ограничилась литературоведческими выдержками из его писем. Вместо монологически-повествовательной формы воспоминаний, вставляла и в письма и ме-

жду ними, как потребовалось, свои комментарии. Уточнения и объяснения даются прямо в тексте в квадратных скобках; связующая информация выделяется отдельными абзацами. Эта форма выработалась сама собой. Она дает возможность как бы еще раз побеседовать с объектом воспоминаний, сверить с ним, что вспоминается. С годами память стала сбивчивой, хронологически ненадежной. Не хочется наполнить ее изъяны домыслами, предположениями или сухим материалом из посторонних источников...

Приезд в Ленинград мне, однако, памятен. Пускай рассказ о нем и о первой встрече с назначенным мне ЛГУ научным руководителем послужит введением в тему.

Приехали английские стажеры, человек двадцать-двадцать пять всего, как подобает островитянам, на корабле — «финская Русь», низкие берега широчайшей Невы, низкие здания неопределенного назначения (приют убогого чухонца?), дождь, мрачная пристань. Ждет на пристани небольшая группа людей, среди которых выделяется один повыше ростом с длинными для того времени волосами и в узких брюках. «Стиляга», — восклицает стоящий рядом со мной на палубе стажер, смакуя новое слово. Стиляга, однако, приветствует нас на изящном английском языке и тут же авторитетно выделяет единственных двух женщин и четверых парней помоложе, с которыми я едва успела по дороге познакомиться. «Вы останетесь здесь. Познакомьтесь — это т. Василев, представитель иностранного отдела ЛГУ. Он Вас проводит в общежитие, выдаст немного денег и зайдет за Вами в понедельник (была не то пятница, не то суббота), поведет в Университет и оформит на занятия. Остальные — за мною на поезд в Москву». Оказывается, это мой однокашник из Кэмбриджа, ныне культурный атташе в Британском посольстве: «Надеюсь, не будете слишком скучать», — сказал он мне на ухо. «Имейте в виду, рядовые русские едва ли посмеют с Вами общаться, а — не обижайтесь, Вас, наверное, уже предупредили, — появятся поклонники, ну, знаете, эти наверное будут с заданием. Я приеду навестить Вас к Новому году».

В общежитии на Мытнинской набережной рядовых русских на самом деле не оказалось. Оно пустело. Студенты, сказали нам, «на картошке». Душевые — «на ремонте». Лифта нет. Вода течет по каменной лестнице, по которой молодые люди поднимают наши тяжелейшие, на год, чемоданы. Буфет закрыт. Кухня, правда, есть, но кто же подумал о том, что может понадобиться посуда? Ребята совсем, было, нос повесили. У Елены [Helen Winifred MacBride, впоследствии глава русского отделения] однако, ока-

зался походный чайник и они с воплями восторга побежали по пустому коридору, перебрасываясь им как на регби. У меня, курильщицы, нашлись спички, потом еще что у кого: чай, шоколад, печенье. Устроили чаепитие и отправились что новые Робинзоны — за провизией.

Шли, естественно, в центр: т. е. через мост на Васильевский остров, мимо Биржи, Ростральных колонн, еще через мост, Дворцовый, за Зимним Дворцом, мимо Александрийской колонны... В конце концов, где-то за Зимним нашли в полуподвале продовольственный магазин, где купили кофе (правда, ячменный — не доглядели), песок, колбасу, пряники. И потащились под мелким дождиком обратно на Мытнинскую. На следующее утро все же объявились кое-какие другие жители. Оказалось, что сразу за общежитием на Петроградской стороне есть и булочная и молочная, а за тремя остановками трамвая — баня!

В понедельник, как обещано было, за нами зашли: студентов распределили на курсы русского языка, а меня, к такому-то часу по такому-то адресу — к Дмитрию Евгеньевичу Максимову.

Сколько-нибудь вразумительного плана города в продаже тогда не было, но зато такси было много и стоили они удивительно мало. Я села на первое в жизни русское такси с клетчатым боком, дала адрес и поехала... через Дворцовый Мост, направо (Дмитрий Евгеньевич жил тогда не на улице Ленина, а в сторону Новой Голландии, адрес у меня не сохранился). Вдруг заскрипели тормоза. Запыхавшийся мужчина в штатском бросился к окну машины, сунул шоферу под нос какой-то билет, взгромоздился в машину и велел развернуться и ехать обратно. Вновь едем по мосту, а по левому тротуару бежит щупленький человек. Такси по команде сворачивает на него прямо поперек встречному движению. «Подождешь», — орет новый пассажир и выскакивает на ходу в тот момент, когда с другой стороны подкатываются и подбегают другие милиционеры-охотники. Затравленный человек останавливается, не решившись перепрыгнуть через перила, а мой шофер, слегка про себя ворча, выпутывается из им же созданной пробки и везет меня дальше, к первоначальному месту назначения.

Естественно, опаздываю — и вижу по весьма корректному, но сдержанному приему открывающего на мой звонок седовлатого ученого, что это с моей стороны — бестактность. Объясняю, в чем дело. И таким образом случилось, что я как-то с первой встречи увидела Дмитрия Евгеньевича без маски. Голубые глаза еще больше разбегались, не то от ужаса, не то от не-

доумения. Углы рта приподнимались нервно, иронически: «Ну, надо-же! Только я бы не хотел, чтобы Вы думали, что так у нас каждый день. Я-то всю жизнь езжу на такси и, уверяю Вас, у меня ни разу такого случая не было... А впрочем...». Между нами повисли несказанные слова. Сейчас вспоминаются строки, тогда и долго еще мне неизвестные: «С таких недугов,/С таких потерь/Ты в сердце друга/И в рай поверь». Тогда, конечно, было проще. Я уже не видела перед собою оскорбленного опозданием легкомысленной иностранки профессора, а умного, уязвимого человека. А он, очевидно, со своей стороны, понял, что я — не самоуверенная хамка и не журналистка в поисках сенсации, а выбитый из колеи человек, приехавший к нему по дороге нам обоим делу. У него в стихах есть выражение: «Уже доверие бушует». Это точнее всего... Два года спустя, в октябре 1961 года, Дмитрий Евгеньевич мне написал: *«Мне верится, я убежден, что не только в нашей маленькой жизни, но и в жизни мира тучи, в конце концов, рассеятся. Если бы все поверили друг в друга, как я верю в Вас — все было бы хорошо».*

А покамест, конечно, разговор выдерживался в строго академических рамках. Как искусный научный руководитель, Максимов испытывал уровень. Тогда все мы меньше знали друг о друге. В библиотеке Академии Наук (БАН) можно было найти только случайные, разрозненные номера наших славяноведческих журналов и нам были недоступны ученые записки ленинградского Педагогического института и Ивановских изданий, в которых Дмитрий Евгеньевич чаще всего издавался в 30-е, 40-е и ранние 50-е годы. Были большие пробелы и в военных и довоенных советских книгах. Я знала Максимова как автора статей «А. Блок и революция 1905 г.» в книге «Революция 1905 г. и русская литература» (Л.: АН СССР, 1956. Т.2) и «Валерий Брюсов и „Новый путь“» в «Литературном Наследстве», т. 27—28, 1937 года. Его основополагающих трудов о «Северном вестнике» и «Новом пути» в книге «Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы», которую издал вместе с братом Евгеньевым-Максимовым в 1930 году, не знала. Зато и «Новый путь» и «Северный вестник», «Мир искусства» и «Вопросы жизни» я проработала досконально, вплоть до «книг, полученных в редакцию» и статистики о подписчиках, не говоря о стенографическом отчете религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге 1901—1903, изданном в 1906 году, и о реакции на «Новый путь» в газете «Новое время» и в духовных журналах. Дмитрий Евгеньевич вовсе не обижался на мое незнание многих своих трудов. Наоборот, обрадовался зна-

ниям первоисточников и эмигрантской литературы, умилялся, что разбираюсь, не запинаясь, в псевдонимах (Эллис/Кобылинский; Волинский/Флексер и т. д.), и тут же изъявлял готовность дать мне рекомендацию не только в БАН и в Библиотеку имени Салтыкова-Щедрина но и в архивы Пушкинского дома. Для меня начались два года упоенного темой и упоительно интересного сотрудничества.

Появилась жена Максимова, Лина Яковлевна, ласково приветствовала и превкусно угостила. За чаем разговорились о символистах, о Блоке, о судьбах русской культуры здесь, в еще неизвестной мне России, и там, во мне давно знакомом и любимом, но мало известном хозяевам дома, рассеянии. Жаль было расстаться, и я с этого первого дня стала к Максимовым приходить «как домой».

Не сразу сообразила, правда, насколько крупно мне повезло. Дмитрий Евгеньевич не только открыл мне доступ к тогда еще непочатому богатству неопубликованных материалов по Блоку, но и давал рекомендации к тем, кто его лично знал: у Веры Петровны Веригиной (Бычковой) я просиживала часами, читая ее мемуары и прислушиваясь к ее живейшим рассказам, а когда получила к концу марта 1960 года командировку в Москву, меня приняли все еще обворожительная Наталья Николаевна Волохова и набожная, глубоко чтившая память поэта Надежда Александровна Павлович. Так же в Москве я познакомилась с Н. Г. Чулковой, с Н. А. Нолле-Коган и с Е. Ф. Книпович — не помню уже наверняка, благодаря ли Дмитрию Евгеньевичу, но во всяком случае, косвенно благодаря ему, так как одно знакомство вело к другому. Наставительные (и мудрые, и лирические) его письма из Ленинграда в Москву я уничтожила. Хоть и менялись времена и мало кто меня отчурался (вопреки ожиданиям атташе), слезка какая-то все же была. Однажды, вернувшись в номер университетской гостиницы за забытой там какой-то мелочью, застала маленького человека в носочках из соседнего номера, старательно разглядывавшего мою корреспонденцию. «Любопытно», — сказал он, краснея, и Христом-богом просил не жаловаться дежурной, чего я не сделала (а вдруг не профессионал) — а письма, однако, взяла и сожгла и перестала вести дневник. Более поздние письма, которые Дмитрий Евгеньевич, ничто же не усомнившись, посылал открытой почтой в Англию, у меня сохранились.

Но я отвлекаюсь от Ленинградских впечатлений. Помимо регулярных встреч с Дмитрием Евгеньевичем у него дома и в Пушкинском доме, я принимала участие в Блоковском семинаре. Уча-

стники поразили и волновали меня высоким уровнем большинства подготовленных докладов и порой страстным красноречием прений, немыслимым для косноязычных англичан. Впечатлял и строгий облик самого руководителя, сумевшего остро поставить вопросы и сделать сводку высказанных мнений в прекрасно сформулированных, «по гамбургскому счету» серьезных заключительных словах. Он возвышал участвующих до себя, и пиетет к нему был особый: к концу семестра преподнесли ему огромный букет. Кто-то из участвующих мне сказал: «Вы не понимаете, куда Вы попали. Вам кажется, что таких людей много. Вы окружены ими. Но нас очень мало. Семинар — уникам, островок в сером море».

Семинар действительно был единственным в своем роде, однако эти слова меня не полностью убедили. Мне тогда интересно было все: и театр (шел же впервые «Бег» Булгакова в постановке Товстоногова, «Идиот» со Смоктуновским в главной роли, Шварц в замечательном, с мимическим уклоном Театре Юного Зрителя, «Пестрые рассказы» Чехова в Театре Комедии); и балет в Мариинском; и опера («Сказание о деве Февронии и о граде Китеже», и странная «оперетта» «Черемушки» Шостаковича, в которой бас появляется с рокотом, достойным Досифея, на люльке у окон новой московской квартиры); и концерты в изумительных барочных концертных залах Петербурга; и Русский музей и Эрмитаж — основные коллекции и выставки — и запасники, где выкатывали огромные, неуклюжие раздвижные стенки, обвешанные молодым Шагалом, изумительным и странным Филоновым. Бегала я и по Дворцам культуры на «диспуты» о религии, о новой музыке, об общественной работе в коммунистическом государстве. Слушала чтение стихов только что вошедшего в славу молодого Евтушенко и более скромных поэтов в более домашней обстановке; слушала и пластинки, в частности, у Максимовых, «Еврейские песни» Шостаковича. Ездил на лыжах с лыжной базой в Парголово, и по морю в Сестрорецке и — с молодым поэтом Владиславом Шошиным — в корабельную рощу Петра Первого. Летом каталась на лодке по каналам Ленинграда с Борисом Вахтиным. Общежитие вело свою очень напряженную ночную жизнь, с нескончаемыми разговорами и острыми спорами с дорвавшими до иностранцев студентами и с немногочисленными другими иностранцами: шесть американцев, один чех, двое добродушнейших юношей из Северной Кореи и веселые узбеки, научные сотрудники, с которыми сталкивались на общей кухне. С Владимиром Орловым я прошла пешком по блоковским Озеркам и

по пушкинскому Царскому Селу, — и по неисчерпаемому Ленинграду гуляла часами одна, всматриваясь в снежные иглы, танцующие вокруг фонарей, или в опущенные свежим снегом памятники, добираясь по воскресеньям до разных церквей (баптистов, католиков, Никольский собор). Да к тому же в Москве, в маленьком домике Надежды Павлович, во дворе на улице Веснина, я влюбилась — и Россия стала для меня не только духовной родиной в смысле интересов и занятий, но и судьбою. Русское море казалось мне тогда и кажется по сей день стихийно-опасным, как всякое море, но отнюдь не серым. «Островок» Блоковского семинара остается в памяти поистине волшебным островом четкой формы и напряженной, честной мысли, возникшим, однако, из стихии и памятным о своем происхождении.

На семинаре я и познакомилась с другими аспирантками Дмитрия Евгеньевича, «Максимовскими Грациями»: с Галей Шабельской, с которой потом встречалась в Америке и Англии и с которой до сих пор переписываюсь, с Инной Альбиной, приехавшей ко мне в посад в Звенигороде в первый год замужества, с Наташей Дунаевой, рассказавшей мне на Дягилевских чтениях в Перми в 1993 г. о кончине дорогого учителя. С Диной Магомедовой [впоследствии автором статьи памяти Д. Е. : «На страже духа и культуры: (Д. Е. Максимов — исследователь русской литературы XX века) // Изв. АН СССР: Сер. ЛИЯ. Т. LXVI. 2. М., 1988. С. 186 — 192] я познакомилась лишь намного позднее в Москве, а с милой итальянкой Антонеллой Д'Амелиа — в Соединенных Штатах на конференции о Ремизове. Именно в этом контексте, пожалуй, надо сказать о «педагогическом приеме» Дмитрия Евгеньевича, в который вошла некоторая рыцарски-невесомая но и взыскательно-ревнивая влюбленность. У него это получилось без нарушения необходимой дистанции, очень изящно и весело, хотя не без упоминаний об Отелло и Дездемоне. И мы (за себя скажу наверняка) отвечали лирической преданностью на этот «возвышающий нас обман». Мне как-то говорили, что Лина Яковлевна от этого страдала. Возможно. Живые люди они были — и взаимоотношения живые. Но должна сказать, что в отношении Дмитрия Евгеньевича к жене была воля к высокой верности, и что ни одно письмо его ко мне не обходится без ласкового слова от нее, то в виде переданного привета, то в виде собственноручной приписки — особенно тогда, когда мне было плохо, что я очень ценила. После брака моего с художником Кириллом Константиновичем Соколовым в 1963 году, Лина Яковлевна не раз приезжала в Москву, которую любила, без Дмитрия Евгеньевича

и бывала у нас или, когда здоровье не позволяло, созванивалась. Последний раз мы приехали к ним вместе на машине и съездили вчетвером в осенний Павловск, который она тоже любила. Было очень тихо и хорошо.

Не удивительно, что при разнообразии моих интересов и напряженности личной жизни, к концу первого учебного года Дмитрий Евгеньевич мне справедливо заметил, что я не во всем оправдала его надежды: «Аспирант не живет, а только работает. Вы и жили. Хотя в Вашем случае это может и необходимо было, чтобы хоть что-то понять в нашей действительности. Но приступить Вам к непосредственной работе над книгой о Блоке — честное слово! — уже пора. Приезжайте с планом, если не с толстой рукописью, и не отвлекайтесь пожалуйста по мелочам.»

Я должна была вернуться осенью; вернулась, однако, только весной 1961 года, на что были личные причины, о которых Максимовы оба знали. Надо сказать, что Дмитрий Евгеньевич щедро отозвался и на отсрочку, и на отвлекающие мелочи (перевод «Отцов и детей» Тургенева). Примечательное и по тону и по диапазону содержания его первое письмо из Ленинграда ко мне в Англию от **11 сентября 1960 года**. Приведу его без купюр:

Дорогая Дики,

Наконец я получил Ваше письмо и впервые узнал Ваш адрес. Спасибо Вам за него и за каталог Пикассо [Каталог первой ретроспективной выставки Пикассо в Лондоне, крупного события нашей художественной жизни. У Д. Е. в комнате висела репродукция Пикассо: весьма условно изображенная женщина (кажется, Жакелин) с детьми над чтением. — А. П.]. Я должен был бы поблагодарить и устроителей этой выставки, т. к. она напомнила Вам о моем существовании. Народная мудрость справедлива. Англичанки, и даже самые милые из них, действительно бессердечные и, во всяком случае, беспамятные создания! Кобры, крокодилы, удавы!

А я очень, очень жалею, что Ваш приезд в Ленинград откладывается. Я вполне понимаю причины, которые заставляют Вас отложить поездку. Работу Вашу, в самом деле, сначала нужно оформить или хотя бы подготовить, а потом уже отвезти к нам для доделки. Но примириться с этим резонансом не хочется. Я привык к Вам и мне Вас очень не хватает. Приезжайте к нам, хоть и с опозданием, но приезжайте!

Лето мы с Линой Яковлевной провели бездарно. На один месяц мы уезжали «на природу», но и там пришлось непрерывно ра-

ботать. Ни одного дня отдыха не получалось, устал смертельно и с удовольствием поехал бы с Вами на Цейлон, отдохнуть и половить (поудить?) крокодилов (Помните у Блока в журнале о гиппопотамах?). Занятия в университете начались и я делю свое время между лекциями и писанием статьи о прозе Блока [для введения в пятый том Собрания Сочинений в восьми томах (1962—3), который Д. Е. тогда подготавливал к печати вместе с М. И. Дикман. — А. П.].

Очень благодарен Вам за портрет-фотографию [Речь идет о фотографии с графического (черно-белого) изображения Блока, подаренного мне А. М. Ремизовым в 50-е годы в Париже. Она воспроизводится в пятой книге 92 тома «Литературного наследства» и в книге А. Руман. *Life of Aleksandr Blok. Vol. 2. The Release of Harmony*, Oxford: OUP, 1980. — А. П.], я присоединю его к своим коллекциям, хотя он мне не нравится. Если рассматривать его как «чертеж мысли», признаю, что в этой мысли есть выразительность, но мысль чужая. В лице есть что-то механическое, масочное, перегоревшее, готовое надорваться, а фон еще хуже, чем у талантливейшего Анненкова [Об иллюстрациях Анненкова к «Двенадцати» Блока, фиксирующих, по мнению Д. Е., «лишь образы темной стихии», он еще напишет в примечании к статье «Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока» в кн.: *Поэзия и проза Ал. Блока*. Л., 1975. С. 141. — А. П.]. Там была все-таки стихия, — нечто органическое, а здесь геометрия, механика с ироническими флаго-подобными треугольниками на голове. Очевидно здесь сказалась позиция рисовавшего в те годы. [Думаю, Д. Е. здесь ошибается. У Ремизова по отношению к Блоку не было иронии. «Треугольники» — это обломки старого мира. О меняющемся отношении к Ремизову, которого тогда мало знал, свидетельствуют более поздние письма Д. Е. от 30 июня 1985 и 23 февраля 1986. — А. П.] И кроме того, я ничего не вижу здесь от привычного нам, знакомого и дорогого лица Блока. Ваша книга будет совсем другая... Этот рисунок, что бы Вы не говорили, чужд Вашей душе. Он — в составе «страшного мира», а не за его границами. Даже если в том случае, если это часовой («на страже»), то в его белом лице человеческого нет света, это белое-смертельное, а не светозарное. Совсем не «дитя добра и света» [нужно сказать, что в ином контексте Д. Е. говорил об этой строке Блока как о литературно «незащищенном», хотя и выражающем некую суть его. — А. П.]. Хорошо, что Вы кончите переводить Тургенева [Перевод опубликован в серии «Everyman» с предисловием Н. Е. Андреева: *I. S. Turgenev. Fathers and Children*. London: Dent & Co.

1962. Пользуюсь случаем заметить, что перевод, опубликованный в Швейцарии изд-вом «Негон Books» под моим именем, принадлежит перу моего предшественника в этой серии. — *А. П.*] Как раз недавно я читал хвалы «Отцам и Детям» у Томаса Манна. Но все-таки, думается мне, нужно честно соблюдать точки и запятые, а и но, и не превратить Тург[енева] в импрессиониста. Пусть останется в своей добротной Тургеневской сути. М. б. даже на фоне победившего импрессионизма эта «добротность» будет острее, чем ее отсутствие. Если уже переделывать, то радикально — с головы до ног (я допускаю возможность такого мейерхольдовского подхода), а не по крупинкам. [Я, очевидно, написала, что иногда приходится осовременить пунктуацию Тургенева; разбивая фразы, а сейчас думаю, что Д. Е. конечно — прав. Мейерхольд в 1929 г. задумал сценарий фильма «Евгений Базаров», узнав о котором сделал заявку на главную роль никто иной, как Владимир Маяковский. Проект остался неосуществленным. — *А. П.*]

Пишите, моя дорогая, но конечно не из вежливости, а если захочется и напишется само собой. Может быть, откроется 2-я выставка Пикассо и это Вас подвинет ко мне. (Не сердитесь за ехидство: я все равно Вас люблю).

Будьте здоровы. Пришлите Вашу фотографию в «быту», в Вашей комнате. Я хочу увидеть Вас на Вашей земле.

Ваш Д. Максимов.

Лиана Яковлевна шлет Вам свой сердечный привет. На днях прочел в газете «Литература и жизнь» статью о Вас, — что Вы заканчиваете книгу о Блоке и перевели «Двенадцать» (обстоятельство для меня новое)[На самом деле я перевела тогда «Двенадцать» лишь «для себя», а к книге о Блоке еще не приступила! — *А. П.*] Мне не хочется отдавать эту статью, но если Вам ее не переслали — так и быть, вышлю Вам я, если захотите.

Правильно ли я написал Ваш адрес.

Получить из России в Англию такое письмо в 1960-м году казалось чудом. А письма посыпались...

7-ого октября (1960)... Спасибо за картинки. Они и ваше письмо почти убедили меня, что Вы не крокодил, а совсем наоборот. Картинки Ваши, полные улыбок, щенков, лошадей, детей и еще раз улыбок говорят о том, без чего Вас не было и поэтому мне очень приятны. Жаль только, что на них прошлое (...), пришлите мне фотокадры на тему: Дики в 1960 г. за своим письменным столом переводит Тургенева; Дики за столом ест пудинг и пьет джин

(на этом кончается моя эрудиция по части англ. гастрономии); Дики в вечернем туалете слушает комплименты от джентельмена в цилиндре; Дики в мантии Кэмбриджского университета... Но пусть обязательно будет фотография о том, как Дики обдумывает свою книгу о Блоке и о том, сколько она написала (Чувствуете ли Вы на этом месте скрипуче-педантический голос бывшего руководителя?).

Впрочем, я напрасно затронул грустную тему о Блоке. Он лишил меня летнего отдыха и сейчас продолжает мучить. Конца своей работы над статьями Блока для собр. сочинений я не вижу и, кажется, его не будет никогда. Если Вы хотите знать о моей жизни, то именно в этом мучительстве и заключается, а остальное — например, блоковский семинар, — еще не началось. Впрочем, блоковская конференция у нас усиленно готовится и состоится в конце ноября. Не приедите ли Вы все таки на эту конференцию или решили окончательно отложить свою поездку к нам до весны?...

11 ноября (1960)... Как только освобожусь от дел, постараюсь добраться до книги Бауры, а до Ватто и сейчас добрался. Я всегда любил этого сказочника и думал о нем стихами нашего поэта:

«И жизнь, как жемчужную
шутку Ватто...»

(...) А о своем отсутствии на Блоковской конференции Вам, вероятно, не стоит жалеть. Она, по-моему, будет скучной. Кстати сказать, и я не успею приготовить настоящего доклада и вместо него придется что-нибудь наболтать... [Это как раз трудно себе представить. На научных конференциях Д. Е. был крайне деловым и аскетичным, читал монотонно, хоть и со внутренним напряжением, и никаких поблажек не позволял себе по отношению к слушателям. Слабо подготовленные выступления-импровизации он считал «нескромными» и сам импровизировал только в прениях, хоть и порой весьма остроумно. — А. П.]

10 декабря (1960)... Блоковская конференция прошла, как я думал, малоинтересно. Ваши поклонники, вероятно, уже охарактеризовали ее Вам подробно. Во всяком случае, Институт литературы принял решение издать сборник статей о Блоке. Может быть, и Вам стоит что-нибудь написать для этого сборника или предлагать для него один из разделов Вашей книги? Если Вы ре-

шите этот вопрос положительно — напишите заявку теперь же [Как все лучшие научные руководители, Д. Е. понимал, насколько для начинающих важен навык печататься. Проект сборника статей о Блоке не осуществился (см. письмо от 7 марта 1962), а в изданиях Пушкинского дома я напечатала две статьи: обзор критической литературы в журнале «Русская литература». 1961. № 1. С. 214—220, и статью о поэзии Блока в переводах на английский язык в сборнике «Международные связи русской литературы». М.; Л., 1963. С. 412—433].

Д. Е. продолжает: А мне, после выхода собрания сочинений Блока, придется на время опять отойти к Лермонтову. Скоро я буду пересматривать свои прежние взгляды на него и развивать их в новом направлении [У меня два издания «Поэзии Лермонтова» — 1959 и 1964 годов, надписанные автором. Второе издание — переработанное и углубленное. Я его в этом (1997) году перечитала и поразилась, как замечательно там сказано о «двухголосной художественной системе» поэмы «Демон». Вообще Д. Е. удивительно чувствовал двойственность Лермонтова: простоту и аристократизм; народность и европейский романтизм; пантеистическую любовь к природе и демоническое отрицание «Божьего мира». В последнем, вопреки Василию Розанову, усмотревшему демонизм Лермонтова именно в мистической связи с природой, Максимов видел трагическую вину его Демона. В прозе же Лермонтова Д. Е. очень любил Максима Максимыча, отождествлялся с ним — а меня, когда упрекал в невнимательности и непостоянстве в дружбе, обзывал «Мистером Печориным» — А. П.].

26 декабря (1960)... Пожалуйста, цитируйте (не в большом количестве) воспоминания Евгения Павловича. И сошлитесь на рукоп. отдел Пушкинского дома, где они хранятся. Тогда все будет по форме [Максимов готовил к печати воспоминания Е. П. Иванова о Блоке, и я их прочла в машинописной копии у него дома, из-за чего и сочла нужным попросить разрешения цитировать. Воспоминания, исключительно важные для понимания Блока, напечатаны как публикация Д. Е. Максимова и Э. П. Гомберг в Блоковском сборнике I. Тарту, 1964. С. 344—424. Д. Е. очень огорчился, что они не вошли ни в первое (1975), ни во второе (1981) издание книги «Поэзия и проза Ал. Блока». А. П.]. Мой доклад о прозе Блока еще долго будет неопубликованным, а когда появится в печати — я передам Вам его лично (...).

Я вижу, что в Англии Вы развиваете бурную литературную деятельность. Это очень радует меня и за Вас, и за Блока. Но, кажется, моя мысль о переводе статей Блока об «Отелло» и «Лире» не находит у Вас поддержки? [Не успевала. Зато в книгу о Шекспире в Советском Союзе, переведенную мною для изд-ва Прогресс в 1966 году, вошла в моем переводе речь Блока о Короле Лире. — А. П.]

(...) Николай Кал(иникович Гудзий) лежал в больнице — ему делали операцию, но теперь, кажется, все в порядке [С Николаем Калиниковичем я познакомилась в Кэмбридже, где он выступил с интереснейшим докладом об «Анне Карениной». Он потом оказал мне протекцию в Москве, помогая получить разрешение работать в ЦГАЛИ, очень тепло принимал у себя дома. — А. П.]. Вообще мы все живы, здоровы и постараемся остаться в таком состоянии до Вашего приезда. Мы с Линой Яков. очень жалеем, что сегодняшней вечер Вы не можете провести у нас. Лина Як. устроила рождественскую елку и навела диккенсовский уют, который очень бы Вам понравился, несмотря на Ваш скепсис к Диккенсу. К тому же, послезавтра день моего рождения. Ваше присутствие его бы украсило. Мы бы устроили хоровод вокруг елки и пели бы по-немецки «О таненбаум, о таненбаум» — есть такая гениальная немецкая песня [Едва ли вышло бы с хороводом! Комнаты Максимовых отличались, скорее, высотой, чем квадратным метражем «жилплощади». Как часто у потомственных интеллигентов, они загромождены были старинными вещами из другого быта: помню шкафы с книгами за синими занавесочками, тяжелый стол, какие-то ширмы или перегородки. В комнатах было сумрачно (или я бывала там только зимою? Едва ли.). Однажды перегорели пробки. Д. Е. надел пальто и меховую шапку и куда-то пропал. Вернулся сияющим при обновленном электричестве. Он любил в себе «техника» и не был таким «безнадежным гуманитарием», как предполагали при этом случае гости. — А. П.]

Жму крепко-крепко Вашу руку, дорогая. Будьте всегда такой веселой, как на одной фотографии в мантии. Но я люблю Вас и на другой фотографии — в виде Алконоста, птицы печали. (...) Мне только что сказали, что вышла долгоиграющая пластинка со стихами Блока (весь цикл «Кармен» и многие другие) в исполнении одной из самых лучших русских актрис — Алисы Коонен. Сегодня же достану ее для Вас и для себя — пусть ожидает Вашего приезда...

Я приехала и на этом переписка на несколько месяцев обрывается. В Ленинграде я продолжала работать в архивах и также изучала раннюю советскую периодику, недоступную нам в Англии, в Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина — по-прежнему под руководством Д. Е. и в постоянном с ним общении: в разговорах о мировоззрении, о Блоке, о поэзии, о музыке, искусстве и о литературных новинках. Очень запомнились лучезарные глаза Тамары Хмельницкой (которую он как-то особо чтит) и остроумная ее импровизация по теме «жанра» рассказа Н. Баранской «Неделя как неделя». Однако в этот приезд я уже вела двойную жизнь. Как я теперь понимаю, Максимовы были несколько смущены моей связью с Кириллом Константиновичем, за которую чувствовали некую ответственность. Ведь Д. Е. познакомил меня с Н. Павлович, которая познакомила меня с семьей Кирилла, как с родственниками Блока (бабушка его, Ольга Владимировна, видела и помнила поэта, читающего стихи в семейном кругу. Ее брат, Сергей Владимирович Киршбаум, был женат на Марине Петровне Блок, двоюродной сестре Александра Александровича, а сестра ее, Вера Владимировна — замужем за двоюродным его братом со стороны сестры отца, Львом Николаевичем Качаловым. Несмотря на то, что, как явствует из письма от 16 января 1916 к С. Н. Тутолминой, поэт в зрелые годы не чувствовал «связей родственных», семья им дорожила и, естественно, ревностно чтит его память.). Мы не хотели Д. Е. обременить ответственностью за наш рискованный и со всякими препятствиями протекающий роман, хотя он знал, что это «всерьез», и мы один раз у него вместе были. В основном, однако, встречались «конспиративно». Озираясь на 1961 год, год обновляемого гонения на церковь, уже закрытых запасников в музеях и разных других грозных признаков на культурном фронте, я все более удивляюсь бесстрашию Д. Е., которое тогда, прости Господи, принимала как само собою разумеющееся, поскольку ни он, ни Лина Яковлевна никогда не показывали малейшего малодушия, не говоря уже о желании от меня отмежеваться. Наоборот, скорее негодовали: чего же это «они» все еще не могут оставить в покое благорасположенных иностранцев, которые в конце-концов только и хотят жить, любить и учиться в России? Очень тошно было уезжать, как полагалось, к концу учебного года, но попытка продлить командировку не увенчалась успехом. Как мне говорили в ОВИРе, Иностранный отдел при Университете отказал мне в поддержке. Пришлось выпросить письмо из деканата (хотя бы для своих

англичан из Британского Совета, которым обязана была и первой, и второй командировкой), что их отказ не является последствием отрицательного отзыва со стороны научного руководителя. Когда уехала через Москву, мы с Максимовыми все же считали что мне «продлят», хотя бы до их приезда (они тоже собирались в Москву). Но мне отказали; пришлось уехать, после чего мы с Кириллом Константиновичем не виделись и не переписывались два года. От моих ленинградских друзей пришло прощальное письмо:

19/VII/61. Мой дорогой друг, милая, хорошая Дики, хотя мы и знали, что Вы скоро должны уехать, но известие о Вашем преждевременном отъезде нас поразило и взволновало. Невыразимо грустно, что не удастся обнять Вас на прощание. Вы стали в нашей маленькой семье совсем своим человеком, — более своим, чем многие свои. Я буду всегда помнить о Вас и любить Вас (...). Буду верить, что Вы еще будете у нас, что еще придется с Вами повидаться, что наша дружба с Вами будет строгой, надежной и долгой и никогда не оборвется. Хочу, чтобы Вы были счастливы в жизни, чтобы Ваша книга о Блокекрепила Ваш союз с русскими людьми и дружбу Вашей родины с нашей (...). Недавно я послал в университет мою новую просьбу (напоминание), касающуюся Вас. Я никогда от нее не отступал...

и рукой Лины Яковлевны:

Дики, моя дорогая! Все, что сказал Д. Е. — он сказал от нас обоих. Но мне все-таки и самой хочется Вам написать несколько слов.

Никак я не думала, что к нашему приезду Вас уже не будет. Не могу себе представить, что Вы уже уедете! Я хоть не Ваш руководитель, но привязалась к Вам не меньше и буду без Вас очень скучать.

Если бы Вы знали, как мне хотелось с Вами поговорить. Прошу Вас, Дики, не огорчайтесь. Все к лучшему, значит так надо. Я уверена, что Вы напишете хорошую книгу и сами ее привезете.

Мы будем ждать Вас, очень ждать, вспоминать всегда с нежностью и любовью. Дай бог Вам такого счастья, какого Вы заслуживаете.

Крепко, от всего сердца, целую Вас, дорогая.

Счастливого пути!

Сердечный привет Вашим родителям, и передайте им, пожалуйста, что мы их благодарим за Вас.

Ваша Л. Максимова.

И опять пошли письма из одной страны в другую:

26 августа (1961)... Рад, что в Ваших делах в Англии намечается определенность и успех. Уверен, что Вы скоро будете ректором шахтерского университета и пригласите меня прочесть спецкурс по Блоку [Я подала (безуспешно, как оказалось), на место в Дарэмском университете и Д. Е. поддерживал мою кандидатуру письменной характеристикой. — А. П.].

А у нас никаких больших событий нет. Дни все так же мелькают как телеграфные столбы на железной дороге — от полустанка к полустанку. В Паланге было хорошо, но отдохнуть как следует не пришлось. Прожили там 23 дня. А в Ленинграде сразу зарылся в корректуры блоковских статей для 5-го тома. Читаю их уже три недели, хожу в Пушкинский дом — и нет конца! (...). Месяца через два выйдут из печати воспоминания Веригиной и Волоховой с моей статьей — конечно, пришлю Вам обязательно [«О мемуарах В. П. Веригиной и Н. Н. Волоховой» // Уч. зап. Тартуского университета. Вып. 704. Тарту, 1961. С. 304—377. — А. П.] Пришлю и своего «Брюсова» — в большой серии «Библиотеки поэта» — он появится, видимо, к концу года [Валерий Брюсов. Стихотворения и поэмы / Вступит. статья и сост. Д. Е. Максимова. Подгот. текста и примеч. М. И. Дикман. Л., 1961. Книгу я получила надписанную обоими редакторами: «Мисс Аврил Пайман с сердечным приветом. М. Дикман»; «Дорогой Дики, которую я люблю больше, чем этого автора. Д. Максимов». — А. П.].

Остальное вышлет Вам Ваш пушкинодомский оруженосец, если в ближайшее время не отрежу ему голову [Очевидно, В. М. Смирнов, наиболее в это время преданный пушкинодомский «оруженосец», отличный товарищ и незаменимый гид по выставкам, театрам и «диспутам», с которым состояла в живейшей переписке и обменялась книгами... Д. Е. здесь проявляется в любимой им роли Отелло: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?!» — А. П.]. (...) Ваш «Аполлон» в сохранности [С одним ученым востоковедом — эстетом и любителем живописи и музыки Серебряного века — обменялась комплектом «Аполлона» на редкое издание старинных Арабских рукописей. — А. П.] и ждет Вашего приезда. У нас новость: моя Инна вышла замуж за своего давнего знакомого, уехала к нему в Сибирь, преподает в Педагогическом институте [При всей рыцарской самоотверженности, Д. Е. все же неизменно огорчался «изменам» «своих» аспиранток. — А. П.].

10 октября 1961... Ваше промедление с письмом пугало меня: Не обиделись ли Вы на легкомысленный стиль моего последнего

послания? М. б. у Вас на душе было «серьезно» и вам было не до шуток.

Большое Вам спасибо за неуверяемого, великолепного Боттичелли. Особенно потому я рад этому подарку, что уверен, что Вы прислали его не в обмен, а так — единственная форма, в которой и мне приятно Вам что-нибудь прислать [Это, конечно, в адрес востоковеда, но с Максимовым мы на самом деле с наслаждением дарили друг другу книги и пластинки без мысли о взаимной выгоде. — А. П.].

Так Вы, значит, «английская безработная»? [Имеется ввиду неудача с кандидатурой в Дарэм. — А. П.]. Переселяйтесь к нам скорее — и работу Вы получите в любом университете. Впрочем, Ваше «безработное состояние» может быть к Вашей пользе. За время этой паузы Вы, конечно, напишете книгу о Блоке (...).

10 октября (1961). Получилось так, что это письмо задержалось. Начал я писать в Комарове, конец дописываю в Ленинграде (...). Сегодня перечитывал Бернса — и потерял себя в море его поэзии. Редко приходится встречать такую силу очищающего лирического гипноза. Такая поэзия омывает и просветляет всю душу..

13 ноября 1961... За последнее время я подробно ознакомился с работами о Блоке на английском языке. [Д. Е. не читал по-английски, а «ознакомился» с помощью перевода или пересказа других. — А. П.].

Статьи Рива о «Двенадцати», об «Итальян. стихах» (последняя в рукописи) — не без культуры, не без тонкости, с концепционными догадками, но довольно туманными и малоубедительными. Не умеет он до конца отдаваться объекту и сквозь Блока очень уж торчит его собственная самоуверенность. Европу я все же предпочитаю. Анна Андр. сказала про него хорошо: «Очень мил и свистит». [Через год эти статьи вошли в книгу Ф. Д. Рива. *Between Image and Idea. New York and London: Columbia University Press, 1962.* — А. П.].

Киш и Баура совсем в другом роде. Их работы очень благородны по манере и духу. Стремление этих авторов к беспристрастию достойно уважения. Они хотят видеть Блока таким, каким он есть и, в общем, достигают этого. Баура интересней, «интеллектуальней», анализ «Двенадцати» у него совсем хорош и может нам пригодиться. Киш эмпиричен, цитатен, непрофессионален, не создает образа Блока, несмотря на свою добросовестность. Но

оба любят поэта и поэтому хочется их обоих, особенно Бауру, поблагодарить от имени русских читателей... [Имеется в виду глава «Alexander Blok» в кн.: M. Bowra. The Heritage of Symbolism. London: Macmillan & Co. Ltd., 1943; и монография Киша: Sir Cecil Kisch. Alexander Blok, Prophet of Revolution. London: Weidenfeld and Nicholson, 1960. — *А. П.*].

16 декабря (1961)... Очень интересно Вы пишете о планах своей передачи по Блоку. Замысел очень хорош, но не слишком ли эзотеричен? Вспомните, что Блок умел выступить очень просто, даже перед красногвардейской аудиторией [Должно быть, написала о приглашении беседовать о Блоке по французскому радио (см. письмо от 7 марта), а привожу комментарии Д. Е. скорее как курьез. Он сам никогда (в моем услышании) не выступал популярно, даже на открытых лекциях. — *А. П.*].

«Прочел» Вашу рецензию на Киша — доброжелательно-ядовитую и правильную. Она очень мне понравилась, особенно своей тонкой поправкой о 1-ом томе. Киша мне сердечно жаль. Видно, что он был сделан из хорошего, добротного, верного материала, а такие простые вещи для меня давно уже дороже всякой экзотики души [Рецензия опубликована в Slavonic and East European Review. Vol XXXIV. № 93. 1961. С. 525. Д. Е. неизменно реагировал на посланные ему публикации и рукописи и справедливо огорчался, когда им самим посланные труды не прокомментировались в благодарственных письмах. Ему был дорог «взгляд издалека» и он прекрасно понимал, как всякий автор дорожит отзывами друзей на свой все же келейный, одинокий труд. — *А. П.*].

Статья Вал. Петр. [Веригиной] о Мейерхольде еще не напечатана и этот сборник скоро не выйдет — не раньше 1963 г. [Д. Е. не угадал. Сборник «Встречи с Мейерхольдом» с воспоминаниями Веригиной «По дорогам исканий» (с. 31—60) вышел в Москве в изд-ве ВТО в 1967. Зато стоило ждать: сборник объемом более шестисот страниц исключительно богат и иллюстративными и литературными материалами. — *А. П.*]. Воспоминания ее о Блоке имеют здесь большой успех. Многие, в том числе и Громов, в восторге. Кстати сказать, Громов был очень обрадован комплиментами, которые Вы сообщили по его адресу в своем письме ко мне [По поводу книги «Герой и Время: Статьи о литературе и театре». Л., 1961. Глава из этой книги вошла в качестве вступительной статьи в четвертый том собр. соч. Блока. С Громовым меня Д. Е. познакомил в 1960 г. в Пуш-

кинском доме, где слышала его доклад и приняла участие в прениях, потом встречались и в гостях у Д. Е. — А. П.]. Что касается нас с Линой Як., то живем мы удовлетворительно. Все книги расставлены. [Очевидно, именно в это время Максимовы переехали в отдельную светлую квартиру в писательском доме на Петроградской стороне, ул. Ленина, 34. — А. П.]. На время прощаюсь с Блоком и сажусь за Лермонтова (временно!). Нужно (заставляют!) приготовить 2-ю диссертацию — на основе моей книги {...}. Вот видите, в какие прозаические дебри толкает академическая жизнь. Куда веселее иметь дело с молодежью, молодыми поэтами и художниками, которые ко мне заходят [Помню Дмитрия Евгеньевича, уже на улице Ленина, читающего стихи Кушнера (про арбузы как тигры в клетке и про толстого Фета на стоге сена) и (до размолвки с ним и эпиграммы о манной каше) стихи Бродского про черного коня на черном фоне черной ночи. Читал Д. Е. таинственно, проникновенно, тихим, строгим ворожеем. Лучше всего, но редко, раза два-три за все время нашего знакомства, он читал собственные стихи. Они — нелегки для устного восприятия, но мне и тогда врезались в память «Гора», «Поэт на Лиговке» и «Душа в городе»; потом, уже в печати, проняли «Явление отца» и «Возвращение блудного сына». Тема последнего стихотворения для меня прочно связана с разговорами о любимом художнике Д. Е. — Рембрандте. — А. П.]

Возможно, что здесь несколько писем пропало, так как следующее письмо Д. Е. — от 7 марта: и мои письма за этот период оскудели, ибо это письмо начинается упреками:

7 марта (1962)... наконец получил Ваше письмо. Вижу, что Вы закружились в «вихре света» и начинаете отвыкать от старых, ворчливых друзей, и только с помощью «категорического императива» восстанавливаете в своей памяти их физиономии {...}. Спасибо за интересные сведения о Парижской жизни и за книгу о Достоевском с очень острыми картинками [Автор этой книги Доминик Арбан, которая вела радиопрограмму «L'Etranger — mon ami» (Иностранец — мой друг), на которой пригласила меня выступить в интервью с ней о Блоке. Я знала, что Наташа (Доминик — псевдоним) имеет привычку работать лежа, и принесла ей в подарок солидный столик-поднос. Увидев меня на пороге с огромным пакетом, Наташа не своим голосом велела поставить на пол. Подумала, что я подобрала бомбу, подложенную ей правыми террористами, у которых, как

участница Французского сопротивления, по ее мнению, она состояла в черном списке. В разгаре были Алжирские события. А. П.] (...) Радует меня очень, что Вы не забываете Блока, но я никак не могу понять, пишете ли Вы Ваше главное сочинение или отложили его до будущих времен. Во всяком случае, мы все продолжаем считать Вас блокисткой и даже намерены в этом смысле поэксплуатировать. Дело в том, что блоковского сборника не будет [т. е. сборника Пушкинского дома, см. письмо от 10 декабря 1961. А. П.] и я решил временно «блокизировать» университет Тарту. Там намечается посвященный Блоку том ученых записок и я вхожу в редакцию этого тома. Короче говоря, мы хотим обратиться к Вам с просьбой написать краткий обзор (1 печ. лист или даже 1/2 листа) блоковских изданий и, главное, критич. л-ры о Блоке в Европе и Америке, включая — в особой главе — и краткий обзор зарубежной литературы о Блоке на русс. языке. К сожалению, гонорара в ученых записках не полагается, но Вы — буржуйка — и гонорар Вам не нужен. Я думаю, обзор не должен претендовать на полноту, а должен содержать в себе лишь самое главное. Характеристика литературы, по-моему, должна быть самой короткой. В крайнем случае, можно было бы дать даже не обзор, а просто библиографию с аннотированием самого важного (книг о Блоке). Для всех нас такая работа была бы уникальной и оч. важной. Хорошо было бы нам иметь ее до лета. [Не тут-то было. См. дальнейшие письма. — А. П.] Не согласились бы Вы ее выполнить? Вот было бы хорошо! Хоть к осени! Кстати, в середине мая в тартуском университете предполагается конференция по Блоку, в которой примут участие Громов, я, Минц и др. Вот бы Вам приехать на эту конференцию, а может быть и вообще у нас (в Ленинграде) пожить.

У нас особенных новостей нет. Лина Яков. чувствует себя неважно, а я занимаюсь Лермонтовым и сижу в Комарове. Блоковский семинар существует. В конце марта Долгополов будет защищать диссертацию, а я — оппонировать ему. 5-тый и 6-ой тома Блока давно готовы, но родятся в муках. Я предпочел бы произвести на свет тройню, чем один из этих томов. В. П. Веригина под моим напором пишет очерк о Л. Д. Блок, всячески ее защищая и подымая [Воспоминания Любви Дмитриевны, которые я читала впервые у Максимова, были известны специалистам, хотя вышли из печати лишь в 1977 г. в «тамиздате», а в них, по мнению любящих ее Веригиной и Е. П. Иванова, она «самую себя оклеветала». — А. П.]

16.III.62. Мой дорогой Друг, я начинаю очень беспокоиться о Вас. До меня доходят какие-то неопределенные сведения — вначале радостные, а потом грустные. Что из них правда — не знаю, и поэтому ни о чем не пишу. Хочу только, чтобы чувствовали меня рядом с Вами в Вашей радости или грусти (...). Большое Вам спасибо за книгу о Бретани. Такая синяя вода снится иногда в самых лучших снах (...). У меня для Вас приготовлен Сарьян — книга с веселыми картинками и действительно хороший художник...

30 марта (1962) ...И я, и сотрудники университета в Тарту принимаем с благодарностью Ваш отклик на наше предложение о библиографии Блока. Только имейте ввиду, что я в этих вопросах — Шейлок: я буду высасывать, выжимать, вырезать из Вас эту библиографию, и Вам от меня не спастись не только на Вашем острове, но и на Цейлоне (...). Вот бы приехать Вам на блоковскую конференцию в Тарту (11—12 мая)!

[В Тарту меня не пускали ни в 1962 году, ни позднее, когда с 1963 по 1974 год находилась на постоянном жительстве в Москве. Город считался закрытым для иностранцев, и так случилось, что я впервые попала туда через несколько лет после кончины Д. Е. на печальную конференцию памяти Зары Григорьевны Минц. С нею меня познакомил Д. Е. в 1960 г. как со своей бывшей ученицей. Она была участницей его Блоковского семинара в героические годы 1945—46 в период наступающей ждановщины, когда тема Блока была в загоне, тема символизма считалась просто одиозной. Об этом она сама (вместе с В. А. Каменской) рассказывает в очерке «Первый блоковский (диалог-воспоминания)» в IX Блоковском сборнике. Тогда семинар, должно быть, на самом деле был, как пишет А. В. Лавров в XII-ом сборнике, «своеобразным оазисом подлинной культуры, интеллигентности, знания». Светлую традицию блоковских семинаров Д. Е. и ученики его продолжали уже на высоко научном уровне в Тарту, так что, когда наступила переоценка ценностей к концу 80-х/началу 90-х годов, редакторы Блоковских сборников могли спокойно заявить, что им не от чего отрезаться и надобности нет менять курс — лишь расширить экспертизу под прежним девизом: труд и научная честность (Блоковский сборник. XI. 1990). Считаю крупнейшей удачей, что заказанная мне Д. Е. библиография попала в Блоковский сборник I (1964г.) — А. П.]

25 апреля 1962 ...Библиографию о Блоке желательно было бы представить не позднее сентября или начала октября. Я не могу абсолютно ручаться, что она будет напечатана, но верю в это вполне [За библиографию я принялась очень серьезно, и посредством переписки с библиотекарями и специалистами по Блоку и поездками по библиотекам Франции и Германии дополняла свои знания литературы о Блоке. Очевидно, попросила отсрочки и договора. Последний Д. Е., естественно, не был в состоянии со мною оформить. — *А. П.*]. Очень жалею, что затерялось Ваше письмо о Брюсове и Ходасевиче. Спасибо на добром слове о Брюсове, хотя мне хотелось, чтобы читатель моей статьи почувствовал, что Брюсов хорош, да не очень [Речь все еще идет о введении к Брюсову в большой серии Библиотеки поэта. — *А. П.*]. А как Вам моя статейка о прозе Блока? О ней Вы зловеще промолчали [думаю, скорее по пиетету перед автором, не нуждающимся, по моим тогдашним представлениям, в моем отзыве. Не знала тогда, что для Д. Е. молчание — знак несогласия. С премьеры не восхищавшего его фильма «Гамлет», например, он рано ушел, чтобы только не встретиться с режиссером Козинцевым. — *А. П.*].

Живем мы обыкновенно. Пишу понемногу «Лермонтова». На днях выходит Т. 5-ый Блока (статьи). Ушиб себе ногу, она болит, — сижу дома. Лина Яков. чувствует себя неважно (...).

28 июня 1962 ...Грустно думать, что под влиянием времени и расстояния наши письма рedeют и наша связь становится все более воздушной. Неужели ей суждено вовсе оборваться? Я очень бы не хотел этого — душа моя не кошачья, и то, что в ней Ваше — принадлежит Вам прочно.

Завтра мы с Линой Яковлевной уезжаем на отдых. [в Малевку. — *А. П.*] С 15 августа вернемся...

Может быть, мой страх остаться без Вас вызван тем, что Вы не указываете никаких сроков для своего приезда к нам, и я начинаю бояться; приедете ли Вы вообще. Может быть, он вызван и Вашим охлаждением (?) к работе по Блоку, которое, мне думается, Вы переживаете. Ведь А. Блок нас соединил, и, пока Вы с ним, — Вы и со мною.

Кстати сказать, «конференция по изучению творчества Блока» в Тарту прошла на редкость удачно. Дело не только в многочисленных и хороших докладах, но главным образом — в чистой и горячей атмосфере, вполне достойных предмета конференции. Наш сборник о Блоке — дело верное и мы твердо надеемся на Ва-

шу статью, которая нам потребуется в сентябре-октябре. Пишите ее и присылайте нам. Вероятно, собирая материалы, Вы выловите многое, мне неизвестное (...).

Здесь уже продается 6-й том Блока. Недавно был выпущен 5-й выпуск «Трудов» тартуского университета со статьей Минц о Блоке и Льве Толстом, которые, вероятно, уже доставили Вам (Если нет — напишите: я вышлю) [Речь идет о статье «Ал. Блок и Л. Н. Толстой»// Учен. зап. ТГУ. 1962. Вып. 119 (Тр. по рус. и слав. филологии. 5. С. 232—278. — А. П.] (...).

Мой семинар благополучно закончил работы. По Блоку было защищено три дипломные работы и одна о «Пепле» Андрея Белого. Мои девушки — Галя и Наташа — живут без перемен (к сожалению). Инна продолжает менадствовать (от слова «менады») в Сибири и всех нас забыла [вот: ничем не угодишь! И Инна, конечно, никого не забывала, как и показывают дальнейшие письма Д. Е., и он продолжал прекрасно к ней относиться. Зато как расстроился, когда у Гали наступили «перемены»... — А. П.]

1 сентября (1962)... Я получил оба Ваши письма — старое и новое. Спасибо Вам за них и за Вас самих, за то, что Вы есть и что Вы такая. Я хотел бы прожить свою жизнь, чувствуя Вашу дружбу и Вас рядом — хотя бы за тысячи верст. Не забывайте меня. Мне это нужно — говорю без всяких шиллеризаций.

Чувствую в Вас прочное, надежное, доброе, горячее, высокое, открытое — всему миру.

Дорого мне и Ваше отношение к России, в которой Вы имеете право видеть вторую родину (...). Ощущение раздвигаемых границ, протянутых рук всегда переворачивает меня. Недавно я с волнением прочел книгу английского автора Мориса Беринга «Вехи русской литературы» (русс. перевод 1913 г.). Это наивно и мудро и очень добро к нам. Знаете ли Вы этого автора? Очень он меня тронул [Морис Беринг — автор прелестной книги воспоминаний о дореволюционной России и многих работ о русской литературе. Он и составитель «Оксфордской антологии русской поэзии» (первое издание 1924 года), по которому в мое время едва ли не все изучающие русский язык в Англии впервые ознакомились с русскими поэтами от Державина до Блока и Волошина, приобщаясь к ним через введение Беринга, содержащее длинную цитату из его же «Вехов...», воспевающую «греческую» простоту и структурность рус. стихов. — А. П.]

(...) У нас есть новость, связанная с нашей общей литературной работой. Получено разрешение на выпуск двух томов «Лите-

ратурного Наследства», посвященных Блоку (появятся года через два) [имеется ввиду, очевидно, письма Блока к жене. — *А. П.*] Наш сборник готовится сам собою и мы все ждем Вашей библиографии. Кстати, и последние два тома сочинений Блока скоро (относительно скоро) выйдут. Говорят, что в сентябре должна выйти и книга Рива.

Отдыхали мы с Линой Яков. под Москвой. Дожди испортили лето, но зато подтолкнули меня к работе — к подготовке 2-ого изд. моей книги о Лермонтове (...).

Спасибо за итальянскую книгу о Блоке [скорее всего — прекрасно иллюстрированная книга Анджело Рипеллини: *Poesia di Aleksandra Blok. Torino, Lerici editori, 1960.* — *А. П.*] Послал Вам недавно сборник статей Берковского очень замечательных. Хорошо бы, если бы в Англии кто-нибудь о них написал! Вам вышлют по моему совету оч. ценную книгу — только что появившуюся библиографию русс. литературы 19 в. Вслед за ней выйдет и библиография 20 века — но не очень скоро. [Это незаменимые пособия под редакцией К. Д. Муратовой. — *А. П.*] Что бы еще Вам послать? Во всех моих намерениях обскакивают Ваши поклонники. Со своей стороны хочу Вас попросить добыть для меня (если можно и если просто) недавно вышедшую в Англии книгу о Лермонтове (роман?) [не помню, о какой книге здесь речь. — *А. П.*].

20 октября (1962) ...Я думаю, что библиографию Вам нужно прислать не позднее, чем в первой половине декабря. Может быть, в корректуре Вам удастся поправить, но — вполне возможно — корректуры и вовсе не будет: типография в Тарту маленькая и дает корректуры лишь на несколько дней. Поэтому всю проверку нужно сделать в рукописи, которую Вы нам пришлете (дополнительно небольшие исправления Вы, вероятно, сможете дослать в январе). Кстати, знаете ли Вы книгу профессора Гарвард. университета Ренатто Поггиоли о русской поэзии? Говорят, там есть интересное о Блоке. Очень важны были бы Ваши краткие аннотации. Нужно, чтобы читатель мог понять, какие работы — важнейшие, какие второстепенные...

30 декабря (19)62... Получил Вашу «Библиографию Блока». Работа Ваша исключительна и первоклассна по своему значению для изучения Блока. Если бы ничего другого в нашем сборнике не было — одна Ваша библиография оправдала бы его существование.

На днях я буду консультироваться со специалистами библиографами и сообщу Вам наши общие пожелания, касающиеся композиции Вашей работы (я думаю, нужно будет разделить основной текст по странам; отдел энциклопедий также распределить по странам; установить в каждом отделе свою собственную нумерацию — но это еще не рекомендация, а только предположения). Через 4—5 дней я об этом Вам напишу, а поделюсь с Вами лишь теми своими замечаниями, которые кажутся мне бесспорными. 1) Назвать лучше так: «Материалы к библиографии зарубежной литературы об А. А. Блоке и (основных?) переводов его произведений». 2) Вам нужно будет написать оч. короткое (1 стр.?) вступление — о принципах составления Вашей библиографии. 3) Крайне, крайне важно, чтобы вся л-ра была Вами просмотрена. Совсем сомнительные названия нужно исключить [очевидно, в первый вариант вошли работы, которые сама не проверяла, под знаком вопроса: для составления библиографии я переписывалась с библиотекарями в разных странах и не всегда имела возможность воочию удостовериться в точности их сообщений. — А. П.]. В менее сомнительных случаях непросмотренный материал (важно, чтобы его было меньше!) можно обозначить звездочкой *, оговорив это во введении. 4) Нужно убрать в аннотациях слишком открытые (возможно, субъективные) оценки типа: написано «с большим тактом», «блестяще составленный обзор» (для меня Лаффит далеко не блестящий автор!). Сохранять в редких случаях лишь такие «оценки»: «богаты неизданными материалами», «интересны наблюдения над поэтикой» 5) Оч. важно, чтобы везде были указаны страницы, чтобы можно было судить о размере статьи. 6) Желательны перекрестные ссылки. Напр., если статья перепечатана в книге, нужно на это указать, чтобы читатель мог ознакомиться с текстом статьи не в журнале, а в книге, которую, вероятно, легче достать. 7) Невышедшие из печати издания (книга в Базеле) лучше назвать гденибудь в конце или в примечании.

Пока — все Повторяю, работа ваша имеет огромную ценность, и мы сделаем все, от нас зависимое, чтобы ее напечатать. Но необходимо, чтобы навели в ней полный порядок в самое ближайшее время. Торопитесь, пожалуйста.

Так, не мытием а катанием, похвалой и руганью — а главное, энергичным соучастием и деятельной помощью, Д. Е. выжал из меня первую сколько-нибудь полную библиографию о Блоке за пределами СССР. К. Д. Муратова, которая, по словам Д. Е., «со-

баку съела» на библиографии, являясь «самым крупным в Ленинграде и даже СССР библиографом», вместе с ее помощником А. Д. Алексеевым и с официальным редактором, знающей языки М. А. Шерешевской, оказали неоценимую помощь в уточнении и дополнении моей работы. После того, как я переработала всю библиографию в духе указаний и под темпераментным понуканием Д. Е. («жмите! катайте! давайте! тащите! Нужно спешить! Промедление смерти подобно»), эта замечательная команда представила ее в редакцию в таком виде, в каком ее никак нельзя было отклонить «по техническим причинам». Отдел об эмигрантской литературе, тем не менее, был забракован цензурой, о чем мне сообщил, сокрушаясь, Михаил Павлович Алексеев, приехавший этим летом в Англию, но он, наверное, послужил пособием для специалистов и в рукописи и, в конце концов, был напечатан как приложение к моей книге: Alexander Blok. Selected Poems / Introduced and edited by Avril Pyman. Oxford: Pergamon Press, 1972. Письма Д. Е. от 2 января до 24 марта (5 писем) посвящены почти целиком работе над библиографией и только теперь, перечитывая их, поняла, как глубоко я в долгах перед ним, и Шерешевской и Муратовой, «с помощью сонма обслуживающих ее демонов», — среди последних и знающая языки машинистка, два раза все перепечатавшая и просившая в качестве гонорара всего лишь книгу по современному искусству (Дали, Брак или Пауль Клей).

23 мая 1963 [последнее письмо о библиографии и о работе над блоковским сборником. — *А. П.*].

⟨...⟩ дни и ночи сбиваюсь с ног, хлопочу о Вашей библиографии, переделал (обработал) вступительную часть, отдавая в переписку и на сверку (библиография уже два раза переписана!).

Впрочем, признаюсь, главная героиня все-таки не я, а Шерешевская, которая проверила *de visu* и по разным каталогам половину вашего текста и должен Вам сказать — нашла много ошибок. Теперь они исправлены, хотя многого (приблизительно половины) проверить не удалось. Если у Вас за это время возникли или еще появятся уточнения — сообщите их, пожалуйста.

Посылаю Вам предисловие с просьбой исправить всевозможные погрешности, но, по возможности, ограничиться минимальными и необходимыми поправками, чтобы не задержать печатание новой перепиской (помощников у нас нет — все приходится делать самим). Посылаю Вам, кроме того, несколько вопросов, исходящих от Шерешевской [на отдельном листе. — *А. П.*]

Весь сборник задержался по нашей вине: мы, авторы, только теперь сдаем свои материалы. Надеюсь, что с Вашей библиографией все будет благополучно, т. е. редакция и университетское начальство ее примет (затруднения могут возникнуть с последней частью) [т. е. с литературой на русском языке. — А. П.].

Обязательно сообщите Ваш летний адрес, чтобы выслать Вам корректуры, если они будут летом. Что касается меня, то до 5 июля я буду в Ленинграде, а может быть и в июле — поблизости.

Но все это — проза по сравнению с самым главным. До меня дошли слухи, что летом Вы может быть приедете к нам...

На этом кончается письменная эпопея с библиографией, но надо для полноты картины рассказать и о другой теме переписки и о некотором охлаждении наших с Д. Е. взаимоотношений, которое делает еще более благородным его самозабвенный труд над моей работой.

13 янв. (1962. Открытка).

Дорогая Дики, читали ли Вы только что вышедшую орловскую книгу о «Двенадцати»? Если ее у Вас нет — могу Вам прислать, если есть — прочтите сразу ее 145 страницу, где говорится о моем покойном брате — некрасоведе. Это возмутительная страница еще раз подтвердила давно назревающий у меня вывод, что автор этой книги — непорядочный человек, которому нельзя подавать руку. Да и вся книга разухабистая, ругательная, лакировочная, компилятивная, несмотря на знание автором предмета. Простите за этот пассаж — не мог от него удержаться.

Ваш Д. Максимов.

К вопросу отношения Д. Е. к «представителю Блока на земле», как Вл. Орлова величали в Пушкинском доме: в начале нашего знакомства Максимов меня спросил, как отношусь к трудам Орлова, и я ответила «Он импонирует мне всезнанием». На это Д. Е. сказал: «Да, он действительно многое знает» — и не отступался от такой оценки и тогда, когда вышел «Гамаюн», книга, на которую он, как и многие другие, резко отрицательно реагировал. В отношении Орлова к интеллигенции, однако, Д. Е. усмотрел «влияние Кочетова (в широком смысле)» [письмо от 6/2/1962. — А. П.]; тем не менее, до появления книги о «Двенадцати» был неизменно корректен в отзывах о коллеге и не старался удерживать меня от знакомства с ним. Вместе я их не видела никогда и не знаю, действительно ли Д. Е. ему не подавал руки, или как-то обошлось. На время, во всяком случае, он предал его ана-

феме и не приглашал в тартуские сборники. У Максимова, как у немалого числа высоко принципиальных советских интеллигентов, существовало некое «мы», от лица которого выговаривалось приятие или же осуждение произведений, поступков, иногда и людей. Быть принятым этим «мы» была (без всякой иронии) высочайшая честь. Быть отвергнутым им не наносило никаких конкретных материальных увечий, но походило на духовное отлучение. У меня такого «мы» никогда не было (о чем иногда жалею, иногда нет) и я не умею ставить крест на человеке, хотя есть люди, которых избегаю. Орлов покойного брата Д. Е., Евгеньева-Максимова, не называл, хотя выразился о нем в действительно неприемлемом тоне (противно читать!). ... это, как говорится, факт его биографии. Поскольку буквально все, кого я знала, упоминали о Е.-М. с любовью и с огромным почтением, мне казалось, что его акции стоят слишком высоко, чтобы нуждаться в моей защите. Самого Владимира Николаевича — человека сложного, в чем-то грубого, но по-своему преданного поэзии, мне казалось невозможно просто так вычеркнуть. Д. Е. и как ученый, и как человек был мне бесконечно ближе и дороже, но в данном случае против себя я не то не хотела, не то не сумела переступить, и продолжала изредка обмениваться письмами и книгами с Орловым. Возможно, что этим объясняется переход Д. Е. в письмах этого времени с роли Оттело на роль Максима Максимыча (и даже соблазненной Белы!), чему, надо сказать, я искренне огорчилась и расстроилась:

Радуюсь что Вы не отказываетесь приехать к нам в 1963 году. Мне всегда будет приятно повидаться с Вами и поработать вместе, хотя не скрою — в последние месяцы я чувствовал себя иногда к Вам в роли Максима Максимовича, встречающегося на большой дороге с Печориным (...). Печорин ведь тоже был вежлив и даже благожелателен в этой встрече, но... Впрочем, не будем развивать эту тему: у каждого, как говорят, есть свой потолок, свой предел... Орлов, например, этих докучных вопросов не поставит — и будет спокойнее для его корреспондентов.

Возможно, однако, что виноват здесь не Орлов, а мой эпистолярный стиль осенью 1962, так как уже с 20 октября того года встречаются упреки в «деловитости и отсутствии ответов на мои вопросы». Никто мне никогда не дарил таких слов, как Д. Е. в письме от 1-ого сентября, и они до сих пор живут во мне, но тогда я, очевидно, не сумела на них ответить. Английских детей ведь, по рецепту Киплинга, не хвалят и дружба наша, как правило, немая. Д. Е. придерживался ледяного тона вплоть до 24 мар-

та, когда, к большой моей радости, Печорин сменился другой литературной «персоной», подсказанной ему Н. К. Гудзием, прозвавшим меня когда-то Дикой Пальмой:

Дорогая Дики, дорогая Пальма (недикая!). Как там у Вас «на утесе горючем»? У меня, — одной из Ваших сосен, — пока что на-сморг: на улице — 20 и в наступление весны уже не верится [...а в последнем параграфе, если не в погоде, то по отношению к адресату, уже чувствуется оттепель. — А. П.] Желаю Вам, дорогой и не очень верный друг, хорошей и по-весеннему наполненной весны. Очень хочу долго говорить с вами о разном и важном. Очень хочу. Приезжайте скорее — всерьез и надолго, но хотя бы и ненадолго. Остаюсь один из верных Вам сосен а Вашем сосновом лесу — Д. Мак. ...

... а в письме от 23 мая 1963 года, последнем до моего приезда «всерьез и надолго», идет уже привычная, ласковая ругань:

Хотя Вы и коварное и забывчивое чудовище, но я Вас очень и по-настоящему люблю, и мне все сильнее и сильнее хочется Вас увидеть и обнять как милого мне и родного человека. Приезжайте, дорогая, скорее. Лина Як. Вам кланяется. Все мы к Вам привязались и, видимо, в этой жизни уже не отвяжутся.

На этом опять прерывается переписка. В августе 1963 года я вернулась в Москву и, несмотря на продолжавшуюся вплоть до дня свадьбы 19 сентября невротрепку, все же удалось «расписаться» (да потом уже зимой и очень тихо обвенчаться — я весной 1963 года перешла из англиканской церкви в православную) с Кириллом Константиновичем. Хотя в Ленинград я могла ездить только с разрешения ОВИРа, мы все же продолжали там встречаться. Раза три-четыре и Максимовы бывали у нас в Москве, но за все это время сохранилось очень немного писем и открыток возможно, в связи с бытовыми осложнениями, рождением ребенка, переездами с квартиры на квартиру. Возможно также, что почта заменялась телефоном. Интенсивное деловое общение отмирало, т. к. в Москве я занялась художественным переводом. Как показали не только забракованная эмигрантская часть тартуской библиографии, но и встретившая ту же участь обзорная статья о восприятии Шолохова в Англии и Америке, заказанная на этот раз для изд-ва «Советский писатель» по рекомендации Ю. Д. Левина и его жены М. И. Дикман, на сотрудничество в советских изданиях даже в качестве библиографа мне нельзя было рассчитывать. Неприемлема я была именно тем, чем была интересна для своих советских коллег: знанием эмигрантской литературы и умением о ней рассказать без натяжек и ругани. Для

Англии же меня попросили написать о советских драматургах для энциклопедии «Companion to Literature 2 European». Aylesbury: Penguin Books (Ptd, 1969), что и привело к вступительным статьям о Михаиле Булгакове и Евгении Шварце для серии (Pergamon Russian Series), в которой уже шел мой Блок. К тому же в Москве у нас среда состояла скорее из творческой интеллигенции, писателей и художников, нежели из литературоведов и академиков. Скончался Николай Калиникович Гудзий, а больше не было знакомых среди московской профессуры. Д. Е. был в какой-то мере прав: нас связал Блок, а к Блоку я вернулась лишь в семидесятые годы, когда добилась договора на биографию от Оксфорд Университи Пресс и — в свободное время от переводов, которые все же давали заработок, обновила работу над ним в библиотеке и в частном архиве Николая Павловича Ильина, с которым меня еще в первый год в Москве познакомил Н. Павлович. Первое сохранившееся у меня письмо после долгого перерыва, очень дорогое мне, как возобновляющее уникальность отношений и очень печальное, как свидетельство об убыли сил и ухудшающемся здоровье, относится к

5 августа 1973 ...Мы с Линой Яковлевной уже больше месяца «на даче» в Сесторечке / близко от Ленинграда.

Я много здесь работаю, но не по университетской регламентации, а «вольно», вперемежку с прогулками. Поэтому голова не такая забитая, и возникает возможность хоть немного освободиться от суеты и превращаться в самого себя. И вот: когда вспоминаешь последние промелькнувшие годы, последнее десятилетие и конвейер людей, проносившихся мимо, как-то останавливаешься, задерживаешь себя на мысли о Вас. Дики, дорогая, а очень жаль, что Вы в другом городе и мы с Вами так жестко отделены друг от друга пространством, разным обиходом, разными жизнями! Ведь мы могли бы продолжать дружбу, общение, переключки. Так редко возникает между людьми общий язык, а в нашем случае, кажется, он возник... Вот, видите, в какую лирику я пустился и продолжал бы ее, если бы не почувствовал Вашей английской иронической, хотя и доброй улыбки. Кончаю, чтобы не быть, как у Маяковского, не мужчиной, а «облаком в штанах»... Завтра мы возвращаемся в Ленинград. Я поживу еще недели две в Комарове, в так назыв. «доме творчества», буду опять работать. Книга о Блоке готова на 95 %, но последний неготовый кусочек доделывать так же мне трудно, как, по-видимому, трудно альпинистам долезать последние оставшиеся метры до вершины горы

[имеется в виду книга «Поэзия и проза Ал. Блока». Л., 1975. Из работ Д. Е., посвященных Блоку и не вошедших в эту книгу, а опубликованных за «московский период» моей жизни, следует упомянуть вступительную статью к «Воспоминаниям о Блоке» Е. Н. Кузьминой-Караваевой (она же Монахиня Мария) и публикацию этих воспоминаний с примечаниями З. Г. Минц в Ученых записках тартуского государственного университета: Труды по русской и славянской филологии: XI. Литературоведение. Вып. 209. С. 257—278. У меня сохранился оттиск с надписью «Моей дорогой Дики от забытого ею автора вступ. статьи — Д. Максимов 5/Х/68. Чувствуйте, бесчувственная, что это — предпоследний экземпляр!» — А. П.]

Устал сногсшибательно и рад бы отдохнуть в каком ниб. родовом замке, окруженный верными вассалами. Не подарите ли мне такой замок? Л. Я. чувствует себя плохо, — не лучше, чем в Москве, когда болезнь помешала ей с Вами повидаться (она очень жалеет об этом). Напишите, дорогая, на наш ленинградский адрес. Сообщите о себе, о Кирилле Конст. и его новых работах, о летнем отдыхе, об Ире и ее успехах [Ира — наша дочь, родившаяся в декабре 1965 года, в сентябре 1973 года поступила в советскую школу. — А. П.]. Продолжаете ли еще загорские штудии [т. е. работу гл. переводчицей Журнала Московской Патриархии, которой остро интересовался, но как будто слегка и опасался Д. Е. Народнические традиции его семьи чужды были церкви как учреждению, и мне временами казалось, что «Загорск» для него звучал такой же экзотикой как «Цейлон» или «средневековый замок». Проблемы христианской веры, однако, его занимали и задевали. — А. П.]. Как Никол. Ефремович (поклон ему)? [Н. Е. Андреев, научный руководитель моей диссертации в Кэмбридже, к которому Д. Е. питал заочную симпатию. — А. П.]. Сердечно приветствую Вас, Кирилла Конст., Ирочку. Будьте здоровы. Ваш Д. Максимов

Л. Я. шлет сердечный привет.

Простите, что пишу механич. способом. Вкоренившиеся «с молоком матери» навыки этот способ запрещают, но что делать — руки... [Очевидно, это уже начало мучительного полиартрита, превратившего физический процесс писания книг и даже внесения поправок в корректуру в многолетний подвиг. — А. П.].

В ноябре м. б. приеду (вместо Парижа) в Москву на брюсовский столетний юбилей [Д. Е. неоднократно приглашали на заграничные конференции, но (насколько мне известно) он так и не ездил, считая унижительными необходимые в то время «фор-

мальности» («треугольник» и т. д.). Возникало, говорил он, чувство запачканности от одного соприкосновения к инстанциям, уполномоченным разрешить или запретить заграничные командировки. — *А. П.*]

В июле 1974 г. мы с семьей собрались на мою родину — Кирилл Константинович впервые. Так сложилось, что мы и до сих пор живем в основном в Англии, но связь с Россией не оборвали, хотя первые шесть лет жили там безвыездно. На тихой ферме недалеко от шотландской границы, в сосредоточенной работе над биографией Блока, переписка с Ленинградом шла куда оживленнее, чем в Москве.

31 марта (19)75 ... Простите, что долго не отвечал. Эти месяцы прошли исключительно трудно. Нездоровье смешалось с изнурительной работой и в результате образовалась дьявольски неприятная смесь: не до писем было. К тому же недавно «отмечался» мой юбилей (предположим, 18-летний — я хочу, чтобы так думали Вы и Ваша сестра Джун [в Джун Д. Е. тоже «влюбился», когда она меня посетила в Ленинграде в 1961 г., несмотря на то, что могли они объясняться — как Д. Е. сам выразился -только на «нижегородском французском языке». — *А. П.*], а Кириллу К-у я когда-нибудь признаю в истине (...). Но книга («Поэзия и проза Блока») наконец сдана и, думаю, в этом году появится на свет Божий. Может быть, Вы упомяните ее в Вашей новой библиографии Блока? (Как видите, я не утратил скорпионьей способности жалить).

... А так, мы с Л. Я. бодем и стареем. «Свиток годов на рогах», как сказал Есенин о старой корове. Не знаю даже — поеду ли я на 1-ю Всесоюзную Блоковскую конференцию в Тарту, которая начнется 20 апреля (44 доклада!) [Тезисы конференции, посвященные Д. Е. Максимову «К 70-летию», он послал мне 27 января 1976 года с надписью: «Дорогому другу Дики — в данном случае не от субъекта, а от объекта. Д. М.» — *А. П.*]. (...) Какое изобилие: в Кентуки конференция по А. Белому, у нас -Блок. Готовьте что-ниб. для нового Блоков. сб-ка.

Очень хочу знать все подробности о Вашей жизни в латифундии, о впечатлениях К. Конст. и Ирочки от английской школы. Хочу к Вам в гости, но хочу, чтобы все англичане научились ради этого говорить по-русски. Когда научатся — приеду.

Кланяйтесь Ник. Еф. [Андрееву. — *А. П.*], который полюбил меня за Лермонтова, а за Брюсова и Блока, кажется, разлюбил. Поклон Элсворту, который, став важным и многосемейным, пи-

шет редко [Джон Элсворт — еще один ученик Н. Е. Андреева, стажировавшийся в Ленинграде под научным руководством Д. Е. Специалист по Андрею Белому, Элсворт впоследствии стал профессором рус. лит. в Университете Ист. Англии в городе Норвиче, где несколько лет служил и вице-канцлером университета. Ныне занимает кафедру рус. языка и литературы в Университете Манчестера и служит Деканом факультета современных европейских языков. — *А. П.*].

Очень хочу с Вами и с Кир. К. повидаться. Я ведь Вас действительно люблю.

Возвращайтесь скорее. А иначе увидимся лишь в обществе Блока...

8 декабря 1975... Мне нужно Ваше письмо и точный не у с т а р е в ш и й а д р е с. Через месяца полтора выйдет моя книга о Блоке, но я не решусь послать ее Вам по гипотетическому адресу. Мне кажется, что Вы живете где-то в шале среди овечек под «сенью струй» («Ревизор») или в развалинах средневекового замка, по-соседству с привидениями, а в таких местах долго не живут [Жили, однако, 5 лет; никогда не понимали русские друзья приверженность англичан к деревенской жизни, будь то на даче под Москвою или на ферме в Нортумберленде! — *А. П.*].

(...) Мы с Л. Я. смотрели в Эрмитаже Вашего Тернера и я совершенно пленился этим гениальным художником, после которого всякие Моне просто перестают существовать.

11. II. (19)76. Рига, Дубулты... Ваше письмо застало нас выходящих из дома, чтобы ехать под Ригу — отдыхать в том месте, где обычно отдыхает Над. Алек. [Павлович. — *А. П.*] — у писателей (до 3 марта) (...).

Конечно, конечно, в юбилейном сборнике в честь Вашего учителя я всецело готов участвовать, в особенности рядом с моими друзьями, о которых Вы пишете. [Речь идет о фештшрифте в честь Н. Е. Андреева, в котором я — к сожалению — преждевременно пригласила Д. Е. участвовать, так как издатель настаивал на том, чтобы все работы были посвящены, если не специальности Н. Е. (Московской Руси), то хотя бы древнему периоду. Д. С. Лихачев как бы «завершил» сборник статью о «перемене знаковой системы» при Петре. Другие участники из Ленинграда были Я. С. Лурье и Р. Г. Скрынников. См.: Canadian American Slavic Studies. Vol. 13. Nos. 1—2. Spring-Summer 1979 / Ed. Charles Schlacks, Jr, Arizona State University. — *А. П.*].

Что Гораций «конкретен», это и Вам и мне понятно, а что писал об этом Ф. Ф. Зелинский — нужно справиться. Постараюсь сделать это по возвращению домой. Это может сделать, пожалуй, лучше меня, и Аверинцев — он отличник и византист [Так! — *А. П.*]. Ему «книги в руки». [Забыла, почему мне понадобился Зелинский о Горации. С Сергеем Сергеевичем Аверинцевым я тогда еще не была знакома, но Д. Е. интересовался его произведениями и неоднократно упоминает его имя в письмах. — *А. П.*].

Здесь я перехожу в зону ревности. Дм. Сер. [Лихачев. — *А. П.*] давно уже говорил мне о переписке с Вами... Он — мой друг, но терпеть этого невозможно. Помните о Вашем соотечественнике, который написал об Отелло...

9 марта 1976... Книгу мою о Блоке Вы, вероятно, получили [Получила, с двумя надписями, датированными 27 января 1976: «Дорогой Дики с любовью и глубоким уважением. От всего сердца Д. Максимов» и «Автор сердечно приветствует Кирилла Константиновича и хочет надеяться на его благосклонное отношение к этой книге Д. М.» — *А. П.*]. Увы! 3/4 материала в нее не вошло из-за объема и разных других причин. Особенно мне жалко, что выпали совсем готовые очерки о Е. П. Иванове и Блоке, Ахматовой и Блоке и пр. Они внесли бы биографическую стихию и очеловечили бы Блока. А для читателя, да и вообще это так важно! Выпало и другое — отработанный Вл. Соловьев, о поэтике и мн. др. [Отпавшие работы, изданные все в свое время и поэтому все же не пропавшие для пронырливых специалистов, к сожалению не помещены и в переиздании 1981 года. — *А. П.*]. Как бы хорошо все это реализовать, хотя мои стихи для меня внутренне важнее. Они дороже мне «истории литературы»... Ваше оч. любезное предложение прислать мне новые книги о Блоке меня трогает. Но отвечаю на него так: если есть действительно хорошее — пожалуйста, пришлите, но если — посредственное — не стоит. «Срок уже мой измерен», как сказал Евг. Онегин и тратить себя на второстепенное не хочу. А вот получить бы второй том сочинений Вяч. Иванова (Брюссель) или хоть самого скромного Тернера (новая моя — английская — любовь!) или чтонибудь русско-философское — очень хотелось бы — не все, а что-нибудь, конечно. Хотя бы через Джона из Норвича [Элсворта: см. письмо от 31-го марта. — *А. П.*], который в апреле хотел побывать в Ленинграде. Вообще говоря, философия для меня оттесняет историю литературы. Знакомо ли Вам это? [О философии, как таковой, не помню специальных разговоров. О религии и об этике — да.

Д. Е. жизненно воспринимал всякий миф как некую глубинную и вполне «реальную» истину, недоступную логическому мышлению и невыразимую рационалистическим языком. В этом смысле он был «*anima religiosa*». Однако, ему претила кажущаяся ему топорность (м. б. и пассивность) церковнохристианской морали. Притом, он сам был человеком долга и решительно не из тех, кто «более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Иоанн. 3.19), о чем и свидетельствует и жизнь его и все им написанное как в прозе, так и в стихах. Споря о «христианской морали», он как-то потребовал, чтобы я сформулировала, как я ее понимаю для себя. Не рискуя на собственную формулировку, я привела (конечно, своими словами, как вспомнила) ответ Христа книжнику, спросившему: «Какая первая из всех заповедей?» «...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею: вот, первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; иной большей сих заповедей нет» (Марк. 12. 28—31). Д. Е. подумал, поднял сияющие, светлые глаза и сказал: «Да, конечно, это совершеннейшая победа над косностью морали». — А. П.]

20 апреля 1976. Павловск (до конца мая)... я был сражен, только что узнав от Джона, что Вы несколько раз писали ко мне. Вероятно, письма пропали. В феврале мы с Линой Яков. отдыхали под Ригой, а за моей корреспонденцией охотились местные мальчишки, вылавливая заграничные марки, а заодно и уничтожая письма. Видимо Ваши письма постигла такая же участь.

А вероятно, среди них был и отзыв на моего «Блока» (Джон сказал, что эту книгу Вы получили). Я очень ценю Ваше мнение и очень очень хотел бы услышать Ваше чистосердечное суждение об этом. А если, как сказал Джон, намерены даже написать рецензию, то это — максимум моих желаний [Длинная рецензия, написанная мною для Таймс Литерари Сапплемент так и не вышла, поскольку совпала с началом четырехмесячной забастовки газетной типографии, а сокращенный вариант был помещен в Slavonic and East European Review. Vol 58. № 3. — А. П.]

Но я ушел в сторону.

Спасибо Вам, дорогая, за роскошные книжные дары. Один из них (Тернер), выпрошенный мною, вызывает во мне запоздалые угрызения совести. Попрошайничество, конечно — грех, но очень уж мне хотелось еще раз взглянуть на этого замечательно-го художника (в Эрмитаже его совсем нет!). Хотя наши и мои воз-

возможности куда меньше, чем ваши и Ваши, — постараюсь найти для Вас что-либо хорошее.

Напряженно и заинтересованно думаю о Вашей ближайшей судьбе. Какое место на земном шаре Вы и К. Конст. определите себе резиденцией? Эгоистически я хотел бы, чтобы это была Москва. У меня все время такое ощущение, что мы с вами чего-то важного не договорили. А чем дальше, тем больше мне хочется (и нужно!) настоящих разговоров с Вами — тех, которых невозможно ни с американцами, ни с французами, а только с Вами. Это — оч. точное и выверенное ощущение. И не только о Блоке... (<...>).

Я уже год вне университета — писал книгу, работал над статьями Брюсова (есть ли у Вас его Собр. соч., т. 6-й — мой?) и для Брюсовского «Лит. наследства» (статья о «Весах»). [По поводу 6 тома Собр. соч. Брюсова Д. Е. пишет в другом письме (без даты), что «статьи Брюсова — прекрасный обзор поэзии начала XX века (<...>). Для изучающих литературу того времени она [т. е. критическая проза Брюсова — А. П.] незаменима». Он так и не смог для меня достать отдельно 6 том, который отредактировал сам с Р. Е. Помирчим «одним из своих учеников (наши примечания и моя вступительная статья)». Тем не менее, собрание сочинений (Т. 1—7. Москва, 1973—5) послужило мне одним из основных источников в моей «Истории русского символизма» (History of Russian Symbolism. Cambridge, C. U. P., 1994. 481 с.), притом больше всего ссылалась на 6 том, оказавшийся поистине «незаменимым» — и не только для Брюсова. В том же недатированном письме Д. Е. пишет, что на статью о «Весах» он смотрел как на «продолжение известных Вам моих работ по истории журналистики символистов, но на ином уровне. Она входит в подготовленный к печати (сверстанный) большой том «Литерат. Наследства», посвященный Брюсову, с огромным количеством в томе драгоценных материалов (письма к Брюсову Белого, В. Иванова, Бальмонта и т. д.). Его достать будет еще труднее. Постарайтесь подписаться на него. А оттиски своей работы, если том выйдет, я Вам пришлю... (По плану должен выйти!)». [И вышел, слава Богу, в 1976 году в виде 85 тома этой уникальной в мире серии, о которой гл. редактор М. С. Зильберштейн как-то впоследствии мне сказал, озираясь на нагромождение тяжелейших пыльных томов у себя на квартире: «А придумал Литературное наследство я — на свою голову». Сколько за каждый том было драки, видно из максимовского «если» и красноречиво подчеркнутого «должен». Статью К. М. Азадовского и Д. Е. Максимова «Брюсов и «Весы». К

истории издания» я получила от него в виде оттиска, а на том подписалась, как он посоветовал. Позже и этот том послужил незаменимым пособием для *Истории русского символизма*. — *А. П.*]

21 сентября 1977 ... шлю Вам приветствие из Ленинграда, уже приближающегося к осени, но еще сохранившего воспоминание о лете...

Получил, наконец, два Ваши письма. Благодарю Вас за них, хотя они как-то «по касательной» (знаете такой термин из геометрии?) и мало говорят о Вашей душе, на которую я, как Ваш друг, имею право, хотя и маленькое {...}. В общем Пушкин ли прав, когда он писал об «охлаждающей дали», или наша почта виновата — сказать с уверенностью трудно. В итоге мне грустно по поводу нас с Вами. Душа у меня собачья, не то, что Ваша — империалистическая — и разлуку и отдаление я переношу плохо [«Душа» у меня в это время болела и я м. б. это скрывала, но я сейчас не совсем согласна с Д. Е., что «даль» охлаждала. В письме от 9-го марта 1976 г. он процитировал пословицу: «Что имеем не храним, потерявши — плачем». Когда мы с ним жили в одной стране, казалось, что «все успеется». Как раз «вдали» друг от друга на фоне напряженной международной ситуации и «закручиваения гаек» возрастало напряжение и потребность в общении, чувстве упущенных возможностей. — *А. П.*]

Во всей этой «зоне переживаний» меня очень утешает существование Ник. Ефрем. [Андреева. — *А. П.*]: ведь мы с ним ни разу не виделись, а от него веет какой-то удивительной заочной доброжелательностью и желанием действительно помочь. Если сноситься с ним, скажите ему о моем самом горячем расположении к нему. [Н. Е. Андреев действительно был благожелателен и действительно помогал настоящим и бывшим ученикам, в том числе и мне и моей семье «оклематься» после приезда в Англию — и мне найти работу. Читая эти строки Д. Е. о Н. А., радуюсь тому, что хотя бы посмертно их объединила, посвятив их памяти *Историю рус. символизма*. Без них не было бы этой книги. — *А. П.*]

Если Вас интересует жизнь нашего малого дома и моя, в частности, Джон сможет Вам кое-что рассказать [Джон Элсворт привез стихи Дмитрия Евгеньевича и пытался их устроить в русско-язычном издании под псевдонимом «Игнатий Карамов». Для «политических» издательств стихи были чрезмерно аполитичными и не устроило, что Элсворт даже «по секрету» не готов был сказать, кто за псевдонимом скрывается. Насколько я помню, услы-

шала и я о вывозе стихов не от него. Секрет есть секрет, и Джон Элсворт человек надежный. Сейчас с его разрешения пишу о его роли в этом деле. Принял сборник Жорж Нива, которому, очевидно, понравились стихи как таковые, и они были изданы — увы, с опечатками и пропущенными строками, за которые Джон не в ответе — через 5 лет издательством «L'Age d'Homme» в Швейцарии в 1982 году. — *А. П.*] Сегодня послал в Тарту свою статью, которую писал летом «О мифопоэтических началах в поэзии Блока. Статья первая». [Эта статья: Блоковский сборник: III. Тарту, 1979. С. 3—33 — еще одно звено в моем нескончаемом диалоге с Д. Е. Этим летом (1997-ого года) я внимательно перечитала ее, вместе со статьей З. Г. Минц «О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов» (там же. С. 76—120), для статьи о мифопоэтической модели мира у Лермонтова, Врубеля и Блока. Статьи Максимова и Минц — основополагающие для целого течения литературоведческого мышления 80-х и 90-х годов. — *А. П.*]

Как то Ваша книга о Блоке? Очень она интересует меня [Имеется в виду биография Блока в 2-х томах, которую писала 5 лет по возвращению в Англию: А. Pyman. *The Life of Aleksandr Blok*. Vol. I: *The Distant Thunder 1880—1908*. P. XVI, 359; Vol II: *The Release of Harmony 1908—1921*. P. VIII, 419. Oxford: OUP, 1979, 1980. — *А. П.*] Вашу вступ. статью и комментарии я, с помощью друзей-«язычников», уже начинаю осваивать и, освоив, поделюсь с Вами своими впечатлениями, которые конечно будут хорошими [Имеется в виду: *Alexander Blok. Selected Poems (1972)*. — *А. П.*].

23 ноября 1977 ...спасибо Вам сердечное за письмо и рецензию (буду с нетерпением ожидать ее), а Кириллу Константиновичу за Филонова и Руо. К сожалению, пока я не имею возможности послать Вам ничего равносильного и просто ничего. За последние 2—3 года что-то странное делается у нас с книжным рынком. Раньше с трудом, но все же доставали новые книги, теперь же их совсем невозможно достать. «Дают» (или «выдают») лишь в «Лавке писателей», но строжайшим образом, не больше одного экземпляра на «рыло» (простите за национ. выражение). И все же я напрягу все связи, чтобы достать для Вас большую / 40 п. л. / биографию Блока, написанную Орловым, которая выйдет в первых месяцах 78 г. Орлов (...) знает Блока, и вероятно, какие-то важные детали в его книге Вам пригодятся, а фальшь и грубые нажимы для подготовленных читателей не опасны.

Вообще в связи с готовящимся 100-летним юбилеем выйдет много книг. Сдан в типографию «Блоков. сборник» Тарт. унив-та, а в будущем году предвидится его вторая часть (2-й полутом). В Литнаследстве СКОРО выйдет переписка Бл. с Л. Д. [Блока с Любовью Дмитриевной. — *А. П.*], а к юбилею второй том, насыщенный блоков. материалами, в частности письмами К НЕМУ. Конечно, как и раньше, многие из насущных блоковских тем останутся вне этих книг. И я, как и в давние времена («в те баснословные годы») взываю к Вам, имеющей большие возможности, чем мы в нашей сфере: углубите в Вашем исследовании недоступный нам вопрос о Блоке и Мережковских, о Блоке и Ницше, о Блоке и В. Соловьеве. Мы порхаем по этим вопросам, но серьезно заняться ими не можем [О Блоке и Мережковских я написала в юбилейный сборник: Aleksandr Blok Centennial Conference под ред. W. N. Vickery и S. Sagatov. Columbus, Ohio: Slavica, 1984. С. 237—270. Рецензент Дж. Граффи отметил, что моя работа написана одновременно с осторожно названным, но отнюдь не «порхающим» исследовательским трудом З. Г. Минц «А. Блок в полемике с Мережковскими» // Блоковский сборник: IV. Тарту, 1981. С. 116—222 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 535). В чем-то, однако, наши с ней работы друг друга дополняли. О Ницше и о Соловьеве не напишешь без второго варианта работы Д. Е. о Блоке и Соловьеве (см. письмо от 13 ноября 1979) и статьи В. М. Паперного «Блок и Ницше» (Уч. зап. ТГУ. Вып. 491. Тарту, 1979. С. 84—106), и здесь я, пожалуй, тоже «порхала». Об их влиянии на Блока конечно упоминается в моей биографии и др. работах, а о втором поколении символистов написана отдельная глава в «Истории русского символизма». Тема теперь доступна и русским исследователям, однако, далеко не исчерпана. — *А. П.*]

...Дики, дорогая, хорошая, и мне действительно Вас не хватает и временами очень-очень хочется просто посидеть с Вами и поговорить и о Блоке и «о жизни» вообще. (Кстати: мои отношения с Блоком несколько осложнились) [так! — вставка от руки в машинописный текст. — *А. П.*]. Боюсь только, что Ваша двухлетняя отсрочка окажется роковым препятствием к исполнению этого желания. Два года для меня — то же, что для других — 20-ть. Повидаемся ли еще?

После просьбы послать фотографию Ирочки и всяких поклонов и пожеланий, написанных от руки, идет приписка на машинке:

Дорогой Кирилл Константинович, привет Вам сердечный. Жаль, что не удастся посмотреть Вашу выставку. (Ваш рисунок

на афише [для той же выставки — А. П.] мне оч. понравился). Ваш Руо — третий в моей коллекции, но по содержанию совсем новый. Вы попали в точку: я его очень люблю за католическую витражную красоту его зловещего мира, хотя, вообще говоря, меня все больше и больше тянет высокая старина — вечный и единственный для меня Рембрандт и Эль Греко (...)

и от руки:

Кир. Конст.! За Вашими оч. скупыми словами характеристики «того мира» я чувствую большую и оч. близкую мне правду!

В 1977 Кирилл Константинович создавал свои Эмигрантские тетради и люто скучал. Д. Е. не был славянофилом (см. письмо от 9 декабря 1981), но «западничество» в смысле «низкопоклонства» было ему совершенно чуждо. У него легко совмещался Рембрандт и Пушкин, Руо и Блок, Кафка и Ремизов, Феллини и Козинцев, но он болезненно реагировал на проявления спеси со стороны некоторых западных коллег и понимал отчуждение соотечественников в ссылке вольной и невольной, у которых «остались запахи и прежняя береза/ И закадычный сгорбленный денек...». Об этом свидетельствует и следующая, «зрячая» приписка — также от руки:

Вдруг вспомнил какая хорошая (и русская — в глубоком смысле!) была у Ирочки няня — Вы рассказывали. Останется ли в ее душе кусочек этой няни? [Д. Е. попал в точку: не только остался, но в какой-то мере и определил судьбу нашей дочери. — А. П.].

11 января 1978...наконец я получил от Вас большое письмо, где говорится о моей книге (...). Разве я писал об идее Прекрасной дамы? Впрочем, может быть и писал, хотя предпочитаю называть ее более широким нейтральным словом: мифологема. Для Блока, Вл. Соловьева Пр. Дама — некая реальная объективная сущность, которую не покрывают какие бы то ни было определения, даже в том случае, если признать ее идеей в платоновском объективном смысле. Но, наряду с этим глубинным подходом к ней, реализуемым в созерцательной интуиции, возможно искать и находить в ней логические предикаты, которые не покрывают ее, но все же дают ее ограниченные, но вполне реальные определения. На этом уровне уместно и слово идея, которое не исчерпывает самой «сущности», но нечто в ней открывает. Здесь уместно вспомнить о соломоновом и соловьевском ее понимании — достаточно дифференцированном [Под «соломоновом» Д. Е., наверное, имеет в виду упоминание о Пре-

мудрости Божей в Соломоновых Притчах 8:26,30—1. — А. П.]. Таким образом, она — и ИДЕЯ — и в этом мы с Вами, кажется, не расходимся. Ведь и свою статью о пути Блока я называю «Идея пути...» и т. д., имея в виду, что существует сам путь и идея его. Так же и с Прекрасной дамой. По-моему, выражение «миф» или «мифологема» сюда подходит, поскольку допускают двойное толкование: как обозначение объективной реальности (для переживающего этот миф, напр. Блока) и как символ некоего комплекса переживаний и восприятий. Мы как литературоведы в своих писаниях не имеем права догматически придерживаться одной из этих точек зрения, т. е. должны дать простор обоим из этих толкований — найти для этого достаточно емкую формулу. «Миф» и есть такая формула.

Вы пишете, что я «раздружился с Блоком» [Очевидно в связи с припиской Д. Е. к Блоку в предыдущем письме. Возможно, конечно, и пропажа одного письма. — А. П.]. Это — огромная тема и ответить на нее в письме я не смогу. Я продолжаю его глубоко любить, его прозрачную, светлую, высокую суть. Но «жить по Блоку» и чувствовать по Блоку, как я это делал раньше, я не могу или, вернее, могу лишь в самом последнем (не предпоследнем) смысле слова. [Не убеждена, что и «раньше» Д. Е. всегда жил и чувствовал «по Блоку». Во всяком случае, прочитав мою статью о его стихотворном сборнике («Путь петербургской поэзии» // Вестник РСХД. № 146. III, IV. 1983. С. 151—170), он находил, что я преувеличивала блоковский в нем дух. Для него, сказал он мне тогда, и в ранних стихах, скорее, идет борьба с влиянием Блока, свойственная всему поэтическому поколению, за ним последующему — что, конечно, и не исключает ни любви к поэту, ни некоторой, пожалуй, именно «последней» близости. Впрочем, Д. Е. прожил долгую жизнь и мог вполне и реагировать против Блока в 20-е, ранние 30-е годы и опять с ним сблизиться в 40-е, 50-е и 60-е с тем, чтобы вновь отчуждаться в поздние 70-е. — А. П.].

Я очень, очень жду Вашей книги (<...>). Ваше честное и вдумчивое толкование Блока меня всегда интересовало, а сейчас после ознакомления (с помощью друзей) с Вашей подробно комментированной антологией Блока 1972 г. — книгой надежной и прекрасной — стало интересовать еще больше. Когда же, когда?

И после, как всегда, теплых и внимательных расспросов о моей семье и жизни «на хуторе» или в «замке» — приписка:

Между прочим в Ваших письмах отсутствуют упоминания о Л. Я. Это случайно или Вы за что-то на нее обиделись? Ведь в

прежние времена мы все встречались «в мире и согласии»! [Случайно, конечно. *Mea maxima culpa!* — *А. П.*].

29 апреля 1978

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

(...) Когда, наконец, Англия заговорит по-русски?!!

В ожидании этого золотого века — «Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся» — могу Вам сообщить, что подготовка к блоковскому юбилею более или менее начинается, хотя и вяловато. Вчера стало официально известно, что решено открыть блоковский мемориальный музей (две квартиры) на Пряжке. Уже приступили к реконструкции церкви в с. Тараканове, где Блок венчался. План восстановления Шахматова так же составлен [но до сих пор не осуществлен — *А. П.*]. Обширная коллекция покойного Н. И. Ильина приобретена ленинградцами для музея Блока. Скоро выйдет книжица Долгополова о «12», а Орловская биография Блока (ее фрагменты Вам известны — я прочел только начало) — через неск. месяцев (кстати, автор серьезно болеет и вряд ли произведет что-нибудь новое). Зара [Минц. — *А. П.*] до изнурения трудится над Блоковским Лит. Наслед. и тартускими сборниками. Один из них (3-й) выйдет совсем скоро. Другой (4-тый) отложен до след. года, хотя давно скомплектован. Кажется, Блока начинают любить у нас больше, чем до сих пор. Впрочем, природа этой любви подлежит исследованию. Возможно, что максимализм Блока уже не воспринимается и о нем думают «спокойно», как о Тургеневе: поэт России, Петербурга и только. И софианство Блока, как и Вл. Соловьева, в соответствующих кругах (Аверинцев — **ОЧЕНЬ** яркое явление; см., напр., его книгу «Поэтика ранневизантийской литературы») вызывает вздох: эстетизация, эротизация, не то, что Соломоновы притчи и русские Софии XI века!

Пишу все это в порядке аннотации — без своих комментариев(ев) (...).

Мы с Линой Яковлевной **ЗДОРОВО** ослабели и к новым большим работам я вряд ли способен. Взялся писать и «воспоминания» (!) т. е. мемуарный очерк о Белом (свои личные воспоминания о нем и письма ко мне его жены К. П. Бугаевой с разными фактами и пояснениями). Выходит около 1,5 п. листов. Не знаю только, где напечатать. Есть ли у вас какие либо подходящие «Учен. записки» или что либо вроде, напр., с Вашим предисловием? Англия не жалуется нашей музы, но м. б. взглянет благо-

склоннее на нашу прозу? [Речь идет о статье «О том, как я видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки издали», напечатанной в «Звезде». 1982. № 7 и в книге Д. Максимова «Русские поэты начала века». Л., 1986. С. 356—376; переиздана в сборнике воспоминаний о Белом (М.: Республика, 1995 и в переводе Джона Малмстада и Роберта Магуира как «Seeing and Hearing Andrey Bely: Sketches from Afar» в книге: Andrey Bely. Spirit of Symbolism / Ed John E. Malmstad. Studies of the Harriman Institute, Ithaca and London; Cornell University Press, 1987. P. 336—356. В предисловии к этой книге Малмстад пишет: «И Дмитрий Максимов, самый выдающийся советский специалист по символизму, дарит нам этот пламенеющий образ в своем мемуарном очерке о Белом, который он специально проработал для данного тома» (перевод мой. — А. П.). Одним словом, Д. Е. здесь — в явно минорном настроении и недооценивает ни собственных духовных сил, ни интереса читателей, ни возможностей пробивать такую необычную по форме лирическую статью о Белом в советской печати. — А. П.]

За этим письмом следует открытка от 5 ноября 1978 г. с изображением изящного царскосельского «Мраморного моста» В. Н. Неелова с припиской: «На открытке мост — первый, который в жизни увидел».

...недавно в Пушкинских местах (Михайловское и проч.) я познакомился с Вашим хорошим и шумным знакомым Владимиром Брониславовичем [Сосинским, одним из авторов книги «Герои Олерона» (Минск, 1965), родственником семьи Резниковых, у которых я училась русскому языку в Париже в 1948 году; отдыхая вместе в Рояне, на юго-западе Франции, и прогуливаясь со мною по пляжу, В. Б. увлеченно и увлекательно «рассказывал» историю русской литературы. Вернулся В. Б. из эмиграции в СССР, если не ошибаюсь, в 1958 г., и они с женой Ариадной Викторовной (урожд. Черновой) оказались очень надежными друзьями. — А. П.]. Мы много и по-хорошему Вас вспомнили. И я вновь убедился (в сущности, всегда об этом знал), что между нами затесались всякие ненужные пространства и что у меня нет вертолета, чтобы перелетать к Вам на крышу, пить с Вами и Кир. Конст. и Ирочкой чай (за Ирой уже, вероятно, можно ухаживать: девушки до 15 лет обращают на меня внимание, хотя с Вл. Брониславовичем я в этом смысле далеко не сравнюсь). Не забывайте меня, дорогой друг! Мы катастрофически стареем, жизнь кончается, но работаю, все еще по Блоку. Организуем в Ленинграде его музей...

21 марта (19)79... посылаю книжку моего быв. ученика Н. Крыщука о Блоке. На мой взгляд, в ней — художественное дарование (признаки его), смелость, много ляпсусов и кое-что неприятное. Вам все-таки пригодится [Николай Крыщук. «Открой мои книги...». Л., 1979. В этой книге, которую сам автор называет «разговором о Блоке», попытка побудить читателя разобратся в сложностях совпадений и несовпадений между биографией поэта и лирической персоной стихов. Чувствуется влияние Тынянова. — *А. П.*]

Жалею, что Вы не написали о судьбе Вашей рецензии на мою книгу. Конечно, газету специально закрыли, чтобы не печатать эту рецензию. Таков уж народ эти англичане. В США напечатаны две рецензии (или больше?), а в Англии — ни одной. Не ценят у вас этого автора, особенно его стихов. Один лишь милый Ник. Еф... [В 1962 г. Н. Е. Андреев напечатал рецензию о книге «Поэзия Лермонтова» в журнале *Slavonic and East European Review*. Vol. 46. № 45; о судьбе моих рецензий на книгу «Поэзия и проза Блока» см. письмо от 20 апреля 1976. — *А. П.*]

Недавно в Ленинград приезжал Влад. Бронисл. [Сосинский — см. открытку от 5 ноября 1976. — *А. П.*]. Выступал с очерками в Доме ученых в переполненной аудитории и, в общем, с успехом. Позже мы с ним встречались и он сообщил, что Ира читает «Мороз -красный нос» и что Вы называете его в письмах «Володей» (О, изменница! Где моя шпага?)... Он бодр и центростремителен, но конечно ему, как и мне — увы! — не 18 лет. И это очень видно. МЭНЕ, ТЭКЕЛ, ФАРЕ — взвешено, сосчитано... (...)

Послать свою книгу [первый том биографии Блока. — *А. П.*] Вы можете по такому адресу: Ленинград, Петропавловская крепость. Музей истории Ленинграда для Музея А. А. Блока.

Дело в том, что Музей Блока (он в стадии становления) будет пока лишь филиалом Музея истории Ленинграда.

13 ноября (19)79... Дай Бог, Ваша амазонка (Ира) усвоит мамины традиции, не говоря уже о папиных, связанные с большой русской культурой. В этом отношении меня оч. интересует Ваша книга о Блоке, которую в самое ближайшее время, с помощью моих доброжелателей, я буду внимательно читать и ссылаться на нее во 2-м издании моей книги (кстати, моя книга переводится в ФРГ и в Венгрии). [В более позднем письме без даты Д. Е. возвращается к тому, что хочет ссылаться на мою книгу, и пишет: «По Вашему индексу я посмотрю и узнаю Ваши суждения об отдельных статьях Блока. Но нет ли у Вас обобщающего суждения о про-

зе Блока, которое я мог бы поместить в тот ряд отзывов, который у меня на стр. 182 (посмотрите!). Сам найти я уже не успею. Может быть Вы подскажете?» К сожалению, «обобщающего суждения о прозе» у меня не было (как-то не вошло в задачу биографии), и «Поэзия и проза Ал. Блока» и во втором издании вышла «без меня». — А. П.]

Подготовка к блокам юбилею разворачивается. Собр. соч.: академическое в 15 томах; «общедоступное» — в 6-ти томах. 150 печ. листов блоковского двухтомного [впоследствии и 5-томного. — А. П.] «Лит. Наследства». Музей в Ленинграде, и под Минском в Белорусии (уже открыт) и т. п. Я лично переосмыслил и увеличил вдвое мою известную Вам статью о Блоке и Вл. Соловьеве, показав теперь то позитивное содержание, которое Блок получил от Вл. Соловьева [Речь идет о статье «Ал. Блок и Вл. Соловьев: (по материалам из библиотеки Ал. Блока)» в кн. «Творчество писателя и литературный процесс. Изд-во Ивановского ун-та, 1981. — А. П.]. Хочу написать еще статью о Блоке и Мандельштаме и о Блоке после «Двенадцати» (смотрю на эту статью как на выполнение своего жизненного долга, как на входной билет в рай). [Мне ничего неизвестно о судьбе этих проектов. Существуют ли они, хотя бы вчерне? — А. П.]

Кстати, путешествие в вышеобозначенное место, очевидно, скоро состоится. К концу года мне исполнится столько лет, что и сказать страшно (круглое число). Боюсь, что Ваша Ира отвергнет меня как поклонника. Вообще мы с Линой Яковлевной в отн. здоровья покатались по наклонной плоскости, наращивая скорость. Смотрю из окна на наши тополи и завидую: они до самого снега — зеленые, а потом вдруг листья опадают, не пожелтев...

4 июля 1980... Сегодня свершилось знаменательное событие: я получил наконец 2-й том Вашего «Блока». Шел он так долго, т. к. название улицы, где я живу, в адресе на бандероли было предельно искажено и книга дошла чудом (между прочим, Блоковский музей не получил ни 1-го, ни 2-го тома!).

Спасибо Вам огромное. Перелистывание книги возбуждает к ней глубокое уважение и просто очень волнует. В другой далекой стране оказался человек с большим сердцем и зорким глазом, который так пристально взгляделся в нашего национального поэта, так тщательно и с такой любовью воссоздал его трудную жизнь! Можете упрекать меня в сентиментальности (думаю, что у нас с Вами и иронии достаточно!) но очень-очень радует и трогает, что эта монументальная книга создана и что она — в пер-

вом ряду написанных о Блоке монографий. Буду с чужой помощью ее читать и изучать.

Но, видимо, это чтение придется немного отложить. Через 1 1/2 месяца я должен сдать рукопись 2-го переработанного (не очень сильно!) издания своей книги о Блоке. Мы с Л. Я. физически очень-очень сдали — и всякие авральные работы для меня более, чем трудны [На самом деле, Д. Е. уже с трудом выводил буквы, о чем свидетельствуют поправки и приписки к машинописному тексту. — *А. П.*].

Меня радует Ваше положительное отношение к моей статье о мифе у Блока. Вряд ли только удастся ее продолжить. Если Бог даст сил, я займусь другими предметами. ««Блок после «Двенадцати»», «Воспоминания об Ах-ой», (м. б. «Блок и Манд-м» — стадийные соотношения — по сути — «рассказ» о двух поколениях) и т. д.

22 сентября 1980... Давно уже я получил Вашу рецензию на мою книгу [О Блоке — *А. П.*], но до сих пор не собрался Вас поблагодарить: спасибо, дорогая (...), в ней есть важные для меня слова. Одно из них было особенно мне приятно — о том, что автор книги имеет некоторое отношение к поэзии, не только как к объекту изучения. Об этом мне говорили, но написали впервые только Вы. Т. е. увидели какие-то блестящие среди геологических россыпей «научной прозы», иногда, может быть, педантичной... (...)

Вот бы приехали к нам в «блоковские дни» в ноябре! На Всесоюз. Конференцию в Пушкино! Я лично отказываюсь от выступлений. С темой, со мною и со временем что-то случилось — мешает. Посмотрите и Блоковский музей, который к ноябрю откроется. Верхняя основная блоковская квартира уже готова, привозят подлинные вещи — кабинет будет совсем подлинный...

4 мая 1981... Спасибо Вам за Ремизова с картинками, т. е. главным образом — за память [Оттиск моей статьи о Ремизове рисовальщике: «Aleksey Remizov in drawings by writers...» в журнале «Леонардо». Vol. 13. 1980. P. 234—240. — *А. П.*]. Но не могу одобрить отмену Вашей поездки в Москву. Я звонил в Москву и спрашивал о Вас, но получил разочаровывающий ответ. Хочу думать, что это не отмена поездки, а отсрочка ее. Не можете ли заранее спланировать экскурсию в Ленинград? Мне очень-очень хочется с Вами повидаться, а сам я (и Лина Яковл.) и (при?) нашей хилости вряд ли сможем съездить в Москву. Бо-

юсь, что нам с ней уже не долго обременять свет своими персонами и поэтому встреча наша с Вами особенно важна, — «мистериальна» [слово в кавычках вставлено от руки. — А. П.]. Тем более, у меня к Вам и «научные дела». На всякий случай, имейте в виду, что весь май мы — в Ленинграде, а июнь-июль — в самых близких и доступных местах от Ленинграда. Если Вы приедете — я сообщу адрес (сейчас он еще не совсем ясен).

(...) работать продолжаю. Сейчас жду корректуру 2-го дополненного издания моего Блока. Затем буду писать о «Петербурге Белого» — в голове все созрело.

7 июля 1981 ... ура! Вы приехали!

За приветствием следуют точные указания, как связаться с Максимовыми на станции Прибытково, Гатчинский район. Письмо все исписано моим почерком телефонными номерами. По нему и по смутной памяти, приехал в Москву кто-то из «молодых друзей» Д. Е. (записана у меня «Лилия Семеновна») и мы с ней по телефону договорились о том, как бы встретиться нам с Максимовыми в Ленинграде, куда я съездила 14/15 июля. Тяжело было видеть, как руки Д. Е. постепенно превращаются в лапы, как он шаркает по комнате на больных ногах в мягких туфлях, как обострилось доброе, пытлиное лицо. Лина Яковлевна, никогда не отличаясь крепким здоровьем, стала заметно более сумрачной и беспомощной, а все же в квартире еще царили чистота и уют, созданные, если не ее руками, то организационными способностями и волею к порядку, к красоте. Они устроили трогательный прием. Кажется, Д. Е. «сходил» за готовым обедом, за которым, конечно, разговорам не было конца. О судьбе своих стихов, которые в то время печатались в изд-ве «L'Age d'Homme», Д. Е. очень беспокоился и, в частности, поручил мне связаться с редактором, чтобы тот снял неотосланное «письмо» Анне Ахматовой. Из книги, где оно действительно было бы неуместно, сняли, а я потом напечатала это все же замечательное письмо и некоторые новые стихотворения, не вошедшие в сборник, в своей статье «Путь петербургской поэзии» (см. письмо от 11 января 1978). Говорили, конечно, не только о стихах и не только о Блоке, а о всех годах разлуки, о нас... Следующее письмо Д. Е. адресовано в Москву:

28 августа 1981... спасибо Вам огромное за Ваше по-истине дружественное письмо. И оно, и наша встреча меня очень тронули. Наши с Вами собачьи души в этот момент хорошо перекликнулись. Верю, что это — дружба (такая редкая теперь!) и что

она выдержала испытание времени. Да, так жаль, что Вы — далеко и что мы так редко видимся — и увидимся ли еще? Может быть с Кириллом мы в конце концов подружались бы (...).

А у меня сегодня большой день. Я подписал корректуру второго издания своей книги и месяца через два ожидаю ее выхода. К сожалению, расширить ее мне можно было очень мало, но кое-что важное я все же в нее ввел, например, цитаты из Августина против учения о «вечном возвращении» (указываю этот пример, чтобы Вы поняли, в какую сторону меня тянет) [«Вполне закономерно, — пишет Д. Е. на 81 стр. второго издания «Поэзии и прозы Блока» что в христианской литературе мифологема кругового движения оценивалась отрицательно». «Они не знают пути мира», — говорится в «Послании к римлянам» (3.17). Августин целый ряд глав своего знаменитого сочинения посвящает опровержению этого «безумного и нечестивого учения», созданного «лживыми и коварными мудрецами». «Философы этого мира, — пишет Августин, — полагали, что не иначе можно решить этот спор (о «создании человека». — Д. М.), как допустив кругообращение времен, в котором одно и то же постоянно возобновляется и повторяется в природе вещей, и утверждали, что и впоследствии беспрерывно будут совершаться кругообращения поступающих и проходящих веков, будет ли это кругообращение в мире постоянно пребывающем, или он, возрождаясь и погибая через известные промежутки, будет всегда представлять в виде нового то, что уже прежде всего было и будет опять. Это насмешка над бессмертной душою...» и в заключении главы — о том, что «нечестивые» ходят по кругу не потому, что жизнь их будет проходить через воображаемые ими круги, а потому, что таков именно путь их заблуждения, то есть «ложное учение». Отсюда Августин делает вывод: «Мы, следуя прямому пути, которым служит для нас Христос, направим (...) свою веру и ум в сторону от суетного и безрассудного круговращения нечестивых». (Творения блаженного Августина: О граде божием. Т. 4. Кн. XII, гл. 13, 14, 20. Киев. 1865). Послав мне второе издание своего «Блока», Д. Е. отметил даже не эту заветную страницу, а противоположную еле заметной карандашной линией (которая и сейчас мне помогла вновь найти ее). Мне кажется, что здесь переключка с интереснейшим письмом от 11 января 1978 года об «идее» и «мифе», где Д. Е. пишет, что «существует сам путь и идея его». — А. П.]

Письмо продолжается:

Очень трогает меня Ваша верность Блоку [Я рассказала о возрастающей в 80-е годы тенденции эстетически и этически «отрицать» символистов в целом и Блока, в частности, которая чувствовалась и в некоторых (хотя еще далеко не во всех) рецензиях на мою биографию и во многих докладах на научных конференциях. Сказывалась, прежде всего, увлеченность акмеистами но и интерес к футуризму; переносили все страсти вчерашних ходов коня на сегодняшний день. Мне же казалось, что оттого, что одни хороши, не следует, что другие хуже, и я сначала довольно беспомощно расстраивалась — потом, признав закономерность «диалектики», которую Д. Е., должно быть впитал от формалистов через Эйхенбаума, принялась спокойно для себя исследовать все эти «переоценки ценностей» и определять свою позицию. Д. Е. реагирует здесь на эту первую мою растерянность. — А. П.] Я тоже глубоко верен ему в каких-то самых глубоких его основах — уследимых и неуследимых. И меня огорчает и злит критика, которая обрушивается на него со стороны «электусов (?)». Но, родившись от Блока, я не могу им жить — многое в нем слишком задвинуто временем. Оно, это веяние, идущее от Блока, не может умереть, как импульс, как ЖИВОЕ воспоминание и ЖИВОЕ УКАЗАНИЕ, но имеющее с нашим опытом какую-то очень сложную, «пунктирную» связь. Мы, здешние, — это Блок 1920—21 года...

Здесь в последний раз приведу и приписку от Лины Яковлевны:

Дики милая! Очень мы были рады Вашему письму. Увидимся ли мы еще? Бог весть! Поэтому пишите чаще. И мы тоже (пока живы) — будем подавать голос. Напишите, успешна ли была Ваша поездка в Москву. Привет Кириллу Конст. и Ирочке. Целую Вас. Л. Максимова.

2 ок. 1981. Солнце, тепло, прозрачно.

Дорогой друг, Дики!

Вот Вы уехали, переводите «Былое и думы» и забыли о нас [Т. е. я вернулась в Англию. О таком переводе шла речь в «Радуге», но он не осуществился. — А. П.]. А я о Вас и Вашей славе помню. Вчера дал Ваш двухтомник одной очень достойной блокистке для **подробного** реферирования, в реферативном журнале: по спешному заказу. Составитель этого реферата одновременно изготовит рецензию на Вашу работу для одного из больших и читаемых журналов [Об этом больше ничего не слышала. Это не рец. бывшей ученицы Д. Е., прекрасного знатока английского

языка Е. Л. Белькинд в Вестнике Ленинградского Университета, о котором идет речь в др. письмах Д. Е. и которая к этому времени была уже написана и принята редакцией. — А. П.]

(...) А у нас, в нашем филологическом мире, очень грустные события. Может быть Вы о них знаете? Скоропостижно скончался М. П. Алексеев — неделю назад мы его хоронили. Умер талантливый скандинавист, мой сверстник, Стеблин-Каменский. И, пожалуй, самое ужасное — гибель под колесами машины Верочки Лихачевой, с которой Вы знакомы [Вера Дмитриевна нас посетила в Берике, где тогда жили, во время командировки в Эдинбург, и покорила нас, да и всех, с кем встречалась в Англии и в Шотландии, умом и благородной, благожелательной простотой в лучшем смысле этого слова. — А. П.]. Вера — любимая дочка и самый близкий человек Д. С. Он потрясен и мы опасаемся: сможет ли он оправиться...

9 декабря 1981... Очень благодарен Кириллу Конст. за его описания (два) которые с большим трудом, но все же достигли меня. Один из них — «реалистический» (горы, вода). Насколько я имею право судить — на высоком профессиональном уровне. Экономно и сверхпросто — и много сказано! Второй — «сюрреалистический». Две фигуры «монашеского» облика. Левая фигура овевана странным, намекающим, которое для меня — особая область искусства. Атом Странного может оправдать целую породу, даже вполне нейтральную. Конечно я говорю не о том, что кажется просто необычным и своей необычностью поражающим, а о Странном в особом смысле, о «заглядывающем». Увидеть Странное — особый дар, которым Кирилл Конст. владеет и который, очевидно, нужно расходовать целомудрено, аскетически-сдержанно, не расточая его.

А о Пикассо я думаю в последн. время гораздо меньше, чем раньше. Был момент, когда я смотрел на него как на «властителя дум», да и теперь я признаю его подлинную гениальность, хотя непосредственно люблю его голубой период больше, чем другие. Люблю, что в нем сидит нечто вроде Эль Греко — пожалуй, самого любимого мною ТЕПЕРЬ, после Рембрандта. Кроме того, я рад, что Вы напомнили о Моранди. Это — другой масштаб, но очень остро и важно. Его скромные натюрморты — разговор о всей нашей жизни, сознании и эпохе. Имею право так говорить, т. к. несколько лет назад у нас была выставка его картин... В целом мне очень нравится, что Кирилл Кон. по хорошему ругается, не заразился [так! заразился? — А. П.] Не ду-

майте, ради Бога, что я «славянофил», но по-моему, мы созрели уже до соединения хорошего с хорошим, как у Блока в «Скифах» в 9-й и 10-й строфе, хотя стихотворение это, когда-то центральное для меня, сейчас совсем, совсем устарело и не ко времени...

Приведу здесь, против обыкновения, конец письма, написанного, как и почти все письма того времени, на машинке, но на этот раз с явным трудом, с опечатками, пропусками и поправками от руки, не всегда попадающими в место обозначения. Приведу его, как лишнее, наглядное свидетельство о старинной воспитанности Д. Е., которую действительно впитал с «молоком матери» (см. письма от 5 августа 1973). Эта воспитанность, иной раз доходящая до подвижничества, и прибавляет к его собственному облику, и объясняет его требовательность к другим, иногда воспринимаемую за мнительность.

Кончаю.. Чувствую себя скверно — хвори донимают и нет из них исхода, кроме общеизвестного, для всех единого.

Обнимаю вас обоих. Л. Я. кланяется

Ваш Д. Мак.

[от руки] Поклон Ире. Как ее экзамены (?).

24 февраля 1982... Работаю слабее прежнего, но работаю. Все сильнее поворачиваюсь к А. Белому. Мои воспоминания о нем взялся (очень охотно) напечатать один большой журнал [Звезда. 1982. № 7. См. письмо от 29 апреля 1978. — А. П.]. Сегодня посылаю корректуру статьи о Блоке и Соловьеве (ее ранний вариант Вам известен). Подползаю к «Петербург» (кстати, получили ли Вы его в издании Акад. Наук? Издание очень хорошее — непременно его достаньте!) [Действительно замечательное издание под ред. Л. К. Долгополова. — А. П.]. Говорят, не так давно вышла книга (по-французски) о Белом и Штейнере. Вот бы добыть [Имеется в виду, очевидно: Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере / Подгот. текста, предисловие и примеч. Фредерика Козлика. Париж: La Presse Libre, 1982. — А. П.]

Начиная с 1983 года, мы приезжали всей семьей едва ли не ежегодно в Москву. В январе 1984 должна была съездить в Ленинград наша дочь Ира, приехавшая «туристкой» на неделю, но что-то помешало. Я же была в Москве на конференции переводчиков советской литературы 25—28 ноября 1983 и съездила с ними в Ленинград. Очевидно, предполагала еще раз приехать до отъезда 9-го января 1984, но не вышло.

25 февраля (19)84 ...я не только огорчился Вашим нежеланием со мною снести и тщетным ожиданием приезда Иры, но и беспокоился о Вас: не заболели ли Вы или что ниб. в этом роде (...).

Д. Е. переходит на мою статью «Путь петербургской поэзии»; «по поводу книги Игнатия Карамова «Стихи» (...) и некоторых, здесь впервые публикуемых, его стихотворений».

Вы — единственная, отозвавшаяся на существование этого незамеченного поэта (Вспоминаю Тютчева: «Умрешь безвестной, безымянной на незамеченной земле»). Конечно, я в высшей степени хотел бы взглянуть на эту рецензию или на ее копию. Могу представить себе, как благодарен Вам этот поэт [Мы, друзья Д. Е., так или иначе причастные к этому изданию, потом пожалели, что оно пошло под псевдонимом. Можно же было избрать путь Ахматовой и опубликовать стихи «без ведома автора». Тогда можно было бы написать настоящую рецензию, а не «размышления по поводу» и были бы по всей вероятности и другие отклики. Д. Е. болезненно пережил их отсутствие, говорил, что он как будто присутствовал на собственных похоронах... Хочется верить, что посмертное издание, организованное его друзьями в России, хоть сколько-нибудь умиротворило его душу. Жаль только, что оно пришлось на годы, сравнительно равнодушные ко всякой поэзии. — А. П.]. Любопытно было бы познакомиться с другими Вашими работами, опубликованными в последнее время. Книгу Джона об А. Белом я недавно получил [Речь идет о книге: John Elsworth. Andrei Bely: A Critical Study of the Novels. Cambridge: CUP, 1983] и буду ее изучать, т. к. и сам работаю над большой статьей о «Петербурге». За это время написал воспоминания («трилогии») об Ахматовой. Сдал ее в печать, как и воспоминания о Заболоцком. [Д. Е. Максимов. Заболоцкий: (об одной давней встрече) // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984. С. 121—135 — а об Ахматовой в его монографии «Русские поэты начала века». Л., 1986. С. 377—403. — А. П.]

18 декабря 1984... В самом деле, милая Дики, мы с Линой Яковлевной очень сдали, особенно она (почти не выходит). Остается одно относительное утешение — работа, которую интенсивно продолжаю. Недавно сдал в издательство большую книгу: «Русские поэты начала века» (20-го). Для меня лично особенно важна большая работа о Петербурге А. Белого и мемуарные эссе...

18 февраля 1985... раздобыли ли Вы в Москве новую книгу в изд-ве «Науки»: «Русс. лит-ра и журналистика XX века. 1905—1917 гг». Там много о журналах символистов, в том числе раздел о «Весах» (авторы: я и Лавров). По-моему, эту книгу Вам иметь необходимо. В ближайшие месяцы выйдут еще два мои мемуарных очерка об Ахматовой и о Заболоцком, а моя книга о русс. поэтах принята к печати. Видите теперь, что «деревья умирают стоя» (чтоб не сглазить!).

Напишите, на каких конференциях Вы побывали, что вышло о Белом {...}, как Джон [Элсворт. — *А. П.*], с которым мы мало переписываемся (хотя он на кошку непохож, по крайней мере внешне).

30 июля 1985... Слава Богу, успел завершить литературные дела, как сказано у Баратынского: «зане совершил в пределах земных все земное». Правда, «совершенного» оказалось слишком мало, итоги слишком скромные, не дающие право на относительное даже самоуспокоение, отгоняющие сон. (Подходя к этому иронически, вспоминаю известное стихотворение «Что думает старушка, когда ей не спится?»). Боюсь, что книги своей не дожидаться: она по плану должна выйти в середине будущего года. Надеюсь только, что наиболее важная для меня часть ее — о «Петербурге» А. Белого — выйдет авансом, в этом году, и попадет к Вам на страшный суд.

Мне хотелось бы, чтобы эта работа прозвучала не только в узко литературных пределах, но вышла из них в более широкие области духовной жизни.

Еще раз перечитал Ваше прекрасное, очень насыщенное содержанием письмо. Особенно то, что Вы пишете об интересе, хотя бы и камерном, к Ремизову. [Вероятно я рассказала о конференции от 3/6 мая 1985 года, посвященной Ремизову в Амхирст Колледже, под Бостоном в США (Amherst College. Mass). Труды участвующих опубликованы под ред. американской ученой Греты Слобин: А. М. Remizov. A Protean Writer. UCLA Slavic Studies Vol. 16. Columbus, Ohio: Slavica. 1987. — *А. П.*]. Очевидно, сейчас происходит стихийный отбор: выдвигаются: Андрей Белый, Вячеслав [Иванов. — *А. П.*], Ремизов, затуманивается Блок. Сологубу и Брюсову и уходить не нужно, т. к. давно уже их засосало время. Поздний Ремизов, конечно, более других «авангардист», но национальные корни спасают его (отчасти?) от авангардистского нигилизма. В нем есть некое предчувствие Кафки, который и сейчас кажется мне более значительной ве-

хой, чем, напр., Музиль. Очень значительной, но следует ли этому радоваться? Я все еще пытаюсь ловить в искусстве крупинки света, прошедшего через искусства и муки. На днях, например, смотрел последний фильм Феллини «И корабль плывет», фильм сатирический, трагический, но сулящий какую-то надежду. [Так просто и прозорливо восьмидесятилетний русский ученый улавливал в самых разных культурных явлениях трагическую суть современной ему Европы, уловив и здесь «крупинки света». Это — не прекраснотушие, а изнурительный, скрупулезный, никогда его самого не удовлетворяющий труд. — А. П.]

У нас еще не вовсе прекратила свое действие инерция блоковского юбилея. Вы, вероятно, имеете первый том (из трех) описания библиотеки Блока? Конструкция этого тома мало удовлетворительная, но содержание богатейшее. В нем воспроизведены маргиналии и подчеркивания на страницах книг его библиотеки. Его пристрастия и отталкивания, известные нам из других источников, теперь можно уточнять по его книгам. Но таким путем мы найдем и многое неизвестное. [Библиотека А. А. Блока: Описание: Кн. I — III / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина / Под ред. К. П. Лукирской. Л., 1984—1986. Д. Е. ценил такие трудоемкие, доскональные, скромные публикации. — А. П.]

Я, кажется, писал Вам о готовящемся расширении блоковского музея (и территориальном!), в который поступили 12 тыс. книг орловской библиотеки (...).

Очевидно, осенью известная Вам рецензентка Вашей книги выступит в музее с докладом о Блоковском сборнике с Вашей статьей — затем, надеюсь, ее обзорный доклад превратится в рецензию и пойдет в печать [Предполагаю, что имеется ввиду тот же Aleksandr Blok Centennial Conference, о котором речь в письме от 23 ноября 1977 г. Рецензия, если она была, до меня не дошла. — А. П.]

Дальше Д. Е. переходит на тему уехавших по той или иной причине из России наших друзей. Я, по его словам, в чем-то ему выяснила их «жизненную позицию», которую он, тем не менее, не вполне понимает...

(...) И еще подавляет мысль, которая вытекает из заключительных строк блоковского стихотворения «Под шум и звон однообразный». Мне кажется, что эта мысль, на свой лад, и Вам близка. Ведь Вы тоже — почвенный человек... [Заключительные строки, «подавляющие» Д. Е. : «Иль можешь лучше: не прощая / Будить мои колокола, / Чтобы распутица ночная / От родины не

увела?». Не помню, что тогда ответила я, но сейчас скажу: не знаю, почвенный ли я человек. И да и нет. Дом свой и «малую родину» чувствовала и чувствую, любила и люблю, но слишком долго довелось жить и дружить с невольной и по выбору беспочвенными людьми (не только русскими), да и сама я, пожалуй, стала такой. Отвечу, дорогой Дмитрий Евгеньевич, хоть и запоздало, Блоком на Блока: «Родине суждено быть некогда покинутой, как матери, когда сын ее, человек, вырастет до звезд и найдет невесту. Эта обреченность на покинутость мы всегда видим в больших материнских глазах родины, всегда печальных, даже тогда, когда она отдыхает и тихо радуется...» (5: 443). Мне кажется, что у Блока слова «дом» и «родина» — очень емкие, и что всегда за ними стоит мысль о разлуке и мысль о возвращении — именно в смысле Вашего блудного сына, который «и узнавая все, не узнавал». — А. П.]

23 февраля 1986 (?) [У Д. Е. «1984». Письмо, однако, плохо связывается с письмом от 25 февраля 1984 г. К тому же книга «Русские поэты», о которой здесь говорится, что она выйдет летом, вышла в 1986 г., а не в 1984 г. По всем признакам письмо относится к 1986 г. — А. П.]... У нас дома очень, очень неблагоприятно. Лин. Яковлевна болеет одной из самых страшных болезней и весь дом наполнен ее страданием. На этом фоне мои беды (потеря одного глаза: по-видимому мозговой микроинфаркт) кажутся несущественными (второй глаз работает сносно). Жизнь кажется обесцененной и импульс к работе пропал. Лишь с большим трудом закончил корректуру к своей новой, очевидно, последней книге, которая должна выйти летом («Русские поэты нач. (XX) Века»). Кстати говоря, в нее, с некот. сокращениями, входит и моя большая работа о «Петербурге». Мне сообщили, что она послана Вам из Сегедского университета (Венгрия) по крайней мере месяц назад. Получили ли Вы ее? Если нет, то стоит ли Вам запросить этот университет? Мне трудно сказать, но кое-кто считает, что это — лучшая моя работа вообще. [Не люблю таких сравнительных оценок — но все же трудно не соглашаться: работа — вдохновенная. — А. П.]. Так или иначе, оставаясь в академических рамках, я пытался в ней духовно выйти из академических норм. Сказать нужное не только профессорам-специалистам. Хотел бы послать Вам еще мою полумемуарную работу о «Поэме без героя» Анны Андреевны, но сделать это бессилён (Эта работа в 6-ом Блоков. Сборнике в Тарту. В этом сборнике много из символисток).

Удивительно совпала тема Вашего письма — о Ремизове — с моими последними интересами. Я читаю сейчас «Учителя музыки» с очень хорошей статьей моей милой быв. стажерки Антонелли. [А. М. Ремизов. Учитель музыки / Ред. А. Д'Амелия. Париж: La Presse Libre, 1983. — А. П.]. Книги «Огненная память», к сожалению, не читал и очень хотел бы ее прочитать. [Речь идет о книге: Н. В. Резникова. Огненная память: Воспоминания о Ремизове. Berkley: Berkley Slavic Studies. Vol. 4. 1980. У Наталии Викторовны я подолгу жила в 1949 и опять в 1953—4 гг. и через нее познакомилась с Ремизовым. Она в эти годы ухаживала за ним, помогала в работе и в быту; ее семья — Резниковы, Андреевы и Сосинские (см. письма от 5 ноября 1978 г. и от 21 марта 1979 г.) создали «из ничего» изд-во «Оплешник» и издавали его книги. Воспоминания, которые она писала очень долго, углубленно — поэтичные, любящие и правдивые. — А. П.]. Но Ремизов для меня пока полузагадочный автор и мне оч. хотелось бы проникнуть в его суть. Как выделяется он из символистов, перекликаясь с Розановым и, пожалуй, с экзистенциализмом (через Шестова?). А как интересен на русской почве и оригинален его апокрифический уклон!

Символисты у нас постепенно двигаются. Готовится том Лит. Наследства по Брюсову (2-й том), по Белому и Анне Андреевне. [Очевидно имеется в виду том 98-ой, вышедший в двух книгах: 1 (1991), 2 (1994) под ред. А. А. Трифонова «Валерий Брюсов и его корреспонденты». Второй том содержит статью К. М. Азадовского и А. В. Лаврова «Памяти Д. Е. Максимова (1904—1987)». С. 583—591. О томах по Белому и Ахматовой ничего не знаю. — А. П.]. Кроме того, утвержден большой сборник статей и материалов по Белому [Очевидно, имеется в виду замечательный сборник, объединяющий под одной обложкой ленинградцев, москвичей и тартускую школу: Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Маханков. М., 1988. В третий (мемуарный) отдел вошел и «О том, как я видел и слышал Андрея Белого» (С. 615—637), а в четвертом помещена публикация Д. Е. вместе с А. В. Лавровым «Из писем Андрея Белого к Иванову-Разумнику» (С. 707—749. — А. П.]. Есть также интересные и непредвиденные проекты по Библиотеке поэта (XX).

8 марта 1986 ...Совсем недавно я написал Вам письмо больших размеров, а сейчас — только вопрос. Получили ли Вы мою работу о «Петербурге А. Белого» (Венгрия).

Очень прошу Вас SPAZY, теперь же сообщить мне: получили или нет. За этим вопросом — большой, психологический «комплекс», о котором писать больно. У нас дела хуже, чем неладно. Лина Яковл. очень очень тяжело больна, да и я полуослеп... [Журнал *Dissertationes Slavicae: Acta Universitatis Szegediensis de Altila Jozsef Nominatae* (Szeged, 1985) со статьей Д. Е. Максимова «О романе-поэме Андрея Белого «Петербург» (С. 31—166) я получила и обменялась письмами с редактором — ремизоведом Каталин Секе. В то время в этом журнале выходило множество интересных статей о рус. символизме. — А. П.]

15 апреля 1986... несколько дней тому назад меня постигло страшное горе — скончалась Лина Яковлевна. Ее сразила онкологическая болезнь, которая тянулась долго, но в последние два месяца стала мучительной. Умерла она во сне, тихо. Все в нашем скромном жилище создано ею, она везде. Родных нет. Формы моей дальнейшей жизни для меня неведомы и та сама под вопросом. Резко ухудшилось зрение (пропал один глаз) — смогу ли работать — не знаю. Хочу попробовать бороться со страшными мыслями и пустотой делами и привычным обиходом, если смогу его поддержать.

Поэтому, милая, хорошая Дики, благославляю Вас на перевод моего Белого и буду рад, если он состоится и если я его застану [Не состоялся, но если не опередят — отдам долг. Перевести надо. — А. П.]

⟨...⟩ Хотя и грешно писать мне сейчас о постороннем, но не могу не сказать Вам, что Ваш краткий отзыв о моей работе («Петербург») меня глубочайшим образом обрадовал, если есть у меня право на это слово. Вы отметили человеческую сторону моей статьи, почувствовали, как никто, что суть ее не только академическая, несмотря на ее академическую арматуру. И Вы сумели с изумительным чутьем ввести в свой отзыв изумительную цитату из Андрея Белого о «легчайших пламенах» и соединить ее с моей статьей. Это было дорого мне до потрясения.

После кончины Лины Яковлевны Д. Е. вскоре переехал на лето в Комарово. Очевидно, у него не было там машинки, так как письма оттуда, впервые за долгие годы, написаны целиком от руки, дрожащим, еле разборчивым почерком.

25 VI (19)86... Спасибо Вам за участие. Не отвечал Вам сразу — не мог. И теперь почти не могу. Горе, постигшее меня, слишком велико — от него мне никогда не оправиться ⟨...⟩. Как

страшно мне возвращаться в Ленинград — в мой опустевший дом.

3 авг. (19)86, Комарово... Наверно, удалось бы повидаться с Вами в Павии на конференции по Вяч. Иванову, но я сразу отказался туда ехать. Со времени кончины Лины Яковлевны прошло 3 с половиной месяца, и я совсем не оправился [почти не разборчиво: кажется «оправился». — А. П.]. Тоска волчья и физически слаб. Заниматься так и не начал: сил нет и импульса. Тянет меня работать по Лермонтову но окончательного согласия все еще [все же? — А. П.] не дал [дам? Не знаю, на какое предложение «работать по Лермонтову» Д. Е. тогда не соглашался, но см. письмо от 1. II. 87. Очевидно, согласие потом дал и начал писать. — А. П.].

Книга моя «Поэты начала XX века» вышла (...). В эту книгу входит и моя работа о «Петербурге», кое в чем (незначительного) подправленная, но в большой мере сокращенная, так что моделью должно служить венгерское издание с небольшими исправлениями по моей новой книге.

О своей домашней [дальнейшей? — А. П.] жизни — не знаю. Почти слышу как зовет меня к себе Лина Яковлевна.

Хочу, чтобы Вы были довольны и счастливы, чтобы из Иры вышел хороший медик и вылечила бы меня [Ира тогда собиралась поступать на медицинский факультет, но не поступила. Пошла по линии международного права, экономики и языков. — А. П.].

Последний раз мы с Дмитрием Евгеньевичем встретились в Ленинграде осенью 1986 года. Он был в крайне нервном состоянии; сначала пригласил ночевать, потом отменил, так что пришлось втиснуть все ленинградские дела между двумя ночными поездками (в гостиницу я не успела «оформиться»). С вокзала съездила к Д. С. Лихачеву и поехала с ним в Блоковскую библиотеку. Туда позвонил Д. Е., торопил к себе. Проводил меня Дмитрий Сергеевич и на пороге пригласил Д. Е. выступить с ним по телевидению (беседа-воспоминания), на что Д. Е. со свойственной ему порой «скорпионьей» язвительностью ответил, что можно бы просто так беседовать и вспоминать — без телевидения. Для Лихачева телевизионные выступления были тогда «служением» — он обладал редким даром говорить естественно перед камерой, отвечать экспромтом, просто и правдиво, на вопросы и, будучи все еще под угрозой со стороны местных властей, отдавал себе отчет, что этими выступлениями создает новый климат. Это было накануне «гласности», и я сама видела, как на тротуаре перед Бло-

ковским домом его остановил и горячо поблагодарил незнакомый, краснеющий, совсем молодой человек. Но я понимала и Д. Е., глубоко ушедшего во внутреннюю жизнь, из последних сил жаждающего общения и со мною, и со своим старым другом, «ревнуя» и меня к Лихачеву, и Лихачева к гласности без кавычек.

Как бывало и в письмах, при тихой беседе об очередных литературных делах Д. Е. быстро выходил из «зоны» ревности и раздражения. Встреча получилась деловой, ясной и настоящей. Он мне много рассказал о себе, и мы вместе проработали текст очерка «О себе», который я должна была передать Антонелле Д'Амелии (см. следующее письмо от 4 октября 1986). Простились с тяжелым предчувствием, но светло...

4 октября 1986

Дорогой друг Дики,

вот Вы мелькнули и уехали. Кажется, что Ваше появление было сном, от которого мне, пока он продолжался, стало лучше, ото двинулись горе и недуги. А теперь все по-прежнему — не буду писать как тяжело.

Очень интересует меня судьба «автобиографической заметки». Кстати, в нее внесено существенное композиционное изменение. Двухстраничная «теоретическая» вставка на стр. 8-й перемещается на стр. 11 (после внесения вставки она становится 13) — перед последним абзацем всей работы (об ошибках в стихах и об этом лирич. сборнике). Эта вставка начинается словами: «Что сказать о себе» и кончается «намечались во мне и тогда» — около двух страниц. Такая перестановка очень улучшает композицию. Очень бы хотелось, чтобы это перемещение не было упущено. Пожалуйста, помогите мне в этом...

Было сделано. Автобиографическая заметка «О себе» написана по просьбе Антонеллы Д'Амелии, которая в это время пыталась организовать издание сборника статей Д. Е. 15 августа 1986 г. она написала мне (на общем для нас русском языке!): «Проблемы у меня маленькие с денежной точки зрения и огромные с научной; очень боюсь по поводу предисловия. Не пишу ли я поверхностно о нем и его месте в советском литературоведении?!? нервничаю... Попросите его автобиографию, пожалуйста; будет очень здорово и намного интереснее!». В том же письме она обещает послать и ему и мне программу Ивановской конференции в Павии. Ее «заказ» я сумела до моего приезда в Ленинград передать Д. Е. и взяла у него уже готовую на машинке автобиографическую заметку с тем, чтобы отправить Антонелле при воз-

вращении в Англию. Проектируемый ею сборник (кажется) пал жертвою «маленьких денежных затруднений», да и кончалась уже эпоха «тамиздата», но «О себе» Антонелла напечатала в итальянском журнале *Euro Orientalis* 8 (1989). С. 569—577. У меня сохранилась копия сопровождающего письма, посланного мною вместе с текстом, посвященного Д. Е. и нашей с ним последней встрече «по свежим следам»:

Милая Антонелла, вот «автобиография» Дмитрия Евгеньевича. Это первое, что он написал со смерти Лины Яковлевны. Вы сделали прекрасное дело, заказав ему эту работу. Воспоминания помогли ему пересилить депрессию. Со своей стороны, я рада за него, что он решился на раскрытие псевдонима «Игнатий Карамов» (стр. 11). Здесь, однако, мне лично кажется, что надо кончить на «L'Age d'Homme, 1982» и сделать вставку в эту-же фразу между «в Швейцарии» и «под псевдонимом» вроде — «без моего присмотра, что, к сожалению, привело к ряду досадных ошибок, вплоть до пропущенных строк». Это мы с ним обсуждали и он в принципе согласен. Закончить всю статью такой мелочью, как жалобой на издательство за опечатки, явно нехорошо. Д. Е. это чувствует, но в то же время хочет, «чтобы знали». Я ему предложила сделать более точный список наиболее грубых опечаток в сноске, но он, пожалуй, резонно говорит, что сноски не подходит к автобиографической заметке. На всякий случай я записала более точно те опечатки, о которых он говорит, и могу, если нужно, передать Вам эти подробности, которые, к сожалению, я не знала, когда писала рецензию о стихах «Карамова» в Вестник РСХД (...).

Так что подумайте о том, чтобы вычеркнуть последние две фразы и сделать вставку. Вы редактор, так что за Вами последнее слово. Д. Е. сказал, что Вам доверяет, если будете считать нужными другие сокращения. Я все прочла и не вижу в этом надобности, но у Вас может быть издательская специфика. Дмитрий Евгеньевич предпочел бы, чтобы напечатали «О себе» послесловием, а не предисловием к сборнику. Мне это кажется закономерным. Это, в сущности, последняя его работа во времени, и содержит его «пожелания» науке, которой он всю жизнь служил.

Если будете сами писать о нем предисловие, могу Вам сообщить следующие факты, о которых он не говорит сам [т. е. в «автобиографической заметке». — А. П.]. В 1933 он был приговорен к трем годам административной ссылки в западную Сибирь, но отсидел только один год. Выхлопотали братья, у которых были связи. Приговорен он был за принадлежность к без-

обидному кружку Иванова-Разумника, и он же нашел и спас архив Иванова-Разумника в Царском Селе, сразу почти после ухода оттуда немцев. Этот архив сейчас усиленно обрабатывается в Пушкинском доме и появляются многие публикации. Помимо ленинградского университета, где он работал в общей сложности 25 лет, он читал курсы в педагогическом институте в ИвановоВознесенске и в Ленинградском Пед. Институте имени Покровского, о котором он вспоминает с особой нежностью, до того как он (т. е. институт Покровского) слился с пед. институтом имени Герцена. В последний он ушел по своей воле в результате нарастающих столкновений с университетским начальством во время ждановщины, и я хорошо помню, что в 1959 у него еще были студенты или, скорее, аспиранты из Герценовского, которые приходили вольнослушателями на спецкурс о Блоке, о котором он так вдохновенно вспоминает. Они его очень любили, чтити и ценили. Вообще, мне кажется, что можно сказать, что в профессиональной жизни он проявлял тихую и упорную принципиальность, без громких слов и жестов.

Я помню митинг в университете о «вульгарном социализме», который громили остроумно и зло при общем хохоте в зале. Максимов встал и сказал своим тихим голосом: «Очень хорошо, что мы провожаем вульгарный социализм как комического героя. Но в то же время следует помнить, что это в свое время был очень сильный, я бы сказал страшный герой, которому мы все здесь отдали дань...» Вот за эту честность, прежде всего, по отношению к себе, его и любили. О войне он говорит мало. Он пережил наиболее тяжелую часть блокады в Ленинграде, потом был на короткое время эвакуирован, вернувшись задолго до конца войны.

Вот и все, пожалуй, что могу добавить к сведениям, которые он дает сам в заметке «О себе».

Мы с ним очень хорошо встретились и целый день проговорили. Он на меня произвел светлое впечатление и очень поэтическое, в себя углубленное, хотя он физически очень сдал и жалуетса на нервную болезнь, на депрессию, на неспособность к работе. Мне сказала его ученица, которая пришла к нему вечером, пока я еще сидела там, и потом меня проводила на трамвай, что он при мне очень оживился, а обычно производит более мрачное впечатление. Конечно, его физическое состояние (с глазами, руками, ногами) плачевное, и другой бы давно сдался, но он превозмогает слабость, заставляет руки ему служить, ходит. Жаловался мне только на одиночество. Есть, к счастью, уборщица, которая содержит квартиру в большой чистоте и которая помогала еще

при Лине Яковлевне, чистоплотная и хорошая женщина, верующая. Но комнату жены он сохраняет как святыню, все как было при ней, и сам несколько беспокоился, что впервые там лег на часочек после обеда (хотел, чтобы и я отдохнула с поезда и уложил меня в свою комнату, сам ушел «к ней»). Горе свежее, неизжитое и, видно, глубокое.

О Вас он говорил очень тепло и очень радуется предстоящему изданию его работ. Повторяю, прямо providentially, что Вы ему «заказали» воспоминания. У него есть многое, о чем писать еще, и голова ясная ...

Следующее письмо от Д. Е. как раз свидетельствует, насколько до конца жизни «голова» оставалась ясной.

11 окт. 86... Очень тронут Вашим письмом и признанием нашей с Вами настоящей и многолетней дружбы. Ее существование — опора мне и поддержка, в которых я всегда нуждался, а (...) в этот финальный момент жизни такая дружба, как Ваша, особенно нужна, драгоценна...

Мне плохо душевно и физически. Самая последняя «дополнительная» беда — жестокая бессонница, мучительная как самая злая болезнь; терзающая ночью и затемняющая мысль днем. Зная об этом, Вы поймете, что для меня сейчас трудны размышления даже на самые интересные темы, в том числе о Блоке и платонизме. Я очень хотел написать на эту тему большую статью, но отказался от этой мысли. Завещаю эту работу Вам [На эту тему я прочла публичную лекцию в Брюсселе в 1988 г., потом использовала материалы из лекции при сравнении Блока с Йетсом и Гофмансталем: *Particularity and myth in the poetry of Alexander Blok: The Poet in and out of his time / Nine Essays on W B Yeats and his contemporaries Hofmansthal and Blok / Ed. Paul Kirshner and A. Stillmark, London: Edwin Mellor, 1992. — А. П.*].

Вероятно, у нас с Вами в разработке этой темы — пока я не углублялся в нее — будут и совпадения и некоторые различия в подходе. Прежде всего нужно помнить, что на первом месте для Блока остается Вл. Соловьев. Платон не заслонил Соловьева: Платона он вряд ли хорошо знал. В зрелости вспомнил открыто только об анамнезисе. Меня интересует в этой теме особенно вопрос о двуемирии [двоемирии? — А. П.]. По-моему, важно не столько искать платоновского в Блоке, сколько выяснить структуру блоковского мировоззрения в СРАВНЕНИИ с Платоном, последовательного дуалиста. Это касается и непроясненного вопроса о «религиозности» Блока, о его «пантеизме». Не-

оплатоники появляются в этой проблематике слабее, чем Платон. Кажется, Блок (ранний) упоминает одного лишь Плотина (экстаз, самопоглощение в Боге), которого также знал, по-видимому, из вторых рук. Со всем этим соприкасается, конечно, тема о Блоке и античности, которой занимается Дина Магомедова (Вы знаете ее?)... Все это еще далеко от разговора на тему, но на большее я сейчас не способен. Думаю лишь о том, чтобы дожить достойно <...>.

Хотел бы дождаться появления Вашей работы о Блоке и Платоне, о «Двенадцати» и о финальном персонаже этой поэмы. Мне кажется, что он у Блока феминизирован, но лишь отчасти. Наши литературоведы очень слабо затрагивают этот вопрос, а он так важен, и особенно в наше время [Я в это время работала над книгой: Aleksandr Blok. The Twelve / Edited with introduction and notes by Avril Pyman. Durham: DMLS, 1989. 136 сс.; к вопросу «о заключительной фигуре» уже подходила в конце вступительной статьи к Aleksandr Blok Centennial Conference (1984). У самого Д. Е. и у З. Г. Минц он затронут глубоко и правильно в связи с диалектическими триадами символистов но, по условиям времени, их мысль осталась недосказанной. Договорила за них, насколько один человек может за другого «договорить», развивая мифопоэтический подход, введенный ими в III Блоковском Сборнике, И. С. Приходько в статье «Образ Христа в поэме „Двенадцать“» // Мифопоэтика А. Блока: (Историко-культурный и мифологический комментарий к драмам и поэмам). Владимир, 1994, но не исключая, что Д. Е. предпочел бы по-блоковски оставить большую долю не «недосказанности» а «несказанности» — см. письмо о границах возможностей литературоведения от 11 января 1978. — А. П.].

Последнее письмо Д. Е. — продиктованное, только подписанное его рукой:

1. II. (19)87. Дорогой друг Дики! Как видите, пишу Вам не своей рукой. Причина этого — лютый полиартрит, которым болею уже два месяца [Очевидно, речь идет об обострении болезни. Болел Д. Е. давно. — А. П.]. На очереди исполнение договора на статью о Лермонтове и замысел новой книги (воспоминаний о поэтах). Осуществляются ли все эти намерения — одному Богу известно: болезнь мешает надеяться.

Кстати, и проект моей итальянской книги, кажется, проваливается [т. е. сборник статей, который, вроде бы, уже набирался под ред. итальянки Антонеллы Д'Амелии в Париже и для ко-

того было написано «О себе» — см. письмо от 11 октября 1986. — *А. П.*]. Не могли бы Вы узнать, много ли экземпляров книги стихов Карамова остались не распроданными? (Между прочим, соблюдение псевдонима этого автора в данной изменившейся ситуации — «не обязательно»).

Вообще мы переживаем пору общих (в том числе и литературных) надежд и приготовились радоваться...

На этом слове хочу оборвать публикацию не столько потому, что оно ознаменует начало новой эпохи (и оно действительно его ознаменует), а потому, что Дмитрий Евгеньевич в течение всей многотрудной жизни «ловил в искусстве крупинки света, прошедшего через искусы и муки» (письмо от 3 июля 1985). Думаю, что он хотел бы оставить и нам хоть надежду на радость.



B

